

РУССКАЯ РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

РУССКАЯ РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Русская романтическая повесть

А. А. Бестужев-Марлинский
А. С. Пушкин, В. П. Титов
М. П. Погодин
О. М. Сомов
О. И. Сенковский
М. Н. Загоскин
М. С. Жукова
Н. В. Гоголь

Советская Россия

РУССКАЯ РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

А. А. Погорельский-Перовский
В. Ф. Одоевский
А. Ф. Вельтман
Н. Ф. Павлов
М. Ю. Лермонтов
К. С. Аксаков
В. А. Соллогуб
Е. А. Ган

Москва
1980

Р1
Р89

Составление, вступительная статья
и примечания *В. И. Сахарова*

Художник *П. С. Сацкий*

Р $\frac{70500-134}{М-105(03)80}$87—80 4702010100

© Издательство «Советская Россия», 1980 г., составлепие,
вступительная статья, примечания.

ФОРМА ВРЕМЕНИ

Девятнадцатое столетие вошло в историю мировой литературы как золотой век русского классического романа. Однако в отечественной литературе повесть отнюдь не была второстепенным жанром, простым спутником романа. Она как бы предваряла роман в общем движении прозы, указывая пути к его созданию. Поэтому Белинский с полным основанием отмечал, что у истоков русской прозы XIX века стоит Николай Михайлович Карамзин с его предромантическими повестями «Сиерра-Морена» (1795) и «Остров Борнгольм» (1794): «Повести его... важны по тому обстоятельству, что наклонили вкус публики к роману, как изображению чувств, страстей и событий частной и внутренней жизни людей»[1]. Разумеется, Карамзин был не один: рядом с ним мы видим многих прозаиков, известных и анонимных, писавших сентиментальные повести[2].

Но тогда до романа было еще далеко, и потому на протяжении первой трети XIX века повесть занимала в русской прозе особое положение. В ту пору в нашей литературе создалась уникальная ситуация, которую критик и прозаик Николай Полевой охарактеризовал следующим образом: «Романа еще нет и до сих пор. Но повесть уже есть»[3]. Жанр стремительно развивается, становится не только популярным и даже модным, но и особо значимым, обретает новый смысл и значение. На время повесть как бы замещает

[1] Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII. М., Изд-во АН СССР, 1955, с. 122.
[2] См.: Русская сентиментальная повесть. Сост. П. А. Орлов. М., Изд-во Моск. ун-та, 1979.
[3] Московский телеграф, 1833, ч. 49, № 2, январь, с. 329.

собою роман и превращается в центральный жанр русской прозы. Более того, в 30-е годы она теснит и поэзию, столь влиятельную в 1810—1820-е годы, становясь главным явлением тогдашней русской изящной словесности. «Повесть есть вывеска современной литературы»[1], — писал в 1835 году поэт и критик С. П. Шевырев, подводя итоги столь бурного развития русской повести.

Возникновение и развитие повести было прямым следствием расцвета русского романтизма. Романтизм в России, как и в Западной Европе, составил целую культурную эпоху, проник во все сферы жизни. «Романтизм, и притом наш, русский, в наши самобытные формы выработавшийся и отлившийся, романтизм был не простым литературным, а жизненным явлением, целою эпохой морального развития, эпохой, имевшей свой особенный цвет, проводившей в жизни особое воззрение... Пусть романтическое веяние пришло извне, от западной жизни и западных литератур, оно нашло в русской натуре почву, готовую к его восприятию, — и потому отразилось в явлениях совершенно оригинальных»[2], — говорил критик-романтик Аполлон Григорьев, и сказанное им верно и в отношении русской романтической повести. Ибо романтизм с его характерным «стремлением возвысить себя и человечество, повествуя об идеальном мире»[3], проник не только в живопись, литературу, театр, музыку, науку, но и в русский быт, породил там характеры, типы личности (здесь достаточно назвать взятые из жизни характеры романтиков Онегина, Ленского и Печорина), воздействовал на вкусы и пристрастия тогдашней русской читающей публики, желавшей видеть в литературе свои чувства и черты, собственную жизнь. При этом романтизм, будучи в основе своей стремлением к высокому, к возвышенным характерам и сильным страстям, сумел отразить и весьма обыденный быт и нравы различных общественных слоев.

Недаром романтик В. Ф. Одоевский говорил в «Русских ночах» о литературе как об «одном из термометров духовного состояния общества»[4]. Литература русского романтизма с присущим ей демократизмом отразила жизнь общественную на самых разных ее уровнях — от дворца и светского салона до купеческих палат и нищих петербургских углов. И главная роль здесь принадлежала романтической повести, этому подвижному и многоликому жанру, творчески освоившему обширные пространства тогдашней рус-

---

[1] Московский наблюдатель, 1835, № 1, с. 121.

[2] Григорьев Аполлон. Литературная критика. М., Худож. лит., 1967, с. 233—234.

[3] Слова писателя-романтика В. Ф. Одоевского.— Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский, т. I, ч. 1. М., 1913, с. 442.

[4] Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л., Наука, 1975, с. 154.

ской жизни. Поэтому Белинский точно назвал русскую романтическую повесть формой времени, выразившей идеи времени.

Поражает быстрота возникновения и развития русской романтической повести. Характеризуя состояние русской литературы в 1821 году, Н. Полевой заметил: «Проза дремала в совершенном бездействии. Карамзин отделился от современных писателей и шел своим путем»[1]. Однако уже в 1823 году появляется знаменитый альманах «Полярная звезда», и в книжках этого альманаха, ежегодно издававшегося романтиками-декабристами К. Ф. Рылеевым и А. А. Бестужевым вплоть до восстания 1825 года и имевшего большой читательский и коммерческий успех, повести уже теснят поэзию. И в 1823 году один из читателей «Полярной звезды» так говорил о первой книге альманаха: «Проза вообще не уступает поэзии. Не есть ли это подтверждение мнения, что наш прекрасный русский язык достигает наконец зрелости?»[2] Он не случайно облек свое суждение о романтической повести в форму вопроса, предположения.

Самый жанр повести и русское прозаическое повествование в первую половину 20-х годов только оформлялись, наши прозаики робко пробовали силы в новом для них роде словесности, да и тогдашняя публика и издатели еще не привыкли к романтической повести и более ценили поэтические жанры — поэму, балладу и элегию. Потому Пушкин и в 1827 году внушал издателю журнала «Московский вестник» писателю и историку М. П. Погодину: «Кстати, о повестях: они должны быть непременно существенной частию журнала, как моды у «Телеграфа». У нас не то, что в Европе — повести в диковинку»[3].

Пушкин, как всегда, точен: судьба русской романтической повести была неразрывно связана с судьбой отечественной журналистики, с «Московским телеграфом» Н. Полевого, «Библиотекой для чтения» О. И. Сенковского (Барона Брамбеуса) и другими повременными изданиями наших романтиков, на страницах которых повесть и расцвела, обрела популярность и массового читателя и тем самым резко увеличила число подписчиков. Произошло это в 30-е годы XIX века, в эпоху наивысшего подъема литературы русского романтизма и расцвета романтической журналистики.

«Мы живем в эпоху, в которую последовало что-то равное изобретению письмен и книгопечатания... Это открытие силы повременных изданий»[4],— писал друг Пушкина журналист

---

[1] Московский телеграф, 1829, ч. 28, № 13, июль, с. 70.

[2] Русский архив, 1886, № 3, с. 315.

[3] Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. XIII. Л., Изд-во АН СССР, 1937, с. 341.

[4] Н. В. Гоголь. Материалы и исследования, т. 1. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1936, с. 162.

П. А. Плетнев в 1846 году, подводя итоги уходившей романтической эпохи. В 30-е годы журналы обрели такую силу и влияние, что в них сосредоточилась почти вся литературная деятельность; альманахов стало мало, а книжная торговля оскудела. Журнал вобрал в себя все: любовь к просвещению и изящным искусствам, исторические известия, борьбу идей и страстей на поприще литературной критики, мемуары знаменитых личностей, переводную и отечественную прозу и поэзию. И потому журнал в литературе стал главною силою, определяющей все, и в том числе развитие романтической повести. Даровитый критик и журналист Иван Киреевский, указывая на это интереснейшее, многое разъясняющее в истории тогдашней литературы явление, писал: «В наше время изящную словесность заменила словесность журнальная... И не надобно думать, чтобы характер журнализма принадлежал одним периодическим изданиям: он распространяется на все формы словесности, с весьма немногими исключениями»[1].

Журнал, объединяя вокруг себя поэтов, прозаиков и критиков сходных направлений и постепенно подчиняя себе литературу, диктовал авторам романтических повестей темы, пути развития жанра, самый стиль повествования. И особенно заметно воздействие, оказанное на развитие русской романтической повести журналом «Московский телеграф» и его издателем Николаем Полевым, видевшим в повести одну из важнейших составных частей своего журнала. Можно подумать, что Полевой прочел письмо Пушкина Погодину о повестях: с такой энергией принялся он публиковать в «Московском телеграфе» повести прозаиков русского романтизма, придавая им большое значение.

Романтические повести в журнале Полевого всегда печатались рядом с мемуарами, занимательными историческими статьями, рассказами о знаменитостях и необычайных происшествиях и, по замыслу редактора, составляли единое целое со всем этим пестрым журнальным материалом. И потому они прежде всего должны были отличаться занимательностью. По словам Н. Полевого, все эти статьи и повести, составлявшие очередной номер «Московского телеграфа», подписчики журнала должны читать «как сказку просто, как рассказ умного, бывалого человека»[2]. И потому в романтической повести «превосходный рассказ» необходимо соединять с «изяществом основной мысли». Полевой советовал своим авторам не увлекаться фантастикой в духе Гофмана, не придумывать того, чего нет в природе. Цель романтической повести в журнале — сообщить читателям новый взгляд на уже существующие явления,

---

[1] Киреевский И. В. Полн. собр. соч., т. I. М., Путь, 1911, с. 122.

[2] Московский телеграф, 1833, ч. 49, с. 454.

и тогда повесть станет «актом познания»[1]. Повесть, по мысли Полевого, должна не только развлекать, но и просвещать, выражать те или иные идеи и в этом близка журнальной статье. Из этого следует, что издатель «Московского телеграфа» хорошо знал круг своих читателей, состоящий преимущественно из демократической молодежи: «Это большею частию люди среднего состояния, молодое поколение, отличающееся непреодолимою жадностью к просвещению»[2].

Журналу Николая Полевого и его подписчикам и читателям в немалой мере был обязан своей популярностью талантливый прозаик-романтик Александр Александрович Бестужев (1797—1837), известный всей читающей России под псевдонимом «Марлинский». По свидетельству современников, именно молодое поколение читателей более всех любило и читало бестужевские повести: «Оно жадно упивалось в «Телеграфе» повестями модного писателя Марлинского, окруженного в его глазах двойною ореолою — таланта и трагической участи»[3]. Имя это в 30-е годы прошлого столетия окружено было легендами и почти всеобщим поклонением. Даже самая гибель Бестужева в отчаянной рукопашной схватке у мыса Адлер породила новые слухи и предположения — так привлекательна была эта сильная, самобытная и непосредственная натура, ставшая живым символом героического романтизма.

Блестящий гвардеец, светский острослов и танцор, между балами весьма серьезно занимавшийся литературою, героический декабрист, выказавший на Сенатской площади бесстрашие и решительность, якутский ссыльный, храбрый боец кавказской армии, знаменитый литератор 30-х годов — Бестужев прожил короткую, поразительно яркую и богатую жизнь и сам говорил о ней: «В судьбе моей столько чудесного, столько таинственного, что и без походу, без вымыслов она может поспорить с любым романом Виктора Гюго»[4]. Повести Марлинского с их стремительным действием, приключениями, возвышенными романтическими героями,

[1] Московский телеграф, 1829, ч. 28, № 15, август, с. 326.

[2] Московский телеграф, 1829, ч. 28, № 13, июль, с. 67.

[3] Григорьев Аполлон. Воспоминания. М.— Л., Academia, 1930, с. 104.

[4] Русское обозрение, 1894, № 10, с. 827. Отметим, что оригинальная натура Марлинского привлекла внимание Лермонтова, слышавшего на Кавказе немало рассказов о погибшем писателе. В Грушницком наряду с чертами оригинала Н. Колюбакина есть и несомненное сходство с Марлинским: достаточно сравнить восторг Грушницкого при производстве его в офицерский чин и известный многим кавказским офицерам рассказ Марлинского о получении офицерских эполет: «Они восхищали меня до того... что я засматривался в зеркало до потери сознания, до безумия» (ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, ед. хр. 225, л. 10).

сильными чувствами и страстями воспринимались читателями как отдельные страницы из «романа жизни» самого писателя, умевшего чувствовать сильно и непосредственно и рассказавшего об этом в своих творениях. Да и сам Марлинский говорил: «Моей чернильницей было сердце»[1]. Читающая публика вполне оценила эту откровенность, ибо чувства героев писателя были и ее чувствами. Более того, повести Марлинского оказали ощутимое влияние и на реальную русскую жизнь, ибо их героям начинали подражать. Лермонтов в Грушницком показал нам тип фанатичного читателя повестей Марлинского, всю свою жизнь выстроившего в стиле персонажей своего кумира. Позднее молодой Лев Толстой (в «Набеге») и Тургенев (в повести «Стук... стук... Стук!») также описали это характерное превращение стиля литературы «неистового» романтизма в стиль жизни и мысли реальных людей, то есть в общественное явление. Для многих Марлинский стал учителем жизни, высказавшим все «тайны сердца».

В поисках достойного фона для изображения бушующих страстей и увлекательных приключений Марлинский в своих повестях непрерывно менял эпохи, костюмы и место действия, стремительно перемещался из петербургских аристократических особняков на экзотический Восток, из кукольной придуманной Голландии на суровые просторы Белого моря. Этот романтический калейдоскоп красок, лиц и эпох показывает, что писатель владел тайной занимательности, увлекательного повествования об интересных людях и событиях. Недаром Марлинский начинал как почитатель и подражатель Вальтера Скотта, как автор исторических повестей, где свойственное раннему романтизму любование экзотикой истории, рыцарского и древнерусского быта соединилось с попытками мыслить в художественной прозе исторически, с интересом к национальным культурам и их развитию во времени. Однако он на этом не остановился и принялся разрабатывать самые разные разновидности романтической повести — «восточную», «светскую», «армейскую». В прозе Марлинского жанр этот получил всестороннее развитие.

«Жизнь сердца» рассказана в его повестях языком фигурным и усложненным, полным острот, пестрых словесных украшений, витиеватых периодов. Главной своей заслугой писатель справедливо считал именно реформу языка русской художественной прозы: «Да, я хочу обновить, разнообразить русский язык, и для того беру мое золото обеими руками из горы и из грязи, отовсюду, где встречу, где поймаю его... Я с умыслом, а не по ошибке гну язык на разные лады... Я убежден, что никто до меня не давал столь-

---

[1] Русский вестник, 1870, № 7, с. 48.

ко многоличности русским фразам, — и лучшее доказательство, что они усваиваются, есть их употребление даже в разговоре»[1]. Этот фигурный стиль прозы, так и названный «марлинизмом», иногда впадал в манерность, неэкономные преувеличения, чрезмерную пестроту и «странность выражения», против чего энергично выступали Белинский и многие русские писатели-романтики, и в частности В. И. Даль, писавший о Марлинском: «Дар его был силен, но он попал не на ту тропу; проза его так вычурна, изыскана и кудревата, что природа остается у него в одном только этом слове, которое он часто повторяет»[2]. В этой критике, как и в последующих статьях Белинского, много справедливого, однако следует помнить и о бесспорных достижениях Марлинского в деле развития русского литературного языка. А его «быстрые» фигурные фразы и сравнения перешли тогда и в разговоры, в живую устную речь. «Его сравнения заучались, ему подражали»[3], — свидетельствует современница.

Для истории русской романтической повести Бестужев-Марлинский — фигура первостепенно важная и характерная. Своими исканиями, бесспорными достижениями и даже ошибками он многим указал дорогу в литературе. В прозе русского романтизма сложилась целая плеяда подражателей и учеников Марлинского, среди которых есть и писатели с незаурядными дарованиями, пошедшие своим путем и все же сохранившие следы учения у автора «Испытания». К урокам Марлинского не остались невнимательны и молодые Гоголь и Лермонтов. Ранняя гоголевская проза пестра, полна затейливых словесных фигур и метафор, забавных словечек и балагурства, и это роднит ее с романтическими повестями Марлинского. Создавая свой напряженный, построенный на диалектике страстей роман «Герой нашего времени», Лермонтов опирался и на бесспорные достижения Марлинского в сфере романтического психологизма.

Многочисленными прозаиками русского романтизма уроки Марлинского восприняты были как открытие непреходящей художественной ценности. Их повести, наводнившие в 30-е годы журналы и альманахи, воспринимают бестужевскую пестроту и бойкость, идущую от светской словесной дуэли[4], юмор и игру словечками и метафорами, «быстрое» красочное повествование и интерес

[1] Бестужев-Марлинский А. А. Собр. соч., т. 2. М., Гослитиздат, 1958, с. 665—666.

[2] Литературное наследство, т. 58. М., Изд-во АН СССР, 1952, с. 150.

[3] ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, ед. хр. 226, л. 2.

[4] Сам Бестужев советовал тогда одному начинающему прозаику учиться писать в гостиной и на балу: «Простая общая беседа, обыкновенный разговор... вот школа, где можно научить-

к русской действительности, увиденной во всех ее подробностях глазами писателя-романтика. Тогдашняя критика говорила об этом влиянии Марлинского следующее: «Пестрота речи показалась чрезвычайно привлекательна... Нравилось чрезвычайно это уменье сказать все не просто, а как-то иначе, бросались в глаза его сравнения не верностью природе, не красотою, а своею внезапностью и странностью»[1]. Из одной романтической повести в другую стали переходить возвышенные натуры, борьба неистовых страстей, невероятные приключения, написанные в полном согласии с творческим заветом Бестужева: «Поражать нас можно только перунами, пугать только чудовищами, упоять лишь крепкой водкой. Нынче тронуть сердце значит его разорвать»[2]. Бестужев и его литературный союзник Полевой присоединяли к собственному опыту перенятые у французских «неистовых» романтиков творческие находки и обратили внимание писателей и читателей на достижения молодого Бальзака, Виктора Гюго, Жюля Жанена, Эжена Сю.

Так в прозе русского романтизма сложилось целое направление. Именно это направление имел в виду П. А. Вяземский, когда писал, что русская романтическая проза «рдеет какою-то насильственною пестротою и движется судорожными припадками»[3].

Среди самобытных талантов, следовавших этим путем, стоит выделить причудливое дарование Александра Фомича Вельтмана (1800—1870). Боевой офицер, отлично знавший экзотический молдавский быт и прибавивший к кавказским повестям Марлинского «молдаванские» повести («Радой», «Урсул», «Костештские скалы»), Вельтман также был тесно связан с журналом Н. Полевого «Московский телеграф» и печатал там свое пестрое, отрывочное лирическое повествование «Странник», о котором Пушкин заметил: «В этой немного вычурной болтовне чувствуется настоящий талант»[4]. Точные пушкинские слова «немного вычурная болтовня» указывают на несомненное сходство романтической манеры Вельтмана и Марлинского.

Действительно, эти писатели-романтики особенно близки, хотя личного знакомства между ними не было. Но когда Марлинский впервые прочитал в 1831 году романтическую прозу Вельтмана, он сразу угадал в ней родственную писательскую натуру: «Это развязное, легкое перо, эта шутливость истинно русская, эта глубина мысли в вещах дельных, как две силы центральные, то влекут

ся выражать свои мысли и чувства» (ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, ед. хр. 225, л. 5).

[1] Москвитянин, 1842, ч. II, № 3, с. 167.

[2] Русское обозрение, 1894, № 10, с. 825.

[3] Альциона. М., 1830, с. 131.

[4] Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. XIV, с. 426.

вас к думе, то выбрасывают из угрюмости: он мне очень нравится»[1]. Эту близость двух литературных талантов отмечал и Белинский, в своей борьбе с «неистовым», надутым романтизмом Марлинского критиковавший и повести Вельтмана: «Пестрить свои рассказы странными словами — это страсть г. Вельтмана... Это талант отвлеченный, талант фантазии, без всякого участия других способностей души, и при этом еще талант причудливый, капризный, любящий странности. Встречаете прекрасные подробности — и не видите целого...»[2]

Многие черты, отмеченные Белинским, присутствовали, бесспорно, в романтических повестях Вельтмана, однако там были и живость, остроумие, гибкость повествования, оригинальный талант прозаика, о которых говорил в своем письме Марлинский. Вельтман отлично знал провинциальный русский, украинский и молдавский быт на всех социальных уровнях, владел разговорным языком, и его повести из быта тогдашней России живы, занимательны и полны точных деталей и верных психологических черт. Вельтман гораздо ближе к действительности и реальному человеку, нежели возвышенный романтик Марлинский, хотя его романтические повести и позднейшие громоздкие авантюрно-бытовые романы («Приключения, почерпнутые из моря житейского» и др.) — это еще не реализм. Вельтмановского «Неистового Роланда» (1835) неоднократно сопоставляли с гоголевским «Ревизором», а в повести-сатире «Приезжий из уезда, или Суматоха в столице» (1841) беспощадно развенчан «неистовый» романтизм 30-х годов, дана уничтожающая пародия на романтических «гениев» В. Бенедиктова и Н. Кукольника. Писал он и сатирические повести из жизни светского общества («Карьера», 1842), сопоставимые со «светскими» повестями Марлинского, В. Ф. Одоевского, Е. А. Ган, В. А. Соллогуба и других прозаиков-романтиков. Во всех этих разнообразных формах выразился незаурядный талант прозаика, продолжившего дело А. А. Бестужева-Марлинского. В эволюции русской романтической повести вполне самобытное дарование А. Ф. Вельтмана обозначает собой переход от прозы «Московского телеграфа» к повестям второй половины 30-х — начала 40-х годов XIX столетия.

Не случайно в эти годы А. Ф. Вельтман и А. А. Бестужев-Марлинский печатают свои романтические повести в новом «толстом» журнале «Библиотека для чтения», сменившем в 1834 году запрещенный «Московский телеграф» и издававшемся книгопродавцем А. Ф. Смирдиным под редакцией знаменитого Барона Брамбеуса — Осипа (Юлиана) Ивановича Сенковского (1800—1858), обрусевшего

---

[1] Русский вестник, 1861, т. 32, № 3, с. 299.
[2] Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 635, 633.

поляка, талантливого востоковеда и литератора. В 20-е годы молодой Сенковский, вернувшись из долгого путешествия по Востоку, познакомился с декабристом А. А. Бестужевым, стал публиковаться в «Полярной звезде» и заслужил тогда похвалу Пушкина. В 30-е годы Сенковский не просто начал издавать очередной журнал. Он учел опыт Полевого и создал «толстый» энциклопедический журнал, адресованный уже всем читательским слоям — от высшего света до глубокой провинции и петербургских чердаков. Романтическая повесть обрела в этом журнале свое место, и с «Библиотекой для чтения» связаны писательские судьбы многих талантливых русских прозаиков. Достаточно напомнить, что Пушкин напечатал в журнале Сенковского гениальную повесть «Пиковая дама», всеми воспринятую, кстати, как чисто романтическое произведение и имевшую немалый читательский успех.

Сенковский требовал от своих авторов того же, что и Полевой, — «быстрого» повествования, занимательности, живого разговорного языка[1], остроумия, доступного журнального стиля. Известно, что он беспощадно редактировал романтические повести Вельтмана, Ган и других писателей, не просто сокращая их и правя стиль, но и вписывая туда фразы и целые сцены. Это делал и Полевой, но у Сенковского такое редакторское вмешательство стало главным издательским принципом и создало особый стиль журнальной прозы. Писатели об этом знали и старались свои повести к этому стилю приспособить. Так, Марлинский, посылая Сенковскому повесть «Мореход Никитин», подчеркивал, что вещь эта написана «во вкусе «Библиотеки для чтения»[2]. Снова, как и во времена «Московского телеграфа», журнал в немалой мере определял стиль и содержание романтической повести, собирая вокруг себя очень разных писателей в одно литературное направление.

Самому Сенковскому удалось заговорить в своих романтических повестях изящным, живым и ясным языком прирожденного журнального автора, о котором его предшественник Н. Полевой мог только мечтать. Успехи Барона Брамбеуса на ниве изящной словесности тем более разительны, что русский язык не был для Сенковского родным и лишь в 20-е годы молодой ученый овладел им вполне, беря уроки у А. А. Бестужева. Романтические повести Сенковского — это торжество журнального стиля: они написаны пером блистательного журналиста и по языку и жанру близки к журнальной статье (фельетону), продолжая тем самым ту или

---

[1] Причем в пример другим писателям ставился именно Марлинский, который, по словам Барона Брамбеуса, «не употреблял мертвых слов и форм и писал чистым живым языком» (Сенковский О. И. Собр. соч., т. VIII. Спб., 1859, с. 234).

[2] Русский вестник, 1863, т. 32, № 4, с. 461.

иную статью или заметку энциклопедически образованного редактора «Библиотеки для чтения».

Чрезвычайная живость и занимательность изложения, беспощадный юмор, граничащий с разносом, ирония, переходящая в традиционный для Барона Брамбеуса скептицизм, склонность к забавным мистификациям и каламбурам — все это и сейчас привлекает читателей к повестям Сенковского. А как они волновали и увлекали современников Барона Брамбеуса, куда острее ощущавших их злободневность и конкретные адреса насмешек и намеков! Здесь стоит вспомнить знаменитую повесть Сенковского «Ученое путешествие на Медвежий остров»[1] — эту остроумнейшую, хотя и не совсем справедливую сатиру на известнейших европейских ученых Кювье и Шампольона и их теории. В этой повести дерзкий Барон Брамбеус посягнул на мировые авторитеты и порастревожил академическую науку, не обращая внимания на ворчание замшелых педантов. Повесть «Превращение голов в книги и книг в головы» — не только остроумное повествование в духе романтических «страшных» рассказов, но и журнальная статья, литературная критика, беспощадная сатира на тогдашнюю русскую литературу. Сенковский превратил романтическую повесть в острейший журнальный фельетон, близкий к памфлету. Достаточно вспомнить памфлеты Белинского и полную блеска и живого остроумия журнальную прозу молодого Герцена, чтобы понять важность творческих открытий Сенковского для дальнейшего развития литературы и журналистики.

Сегодня нет нужды защищать Кювье или тогдашнюю русскую литературу от остроумных нападок Барона Брамбеуса. Можно вспомнить слова ссыльного Вильгельма Кюхельбекера, ценившего Сенковского и тем не менее сказавшего о нем: «Осмеять, и даже остроумно, можно и величайшего гения, но насмешка не доказательство»[2]. Кюхельбекер словно предвидел, что в этом же издевательском тоне Сенковский вскоре заговорит и о Пушкине. Но дело даже не в самих насмешках Брамбеуса, а в том, что этот же насмешник вполне серьезно и проницательно писал Пушкину о значении его «Пиковой дамы»: «Вы положили начало новой прозе... Вы начинаете новую эпоху в литературе»[3]. Сенковский мог сравнить поэта Кукольника с Гете и над ним же саркастически посмеяться, мог всю жизнь посвятить популяризации науки и эту же науку беспощадно развенчать. Он чуял в себе способность раз-

[1] Новейшую ее публикацию см. в кн.: Взгляд сквозь столетия. Русская фантастика XVIII и первой половины XIX века. М., Молодая гвардия, 1977.

[2] Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., Наука, 1979, с. 337.

[3] Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. XV, с. 322.

рушать любую ценность или литературную репутацию и делал это играючи.

Аполлон Григорьев называл Сенковского даровитым циником, Герцен в нем видел Мефистофеля русской литературы. Это верные наблюдения, ибо Сенковский знал одно свое дело редактора и издателя и не ведал потребности в положительных идеалах. Но мы должны видеть за остроумным, но бескрылым сарказмом Барона Брамбеуса и трагедию одаренного писателя-журналиста, лишенного опоры, твердой основы, не сумевшего прийти к уверенному утверждению четких жизненных принципов и потому истратившего свой самобытный талант на вечное отрицание и поденную журнальную работу. Этот человек, иногда острый и безнравственный, иногда простодушно жаждавший веры и дружбы, сам разрушал все вокруг себя и в конце концов погиб от внутренней пустоты, тоски и апатии. Однако у этой трудной поучительной судьбы есть немалый положительный итог, иначе Сенковский не был бы уважаем Пушкиным, Чернышевским и Писаревым. В Сенковском жил не просто незаурядный ум и литературный талант. Это был великий труженик, организатор журнального дела, высочайшего класса профессионал, учитель многих наших писателей — от Е. А. Ган до А. В. Дружинина. В наследии Сенковского романтические повести занимают важное место, хотя еще более важен вклад редактора «Библиотеки для чтения» в распространение и совершенствование этого жанра в тогдашней русской прозе.

В истории русской романтической повести рядом с пестрой и трагичной фигурой Барона Брамбеуса мы неожиданно для себя встречаем существо предельно на него не похожее — светлое, доверчивое, простодушно-поэтическое, цельное в своих словах и чувствах и в творчестве. Казалось, ироничная судьба в который раз захотела жестоко пошутить, соединив несоединимое, заставив встретиться этих разных людей и писателей — Осипа Сенковского и Елену Андреевну Ган (урожденную Фадееву, 1814—1842), известную тогдашним читателям под псевдонимом «Зенеида Р-ова». Уже в самих названиях их произведений ощутима эта пропасть: Мефистофель-Сенковский пишет злобный фельетон «Большой выход у сатаны», а мечтательная Ган печатает в «Библиотеке для чтения» лирическую повесть и заглавием ее избирает чистое романтическое слово, Барону Брамбеусу неведомое и чуждое, — «Идеал».

А между тем Елена Ган была прилежной и восторженной ученицей Сенковского (он, по собственному признанию, «прошел» с ней грамматику Н. И. Греча), преклонялась перед столичной знаменитостью Бароном Брамбеусом; да и литературный кумир у них был один — Марлинский. Более того, в демоническом романтиче-

ском «гении» — поэте Анатолии, коварно обольщающем трепетную Ольгу Гольцберг, можно найти многие черты Сенковского, хотя художественный образ, выведенный в повести тип, конечно же, не точный портрет. Гольцберг — сама Ган, мечтательная, увлекающаяся, надломленная трагическим столкновением своей возвышенной мечты об идеальной любви и высоком назначении женщины с низкой и грубой действительностью. Повесть «Идеал» — поэтическая автобиография романтической женщины-писательницы, где все отразилось в тех или иных формах — и ее таинственный платонический роман с Сенковским, и прозаическое замужество, и веселый, ироничный, вечно смеющийся над мечтательной супругой «герр капитан» Ган, и монотонный быт гарнизонной дамы, скитающейся с батареей мужа по забытым богом местечкам.

Елена Ган в «Идеале» и в других своих повестях рассказала своим читателям историю личной драмы. Таков был ее дар — чисто лирический, тяготеющий к вдохновенной исповеди, ищущий форму для высказывания мира чувств, жизни сердца и нашедший ее в романтической повести. В этом Ган сродни выдающимся поэтам-лирикам русского романтизма В. Жуковскому и И. Козлову, высказавшим себя в поэтической исповеди. Можно сказать, что у ее романтической прозы есть свой лирический герой, точнее — героиня. Сама писательница так это объясняла: «Почти постоянное одиночество, в котором я живу с ранней юности, и полная бессодержательность и бесцветность моей обстановки приучили меня часто углубляться в самое себя, размышлять, сравнивать себя с другими, словом, изучать себя, как существо мне постороннее... Я пишу потому, что это облегчает мою душу; говоря языком моей героини, я могу высказывать все, что гнетет меня, могу изливать чувства, а подчас и слезы, на бумагу — а с рукописью пусть делают, что хотят, жгут, продают»[1].

И эта поэтическая исповедь души мечтательной и отвлеченно-идеальной была понята и благодарно принята многочисленными читателями и в особенности читательницами. Позднее И. С. Тургенев, вспоминая об успехе лирических повестей Е. А. Ган, писал: «В этой женщине было действительно и горячее русское сердце, и опыт жизни женской, и страстность убеждений, — и не отказала ей природа в тех «простых и сладких» звуках, в которых счастливо выражается внутренняя жизнь»[2]. И сегодня чтение повестей Елены Ган увлекательно и плодотворно, ибо мы видим в них духовную жизнь русской просвещенной женщины пушкинской эпохи, постигаем ее возвышенный внутренний мир, стихию чувств.

---

[1] Русская мысль, 1911, № 12, с. 61, 65.

[2] Тургенев И. С. Полн. собр. соч., т. V. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1963, с. 370.

Но пе только в этом значение романтических повестей Е. А. Ган. «Не являлось еще на Руси женщины столь даровитой, не только чувствующей, но и мыслящей»[1],— говорил о писательнице Белинский. Елена Ган не только воспела мечтательную, умеющую искренне и глубоко любить и чувствовать женскую душу, но высказала в своих повестях «глубокую скорбь об общественном унижении женщины» и «энергический протест против этого унижения»[2]. Она стала в глазах своих многочисленных поклонниц глашатаем женской свободы и самостоятельности, и потому повести Ган имели еще и социальное, общественное значение, а их автора критика часто сравнивала с Жорж Санд. При этом писательница вовсе не ратовала за отмену всех и всяческих правил и запретов, семьи и брака. Она хотела лишь, чтобы русская женщина заняла в обществе и семье подобающее ей место, была уважаема и испытывала чувство самоуважения. Здесь Е. Ган начинает одну из великих, центральных тем русской классической литературы, и очень характерно, что тема эта возникает на страницах русской романтической повести и что к Ган присоединяются такие писатели-романтики, как В. Ф. Одоевский («Княжна Мими» и «Княжна Зизи»).

Появление в литературе русского романтизма целой плеяды талантливых женщин-писательниц не только многое изменило в отечественной изящной словесности. С тех пор у нас гораздо серьезнее стали смотреть па общественную роль и назначение женщины и на ее литературные способности. «Название литератора стало уже не странностью, но украшением женщины; оно во мнении общественном подымает ее в другую сферу, отличную от обыкновенной»[3],— отмечал критик Иван Киреевский. Женщины обогатили романтическую литературу, вписав в нее немало прочувствованных, талантливых страниц. В большинстве они были поэтессами, однако со временем имена женщин появляются и в отделах прозы журналов и альманахов.

Русские писательницы часто обращались к романтической повести, и здесь можно вспомнить знаменитую Надежду Дурову, графиню Евдокию Ростопчину, Марью Жукову. О последней стоит сказать подробнее, ибо ее повести, собранные в традиционный для романтической прозы цикл «Вечера на Карповке», являют разительный контраст с возвышенным романтизмом Марлинского и Ган. Это совсем другой стиль — ровный, спокойный, близкий к обыденному просторечию городского и провинциального дворянст-

[1] Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 675.
[2] Там же, с. 667.
[3] Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., Искусство, 1979, с. 126.

ва средней руки. Жукова описывала не романтических героев, а круг читателей романтических повестей, показывая его изнутри. Об одной героине в ее книге сказано: «Особенно любила она русские повести, и новые сочинения Марлинского, Белкина, Безымянного и других писателей наших возвещались с торжеством в ее гостиной»[1]. Мария Семеновна Жукова (1804—1855), дочь стряпчего, подолгу живавшая в Арзамасе и Саратове, отлично знала эту среду, ее повседневный быт, обыденные мысли и заботы и с любовью и теплотой чувства описала этих людей в своих книгах. «В повестях г-жи Жуковой уже видно как бы невольное стремление, вследствие духа времени — искать сюжетов в действительной современной жизни и заботиться о естественном изображении подробностей быта и ежедневной жизни героев, сообразно с их положением в обществе и степенью их образованности»[2], — отметил Белинский.

Однако при всем своем живом и искреннем интересе к русской действительности и реальному человеку Жукова пока далека от подлинного реализма. Ее повести принадлежат к новому направлению в прозе русского романтизма и отражают внутреннее богатство, многоликость и немалые возможности повести. Обращение Жуковой и других писателей-романтиков к русской действительности отнюдь не противоречило требованиям романтизма, а соответствовало им. Ведь тогдашняя критика требовала: «Нет, найдите повесть здесь, около вас. А не на Кавказе, не из жизни людей великих... Спасите нам событие, выдвиньте характеры, разоблачите чувства: вот где повесть, вот где ее тайна»[3].

Жукова точно следовала этому совету критика-романтика. Она показала не только быт, но и психологию тогдашнего человека, и здесь ей принадлежат бесспорные открытия, хотя, конечно, ее живым, но поверхностным изображениям далеко до глубокого реалистического повествования. Не случайно молодой Лев Толстой, работая в 1853 году над «Отрочеством», внимательно читал повесть М. Жуковой «Наденька». Интерес Толстого к этой писательнице сам по себе показателен, однако Жукову и автора «Анны Карениной» неожиданно сближает и обращение к одной теме — теме нравственного долга, ответственности замужней женщины перед семьей, перед своим ребенком.

Повесть М. Жуковой «Барон Рейхман» задолго до Толстого воспроизвела классическую ситуацию «Анны Карениной» — немолодой и не очень поначалу симпатичный, а впоследствии великодушный супруг-барон, его юная красавица жена, влюбившаяся в

---

1 <М. С. Жукова>. Вечера на Карповке, ч. I. Спб., 1838, с. 13.
2 Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 657.
3 Московский наблюдатель, 1835, № 1, с. 123—124.

блестящего офицера, стоящий в центре этого «треугольника» маленький сын баронессы, терзания преступной любви. Конечно, писательница, выбрав такой сюжет, не намеревалась дать глубокий психологический очерк порожденных этим любовным столкновением чувств; скорее ей в начале работы повесть казалась остроумной художественной иллюстрацией к знаменитым строкам пушкинской «Гавриилиады»:

Так иногда супругу генерала
Затянутый прельщает адъютант.

Но, начав свою повесть как милую светскую шутку, забавный анекдот, М. Жукова постепенно пришла к весьма подробному и серьезному изображению обыденной трагедии, каких тогда было много. Конечно же, сопоставление с толстовским шедевром выявляет всю слабость, эскизность повести Жуковой, ее тяготение к использованию трафаретов «светской» романтической повести, чрезвычайно обыденное и быстрое разрешение трагического конфликта. Герои романтической повести не решились на то, что придало глубину и силу реалистическому роману Льва Толстого, они подчинились требованиям нравственных законов. Однако здесь мы видим способность романтической повести исходить из жизненного конфликта, черпать свои характеры и образы из тогдашней русской жизни, нащупывая путь к центральным ее проблемам. Идя по этому пути, писатели-романтики как бы предваряли литературу классического реализма, ее темы и творческие решения.

В этом отношении особо примечательно творчество одного из даровитейших прозаиков русского романтизма — Николая Филипповича Павлова (1805—1864). Сын крепостного, актер и автор водевилей, делец и отчаянный игрок, супруг богатой и талантливой поэтессы Каролины Яниш, отправленный властями в тюрьму и ссылку, Павлов являл собой образец человека нового литературного поколения. Слог его романтических повестей быстр, изящен, щеголеват в своей тщательной отделке фраз, хотя Пушкин, хваля этот слог, отмечал и некоторую его манерность и «близорукую мелочность» описаний. Павлова не без основания сравнивали с Бальзаком, и действительно, уроки французской прозы не прошли для русского романтика даром. Очевидно и сходство стиля романтических повестей писателя с фигурным слогом школы Марлинского, хотя Павлов писал проще и четче, что сразу же было отмечено критикой: «Новый повествователь романтик в классических формах. Его фраза — фраза Шатобриана по щегольству и отделке, но украшенная простотою»[1].

Никто не сомневался в «блестящем беллетристическом дарова-

[1] Московский наблюдатель, 1835, № 1, с. 130.

нии» (Белинский) писателя. Однако его первая книга «Три повести» (1835) отличалась не только литературными достоинствами. Всех удивил новый взгляд автора на общество и литературу. Ф. И. Тютчев, прочитав ее, выразил общее мнение: «Кроме художественного таланта, достигающего тут редкой зрелости, я был особенно поражен возмужалостью, совершеннолетием русской мысли. Она сразу направилась к самой сердцевине общества: мысль свободная схватилась прямо с роковыми общественными вопросами и притом не утратила художественного беспристрастия»[1].

В повестях Н. Ф. Павлова рядом с традиционной сатирой на «большой свет» («Аукцион») появилась тема социального неравенства, угнетения человека человеком, высказан сильный и искренний протест против крепостного права («Именины») и духа жестокости и насилия, царившего в тогдашней военной среде («Ятаган»). Здесь литература романтизма заговорила о темах острых и запретных, о социальных проблемах, что вызвало гнев императора Николая Павловича. Персонажи Павлова не были возвышенными байроническими героями или уединенными романтическими гениями; они слишком явно походили на реальных русских людей, населявших гостиные, казармы и департаменты. Повесть стала выявлять типические черты людей, их общественный вес и значение. Сам автор, отвечая на сравнение его с Бальзаком, указывал: «Повесть Бальзака нападает на исключительные черты общества, а у меня все повести, кроме «Маскарада», на массы»[2]. Персонажи повестей Павлова именно «люди середины», типы, отразившие в себе море житейское, социальную жизнь, общество. Это была уже социальная сатира, вполне реалистическая критика тогдашней русской действительности. Читатели и критика видели, что Павлов указывал дорогу Гоголю, писателям «натуральной школы» и молодому Достоевскому и что его сатирическая зарисовка чиновничьей жизни и психологии «Демон» могла вызвать трагическую «Шинель»: «Сатира повествователя обращалась, конечно, не на сословие, откуда он взял своего героя, но на те самые условия жизни, из которых возникла его возможность»[3]. В творчестве Павлова романтическая повесть предельно приблизилась к реалистической манере письма и психологизму, однако все ее победы одержаны на территории романтизма, что еще раз выявило гибкость и жизнеспособность этого жанра русской прозы.

Рядом с Павловым в истории русской романтической повести следует поставить имя Владимира Александровича Соллогуба

---

[1] Русский архив, 1879, кн. II, с. 122—123.

[2] Отчет имп. Публичной библиотеки за 1892 год. Спб., 1895, с. 107.

[3] Москвитянин, 1846, ч. I, № 2, с. 166.

(1813—1882), талантливого беллетриста и драматурга, автора известных мемуаров. Соллогуб, как и Павлов, в своих повестях подводил итоги развития жанра, завершал эволюцию той ветви романтической прозы, которая шла от журнала, от традиций Марлинского и Полевого. В его легко и изящно написанных произведениях русский романтизм теряет свою силу и непосредственность, разменивается на поверхностность светской болтовни, иронию и штампы «светской» повести. Этому способствовал и великосветский дилетантизм графа-беллетриста, часто превращавшего литературу в салонную забаву. Соллогуб с немалой иронией писал в повести «Большой свет» об образе жизни светских людей, который был и его образом жизни: «Поутру погулять в бекеше, потом пообедать где-нибудь получше, потом побеседовать с какими-нибудь барынями покрасивее, да от времени до времени пописать что бог даст»[1]. Потому мемуаристы могли говорить о писателе: «Он с барской небрежностию обращался с своим талантом, не заботился о его развитии»[2]. В этих словах была своя правда, однако стоит вспомнить и свидетельство другого современника — Льва Толстого, в конце жизни вспомнившего о Соллогубе и воскликнувшего: «Какой был необыкновенный человек, даровитый, блестящий!»[3]

Беллетристический талант В. Соллогуба неоспорим. И если от этого писателя осталось так мало — «Тарантас» и несколько повестей, то трудно объяснить такой скромный итог одними только личными качествами Соллогуба, о которых, впрочем, не стоит забывать. Прозаик этот пришел в русскую литературу в конце 30-х годов, в сложную переходную пору, когда романтизм клонился уже к упадку, а его высокие идеалы и ценности осмеивались или же разменивались шумными «гениями» на мелкую монету громких фраз и дешево добытого успеха, что, кстати, тут же было описано в романтических повестях (см. «Идеал» Е. А. Ган и «Приезжий из уезда, или Суматоха в столице» А. Ф. Вельтмана). Губительная ирония Барона Брамбеуса все разъедала и подвергала сомнению, а Марлинский говорил в повести «Фрегат «Надежда»: «Наклонность нашего времени — разрушать все нелепое и все священное старины: предрассудки и рассуждения, поверья и веру. Век наш — истинный Диоген: надо всем издевается»[4].

И Соллогубу-прозаику не чуждо это ироническое, лишенное прежней романтической непосредственности и веры отношение к литературе как к «горизонтальной» беллетристике. И опять-таки

---

[1] Соллогуб В. А. Три повести. М., Сов. Россия, 1978, с. 99.
[2] Панаев И. И. Литературные воспоминания. Л., Гослитиздат, 1950, с. 270.
[3] Литературное наследство, т. 90, кн. 2. М., Наука, 1979, с. 279.
[4] Бестужев-Марлинский А. А. Собр. соч., т. 2, с. 99.

в этом надо видеть не только судьбу таланта, но и судьбу направления. Достаточно прочитать его нашумевшую повесть «История двух калош» (1839), о которой современник писал: «Успех его «Истории двух калош» был огромный и в литературе и в публике. Повесть эта читалась всеми нарасхват. Критика с увлечением приветствовала ее и начала смотреть на Соллогуба как на одну из надежд русской литературы. Белинский был от нее в восторге»[1]. Если мы сравним повесть Соллогуба с ценимой Пушкиным музыкальной новеллой В. Ф. Одоевского «Последний квартет Бетховена» (1830), то сразу увидим разительную эволюцию русской романтической повести.

У Одоевского показана трагедия романтического гения, но мы видим и его величие, нисколько не сомневаясь в романтизме, его правде и силе. Соллогуб через восемь лет повествует уже о гибели романтизма, неизбежной смерти всего возвышенного. В его повести великий Бетховен появляется лишь на мгновение, погруженный в свой дивный мир внутренней, духовной музыки, быстро чертит на стене ноты гениальной мелодии и исчезает навсегда. Его судьба автора не интересует, став символом ушедшего высокого романтизма. Соллогуб в своем музыканте Шульце хотел показать и показал другое — быстрое снижение романтизма и его неизбежную гибель в столкновении с прозаической реальностью. Символ этой обыденной, даже пошлой жизни — калоши, которыми уплачено за музыку и вдохновение. Умирает мечтательный романтический герой, не нужно и его высокое искусство, убитое корыстным ремеслом. «Мы живем в веке поддельном. Ныне под все можно подделаться, даже под искусство», — сказано в «Истории двух калош». Эта повесть В. Соллогуба подводит черту под всеми многочисленными повестями романтиков о возвышенных музыкантах и художниках и является своего рода прощанием русской прозы с эпохой романтизма. После «Истории двух калош» возможны были лишь петербургские повести и «Ревизор» Гоголя, «Герой нашего времени» Лермонтова, проза «натуральной» школы и молодого Достоевского.

Повестями Соллогуба история жанра, точнее — история одной его разновидности, как бы завершается, и это еще раз напоминает нам о стремительности развития русской романтической повести, в полтора десятилетия достигшей наивысшего расцвета и затем уступившей свое место другим литературным явлениям. За это время повесть показала жизнь большого света, чиновников, помещиков, армии, купечества, крестьянства, людей искусства, сделала своими героями финнов, черкесов, татар, черемисов и других представителей народов России, проявила интерес к темам соци-

[1] Панаев И. И. Литературные воспоминания, с. 270.

альным и этическим и даже попыталась, пусть неудачно, стать романом о тогдашней действительности (см. «Владимира Паренского» Д. Веневитинова, «Две жизни» И. Киреевского, «Княгиню Лиговскую» М. Лермонтова). Сделано многое. Но это далеко не все, не вся история жанра.

Быстрота развития и чрезвычайная пестрота тем и эпох не должны заслонять от нашего взгляда другую особенность русской романтической повести — ее существенную многоликость, способность идти самыми несходными путями. История этого жанра не исчерпывается, разумеется, «марлинизмом», журнальной беллетристикой «Московского телеграфа» и «Библиотеки для чтения». Здесь мы сталкиваемся не только с несопоставимыми дарованиями, с произведениями, как бы отрицающими друг друга, но и с разными воззрениями на природу и назначение романтической повести, ее роль в отечественной словесности.

Романтизм многолик, и нельзя его судить по правилам искусства реалистического. Иногда он приближался к действительности, но чаще от нее убегал, стремясь в возвышенный, как бы парящий над обыденной землей мир чувств, мечты, тайны и чудесного. Романтики видели в своем искусстве особый путь познания таинственной сферы жизни. И потому в литературе Западной Европы рядом с Виктором Гюго и молодым Бальзаком существуют мечтательные немецкие фантасты Новалис и Э. Т. А. Гофман. И в России постепенно рождается целая фантастическая словесность, от баллад Жуковского быстро перешедшая к романтическим повестям. Эту словесность связывали с немецкой стихией, именовали «русским гофманизмом», чистым подражанием. И все же романтическая фантастика — явление вполне самобытное.

Внутри русского романтизма сразу же возникла решительная оппозиция фантастике, «таинственным» повестям. Марлинский гневно порицал «непонятного» немца Гофмана, а Н. Полевой поместил в своем журнале суровый отзыв о фантастической книге романтика Антония Погорельского «Двойник», где говорил: «Одно из следствий немецкого образа писанья повестей есть грусть, которую наводят немецкие повести, показывая человека в таком странном отношении, что слабость его или зыбкость ума и нетвердость горделивого самопознания раскрываются слишком явно. Есть стороны в душе человека и общества, которых не должно трогать»[1]. Однако сам Погорельский был иного мнения: «Человек имеет особенную склонность ко всему чудесному, ко всему, выходящему из обыкновенного порядка»[2].

---

[1] Московский телеграф, 1828, ч. XX, № 7, апрель, с. 362.

[2] Погорельский А. Двойник, или Мои вечера в Малороссии.— Монастырка. М., Гослитиздат, 1960, с. 30.

Как видим, спор в среде писателей-романтиков начался сразу, различные течения внутри романтической прозы быстро определились и столкнулись, и читатели выслушали обе стороны. И несмотря на все нападки литературных противников, романтическая фантастика победила, заняла в читательском сознании полноправное место рядом со «светскими» и «кавказскими» повестями. Погорельский оказался прав: смутная жажда чудесного жила в душе российского читателя. Фантастическая повесть эту жажду превратила в напряженный осознанный интерес и страсть к познанию, заговорив о тех явлениях и сторонах жизни, которые Николай Полевой умолял не затрагивать.

Кто же этот таинственный Антоний Погорельский, положивший начало примечательному расколу в стане русских романтиков? Таков был литературный псевдоним Алексея Алексеевича Перовского (1787—1836), внебрачного сына екатерининского вельможи графа А. Разумовского, одного из блестящих талантов романтической эпохи. Примечательно, что первым фантастом-прозаиком русского романтизма становится именно этот человек, поклонник Карамзина, соратник Жуковского и Вяземского, в молодости писавший сентиментальные идиллии и баллады. Его появление в рядах писателей-романтиков говорит о быстроте настоятельно необходимых перемен в русском художественном сознании. Один человек смог побывать сразу в двух литературных эпохах и из сферы исчерпавшего себя чувствительного карамзинского сентиментализма сумел быстро переместиться в новый таинственный мир романтических чудес и приключений.

В личной судьбе и литературных воззрениях Перовского многое изменила гроза 1812 года. Подобно многим русским писателям, он надел военный мундир и принял участие в Отечественной войне и заграничном походе русской армии, отличившись в партизанских действиях и в сражениях под Дрезденом и Кульмом. В 1813 году лихой штаб-ротмистр Перовский стал адъютантом своего зятя князя Репнина, русского генерал-губернатора Саксонии, и два года провел в Дрездене, изучая новейшую немецкую литературу и посещая писателей, художников и ученых.

Надобно отметить, что Дрезден был одним из основных литературных центров Германии, и романтическая стихия царила здесь, привлекая читателей. Достаточно сказать, что одновременно с Перовским в Дрездене жил сам великий Эрнст Теодор Амадей Гофман, чей гений поражал всех причудливостью, яркостью фантастики и неистощимой изобретательностью.

Нет данных о знакомстве немецкого и русского писателей. Однако известно, что будущий автор «Двойника» посещал литературные салоны Дрездена, встречался с немецкими писателями и

следил за книжными новинками. Волшебные сказки и повести Людвига Тика, Гофмана, Брентано, словом, вся таинственная и обаятельная атмосфера немецкого романтизма — вот что заставило Перовского понять архаизм и наивность уходящего в прошлое сентиментализма и принять новое литературное явление. Бывший карамзинист становится внимательным учеником немецких романтиков. Но ученичеством не ограничивается. В «Двойнике» и запечатлен этот путь русского писателя к оригинальной романтической фантастике — через сентиментальную балладу в прозе «Изидор и Анюта» и откровенное подражание немецкому романтизму (повесть «Пагубные последствия необузданного воображения», этот точный сколок с Гофманова «Песочного человека») к первой оригинальной русской фантастической повести «Лафертовская маковница» (1825). Вместе с тем это и путь всей фантастической прозы русского романтизма.

«Лафертовскую маковницу» иногда понимали как подражание, типичную гофманианскую повесть, где быт лишь оттеняет самоценную романтическую фантастику — страшную колдунью, черного кота-оборотня, вдруг превратившегося в титулярного советника, таинственную сцену магического гадания, сны и видения. Но все дело в том, что «низменный быт» интересует романтика Перовского ничуть не меньше, чем явления фантастические. Подробное описание жизни простого русского люда дано в «Лафертовской маковнице» задолго до «физиологических» очерков «натуральной» школы. Не случайно Пушкин, внимательно перечитывавший «Лафертовскую маковницу», восхитился именно бытовыми картинками Перовского[1] и в известной мере следовал за ним в «Повестях Белкина» и особенно в «Гробовщике», где упомянут почтальон Онуфрич. Эта традиция занимательного, юмористического бытописания зародилась в прозе романтизма, и здесь с «Лафертовской маковницей» сопоставимы многие романтические повести, и прежде всего знаменитая «Черная немочь» писателя и историка Михаила Петровича Погодина (1800—1875), в которой задолго до А. Островского воспроизведен трагический конфликт[2] идеальной романтической души с низменным «темным царством» купеческого быта

---

[1] В 1825 году поэт писал из Михайловского брату: «Душа моя, что за прелесть бабушкин кот! Я перечел два раза и одним духом всю повесть, теперь только и брежу Тр<ифоном> Фал<алеичем> Мурлыкиным. Выступаю плавно, зажмуря глаза, повертывая голову и выгибая спину. Погорельский ведь Перовский, не правда ли?» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. XIII, с. 157).

[2] Именно этот трагизм и был высоко оценен Пушкиным, чей отзыв о «Черной немочи» записан в дневнике Погодина: «Хвалит очень, много драматического и проч.» (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2. М., Худож. лит., 1974, с. 16).

и нравов, показанным автором во всех подробностях. Романтический герой гибнет в этом жестоком столкновении.

В «Лафертовской маковнице», как и в повести Погодина, обыденный быт окружает романтический мир тайны и чудесного и в конце концов побеждает его. И это изменяет саму природу фантастики. В повести Перовского не только быт, но и сама фантастика народна, национальна, взята из народных поверий и сказок, распространенных среди простого люда. Писатель-романтик мастерски балансирует на грани между реальным и фантастическим, не преступает ее и в конце концов оставляет своего читателя в неведении относительно того, были ли на самом деле все эти чудесные приключения с ведьмой и черным котом. В «Лафертовской маковнице» фантастика как бы завуалирована, все время ставится автором под сомнение и наталкивается на заранее определенные границы. Недаром романтическая критика именно за это хвалила повесть Перовского: «В ней фантазия не преступает позволенных границ чудесного — и все образы, несмотря на сумрак, в который облечены, яснее и живее говорят воображению и даже оставляют приятное впечатление»[1].

Действительно, фантастика у Перовского становится веселой, занимательной и, если можно так выразиться, доброй и светлой. И это-то делает русского романтика несхожим с глубоко трагическим художником немецкого романтизма Гофманом, ощущавшим свою жизнь как «горький опыт — столкновение поэтического мира с прозаическим»[2]. Творческая мысль Перовского и в фантастическом сохраняет память о реальности. Для него фантастика — это средство, а не самоцель. И это характерно для всей русской романтической фантастики.

Более того, такое понимание фантастики стало общим для всей русской литературы законом, и закон этот сформулировал немало почерпнувший у романтиков Достоевский: «Фантастическое в искусстве имеет предел и правила. Фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что Вы должны *почти* поверить ему»[3]. Такова фантастика русских романтиков, Пушкина, Гоголя, Лермонтова и самого Достоевского.

Вместе с тем надо помнить, что фантастика не только развлекала. С ней в литературу русского романтизма пришла тема мирового зла, трагического уклонения от правильного пути, сознательного демонизма и отказа от законов правды и добра. В фантастических повестях злая сила начинает бороться с человеком и

---

[1] Московский вестник, 1828, ч. X, № 14, с. 162.

[2] Гофман Э. Т. А. Крейслериана. Житейские воззрения кота Мурра. Дневники. М., Наука, 1972, с. 467.

[3] Ф. М. Достоевский об искусстве. М., Искусство, 1973, с. 444.

иногда побеждает, заключает с ним преступный и гибельный союз. Так в русской литературе возникает тема преступления и наказания. Очевидно, что тема эта — философская. Обратившись к ней, русский романтизм вступил на путь глубокого осмысления неидеальной, дисгармоничной действительности и противоречивой природы человеческого духа.

Очевидно, что тема эта давала нашим писателям богатейшие возможности для творческого понимания и изображения русской жизни и человека. Именно поэтому так внимателен был к литературе романтизма Пушкин.

Как всегда, поражает широта и проницательность пушкинского взгляда. Он сумел увидеть проблему фантастического во всей ее многосмысленности и исторической динамике. Пушкин сразу нашел основной источник романтической фантастики — «таинственную» повесть знаменитого французского мистика и масона Жака Казота «Влюбленный дьявол», опубликованную в 1772 году и уже в 1794 году переведенную на русский язык (этот перевод наряду с французским оригиналом имелся в пушкинской библиотеке). Затем он сам попробовал силы в освоении этой темы, чему свидетельство — неосуществленный замысел «таинственной» повести «Влюбленный бес». И наконец Пушкин этот замысел осуществляет, но делает это весьма любопытным и неожиданным образом.

Само название жанра повести произошло от глагола «повествовать», то есть рассказывать. И Пушкин, долго размышлявший над романтическим сюжетом, предпочел именно *рассказать* его. Здесь надобно вспомнить высочайшее искусство пушкинского чтения, неизменно потрясавшее и увлекавшее современников. Анна Петровна Керн, услышавшая этот близкий к импровизации вдохновенный рассказ поэта, потом писала: «Ничто не могло сравниться с блеском, остротою и увлекательностью его речи. В одном из таких настроений он, собравши нас в кружок, рассказал сказку про *Черта*, который ездил на извозчике на Васильевский остров»[1]. Керн вспоминает, что этот светский кружок следовал тогдашней моде на чудесное и сверхъестественное, и расценивает «сказку» Пушкина как своего рода дань моде, салонное развлечение. Однако среди слушателей был человек, расценивший сказку иначе.

«Архивный юноша» Владимир Павлович Титов (1807—1891), талантливый эстетик, любомудр, друг В. Ф. Одоевского и Тютчева, понял скрытую в пушкинской «таинственной» повести глубокую мысль о страшной власти денег, зла и преступления над человеком и решил сохранить ее для читателей. Он так позднее рассказывал историю публикации «Уединенного домика на Васильев-

[1] Керн А. П. Воспоминания. Дневники. Переписка. М., Худож. лит., 1974, с. 34.

ском»: «В строгом историческом смысле это вовсе не продукт Космократова (псевдоним Титова. — *В. С.)*, а Александра Сергеевича Пушкина, мастерски рассказавшего всю эту чертовщину уединенного домика на Васильевском острове, поздно вечером, у Карамзиных, к тайному трепету всех дам... Апокалипсическое число 666, игроки-черти, метавшие па карту сотнями душ, с рогами, зачесанные под высокие парики, — честь всех этих вымыслов и главной нити рассказа принадлежит Пушкину. Сидевший в той же комнате Космократов подслушал, воротясь домой, не мог заснуть почти всю ночь и несколько времени спустя положил с памяти на бумагу. Не желая, однако, быть ослушником ветхозаветной заповеди «не укради», пошел с тетрадью к Пушкину в гостиницу Демут, убедил его прослушать от начала до конца, воспользовался многими, поныне очень памятными его поправками, и потом, по настоятельному желанию Дельвига, отдал в «Северные цветы»[1]. Рассказанная Пушкиным повесть «Уединенный домик на Васильевском» была опубликована в записи Титова под его обычным псевдонимом «Тит Космократов» в альманахе Дельвига «Северные цветы на 1829 год».

История публикации «Уединенного домика на Васильевском», как видим, чрезвычайно занимательная. Да и сама «сказка» Пушкина представляет немалый интерес. Есть, конечно, соблазн прочитать ее как зашифрованную автобиографию поэта: любовь к «беззаконной комете в кругу расчисленном светил», полной причуд и страстей светской «львице» Закревской (в повести — графиня И.) и одновременно к ангелоподобной и не очень далекой Анет Олениной (Вера), неистовая ревность и «бездна разврата», картеж, друг — предатель и демон А. Н. Раевский (Варфоломей), большой свет как «филиал ада» (салон графини И.) и т. п.[2]

Однако такое прочтение, само по себе ценное и нужное, не должно заслонять от нас очевидного факта — постоянного и напряженного интереса Пушкина к романтической фантастике, к «таинственной» повести. Поэт нашел в этих художественных формах способ выразить свои мысли о мире и человеке, о судьбе, любви, преступлении и наказании, поместив эти весомые проблемы в тесное внутреннее пространство повести. Интерес к фантастической повести Казота, собственный замысел «Влюбленный бес», «сказка» «Уединенный домик на Васильевском» — это лишь отдельные свидетельства об огромной и целеустремленной внутренней творче-

---

[1] Дельвиг А. И. Полвека русской жизни, т. I. М.— Л., Academia, 1929, с. 85—86.

[2] Так и была прочитана повесть поэтом и пушкинистом Анной Ахматовой. См.: Ахматова А. О Пушкине. Статьи и заметки. Л., Сов. писатель, 1977, незавершенная статья «Пушкин в 1828 году».

ской работе пушкинского гения, приведшей в конце концов к созданию «Пиковой дамы» — шедевра русской и мировой литературы. Ясно, что все эти вещи тесно связаны и гениальная «Пиковая дама» порождена творческим самобытным осмыслением опыта западноевропейских и русских романтиков, их фантастических повестей.

Интересен и союз Пушкина с романтиком-любомудром Титовым. Поэт легко отдал свою повесть Титову и даже внес в ее текст важные поправки, может быть собственноручные. Очевидно, что в этом творческом союзе (сейчас мы сказали бы: в соавторстве) Пушкин — учитель, а Титов — прилежный ученик. Ученые пытались в «Уединенном домике на Васильевском» отделить «пушкинское» от «титовского». Вряд ли это возможно. Важно другое: Каков был пушкинский урок, чему научился романтик Титов?

На этот вопрос ответили не пушкинисты, а поэт начала нашего века Федор Сологуб, обративший внимание на характерный признак пушкинско-титовского повествования: «Этот признак — мудрое и бережливое пользование изобразительными средствами и подробностями рассказа. Это одно позволяет думать, что рассказ записан со слов Пушкина чрезвычайно внимательно, с тем уважением к каждому его слову, которым должны были отличаться люди, имевшие великое счастье слушать самого Пушкина, и с тою свежестью и остротою памяти, которая нам, людям газетных сведений и суетливой ежедневной спешки, уже недоступна и отчасти даже непонятна»[1].

Русский романтизм в лице любомудра Титова принял и усвоил пушкинскую манеру творческого мышления и сохранил ее в «таинственной» повести «Уединенный домик на Васильевском». В свою очередь Пушкин в этой повести умело воспользовался идеями и образами литературы романтизма, отлично ему известными и отчасти близкими и необходимыми, для достижения собственных творческих целей. Это превращает «Уединенный домик на Васильевском» в уникальный литературный памятник, без которого нам будут не до конца ясны литературная эволюция великого поэта и пути развития русской романтической повести, отечественной фантастики.

Наивысшего развития достигает русская фантастическая повесть в творчестве Владимира Федоровича Одоевского (1803—1869). Творчество этого писателя-романтика многолико. «Князь В. Ф. Одоевский в наше время есть самый многосторонний и самый разнообразный писатель в России... Создавши множество своеобразных

---

[1] Уединенный домик на Васильевском. Рассказ А. С. Пушкина по записи В. П. Титова/ Послесл. П. Е. Щеголева и Федора Сологуба. Спб., 1913, с. 58.

форм изложения истин, он обнаружил в себе писателя независимого и оригинального»[1], — отмечал в 1844 году критик П. А. Плетнев, рецензируя итоговое для Одоевского трехтомное собрание сочинений. Действительно, автор «Русских ночей» писал «светские» повести, обрабатывал народные предания и фантастические сюжеты («Игоша», «Необойденный дом»), создавал занимательные истории в духе западноевропейских остросюжетных новелл («Imbroglio», «Привидение») и «таинственные» повести. И все эти очень разные вещи соединены в цельное творчество единством писательской мысли и взгляда, интересом к постижению глубинного смысла жизни вообще и русской жизни в частности, внутренней связи ее различных явлений и эпох. Романтическая повесть у Одоевского насыщена мыслью, поисками смысла бытия и назначения человека. И потому ее можно (вслед за теоретиком той эпохи Н. И. Надеждиным) назвать философической. Это именно философствование, но ведется оно не в чистых абстракциях, а в художественных образах, творчески. Образы философических повестей Одоевского движимы не только творческим сознанием, но и целостным миросозерцанием, соединяющим отдельные произведения в цикл. Это потребовало иного, более плотного наполнения жанра, новой организации внутреннего пространства романтической повести. В результате изменился ее удельный вес, повесть стала вбирать в себя могучих героев, колоссальные личности с поучительной судьбой (Бах, Бетховен, Пиранези), историю целых цивилизаций («Город без имени» и «Последнее самоубийство»), весомые проблемы и идеи. А пестрота повестей Одоевского объясняется тем, что автор, находя все новые и новые формы для своих мыслей, «часто неожиданно ставит читателя на совершенно новую точку зрения на жизнь»[2]. Действительно, главная тема писателя — это, по его собственному признанию, «жизнь человека, представленная с различных сторон поэтического воззрения»[3].

В портретной галерее деятелей пушкинской поры лицо Одоевского привлекает внимание спокойной энергией, ясным, твердым взглядом серо-голубых глаз, отразившейся в них напряженной работой глубокой самобытной мысли. Как точно заметил знавший писателя немецкий философ Шеллинг, «это остается в глазах и есть такой верный признак, которого никак подделать нельзя»[4]. На портретах Одоевского той поры изображен не бурный романтический «гений», тонкий мечтатель-лирик или же иронический скеп-

---

[1] Плетнев П. А. Сочинения и переписка, т. II. Спб., 1885, с. 461—462.

[2] Кениг Г.-Й. Очерки русской литературы. Спб., 1862, с. 155.

[3] Одоевский В. Ф. Соч., ч. III. Спб., 1844, с. 44.

[4] Одоевский В. Ф. Беседа с Шеллингом.— В кн.: Писатель и жизнь. М., 1978, с. 177.

тик. Это именно русский мыслитель, деятельный, всеобъемлющий ум, упрямо стремящийся к «воссоединению всех раздробленных частей знания». Таким пришел молодой любомудр Одоевский в отечественную литературу пушкинской прозы, таким навсегда запечатлен он в ее истории.

Фантастические повести, созданные этим своеобычным писателем-мыслителем, философичны и многосмысленны. И всюду здесь романтическая фантастика тайны и чудесного окружена реальнейшим русским бытом. Суровая действительность все время теснит причудливую романтику и налагает жесткие ограничения на сферу фантастического. Очевидно, что у Одоевского фантастика — лишь средство, а не самоцель. Его «таинственные» повести служат беспощадной социальной сатире, критике неидеальной действительности и утверждению высоких романтических идеалов и всеобъемлющих духовных исканий. Поэтому повести Одоевского так легко срастаются в циклы. И главная книга писателя «Русские ночи» составлена из романтических повестей, соединенных целостной авторской идеей, органичным миросозерцанием мыслителя-романтика.

Владимир Одоевский был свидетелем и участником нескольких эпох развития русской классической литературы, и круг его знакомств включал в себя Пушкина и Лескова, Грибоедова и Льва Толстого, композиторов Глинку и Рихарда Вагнера, немецкого мыслителя Шеллинга и нашего философа Чаадаева. И все же только одна эпоха и одно писательское имя определяют и объясняют жизненную судьбу и писательский путь Одоевского. Пушкин, собравший вокруг себя блистательную плеяду самобытных дарований, понял природу личности и таланта молодого писателя и точными советами и собственным примером помог ему обрести свое место в общем движении русской литературы. Более того, великий поэт приветствовал работу Одоевского над «Русскими ночами». Когда появилась первая повесть этого цикла, любомудр А. И. Кошелев сообщил писателю: «Пушкин весьма доволен твоим «Квартетом Бетховена»... Он находил, что ты в этой пьесе доказал истину весьма для России радостную; а именно, что возникают у нас писатели, которые обещают стать наряду с прочими европейцами, выражающими мысли нашего века»[1].

Личность и творчество писателя-романтика В. Одоевского являют собой одно из характернейших явлений пушкинской эпохи. Лучше всего сказал об этом в письме к писателю его друг Кюхельбекер: «...Ты... *наш:* тебе и Грибоедов, и Пушкин, и я завещали все наше лучшее; ты перед потомством и отечеством представитель нашего времени, нашего *бескорыстного* стремления к художествен-

[1] Русская старина, 1904, № 4, с. 206.

ной красоте и к истине безусловной»[1]. И Одоевский всегда пребывал верен этому завету. В его творчестве с особенной ясностью виден плодотворный союз русского романтизма в лучших его явлениях с пушкинской эпохой[2].

В 30-е годы романтическая повесть становится главным жанром отечественной прозы, превращается в своего рода творческую лабораторию, школу прозаиков, через которую проходят все писатели той эпохи. Повесть давала им простор и немалые возможности для смелого художественного изобретения, для выражения романтических идей. Поэтому к повести обращаются в начале своего пути молодые Гоголь и Лермонтов, вступавшие в литературу как романтики. Их раннее творчество до конца понятно и объяснимо лишь в сопоставлении с кругом философских и творческих идей литературы русского романтизма.

Гоголь приходит в литературу с двумя томиками своих повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831—1832). Причудливый колорит этих повестей, их затейливые метафоры, использование народных поверий, черти, колдуны и ведьмы, вся эта фантастика, то страшная («Страшная месть», жуткий Басаврюк и т. п.), то светлая и веселая («Сорочинская ярмарка», «Ночь перед рождеством»), — все это отнюдь не противоречило законам романтического творчества. Напротив, современниками эта книга была воспринята как царство романтической стихии. Молодой Гоголь приветствуется именно романтиками как близкий, более того, родственный им талант.

В 1831 году В. Ф. Одоевский высоко оценил «Вечера...» и отметил, что повести Гоголя «выше и по вымыслу, и по рассказу, и по слогу всего того, что доныне издавали под названием русских романов»[3]. Романтик Е. А. Боратынский, получив в 1832 году от Гоголя его книгу повестей, писал: «Слог его жив, оригинален, исполнен красок и часто вкуса... Нашего полку прибыло»[4]. Наконец, молодой критик-романтик Белинский восхищался «Вечерами...» Гоголя в своей знаменитой статье «Литературные мечтания» (1834). Более того, романтики именно повести Гоголя избирают своим главным аргументом в своем споре с Пушкиным — автором прозаических, на их взгляд, «Повестей Белкина». В 1831 го-

[1] Отчет имп. Публичной библиотеки за 1893 год. Спб., 1896, с. 71.

[2] Подробнее см.: Сахаров В. И. О жизни и творениях В. Ф. Одоевского.— В кн.: Одоевский В. Ф. Соч. в 2-х т., т. 1. М., 1980.

[3] Труды кафедры русской литературы Львовского гос. ун-та, вып. 2. Львов, 1958, с. 72.

[4] Боратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. М., Гослитиздат, 1951, с. 517.

ду близкий к любомудрам литератор и переводчик В. Д. Комовский, сравнивая «Вечера...» Гоголя с пушкинским «Гробовщиком», с нескрываемой иронией писал поэту-романтику Н. М. Языкову: «Поживя в такой тесной связи с ведьмами и колдунами, не заслушаешься москаля, который думает, что и бог весть как игриво его воображение, создавшее высокий помысел о пьяном гробовщике, который во сне угощает мертвецов»[1].

Гоголевская ранняя проза с ее яркостью, пышностью метафор теснейшим образом связана с повестями романтиков, и в этой связи становятся понятны слова, вскользь сказанные Львом Толстым Горькому: «Гоголь подражал Марлинскому»[2]. И следы этой романтической манеры навсегда остаются в стиле гоголевского повествования, что отнюдь не противоречит оценке зрелого Гоголя как реалиста. Ведь не случайно чуткий критик В. П. Боткин в 1842 году сравнивал гоголевскую повесть «Рим» с ярко романтической живописью К. Брюллова: «Между колоритом и манерою Брюллова и языком и колоритом Гоголя сходство необыкновенное»[3]. Этот романтический колорит и фантастика характерны и для первой редакции гоголевской повести «Портрет», где, как и в «Уединенном домике на Васильевском», «Пиковой даме» и «таинственных» повестях В. Ф. Одоевского, говорится о зле, страшном падении человека, талантливого художника, о безжалостной профанации и гибели высокого романтического искусства. И эта мысль писателя сопоставима с кругом идей западноевропейских и русских романтиков и воплощена во вполне романтической творческой манере. Не случайно Белинский сравнивал первую редакцию «Портрета» с повестями Марлинского и Гофмана, а Аполлон Григорьев соединял имена Гоголя и В. Ф. Одоевского. Поэтому гоголевская повесть должна рассматриваться в общей эволюции русской романтической прозы, тем более что незримая нить литературной преемственности соединяет «Портрет» с «Двойником» и «Хозяйкой» молодого Достоевского и с лермонтовской «таинственной» повестью «Штосс».

Еще теснее связь М. Ю. Лермонтова с романтизмом. Общеизвестно, что молодой поэт всеми воспринимался как чистый романтик. Да он и был им — и в прозе, и в поэзии. Даже когда в журналах стали появляться первые повести, составившие впоследствии

---

[1] Садовников Д. Н. Отзывы современников о Пушкине.— Исторический вестник, 1883, т. XIV, декабрь, с. 533.

[2] Л. Н. Толстой об искусстве и литературе, т. II. М., Сов. писатель, 1958, с. 140. В этом толстовском отзыве характерно и сопоставление Гоголя с романтиком Вельтманом — «хорошим писателем, бойким, точным, без преувеличений».

[3] Отчет имп. Публичной библиотеки за 1889 год. Спб., 1893, с. 46.

роман «Герой нашего времени», взгляд на Лермонтова как на романтика не переменился. «Как хорошо рассказана «Бэла», лучше Марлинского»[1], — отмечал Н. Ф. Павлов. Ему вторил другой романтик — поэт А. С. Хомяков: «Лермонтов написал повесть превосходную и по содержанию и по рассказу — «Бэла». В роде Марлинск., но лучше»[2]. Слово «лучше», не случайно дважды здесь употребленное, конечно же означает, что Лермонтов не просто писал повести «лучше» Марлинского, но и пошел дальше этого романтика, учитывая при этом его творческий опыт. В романе он смотрит на своих героев-романтиков Печорина и Грушницкого как бы со стороны. Но рождается такой взгляд уже после познания их внутреннего мира, жизни сердца, вполне доступного романтической повести.

Надо помнить и о том, что творческая биография Лермонтова завершается отнюдь не «Героем нашего времени». В апреле 1841 года В. Ф. Одоевский, часто встречавшийся с Лермонтовым в салоне Карамзиных, на музыкальных вечерах графа М. Ю. Виельгорского и в своем литературном салоне, подарил поэту записную книжку. Следует напомнить, что Лермонтов и Одоевский были в дружеских отношениях и, несмотря на разницу в летах, говорили друг другу «ты». Причем это было не простое светское знакомство, а дружба писателей, творческий союз. Характерно, что именно в записной книжке Одоевского Лермонтов набрасывает план фантастической повести «Штосс». Повесть осталась незавершенной. Но сохранившийся текст позволяет судить о том, что лермонтовская повесть и по теме (таинственный оживающий портрет, игра в карты с привидением, призрак красавицы, страдания художника), и по манере письма вполне романтическая, сопоставима с «Пиковой дамой», с гоголевским «Портретом» и повестями В. Одоевского.

Писатель возвращается к таинственному и чудесному, к фантастике и романтическому характеру. Есть здесь и элементы «светской» повести: салонный диалог-поединок Лугина и Минской вполне соответствует правилам повествования Марлинского, хотя здесь ощутим, конечно, и опыт работы над «Героем нашего времени». Примечательно, что и в конце жизни, на закате русского романтизма Лермонтов не пренебрегает немалыми возможностями романтической повести. Фантастическое появляется в его прозе тогда, когда в нем возникает потребность. «Он самые разнородные стихи умеет спаять в стройное целое»[3],— говорил о Лермонтове романтик старшего поколения. Романтическая стихия органично входит в

[1] Отчет имп. Публичной библиотеки за 1892 год, с. 95.
[2] Хомяков А. С. Полн. собр. соч., т. VIII. М., 1904, с. 90.
[3] Кюхельбекер В. К. Путешествие..., с. 417.

состав целостного лермонтовского творчества, и одно из доказательств этого — фантастическая повесть «Штосс».

«Таинственные» повести В. Ф. Одоевского, «Штосс» Лермонтова, гоголевский «Портрет», «Пиковая дама» Пушкина — это вершины русской фантастической повести, либо непосредственно порожденные романтизмом, либо связанные с ним генетически. Но в 30—40-е годы за мастерами фантастического рода уже виднелась поднимающаяся волна эпигонства, целая когорта подражателей, воспользовавшихся очередной причудой литературной моды.

Фантастическая повесть стала чрезвычайно популярна в читательской среде. В салонах и гостиных стали рассказываться страшные истории о чудесах, привидениях, магии и поисках эликсира жизни, устраивались «серапионовские вечера» в подражание знаменитой книге немецкого романтика Гофмана. Интересно, что писатель И. Панаев, чьи литературные вкусы сформировались в романтическом кружке Н. Кукольника, дал в повести «Родственники» портрет рядового читателя фантастических повестей: «Гофман, Тик, Уланд, Жан-Поль Рихтер были настольными книгами Ивана Федоровича. Действительная, практическая жизнь не имела для него никакой поэзии, никакого интереса... Он бродил ощупью в туманных, фантастических мирах и был совершенно глух и слеп для действительной жизни — решительно не ведая, что делается у него под носом»[1]. Именно для такого читателя создается развлекательная фантастика, характерная для книг Н. А. Мельгунова «Рассказы о былом и небывалом» (1834), В. Н. Олина «Рассказы на станции» (1839) и др. В этих циклах романтических повестей ценятся прежде всего занимательность, остросюжетность. Здесь происходит мельчание и падение жанра романтической повести.

Впрочем, существование малодаровитых подражателей не компрометирует саму традицию. Философско-фантастическая проза русского романтизма включала в себя немало способных писателей, чьи произведения как бы служили фоном для творческих исканий больших талантов. И здесь стоит назвать несколько имен, без которых история фантастической повести будет неполной.

Орест Михайлович Сомов (1793—1833), критик и прозаик, принадлежал к довольно малочисленному тогда кругу профессиональных журналистов, был близок к декабристам и даже сидел в Петропавловской крепости, откуда его выпустили за недостатком улик. С 1827 года Сомов сблизился с пушкинским окружением, помогал Дельвигу в его издательских делах и сам стал пробовать силы в художественной прозе, публикуя повести в журналах и альманахах. Его повесть «Киевские ведьмы» (1833), помещенная в зна-

[1] Панаев И. И. Избранные произведения. М., Гослитиздат, 1962, с. 402.

менитом альманахе А. Ф. Смирдина «Новоселье» рядом с произведениями Пушкина и Сенковского, представляет немалый интерес.

Сомов обработал в «Киевских ведьмах» украинские народные поверья и легенды и сделал это опытной рукой профессионального литератора. Не случайно Пушкин использовал сюжет этой повести в веселом стихотворении «Гусар». Но Сомов обработал в том же романтическом стиле и историю Украины. Прочитайте начало «Киевских ведьм», и вы обнаружите в описаниях казацких подвигов и в возвышенно-героической фигуре Федора Блискавки сходство с гоголевским героико-романтическим эпосом «Тарас Бульба» (1834). Это, конечно, не заимствование, но одно и то же отношение к украинской истории, народному творчеству, стремление сотворить из них возвышенную романтическую легенду, превратившуюся в повесть. «Киевские ведьмы» романтика Сомова сопоставимы с гоголевскими повестями из украинской жизни и являют собой любопытную страничку истории русской романтической прозы.

В 30-е годы к романтической фантастике обращается и известный автор исторических романов Михаил Николаевич Загоскин (1789—1852). Обращение этого весьма прямолинейного и консервативного человека, литературного старовера к таинственным историям о привидениях в известной мере неожиданно. Тем не менее Загоскин написал целый цикл фантастических повестей «Вечер на Хопре» и поместил его в «Библиотеке для чтения» Сенковского.

Цикл этот представляет собой ставшую традиционной для романтиков цепочку фантастических повестей, объединенных рассказчиками этих историй и местом и временем повествования. Конечно, «таинственные» повести этого писателя трудно сравнивать с произведениями Пушкина, Гоголя и Лермонтова. «Загоскин не блистательный талант, но человек, хотя несколько и ограниченный, с теплою душою и русским умом»[1], — заметил Кюхельбекер. В повестях «Вечера на Хопре», представленных у нас «Нежданными гостями», видно мастерство рассказчика, ровное, спокойное повествование, показан русский провинциальный быт, вдруг растревоженный вторжением злых и таинственных сил и попавший во власть страшного сна. Романтическая повесть Загоскина дает нам представление о том, что же обычно читали люди пушкинской поры. Повесть эту интересно читать и сегодня.

Поэт Константин Сергеевич Аксаков (1817—1860) пришел в прозу русского романтизма в ту пору, когда уже были достаточно разработаны ее основной жанр — повесть и само повествование. Он побывал в романтической Германии, изучал философию и эстетику Гегеля, был участником знаменитого кружка Н. В. Станкевича. Особое место в жизни молодого К. С. Аксакова занимало

[1] Кюхельбекер В. К. Путешествие..., с. 429.

увлечение творчеством Шиллера и литературой немецкого романтизма, в частности фантастическими повестями Э. Т. А. Гофмана.

Это увлечение погрузило Аксакова-романтика в особый идеальный мир отвлеченных мечтаний. Белинский в 1839 году писал Н. В. Станкевичу об Аксакове: «...Он еще обретается в мире призраков и фантазий и даже не понюхал до сих пор действительности»[1]. Причем для молодого К. Аксакова, как и для многих идеалистов 30-х годов, характерна неспособность различать мечту и реальность, жизнь и литературу. «Аксаков думает, что он — мечта», — с иронией отметил Станкевич[2]. Эта черта романтического сознания породила в ту пору особую духовную атмосферу. Отвлеченная мечтательность и книжность русских романтиков переходила постепенно в стиль жизни, влияла на все области их быта.

Позднее И. С. Тургенев дал в «Гамлете Щигровского уезда» своего рода биографию этой духовной среды, но то был уже памфлет, сатира на романтический идеализм, написанная в сердцах разочарованным романтиком. В дневниках, дружеской переписке и лирике тех лет основные черты и особенности движения запечатлены с бо́льшей точностью и объективностью. В прозе 30-х годов сохранился уникальный художественный документ, где духовная атмосфера кружка Станкевича и порожденный ею тип личности воссозданы участником этого движения. Речь идет о повести Константина Аксакова «Вальтер Эйзенберг», написанной в 1836 году.

Произведение это тесно связано с аксаковской лирикой той поры, с такими вещами, как «Разговор», «Да, я один, меня не понимают», «О, Sehnsucht», «Туда, туда, иди за мною». Лирический герой этих стихотворений и главный персонаж романтической повести К. С. Аксакова родственны, почти тождественны. Этому способствует и автобиографичность, своеобразная «исповедальность» аксаковской лирической прозы. В его письме к М. Карташевской сказано: «В моей повести вы не увидите описания света; нет, я тут представляю мир, который мне более знаком, в котором я, может быть, жил более: мир внутренний, мир мечты; его-то я развиваю... много заветных мыслей высказал я в этой повести... Там я живу, там хорошо мне»[3].

Не случайно повесть «Вальтер Эйзенберг» при публикации ее в «Телескопе» получила название «Жизнь в мечте». Здесь воплощена сложнейшая диалектика внешнего и внутреннего, субъектив-

---

[1] Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. XI, с. 394.
[2] Станкевич Н. В. Переписка. М., 1914, с. 449.
[3] Анненкова Е. И. Эстетические искания молодого К. Аксакова.— В кн.: Страницы истории русской литературы середины XIX века. Л., 1974, с. 120.

ного и объективного, взаимопроникновение и противоборство мира мечты, высокого и прекрасного и антипоэтической, враждебной «внутреннему человеку» действительности. В повести К. Аксакова дан психологический портрет (точнее, автопортрет) идеалиста 30-х годов, запечатлено движение романтического сознания.

Константин Аксаков не был бы романтиком, если бы не отдавал предпочтение внутреннему, субъективному. Отсюда и его мысль о единстве человека и природы, о внутренней связи явлений, без понимания которой все наши знания о мире будут мертвыми, бесполезными. Более того, без этого понимания само искусство бесцельно. «Все будет копией, если мы станем смотреть только на наружную сторону вещей. Нет, должно угадать внутреннюю жизнь, угадать поэзию предмета, и тогда можно воссоздать его на полотне», — говорит художник Эйзенберг.

Цель романтического искусства, по Аксакову, — это созерцательное проникновение в гармоничный мир природы и художественное воссоздание этого мира. По этому пути и идет мечтательный герой повести К. Аксакова.

Но светлый мир романтических мечтаний уязвим, окружен со всех сторон теснящей его внешней жизнью вещей и людей. Темное, демоническое начало мира воплотилось в мрачной, ненавидящей поэзию девушке Цецилии и в ее приемном отце, таинственном и ироничном докторе Эйхенвальде, словно сошедшем со страниц повестей Гофмана и безжалостно преследующем бедного мечтателя Эйзенберга. В этой неравной борьбе постепенно выявляется роковая нежизнеспособность, утопичность романтической мечты.

И художник рисует прекрасную картину с танцующими девушками — символ идеального мира мечты и вечной красоты. Картина постепенно оживает: «С каждым движением кисти он чувствовал, будто жизнь его, все его существо, весь он переливался через кисть и переходил живой на полотно; и с каждым движением кисти он чувствовал, что тело его ослабевало... Вальтер упал на кресла мертвый: здесь лежало только тело его, а сам он, весь полный жизни, стоял на картине, окруженный тремя девушками». Умирает и другой герой Аксакова — юноша Лотарий, влюбленный в воплощенную мечту — девушку-облако (повесть «Облако»). «Внутренний человек» романтизма, живущий в атмосфере отвлеченного философствования и безотчетных стремлений, не может существовать в этой жестокой, неидеальной действительности. Ему уже нечего делать на этой земле. И это, конечно, смерть романтизма.

Русская романтическая повесть, вместившая в себя богатейший мир идей и проблем нескольких поколений русских людей, была творческим ответом отечественной литературы на всеобщую

потребность. В течение двух десятилетий находилась она в центре читательского внимания. И все же к началу 40-х годов немалые возможности романтической повести были в основном исчерпаны и писатели уже не могли отвечать на требования читателей. С. П. Шевырев в 1841 году тревожно вопрошал Вяземского: «Но что делать с повестями, которых требует масса читателей? Лучшие повествователи наши ничего не пишут: Павлов, Гоголь, Одоевский не дали ни одной повести. Что делать?»[1] Русская литература 40-х годов ответила на этот вопрос «Героем нашего времени» Лермонтова, «Мертвыми душами» Гоголя, прозой писателей «натуральной школы» и «Бедными людьми» молодого Достоевского. Эти произведения как бы подвели черту под недолгой, но чрезвычайно насыщенной незаурядными именами и творениями историей русской романтической повести.

Памятуя об этой примечательной истории, Белинский однажды высказал любопытнейшую мысль: «Вспоминая хорошие повести, у нас существующие, мы нашли, что русская литература нашего времени не совсем бедна ими, а потому думаем, что тот затеял бы хорошее дело, кто собрал бы в одну книгу все повести, доныне изданные особо или рассеянные по журналам: Пушкина, Гоголя, Лермонтова, князя Одоевского, графа Соллогуба, Даля, Павлова, псевдонима А. Н. <П. Н. Кудрявцева>, Панаева, Гребенки и других. Такое собрание необходимо имело бы успех в России и послужило бы пособием для иностранцев, которые с недавнего времени так прилежно занимаются русскою литературою и которые, будучи обмануты пышными объявлениями литературных спекулянтов, принимаются за переводы изделий, нисколько не достойных этой чести и только поселяющих весьма странное мнение о нашей литературе на чужой стороне»[2].

Такого рода антологии русской романтической повести начинают у нас появляться, хотя в силу ограниченности объема они еще не могут претендовать на необходимую полноту, и остаются еще неизвестны современному читателю несправедливо позабытые повести П. Каменского, Е. Ростопчиной, Н. Кукольника, И. Киреевского, Аполлона Григорьева и других русских романтиков. Однако повесть 20—30-х годов XIX столетия постепенно становится доступна нашему читателю в своих основных явлениях и имеет немалый успех, ибо знакомит нас с непреходящим по своей культурной ценности и художественной красоте миром прозы русского романтизма.

В. И. Сахаров

---

[1] Письма М. П. Погодина, С. П. Шевырева и М. А. Максимовича к князю П. А. Вяземскому. Спб., 1901, с. 138.

[2] Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. V, с. 158.

А. А. Бестужев Марлинский

1797–1837



РЕВЕЛЬСКИЙ ТУРНИР



I

> Вы привыкли видеть рыцарей сквозь цветные стекла их замков, сквозь туман старины и поэзии.— Теперь я отворю вам дверь в их жилища, я покажу их вблизи и по правде.

Звон колоколов с Олая великого звал прихожан к вечерней проповеди, а еще в Ревеле всё шумело, будто в праздничный полдень. Окна блистали огнями, улицы кипели народом, колесницы и всадники не разъезжались.

В это время рыцарь Бернгард фон Буртнек спокойно сидел под окном в ревельском доме своем за кружкою пива, рассуждая о завтрашнем турнире и любуясь сквозь цветное окно на толпу народа, которая притекала и утекала по улице, только именем *широкой*. Судя по бороде, по собственному его выражению, с серебряною насечкой, т. е. сединою, Буртнек был человек лет 50-ти, высокого и когда-то статного роста. Черты его открытого лица показывали вместе и доброту и страсти, не знавшие ни узды, ни шпоры, природ-

ное воображение и приобретенное невежество. Зала, в которой сидел он, обшита была дубовыми досками, на коих время и червяки вывели предивные узоры. По углам со всех панелей развевались фестонами кружева Арахны. Печка, подобие рыцарского замка, смиренно стояла в углу на двенадцати ножках своих. Налево дверь, завешанная ковром, вела на женскую половину через трехступенный порог. На правой стене, в замену фамильных портретов, висел огромный родословный лист, на котором родоначальник Буртнеков, простертый на земле, любовался исходящим из своего лона деревом с разноцветными яблоками. Верхнее яблоко, украшенное именем Бернгарда Буртнека, остального представителя своей фамилии, дородностию своею, в отношении к прочим, величалось, как месяц перед звездами. Подле него, в левую сторону, вниз, спускался коронованный кружок с именем Минны фон... Бесцветность будущего скрывала остальное, а раззолоченные гербы и арабески, наподобие тех, коими блестят наши вяземские пряники, окружали дерево поколений.

— Нагулялся ли ты, любезный доктор?— спросил Буртнек входящего в комнату любчанина Лонциуса, который приехал на север попытать счастья в России и остался в Ревеле, отчасти напуганный рассказами о жестокости московцев, отчасти задержанный городскою думою, которая не любила пропускать на враждебную Русь ни лекарей, ни просветителей. Надо примолвить, что он своим плавким нравом и забавным умом сделался необходимым человеком в доме Буртнека. Никто лучше его не разнимал индейки за обедом, никто лучше не откупоривал бутылки рейнвейна, и барон только от одного Лонциуса слушал правду не взбесившись. Ребят забавлял он, представляя на тени пальцами разные штучки и делая зайца из платка. Старой тетушке щупал пульс и хвалил старину, а племянницу заставлял краснеть от удовольствия, подшучивая насчет кого-то милого.— Нагулялся ли ты,— повторил барон, отирая с усов своих пену.

— И с пользою нагулялся, барон,— отвечал весельчак-доктор, выгружая из карманов своих, будто из теплиц, разнородные растения.— Вот целые пучки лекарственных кореньев, собранных мною, и где бы вы думали?.. на вышегородских укреплениях!.. Эту полынь, например, целительную в виде желудочных настоек, сорвал я в трещине главной башни; эту ромашку выдернул из затравки одного ржавого орудия; и я, конечно бы, собрал на стене гораздо более

трав, если бы комендантские коровы не сделали там прежде меня ботанических исследований.

— Ну, каковы ж тебе кажутся наши неприступные, грозные бойницы?

— Ваши грязные бойницы, барон, мне кажутся неприступными для самого гарнизона, потому что все всходы обрушены; а грозны они только издали: половина пушек отдыхает на земле, на валах цветет салат, а в башнях я, право, больше видел запасенного картофелю, нежели картечей.

— Да, да... это сказать — так стыд, а утаить — так грех! хорошо еще, что такая оплошность со стороны моря. Ведь сколько раз говорил я гермейстеру, чтобы поставить все пушки на дыбы и не давать растаскивать ядер на поварни!

— Славно сказано, барон; еще лучше, когда б это исполнилось. Тогда перестали бы ревельцы потчевать приятелей, как их потчуют русские, калеными ядрами в виде пирожков. Не далее, как вчерась, я насилу залил пожар моего желудка, вспыхнувшего от подобного брандскугеля.

— И заливал, конечно, не водою, доктор?

— Без сомнения мальвазиею, г. барон. Неужели вы не знаете, что многие вещества от воды разгораются еще сильнее? а ваш дикий перец, конечно, стоит греческого огня.

Барон имел похвальную привычку соглашаться с тем, чего не знал. И потому он с важною улыбкою одобрения отвечал доктору: «Знаю... знаю»; но, между прочим, не желая обжечься этим греческим огнем, он подвинул к Лонциусу кружку с пивом и предложил ему потушить остатки вчерашнего пожара.— Тебе завтра будет вдоволь работы,— продолжал он, сводя разговор на турнир.

— Работы, барон, разве я кузнец!— отвечал доктор, вымснивая каждое слово на глоток пива.— Зачем вам хирурга, когда вы ломаете не ребра, а латы! С тех пор, как выдуманы эти проклятые сплошные кирасы, нашему брату приходится вспоминать о своих опытах, словно сказку о семи Семионах. Велика очень храбрость залезть в железную скорлупу, да и стоять в битве наковальней! Право, от вашего вооружения более терпят кони, чем неприятели!..

— Полно, полно, Густав, хулить наши брони за то, что они берегут нас от вражьих мечей и твоих ланцетов. Спросика лучше у русских, любы ли они им! Наши латники гоняют кольчужников тысячами.

— Для того-то русские и не ждут ваших конных бойниц, а любят заставать вас по-домашнему — в замше. Сказыва-

ют, в Новгороде очень дешевы из нее перчатки!.. оно и немудрено: отнятое хоть грошем, но дешевле купленного.

— Вздор, Густав, небылица! Клянусь своими шпорами, что если бы русские увезли у меня хоть уздечку — я бы нагнал удальцов и выкроил бы из их кож себе подпруги...

— У других с уздечками они уводят и коней, а ни у одного еще рыцаря не видать подпруг из такого сафьяна.

— У прочих... у других!.. другие мне не указ. Я уверен, что русские не забудут встреч со мною под Магольмом, под Псковом.., под Нарвою!

— Это и я помню наизусть. Но к чему толковать нам о прошлых сражениях, когда речь завелась о наступающем турнире? Не приготовить ли мне перевязку для почтенного моего хозяина? Я бы от чистого сердца желал, барон, чтобы благодетельный удар вышиб вас из седла или чтобы конь ваш, ревнуя к славе хирургии,— сломал бы вам руку или ногу. Вы увидели б тогда искусство Лонциуса... и хотя бы кости ваши прыгали, как игральные косточки в стакане, я ручаюсь, что через месяц вы бы могли сами поднести ко рту кубок за мое здоровье.

— Я постараюсь лучше сохранить свое. Нет, милый мой Лонциус, Буртнеку не бросать больше из седел противников! некстати ему мерять плечо с мальчиками. Притом же и лета отяготили броню мою, а сила руки улетела с ее ударами. Нет, я не поеду туда, откуда не уверен выехать. Не заманили бы меня и на эту пирушку, если бы не просьбы дочери и не дело с бароном Унгерном. Гермейстер обещал его на днях окончить.

— Только обещал?— это не много. Он два месяца обещает мне пропуск в Москву и до сих пор не дает его; хотя я вовсе не прошу г. гермейстера заботиться о здоровье моей головы, которая, по его словам, может простудиться от обычая снимать там шапки за версту до княжеского дворца, а у забывчивых будто прибивают их гвоздями, чтобы не снесло ветром. Если он и для одноземцев так же приветлив, как для заезжих, то вы смело можете надеяться, что, явясь сюда с первыми жаворонками,— воротитесь домой позднее той поры, когда кулики полетят на теплые воды.

— Может ли это статься! мое дело так ясно, как мой палаш; так право, как эта правая рука.

— Зато барон Унгерн, хоть левою, но крепко держится за гермейстера; говорят, он ему сродни...

— А я с ним разве не брат по Ордену? Нет, доктор, о правосудии не сомневаюсь; но желал бы поскорее убраться из

Ревеля. Здесь не то, что в деревне... пиры да обеды, от гостей да в гости — а смотришь, деньги улетают, как время, и долги налегают на шею гирями!.. Золотыми шпорами своими клянусь — мне скоро нечем будет клясться, потому что придется заложить их. Нет ли у тебя, доктор, какого заморского лекарства от денежной чахотки?

— Если б оно и было, барон, то без употребления бы осталось: у кого есть деньги, тому не нужно лекарства, а у кого их нет — тому не на что купить его. По умственной алхимии дознался я, что орвиетан от болезней карманного рода есть *умеренность*. — За этим словом, не знаю, с умыслом или ненарочно, доктор так громко брякнул стопою об стол, что яркий звон ее будто выговорил: «Я пуста».

— Понимаю,— сказал с улыбкою рыцарь.— Понимаю это нравоучение; но, судя по нашей природе, оно останется без действия, точно так же, как и твои пилюли. Между прочим, любезный доктор, не выпить ли нам бутылочку рейнвейну, хоть это и противно нашему обряду. Говорят, каждая в пору выпитая рюмка рейнвейну отнимает по талеру у лекаря.

— Зато каждая бутылка дает ему по два. У вас очень старое вино, барон?

— Немного моложе *потопа*, г. доктор; но ты увидишь, что оно совсем не водяно.— Бернгард свистнул, и в ту же минуту вбежал не красивенький паж, как это водилось у французских рыцарей, не оруженосец, как это бывало у германских паладинов, а просто слуга эстонец, в серой куртке, в лосиных панталонах, с распущенными по плечам волосами; вбежал и смирно остановился у притолки с раболепновопросительным лицом.

— Друмме,— сказал ему Бернгард,— скажи ключнице Каролине, чтобы она достала из погреба одну из плоских склянок за зеленою печатью. Я уверен, что она обросла мохом и пустила корни в песок,— продолжал он, обращаясь к Лонциусу (который уже заранее восхищался видом рейнской бутылки, любимой им, по его словам, только за то, что она весьма похожа на реторту),— и мы докажем доктору, как старое вино молодит людей. Да убери эту стопу, Друмме,— слышишь ли, глупец!

Друмме, трепеща, покрался к столу и так бережно взялся за стопу, как будто боясь пролить из нее воздух.

— Чего ты боишься, истукан,— грозно закричал рыцарь,— кружка эта пуста, как твоя голова... куда, нечесаное животное, куда? чего ты ждешь, что ты смотришь на доктора? Я и без него тебе предскажу березовую лихорадку за

твои глупости. Проклятый народ,— продолжал Бернгард, провожая Друмме взором презрения,— скорее медведя выучишь плясать, чем эстонца держаться по-людски. Еще-таки в замке они туда и сюда, а в городе — из рук вон; особенно с тех пор, как здешняя дума дерзнула отрубить голову рыцарю Икскулю за то, что он в стенах ревельских повесил часа на два своего вассала.

— Признаться, я не думал, чтобы у ратсгеров ваших стало довольно ума, чтоб выдумать, и довольно решимости, чтоб выполнить такой закон.

— Не мое ремесло рассуждать: глупо это или умно; я знаю только, что оно бесполезно. Ну что мне закон, когда я палашом могу отразить обвинение или смыть кровью свой же проступок! Притом без золотых очков у закона глаз нет; повешенный молчит, а живой сам петли боится*. Поэтому-то мы отправляем вассалов своих точно так же, как вы больных,— безответно. За здоровье рыцарей меча и рыцарей ланцета! Каково винцо, доктор?..

— Гораздо лучше ваших обычаев.— Еще слово, барон: для чего же вы иногда прибегаете к суду в своих обидах?

— О, конечно не по уважению к законам, а оттого, что сила не берет управиться иначе. Оттого-то и я замарал пальцы чернилами в деле с Унгерном.

— И по всей вероятности, напрасно.

— Все-таки вероятность лучше невозможности. Да полно об этом; я терпеть не могу рассуждать головою, а не руками, и всякий раз, когда мне случится подумать,— у меня так болит голова, будто с двух стоп русского меду. Сыграем-ка лучше партию-другую в пилькентафель**: это разгуляет твою заморскую ученость и повеселит мое рыцарское сердце.

— И даст движение, очень полезное для здоровья. Об этой игре смело можно сказать с Горацием: utile dulci[1].

— Пощади, сделай милость, пощади меня от этого язычества; со мною ты смело можешь вешать его на гвоздик, потому что изо всей латыни я только помню и люблю слово vale[2].— Так говоря, они вышли из залы.

---

* Прошу читателя вспомнить о феодальных правах.

** Род бильярда.

[1] Полезная сладость *(лат.)*.

[2] Конец *(лат.)*.

II

> На радуге воображенья
> Воздушный замок строит он;
> Его любви лелеет сон...
> Но бьет минута пробужденья!

Угадываю любопытство многих моих читателей, не о яблоке познания добра и зла, но о яблоке родословном, именем Минны украшенном,— и спешу удовлетворить его, во-первых, потому, что я хочу нравиться моим читателям, во-вторых: не таюсь — люблю поговорить о прекрасных, хотя не умею говорить с ними. Послушайте.

Минна, единственная дочь рыцаря Буртнека, была прелестнейшая девушка. В ее время Ливония более нынешнего изобиловала красотами, но на светлокудрых сих красавицах лежала печать бесстрастия. В тени своих девичьих они расцветали, как пышные тюльпаны, блестя, по не благоухая. Удаленные не обычаем, но привычкою от мужчин, потому что им нечего было говорить друг другу, их занятием были одни пересуды; всё их тщеславие ограничивалось нарядами; всё честолюбие не стремилось выше верхнего конца за столом или красного стула па вечеринках. Сердце было у них пятое колесо в колеснице; ум такая монета, которую никто не мог оценить, ни разменять; а потому эпохи жизни своей они считали от балу до балу и приятные воспоминания поверяли по расходной книжке. Таковы были почти все красавицы ливонские, но не такова была Минна. Природа, по словам отца ее, не тростниковый клинок одела в такие красивые ножны. Это «не знаю что-то милое» одушевляло черты ее лица, давало величавость ее поступи, ловкость приемам, сладость речам. Из голубых ее очей, из-под длинных ресниц скользили взоры... по какие взоры!— От них вспыхнул бы и лед. Коротко сказать, Минна была из числа тех красавиц, которые поражают красотою и вместе пленяют прелестью. Она рано потеряла мать,— но мать-природа о ней заботилась. Чтение не просветило ее; но книга света была пред нею, и какое-то понятие, заменяющее девицам опытность, спасло невинную от приманок богатства и обольщения лести. Минна скоро приметила, что ее не понимали, что ее любили не так, как хотелось ее возвышенному сердцу, осужденному биться без ответа; и это невольно уединенное чувство вовлекло ее в мечтательность. Воображение Минны вырывалось из скучного круга разряженных кукол, из шумных бесед рыцарских и рисовало ей светлейшие картины сча-

стия; ее сердце вздыхало о каком-то неясном, но прелестном идеале; а сердце в 18-ть лет — порох; одна смелая искра — и прощай спокойствие.

Между тем как барон с доктором спорят, кто из них в лучшем ударе, сбивая городки пилькентафеля, Минна в ближайшей комнате готовила наряды к завтрему. В углу за занавесом вокруг длинного стола сидели и что-то шили три эстонские девушки с бисерными повязками на голове, с серебряными бляхами на груди. Старая тетушка Минны дремала в другом углу под тению крылатого чепчика, устав бранить новые моды и неуменье племянницы по ее одеваться. Перед Минною стоял белокурый, статный юноша, сын одного из богатейших купцов в Ревеле: он принес ей вчера заказанную богатую цепочку. Синий бархатный шпензер его вышит был золотою битью; частые сквозные пуговицы висели, как ягоды, по полам; золотая бахрома украшала цветные отвороты замшевых сапожков, и только недостаток шпор показывал, что он не рыцарь; хотя смелая осанка и умное лицо его давали ему над многими из них преимущество.

— Так вам нравится лиловый цвет, любезный Эдвин?— сказала Минна, повертываясь перед зеркалом.— И вы думаете, что это платье будет мне к лицу?

Прилагательное *любезный* и тогда уже не было лестным, относясь к низшему; оно и Эдвину напоминало о его состоянии, но сладостно было для его сердца. Однако ж он молчал, погруженный в мечтательное любованье красотою Минны.

— Пробудитесь, Эдвин,— сказала она вполовину тронутым, вполовину ласковым голосом.

— Так, я грезил, фрейлин Минна, простите меня или лучше самую себя в том вините. От звука вашего голоса теряешь ум прежде, чем слова дойдут до него.

— Мы, кажется, говорили о цветах, а не о звуках, Эдвин!

— Еще раз виноват, фрейлин Минна,— я и забыл, что дамы более любят пестроту, чем гармонию. На вопрос ваш, впрочем, буду отвечать тоже вопросом... Какой наряд не пристанет к стройному вашему стану, какой цвет, какое украшение может возвысить или изменить прелестное ваше лицо!— Эдвин договорил это приветствие трепещущим голосом, но был доволен, что сказал его, конечно, более читателя, которого я прошу, хоть для меня, простить моего героя: во-первых, потому, что он не читал ни одного французского словаря комплиментов, а во-вторых, стоял пред прекрасною

девушкою, к которой был очень неравнодушен. Ах! кто из нас не казался порой учеником пред светскими красавицами? Кто не говорил им неловких похвал? Бог знает почему: когда разыграется сердце — остроумие прячется так далеко, что его не выманишь ни мольбами, ни угрозами. И что ни говори — я не верю многословной любви в романах.

— Лесть — поддельное золото, Эдвин; я не беру ее на свой счет,— сказала Минна.

— Лесть, но не искренность, Минна! — Не то ли же самое я сказал вам, в чем уверяет вас ваше верное зеркало, в чем (вы видите, что я умею говорить правду) вы и сами не сомневаетесь?

— Поэтому вы считаете меня тщеславною, самолюбивою?

— Я знал только, что скромность не мешает ни зрению, ни слуху... Завтра тысячи голосов скажут вам в миллион раз более моего.

— Кто завтра вздумает обо мне, когда сюда съехались все красавицы, которыми славится Ливония и блестит Ревель!

— И недаром блестит, фр. Минна. Особенно теперь мы вправе гордиться: первая из них украсит завтрашний турнир своим присутствием и одушевит всех своим взором.

— Кто же эта первая?— спросила Минна нетвердым голосом.— И для всех, или только для вас она кажется такою? не подкуплены ли глаза ваши сердцем?..

— Я думаю наоборот, фр. Минна: глаза ее очаровали мое сердце.

— Вы рассказываете про свои чувства — а мне бы хотелось знать ее имя,— сказала Минна холоднее,— могу ли услышать его, не трогая вашей скромности?

— Ах, Минна, вы тронули нежную струну!.. Со всем тем я бы решился сказать, кто она, если б не одно любопытство участвовало в вашем вопросе.— Между тем он так нежно глядел на Минну, что, казалось, щеки ее зажглись от пламени его взоров. Краснея, она опустила свои — и молчала, зато сердце говорило тем громче. Эдвин был развязен, пылок, умен — Минна чувствительна и прелестна. Он умел и мечтать, и чувствовать; а рыцари ливонские могли только смешить и редко, редко забавлять. Она любила — он возбуждал мысли высокие; говорил с жаром, если не с красноречием, и увлекал, если не убеждал. Разъезжая два года по Европе, он навык приличиям светским, и образованностию, ловкостью далеко превосходил рыцарей Ливонии, которые

росли на охоте, а мужали в разбоях: рыцарей, неприветливых с дамами, гордых ко всем, заносчивых между собою, предпочитающих напиваться за здоровье красавиц в своем кругу, чем проводить время в их беседе. Они думали пленить Минну рассказами о своей любви, своей верности,— Эдвин говорил ей о *ней* самой. Те считали головы убитых ими зверей и неприятелей — он напоминал о плененных ею сердцах; они заглядывались на ее алмазные серьги — он любовался ее очами. Следствие угадать не трудно, ибо состояния выдуманы не для любовников,— и любовь, как иной цвет на бесплодном утесе, растет и в безнадежности. Лавка отца Эдвинова была первая по городу и, как на беду, против окон Буртнекова дома. Там находились все дорогие ткани, все искусственные изделия, жемчуг и ценные камни. Девушки того века любили рядиться не менее наших столичных, и лавка прекрасного Эдвина всегда была полна посетителями. Нужно ли сказывать, что Минна ходила туда часто? И хотя лавка сия служила для Ревеля вместо нашего английского магазина (т. е. местом свидания молодежи), ее влекла туда не одна страсть к уборам, не одно желание всем нравиться там удерживало. То надобно прикупить бархату, то переделать по-новому ожерелье, то распаялось кольцо, то из-за моря привезли что-то чудное. И каждый раз приветливый Эдвин спешил к ним навстречу, развертывал пред тетушкой штофы, сверкал племяннице алмазами и — глазами. Рассказывал ей про чужбину,— слушал ее с восхищением; и обыкновенно горький вздох развевал его блестящие замки, и он со слезами на глазах провожал взорами свою любезную — не сводил их с ее окна — и в молчании изнывал, как былинка. Тяжко любить без надежды на счастие, тяжело без надежды взаимности; но беспримерно тяжелее видеть себя любимым и не сметь словом любви вызвать признания, жаждать его, как отрады небесной, и бежать, как преступления чести; не иметь права на ревность и таять от страха измены; винить свой холод в ее огорчениях, множить собственные муки то упреками против любви, то против долга!.. Тогда-то страсти из кипящего сердца черными парами налетают на разум и ядовитое отчаяние вгрызается в душу!.. О други, други! пожалейте того, кто любил подобным образом.

— И вы могли сказать, что одно любопытство внушило мне вопрос мой,— наконец произнесла Минна, подняв голубые очи свои с таким нежно-укорительным взором, что суровое выражение лица Эдвинова смешалось в одно мгновение

с умилительным, голос замер, сердце как будто пронзилось — но это ощущение было сладостно, как первый вздох наяву после страшного сна. Души их слились в один выразительный, но невыразимый взгляд. Минна пришла в себя.

— Итак, любезный Эдвин, если б вы были рыцарем, какой цвет избрали бы вы на завтрашний турнир?

— Навеки, навсегда, фр. Минна, я бы избрал цвет первой красавицы; цвет, составленный из небесно-голубого и украшенья земли розового; я бы избрал,— продолжал он пламенно, схватив ее руку,— прелестный, несравненный лиловый цвет, ваш цвет, Минна!— Рука Минны пылала и трепетала; голова ее невольно склонилась на плечо Эдвиново...

— Ах! зачем вы не рыцарь!— прошептала она. Воздушный замок Эдвина разлетелся.

— Ах! зачем я не рыцарь!— вскричал он вне себя.— Зачем я злосчастен своим благополучием!— И в одно время на руке Минны напечатлелись жаркий поцелуй восторга и охладевшая слеза безнадежности.

— Минна, Минна! — закричал отец из другой комнаты.— Минна,— повторила впросонках ее тетушка!

III

В любви, добыче и утрате
Мои права — в моем булате.

Кто не читывал рыцарских романов? кто не знает обычая избирать для раздачи наград на турнирах красавицу, которой давали титло царицы любви и красоты? Разве в чем другом, а в тщеславии лифляндские рыцари не уступали никаким в свете и всегда — худо ли, хорошо ль — передразнивали этикет германский. Турниру без царицы быть не можно — это аксиома; вот и сошлись избранные судьи турнира в риттергауз. Поставили, как водится, на стол чернильницу и бутылки, перебрали все писанные и устные предания о способе избрания — пошумели, поспорили, кого избрать; и когда от кружения козьей ноги* у них закружились головы и отнялись ноги, они согласились (к чести их вкуса или вина, право, не знаю) избрать Минну фон Буртнек царицею. Минна, слыша зов отца своего, оправила волосы и, подняв

* Кубки в виде ноги дикой козы были в большой моде у ревельских рыцарей в честь Ревеля, которого имя производят они от слова Ree-fall — падение серны.

фрез, чтобы скрыть в нем пылание щек своих, вышла в залу. За нею последовал Эдвин.

— Благодари господ совета за честь, милая Минна. Ты избрана на завтра царицею,— сказал барон, потирая от удовольствия руки...— Благодари, я за себя и за тебя дал слово...

Один из герольдов в вышитом гербами далматике преклонил колено и подал ей на бархатной подушке золотую из трефов коронку, и, смущенная нечаянностию, Минна взяла ее, лепеча что-то в ответ на пышно-бестолковое приветствие герольдов.

— Я не поздравляю вас,— тихо сказал Эдвин, положа руку на сердце,— вы и без короны владели сердцами.

Минна покраснела и молчала. Герольды встретились в дверях с рыцарем Доннербацем, одним из самых страшных бойцов и самых ревностных искателей Минны.— Поздравляю барона и целую ручку у царицы моей,— сказал он, неловко кланяясь и звеня за каждым словом шпорами, будто напоминая тем (и только тем), что он рыцарь...— Соколом моим, фр. Минна, клянусь, что завтра за каждую искру ваших глазок так полетят искры от лат, что небу станет жарко. Вы увидите, как я перед вами отличусь,— конь у меня загляденье: пляшет по нитке и курцгалопом на талере вольты делает. Сделайте милость, фр. Минна, позвольте мне надеть лиловый шарф — у меня уж и чепрак лиловый заказан.

— Много чести... благодарю вас за внимание... но я так часто меняю цвета свои, что вы безошибочно можете опоясаться радугою.

— И быть полосатым шутом,— тихо примолвил доктор.

— Знатная мысль,— воскрикнул Доннербац, хлопая в ладоши,— вот что называется соглашаться, не сказав да. Зато лиловую полосу я сделаю шире остальных вместе.

— Милости прошу присесть, господа,— говорил Буртнек Доннербацу и Эдвину, которого он ласкал по сердцу и по золоту.— Вас, рыцарь, на сегодняшний вечер я жалую министром ее красивого величества,— моей дочери; растолкуйте ей должность царскую,— а ты, милый Эдвин, постарайся, чтобы царица не забыла нас, простых людей. Мне надо поговорить о деле.— Молодежь уселась в одном углу близ тетушки без речей, а доктор и Буртнек в другом присели к столику.

— Добро пожаловать, старая кукушка,— сказал барон входящему Фрейлиху, рассыльщику гермейстера,— добро пожаловать, если твое явление не предвещает худа!

— И, батюшка, ваша высокобаронская милость! что вздумали,— отвечал коротенький рассыльщик, закладывая пер-

чатки за украшенный бляхою пояс и бич за раструб сапога.— Я ведь, как деревянная кукушка, что над часами в ратуше, также часто и также верно вещую на прибыль, как и на убыль.

— Что же нового, Фрейлих?

— Чему быть новому на этом старом свете, г. барон?— продолжал словоохотливый немец, развязывая сумку,— у меня даже для завтрашнего праздника и новой шапки нет, даром что старую износил я, усердно кланяясь господам рыцарям.

— Не только нам, ты и всем стенам хмельной кланяешься. Однако вот тебе два крейцера в обмен за труды.

— Благодарю покорно, благородный рыцарь. За каждый крестик на этих монетах я положу по десяти за вашу душу.

— Не лучше ли выпить за мое здоровье,— сказал, усмехаясь, барон, принимая бумаги.— Конечно, повестки от гермейстера?

— Приказы, благородный рыцарь!

— Приказы?.. Да что он смеет мне приказывать?..

— Где нам это знать, г. барон,— стать ли нам соваться не в свое дело! На печати стоит часовой; да, впрочем, если б письмо было прозрачнее киршвассеру — я, безграмотный, и тогда бы узнал не больше теперешнего.

— Правда, правда,— ворчал про себя Буртнек,— ты столько же можешь судить о содержании писем, как моя лягавая собака о вкусе перепелки, которую приносит. Ступай себе, Фрейлих. (Читает.) Ба-ба-барону... Бур... Бур... провал возьми неучтивость сочинителя и почерк писца — это так связно, как венгерская цифровка; по крайней мере титул-то мой мог бы он написать большими ломаными буквами*!

— О! конечно,— сказал, не слушая его, рыцарь Доннербац.

— Без сомнения,— прибавила из другого угла тетушка, пересчитывая на иглы петли полосатого чулка, который она вязала.

— Это еще учтивее,— примолвил с усмешкою доктор,— письмо написано ломаным языком.

— У тебя он очень гибок на споры,— возразил Буртнек,— посмотрим-ка его рысь на деле... прочти, пожалуй... у меня глаза слабы — не могу разобрать: буквы мелки, как маковые зернушки, и меня недаром берет дремота с одной строчки.

* Fraktur — Buchstaben.

— Дай бог, чтобы вы могли спокойно заснуть от них,— сказал доктор, пробегая бумагу глазами.— От гермейстера Ливонского ордена Рейхарда фон Бруггенея пре... при...

— Возьми очки,— сказал барон.

— Возьмите терпение,— возразил доктор...— Ваши титулы так темны и долги, как сентябрьская ночь.

— Далее, далее?

— Не далее, а назад, барон! мы, словно пилигримы по обещанию, ступаем три шага вперед, а два обратно. Итак: гермейстер Бруггеней благородному рыцарю Ливонского ордена рыцарей креста, барону Эмануилу Христофору Конраду... фон Буртнеку, урожденному...

— Ты рехнулся, доктор...

— Виноват, зачитался. Я уж так привык писать рецепты спесивым вашим барыням, что у меня беспрестанно звенят в ухе их титулы. Поверите ли, что фрейгерша Книпс-Кнопс при смерти не хотела принять лекарства за то, что я не выставил на рецепте: *для урожденной такой-то...*

— Какая мне надобность до ее рожденья и смерти и твоей смертной охоты приплетать свои сказки к чужому делу!— Ни дать, ни взять ты словно мой конюх Дитрих, который любил, бывало, вплетать ленточки в гриву моей лошади, когда уже трубят сбор...

— Вы взобрались на своего конька, барон, а ведь пеший конному не товарищ. Впрочем, мы близки к концу: приказ, кажется, дан в придачу титулам: он и весь в четырех словах: «Исправьте ваш мост через болото Вайде, что на большой дороге в Дерпт».

— Пусть он сам его перемащивает своим пергамином — а мне, право, не для чего; в ту сторону я никогда в гости не езжу.

— Не ездите? так и незачем. Жаль только бедных путешественников по нужде — они не журавли — не перелетят через болото.

— Это уж их дело, а пе мое.

— Но ведь большая дорога вещь мирская, а как она идет через ваше владение...

— Поэтому я имею право делать в нем, что мне угодно, а тем более ничего не делать.

— Это значит, что где многие делают всё, что хотят, там все терпят то, чего не хотят.

— Другую, другую, доктор...

— Разве третью,— сказал Лонциус, наливая стопу...

— Я говорю про бумагу,— с досадой произнес Буртнек.

— А я думал про стопу,— отвечал Лонциус с притворным простосердечием, снимая со свечи. (Читает.) «Гермейстер... и тому подобное... По жалобе рыцаря барона фон Буртнека на фрейгера Унгерна о земле, прилежащей к замку Альтгофену и смежной с соседственными угодьями сказанного Унгерна, якобы захваченной им у первого бесправно и беззаконно, наездом и вооруженною рукою, и насилием, и грабежом, с угрозами повторения оных впредь, я с фогтами и командорами Ордена, рассмотрев сие дело, *нашли...»* Ошибка против грамматики,— вскричал доктор, останавливаясь.

— Скажи лучше, против правды,— возразил Буртнек...— Гермейстер только праздничает с фогтами, а судит и рядит своей головой...

— «Рассмотрев, *нашел* по справкам и показаниям свидетелей, что сказанная земля (опись на обороте) была прежде захвачена у отца фрейгера Унгерна в разные времена и различными неправдами, а потому объявляем всем и каждому, что фрейгер Унгерн был вправе употребить для возвращения собственности силу, не видя удовлетворения на полюбовные сделки и многократные свои требования,— и что мы признаем его законным владельцем сказанного участка; а рыцарю барону фон Буртнеку приказываем немедленно и беспрекословно уступить Унгерну Милькенталь со всеми выгонами, прогонами, загонами, луговыми и лесными дачами, нивами и покосами, стоячими и живыми водами, со всеми угодьями и привольями без изъятия, и положить новую границу от ручья Куремсе до озерка Пигуса, до заводи, где коней купают; оттуда налево мимо красной сосны, что молнией обожжена, до Юмаловой пожни, а оттуда на перестрел к новой Пойгиной бане, а оттуда...»

— Оттуда пусть он убирается к черту!— вскричал барон, вскокнув со стула.. и гнев его, поджигаемый каждым словом, наконец лопнул, как фейерверочный бурак, и бранные шутихи полетели во все стороны...

— Вот правосудие! вот законы!.. когда я был силен и удал, когда мои шпоры звенели громче других на пирушках и палаш мой реже целовался с ножнами,— тогда ни одна параграфская душа не смела показать ко мне носа и все эти толстые фогты фон *так* кланялись через улицу. Бывало, хоть на епископской полосе воткну свое копье вместо гранного столба, никто и пикнуть не смеет,— а теперь, смотри, пожалуй! — Это ходячие чернильницы, это черепокожные писаря вздумали притиснуть границу к самому рву за́мка, так что Унгерн, того гляди, будет с меня требовать платы за тень

башен, которая ляжет на его землю, за каждый стакан воды из ручья — и какой воды!

— Без воды обойтиться можно...— возразил доктор, возвышая голос, чтобы заставить барона дослушать определение...— «Вследствие чего нарядится вскоре чиновник для введения помянутого фрейгера Унгерна во владение...»

— Пусть только явится ко мне... Пусть только приедет... я его под бичами заставлю вертеться кубарем... я его попрошу отведать спорной воды в озере!..

— «И тогда, по обычаю собрав из соседних деревень обоих противников здоровых мальчиков, высечь их на каждом заметном месте новой разгранички, чтобы они ее памятовали и в могущих случиться впредь спорах могли служить очевидными свидетелями...»

— Этому не бывать... шпорами клянусь, не бывать... всякий знает, что я для правого дела не пожалел бы вассалов своих... но в этом случае разве я злодей, чтобы согласился обратить их спины памятною книжкою для безголовых судей?..

— А что скажет на это гермейстер?

— То, чего я не послушаюсь... Что мне дорожить его благосклонностью? его флюгерною дружбой! Я хочу лучше иметь перед собою двух открытых врагов, чем за спиной одного такого приятеля! Унгерну же не видать обетованной земли, как вчерашнего дня; коли на то пошло, не поживится он ею без бою — даже для цветочного горшка. Буквы не солдаты, а у меня для встречи незваного гостя найдется живой частокол с железными маковками и не одна пара сильных рук указать ему дорогу восвояси.— Так восклицал раздраженный барон, топая ногами,— и громче и громче раздавался голос его до того, что стаканы и кубки, стоящие в старинном шкафу, зазвенели друг об друга. Старуху тетушку ураган сей застал на половине зевка — и превратил его в знак удивления. Рыцарь Доннербац, который для комплимента пил за здоровье Минны, не донес кубка до губ, и кубок, склонясь на полдороге, точил понемножку на пол драгоценную влагу. Только Эдвин и Минна встали, движимые участием. Добрый Лонциус, сбросив с лица шутливое выражение, беспокойно слушал барона и следил взорами его движения.

— Да, да,— продолжал Буртнек,—я докажу и Унгерну и гермейстеру... что Буртнек прожил и умрет не без друзей.

— Честию клянусь,— вскричал Эдвин от души.— Вы их имеете, Буртнек!.. Мое золото — ваше.

— Располагайте,— сказал, пошатываясь, Доннербац,— мною каждый день до обеда, а удальцами моими всегда.

— Благодарю... Сердечно благодарю...— отвечал умиленный барон, подавая им руки...— Но утро мудренее вечера, и мы завтра потолкуем об деле... Боже мой!.. завтра турнир — и Унгерн наверно по-прежнему сорвет награду, и моя дочь должна будет увенчать моего злодея!.. Проклятое слово... отказаться нельзя, а вытерпеть этого я не могу... Я не переживу насмешек грабителя над этими седыми волосами,— и где же?— Перед целым Ревелем, перед всем дворянством и рыцарством? Друзья... Друг Доннербац! ты один можешь спасти старика от позора; ты силен и огромен, и сломишь Унгерна, как тростинку. Одна только лень мешала тебе помериться с ним доселе... но теперь... Послушай, Доннербац, я знаю, что моя Минна тебе нравится... но лишь победитель Унгерна будет ее мужем... вот моя рука, мое рыцарское слово, что друг или недруг — кто бы ни выбил Унгерна из седла — я отдаю ему мою дочь и свою вечную признательность.

— Руку и слово, барон,— вскричал радостно Доннербац, ударяя рукою в руку,— и пусть ведьмы всех цветов сделают из меня своего конька, если в Унгерне оставлю я хоть каплю души, как в этом кубке,— если не также сомну его!— С сим словом серебряный кубок, смятый в комок, полетел на пол.

— Батюшка, милый батюшка!— воскликнула испуганная Минна...

— Минна... я не люблю повторений и противоречия. Мой приказ должен быть твоею волею, а моя воля — твоим желаньем; что сказано, то свято. Победитель Унгерна будет тебе хорошим мужем и мне добрым защитником.

Минна, бледнея, опустилась на стул. Сверкая взорами, стоял Эдвин посреди комнаты; грудь его волновалась, правая рука будто стискивала рукоять меча, и вдруг, как лев, он гордо встряхнул кудрями... и скрылся.

— Куда, куда, любезный Эдвин?— кричал вслед ему Буртнек; но ответа не было.— Чудак... а славный малый,— примолвил он,— скажи слово — и Эдвин отдает всё без росту и закладу.

— Молодец,— повторил Доннербац,— даром что не рыцарь, а его не проведешь на зубах конских.

— Преумница,— прибавил доктор,— хоть и спорит со мной о жизненной эссенции, зато одной веры, что мир родился из яйца...

«Прекрасный юноша, бесценный человек!» — думала полумертвая Минна... но она не сказала этого вслух.

IV

I write in haste, and if a staine
Be on this sheet 'its not whate it appears
My eyeballs burn and throb, but have no tears.

Byron[1]

Как бешеный, вбежал Эдвин домой. Плащ слетел на пол. Двери спальни от удара ноги разлетелися вдребезги — и он с сердцем вырвал свечу из рук старшего служителя...

— Кончено... Решено...— говорил он, скрежеща зубами,— турнир и Минна — люди, люди!.. Поклонники предрассудков!.. О, для чего не могу я стать с копьем у ее порога и вызвать на бой каждого дерзкого, кто захочет ее руки! Герман! я еду,— вскричал он слуге своему.

— Куда?— спросил тот с изумлением.

— Кто смеет спрашивать, куда? я еду — и этого довольно; ветер хорош, кораблей много: готовься.

Жарка первая любовь юноши; зато как горька первая потеря!.. Долго сидел Эдвин, облокотясь на стол и закрыв обеими руками горящее лицо. В его груди буревали страсти, и, наконец, они излились в беспорядочном письме, вот оно:

«Для меня всё решилось. Пишу к вам оттого, что говорить с вами завтра я бы не мог, а писать после турнира мне не должно — тогда уже рука ваша принадлежать будет другому; другой... Безумец, я безумец! из какой надежды, по какому праву смел ты возвысить свои взоры на лучший цвет Ливонии!.. или ты думал, что пылкое, верное сердце стоит рыцарского герба! Ты думал... нет, я ничего не думал, я мог только чувствовать, только любить. Минутный сон счастья! Я дорого плачу за тебя наяву...— Вы знаете ли, прелестная Минна, что такое яд ревности; испытали ли вы муки безнадежной, отчаянной любви? Молю бога, чтобы вы никогда ее не чувствовали!.. Отчаяние давно ли посетило меня — и, кажется, все часы, все дни, потерянные в рассеянности, промелькнувшие в восторге,— склубились теперь в минуты, в бесконечные минуты!.. За каждым биением сердца, для вас только бьющегося, тысячи досадных мыслей одна по другой, одна другой чернее, успевают уже терзать мою душу, и каждая капля крови медленно вливает отраву в мои жилы. Чувствую, что я пишу вздор... простите моему безумию

[1] Я пишу второпях, и если на этой странице встретится пятно, то это не то, что кажется: мои глаза горят и трепещут, но в них нет слез. *Байрон (англ.).*

и дерзости, что я пишу к вам, добрая, милая Минна; или нет, прошу вас, умоляю вас, рассердитесь на меня, излейте на виновного справедливый гнев свой: тогда мне легче будет оставить вас, разлучиться с обожаемою Минною, бежать той родины, где мне запрещено заслужить мечом любезную, которой взаимность заслужил я сердцем. Будьте гневны и неумолимы, иначе кроткий взор небесных очей ваших обратит в дым мою решимость — еще один взор, как сего дня... и я причарован — и что тогда? мое мщение может быть столь же чрезмерно, как безмерна моя страсть. Спасите меня своим негодованием, несравненная! Я только дождусь турнира, лишь узнаю счастливца, которому выпадет мое счастье, и в ту же минуту корабль умчит меня, куда повеет ветер, и тем лучше, чем далее... Буду скитаться по свету, чтобы забыться,— не для того, чтобы забыть вас... Нет! я бы не мог исполнить этого, хотя бы желал. Воспоминания и горе прежней любви будет мне отрадою... буду жить ими, покуда от них не умру. Будьте счастливы, милая Минна,— и верьте сердечному, хотя не рыцарскому, слову, что никто искреннее меня не может пожелать вам этого, как никто не мог любить чище и пламеннее. Прощайте, Минна! Более ничего ни от меня, ни обо мне вы не услышите.— Эдвин».

Холодный ветер взвивал кудрями Эдвина, который, прислоняясь к косяку отворенного окна, в горькой задумчивости глядел на окна Минны. Сквозь стекла и занавес мерцал там луч тусклой лампады — и воображение населяло темноту призраками воспоминаний; но они тянулись, как погребальное шествие. Два раза поднимал Эдвин руку, чтобы перекинуть прощальное письмо,— и медлил в нерешимости... Наконец, замирая сердцем, метнул он через улицу яблоко, к которому было привязано письмо, и оно с звоном разбитого стекла упало на пол Минниной спальни.

V

Amour aux dames, honneur aux braves![1]

Летит, как вихорь, как огонь,
Пред недвижимым строем;
И пышет златогривый конь
Под будущим героем.

Это было в мае месяце; яркое солнце катилось к полудню в прозрачном эфире, и только вдали сребристооблачной бахромой касался воде полог небосклона. Светлые спицы коло-

[1] Любовь — дамам, честь — храбрецам! *(франц.)*

колен ревельских горели по заливу, и серые бойницы Вышгорода, опершись на утес, казалось, росли в небо — и, будто опрокинутые, вонзались в глубь зеркальных вод. Резвые голуби, возбужденные шумом и звоном колоколов, кружились над крутыми кровлями; всё было оживлено, всё дышало радостию, всё праздновало возвращение весны, воскресение природы.

С зарею Ланг и Брейт-штрассе — две дороги, ведущие к дому-плацу в Вышгороде, заперлись толпами народа. Эстонцы и немецкие рукодельники, слуги и мещане спешили занять место, чтобы посмотреть на турнир рыцарский; однако ж немногие добились этой чести. Небольшая площадь едва давала простор поединщикам, а вкруг домов сделаны были места для людей почетных. Все окна были отворены, уложены подушками, увешаны коврами. Ленты и разноцветные ткани веяли отовсюду; пестрота домов, нарядов и украшений представляла глазам странное, но приятное зрелище. Наконец, за час до полудня трубы зазвучали по городу, и в одну минуту окна закипели зрительницами, амфитеатр наполнился лучшими купцами и старыми рыцарями. Под балдахином сидел гермейстер, в белой бархатной мантии, с черным на левом плече крестом, в полукафтанье с разрезами, унизанными застежками, в сапогах, на которые спускались от колен кружевные напуски. Золотом шитый воротник рубашки городками лежал на железном оплечье, которое носили тогда рыцари, чтобы и в домашнем платье видно было их звание. Подбой платья, раструбов сапогов и перчаток был малинового цвета. Золотая цепь с орденским крестом показывала его достоинства, и два пера гордо возвышались над его головою, как он над головами прочих. На рукояти меча висели гранатовые четки, как будто эмблемою сочетания духовной и военной власти, ибо тогда сила епископов была уже уничтожена. По левую руку сидела царица праздника, Минна, в токе, в лиловом платье со сборами, с золотыми кружевами, в косынке, вышитой шелками, унизанной жемчугом, и крупные кудри рассыпались по плечам ее, перевитые с дымковым покрывалом. Робко поводила она взорами, и томная грусть видна была на ее лице, как будто однодневная царица красоты чувствовала, что служит живым изображеньем кратковременного владычества прелести!

Между тем, как зрители чинно усаживались по лавкам, споря за почетность мест более, чем за их удобность,— Лонциус и Эдвин стояли у въезда, откуда им видна была вся окружность,— и от доброты сердца перебирали соседей и сосе-

док. Часто душевное горе, раздраженное общим весельем, в котором не можем участвовать, изливается горькими насмешками; это же самое случилось и с Эдвином: желчь его испарялась злословием и, как водится в подобных обстоятельствах, колким, но редко остроумным.

— Мне жаль бедную Минну,— сказал доктор, которому все казалось в забавном виде.— Гермейстер ваш, который так величается гербами своими, право, очень похожими на булочную вывеску, боится потерять свою симметрическую посадку, а ей не с кем пересудить соседок: заметить, что у той-то худо накрахмален воротник, что у того-то растрепаны перья или чересчур нафабрены усы; какое противоречие — гермейстер и Минна!

— Тут не противоречие, а доказательство, что радость и скука — самые близкие соседи!— отвечал Эдвин.— Но, доктор, вы просили меня показать вам кое-кого из женщин и мужчин ревельских,— следуйте же своими взглядами за моими. Вот эта разряженная дама, например, очень похожая на корабельную статуйку,— жена ратсгера Клауса; она, говорят, в самом деле ворочает рулем нашей думы и не раз сажала наш курс на мель. Подле нее примерная чета: бургомистр Фегезак с дражайшей своей половиной: они горят одною страстью — к стеклу, т. е. он к стакану, а она к зеркалу. Эта карманная дамочка, которая, говоря без умолку, вешается на шею толстому своему мужу, будто колокольчик на шею к волу,— дворянка Зегефельс. Он, сказывают, взял маленькую жену для того, чтобы она не достала водить его за нос, зато теперь ушам больно достается. Кстати об ушах... тот молодчик, кажется, прячет их длину в высокий фрез свой — это ландрат Эзелькранц; за ним сидит певица фрейлен Лилиендорф — знатоки говорят, что голос ее есть смешение соловьиного с совиным; а воздушная соседка ее, у которой лицо и платье расцвело радугою,— баронесса Герцфиш. Ей бы давно пора с нашего неба. Далее видна любовница командора Цангейма... не дивитесь, что она сидит выше его жены: это у нас не редкость. Там две сестрицы...

— Полно, полно, Эдвин, о женщинах. Я знаю, что о скромных сказать нечего, о хорошеньких не для чего говорить, а прочие мне наскучили. Теперь очередь до господ. Кому, например, принадлежит эта головка, лежащая на огромном испанском фрезе, как на блюде яблоко?

— Всем, кому угодно, доктор!.. он отдает ее на подержание за сходную цену. Это промотавшийся дворянин Люфт — он сочиняет надгробные надписи и свадебные песни, проекты

рыцарям для впадения в землю неприятелей и для свидания с женами приятелей; смотрит в зубы лошадям, сводит купцов и лечит охотничьих собак... Это самая светлая голова изо всего Ревеля.

— Недаром же вокруг нее коленкоровое сияние; но кто этот в пух разубранный рыцарь... с соколом на руке, обвешанный лентами и пуговицами, как свадебный конь?

— Это мученик и образец щегольства... фогт фон Тулейн... В гардеробе своем он, кажется, не советовался с указом Плеттенберга*: шейная цепочка его весит ровно в 30-ть фунтов, и посмотри<те>, в какие перстни закованы его пальцы.— Он имеет *вес* между рыцарями.

— Ну, а тот с бекасиною фигурою, низенький?

— И низкий человек? Это продажная душа, вицбетрейбер Рабенштраль; но вот въезжают и рыцари: в голове их командор Везенберга Гарткнокх: он прост, как строус, которого перьями так хвалится; подле него на готической лошади галопирует дерптский фогт Цвибель; сквозь его прозрачность** можно видеть звезды на небе и на щите его, только не в голове. Сзади их толстый фрейгер Фрессер на такой тощей лошади, что на костях можно шляпу повесить и принять ее за тень седока... Он заложил женино ожерелье, чтобы сделать своему коню серебряные подковы... Далее...— Эдвин бы не кончил биографической своей сатиры, если бы рыцарь Буртнек не разлучил его с доктором, позвав того к себе.

Рыцари при звуке труб и литавр по двое въезжали за решетку, крутили тяжелых коней своих, кланялись дамам, склоняли копья перед гермейстером. Кирасы их не отличались приятностью рисунка; щиты и нашлемники и длинные попоны коней украшены были такими геральдическими птицами, зверями и травами, что свели бы с ума всех натуралистов мира. Но все это блистание лат, пестрота перьев и шарфов, шитье чепраков и попон, ржание коней, бренчание сбруи и плески и разнообразие кругом — все изумляло странностию, было дико, но пленительно. И вот герольды прочли уставы турнира, и рыцари выскакали вон, оставя место для бою. Снова звучит труба — и уже копья ломаются на груди противников, и выбитые рыцари ползают в пыли от тяже-

---

* Гер. Плеттенберг в 1503 году издал для удержания роскоши указ, в коем предписал простоту в платье и уборах всех сословий, но это осталось без действия.

** Sein<e> Durchlaucht — светлость, его прозрачность, немецкий титул.

сти лат, более чем от силы ударов. Часто своевольные кони разносят их, и копья поражают воздух; часто, стукнувшись лбами, они путаются в сбруе другого и, как петухи, ловят промах врага. Вот уже рижский рыцарь Гротенгельм дважды остался победителем и взял в приз золотой шарф из рук царицы красоты. Трубы прогремели ему туш, народ приветствовал кликами. Тогда только выехал гордый Унгерн, который будто презирал легкие победы и ждал, чтобы другой увенчался ими для украшения его триумфа. Они слетелись, сшиблись, и Гротенгельм покатился через голову с конем своим. Забавнее всего был удар копья Унгернова — он повернул шлем Гротенгельма налево кругом, и тот, вскочив на ноги, долго не мог из него высвободиться, задыхаясь и ничего не видя. Смех и рукоплескания полетели со всех сторон. Унгерн остался, ожидая противников. Бросив повода и опершись на копье, величаво стоял он среди площади. Трубы гремели, герольды вызывали охотников, но сила рыцаря ужасала,— никто не являлся. Все дамы, все зрители восклицали: «Отдать Унгерну награду — отдать лучшую храбрейшему!»

— Отворите!— закричал неизвестный рыцарь, приближаясь,— и в то же мгновение, не дожидаясь, покуда отворят решетку, он сжал в шпорах коня и стрелой перелетел через нее. Хвост разом осаженного коня лег на землю, но рыцарь не шевельнулся в седле — только перья со шлема раскатились по плечам и снова — вспрянули от удара. Минуту стоял он, как вкопанный, слегка поигрывая поводами,— как будто желая осмотреться и дать разглядеть себя, и потом тихо, манежным шагом, поехал кругом ристалища, приветствуя собрание склонением головы. Наличник его был опущен, щит без герба, латы вороненые с золотою насечкой. Огненный цветом и ходом конь его храпел и форкал и весь был на ветре, как будто ступал по облаку пыли, взвеваемой его ногами.

— Какой статный мужчина!— сказала, прищуриваясь, фрейлен Луиза фон Клокен брату своему, когда неизвестный проезжал мимо.

— Какой жеребец!— воскликнул ее брат,— во всех статях — даже и хвост трубою. Это картина — не конь. Крестец, хоть спи на нем, ноги тоньше, нежели у италиянца Бренчелли... и пусть меня расстреляют горохом, если он танцует не лучше фогта Тулейна... Только что не говорит.

— Эту привилегию имеют только ослы,— с досадою подхватил Тулейн, который по случаю сидел сзади.

— Это я вижу теперь,— смеючись отвечал фон Клокен.— Но кто этот неизвестный удалец?

— Это Доннербац,— отвечали многие голоса!

— Неужели он так скоро успел просушить свою голову? Я оставил его за шестою бутылкою венгерского на завтраке у ратсгера Лида.

Между тем рыцарь подъехал к гермейстеру, склонил копье, низко, низко поклонился Минне — и вдруг поднял на дыбы коня своего, метнул его вправо и во весь опор поскакал к Унгерну. Все ахнули, боясь удара, но он сразу и так близко осадил коня, что мундштук звукнул о мундштук...— Что это значит?— с досадою произнес Унгерн, изумленный такою дерзостью.

— Если рыцарь хочет взять у меня урок в геральдике,— насмешливо отвечал неизвестный,— то брошенная перчатка значит вызов на бой!

— Рыцарь, я уже давно этою указкою выездил шпоры, и от ней не один терял стремена!

— Унгерн! мы съехались не хвалиться подвигами, а их совершать. Я вызываю тебя на смертный поединок.

— Ха! ха! ха! Ты меня вызываешь на смертный бой... Нет, брат, это уже чересчур потешно!

— Чему ты смеешься, гордец? я тебя не щекотал еще копьем своим; берегись, чтобы за твой смех по тебе не заплакали.

— Ах ты, безымянный хвастун!— ты стоишь быть стоптан подковами моего коня.

— Наглец и пустослов,— поднимай перчатку или убирайся вон из турнира.

— Я выгоню тебя вон из света, безумец,— вскричал раздраженный Унгерн, вонзая копье в перчатку противника,— и также воткну на копье твою голову.

— Пощупай лучше, крепко ли своя привинчена. На жизнь и смерть, Унгерн!

— Это твой приговор... поклонись в последний раз петуху на Олаевской колокольне,— вы уж больше не свидитесь...

— А ты приготовь поздравительную речь сатане...

— Посмотрим, какого цвету кровь, двигающая этот дерзкий язык!.. Поглядим, какая подкладка у этого надутого сердца,— говорили рыцари, разъезжаясь. И вот герольды разделили им пополам свет и ветер, сравняли копья — и труба приложена к устам для вести битвы. Привстав, склонясь вперед, все чуть дышат, чуть поводят глазами. Сердца дам

бьются от страха, сердца мужчин от любопытства; взоры всех изощрены вниманием. Унгерн сбирает, горячит коня своего, чтобы сорвать с места мгновенно: садится в седло, крутит копьем. Незнакомец стоит недвижно, солнце не играет по латам, ни волос гривы его коня не шевелится... Труба гремит.

Вихрем понеслись противники друг на друга — раз, два — и копьев как не было; но удар был столь силен, что незнакомец зашатался, упал на шею коня и перья шлема смешались с султаном конским, и бегун понес его кругом ристалища. Громкие плески огласили воздух, дамы завеяли платками в одобрение Унгерна. Таковы-то люди, таковы-то женщины — они всегда на стороне победителя.

— Славно, славно, земляк!— кричали ему ревельцы,— ты так крепко сидишь в седле, будто вылит из одного куска с лошадью.

— Едва ли это не правда,— примолвил Лонциус Буртнеку, который ни жив, ни мертв ждал развязки боя.

— Теперь он знает, каково рвать незабудки с копья Унгернова,— прибавил другой.

— Я чай, у него в глазах сверкают такие звезды, что и во сне не увидишь,— сказал третий.

— Распечатай его наличник!— кричали многие.

Но рыцарь очнулся, и насмешки возбудили в нем новые силы. Так дымится и кипит вода от капли кислоты,— так вспыхивает умирающее пламя от немногих зерен пороху.

Снова, с новыми копьями устремились рыцари навстречу; один с уверенностью в победе, другой с злобою мщения... Сразились — и Унгерн пал.

Разгорячен, спрыгнул с коня незнакомец и, наступив ногой на грудь полумертвого Унгерна, простертого в пыли, поднял его оплечье острием меча, направил меч в грудь и оперся на него.

— Ну, Унгерн. Кто победитель?

— Судьба,— отвечал тот едва внятно.

— И смерть — если ты не сознаешься, кто победил тебя?

— Ты, ты!— отвечал Унгерн, скрежеща зубами.

— Этого мало. Ты отнял неправдою землю у Буртнека. Откажись от ней — или чрез минуту тебе довольно будет и той земли, которую теперь закрываешь телом. Да или нет?..

— Я на все согласен!

— Слышите ли, герольды и рыцари! я лишь на этом условии дарю ему жизнь.

Подобно электрическому удару, восторг обуял зрителей,

доселе безмолвных то от страха за Унгерна, то из участия к незнакомцу.— Слава великодушному, награда и честь победителю!— раздалося в громе рукоплесканий.— Ему, ему награду,— восклицали все.

«Неизвестный рыцарь выиграл золотой кубок»,— решили судьи турнира, и герольды провозгласили то. Величаво кланяясь на все стороны, приблизился рыцарь к возвышению, где сидел гермейстер с царицею красоты, поклонился им и в безмолвии оперся на меч.

— Благородный рыцарь!— сказал гермейстер Бруггеней, стоя,— ты оказал свою силу, свое искусство и великодушие — покажи нам победное лицо свое для принятия награды!

— Уважаемый гермейстер! Важные причины запрещают мне удовлетворить ваше любопытство.

— Таковы уставы турнира.

— В таком случае я отказываюсь от прав своих и сердечно благодарю судей за честь, которою не могу воспользоваться.— Сказав это, неизвестный с поклоном отворотился от гермейстера...

— Храбрый паладин,— сказала тогда трепещущая судьбы своей Минна, наполняя кубок вином венгерским...— Неужели откажетесь вы ответствовать на мой привет за здоровье победителя?.. Как царица праздника, я требую повиновения, как дама, прошу вас...

Она отпила и поднесла кубок к незнакомцу.

— Нет, нет,— говорил тот, отводя рукою бокал; видно было, что страсти сражались в нем — он колебался.— Минна!— воскликнул он, наконец, хватая кубок,— да будет!.. я выпил бы смерть из чаши, которой коснулись вы устами... Вожди и рыцари! За здравие и счастье царицы красоты!

При громе труб незнакомец поднял наличник...

VI

Не встанешь ты из векового праха;
Ты не блеснешь под знаменем креста,
Тяжелый меч наследников Рорбаха*,
Ливонии прекрасной красота.

Н. Языков

Происшествие, которое представляю теперь, было в 1538 году, то есть лет 15 спустя после введения лютеранской ве-

* Рорбах был первым магистром Ордена лифляндских меченосцев (Swerdt <Schwert> Brüder).

ры. Орден крестоносцев ливонских недавно потерял тогда главу свою в прусском Ордене, преданном Сигизмунду, и уже дряхлел в грозном одиночестве. Долгий мир с Россиею ржавил меч, страшный для ней в руке Плеттенберга. Рыцари, вдавшись в роскошь, только и знали, что полевать да праздничать, и лишь редкие стычки с новогородскими наездниками и варягами шведскими поддерживали в них дух воинственный. Впрочем, если они не наследовали мужества предков, зато гордость их росла с каждым годом выше и выше. Дух того века разделил самые металлы на благородные и неблагородные; мудрено ли ж, что, уверяя других, рыцари и сами от чистой души уверились, что они сделаны по крайней мере из благородной фарфоровой глины. Надо примолвить, что дворянство, образовавшееся тогда из владельцев земель, много тому способствовало. Оно доискивалось слиться с рыцарством, следовательно, возбуждало в оном желание исключительно удержать за собою выгоды, которые, бог знает почему, называло правами, и нравственно унизить новых соперников. Между тем купцы, вообще класс самый деятельный, честный и полезный изо всех обитателей Ливонии, льстимые легкостию стать дворянами чрез покупку недвижимостей или подстрекаемые затмить дворян пышностию, кидались в роскошь. Дворяне, чтобы не уступить им и сравниться с рыцарями, истощали недавно приобретенные поместья. Рыцари в борьбе с ними обоими закладывали замки, разоряли вконец своих вассалов... и гибельное следствие такого неестественного надмения сословий было неизбежно и недалеко. Раздор царствовал повсюду: слабые подкапывали сильных, а богатые им завидовали. Военно-торговое общество черноголовых (S<ch>warzen-Häupter), как градское ополчение Ревеля, пользовалось почти рыцарскими преимуществами, следовательно, было ненавидимо рыцарями. Час перелома близился: Ливония походила на пустыню, но города и замки ее блистали яркими красками изобилия, как осенний лист перед паденьем. Везде гремели пиры; турниры сзывали всю молодежь, всех красавиц воедино, и Орден шумно отживал свою славу, богатство и самое бытие.

На чем бишь мы остановились?

VII

Что будет, то будет, что будет,
то будет, а будет то, что бог даст.

Богдан Хмельницкий

Медленно открыл незнакомый рыцарь бледное лицо свое и пал без чувств к ногам изумленной Минны, пал от изнеможения и первого удара.

— Эдвин!— воскликнула Минна.

— Купец!— закричали дамы и рыцари, и ропотное волнение разлилось по собранию.— Такая наглость стоит наказания... Эта обида заслуживает месть!— раздавалось отовсюду; и рыцари, дворяне, шварценгейптеры хлынули на ристалище.— Выбросьте вон, прибейте, убейте этого самозванца,— кричали рыцари,— он не наш.

— Он будет наш,— возражали шварценгейптеры, стеснясь в кружок около бесчувственного Эдвина,— мы не дадим тронуть его волоском...

— Кто не даст, кто не позволит? Кто? Не по нашей ли милости впущены вы в круг рыцарский? — шумели дворяне.

— Не из милости, а по праву.

— Кто дал права, тот может и взять их.

— Вы их продали нам, а не дарили. Мы такие же господа, как и вы в Ревеле, который не раз уже выкупали своим золотом и спасали своею кровью.

— Старые песни, старые сказки... храбрость ваша качается на весовой стрелке,— а честь, как обстриженный червонец, очень упала в цене...

— Гром и буря! Мы напечатаем на лбах ваших такие монеты, что век не износите штемпеля...

«Аршинники — разбойники!» — летело навстречу друг другу, и обе стороны пышали боем, когда венденский фогт фон Дельвиг вскочил на перила и громовым голосом говорил:— Дворяне и рыцари! вот следствие нашей доброты! Когда бы не позволили мы шварценгейптерам и первым гражданам мешаться с нами, этот купчишка не стоптал бы нашего собрата — и преимуществ Ордена; не обидел бы в лице Унгерна нас всех. Но пусть прошлое будет нам уроком для переду. Да будет же отныне и навсегда запрещено всем без изъятия, не носящим звания рыцаря или дворянина, въезжать за турнирную решетку.

— Да будет, да будет!— загремели дворяне и рыцари; и герольды под звуком труб возгласили, что никто, кроме

дворян и рыцарей, не может отныне ломать с ними копья в турнире.

— Так мы сломим их в битве,— зашумели обиженные таким исключением шварценгейптеры, обнажая мечи.

— А коли так,— бейте черноголовых,— закричали рыцари.

— Рубите пустоголовых,— восклицали шварценгейптеры, кидаясь к ним навстречу, и в миг мечи запрыгали по латам, и бой завязался. Вопли женщин, клятвы противников, громы оружия огласили воздух. Теснота умножала тревогу, конные и пешие, латники и невооруженные, бойцы и миротворцы смешались, и все орудия от рук до копий были в деле. Обиженное самолюбие и неуклонная гордость подстрекали сражающихся, вино и гнев ослепляли всех; ожесточение росло. Напрасно гермейстер просил, уговаривал, повелевал; напрасно, крича и топая ногами, бросил свой жезл, даже шляпу и мантию на ристалище в знак закрытия турнира — никто не слушал, никто не замечал его. Наконец, усталость сделала то, чего не могли совершить ни моления жен, ни приказы старших.— Обе стороны склонились на увещания доброго бургомистра Фегезака, и противники разошлись, грозя друг другу мечами и взорами. Опустелое побоище усеяно было перьями и шпорами, рыцарскими и дамскими украшениями. К счастью, теснота помешала дальнему убийству, ибо сражение превратилось в борьбу; говорят, немногие заплатили жизнию за эту игрушку.

Эдвин всё еще лежал в смертном обмороке от сильного ушиба и бури чувств. Подле него на коленях стояла прелестная Минна, забыв весь мир для любезного и ничему не внимая, кроме чуть слышного биения его пульса; Лонциус, ухаживая за Эдвином, уговаривал беснующегося Буртнека, который всем тогда известным светом клялся, что он не отдаст Эдвину дочери, хотя он и остался победителем.

— Но ваше слово, барон, ваше рыцарское слово!

— Но мои предки, г. доктор, мои предки! Лучше не сдержать слово, чтобы поддержать имя. Коротко сказать — Эдвин очень высоко задумал; я вовсе не выдам Минны за человека без славного имени.

— Зато с доброю славою.

— За человека, у которого родословная в счетной книге, у которого нет герба.

— У него их тысячи, барон, и все на золотом поле.

— Хоть весь он рассыпься червонцами — я не соглашусь раздвоить* свой щит с вывескою.

— Вспомните, барон, что Эдвин кровью выручал вам отнятое Унгерном,— неужели за великодушие заплатите вы неблагодарностию?

— Добродетель — не титул...

— Мы производим его в командоры шварценгейптеров,— гордо возразили старшины сего сословия.— Он заслужил его достоинство храбростию.

— Слышите ли?— сказал доктор...— Это почти рыцарское достоинство!

— Батюшка,— вскричала, наконец, Минна, будто вдохновенная,— он оживает — мой Эдвин оживает.— Простите...— продолжала она, обливая грудь отца горькими слезами...— я люблю Эдвина, я не могу жить без него... В руке моей вольны вы, но мое сердце навечно принадлежит Эдвину.— Казалось, она истощила все силы души и тела, чтобы выговорить слова сии,— и, сказав их, как лилия, поникла головою и без чувств опустилась на плечо отца. Это тронуло Буртнека более всех доводов. В гербе его не было сердца, но оно билось в груди отеческой. С нежною заботливостью поддерживая дочь левою рукою, он веял над ней перьями шляпы — хотел поцелуем призвать в нее жизнь — и даже слеза блеснула на непривычной к тому реснице. Между тем добрый Лонциус наступал на него сильнее и сильнее.— Он богат, прекрасен, командор и храбр — это пресечет злые языки... Неужели вы хотите уморить дочь и лишить счастья друга, изменив слову? Притом же любовь дочери вашей известна всему городу...

— Дай мне подумать хоть день, хоть час...

— Вы никогда не выдумаете лучше того, что говорит вам сердце... И так, Эдвин зять ваш?

— Зять и сын... Эдвин и Минна, милые дети мои, пробудитесь для новой жизни!

Светел и радостен скакал с турнира Эдвин подле колесницы невесты своей, не сводя с нее глаз и поминутно целуя ее руку. Спускаясь с Блоксберга, им встретился Доннербац в полном вооружении и с копьем в руке...

— Куда едешь, любезный Доннербац?— спросил Буртнек.

* Ecarteler — геральдическое выражение.

— На турнир,— отвечал тот, протирая глаза...

— Ты проспал его... Поедем-ка лучше ко мне на свадьбу,— с усмешкою сказал Эдвин.

— На твою свадьбу,— неужели с фр. Минною?.. не сон ли это?

— Дай бог век не просыпаться от такого счастливого сна.

Шумно промчался поезд мимо — и Доннербац долго стоял на улице с отверстым ртом от удивления.



ИСПЫТАНИЕ



Повесть

Посвящается Ардалиону Михайловичу Андрееву

I

...В благовонном дыме трубок,
Как звезда, несется кубок,
Влажной искрою горя
Жемчуга и янтаря;
В нем, играя и светлея,
Дышит пламень Прометея,
Как бессмертия заря!



евдалеке от Киева, в день зимнего Николы, многие офицеры **ского гусарского полка праздновали на именинах у одного из любимых эскадронных командиров своих, князя Николая Петровича Гремина. Шумный обед уже кончился, но шампанское не уставало литься и питься. Однако же, как ни веселы были гости, как ни искренна их беседа, разговор начинал томиться, и смех,— эта Клеопатрина жемчужина, растаял в бокалах. Запас уездных новостей истощился; лестные мечты о будущих вакансиях к производству, любопытные споры о построениях, похвальба конями и даже всевозможные тосты, в изобретении коих воображение гусара, конечно, может спорить с любым калейдоскопом,—

все наскучило своей чередою. Остряки досадовали, что их не слушают, а весельчаки, что их не смешат. Язык, на который, право, не знаю почему, скорее всего действует закон тяготения, заметно упорствовал подниматься к небу,— восклицания и вздохи и табачные пуфы становились реже и реже, по мере того, как величественные зевки, подобно электрической искре, перелетали с уст на уста...

Я мог бы при сей верной оказии, подражая милым писателям русских повестей, описать все подробности офицерской квартиры до синего пороха, как будто к сдаче аренды; но зная, что такие микроскопические красоты не по всем глазам, я разрешаю моих читателей от волнования табачного дыма, от бряканья стаканов и шпор, от гомеровского описания дверей, исстрелянных пистолетными пулями, и стен, исчерченных заветными стихами и вензелями, от висящих на стене мундштуков и ташки, от нагорелых свеч и длинной тени усов. Когда же я говорю про усы, то разумею под этим обыкновенные человеческие, а не китовые усы, о которых, если вам угодно знать пообстоятельнее, вы можете прочесть славного китолова Скорезби. Впрочем, да не помыслят поклонники усов, будто я бросаю их из неуважения; сохрани меня Аввакум! Я сам считаю усы благороднейшим украшением всех теплокровных и хладнокровных животных, начиная от трехбунчужного паши до осетра.

Но вспомните, что мы оставили гостей не простясь, а это не слишком учтиво. Без нас уже половина из них, не подстрекаемая великим двигателем сердец — банком,— склонила головы свои на край стола, между тем, как остальные, более крепкие или более воздержные, спорили еще, сидя: «что красивее: троерядный или пятирядный ментик?» Вдруг звон колокольчика и топот злой тройки заглушил их прения. Сани шаркнули под окном, и майор Стрелинский уже стоял перед ними.

— Здравствуй, здравствуй!— летело к нему со всех сторон.

— Прощайте, друзья мои,— отвечал он,— отпуск у меня в кармане, кони у крыльца, и ретивое на берегах невских; я заехал сюда на минуту: поздравить милого именинника и выпить прощальную чашу. Сто лет счастия!— воскликнул он, обращаясь к князю с бокалом шампанского и дружески сжимая его руку.— Сто лет!

— Милости просим на погребенье,— отвечал, усмехаясь, Гремин,— и я уверен, что ты заключишь старинную дружбу нашу похвальным словом над моею могилою!

— Похвальным словом? Нет, это слишком обыкновенно. Да и зачем хвалить того, кого не за что бранить!— Впрочем, как ни упорен язык мой на панегирику, твое желание одушевляет меня казарменным красноречием. Не хочу, однако ж, проникать в будущее — нет, я произнесу только надгробное слово этим живым и чуть живым покойникам, за столом и под столом уснувшим. Начинаю с тебя, милый корнет Посвистов, ибо в царстве мертвых и последние могут быть первыми. Да покоится твое романтическое воображение, которое, чуть бывало орошено ромом, пылало, как плумпудинг. Тебе недоставало только рифм, чтобы сделаться поэтом, которого бы никто не понял, и грамматики, чтобы быть прозаиком, которого бы никто не читал. Сам Зевес ниспослал на тебя сон в отраду ушей всех ближних!.. Мир и тебе, храбрый ротмистр Ольстредин; ты никогда не опаздывал на звон сабель и стаканов. Ты, который так затягиваешься, что не можешь сесть, и, натянувшись, не в силах встать! Да покоится же твое туловище, покуда звук трубы не призовет тебя к страшному расчету: «справа по три и по три направо, кругом!» Мир и твоим усам, наш доморощенный Жомини, у которого армии летали, как журавли, и крепости лопали, как бутылки с кислыми щами! Системы не спасли твою операционную линию... ты пал, ты страшно пал, как Люцифер или Наполеон с верного конца в преисподнюю подстолья!.. Долгий покой и тебе, кларнетист бемольной памяти, Бренчинский, который даже собаку свою выучил лаять по нотам. Бывало, ты одним духом отдувал любой акт из Фрейшица; а теперь одна апликатура V. С. Р. со звездочкой низвергла тебя, как прорванную волынку. И тебе, лорд Бейрон мазурки, Стрепетов, круживший головы дам неутомимостью ног своих в вальсе, так что ни одна не покидала тебя без сердечного биения — от усталости. Ты вечно был в разладе с музыкою,— зато вечно доволен сам собою. Мир сердцу твоему, честолюбец Пятачков, хотя ты и во сне хочешь перехрапеть своих товарищей, и тебе, друг Сусликов, что глядишь на меня, будто собираешься рассуждать, и наконец все вы, о которых так же трудно что-нибудь сказать, как вам что-нибудь выдумать. Покойтеся на лаврах своих до радостного утра,— да будет крепок ваш сон и легко пробуждение!

— Аминь!— сказал Гремин, смеючись.— Тебе, однако ж, пришлось бы, в награду за речь эту, променять не одну пару пуль, или иззубрить не одну саблю, если б господа могли все слышать.

— Тогда я не счел бы их мертвецами и не сказывал бы

надгробной проповеди. Впрочем, с теми, кто не принимает шутку за шутку, я готов расплатиться и свинцовою монетою.

— Полно, полно, любезный мой Дон Кишот, мы между друзьями. Не спеши прощаться: мне нужно дать тебе поручения в Петербург немного поважнее покупки ветишкетов и помады. Через четверть часа колокольчик будет уже звенеть в ушах твоих вместо голоса друга.

Они вышли в другую комнату.

— Послушай, Валериан,— сказал ему Гремин,— ты, я думаю, помнишь ту черноглазую даму с золотыми колосьями на голове, которая свела с ума всю молодежь на бале у французского посланника три года тому назад, когда мы оба служили еще в гвардии?

— Я скорее забуду, с которой стороны садиться на лошадь,— вспыхнув, отвечал Стрелинский,— она целые две ночи снилась мне, и я в честь ее проиграл кучу денег на трефовой даме, которая сроду мне не рутировала. Однако ж страсть моя, как прилично благородному гусару, выкипела в неделю, и с тех пор — но далее: ты был влюблен в нее?

— Был и есмь. Подвиги мои наяву простирались далее твоих сновидений. Мне отвечали взаимностью, меня ввели в дом ее мужа...

— Так она замужем!

— По несчастию — да. Расчетливость родных приковала ее к живому трупу, к ветхому надгробию человеческого и графского достоинства. Надо было покориться судьбе и питаться искрами взглядов и дымом надежды. Но между тем, как мы вздыхали,— семидесятилетний супруг кашлял да кашлял — и, наконец, врачи присоветовали ему ехать за границу, надеясь, вероятно, минеральными водами выцедить из его кошелька побольше золота!

— Да здравствуют воды — я готов почти помириться за это с водой, хотя календарский знак Водолея на столе вечно кидает меня в лихорадку. Поздравляю, поздравляю, mon cher Nicolas[1]; разумеется, дела твои пошли как нельзя лучше!..

— Вложи в ножны свои поздравления. Старик взял ее с собою.

— С собой! Ах он чудо-юдо — таскать по кислым ключам молодую жену, чтобы золотить ему пилюли,— вместо того, чтоб, оставя ее в столице, украсить свое родословное дерево золотыми яблоками! Это умертвительное неуменье жить в свете!

[1] Мой дорогой Николай *(франц.)*.

— Скажи лучше: упрямство умереть кстати. Он воображал, постепенно разрушаясь, что обновит себя переменою мест. При разлуке мы были неутешны и поменялись, как водится, кольцами и обетами неизменной верности. С первой станции она писала ко мне дважды; с третьего ночлега еще одно письмо; с границы поручила одному встречному знакомцу мне кланяться, и с тех пор ни от ней, ни об ней никакого известия: словно в воду канула!

— Ужели ж ты не писал к ней? Любовь без глупостей на письме и на деле все равно, что развод без музыки. Бумага все терпит.

— Да я-то не терплю бумаги. Притом куда бы мне адресовать свои брандскугельные послания? Ветер плохой проводник для нежности, а животный магнетизм не открыл мне места ее процветания. Потом иные заботы по службе и своим делам не давали мне досугу заняться сердцем. Признаюсь тебе, я уж стал было позабывать мою прекрасную Алину. Время залечивает даже ядовитые раны ненависти: мудрено ли ж ему выдымить фосфорное пламя любви; но вчерашняя почта освежила вдруг мою страсть и надежды. Репетилов, в числе столичных новостей, пишет мне, что Алина возвратилась из-за границы в Петербург — мила, как сердце, и умна, как свет. Что она сверкает звездой на модном горизонте, что уже дамы, несмотря на соперничество, переняли у ней какой-то чудесный манер ридикюля, а мужчины выучились пришептывать страх как приятно. Одним словом, что, начиная от нижнего этажа модных магазинов до ветреного чердака стихокропателей, она привела у них в движение все иглы, языки и перья.

— Тем хуже для тебя, любезный Николай. Память прежней привязанности никогда не бывала в числе карманных добродетелей у баловниц большого света.

— В этом-то все и дело, любезнейший! Отлучка полкового командира привязала меня к службе; а между тем, как я здесь сижу сиднем, она, может, изменяет мне. Сомнение для меня тяжеле самой неблагоприятной известности, хуже вексельной отсрочки. Послушай, Валериан, я тебя знаю давно и люблю так же давно, как знаю. Коротко и просто: испытай верность Алины. Ты молод и богат; ты мил и ловок,— одним словом, никто лучше тебя не умеет проиграть деньги по расчету и выиграть сердце безумною пылкостию. Дай слово — и с богом.

— Возьми назад свое и убирайся к черту. Подумал ли ты, что этим неуместным любопытством ты ставишь силок

другу и подруге с опасностью потерять обоих? Ты знаешь, для меня довольно аршина лент и пары золотых серег, чтобы влюбиться по уши, — и поручаешь исследовать прекрасную женщину, как будто б она была соляной обломок Лотовой жены, а я профессор стокгольмского университета!

— Поэтому-то самому, милый Валериан, я больше полагаюсь на твою возгораемость и сгораемость, чем на хладнокровие другого. Три дни ты будешь от ней без ума — а через три дни или она станет от тебя без памяти, или своей верностию приведет тебя самого в память. В первом случае я раскланяюсь со своими надеждами — не без сожаления, но без гнева. Ведь не один я бывал в сладком заблуждении, не один останусь и в любезных дураках. Но в другом — тем сладостнее, тем вернее будет обладание любимым сердцем. Мила неопытная любовь, Валериан, но любовь испытанная — бесценна!

— Видно, нет на свете такой глупости, которую бы умные люди не освятили своим примером. Любовь есть дар, а не долг, и тот, кто испытывает ее,— ее не стоит. Ради бога, Николай, не делай дружбы моей оселком.

— Я именем дружбы нашей прошу тебя исполнить эту просьбу. Если Алина предпочтет тебя — очень рад за тебя, а за себя вдвое; но если ж она непоколебимо ко мне привязана,— я уверен, что ты, и полюбив ее, не разлюбишь друга.

— Можешь ли ты в этом сомневаться! Но подумай...

— Все обдумано и передумано — я неотменно хочу этого, а ты несомненно это можешь. В подобных делах друг твой настоящий новгородец — прям и упрям. Да или нет, Стрелинский?

— Да. Слово это очень коротко, но мне так же трудно было выпустить его из сердца, как последний рубль из кармана в полудороге. Впрочем, я утешаю себя тем, что ты и я, как очень легко статься может, опоздали и найдем одуванчик вместо цветка. Тут еще есть бездельное обстоятельство: уверен ли ты, что супруг ее убрался в Елисейские?

— Ничего не знаю; Репетилов ни полслова об этом. Однако ж, хотя бы жизнь его была застрахована самим Арендтом,— природа должна взять свое, и последний песок его часов не замедлит высыпаться!

— Браво, браво, мой Альнаскар! Это несравненно, это неподражаемо! Мы запродали шубу, не спросясь медведя. Опыт наш начинает привлекать меня,— за него надо взяться из одной чудесности. Я твой.

— Постой, постой, ветреник, ты еще не спросил у меня

фамилии нашей героини. Графиня Алина Александровна Звездич. Помни же.

— А если забуду, то наверно, по рассказам твоим, могу о ней осведомиться в первом журнале или в первой модной лавке. Что еще?

— Ничего, кроме моего почтения твоей тетушке и сестрице. Она, говорят, вышла из монастыря?

— И мила, как ангел,— пишут мне родственники.

Друзья расстались.

Между тем гостей развели и развезли. Все утихло; и тем грустнее стало Гремину одиночество после шумного праздника. Платон уверял, что человек есть двуногое животное без перьев; другие физиологи отличали его тем, что он может пить и любить, когда вздумается; но ощипанный петух мог ли бы стать человеком — или человек в перьях перестал ли бы быть им? Конечно, нет. Получил ли бы медведь патент на человеческое достоинство за то, что любит напиваться во всякое время? Конечно, нет. В наш дымный век я определил бы человека гораздо отличительнее, сказав, что он есть «животное курящее, animal fumens». И в самом деле, кто ныне не курит? Где не процветает табачная торговля, начиная от Мыса Доброй Надежды до Залива Отчаяния, от Китайской стены до Нового моста в Париже, и от моего до Чукотского носа? Пустясь в определения, я не остановлюсь на одном: у меня страсть к философии, как у Санхо Пансы к пословицам. «Мыслю,— следственно, существую»,— сказал Декарт. «Курю,— следственно, думаю»,— говорю я. Гремин курил и думал. Мысли его невольно кружились над камнем преткновения для рода человеческого — над супружеством. Есть возраст, в который какая-то усталость овладевает душою. Волокитства — наскучивают, кочевая, бездомовная жизнь становится тяжка, пустые знакомства — несносны; взор ищет отдохновения, а сердце — подруги, и как сладостно бьется оно, когда мечтает, что ее нашло!.. Воображение рисует новые картины семейственного счастия; тени скрадены, шероховатости скрыты — c'est un bonheur àperte de vue![1] Мечты — это животное-растение, взбегающее в сердце и цветущее в голове, — летали вместе с дымом около Гремина и, как он, вились, разнообразились и исчезали! За ними и холодное сомнение, за ними и желчная ревность проникли в душу. «Доверить испытание двадцатилетней

---

[1] Это счастье, по-видимому! *(франц.)*.

светской женщины пылкому другу,— думал он, нахмурясь,— есть великая неосторожность, самая странная самонадеянность, высочайшее безумие!» — Какой я глупец! — вскричал он, вскочив с кушетки, так громко, что лягавая собака его залаяла с просонков.— Эй! пошлите ко мне писаря Васильева!

Писарь Васильев явился.

— Приготовь просьбу в отпуск.

— Слушаю, выше высокоблагородие,— отвечал писарь, и уже отставил было ногу, чтоб поворотиться налево кругом, когда весьма естественный вопрос: «для кого?» перевернул его обратно.

— На чье имя прикажете писать, ваше высокоблагородие?

— Разумеется, на мое. Что ж ты вытаращил глаза, как мерзлая щука? Напиши в просьбе самые уважительные пункты: раздел наследства или смерть какого-нибудь родственника — хоть свадьбу, хоть еще что-нибудь глупее этого... Мне непременно надо быть в Петербурге. Командование полком можно сдать старшему по мне. Скажи ординарцу, чтоб был готов везти пакеты в штаб-квартиру, а сам, чуть свет, принеси их ко мне для подписки. Ступай.

Кто разгадает сердце человеческое? кто изучит его воздушные перемены? Гремин, тот самый Гремин, который за час перед этим был бы огорчен как нельзя более отказом Стрелинского на чудный вызов свой,— теперь едва не в отчаянии от того, что друг согласился на его просьбу. Придавая возможность и существенность воздушным своим замкам, он как будто забыл, что есть на свете другие люди, кроме их троих, и что судьба очень мало заботится, согласны ли ее приговоры с нашими замыслами.

«Стрелинский проведет недели две в Москве,— думал он,— и я скорее его прикачу в Петербург. Статься может, я уж встречу его счастливцем, и свадебный билет разрешит друга от излишней обязанности... Как мила, как богата графиня!!.» В этих утешительных мыслях заснул наш подполковник, и зимнее солнце осветило ординарца его уже на полдороге к бригадному командиру с просьбою об увольнении в отпуск.

II

If I have any fault — it is digression.
Byron[1]

Святки больше всех других праздников сохранили на себе печать старины даже и в Финской Пальмире нашей — в Петербурге. Один из друзей наших въезжал в него сквозь московскую заставу в самый рождественский сочельник; и когда ему представилась пестрая, живая панорама столичной деятельности,— в его памяти обновились все радостные и забавные воспоминания детства. Между тем как дымящаяся тройка шагом пробиралась между тысячами возов и пешеходов, а ухарский извозчик, заломив шапку набекрень, стоя возглашал: «пади, пади!» на обе стороны, он с улыбкою перебирал все степени различных возрастов, сословий и образованности, по мере того, как они развивались перед его глазами. Вещественные образы пробуждали в душе его давно забытые обычаи, давно простывшие знакомства и множество приключений буйной своей молодости в разных кругах общества.

В самом деле, какое разнообразие забот в различных этажах домов, в отдельных частях города, во всех классах народа. Сенная площадь, думал гусар наш, проезжая через нее, в этот день наиболее достойна внимания наблюдательной кисти Гогарта, заключая в себе все съестные припасы, долженствующие исчезнуть завтра и на камчатных скатертях вельможи, и на обнаженном столе простолюдина — покупщиков их. Воздух, земля и вода сносят сюда несчетные жертвы праздничной плотоядности человека. Огромные замороженные стерляди, белуги и осетры, растянувшись на розвальнях, кажется, зевают от скуки в чуждой им стихии и в непривычном обществе. Ощипанные гуси, забыв капитольскую гордость, словно выглядывают из возов, ожидая покупщика, чтобы у него погреться на вертеле. Рябчики и тетерева с зеленеющимися елками в носиках тысячами слетелись из олонецких и новгородских лесов, чтобы отведать столичного гостеприимства, и уже указательный перст гастронома назначает им почетное место на столе своем.

Целые племена свиней всех поколений, на всех четырех ногах и с загнутыми хвостиками, впервые послушные дисциплине, стройными рядами ждут ключниц и дворецких, чтобы у них на запятках совершить смиренный визит на

[1] Если я в чем виноват — то только в отступлении. *Байрон (англ.)*.

поварню, и, кажется, с гордостию любуясь своею белизною, говорят вам: «я разительный пример усовершаемости природы; быв до смерти упреком неопрятности, становлюсь теперь эмблемою вкуса и чистоты, заслуживаю лавры на свои окорока, сохраняю платье вашим модникам и зубы вашим красавицам!»

Угол, где продают живность, ею сильнее манит взор объедал — но это на счет ушей всех прохожих. Здесь простосердечный баран — это четвероногая идиллия — выражает жалобным блеяньем тоску по родине. Там визжит угнетенная невинность или поросенок в мешке. Далее эгоисты телята, помня только пословицу, что своя кожа к телу ближе, не внемлют голосу общей пользы и мычат, оплакивая скорую разлуку с пестрою своею одеждою, которая достанется или на солдатские ранцы, или, что еще горше, на переплеты глупых книг. Вблизи беспечные курицы разных наций: и хохлатые цесарки, и пегие турчаночки, и раскормленные землячки наши, точь-в-точь словоохотные кумушки, кудахтают, не предвидя беды над головою, критикуют свет, который видят они сквозь щелочки своей корзины, и, кажется, подтрунивают над соседом, индейским петухом, который, поджимая лапки от холоду, громко ропщет на хозяина, что он вывез его в публику без теплых сапогов.

Словом, какое обширное поле для благонамеренного писателя басен! сколько предметов для самой басни, где поросенок нередко учит нравственности, курица домоводству, лисица политике, или какой-нибудь крот читает диссертацию о добре и зле не хуже доктора философии! Да и одному ли писателю апологов легко подбирать здесь перья? Проницательный взор какого-нибудь пустынника Галерной гавани или Коломны или Прядильной улицы мог бы собрать здесь сотни портретов для замысловатых статеек под заглавием «Нравы» как нельзя лучше. Он бы сейчас угадал в толпе покупщиков и приказного с собольим воротником, покупающего на взяточный рубль гусиные потроха; и безместного бедняка в шинели, подбитой воздухом и надеждой, когда он, со вздохом лаская правой рукою утку, сжимает в кармане левою последнюю пятирублевую ассигнацию, словно боясь, чтоб она не выпорхнула, как воробей; и дворецкого знатного барина, торгующего небрежно целый воз дичины; и содержателя стола какого-то казенного заведения, который ведет безграмотных продавцов в лавочку расписываться в его книгу в двойной цене за припасы; и артиста французской кухни, раздувающего перья каплуна с важным видом

знатока; и русского набожного повара, который с умиленным сердцем, но с красным носом поглядывает на небо, ожидая звезды для обеда; и расчетливую немку в китайчатом капоте, которая ластится к четверти телятины; и повариху-чухонку, покупающую картофель у земляков своих; и, наконец, подле толстого купца, уговаривающего простака крестьянина «знать совесть»,— сухощавую жительницу иного мира — Петербургской стороны, которая заложила свои янтари, чтоб купить цикорию, сахарцу, кофейку и воложских орехов, выглядывающих из узелка в небольших свертках. Площадь кипит. Слитный говор слышится издалека, сквозь который только порой можно отличить слова: «барин, барин, ко мне! у меня лучше, у меня дешевле, для почину, для вас!» и тому подобное.

В улицах толкотня, на тротуарах возня по разбитому в песок снегу; сани снуют взад и вперед — это праздник смурых извозчиков, так характеристически названных Ваньками, на которых везут, тащат и волокут тогда все съестное. Все трубы дымятся и окрашивают мраком туманы, висящие над Петрополем. Отовсюду на вас пылят и брызжут. Парикмахерские ученики бегают, как угорелые, со щипцами и ножницами. На голоса разносчиков являются и исчезают в форточках головы немочек в папильотках. Ремесленники спешат дошивать заказное, между тем как их мастера сводят счеты, из коих едва ли двадцатый будет уплачен. Купцы в лавочках и в гостином дворе брякают счетами, выкладывая годовые барыши. Невский проспект словно горит. Кареты и сани мчатся на перегонку, встречаются, путаются, ломают, давят. Гвардейские офицеры скачут покупать новомодные эполеты, шляпы, аксельбанты, примеривать мундиры и заказывать к новому году визитные карточки — эти печатные свидетельства, что посетитель радехонек, не застав вас дома. Фрачные, которых военная каста называет обыкновенно «рябчиками», покупают галстуки, модные кольца, часовые цепочки и духи,— любуются своими ножками в чулках à jour[1], и повторяют прыжки французских кадрилей. У дам свои заботы — и заботы важнейшие, которым, кажется, посвящено бытие их. Портные, швеи, золотошвейки, модные лавки, английские магазины все заняты — ко всем надобно заехать. Там шьется платье для бала; там вышивается золотом другое для представления ко двору; там заказана прелестная гирлянда с цветами из «Потерян-

---

[1] Ажурные *(франц.)*.

ного рая»; там, говорят, привезли новые перчатки с застежками; там надо купить модные серьги или браслеты, переделать фермуар или диадему, выбрать к лицу парижских лент и перепробовать все восточные духи.

У немцев, составляющих едва ли не треть петербургского населения, канун Рождества есть детский праздник. На столе в углу залы возвышается деревцо, покрытое покрывалом Изиды. Дети с любопытством заглядывают туда, и уже сердце их приучается биться надеждой и опасением. Наконец, наступает вожделенный час вечера. Все семейство собирается вместе. Глава оного торжественно срывает покрывало, и глазам восхищенных детей предстает weihnachtsbaum[1] в полном величии; увенчано лентами, увешано игрушками, красивыми безделками и нравоучительными билетиками для резвых и ленивых,— каждая вещь с надписью кому, и каждому по заслугам. Этот Pur le mérite[2] радует больше и невиннее, чем все награды честолюбия в позднейших возрастах. Вечно люди осуждены гоняться за игрушками; одно детство счастливо ими без раскаяния.

Наконец день Рождества христова светает в тумане, и вы волею и неволею пробуждены крикливым пением школьников, которые, как волхвы, путешествуют с огромною звездою из картона, с разноцветною фольгою, прорезью, подвесками и свечами. Колокола звонят, и после обедни священники со всем причетом объезжают приход для христославства. Обед сего дня есть семейное собрание, и горе тому племяннику, который осмелится не приехать поцеловать ручку у тетушки и отведать гуся на ее столе. Со второго дня начинаются настоящие святки, то есть колядованья, гаданья, литье воску и олова в воду — где красавицы мнят видеть или венец или гроб, то сани, то цветы с серебряными листьями,— наконец, подблюдные песни, беганье за ворота и все старинные обряды язычества. Но, увы!— подблюдные песни остались у одних только купцов, расспросы прохожих об имени и слушанье под окнами — у одних мещан. Средний круг дворянства в столице оставил у себя только фанты — заведение не вовсе русское, но весьма приятное, — но хорошее, лучшее общество ограничилось одними балами, как будто человек создан для башмаков. Оно отказалось даже от jeux d'esprit[3], быть веселым и умным кажется нам слишком обыкновенно — слишком простонародно.

---

[1] Рождественская елка *(нем.)*.
[2] За заслуги; французское название немецкого ордена.
[3] Остроумные игры *(франц.)*.

— Помилуйте, господин сочинитель! — слышу я восклицание многих моих читателей, — вы написали целую главу о Сытном рынке, которая скорее возбудить может аппетит к еде, чем любопытство к чтению.

— В обоих случаях вы не в проигрыше, милостивые государи.

— Но скажите, по крайней мере, кто из двух наших гусарских друзей, Гремин или Стрелинский, приехал в столицу?

— Это вы не иначе узнаете, как прочитав две или три главы, милостивые государи!

— Признаюсь, странный способ заставить читать себя.

— У каждого барона своя фантазия, у каждого писателя свой рассказ. Впрочем, если вас так мучит любопытство, — пошлите кого-нибудь в комендантскую канцелярию заглянуть в список приезжающих.

III

> Вы клятву дали? Эта клятва
> Лишь перелетным ветрам жатва.

В числе самых блистательных балов того года был данный князем О*** три дни после Рождества. Кареты, сверкая гранеными фонарями, как метеоры, влекомые четверками, неслись к рассвещенному подъезду, на котором несчастный швейцар, в павлиньем своем уборе, попрыгивал с ноги на ногу от русского мороза. Дамы выпархивали из карет и, сбросив перед зеркалом аванзалы черные обертки свои, являлись подобны майским бабочкам, блистаючи цветами радуги и блестками злата. Скользя, будто воздушные явления, по зеркальному паркету вслед за разряженными своими матушками и тетушками, как мило отвечали девицы легким склонением головы на вежливые поклоны знакомых кавалеров и улыбкою — на значительные взоры своих приятельниц, между тем как на них наведены все лорнеты, все уста заняты их анализом, но, может быть, ни одно сердце не бьется истинною к ним привязанностию.

Все действия и явления, на которые обыкновенно делится классический бал высшего общества, приходили и проходили своей чередою. Строгие взоры матушек, выученная любезность дочерей, самоуверенное пустословие щеголей во фраках и мундирах. Теснота в зале танцев, и не от танцующих, но от зрителей, — безмолвие в комнате шахматов,

ропот за столами виста и экарте, за коими прошедшее столетие в лицах проигрывало важность свою, а нынешнее свою веселость; ловля выгодных женихов и невест везде — вот что занимало три четверти общества, между тем как остальные были жертвою тайной зевоты,— «неутолимой никаким сном», как говорит Байрон. Забавнее всего было созерцать и следить охотников за браками (marriage-hunters) обоих полов. Рассеянно, небрежно, будто из милости подавая руку молодому офицеру, княжна NN прогуливалась в польском, едва слушая краем уха комплименты новичка; зато как быстро расцветало улыбкою лицо ее, когда подходил к ней адъютант с магическою буквою на эполетах; как приветливо протягивала она ему руку свою, будто говоря: «она ваша», поправляя другой длинные свои локоны и длинные свои перчатки, и доселе безмолвные уста ее изливали поток любезностей, подобно Самсонову фонтану в Петергофе, который брызжет только для важных посетителей. Вот и заботливая физиономия Полины У***: она, кажется, только что покинула грифель, но не бросила своей выкладки вероятностей о производстве в чин того и того, ни оценки знатности родства и силы протекции того и того-то, ибо протекция в нашем веке стоит наследства. Взор ее не замечает ничего, кроме густых эполетов, кроме звезд, которые блещут ей созвездием брака, и дипломатических бакенбард, в которых фортуна свила себе гнездышко. У мужчин, имеющих за собой породу или богатство, или чины, или перед собой виды и надежды,— те же затеи, подобные же выборы. По виду их скорее заключить можно, что они в биржевой, а не в бальной зале. «Эта девушка прелестна,— думает один,— но отец ее молод, бог знает, сколько проживет он лет и денег. Эта умна и образованна, дядя ее на важном месте, но, говорят, он колеблется,— тут надобно подумать, то есть подождать. Вот эта, правда, не очень красива и очень недалека, зато как одушевлена! чертовски одушевлена тремя тысячами душ, из которых ни одна не тает в ломбарде или двадцатилетнем банке, как большая часть наших приданых. Я невольник ее!» И вот наш искатель, подсев сперва к матушке ее, со вниманием слушает вздоры, — старая, но всегда удачная дипломатика; потом рассыпается в приветствиях дочери, танцуя, делает влюбленные глазки и облизывается, считая в мыслях ее червонцы.

Бал уже склонялся к концу, и многие из корифеев моды, зевая в гостиной на просторе, клялись, что он чрезвычайно

весел, как вдруг шум и восклицания: маски, маски! привлек всех беглецов в залу танцев. В самом деле, два блестящих кадриля, один в испанском, другой в венгерском костюмах, заслуживали внимание равно по богатству, по вкусу уборов и по стройности замаскированных. Обежав кругом залу, каждый из них бросил по загадке знакомым и незнакомым, возбуждая следом спор уверяющих, что это он или он. Хозяин, радуясь, что случай дал разнообразие его балу, пригласил замаскированных к танцам. Мазурка загремела, и венгерцы, попросив четырех дам сделать им честь украсить кадриль их, выиграли одобрение ото всех окружающих ловкостию и развязностию движений, новостью и благородством фигур. Наконец, послышалась одушевленная, живая музыка французского кадриля, и одна из масок, принадлежавшая, казалось, к толпе тех, которые воображают, что они все сделали для общества, если надели на себя пышный костюм, маска, безмолвно доселе стоявшая у стены, гордо завернувшись в бархатную, расшитую золотом эпанчу, вдруг сбросила с себя ее на пол и легкой стопой приблизилась к графине Звездич, окруженной вздыхателями.

— Дозволит ли графиня незнакомцу иметь счастие танцевать с нею?— произнес испанец почтительно, прижав к груди барет свой, украшенный перьями и бриллиантами.

— Очень охотно, прекрасная маска,— вставая, отвечала графиня. — Новые знакомства нередко избавляют нас от скуки старых; и в этом отношении я уже вам обязана,— прибавила она, лукаво поглядывая на оставленную группу.— Впрочем, быть может, мы не совсем незнакомы друг другу?

— Я здесь чужестранец, графиня. Да если б и не был им,— все нашелся бы в большом замешательстве, боясь попасть в категорию старого знакомства и не имея дарований оправдать нового.

Алина вздрогнула от звука голоса и какого-то нежно укорительного тона испанца.

— Вы обвиняете меня слишком поспешно, распространяя на всех слова, сказанные шутя,— отвечала она, — но полноте скрытничать; мне кажется, я могу подсказать вам имя ваше,— продолжала она, стараясь заглянуть под полумаску.

— Я не знал, что графиня в тысяче прелестей и добрых качеств имеет дар ясновидения... Я очень сомневаюсь, что бы мое имя могло быть напечатано на золотом листе меся-

ца; но во всяком случае позвольте избавить вас от усталости произносить его,— я называюсь Дон Алонзо де Гверера е Молина е Фуэтес е Риего е Колибрадос...

— Довольно, слишком довольно имен в наказание моему любопытству, но слишком мало к его удовлетворению. Итак, Дон Алонзо, вы меня знаете?

— Какой смертный может похвалиться, что он знает женщину!

Танцы разлучили их, и им во все время не удалось сказать друг другу ничего, кроме самых обыкновенных вещей. Кадриль восхитил всех. Игроки бросили карты, домино и шахматы; все стеснилось в любопытный круг около танцующих, и отовсюду слышалось: Ah, qu'ils sont charmants! Ah, comme c'est beau ca[1]! Особенно графиня и кавалер ее казались созданными, чтобы возвысить искусство и красоту один другого. Победа осталась за ними — они пересияли все сопернические звезды, — и любопытство узнать испанца возросло во всех до высшей степени, но более всех в прелестной графине. Провожая ее на место, посреди ропота зависти, одобрения и приветов, испанец снова просил «осчастливить» его на попурри, — и снова получил согласие. Попурри и котильон (которые сливаются ныне воедино) — роковые танцы для незнакомых между собою. Я всегда называл их двухчасовою женитьбою, потому что каждая пара испытывает в них все выгоды и невыгоды брачного состояния. Счастлива дама, которой достанется в удел не угрюмый мечтатель, разбирающий в то время последне-прочитанную фразу Окена, и не безумолкный попугай, который на трех языках говорит вам нелепости. Счастлив и кавалер, которому фортуна дарует даму, отражающую все ваше остроумие не одним веером, не одними оледеняющими: «oui, Monsieur; certainement, Monsieur»[2]. Зато как осторожны дамы в выборе кавалеров на котильон! Все пружины миниатюрной их политики пущены в игру заране, чтобы заставить себя «ангажировать» тем, кого любят они слушать или хотят заставить слушаться. Слепое счастие, однако же, послужило испанцу; никто за неделю не звал графиню на попурри, а толпа окружающих не смела на попытку, боясь отказа перед глазами соперников и воображая, что она давно уже избрала или избрана. Теперь, под громом музыки, под говор соседей, уединен с нею в амбразуре окна, Дон

---

[1] Ах, как они милы! Ах, как это красиво! *(франц.)*

[2] Да, сударь; конечно, сударь *(франц.)*.

Алонзо мог говорить все, что допускает светская любезность, возвышенная правом маски. Разговор перелетал то мотыльком, то пчелой от цветка к цветку, от предмета к предмету. Ум неистощим, когда нас понимают; он сыплет искры, ударяясь о другой. Пара наша довольна была друг другом, как нельзя более. Графине порой казалось, что с нею беседовал знакомый и когда-то милый голос. «Это Гремин,— думала она сама с собою,— тут нет никакого сомнения! Что мудреного приехать ему в отпуск». Но вдруг голос этот изменялся, и одна учтивая приветливость следовала, как холодная тень, за выражением ласки. Со всем тем какая-то невольная доверенность овладела графинею, и разговор неприметно переходил в тон более и более сердечный, как вдруг испанец отвел от Алины доселе вперенные на нее взоры и, небрежно бродя ими по зале, с видом модного злословия спросил:

— Скажите, графиня, неужели это прыгающее memento mori[1] — князь Пронский? Он так часто меняет свои покрои, прически и мнения, что не мудрено ошибиться! Боже мой, как он прыгает! он чуть-чуть не запутался в люстре.

— Не дивитесь этому, Дон Алонзо: разве не видим мы, что и ржавые флюгера скрипят, но вертятся?

— Совершенная правда, графиня. Но флюгера кончают тем, что от ржавчины делаются постоянны, а князь, кажется, с каждым годом легче и легче, так что в сотый день своего рождения, можно надеяться, он, как шампанская пробка, вспрыгнет до потолка. Эта дама в перьях pendant[2] князя Пронского, летающая воланом со стороны на сторону, вдова генерала Кретова, графиня?

Наклонение головы уверило испанца, что он не ошибся.

— Посмотрите ж, пожалуйте, как нежно глядит она на кавалера своего, гвардейского прапорщика, между тем как он будто ждет от нее благословения, а не любви. Позвольте еще испытать ваше терпение, графиня: кто этот человек с прагматическими пуговицами и пергаменным лицом, стоящий в рисовальной позиции?

— Это представитель всех предрассудков века Людовика XIV-го, кавалер посольства, Сен-Плюше. Как истинный эмигрант, он ничему не выучился и ничего не забыл, — но вечно доволен сам собою,— а это чего-нибудь да стоит. Но как вам нравится сосед его, наш любезный соотечественник? Он

[1] Помни о смерти *(лат.)*.
[2] Пара *(франц.)*.

так влюблен в себя, что беспрестанно смотрится даже в свои пуговицы, где нет зеркал.

— Он бесценен, графиня. Если б доктора согласились общею подпискою воздвигнуть монумент болезням, он мог бы служить идеалом для статуи бога насморка. Но через пару далее его, я почти готов парировать, длинная фигура в белом кирасирском вицмундире — ротмистр фон Даль. Как похож он на статую командора, который в первый раз слез с лошади, чтобы звать Дон Жуана на ужин! Дама его, если не ошибаюсь, Елена Раисова? Но она напрасно раздувает опахалом своим внимание в неподвижном рыцаре... Конгревские ракеты ее остроумия лопают в пустыне.

— Вы, Дон Алонзо е Фуэнтес е Колибрадос, не более щадите наш пол, как и своих собратий. Должно полагать, вы многое претерпели от женщин?

— И кажется, срок моего испытания не кончился, прекрасная графиня,— отвечал с чувством испанец, устремляя на нее сверкающие глаза. Графиня, чтобы избежать сего тона, обратила разговор в прежнюю струю.

— Вы сказываетесь новичком, Дон Алонзо, в Петербурге и на бале,— и потому я дивлюсь, что до сих пор не спросили меня о двух героях наших увеселений, о Касторе и Поллуксе каждой мазурки, каждого кадриля. Я разумею о графе Вейсенберге, племяннике австрийского фельдмаршала, и маркизе Фиэри, его друге. Они путешествуют, смотрят свет, и показывают себя... неужели вы до сих пор не видели графа Вейсенберга?

— Я ничего не видел, кроме вас!

— Так должны заметить его неотменно. С какими глазами покажетесь вы в свое отечество, не узнав великого человека, научившего нас галопировать! Вот он проходит мимо... молодой человек с усиками в венском фраке... но вы не туда смотрите, Дон Алонзо!

— Ах, тысячу раз прошу прощения, графиня!.. Так это-то милый крокодил, который за каждым dèjeunier dansant[1] глотает по полудюжине сердец и увлекает за собой остальные манежным галопом? Mais il n'est pas mal, vraiment[2]. Жаль только, что он как будто накрахмален с головы до ног или боится измять косточки своего корсета.

— Вслед за ним вертится маркиз Фиэри.

— Прекрасные бакенбарды! Выразительные глаза! и он

---

[1] Завтрак с танцами *(франц.)*.
[2] Но он, право, недурен *(франц.)*.

смотрит ими так уверительно, как будто говорит: любите меня — или смерть!

— Многие находят его весьма остроумным.

— О, бесконечно остроумным! Все маркизы имеют патент на остроумие до двенадцатого колена. Я уверен, что с запасом модных галстуков и жилетов он не забыл привезти для здешних дам итальянского чичисбеизма и венской любезности!

— И вы не ошиблись, Алонзо. Он очень занимателен в дамском обществе — и не считает пол наш какою-нибудь варварийскою республикою!

— Кажется, эта стрела летит в Испанию, графиня?

— Конечно, Дон Алонзо, в ваше отечество, в отечество истинного рыцарства, между тем как вы, вместо того, чтоб защищать прекрасных,— объявляете им войну злословия.

— Если б все женщины были подобны вам, графиня, я не имел бы причины стать их неприятелем.

— Вы, кажется, хотите лестию выкупить наперед какую-нибудь злость против целого нашего пола. Но я на часах против вас, Дон Алонзо. Комплименты врага — опасные переметчики.

— Они выдуманы не для вас, графиня. Самые затейливые вымыслы, касаясь вас, становятся обыкновенными истинами.

— Я не предполагала, что земля ваша так же легко произращает лесть, как апельсины и лимоны!

— На родине моей, в этом саду прекрасных произрастений, я не научился, однако же, прозябать душою, как большая часть людей холодного здешнего климата. Сердце мое на устах, графиня, и потому мудрено ль, что пораженный достоинствами или красотою, я не могу таить чувства? Вы можете обвинять мои выражения, но искренность — никогда.

— Вашу искренность, Дон Алонзо? Я не имею на нее никакого права, да и можно ли узнать душу, не видав лица, ее зеркала. Человек, который так упорно скрывается под маскою, может сбросить с нею и маскарадные свои качества.

— Признаюсь, графиня, я бы желал, если б мог, с этим костюмом сбросить с сердца воспоминание... более чем воспоминание настоящего. Но позвольте мне хранить маску... может быть, для обета своим товарищам, может быть, в подражание дамам, которые носят воаль, чтобы возбуждать любопытство, не могши изумлять красотою... может быть, для удаления от вас неприятного сюрприза видеть лицо мое.

— Чем более хотите вы таиться, тем вернее узнаю я вас. Но погодите: я женщина, и вы мне дорого заплатите за свое упрямство.

— Верьте, графиня, я уже плачу за него и...— Вихорь вальса умчал графиню на середину, где законы попурри заставили ее протанцовать соло в pastourelle[1], одной из фигур французских кадрилей.

— Вы мечтаете? — сказала графиня, возвращаясь на место.

— И мечтой моей наяву были — вы. Я любовался вами, прекрасная графиня, когда, склонив очи к земле, будто озаряя порхающие стопы свои, вы, казалось, готовы были улететь в свою родину — в небо!

— О нет, Дон Алонзо, я бы не хотела так неожиданно покинуть землю; мне бы жаль было оставить родных и добрых моих знакомых. Нет, благодарю покорно!.. Взрыв вашего воображения закинул меня слишком высоко. Вы поэт, Дон Алонзо!

— Не более как историк, графиня... беспристрастный историк,— возразил испанец, скидывая перчатку с левой руки, потому что в это время танец уже кончился... Невольное: ах! вырвалось у графини, когда в глаза ей сверкнул перстень испанца. По нем она узнала Гремина. С сильным волнением сжимая руку маски, она произнесла:

— Историк должен помнить, где и от кого получил он перстень с небольшим изумрудом; он должен помнить, как виноват он перед...— Графиня не успела кончить слово, как отъезжающие маски почти увлекли с собою испанца. Он едва мог у ней попросить позволения явиться на другой день для объяснения загадки.

— Я этого требую, — отвечала графиня; и незнакомец исчез, как сон. Котильон и ужин показались ей двумя вечностями. Она была задумчива, рассеянна, — отвечала *нет*, где надобно было говорить *да*, и *мне очень жаль* — вместо *я очень рада*. — Она хочет нас мистифировать, — говорили между собою модники. «Она, верно, гадает о суженом!» — подумала горничная Параша, когда графиня, приехав домой, опустила тафтяные цветы свои в серебряный умывальник, а бриллиантовые серьги заперла в огромный картон. Если б кто-нибудь догадался сказать: «она влюблена», тот бы, я думаю, ближе всех был к истине.

---

[1] В пастушке *(франц.)*.

IV

Для нас, от нас, а, право, жаль,—
Ребра Адамова потомки,
Как светлорадужный хрусталь,
Равно пленительны и ломки.

Лучи холодного солнца давно уже играли по алмазным цветам цельных стекол графини Звездич, но в спальне ее, за тройными завесами, лежал еще таинственный мрак, и бог сна веял тихим крылом своим. Ничего нет сладостнее мечтаний утренних. Первая дань усталости заплачена сначала, и душа постепенно берет верх над внушениями тела, по мере того, как сон становится тоньше и тоньше. Очи, обращенные внутрь, будто проясняются; видения светлеют, и сцепление идей, образов, приключений сонных становится явственнее, порядочнее, вероятнее. Память не может вполне схватить сих созданий, не оставляющих по себе ни праха, ни тени,— но эта жизнь сердца... оно еще бьется, оно еще горячо их дыханием, оно свидетель их мгновенного бытия.

Такие мечты лелеяли сон Алины, и хотя в них не было ничего определенного, ничего такого, из чего бы можно было выкроить сновидение для романтической поэмы или исторического романа, зато в них было все, чем любит наслаждаться юное воображение. Начальные грезы ее были, однако, менее цветисты, хотя очень забавны. То около нее кружился чудесный вальс, составленный из эполетов, аксельбантов, султанов, шпор и орденов... вся лавка Петелина танцовала казачка. То, казалось, она подавала пилюли покойнику мужу; то снова погружалась в Баденские воды, будто в поток забвения... и вдруг стены третьей станции вставали около нее с лубочными своими портретами, на которые глядит она, переписывая давно нам знакомое послание. И вот, кажется ей, один портрет мигает ей очами, улыбается, усы шевелятся; он готов выпрыгнуть из рамок, но она сама кидается к нему навстречу... «Это вы, Гремин!» — вскрикивает графиня... Нет, это Блюхер. И снова гремит и мчится котильон, и снова слышатся ноты французского кадриля... какой-то незнакомец, в испанской мантии на гусарском доломане, приближается к ней и... Но перечесть все вздоры, которые мы видим во сне, значило бы бредить наяву, и потому я скажу только, что часы добивали десять, когда колокольчик графини слился с последним их ударом. Параша распахнула внутренние ставни, отдернула

занавесы, и уже несколько минут стояла у ног кровати с раскинутою шалью, но Алина Александровна изволила еще почивать с открытыми глазами, еще на кругу ее полога мечты проходили, подобно фантасмагорическим тепям. — Он приедет, — наконец весело произнесла она, сбрасывая одеяло, — он скоро приедет!

— Кто, ваше сиятельство? — простодушно спросила служанка, помогая ей одеваться.

«Кто?» — Графиня задумалась... Она чувствовала, что на простой этот вопрос — не могла отвечать утвердительно.— Увидим! — отвечала она со вздохом.— Накажи только швейцару, что если приедет молодой гусарский офицер, которого он до сих пор не видал, то просить его наверх без всяких докладов. Всем другим отказывать. Слышишь ли, Параша?

— Слышу, ваше сиятельство; только не понимаю,— прибавила Параша потихоньку.

И сама графиня худо понимала, что с нею сталось. За чашкой чаю и за туалетом она имела довольно времени обдумать о минувшем и настоящем. Она была в большой нерешимости, как встретить человека, который был так близок ей во дни неопытности, когда всякий прыжок сердца кажется любовью, каждый конфетный девиз — изъяснением, и первое милое личико — любезным предметом; человека, забытого ею так скоро в рассеянии забав и путешествий, и к которому вдруг, в один вечер, привязалось сердце ее вновь, со всем пылом новой страсти, со всей свежестью мечты, доселе ею неизведанными! Странность ли его появления, таинственность ли его поступка, воспоминание ли прежнего или *беспричинная* прихоть,— только графиня чувствовала, что это похоже на любовь. Но всего страннее было — колебание ее между известностью и сомнением о замаскированном испанце. Она звала его Гремин, а думала о ком-то другом; ей нравилось именно то, чего никогда не замечала она в Гремине: ее пленили новость и разнообразие разговоров и познаний маски, так что она едва не желала знать испанца всегда испанцем, чем увидеть в нем Гремина. Она кончила, однако ж, заключением, что свет и опыт удивительно как развертывают молодых людей и что любезность Гремина достигла теперь полного цвету... «Но я должна со всем тем наказать его, как беспечного поклонника и как недоверчивого хитреца. Вы испытаете, князь, что и я недаром прожила 3 года на белом свете с тех пор, как и мы жили в Аркадии; я буду с вами холодна — и холодна, как мрамор».— Однако ж, который час, Параша?

— Три четверти первого, ваше сиятельство!

— Эти часы ужасно отстают, Параша. На моих уже пятьдесят пять минут первого!

— Ваши часы идут заодно с сердцем, подле которого лежат они: любовь прилипчивая болезнь, ваше сиятельство,— сказал бы я графине, если б я был ее служанкою, но судьба создала меня только покорным слугою прекрасных, и я должен часто молчать, когда мог бы ввернуть словцо очень кстати.

Между тем Параша, окончив свою должность при туалете, вышла; но графиня все вертелась еще перед трюмо в прелестном утреннем платье, и, подобно поэту, который точит и гладит стихи свои, чтобы они по легкости казались прямо упавшими с пера,— разбрасывала каштановые кудри по высокому челу с утонченною небрежностию. Крепко забилось сердце ее, послышав скрип колес по морозному снегу и тройное падение подножки у крыльца. В ту же минуту Параша, запыхавшись, вбежала в комнату:

— Приехал, ваше сиятельство!— сказала она.

— Чему же ты обрадовалась,— возразила графиня с притворным равнодушием. — Дай мне платок и скляночку с духами.

Параша безмолвно повиновалась, и графиня принуждена была сама спросить ее, хотя ей очень того не хотелось:

— Разве ты его видела, Параша?— сказала она ласковее, набрасывая шаль на локти.

— Мельком, сударыня, а не нагляделась бы на него; уж можно сказать — молодец. Строен, высок и лицом будто красная девушка. Голубые его глаза больше ваших браслетных яхонтов, ваше сиятельство, а светлые кудри и белокурые усы его вьются колечками.

— Светлые кудри, Параша? Ты верно ошиблась, у него волосы чернее моих!

— Может статься, и ошиблась, ваше сиятельство; он был тогда в шляпе, и я загляделась на прекрасный султан — так и зыблется до самого воротника!

— А воротник его коричневый, не правда ли, Параша?

— Коричневый, ваше сиятельство... я не видала гвардейских офицеров с такими воротниками,— однако ж, он верно гвардеец... у него такая прекрасная карета...

— Это он,— произнесла графиня, не слушая ученых замечаний своей горничной, и решительно протекла все ком-

наты до гостиной. Но когда должно было ступить туда, бодрость ее оставила, и она долго держала за позолоченную ручку дверей, припоминая, какое лицо должно ей принять и что говорить. Наконец, дверь распахнулась, и графиня, опустя очи, вошла в гостиную, краснея подняла их,— и что же? Перед нею стоял белокурый гусарский офицер, по вовсе не князь Гремин. Быстро сменялись розы и лилии на щеках графини,— она неподвижно глядела на незнакомца... но он, вероятно, более приготовленный к подобной встрече, после обычных поклонов, первый прервал молчание:

— Я должен просить у вас прощения, графиня, и за вчерашнюю мистификацию, и за странность настоящего визита. Дон Алонзо осмеливается представить вам гусарского майора Валериана Стрелинского, а Валериан Стрелинский дерзает ходатайствовать за испанского гидальго; хотя с большим сомнением на счет действительности обоих и взаимных порук!

Смущение светской женщины — минута. С любезно-шутливым тоном отвечала она:

— Напрасное сомнение, господин майор: я очарована случаем познакомиться с вами без маски и, конечно, ничего не теряю в вашем превращении.

— Ваши слова для меня оракул, графиня, и позвольте сказать,— на этот раз так же двусмысленны. Ничего не теряете, сказали вы, но из чего? из хорошего или дурного обо мне мнения?

Есть люди, умеющие так естественно говорить самые необыкновенные вещи, предлагать самые нескромные вопросы в мире, что в их устах они нисколько не кажутся странными, — и с первой минуты знакомства располагают всякого к подобной же откровенности. Стрелинский принадлежал к их числу.

— Вы слишком требовательны, майор,— отвечала графиня, улыбаясь.— Теперь вы бы могли усумниться в истине моего ответа потому только, что он сказан при первом вашем посещении: я храню это удовольствие для позднейшего знакомства.

— Но как осмелюсь я скучать вам повторением визитов, неуверенный в прощении за первый? Вы желали видеть меня без маски, графиня, будьте же снисходительны к моим самородным странностям. Руку на сердце, и скажите искренно — вы не меня ожидали увидеть в Дон Алонзе?

— Я не ожидала увидеть вас, Стрелинский! Но вы знаете, что не всегда желают, кого ждут...

— И, позвольте докончить речь вашу,— иногда терпят, кого не ждут, — не так ли, графиня?

— Совершенно не так, Стрелинский. Вы злой переводчик добрых мыслей. Я думала, что утро излечит вас от вчерашней неприязни к женщинам, — но теперь вижу, что вы неисправимы!

— Неисправим,— что до искренности, графиня. Я солдат, и вечный, неизменный отзыв мой — *истина,* во всех случаях жизни; в уединении и в шуме света при последнем, как и при первом свидании; и я, не обинуясь, скажу вам: я так высоко ценю ваше доброе расположение, что и часовая неизвестность о нем мне будет тягостна.

— Я думаю, Стрелинский, удовольствие, с которым провела я время, танцуя с вами, может служить тому лучшим поручительством.

— Вы так добры, так снисходительны, графиня; со всем тем я не осмеливаюсь завладеть вполне этим комплиментом за минувший вечер.

— Не вполне, майор? — отвечала графиня шутя и как будто не угадывая, на что метил Стрелинский,— неужели же вы уделяете из него часть своему испанскому платью? Я уверена, что вчерашний Дон Алонзо и в гусарском мундире будет так же весел и любезен, как прежде, и постарается вновь перенести роскошные цветы Гренады под хладное небо нашего отечества.

— Небо везде небо, графиня, хотя не каждый хочет, не каждый умеет наслаждаться им! и не все цветы орошены благотворною росою...

Он замялся, не зная, какой родительный падеж прибрать сюда, но глаза договорили его мысль лучше слов, и, как казалось, прекрасная графиня вовсе не сердилась на это. Даже, если верить достоверным историкам (вы знаете, что и Наполеон не казался героем своему камердинеру, и Клеопатра была не более как женщина в глазах ее наперсницы),— то при слове «небо», которому влюбленный майор дал нежное значение звуком голоса, что-то похожее на вздох вырвалось из груди ее.

Потом разговор склонился на летучие новости, которыми испещрена всегда столичная атмосфера. Потом графиня рассказывала маленькие приключения своих путешествий так мило! Валериан слушал так внимательно! а это великое

искусство, особенно с женщинами,— они требуют, чтобы вы внимали им не только слухом, но и глазами, и скорее простят всякую глупость, когда вы им говорите, нежели рассеянность, когда вы их слушаете. Одним словом, между новыми знакомцами царствовала такая гармония, что можно было закладывать сто против одного: амур был настройщиком этого лада. Они шутили, смеялись, спорили, как будто век жили вместе. И между тем очи обоих вели столь сильный перекрестный огонь, что он не только им, но и сторонним мог казаться потешным. Один мой приятель говаривал, что сердце юноши — лядунка с порохом, сердце женщины — склянка с духами; но, как бы то ни было, и то и другое — вещи легковозгораемые, а потому казалось весьма сомнительным, чтобы они могли уцелеть от пламени. Но женщины и в самом пылу не забывают ни приличий, ни безделиц, лежащих на сердце...

Приданое Евы — любопытство и оскорбленное самолюбие — подстрекали графиню узнать, каким образом могло кольцо, подаренное Гремину, перейти в руки Стрелинского! Она не скрывала от себя, как ни досадно то было, что майор по вчерашним словам угадал ее тайну, если тайной что-нибудь ему было прежде, ибо встречу с собой она не считала случайною, и потому, возвратив улитку разговора на маску его, она слегка похвалила его уменье превратить себя из блондина в черноволосого, и искусство менять голос по произволу — и пошла прямо к цели.

— Откровенно скажу вам, Стрелинский,— примолвила она,— вы бросили меня в туман загадок и недоумений. Особенно эмалевое кольцо ваше с изумрудом ввело меня в ребяческое заблуждение... мне показалось, оно не вовсе мне незнакомо.

— Кольцо это,— отвечал Стрелинский, как будто пробуждаясь от сна и подавая его графине,— кольцо это сделано было года два тому назад в подражание кольцу одного из друзей моих, только что приехавшего из Петербурга. Я счел его модным; вкус в отделке и форма мне понравились — и услужливые киевские жиды тотчас сработали что-то подобное. Все это было делом случая, но теперь кольцо мое получило для меня новую цену, как заветное звено лестного вашего знакомства, графиня.

Между тем лицо графини прояснилось... Рассмотрев кольцо, она уверилась, что оно только издали схоже на подаренное ею некогда и не носило на себе знака давно стер-

той с ее сердца привязанности. Самолюбие ее было утешено, и она, отдавая кольцо Стрелинскому, очень благосклонно возразила ему:

— Вы напрасно приписываете магнитную силу этой безделке. Не она, а любезность ваша причиной знакомства. Посещая почтенную вашу тетушку, мы и без этого случая, конечно бы, узнали друг друга. Кроме того, живучи в одном круге, вероятно ль, чтоб мы где-нибудь не встретились? Кстати о балах. Стрелинский, где вы будете встречать Новый год? Что до меня касается, я отозвана уже за месяц на ежегодный и единственный бал к княгине Бо̀рис. Вы, кажется, родня им?

— Впервые благодарю богов,— я ее племянник! По крайней мере, я должен веровать в это по самым чувствительным доказательствам. Она не упускает ни одного случая пожурить меня, сажает за детский стол, когда за большим тесно, и, по-московски, нередко потчует шипучим медком вместо шампанского.— Но погода прекрасна, графиня, и, конечно, вы оживите Невский бульвар своим присутствием? — прибавил Стрелинский, вставая.

— Я только в надежде скорого возврата лишаю себя удовольствия вашей беседы, Стрелинский! Я всегда вам рада... прошу не принять этого за пустой звук и жаловать ко мне попросту, без чинов. Каждый вторник добрые приятели и подруги посещают меня, и если вам не будет скучно с нами убить время...

— Скажите лучше, оживить время, графиня... Верьте, что, если б мне должно было покупать минуты вашей беседы целыми годами жизни,— я и тогда счел бы себя счастливым, насладясь, как бабочка, одной весною. Мицкевич говорит, что в мае одно мгновение прелестнее целой недели в осень.

— Не забудьте, что у нас зима!— сказала графиня, улыбаясь, и Стрелинский раскланялся со вздохом.

— Славно сыграно, Валериан!— могут воскликнуть читатели сходящему с лестницы Стрелинскому,— но сам он, ступив в полярный круг отсутствия от милого предмета, совсем не думал расточать себе подобные похвалы: он чувствовал, что испытание за друга становилось ему посторонней вещию; что теперь влюбленному и, может быть, любимому тяжка была бы холодность графини, мучительна разлука с ней и несносна ее перемена; одним словом, что собственное его благополучие зависело от ее взаимности. «Все это пройдет, все это минет,— говорил он сам себе,— я слиш-

ком ветрен для постоянной любви». Но это не проходило. «Стоит только избегать случаев видеть ее дни три, и сердце мое погаснет, как лампада без масла!» — думал он и, чтобы оправдать такую благоразумную решимость, поскакал с повинною головою к княгине Бо́рис, чтобы не пропустить бала, где будет прелестная и, разумеется, божественная Алина. Любовь щедра на эпитеты и обоготворения; но пройдет время — и, отступники своих идолов, мы впервые готовы сокрушать их, и громить прежние наши святилища.

В театре, на балах, на музыкальных вечерах, на танцовальных завтраках, на званых обедах, на прогулках и катаньях, без всякого намерения, бог знает как, Алина встречалась с Валерианом: тут нет еще дива, но странно было то, что они почти все время проводили вместе. Из одной учтивости подходил он к ней сначала; но потом слово за слово, взор за взором — и мечтатель забывал свет и время, и только зловещий крик лакея: «Графини Звездич карета!» — разрушал его упоение и с превыспренних сводил в прохладные сени. Графиня любила театр,— Валериан хорошо знал и мастерски судил его. Графиня в совершенстве владела арфою,— Стрелинский уверял, что он страстный охотник до музыки, что он dilettanto от султана до шпор,— и потому странно ли, что он так часто являлся в ее ложе или садился подле нее в концертах? Все это было из любви к искусствам, не более.

Немного трудней найти было отговорку слишком частой случайности, благодаря которой ему удавалось подавать руку графине при переходе из гостиной в столовую, и тонкий наблюдатель мог бы похвалить его глазомер,— когда он, будто вовсе не замечая, так расчетливо становился в ряд кавалеров, что ему всегда выпадала на долю рука Алины и, стало быть, место подле нее за столом... Нежная улыбка, ласковое словцо, и порой легкое давление милой руки бывали наградою его хитрости.

— L'amour est l'èqoïsme à deux[1], — сказала мадам Сталь, и весьма справедливо. Стрелинскому лестно было получить от графини преимущество над толпою вздыхателей многоречивых и без речей, когда свивались круги мазурки или французских кадрилей; а графине, с своей стороны, казалось приятно иметь кавалером такого отличного танцора,

[1] Любовь — это эгоизм вдвоем *(франц.)*.

как Стрелинский. В кругу общества и в тиши уединения они нравились друг другу остроумием и оригинальностию; и, наконец, когда оба они заглядывали в будущее,— то, конечно, не могли найти друг для друга лучшей партии. Та и другой с хорошим родством, тот и другая независимы и богаты — случай, удаляющий всякую мысль о корысти: все благоприятствовало обоюдной склонности.

Графиня подружилась с сестрою Стрелинского, Ольгою, дивясь, как до сих пор она не умела оценить всех любезных ее качеств. Валериан удивлялся, с своей стороны, тонкости вкуса графини в выборе знакомых — и, подобен блуждающей доселе комете, начал обращаться в кругу их.— Нужно ли сказывать, какое солнце покорило его центровлекущей силе своей!

V

Она расцветала, как девственная мечта юности; была чиста и прелестна, как земля в первый день творения.

Старинная эпитафия

В домашней жизни Валериан был едва ли не счастливее, чем в свете. Подле сестры своей Ольги отдыхал он сердцем от остроумия модных умниц и от безумия собственной страсти. Подле нее утихало волнение сомнений, и ревность свивала коршуновы крылья свои. В самом деле, трудно было и самому мизогину не полюбить это невинно-милое существо! Воспитанная в Смольном монастыре, она, подобно всем подругам своим, купила неведением безделиц общежития спасительное неведение ранних впечатлений порока и безвременного мятежа страстей. Она прелестна была в свете, как образец высокой простоты и детской откровенности. Отрадно было успокоить взор на светлом лице ее, на котором еще ни игра страстей, ни лицемерие приличий не впечатлели следов, не бросили теней. Отрадно было согреть сердце ее веселостию, ибо веселость — цвет невинности. В мутном море светских предрассудков, позолоченной испорченности суетного ничтожества — она возвышалась, как зеленеющий свежий островок, где усталый пловец мог найти покой и доверие. Она не могла понять, для чего бы ей стыдиться слез умиления при рассказе о великодушном поступке, или румянца негодования, слыша о низостях людских.

Не понимала, почему неучтиво сказать человеку в глаза: «ах, как вы добры!» или: «ах, как вы злы!» — если он того заслуживал; не понимала, почему ей неприлично сесть подле умного молодого человека, с которым приятно разговаривать, и почему она обязана слушать нелепости пожилого, потому только, что он со звездою. Она нередко смешила вас самыми странными вопросами, но чаще приводила в смущение самыми проницательными. То забавляла незнанием самых обыкновенных вещей, то изумляла новостию мыслей, глубиною чувств и неколебимостию воли на все прекрасное. Не говорю о прелестях, коими одарила ее природа, не говорю о совершенствах, данных образованием. Она горячо и нежно любила брата, который остался ей единственным другом, единственным покровителем на земле. Веселить, радовать, предупреждать малейшее его желание было сладчайшею заботою Ольги. Она играла для него на пьяно; пела любимые его песни, порхала перед ним, как ласточка,— и рассказывала анекдоты своей монастырской жизни; как, например, однажды целый класс перепадал в обморок от того, что одной показалось, будто она увидела ужасного зверя — мышь! Как они целые три ночи не спали от страху от какой-то птицы, которая «половину была кошка, а половину не знаю чего», ухала и сверкала глазами под окошком. Валериан смеялся от чистого сердца, между тем как сестра не вовсе понимала, что так смешного было в ее рассказах. «Впрочем,— прибавляла она, извиняясь, — я была тогда такая *кофейная!»*

Чтобы вполне понять эту фразу, надобно знать, что в Смольном монастыре три возраста воспитанниц отличаются тремя цветами платья: кофейным, голубым и белым, из коих первый присвоен самому младшему, и потому между двумя старшими возрастами название кофейной служит как бы упреком в простоте.

— Дай бог,— возражал тогда Валериан, лаская ее, — чтобы ты всегда осталась кофейною сердцем.

Однажды вечером Ольга фантазировала на фортепьяно, между тем как брат, задумавшись, слушал ее, облокотясь о ручку кресел,— и вдруг она вспрыгнула весело, схватила Валериана за руку и, быстро глядя ему в глаза, сказала:

— Не правда ли, братец, ты женишься на графине Звездич?

Полуизумлен, полусмущен словами сестры, в которых заключались и неожиданный вопрос и вместе нежная прось-

ба, он долго, долго смотрел на нее, может быть разгадывая ее мысли, может быть собирая свои, — и, наконец, отвечал с улыбкою:

— Какой ветер навеял тебе, милая, такую странную мысль?

— Странную мысль, братец? Напротив, мне кажется, самую естественную. Если бог не судил вам родиться братом и сестрою, чтобы делить горе и веселье, то, я думаю, к этому нет другого пути, кроме женитьбы. Как могли бы иначе соединиться два сердца, которые любят друг друга?

— Но кто тебе сказал, что мы любим друг друга?

— Ах, какой ты лицемер, братец! и перед кем же? Перед сестрою своей! Разве я не люблю тебя? Разве родные не друзья, дарованные небом? Да и почему тебе скрывать свою привязанность к особе, достойной любви!

— Мир, мир, моя проницательная сестрица; положим, в угоду тебе, что я влюблен в Алину. Но теперь вопрос: любим ли я взаимно?

— В этом я порукой, mon frère[1]: графиня любит тебя, как я сама.

— Я не думаю, чтобы она избрала сестру мою наперсницею своих тайн!

— О нет, братец; прямо она не говорила мне о том ни слова; но она так часто говорит о тебе, так охотно встречается с тобою, что склонность ее только тебе может казаться тайною. Я мало знаю свет; людей еще менее; но есть вещи, которые угадываю я собственными чувствами.

— Ты просвещеннее, нежели я думал, любезная Ольга.

— Просвещеннее! это похоже на упрек, братец; вот каковы мужчины! Вы преследуете нас за наше неведение и еще больше гневаетесь за наше познание. Ты несправедлив оттого, что тебе досадно, как могла неопытная монастырка проникнуть в таинства своего скрытного братца. В самом деле, как уметь и как сметь отличить любовь от ненависти!! Нет, mon frère, я скорей имею право сердиться за твою недоверчивость и за то, что ты воображал меня такою простенькою!

— Я точно виноват, я в самом деле несправедлив против тебя, моя милая, добрая Ольга, — сказал с нежностию

---

[1] Мой брат *(франц.)*.

Валериан, поцеловав ее в чело. — С этих пор между нами нет тайн.

— Это напрасно, Валериан. Я не хочу того знать, что мне знать бесполезно; но может ли быть чуждо душе моей все, что касается до твоего счастия? Признаюсь тебе в моем ребячестве — я уже не раз строила воздушные замки, соединяя тебя в мечтах с графинею. Как весело,— как радостно тогда будет нам!.. Мы поедем жить в деревню, по которой я так давно вздыхаю во сне и наяву. Мы будем всегда вместе — счастливы тем, что мы вместе, вдалеке от докучливых гостей. Невидимо полетит для нас время, летом с природой, зимой с дружеством, всегда с любовью. Мы будем гулять, кататься в лодке, ездить верхом — я надеюсь, ты мне позволишь это, братец, ты купишь для меня хорошенькую лошадь,— не правда ли? Ввечеру мы за чайным столиком шутим, смеемся, потом поем, танцуем. Читаем Вальтер-Скотта; иногда и рассуждаем очень сурьезно,— ведь нельзя век толковать о безделицах. Иногда к нам будут приезжать соседи-антики и добрые наши знакомые — верно, и князь Гремин не забудет прежних друзей своих?

— А тебе нравится князь Гремин, Ольга?— спросил Валериан, более для избежания решительного ответа, нежели для удовлетворения любопытства.

— Я очень люблю его, братец, и от самого малолетства. Ты так часто ездил с ним в монастырь — он называл меня ma cousine[1] и так охотно слушал мое болтанье, что я только перед ним и тобою не краснела говорить. Бывало, я нетерпеливо жду, когда вы приедете; а, бывало, и праздник не в праздник, когда вас нету. Я крепко плакала по вас обоих по переводе вашем из Петербурга... признаюсь тебе, братец, в моем ребячестве — я еще до сих пор берегу на память прекрасное куриное перо, выроненное из султана князя.

— Султаны, душенька, делаются из петушьих перьев.

— Как будто это не все равно, mon frère? Разве петух не брат курицы?

— Так, но не совсем так. Например: ты мне сестра, а не смешно ли б было, если б кто-нибудь, принимая одну за другого, сказал, что у Ольги прекрасные усы? Однако, что далее?

— Чем далее, тем ближе к моему ребячеству. Ты, я ду-

[1] Моя кузина *(франц.)*.

маю, помнишь, братец, с какой снисходительностию расспрашивал князь о моих уроках, о моих занятиях; как ясно поправлял мои заблуждения и, шутя, развивал мои мысли, учил доброму, и так просто, так понятно! Я боялась ошибиться перед ним больше, чем перед своими учителями,— зато мне было так весело, когда он хвалил меня! Больше всего я любила слушать исторические его анекдоты, — он очень мило их рассказывал. Я плакала, слушая о бедствиях Марии Стюарт! Я привыкла ненавидеть коварную Елисавету, хоть ее и называют доброю и премудрою. Я научилась любить Генриха IV, отца и друга своих подданных, за то, что, будучи добрым царем, он не разучился быть добрым человеком. Князь заставил меня восхищаться гением нашего великого Петра, скромного в счастии, неколебимого в беде — и всего более под Прутом, когда он пишет указ сенату не слушать его впредь, если он, принужденный турками, повелит что-нибудь недостойное себя или России. Где найдем мы пример чистейшего самоотвержения, высшей любви к отечеству!! Ах, братец, я очень люблю князя!

— В самом деле, Ольга?— сказал Стрелинский и погрузился в думы, равно об Ольгином, как и своем будущем. «Не будь этого проклятого письма от Репетилова к Гремину,— думал он, — и мы оба могли быть счастливы: я с Алиной, он с Ольгою. Ни мне нельзя желать лучшего зятя, ни ему лучшей жены. Одна только кротость Ольги может умерить вспыльчивость его характера; только с нею нашел бы он покой, о котором напрасно мечтает: светская женщина — вечно будет ему виной сомнений и ревности. Теперь совсем иное дело. Я не опасаюсь прежней привязанности Гремина — но его всегдашнего упрямства. Он готов уверить меня и уверить себя, что влюблен до безумия... вот уже два раза я писал к нему,— и нет ответа: это что-нибудь да значит! Но как бы то ни было — я не уступлю Алины другому, даже другу, ни за какие блага, ни от каких бед в мире! Любит или притворяется она, что любит меня, но должна быть моею, несмотря ни на что минувшее, ни на что будущее. Я решился».

VI

Так, я мечтатель, я дитя,
Мой замок карты — но не вы ли
Его построили, шутя,
И насмехаясь, разорили!

В книге любви всего милей страница *ошибок;* но всему своя пора. Теперь Алина была уже не та шестнадцатилетняя, неопытная женщина, увлеченная потоком примеров и обольстительною логикою обожателей, которая, обрадована первой связью, как новою игрушкой, и воображая себя героинею романа, писала страстные письма к князю Гремину. С тех пор, однако ж, только в этом могла она упрекать себя, только над этим мог подшучивать Стрелинский, хотя он, движимый ревностью, исшарил землю и воздух, желая узнать что-нибудь похожего на любовь в целой жизни графини. Строгость настоящего ее поведения была примерна в отношении ко всей молодежи, которая вилась около нее. Едва кто-нибудь из них переступал границу шутки, едва произносил одну влюбленную ноту, не только слово,— мыльный дождь нравоучения и град насмешек разражались над головой селадона. Привыкнув за границею обходиться непринужденно с мужчинами, она никогда не дозволяла их вольности превращаться в своеволие, и между тем, как ее красота и любезность привлекали всех, ее осторожность держала всех в почтительном отдалении. Стрелинский, правда, составлял исключение, но и он уже не раз испытал на себе, что природа и светская любовь не делают скачков; а потому, как ни уверен был, что его любят взаимно, но роковое слово: «люблю!» двадцать раз замирало на устах его прежде, чем он его выговаривал, как будто с ним он должен был рассыпаться, как клад от Аминя. И графиня тоже, как и всякая женщина, казалась испугана этим словом — «люблю вас», как выстрелом, как будто каждая в нем буква составлена из гремучего серебра! И как ни приготовлена была она к объяснению, как ни уверена была, что это должно случиться рано или поздно,— но вся кровь ее сердца вспыхнула в лице, когда Стрелинский, улучив гибкую минуту, с трепетом открыл любовь свою... Оставляю читателям дорисовать и угадать продолжение этой сцены. Я думаю, каждый со вздохом или с улыбкою может припомнить и поместить в нее отрывки из подобных сцен своей юности — и каждый ошибется не много,

Прелестны первые волнения и восторги страсти, когда неизвестность воздвигает частые бури сердца, но еще сладостней покой и доверенность открытой взаимности. Тогда в любви находим мы все радости, все утешения дружбы самой нежнейшей, самой предупредительной, и если первый месяц брака называют *медовым,* то первый месяц открытой любви по всем правам именовать можно *нектарным,* — это небосклон после грозы: светлый, но без зноя, прохладный без облаков.

Слившись сердцами, графиня и Стрелинский вкушали негу сего лучшего возраста любви, не отнимая уст от чаши. Прямой, откровенный, благородный характер майора только по наружности казался противоречием с утонченным, светским обращением графини. Как скоро взаимное уважение и сердечная теплота растопили оковы приличий, или, лучше сказать, принужденностей, нежная искренность и безаветное доверие заступили в ней место прежней недоступности и тонкого злословия. Даже робость, несомненный признак истинной любви, заменила самоуверенность. Совет Валериана сделался ей необходим для самых безделок в выборе нарядов; его одобрение на каждый шаг в обществе; его доброе мнение для всех протекших и настоящих случаев жизни. В один-то из подобных часов излияний душевных Алина рука с рукою подле Стрелинского, любуясь выразительными его очами, говорила:

— Валериан! свет может осуждать меня за легкомыслие первых лет моего замужества, но твое сердце меня оправдает. В пятнадцать лет меня посадили за столом, подле какого-то старика, которого я запомнила только по чудесной табакерке из какой-то раковины. Ввечеру мне очень важно сказали: «Он твой жених; он будет твоим супругом»; но что такое жених, что такое супруг, мне и не подумали объяснить, и я мало заботилась расспрашивать. Мне очень понравилось быть невестою — как дитя, я радовалась конфетам и нарядам и всем безделкам, которые мне дарились; я готова была расцеловать старого графа, когда он подарил мне прелестные золотые часы, потому что в недавно брошенных мною игрушках были только оловянные. Наконец, я стала женою, не перестав быть ребенком, не понимая, что такое обязанности супружества, и, признаюсь, потому только заметила перемену состояния, что меня стали величать «вашим сиятельством». Долго не замечала я, что муж мой мне не пара ни по летам, ни по чувствам. Для визитов мне было все равно, с кем ни сидеть в карете, дома же он слишком был занят

своими недугами, а я своими забавами и гостями. Однако же, в 17 лет заговорило и сердце... оно стеснилось неведомою грустию, желало чего-то непонятного: это была потребность любить, и я полюбила во всей невинности души. Ты знаешь, кто был предметом этой склонности... и я благодарю провидение, что оно судило мне встретиться с человеком благородным, который не думал, не только не желал употребить во зло мою неопытность. Скорая разлука показала, однако ж, мне, как ошиблась я в своих чувствах. Я приняла за любовь желание нравиться, желание предпочтения от человека, предпочитаемого другими. Тщеславие и охота быть, *как другие,* довершили кружение головы: я уверяла себя, что страстно люблю князя Гремина, потому что он казался мне достойным такой любви. Может статься, если бы он поддержал такое расположение перепискою, я бы привыкла к этой мечте, будто к чувству, и верность, которую обожала я, как достойная поклонница сантиментализма, могла бы вовсе переменить судьбу мою. Но он, едва мы расстались, оказался весьма невнимателен,— я была оттого вне себя, называла это холодностию, укоряла в неблагодарности, в измене — и забыла его скорее, чем надеялась. За границею, чаще сама с собою, чаще с людьми образованными,— я почувствовала необходимость чтения и жажду познаний. Хорошие книги и еще лучше примеры и советы женщин, умевших сочетать светские качества с высокими правилами, убедили меня, что, и не любя мужа, должно любить долг супружества и что величайшее из несчастий есть потеря собственного уважения. Кочевая жизнь не давала мне даже случая к постоянным знакомствам, и сердце мое только во сне видело счастие: в вихре забав, в кругу искателей я осталась свободна. Муж мой умер, и я целый год траура провела в уединении, с немногими подругами, читая в собственном сердце помощью книг и разгадывая книги по сердцу: это возродило меня. Я постигла тогда умом, что до тех пор заключалось в чувстве; уверилась, что благополучие есть невинность и находится в нас самих. Я не разлюбила ни удовольствий, ни выгод света; по крайней мере, я бы могла теперь лишиться их, если не без сожаления, то без ропота. Возвратясь в Россию, обязанности к родным и обществу не дали мне времени образумиться... Меня засыпали приветствиями и приглашениями, лестью и любезностию,— но я уже предохранена была от этого чаду; я знала, что всякая парижская новинка, хоть на миг, но всегда увлекает внимание публики, а поклонники в несколько вечеров успели наскучить своими пересла-

щенными фразами,— так что я больше, чем когда-нибудь, почувствовала пустоту сердца. Совершенная бесхарактерность молодых людей наших, «эти образы без лиц», навели на меня неизъяснимую тоску. Я ужаснулась, не найдя русских в России. Простительно еще быть легкомысленным во Франции, где на каждом шагу находишь пищу любопытству, рассеянию, самой лени; где каждая безделка носит на себе печать образованности, и даже глупость не лишена остроумия. Но можно представить себе, как несносны слепки парижского мира в России, где можно толковать только о том, чего у нас нет, и где половина общества не понимает, что сама говорит, а другая, что ей говорят: одна, поторопившись выучить привозное, как попугай; другая, опоздав учиться от застарелых предрассудков. В это время я встретилась с тобою — и до сих пор не умею объяснить, какой судьбой я так быстро увлеклась сердцем. Признаюсь, обманутая ростом и голосом, я сначала приняла тебя за Гремина: я сгорала любопытством, желая увериться в своей догадке,— но скоро к нему примешались чувства нежнейшие. Я верила и не верила, что ты Гремин; не столько воспоминание прошлого, как прелесть новости заманивала меня далее и далее. Я должна была сердиться на князя, но вместо того была благосклонна к новому знакомцу. Я должна была быть осторожнее с незнакомым, и доверялась, как старому другу,— одним словом, я не знала, что говорила и делала!.. остальное тебе известно, милый Валериан... и бог тебе судья, если когда-нибудь заставишь меня раскаяться в любви моей!

Валериан был восторжен... ему казалось: гармоническая музыка сфер гремела *туш* его благополучию, и он, с пылкостию юноши целуя оставленную ему руку, хотел, по гусарской привычке, клясться всем, что есть и чего нет на свете, в неизменности любви своей,— но Алина остановила этот порыв достоверности.— Не клянись, Валериан,— сказала она с нежностию,— клятва почти всегда неразлучна с изменой — я знаю это на опыте. Я больше верю благородству твоих чувств, нежели поруке звуков, волнуемых и уносимых ветром: мы уже не дети.

С обеих сторон делались приготовления к браку, хотя о нем еще не было прямых условий. Валериану, однако же, они были необходимы: он начертал план для будущей жизни, которая вовсе могла не понравиться графине и о которой колебался он открыть ей. Между тем, как товарищи и приятели считали его только ветреником, заботливым, как

прожить свои доходы,— он втайне делал все пожертвования для улучшения участи крестьян своих, которые, как большая часть господских, достались ему полуразоренными и полуиспорченными в нравственности. Он скоро убедился, что нельзя чужими руками и наемною головою устроить, просветить, обогатить крестьян своих, и решился уехать в деревню, чтобы упрочить благосостояние нескольких тысяч себе подобных, разоренных барским нерадением, хищностью управителей и собственным невежеством. У него не было недостатка ни в деньгах для обзаведений, ни в доброй воле к исполнению, ни в познаниях сельского хозяйства,— приобретению коих посвятил он все досуги свои; недоставало только опытности — но она приходит сама собою; притом, первую песенку не стыдно спеть и зардевшись, говорит пословица. Мысль облегчить, усладить свои будущие заботы любовью милой подруги и согласить долг гражданина с семейственным счастием ласкала Валериана; однако же, несмотря на силу страсти, намерения его были тверды; в важных обстоятельствах жизни он умел владеть собою; но чем непреклоннее была воля его, тем нерешительнее становился он открыть ее Алине. Он чувствовал, какой жертвы требовал; знал, как трудно для молодой, прекрасной и богатой женщины отказаться от света; но это будет испытанием ее привязанности, думал он. Если ж нет?— нет. Женщина, которая предпочтет мне светскую жизнь,— не знает и не стоит истинной любви. Скоро представился и случай к объяснению.

Это было на маслянице, после катанья с английских гор. Льдяные горы, милостивые государи, есть выдумка, достойная адской политики, назло всем старым родственницам и ревнивым мужьям, которые ворчат и ахают,— но терпят все, покорствуя тиранке-моде. В самом деле, кто бы не подивился, что те же самые недоступные девицы, которые не смеют перейти через бальную залу без покровительницы, те же самые дамы, которые отказывают опереться на руку учтивого кавалера, когда садятся они в карету,— весьма вольно прыгают на колени к молодым людям, долженствующим править на полету аршинными их санками вниз горы и по льду раската. Между тем, чтобы сохранить равновесие, надобно порой поддержать свою прекрасную спутницу — то за стройный стан, то за нежную ручку. Санки летят влево и вправо, воздух свищет... ухаб... сердце замерло и рука невольно сжимает крепче руку: и матушки дуются и мужья грызут ногти, и молодежь смеется; но все, отъезжая домой,

говорят: «Ah que c'est amusent»[1], хотя едва ли половина это думает.

Валериан и графиня, конечно, были в сей половине, потому что возвратились с катанья очень довольны — прогулкой и друг другом, и холод, казалось, только возбудил обоих любовников к особенной нежности. Стрелинский избрал этот час к решительному откровению и, предуведомив Алину, что так как дело идет о благополучии их обоих на всю жизнь,— то он не хочет прибегать ни к каким околичностям, ни к каким сетям льстивой логики или цветам красноречия, дабы убедить или увлечь ее, но просто изложит свои намерения и просит только одного: чтоб она беспристрастно обсудила их и откровенно сказала на то ответ свой.

— Во-первых, милая Алина,— сказал он,— я решился оставить службу для исполнения других обязанностей отечеству, которые надеюсь выполнить лучше, прямее и полезнее, нежели обязанности воина в мирное время.

Алина вздохнула и покинула кисточку темляка, которым играла она.— Но разве ты, друг мой, не можешь служить отечеству по части гражданской или дипломатической?— произнесла она почти просительным голосом.

— Я не довольно приготовлен, чтобы стать полезным как судья; службу в департаментах считаю механическою, а быть дипломатом несовместно ни с моими склонностями, ни с моими правилами. Во-вторых, *мы* оставим столицу.

Алина молчала.

— В-третьих,— тут Валериан развил перед нею подробный чертеж своих замыслов для устройства имения, для усовершенствования земледелия и заводов, для образования крестьян своих; показал, как благодетелен будет пример его для всего человечества и для окружных помещиков в особенности. Но когда объявил, что все это требует неусыпного и безотлучного надзора, светлое чело Алины подернулось думою, и она опустила руку Валериана.— И это решительно?— спросила она печально.

— Решительно. Подробности будут зависеть от воли Алины Александровны, но целое остается нерушимым. На краткое время мы будем приезжать в которую-нибудь из столиц, но только на краткое время.

— Мои советы и мнения, следовательно, теперь бесполезны,— сказала Алина, несколько тронутая.

---

[1] Ах, как это забавно! *(франц.)*

— Но твое согласие необходимо к моему счастию, обожаемая Алина! С тобой каждая минута ознаменована будет для меня новым блаженством, как для всех окружающих нас — добрыми делами. Ты будешь ангелом красоты и доброты для меня и для всего, чем я владею. О! не разрушь рая, мною созданного, которым я так долго ласкал свое сердце... Милая, бесценная Алина, я жду приговора. В искреннем ответе твоем моя судьба; могу или нет назвать тебя моею?

— Через три дни ты узнаешь мой решительный ответ, Валериан; только дай мне слово, не говорить со мной, не писать ко мне, не искать случаев со мною встретиться во все это время. Я хочу обдумать все на свободе, удаленная от влияния страстей.

— Жестокая женщина! три дни — век для влюбленного!

— Жестокий человек! деревня — вечность для женщины! С этим словом Алина исчезла.

— Понимаю!— сказал Стрелинский с горькою усмешкою, между тем, как холодный пот проступал на его сердце,— и тихими стопами вышел из комнаты графини.

VII

Burleigh
Ihr wart es doch, der hinter meinem Rücken
Die Königin nach Fotherinaschloß
Zu locken wußtet?
Leicester
...Hinter eurem Rücken?
Wann scheuten mein Thaten eure Strin?
Schiller[1]

— Подполковник князь Гремин!— провозгласил слуга, возвещая гостя тетке Стрелинского, которая, сидя одна в гостиной, раскладывала «grande-patience»[2].— Прикажете принять-с?

— Милости просим,— отвечала она, снимая очки и рас-

Бэрлей
[1] Не вы ли за спиной моей сумели
Направить королеву в Фотрингей?
Лейстер
...За вашею спиною? Да когда же,
Когда в своих делах я укрывался
От вашего лица?
Шиллер (нем.)

[2] Гранпасьянс, большой пасьянс *(франц.)*.

правляя шаль свою.— Видно, князь недавно в Петербурге? — прибавила она.

— Только вчера с дороги-с. *Они* хотели видеть Валериана Михайловича, однако ж, когда узнали, что вы *не выехавши,* просили доложиться.— Сказав это, слуга поспешил пригласить приезжего.

Князь Гремин, которого долг службы удержал во фронте вопреки всех его надежд и просьб и желаний, должен был вести полк на другие квартиры, на границу Литвы, и он тем скорее помирился с судьбою, что обязанности по делам хозяйства и занятий строя, и новые знакомства в кругу польских дворян давали ему тысячу развлечений и забав. Он бы, вероятно, и вовсе отдумал ехать в отпуск, если бы внезапная смерть одного из дедов в Петербурге не призвала его туда для получения наследства и всех хлопот, с наследствами неразлучных. Пылкий только на день в преследовании замыслов,— внушенных прихотью,— он не слишком дивился молчанию Стрелинского и очень покоен сердцем приехал в столицу. Но когда на него полились новости о близком браке Валериана с графинею Звездич,— он был оглушен и раздражен этим водоворотом. Ревность его пробудилась. Мысль, что он в этой связи играл смешную роль Криспина, привела его в бешенство; удача Стрелинского, которую он величал изменою и коварством, вызвала его на месть. В этих враждебных мыслях поскакал он в дом прежнего друга, чтобы излить на него всю желчь своего негодования; так-то злонаправленные страсти и худопонятые правила чести превращают самые благородные существа в кровожадных зверей!

Не застав дома Валериана, князь, однако ж, почел неприличным не засвидетельствовать почтения его тетке, и вот, скрыв досаду свою, как благовоспитанный офицер, пробирался он в гостиную, не брякнув ни саблей, ни шпорами,— но в зале он невольно остановился, увидя и услышав Ольгу, которая, ничего не зная о госте и ничему не внимая вокруг себя, пела следующее, аккомпанируя чистый выразительный голос свой звуками фортепьяно:

Скажите мне: зачем пылают розы
Эфирною душою, по весне,
И мотылька на утренние слезы
Манят, зовут приветливо оне?
Скажите мне?

Скажите мне: не звуки ль поцелуя
Дают свою гармонию волне?

И соловей, пленительно тоскуя,
О чем поет во мгле и тишине?
Скажите мне?

Скажите мне: зачем так сердце бьется,
И чудное мне видится во сне?
То грусть по мне холодная прольется,
То я горю в томительном огне;
Скажите мне?

Ольга умолкла; но князь еще слушал, и между тем, как персты ее перебегали, фантазируя, по клавишам, его взоры точно так же странствовали по всем чертам певицы. Он едва верил глазам своим. Чтобы это была та самая Ольга, которую он так любил, как дитя, которую покинул, когда она едва становилась девушкою, и которая теперь предстала ему во всем блеске, в полном цвету очаровательных прелестей! Он любовался и стройным станом ее и аттическою формою рук, и высоким челом, на коем колебались гроздья русых кудрей, и яхонтовыми ее очами, в коих сквозь дымку мечтательности — сверкали искры души, вместе гордой и нежной; ее лицом, на коем разлит был тонкий румянец, как юное утро мая, и невинная беспечность с глубокою чувствительностию; брови ее так выразительно подняты были думою, уста ее так мило сомкнуты улыбкой! ...казалось, она усмехалась девственным мечтам своим — созданиям пробуждающейся любви; казалось, она ловила взорами отдаленное в очарованный круг фантазии, которая, подобно часовой стрелке, пробегает время и пространство, не удаляясь от средоточия своего — сердца... и все было прелестно в ней... и волшебство звуков, проникающих душу, и красноречие безмолвия, пленяющее взор. Это не было уже земное существо для Гремина; это был идеал совершенства. Он тогда только прервал свое созерцательное молчание, когда Ольга, повторяя в задумчивости припев песни, вполголоса произнесла: «скажите мне?»

— Я могу только то сказать вам, сударыня,— сказал Гремин с чувством,— что вы поете, как ангел.

Ольга вспрянула с криком радостного изумления...

— Ах! Боже мой, это вы, князь Николай! Вообразите себе: я сейчас о вас думала — и вы передо мной, как будто мысль моя перенесла вас в столицу!— Яркий румянец вспыхнул розами на щеках Ольги.

— Вот доказательство, что вы можете творить чудеса, Ольга Михайловна; и вы еще не забыли меня?

— Я не так ветрена, князь Николай, чтобы позабыть своего кузена и наставника.

— Считаю себя счастливым, удостоясь внимания особы, столь полной совершенств!

— Скажите, князь: неужели правда есть игрушка, пригодная только малолетным? Вы сами учили меня всегда говорить истину — а теперь, когда я в состоянии ценить ее, говорите мне комплименты. По крайней мере, я искренно скажу вам, что мне приятно бывало думать о вас, потому что мысль эта неразлучна с воспоминанием самой счастливой поры моей — жизни в монастыре.

— Мне кажется, сударыня, вы бы скорее могли обвинить обманчивый свет, вселивший вам недоверчивость, скорее скромность свою, чем мою правдивость.

— Полноте ссориться, князь Николай,— и еще в первый раз после долгой разлуки. Я рада вам тем более, что вы приехали как нарочно помочь нам развеселить братца: он два дни сам не свой — печален и сердит и прихотлив, как никогда в жизни. Но тетушка, верно, ждет вас... пойдемте!

Князь был принят как родной. Доброта почтенной тетки Стрелинского и чистосердечная веселость, непринужденное остроумие Ольги очаровали его. Час мелькнул, как минута, и негодование его вовсе было утихло, как вдруг голос усатого слуги — Валериан Михайлович приехал и просит к себе на половину — бросил всю кровь в голову князя; он раскланялся и поспешил к Валериану.

Валериан с распростертыми объятиями встретил Гремина.— Только тебя недоставало, милый князь,— вскричал он,— чтобы посмеяться удаче наших предприятий и поздравить меня с роковым успехом!

— Я приехал не поздравлять *вас,* господин Стрелинский,— отвечал Гремин насмешливо-холодно, отступая, чтобы уклониться от объятий.— Я приехал только поблагодарить вас за ревностное участие в моем деле.

— Вы? господин Стрелинский? право, я не понимаю тебя, Гремин!

— Зато я очень хорошо вас понял, слишком хорошо вас узнал, господин майор!

Во всякое другое время Стрелинский никак бы не рассердился на обидную вспыльчивость друга — и, вероятно, шутками укротил и пересилил бы гнев его; но теперь, огорченный сам холодностию графини, колеблем сомнениями, поджигаем ревностию, пошел навстречу неприятностей, ре-

шась платить насмешкой за насмешку и дерзостью за дерзость.

— От этого-то вы и ошиблись: все что *слишком*,— обманчиво. Не угодно ли присесть, ваше сиятельство! Начало вашего привета похоже на нравоучение — а я не умею спать стоя.

— Я постараюсь сказать вам такие вещи, господин майор, которые лишат вас надолго охоты ко сну.

— Очень любопытен знать, что бы такое помешало моему сну, когда меня убаюкивает чистая совесть!

— О, вы невинны, как шестинедельный младенец, как церковная ласточка! Напрасно было бы и осуждать человека, у которого совесть или нема, или принуждена молчать.

— Я не беру на свой счет этих речей, князь; мой язык не имеет причин разногласить с совестию именно потому, что она светлее клинка моей сабли. Скажите лучше по-дружески и без обиняков: чем заслужил я такой гнев ваш?

— По-дружески? Мне, право, странно, что вы, разрывая все узы, все обязанности дружества,— опираясь на него, требуете доверия! Впрочем, вы живете ныне в большом свете, где любят давать векселя на имение, которого давно нет.

— Князь! вы огорчаете меня своим неправым обвинением более, чем обидными выражениями. Но будьте хладнокровны и рассмотрите пристальнее, чем виноват я против вас? Вспомните, кто предложил мне испытание, кто неотступно требовал моего согласия, кто принудил взяться за эту роковую порученность? Это были вы, князь, вы сами. Я убеждал вас отказаться от подобного предприятия — я вам предсказывал все, что могло случиться — и случилось волею судьбы. Сердцем *нельзя* владеть по произволу.

— Но *должно* владеть своими поступками. Так, милостивый государь, я просил, я убеждал, я заставил вас взяться за это дело; но в качестве друга вы бы могли сами рассудить несообразность такой просьбы и поправить мою ошибку вместо того, чтоб ее увеличивать, ловить на нее свои выгоды и употреблять во зло мое доверие; мы всегда худые судьи в собственных делах, но бесстрастный и беспристрастный взор дружбы долженствовал бы соблюдать мою пользу, а не прихоти.

— Странно, право, что вы делаете для себя монополию из своих правил. Мы худые судьи в своем деле — это чистая

правда, и я сам мог увлечься любовью, которую хотел только испытать.

— Вы бы должны были предупредить это, или, по крайней мере, удалиться, заметив опасность для самого себя,— но нет, вам угодно было оседлать судьбу для извинения своей двуличности и утешать меня, как зловещая птица, старинною песнею светских друзей: «я говорил тебе: быть худу! я тебе предсказывал! я предупреждал тебя».

— Не забудьте, князь Гремин, что я взялся быть вашим испытателем, но не стряпчим... и не строил себе дороги из развалин вавилонского вашего столба к небу.

— Поздравляю вас, господин Стрелинский, с этим небом, но, признаюсь, ему не завидую. Я уже излечился от охоты искать своего счастия в женщине, которой привязанность изменчива, как цвет хамелеона; и в доказательство — вот как ценю я подарки и поминки ее!— С этим словом он бросил в пыл камина письма и перстень графини.

— Нельзя не похвалить вас за такую решимость, князь; немного ранее она была бы еще больше кстати. Графиня забыла вас так же, как и вы ее,— очень скоро после разлуки. Все это было — детская прихоть.

— Прошу избавить меня, господин майор, равно от ваших похвал и откровений. Мы не Дафнис и Меналк, чтобы вести словесную войну за вопрос, кого она любит или не любит. Только не радуйтесь и вы своим торжеством... женщине, изменившей одному, легко изменить и другому и третьему.

— Будьте скромнее на счет графини, Гремин! Я сносил многое за самого себя, но, когда вы дерзаете нападать на доброе имя дамы,— это выходит и выводит из границ самого уступчивого терпения... я не ангел...

— Очень верю, господин Стрелинский. Я так же далек от этой мысли, как вы от этого достоинства... Но угрозы ваши мне забавны, господин майор!

— А мне жалок ваш характер, господин подполковник!

— Нельзя ли узнать, почему вы удостаиваете меня своим сожалением?

— Потому, что вы ослеплены пустым тщеславием, оскорбленным самолюбием, бесстрастною ревностью, а, быть может, и самою мелочною завистью,— скачете за тысячу верст для того, чтобы огорчить, обидеть, уязвить человека, который до сих пор любил и уважал вас.

— Вы мне доказываете любовь свою даже и этими речами, господин Стрелинский; что же касается до вашего ува-

жения, я только раскаиваюсь, что прежде ценил его, и теперь оно столько ж для меня занимательно, как ветер в Барабинской степи... Прекрасное дружество... почти женится... не написать мне ни строчки... оставить меня в таком неведении, что я узнал о свадьбе вашей от трактирных маркеров!

— Я писал к вам два раза, но, вероятно, переход полка замедлил доставку писем; а что до свадьбы моей, городские слухи опередили правду. Статься может, она никогда не состоится. Я до сих пор не заверен словом в совершенном согласии графини.

— Вы писали! Вы не уверены! Я, право, не ожидал, чтобы вы так скоро выучились прибавлять ложь к лицемерию!

— Ложь! — вскричал Стрелинский, задыхаясь от гнева.— Ложь! одна кровь может смыть это слово!

— Почему же и не так!— отвечал князь презрительно, качаясь на стуле.— Любовь и кровь старинная рифма.

— Это решено... это кончено. Однако же не испытывайте меня далее, Гремин; не заставьте насказать вам таких вещей, которые не должны быть произносимы между благородными людьми. Когда мы встретимся?

— И встретимся, конечно, в последние — завтра. Кто бы из нас ни лег,— я всегда буду в выигрыше — не дышать одним воздухом с тем, кто заплатил мне за всю дружбу такою...

— Удержитесь, князь! есть слова, за которые не спасут вас ни память прежней приязни, ни кровля гостеприимства.

— Вам очень пристало говорить о приязни, когда вы превратили в желчь о ней воспоминание. А что до прав гостеприимства, — я не вымаливаю у них покровительства: моя сабля мне лучший защитник.

— Бросьте пустое хвастовство, князь Гремин; завтра так завтра. Выстрел — самый остроумный ответ на дерзости.

— А пуля — самая лучшая награда коварству. Завтра вы уверитесь, что я не из той ткани, из которой делаются свадебные подножки,— и не бубновый туз, чтобы в меня целить хладнокровно. Мой секундант не замедлит посетить вас сегодня же.

— Очень рад!

Друзья-недруги расстались, пылая гневом.

VIII

Я был отважно хладнокровен;
Но, признаюсь,— на утре лет
Не весело покинуть свет,
И сердца бой не очень ровен,
Когда вопросом «Быть иль нет?»
Вам заряжают пистолет.

Ольга не могла сомкнуть глаз в течение целой зимней ночи. Как ни мало изведала она свет,— но частые рассказы о поединках уже познакомили ее с этим кровавым предрассудком; а необычайная угрюмость и принужденная шутливость брата, весть, что он очень круто говорил с князем Греминым наедине, и позднее посещение незнакомого офицера,— возбудили в душе ее все опасения и страхи. Не понимая причины — она видела возможность ссоры между братом и Греминым. Далеко до зари она была уже одета и бродила, как тень, по тихим и пустым комнатам. Ужасное сомнение волновало грудь ее; она желала и страшилась узнать роковую истину, прислушивалась к каждому шороху, к каждому звуку. Несколько раз на цыпочках прокрадывалась она к братней половине — но там было все мертво и темно. Вдруг конский топот у крыльца привлек все ее внимание — белый султан мелькнул у братней маленькой лестницы — и вещее сердце ее замерло... тяжкое предчувствие оледенило кровь. Она слышала говор в ближней комнате и не смела слушать — она хотела удалить безнадежную известность, но братская любовь преодолела все. Притаив дыхание, взглянула Ольга в замочную скважину: против самых дверей топилась печка и озаряла комнату багровым полусветом своим. Старый слуга Валериана плавил свинец в железном ковше, стоя перед огнем на коленях, и лил пули — дело, которое прерывал он частыми молитвами и крестами. У стола какой-то артиллерийский офицер обрезывал, гладил и примерял пули к пистолетам. В это время дверь осторожно растворилась, и третье лицо, кавалерист-гвардеец, вошел и прервал на минуту их занятия.

— Bonjour, capitaine[1],— сказал артиллерист входящему,— все ли у вас готово?

— Я привез с собой две пары: одна Кухенрейтера, другая Лепажа: мы вместе осмотрим их.

— Это наш долг, ротмистр. Пригоняли ли вы пули?

[1] Здравствуйте, капитан *(франц.)*.

— Пули деланы в Париже и, верно, с особенною точностию.

— О, не надейтесь на это, ротмистр. Мне уже случилось однажды попасть впросак от подобной доверчивости. Вторые пули — я и теперь краснею от воспоминания — не дошли до полствола, и, как мы ни бились догнать их до места,— все напрасно. Противники принуждены были стреляться седельными пистолетами — величиной едва не с горный единорог, и хорошо, что один попал другому прямо в лоб, где всякая пуля, и менее горошинки и более вишни,— производит одинаковое действие. Но посудите, какому нареканию подверглись бы мы, если б эта картечь разбпла вдребезги руку или ногу?

— Классическая истина! — отвечал кавалерист, улыбаясь.

— У вас полированный порох?

— И самый мелкозернистый.

— Тем хуже: оставьте его дома. Во-первых, для единобразия мы возьмем обыкновенного винтовочного пороха; во-вторых, полированный не всегда быстро вспыхивает, а бывает, что искра и вовсе скользит по нем.

— Как мы сделаемся со шнеллерами?

— Да, да! эти проклятые шнеллеры вечно сбивают мой ум с прицела, и не одного доброго человека уложили в долгий ящик. Бедняга Л-ой погиб от шнеллера в глазах моих: у него пистолет выстрелил в землю, и соперник положил его, как рябчика, на барьер. Видел я, как и другой нехотя выстрелил на воздух, когда он мог достать дулом в грудь противника. Не позволить взводить шнеллеров — почти невозможно и всегда бесполезно, потому что неприметное, даже невольное движение пальца может взвести его — и тогда хладнокровный стрелок имеет все выгоды. Позволить же — долго ли потерять выстрел! шельмы эти оружейники: они, кажется, воображают, что пистолеты выдуманы только для стрелецкого клоба!

— Однако ж, не лучше ли запретить взвод шнеллеров? Можно предупредить господ, как обращаться с пружиной; а в остальном положиться на честь. Как вы думаете, почтеннейший?

— Я согласен на все, что может облегчить дуэль; будет ли у нас лекарь, господин ротмистр?

— Я вчера посетил двоих — и был взбешен их корыстолюбием... Они начинали предисловием об ответственности — и кончали требованием задатка; я не решился вверить участь поединка подобным торгашам.

— В таком случае я берусь привести с собою доктора — величайшего оригинала, но благороднейшего человека в мире. Мне случалось прямо с постели увозить его на поле, и он решался, не колеблясь. «Я очень знаю, господа,— говорил он, навивая бинты на инструмент,— что не могу ни запретить, ни воспрепятствовать вашему безрассудству,— и приемлю охотно ваше приглашение. Я рад купить, хотя и собственным риском, облегчение страждущего человечества!» Но, что удивительнее всего,— он отказался за поездку и леченье от богатого подарка.

— Это делает честь человечеству и медицине. Валериан Михайлович спит еще?

— Он долго писал письма и не более 3 часов, как уснул. Посоветуйте, сделайте милость, вашему товарищу, чтобы он ничего не ел до поединка. При несчастии пуля может скользнуть и вылететь насквозь, не повредя внутренностей, если они сохранят свою упругость; кроме того, и рука натощак вернее. Позаботились ли вы о четвероместной карете? в двуместной — ни помочь раненому, ни положить убитого.

— Я велел нанять карету в дальней части города и выбрать попростее извозчика, чтобы он не догадался и не дал бы знать.

— Вы сделали как нельзя лучше, ротмистр; а то полиция не хуже ворона чует кровь. Теперь об условиях: барьер попрежнему — на шести шагах?

— На шести. Князь и слышать не хочет о бо́льшем расстоянии. Рана только на четном выстреле кончает дуэль,— вспышка и осечка не в число.

— Какие упрямцы! пускай бы за дело дрались — так не жаль и пороху; а то за женскую прихоть и за свои причуды.

— Много ли мы видели поединков за правое дело? А то все за актрис, за карты, за коней или за порцию мороженого.

— Признаться сказать, все эти дуэли, которых причину трудно или стыдно рассказывать, немного делают нам чести. Итак, ровно в полдень и за Выборгскою заставой?

— В полдень и там. Невдалеке от трактира, на 2-й версте, где мы съедемся, влево от дороги, есть пустой и довольно светлый ток; в нем мы защищены будем от ветра и сверкания солнца. Я надеюсь, однако, что мы, прежде чем сведем их, испытаем все средства к примирению? Смертной обиды

между ними не было — и, может, нам удастся кончить дело извинением.

— Я бы готов был целый год принимать заряды вместо того, чтоб жечь их, если б удалось нам это: но, признаюсь, мало имею надежды на успех. Говорить соперникам о мире, когда они приехали на поле,— все равно, что давать лекарство мертвецу. Пули твои никуда не годятся,— вскричал нетерпеливо старику-слуге артиллерист, бросив пару их на пол,— они шероховаты и с пузырьками.

— Это от слез, Сергей Петрович!— отвечал слуга, отирая заплаканные глаза.— Я никак не могу удержать их: так и бегут и порой попадают в форму. Да и руки мои дрожат, словно у предателя Иуды. Что скажут добрые люди, когда узнают, что я отлил смертную пулю моему доброму барину,— какой грех ляжет на душу! С каким сердцем встречу барышню Ольгу Михайловну, если бог попустит мне видеть смерть барина! Он один ей вместо отца родного! Ваше высокоблагородие! заставьте за себя молить бога — отведите барина от греха или от беды своей, уговорите, упросите его; мы... все...

Старик не мог продолжать от рыданий... Артиллерист, тронутый сам, старался утешить его.

— Полно, полно, старик! как не стыдно тебе расплакаться, как теленку. Ты сам в 14-м году был в делах с барином — ты знаешь, что не все пули бьют, и не все раненые умирают... притом мы постараемся и уладить полюбовно.

Ольга не могла слушать долее; голова ее кружилась, колена изменяли. Ужасные подробности поединка рисовали пред нею кровавыми чертами картину братней кончины...

— Раненого или убитого,— повторила она, упадая в кресла.— Убитого!— Мысли ее помутились... страх ледяною рукою своей сдавил сердце.

Есть минуты, есть часы тоски тяжкой, неизъяснимой... разум тогда, будто пораженный параличом, вдруг прерывает ход свой — но чувство, отравленное полным понятием о величии беды, подобно лавине, рушится на сердце и погребает его в хладе отчаяния немого; но глубокого, бесчувственно-мучительного! Тогда очи не находят слез, уста выражений,— и тем ужаснее тоска, сосредоточенная в груди, тем едче слезы, каменеющие на сердце, которое, как подземная жила, переполненная пылающею серой, рвется сбросить с себя громаду, и, готовое расторгнуться, не может сдвинуть груза,

его удушающего, не может отреять палящего вздоха.

Ольга не плакала, ибо не могла плакать,— ничего не слышала, ничему не внимала она. На все приглашения, на все вопросы тетки отвечала она отрицательным движением головы — и не трогалась с места. Наконец, когда ясный уже луч солнца, проникнув туманы, упал на чело ее, она как будто очнулась от болезненного забытья, подобно Мемноновой статуе в пустынях Пальмиры.— Где братец? — спросила она, вставая. «Уехал!» — было ответом — и она снова погрузилась в мрачное онемение, вперив неподвижные очи в окно. По лицу ее то мелькало нетерпенье ожидания, то улыбание надежды умолить брата, но всего чаще, всего мрачнее ложилась тень отчаяния, ибо разум уверял ее, что никакие доводы, никакие чувства не могли совратить Валериана с пути, однажды избранного; притом же она очень хорошо постигала, что судьба поединка зависела всего более от обидчика, т. е. князя Гремина. «И он, он, которого я считала благороднейшим существом, он, которого любила, которого воображала братом брату,— жаждет теперь крови и смерти. Ах! как злы люди»,— думала она.

И между тем часы текли за часами — било одиннадцать, и вся душа Ольги перешла в зрение; как на перст судьбы, глядела она на тихо переступающую стрелку... еще четверть, еще... и она воскликнула:— Все погибло! Он не хочет даже проститься с сестрою,— он боится быть тронутым моею горестию... Боже великий, подкрепи меня!— Ольга повверглась ниц перед образом, и решимость осенила свыше теплую мольбу ее.

На 2-й версте по дороге к Парголову, направо, на холме виден простой русский трактир, выкрашенный желтою краскою; свидетель многих несчастных сцен или веселых примирений зимою. Летом никто из порядочных людей не посещает его, равно за неопрятность, как и потому, что окрестные дачи в это время кипят народом и, следственно, не могут быть поприщем поединков. Вся трактирная челядь высыпала на крыльцо, завидя две кареты и парные сани, пробивающиеся к ним сквозь сугробы снега, блестящего миллионами звезд на солнышке. Это, как можно было угадать, был поезд вовсе не свадебный, поезд наших дуэлистов. Противников развели по разным комнатам. Артиллерист вызвался ехать вперед — приготовить место и утоптать смертную тропу. Доктор пригласил другого секунданта сыграть партию

в биллиард, и вот соперники наши оставлены были сами себе на раздумье.

Валериан был угрюм — но с каким-то удовольствием смотрел на безжизненный снег, покрывающий саваном долину, на траурную зелень елей. Он пламенно и нежно полюбил графиню, и ее холодность, ее легкомыслие — сокрушили все его надежды. Он улыбкою встретил мысль о смерти,— потому что смерть никому не кажется так утешительна, как обманутой или неудачной любови. «Три дни — и нет ответа,— думал он,— ...это самый понятный ответ!— *Ей* жаль лучей своего сиятельства; ей приятнее перецеживать светскую скуку в кругу модных обезьян, чем наслаждение жизнию с мужем — человеком; ей лестнее вселять мечты и желания в других, чем мыслить и чувствовать наедине с другом или с собою. Да будет! Благодарю судьбу, что она заранее спасла меня от легкомысленной женщины. В сладком чаду заблуждений, в очаровании страсти, мне бы тяжко было вырваться из объятий счастия. Но теперь я равнодушен к жизни; я презираю свет, в котором любовь — тщеславие, а дружество — прихоть. Но ты, Алина! ты виновна более всех! Необыкновенная смертная — ты увлеклась стадом обыкновенных женщин... Ты одна могла создать мое счастие, ты одна могла ценить мою любовь,— и я, неутешен взаимностию, сойду в могилу — и за тебя! Алина, Алина, ты оценишь меня, когда меня потеряешь!» Слезы навернулись на глазах Валериана. Но, право, не знаю, почему ни одна из них не посвящена была сожалению о сестре: таковы все влюбленные; во время своей горячки у них нет ни думы, ни слова, кроме о милой, и, даже умирая, они больше думают о том, как понравятся в гробу своей возлюбленной, нежели о том, как станут плакать о них родные.

Зато, если в одной комнате Ольга была забыта для любви, в другой по той же самой причине она была предметом восклицаний и вздохов. Князь Гремин сидел там мрачнее сентябрьского вечера и очень заунывно барабанил пальцами по столу; но или сосновая эта гармоника не могла вполне выразить печальных его мыслей, или сам он был непривычный виртуоз на этом инструменте, только фантазия его походила на погребальный марш, достойный похорон кота мышами. Как ни забавно-жалобна была, однако ж, его музыка, его думы были вовсе не забавны. Когда погас первый пыл негодования, он горько раскаивался в своей дерзкой вспыльчивости: совесть громко укоряла его в обиде старого друга, и для чего, для кого? для той, которую уже давно не

любил он, для той, которая сама его забыла; не имея другой цели, кроме препятствия в счастии сопернику, из пустого тщеславия. Но всего убедительнее действовала на него логика любезности и красоты Ольги... все силлогизмы его оканчивались и начинались укорительным вопросом: «что скажет на это сестра Валериана?» Ненависть в жизни, если он убьет противника, или презрение после смерти — за вражду — непременно долженствовали быть уделом его, а Гремин глубоко чувствовал, как благородный человек и как пламенный мужчина, сколь тяжело было бы ему сносить не только ненависть или презрение, но даже равнодушие Ольги, достойной всякого уважения... «и любви»,— приговаривало сердце, «и, может быть, неравнодушной к тебе»,— шептало самолюбие. Но голос предрассудков звучал, как труба, и заглушал все кроткие, все добрые ощущения.— Теперь уже поздно раздумывать,— сказал он со вздохом, разрывающим сердце.— Нельзя возвратить сделанного, стыдно переменять решенное. Я не хочу быть сказкою города и полка, согласясь мириться под пистолетом. Люди охотнее верят трусости, чем благородным внушениям, и хотя бы еще лестнейшие надежды, еще драгоценнейшее бытие лежали в дуле моем, я и тогда послал бы выстрел Стрелинскому!

— Все готово, князь!— сказал секундант его, распахнув двери.— Остается только зарядить пистолеты, и, как водится, мы просим вас при том присутствовать.— Противники вошли с разных сторон, холодно и безмолвно поклонились друг другу, и между тем, как Гремин остановился у стола, на котором готовилась роковая трапеза, Стрелинский подошел к доктору, который без милосердия один-одинехонек гонял шары по биллиарду. Больно душе видеть людей перед поединком — еще больнее быть посредником в оном. Невольно желаешь зла другому, потому что желаешь сохранения своему товарищу,— и это чувство проливает на все церемонную принужденность, между тем, как все стараются быть необыкновенно веселыми... соперники, чтоб показать свою смелость, а секунданты, чтоб поддержать ее.

Валериан, познакомясь на переезде с доктором-оригиналом, шутя спросил его, обращаясь к прерванному в карете разговору:— Не отступаетесь ли вы, любезный доктор, от чудесной гипотезы своей, что когда-нибудь люди научатся прививать детям хорошие качества, как коровью оспу, и лечить от страстей, как от прилипчивых болезней?

— Для чего мне быть отступником от своих рассуждений,

когда вы не хотите покинуть свои предрассуждения?— отвечал доктор — и положил красный в лузу.

— Жаль, право, что я не родился позже веками пятью: очень бы любопытно посмотреть, как станут вылечивать от любви шпанскими мушками или от злости — припарками и лигатурами!

— От злости и теперь в простом народе лечат припарками и перевязками так, как в старину от сумасшествия чахоткою,— только едва ли с успехом. Но почему не предположить, что при всеобщем усовершении наук нужнейшая из них не выйдет из настоящего дряхлого своего младенчества? Тогда, Валериан Михайлович, мне бы гораздо приятнее было предупредить вашу раздражительность какими-нибудь сладкими пилюлями, нежели вытаскивать свинцовые из ваших костей.

— То-то будет золотой век для медиков!

— Золотой для медицины,— а бессребренный для медиков, которые до сих пор, наравне с крапивным семенем судей, живут на счет глупости или пороков или бедствий человеческих!

— Почтенный доктор,— прервал речь его артиллерист, заряжая вторую пару...— решите спор наш: я говорю, что лучше уменьшить заряд по малости расстояния и для верности выстрела, а господин ротмистр желает усилить его, уверяя, что сквозные раны легче к исцелению,— это статья по вашему департаменту!

— Дайте руку, господин пушкарь в превосходной степени! Мы должны быть друзьями и соседями не только потому, что ваше училище, где научают убивать по правилам, рядом с нашею клиникою, где учат исцелять людей,— но и потому, что природа всегда подле яду помещает противоядие. Вы смеетесь, вы говорите, что эти два зла вместе,— пусть так. Только увеличьте заряд, если нельзя вовсе его уничтожить. На 6 шагах самый слабый выстрел пробьет ребры, и так как трудно, а часто и невозможно вынуть пули, то она и впоследствии может повредить благородные части.

— Высокоблагородные части,— сказал, улыбаясь, Гречин,— мы оба штаб-офицеры; но шутки в сторону, доктор, куда почитаете вы всего безопаснее вынимать пулю?

— Из дула,— отвечал доктор очень важно. Все засмеялись.

— Не угодно ли будет, князь, снять эполеты?— сказал один из секундантов, укладывая пистолеты в ящик.— Золото слишком видная цель для противника.

— Вы так строги, любезный посредник мой, что я того и жду приглашения оставить здесь и голову, потому что она еще виднейшая цель...— В это время послышался стук у дверей.

— Боже мой,— воскликнул артиллерист, закрывая плащом оружие,— не дадут и подраться покойно! Кто там?

— Ездовой графини Звездич спрашивает майора Стрелинского,— произнес за порогом маркер, точно таким же голосом, как возвещает он: «двадцать три и ничего!»

Стрелинский одним прыжком был уже в сенях.

— Вас просит видеть какая-то дама,— сказал Гремину трактирный мальчик, вбегая с другой стороны. Князь вышел, пожимая плечами. Но вообразите его изумление, когда стройная незнакомка отбросила вуаль с лица своего,— и в ней он узнал Ольгу со всеми прелестями юности,— в полном вооружении невинности и собственного достоинства. — Ольга! — воскликнул он, пораженный еще более, чем удивленный.— Ольга, вы, вы здесь?

— И вы причиной тому, князь Гремин,— отвечала Ольга с гордою твердостию.— Если б я не знала опасностей моего поступка, то одно изумление ваше открыло бы мне все... но я все знаю и на все решилась. Пускай свет назовет меня безрассудною искательницею приключений— пускай стану я сказкою столицы — пусть эта минута бросит вечную тень на остаток моей жизни,— но не должна ли я презреть всем для спасения брата, которого хотите вы погубить! Но я не упрекать вас пришла, князь Гремин, но просить, но убеждать, умолять вас: забудьте кровожадную ссору вашу, открытую мне случаем. Заклинаю вас именем бога, которого забываете, именем человечества и разума, которые попираете вы ногами,— именем прежней дружбы и вечной любви ко всему, что драгоценно для вас в этой жизни и лестно за могилой! Вы искали поединка, и от вас зависит прекратить его. Князь! Примиритесь с Валерианом! спасите меня от горького чувства видеть убийцу в брате или от неутолимого плача по нем. Что станется тогда со мной в этом враждебном свете, без друга, без советника и покровителя! Как мало жила я — и как несчастна, что дожила до ужасной поры, в которую два существа, уважаемые мной больше всего в мире, хотят растерзать друг друга!

Сначала голос Ольги был тверд и выразителен, но когда речь коснулась до братской привязанности... он стал тише и нежнее; дыхание прерывалось, замирало; тоска высоко вздымала грудь; очи ее, отягченные слезами, наконец пролили их

в три ручья, и она, рыдая, опустилась на стул. Князь Гремин, энтузиаст всего высокого и благородного, тронутый до глубины души прекрасным самоотвержением Ольги,— стоял в восторге, нем и неподвижен. Он поглощал взорами великодушную примирительницу. Сладостное чувство умиления проникло все его существо — одна искра чистой любви осветила всю его душу... Как молния превращает полюсы компаса, так всемогущие слезы невинности превратили в доброту все семена зла и злобы, в груди таящиеся. Он был уже счастлив, ибо высочайшее счастье есть сознание чужих совершенств, сознание высокого и прекрасного.

Ольга, однако ж, почитая безмолвие князя колебанием или отказом, гордо встала — и произнесла, сверкая взором:

— Но знайте, князь Гремин, если речь правды и природы недоступна душам, воспитанным кровавыми предрассудками,— то вы не иначе достигнете до брата моего,— как сквозь это сердце. Не пожалев славы,— я не пожалею жизни.

— Нет, нет! существо неземное,— воскликнул Гремин,— свою жизнь, хотя бы тысячу раз обновленную, готов теперь пожертвовать я за вас, за Валериана!.. Ольга! ваше великодушие победило меня!

С этим словом он вошел в залу и громко сказал Валериану:

— Господин майор, я прошу у вас извинения в своей горячности — очень сожалею о том, что вчерась произошло между нас, и если вы довольны этим объяснением, то сочту большою честью возврат вашей дружбы.

Стрелинский, вовсе не ожидая такой развязки, перечитывал весело какое-то письмо,— очень вежливо, однако ж, очень охотно протянул руку Гремину.

— Тому легко примирение,— сказал он,— кто сам имеет нужду в прощении,— и друзья обнялись снова друзьями.

— Господа секунданты, скажите по совести, не имеем ли мы в чем-нибудь укорять себя как благородные люди и офицеры?— сказал Гремин.

— Никогда и никто не усумнится в вашей храбрости,— отвечал гвардеец, обнимая князя.

— Признаваться в своих ошибках есть высшее мужество,— возразил артиллерист, сжимая руку майора.

— Сделав все для света, я прошу у тебя, любезный Стрелинский, для самого себя 5 минут особенного разговора.

Рука об руку с князем вошел Валериан в другую комна-

ту весело и беззаботно — но чело его подернулось, как заревом, когда он увидел там сестру свою!

— Что это значит?— вскричал он грозно. Но когда сестра с радостным приветом:— Вы не будете врагами, вы не будете стреляться!— упала к нему на грудь, бесчувственная, голос его смягчился.— ...Ольга! Ольга! что ты сделала,— произнес он печально,— невинная, неопытная душа, ты погубила себя!— Тихо опустил он на софу драгоценное бремя, и невольный взор упрека пронзил сердце Гремина; между тем призванный доктор суетился около Ольги.

— Друг! друг!— сказал глубоко тронутый князь,— не уничтожай меня, я сам чувствую, сколько бед накликало мое безрассудство — подумаем лучше, как исправить ошибку. Поездка сестрицы твоей едва ли утаится от клеветы, и бог весть, какими баснями украсит ее свет! Чувствую, что я не стою этого ангела, но чувствую, что без нее нет для меня счастия на земле... и если сердце ее не занято... если... я как старый друг твой спрашиваю тебя, Валериан... хочешь ли ты иметь меня зятем?

Стрелинский мрачно взглянул на него...— Князь, я откровенно скажу тебе, что прежде не желал бы лучшего мужа Ольге, но вчерашняя твоя горячность за графиню заставляет меня сомневаться в счастье сестры!

— Валериан, не разрывай могил минувшего... кто не был молод! От сего дня я новый человек; прежняя привязанность к сестрице твоей обратилась в страсть неодолимую и неизменную.

— Верю,— сказал Валериан, сжимая руку другу, и указал на сестру, которая начинала приходить в себя.— Милая, добрая Ольга! здесь ты видишь людей, тобою примиренных и благодарных,— но кроме благодарности, здесь есть некто, желающий получить награду, заслужив наказание,— он уверяет, что любит тебя, клянется в верности... доканчивайте, князь Гремин!

И Гремин с пылкостию и страхом вступил в трудное объяснение.

— Я буду краток,— сказал он, приближаясь к Ольге,— как ни вредно виноватому быть им. Так, Ольга, я дерзаю искать руки вашей, хотя в глубине души сознаюсь, как недостоин я такого блаженства. Не говорю теперь о взаимности,— я буду счастлив и тем, если вы меня не ненавидите, и терпеливо стану ждать чувств нежнейших, как награды!

— Теперь я не имею никакой причины ненавидеть вас;

я, напротив, обязана вам благодарностию!— возразила Ольга едва внятно.

— Это лишь слабый образчик моей беспредельной покорности; имея образцом такого ангела, какое доброе качество мне недоступно? Ольга! жизнь без вас для меня пустыня, с вами — рай; решите участь мою!

Ответ Ольги можно было прочесть в каждой черте лица, в трепетании каждой жилки; слезы наслаждения стояли в ресницах, румянец счастия пылал на щеках ее... все сны, все мечты ее разгадались — она была так невинно счастлива, но ей было так ново и страшно это положение — наконец она преклонила милое лицо свое к плечу Валериана и тихо, тихо сказала:

— Братец, отвечай за меня!

— Князь Николай! вручаю тебе лучшую жемчужину моего бытия. Есть бог в небе и совесть в сердце, если ты не сделаешь мою Ольгу счастливою!— Тут положил Валериан руку сестры в руку Гремина — и седьмое небо распахнулось для влюбленного.

— Я сегодня так счастлив, что боюсь,— не во сне ли вижу все это: друзья мои, вот письмо от Алины,— примолвил Валериан, отдавая для прочтения письмо Гремину. Гремин читал:

«За свою недоверчивость, милый Валериан, ты заслужил наказание и получил его — но чего эта шутка стоила моему сердцу! Как можно было сомневаться, что, куда б ни забросила тебя судьба, куда бы ни увлекла воля, в горе и счастии — я всегда с тобою неразлучна. Впрочем, эти три дни я посвятила на убеждения моих нравственных и политических опекунов,— теперь все в порядке, и я могу ехать за тобой к полюсу — не только в прекрасную деревню. Сегодня ожидаю неверующего на мир, и чрез два месяца,— о сладкая мысль! я буду уже иметь священное право называться *твоею* Алиною!»

Поздравления и объятия полетели к счастливцу... Сам доктор, со слезами умиления на глазах, смотрел на небо, скинув ошибкою парик вместо колпака:— Еще пара таких женщин,— бормотал он,— и я выброшу всех редких букашек за окно! Жаль только, что Ольга заставит меня переправить целую главу о женщинах!

Стрелинский, посадив сестру в свою карету, остановился у дверец.— Господа,— сказал он,— милости просим ко мне откушать и запить прошедшие безрассудства. Господ же секундантов, благодаря сверх того за их участие, прошу сде-

лать нам честь — переменить роли секундантов на должность шаферов у меня и жениха сестры моей, князя Гремина!

Он умчался при радостных приветах.

— А вы, худо-доктор?— спросил восхищенный князь, целуя всех и каждого с радости.— Валериан ждет вас.

— Еще рано, и я зайду домой приписать кое-что к своему рассуждению.

— Конечно, о страстях устрицы?

— Нет, об удачных глупостях человека.



А. А. Погорельский Перовский

1787–1836



ЛАФЕРТОВСКАЯ МАКОВНИЦА





Лет за пятнадцать пред сожжением Москвы недалеко от Проломной заставы стоял небольшой деревянный домик с пятью окошками в главном фасаде и с небольшою над средним окном светлицею. Посреди маленького дворика, окруженного ветхим забором, виден был колодезь. В двух углах стояли полуразвалившиеся амбары, из которых один служил пристанищем нескольким индейским и русским курам, в мирном согласии разделявшим укрепленную поперек амбара веху. Перед домом из-за низкого палисадника поднимались две или три рябины и, казалось, с пренебрежением смотрели на кусты черной смородины и малины, растущие у ног их. Подле самого крыльца выкопан был в земле небольшой погреб для хранения съестных припасов.

В сей-то убогий домик переехал жить отставной почталион Онуфрич с женою Ивановною и с дочерью Марьею. Онуфрич, будучи еще молодым человеком, лет двадцать прослужил в поле и дослужился до ефрейторского чина; потом столько же лет верою и правдою продолжал службу в московском почтамте; никогда, или, по крайней мере, ни за какую вину,

не бывал штрафован и наконец вышел в чистую отставку и на инвалидное содержание. Дом был его собственный, доставшийся ему по наследству от недавно скончавшейся престарелой его тетки. Сия старушка при жизни своей во всей Лафертовской части известна была под названием *Лафертовской Маковницы;* ибо промысел ее состоял в продаже медовых маковых лепешек, которые умела она печь с особенным искусством. Каждый день, какая бы ни была погода, старушка выходила рано поутру из своего домика и направляла путь к Проломной заставе, имея на голове корзинку, наполненную маковниками. Прибыв к заставе, она расстилала чистое полотенце, перевертывала вверх дном корзинку и в правильном порядке раскладывала свои маковники. Таким образом сидела она до вечера, не предлагая никому своего товара и продавая оный в глубоком молчании. Лишь только начинало смеркаться, старушка собирала лепешки свои в корзинку и отправлялась медленными шагами домой. Солдаты, стоящие на карауле, любили ее; ибо она иногда потчевала их безденежно сладкими маковниками.

Но этот промысел старушки служил только личиною, прикрывавшею совсем иное ремесло. В глубокий вечер, когда в прочих частях города начинали зажигать фонари, а в окрестностях ее дома расстилалась ночная темнота, люди разного звания и состояния робко приближались к хижине и тихо стучались в калитку. Большая цепная собака, Султан, громким лаем провозглашала чужих. Старушка отворяла дверь, длинными костяными пальцами брала за руку посетителя и вводила его в низкие хоромы. Там при мелькающем свете лампады на шатком дубовом столе лежала колода карт, на которых, от частого употребления, едва можно было различить бубны от червей; на лежанке стоял кофейник из красной меди, а на стене висело решето. Старушка, предварительно приняв от гостя добровольное подаяние,— смотря по обстоятельствам — бралась за карты или прибегала к кофейнику и к решету. Из красноречивых ее уст изливались рекою пророчества о будущих благах,— и упоенные сладкою надеждою посетители при выходе из дома нередко вознаграждали ее вдвое более, нежели при входе.

Таким образом жизнь ее протекала покойно в мирных сих занятиях. Правда, что завистливые соседи называли ее за глаза колдуньею и ведьмою; но зато в глаза ей низко кланялись, умильно улыбались и величали бабушкою. Такое к ней уважение отчасти произошло оттого, что когда-то один из соседей вздумал донести полиции, будто бы Лафер-

товская Маковница занимается непозволительным гаданием в карты и на кофе и даже знается с подозрительными людьми! На другой же день явился полицейский, вошел в дом, долго занимался строгим обыском и, наконец, при выходе объявил, что он не нашел ничего. Неизвестно, какие средства употребила почтенная старушка в доказательство своей невинности; да и не в том дело! Довольно того, что донос найден был неосновательным. Казалось, что сама судьба вступилась за бедную Маковницу; ибо скоро после того сын доносчика, резвый мальчик, бегая по двору, упал на гвоздь и выколол себе глаз; потом жена его нечаянно поскользнулась и вывихнула ногу; наконец, в довершение всех несчастий, лучшая корова их, не будучи прежде ничем больна, вдруг пала. Отчаянный сосед насилу умилостивил старушку слезами и подарками,— и с того времени все соседство обходилось с нею с должным уважением. Те только, которые, переменяя квартиру, переселялись далеко от Лафертовской части, как, например: на Пресненские пруды, в Хамовники или на Пятницкую,— те только осмеливались громко называть Маковницу ведьмою. Они уверяли, что сами видели, как в темные ночи налетал на дом старухи большой ворон с яркими, как раскаленный уголь, глазами; иные даже божились, что любимый черный кот, каждое утро провожающий старуху до ворот и каждый вечер ее встречающий, не кто иной, как сам нечистый дух.

Слухи эти, наконец, дошли и до Онуфрича, который по должности своей имел свободный доступ в передние многих домов. Онуфрич был человек набожный, и мысль, что родная тетка его свела короткое знакомство с нечистым, сильно потревожила его душу. Долго не знал он, на что решиться.

— Ивановна!— сказал он, наконец, в один вечер, подымая ногу и вступая на смиренное ложе,— Ивановна, дело решено! Завтра поутру пойду к тетке и постараюсь уговорить ее, чтоб она бросила проклятое ремесло свое. Вот она уже, слава богу, добивает девятый десяток; а в такие лета пора принесть покаяние — пора и о душе подумать.

Это намерение Онуфрича крайне не понравилось жене его. Лафертовскую Маковницу все считали богатою, и Онуфрич был единственный ее наследник.

— Голубчик!— отвечала она ему, поглаживая его по наморщенному лбу:— сделай милость, не мешайся в чужие дела. У нас и своих забот довольно: вот уже теперь и Маша подрастает; придет пора выдать ее замуж, а где нам взять женихов без приданого? Ты знаешь, что тетка твоя любит

дочь нашу; она ей крестная мать, и когда дело дойдет до свадьбы, то ни от кого иного, кроме ее, ожидать нам милостей. Итак, если ты жалеешь Машу, если любишь меня хоть немножко, то оставь добрую старушку в покое. Ты знаешь, душенька...

Ивановна хотела продолжать, как заметила, что Онуфрич храпит. Она печально на него взглянула, вспомнив, что в прежние годы он не так хладнокровно слушал ее речи; отвернулась в другую сторону и вскоре сама захрапела.

На другое утро, когда еще Ивановна покоилась в объятиях глубокого сна, Онуфрич тихонько поднялся с постели, смиренно помолился иконе Николая чудотворца, вытер суконкою блистающего на картузе орла и почталионский свой знак и надел мундир. Потом, подкрепив сердце большою рюмкою ерофеича, вышел в сени. Там прицепил он тяжелую саблю свою — еще раз перекрестился и отправился к Проломной заставе.

Старушка приняла его ласково.

— Эй, эй, племянничек!— сказáла она ему:— какая напасть выгнала тебя так рано из дому — да еще в такую даль? Ну, ну, добро пожаловать; просим садиться.

Онуфрич сел подле нее на скамью, закашлял и не знал, с чего начать. В эту минуту дряхлая старушка показалась ему страшнее, нежели — лет тридцать тому назад — турецкая батарея. Наконец он вдруг собрался с духом.

— Тетушка!— сказал он ей твердым голосом:— я пришел поговорить с вами о важном деле.

— Говори, мой милый, — отвечала старушка, — а я послушаю.

— Тетушка, недолго уже вам остается жить на свете,— пора покаяться, пора отказаться от сатаны и от наваждений его.

Старушка не дала ему продолжать. Губы ее посинели, глаза налились кровью, нос громко начал стукаться об бороду.

— Вон из моего дому!— закричала она задыхающимся от злости голосом.— Вон, окаянный!.. И чтоб проклятые ноги твои навсегда подкосились, когда опять ты ступишь на порог мой!

Она подняла сухую руку... Онуфрич перепугался до полусмерти; прежняя, давно потерянная гибкость вдруг возвратилась в его ноги: он одним махом соскочил с лестницы и добежал до дому, ни разу не оглянувшись.

С того времени все связи между старушкою и семейством

Онуфрича совершенно прервались. Таким образом прошло несколько лет. Маша пришла в совершенный возраст и была прекрасна, как майский день; молодые люди за нею бегали; старики, глядя на нее, жалели о прошедшей своей молодости. Но Маша была бедна,— и женихи не являлись. Ивановна чаще стала вспоминать о старой тетке и никак не могла утешиться.

— Отец твой,— часто говаривала она Марье,— тогда рехнулся в уме! Чего ему было соваться туда, где его не спрашивали? Теперь сидеть тебе в девках!

Лет двадцать тому назад, когда Ивановна была молода и хороша, она бы не отчаялась уговорить Онуфрича, чтоб он попросил прощения у тетушки и с нею примирился; но с тех пор, как розы на ее ланитах стали уступать место морщинам, Онуфрич вспомнил, что муж есть глава жены своей,— и бедная Ивановна с горестью принуждена была отказаться от прежней власти. Онуфрич не только сам никогда не говорил о старушке, но строго запретил жене и дочери упоминать о ней. Несмотря на то, Ивановна вознамерилась сблизиться с теткою. Не смея действовать явно, она решилась тайно от мужа побывать у старушки и уверить ее, что ни она, ни дочь нимало не причастны дурачеству ее племянника.

Наконец случай поблагоприятствовал ее намерению: Онуфрича на время откомандировали на место заболевшего станционного смотрителя, и Ивановна с трудом при прощаньи могла скрыть радость свою. Не успела она проводить дорогого мужа за заставу, не успела еще отереть глаз от слез, как схватила дочь свою под руку и поспешила с нею домой.

— Машенька!— сказала она ей:— скорей оденься получше; мы пойдем в гости.

— К кому, матушка?— спросила Маша с удивлением.

— К добрым людям,— отвечала мать.— Скорей, скорей, Машенька, не теряй времени; теперь уже смеркается, а нам идти далеко.

Маша подошла к висящему на стене в бумажной рамке зеркалу — гладко зачесала волосы за уши и утвердила длинную темнорусую косу роговою гребенкою; потом надела красное ситцевое платье и шелковый платочек на шею; еще раза два повернулась перед зеркалом — и объявила матушке, что она готова.

Дорогою Ивановна открыла дочери, что они идут к тетке.

— Пока дойдем мы до ее дома,— сказала она,— сделается темно, и мы, верно, ее застанем. Смотри же, Маша, поцелуй у тетки ручку и скажи, что ты соскучилась, давно не видав

ее. Она сначала будет сердиться, но я ее умилостивлю; ведь не мы виноваты, что мой старик спятил с ума.

В сих разговорах они приблизились к дому старушки. Сквозь закрытые ставни сверкал огонь.

— Смотри же, не забудь поцеловать ручку,— повторила еще Ивановна, подходя к двери.

Султан громко залаял. Калитка отворилась, старушка протянула руку и ввела их в комнату. Она приняла их за обыкновенных вечерних гостей своих.

— Милостивая государыня тетушка!— начала речь Ивановна...

— Убирайтесь к ч...!— закричала старуха, узнав племянницу.— Зачем вы сюда пришли? Я вас не знаю и знать не хочу.

Ивановна начала рассказывать, бранить мужа и просить прощенья; но старуха была неумолима.

— Говорю вам, убирайтесь!— кричала она,— а не то!..— Она подняла на них руку.

Маша испугалась, вспомнила приказание матушки и, громко рыдая, бросилась целовать ее руки.

— Бабушка, сударыня!— говорила она,— не гневайтесь на меня; я так рада, что опять вас увидела!

Слезы Машины, наконец, тронули старуху.

— Перестань плакать,— сказала она,— я на тебя не сердита: знаю, что ты ни в чем не виновата, мое дитятко! Не плачь же, Машенька! Как ты выросла, как похорошела!— Она потрепала ее по щеке.— Садись подле меня,— продолжала она.— Милости просим садиться, Марфа Ивановна! Каким образом вы обо мне вспомнили после столь долгого времени?

Ивановна обрадовалась этому вопросу и начала рассказывать: как она уговаривала мужа,— как он ее не послушался,— как запретил им ходить к тетушке,— как они огорчались — и как, наконец, она воспользовалась отсутствием Онуфрича, чтоб засвидетельствовать тетушке нижайшее почтение. Старушка с нетерпением выслушала рассказы Ивановны.

— Быть так,— сказала она ей:— я не злопамятна; но если вы искренно желаете, чтоб я забыла прошедшее, то обещайтесь, что во всем будете следовать моей воле! С этим условием я приму вас опять в свою милость и сделаю Машу счастливою.

Ивановна поклялась, что все ее приказания будут свято исполнены.

— Хорошо,— молвила старуха:— теперь идите с богом; а завтра ввечеру пускай Маша придет ко мне одна, не ранее, однако, половины двенадцатого часа. Слышишь ли, Маша? Приходи одна.

Ивановна хотела было отвечать, но старуха не дала ей выговорить ни слова. Она встала, выпроводила их из дому и захлопнула за ними дверь.

Ночь была темная. Долго шли они, взявшись за руки, не говоря ни слова. Наконец, подходя уже к зажженным фонарям, Маша робко оглянулась и прервала молчание.

— Матушка!— сказала она вполголоса,— неужели я завтра пойду одна к бабушке, ночью и в двенадцатом часу?..

— Ты слышала, что приказано тебе прийти одной. Впрочем, я могу проводить тебя до половины дороги.

Маша замолчала и предалась размышлениям. В то время, когда отец ее поссорился с своей теткой, Маше было не более тринадцати лет; она тогда не понимала причины этой ссоры и только жалела, что ее более не водили к доброй старушке, которая всегда ее ласкала и потчевала медовым маком. После того хотя и пришла уже она в совершенный возраст, но Онуфрич никогда не говорил ни слова об этом предмете; а мать всегда отзывалась о старушке с хорошей стороны и всю вину слагала на Онуфрича. Таким образом Маша в тот вечер с удовольствием последовала за матерью. Но когда старуха приняла их с бранью; когда Маша при дрожащем свете лампады взглянула на посиневшее от злости лицо ее,— тогда сердце в ней содрогнулось от страха. В продолжение длинного рассказа Ивановны воображению ее представилось, как будто в густом тумане, все то, что в детстве своем она слышала о бабушке... и если б в это время старуха не держала ее за руку, то, может быть, она бросилась бы бежать из дому. Итак, можно вообразить, с каким чувством она помышляла о завтрашнем дне.

Возвратясь домой, Маша со слезами просила мать, чтоб она не посылала ее к бабушке; но просьбы ее были тщетны.

— Какая же ты дура,— говорила ей Ивановна,— чего тут бояться? Я тихонько провожу тебя почти до дому, дорогой тебя никто не тронет, а беззубая бабушка тоже тебя не съест!

Следующий день Маша весь проплакала. Начало смеркаться — и ужас ее увеличился; но Ивановна как будто ничего не примечала,— она почти насильно ее нарядила.

— Чем более ты будешь плакать, тем для тебя хуже,—

сказала она.— Что-то скажет бабушка, когда увидит красные твои глаза!

Между тем кукушка на стенных часах прокричала одиннадцать раз. Ивановна набрала в рот холодной воды, брызнула Маше в лицо и потащила ее за собою.

Маша следовала за матерью, как жертва, которую ведут на заклание. Сердце ее громко билось, ноги через силу двигались, и таким образом они прибыли в Лафертовскую часть. Еще несколько минут шли они вместе; но лишь только Ивановна увидела мелькающий вдали между ставней огонь, как пустила руку Машину.

— Теперь иди одна,— сказала она:— далее я не смею тебя провожать.

Маша в отчаянии бросилась к ней в ноги.

— Полно дурачиться!— вскричала мать строгим голосом.— Что тебе сделается? Будь послушна и не вводи меня в сердце!

Бедная Маша собрала последние силы и тихими шагами удалилась от матери. Тогда был в исходе двенадцатый час; никто с нею не повстречался, и нигде, кроме старушкина дома, не видно было огня. Казалось, будто вымерли все жители той части города; мрачная тишина царствовала повсюду; один только глухой шум от собственных ее шагов отзывался у нее в ушах. Наконец пришла она к домику и трепещущею рукою дотронулась до калитки... Вдали, на колокольне Никиты мученика, ударило двенадцать часов. Звуки колокола в тишине черной ночи дрожащим гулом расстилались по воздуху и доходили до ее слуха. Внутри домика кот громко промяукал двенадцать раз... Она сильно вздрогнула и хотела бежать... но вдруг раздался громкий лай цепной собаки, заскрипела калитка — и длинные пальцы старухи схватили ее за руку. Маша не помнила, как взошла на крылечко и как очутилась в бабушкиной комнате... Пришед немного в себя, она увидела, что сидит на скамье; перед нею стояла старуха и терла виски ее муравьиным спиртом.

— Как ты напугана, моя голубка!— говорила она ей.— Ну, ну, темнота на дворе самая прекрасная; но ты, мое дитятко, еще не узнала ее цены и потому боишься. Отдохни немного; пора нам приняться за дело!

Маша не отвечала ни слова; утомленные от слез глаза ее следовали за всеми движениями бабушки. Старуха подвинула стол на средину комнаты, из стенного шкафа вынула большую темноалую свечку, зажгла ее и прикрепила к столу, а лампаду потушила. Комната осветилась розовым све-

том. Все пространство от полу до потолка как будто наполнилось длинными нитками кровавого цвета, которые тянулись по воздуху в разных направлениях — то свертывались в клуб, то опять развивались, как змеи...

— Прекрасно,— сказала старушка и взяла Машу за руку.— Теперь иди за мною.

Маша дрожала всеми членами; она боялась идти за бабушкой, но еще более боялась ее рассердить. С трудом поднялась она на ноги.

— Держись крепко за полы мои,— прибавила старуха,— и следуй за мной... не бойся ничего!

Старуха начала ходить кругом стола и протяжным напевом произносила непонятные слова; перед нею плавно выступал черный кот с сверкающими глазами и с поднятым вверх хвостом. Маша крепко зажмурилась и трепещущими шагами шла за бабушкой. Трижды три раза старуха обошла вокруг стола, продолжая таинственный напев свой, сопровождаемый мурлыканьем кота. Вдруг она остановилась и замолчала... Маша невольно раскрыла глаза — те же кровавые нити все еще растягивались по воздуху. Но бросив нечаянно взгляд на черного кота, она увидела, что на нем зеленый мундирный сюртук; а на место прежней котовой круглой головки показалось ей человеческое лицо, которое, вытаращa глаза, устремляло взоры прямо на нее... Она громко закричала и без чувств упала на землю...

Когда она опомнилась, дубовый стол стоял на старом месте, темноалой свечки уже не было и на столе попрежнему горела лампада; бабушка сидела подле нее и смотрела ей в глаза, усмехаясь с веселым видом.

— Какая же ты, Маша, трусиха!— говорила она ей.— Но до того нужды нет; я и без тебя кончила дело. Поздравляю тебя, родная,— поздравляю тебя с женихом! Он человек очень мне знакомый и должен тебе нравиться. Маша, я чувствую, что недолго мне осталось жить на белом свете; кровь моя уже слишком медленно течет по жилам, и временем сердце останавливается... Мой верный друг, — продолжала старуха, взглянув на кота,— давно уже зовет меня туда, где остылая кровь моя опять согреется. Хотелось бы мне еще немного пожить под светлым солнышком, хотелось бы еще полюбоваться золотыми денежками... но последний час мой скоро стукнет. Что ж делать! Чему быть, тому не миновать.

— Ты, моя Маша, — продолжала она, вялыми губами поцеловав ее в лоб,— ты после меня обладать будешь моими сокровищами; тебя я всегда любила и охотно уступаю тебе

место! Но выслушай меня со вниманием: придет жених, назначенный тебе тою силою, которая управляет большею частию браков... Я для тебя выпросила этого жениха; будь послушна и выдь за него. Он научит тебя той науке, которая помогла мне накопить себе клад; общими вашими силами он нарастет еще вдвое,— и прах мой будет покоен. Вот тебе ключ; береги его пуще глаза своего. Мне не позволено сказать тебе, где спрятаны мои деньги; но как скоро ты выйдешь замуж, все тебе откроется!

Старуха сама повесила ей на шею маленький ключ, надетый на черный шнурок. В эту минуту кот громко промяукал два раза.

— Вот уже настал третий час утра,— сказала бабушка.— Иди теперь домой, дорогое мое дитя! Прощай! Может быть, мы уже не увидимся...

Она проводила Машу на улицу, вошла опять в дом и затворила за собой калитку.

При бледном свете луны Маша скорыми шагами поспешила домой. Она была рада, что ночное ее свидание с бабушкой кончилось, и с удовольствием помышляла о будущем своем богатстве. Долго Ивановна ожидала ее с нетерпением.

— Слава богу!— сказала она, увидев ее.— Я уже боялась, чтоб с тобою чего-нибудь не случилось. Рассказывай скорей, что ты делала у бабушки?

Маша готовилась повиноваться, но сильная усталость мешала ей говорить. Ивановна, заметив, что глаза ее невольно смыкаются, оставила до другого утра удовлетворение своего любопытства, сама раздела любезную дочку и уложила ее в постель, где она вскоре заснула глубоким сном.

Проснувшись на другой день, Маша насилу собралась с мыслями. Ей казалось, что все, случившееся с нею накануне, не что иное, как тяжелый сон; когда же взглянула печаянно на висящий у нее на шее ключ, то удостоверилась в истине всего, ею виденного,— и обо всем с подробностью рассказала матери. Ивановна была вне себя от радости.

— Видишь ли теперь,— сказала она, — как хорошо я сделала, что не послушалась твоих слез?

Весь тот день мать с дочерью провели в сладких мечтах о будущем благополучии. Ивановна строго запретила Маше ни слова не говорить отцу о свидании своем с бабушкой.

— Он человек упрямый и вздорливый, — примолвила она,— и в состоянии все дело испортить.

Против всякого ожидания Онуфрич приехал на следующий день поздно ввечеру. Станционный смотритель, которо-

го должность ему приказано было исправлять, нечаянно выздоровел, и он воспользовался первою едущею в Москву почтою, чтоб возвратиться домой.

Не успел он еще рассказать жене и дочери, по какому случаю он так скоро воротился, как вошел к ним в комнату прежний его товарищ, который тогда служил будочником в Лафертовской части, неподалеку от дома Маковницы.

— Тетушка приказала долго жить!— сказал он, не дав себе даже времени сперва поздороваться.

Маша и Ивановна взглянули друг на друга.

— Упокой господи ее душу!— воскликнул Онуфрич, смиренно сложив руки.— Помолимся за покойницу; она имеет нужду в наших молитвах!

Он начал читать молитву. Ивановна с дочерью крестились и клали земные поклоны; но на уме у них были сокровища, их ожидающие. Вдруг они обе вздрогнули в одно время... Им показалось, что покойница с улицы смотрит к ним в комнату и им кланяется! Онуфрич и будочник, молившиеся с усердием, ничего не заметили.

Несмотря на то, что было уже поздно, Онуфрич отправился в дом покойной тетки. Дорогою прежний товарищ его рассказывал все, что ему известно было о ее смерти.

— Вчера,— говорил он, — тетка твоя в обыкновенное время пришла к себе; соседи видели, что у нее в доме светился огонь. Но сегодня она уже не являлась у Проломной, и из этого заключили, что она нездорова. Наконец под вечер решились войти к ней в комнату, но ее не застали уже в живых: так иные рассказывают о смерти старухи. Другие утверждают, что в прошедшую ночь что-то необыкновенное происходило в ее доме. Сильная буря, говорят, бушевала около хижины, тогда как везде погода стояла тихая; собаки из всего околотка собрались перед ее окном и громко выли; мяуканье ее кота слышно было издалека... Что касается до меня, то я нынешнюю ночь спокойно проспал; но товарищ мой, стоявший на часах, уверяет, что он видел, как с самого Введенского кладбища прыгающие по земле огоньки длинными рядами тянулись к ее дому и, доходя до калитки, один за другим, как будто проскакивая под нее, исчезали. Необыкновенный шум, свист, хохот и крик, говорят, слышен был в ее доме до самого рассвета. Странно, что до сих пор нигде не могли отыскать черного ее кота!

Онуфрич с горестию внимал рассказу будочника, не отвечая ему ни слова. Таким образом пришли они в дом покойницы. Услужливые соседки, забыв страх, который вну-

шала им старушка при жизни, успели ее уже омыть и одеть в праздничное платье. Когда Онуфрич вошел в комнату, старушка лежала па столе. В головах у ней сидел дьячок и читал псалтырь. Онуфрич, поблагодарив соседок, послал купить восковых свеч, заказал гроб, распорядился, чтоб было что попить и поесть желающим проводить ночь у покойницы, и отправился домой. Выходя из комнаты, он никак не мог решиться поцеловать у тетушки руку.

В следующий день назначено быть похоронам. Ивановна для себя и для дочери взяла напрокат черные платья, и обе явились в глубоком трауре. Сначала все шло надлежащим порядком. Одна только Ивановна, прощаясь с теткою, вдруг отскочила назад, побледнела и сильно задрожала. Она уверяла всех, что ей сделалось дурно; но после того тихонько призналась Маше, что ей показалось, будто покойница разинула рот и хотела схватить ее за нос. Когда же стали поднимать гроб, то он сделался так тяжел, как будто налитой свинцом, и шесть широкоплечих почталионов насилу могли его вынесть и поставить на дроги. Лошади сильно храпели, и с трудом можно было их принудить двигаться вперед.

Эти обстоятельства и собственные замечания Маши подали ей повод к размышлениям. Она вспомнила, какими средствами сокровища покойницы были собраны, и обладание оными показалось ей не весьма лестным. В некоторые минуты ключ, висящий у нее на шее, как тяжелый камень давил ей грудь, и она неоднократно принимала намерение все открыть отцу и просить у него совета; но Ивановна строго за ней присматривала и беспрестанно твердила, что она всех их сделает несчастными, если не станет слушаться приказаний старушки. Демон корыстолюбия совершенно овладел душою Ивановны, и она не могла дождаться времени, когда явится суженый жених и откроет средство — завладеть кладом. Хотя она и боялась думать о покойнице и хотя при воспоминании об ней холодный пот выступал у нее на лице, но в душе ее жадность к золоту была сильнее страха, и она беспрестанно докучала мужу, чтоб он переехал в Лафертовскую часть, уверяя, что всякий их осудит, если они жить будут на наемной квартире тогда, когда у них есть собственный дом.

Между тем Онуфрич, отслужив свои годы и получив отставку, начал помышлять о покое. Мысль о доме производила в нем неприятное впечатление, когда вспоминал он о той, от которой он ему достался. Он даже всякий раз не-

вольно вздрагивал, когда случалось ему вступать в комнату, где прежде жила старуха. Но Онуфрич был набожен и благочестив и верил, что никакие нечистые силы не имеют власти над чистою совестью; и потому, рассудив, что ему выгоднее жить в своем доме, нежели нанимать квартиру, он решился превозмочь свое отвращение и переехать.

Ивановна сильно обрадовалась, когда Онуфрич велел переноситься в лафертовский дом.

— Увидишь, Маша,— сказала она дочери,— что теперь скоро явится жених. То-то мы заживем, когда у нас будет полна палата золота. Как удивятся прежние соседи наши, когда мы въедем к ним на двор в твоей карете, да еще, может быть, и четверней!

Маша молча на нее смотрела и печально улыбалась. С некоторых пор у нее совсем иное было на уме.

За несколько дней перед их разговором (они еще жили на прежней квартире) Маша в одно утро, задумавшись, сидела у окна. Мимо ее прошел молодой хорошо одетый мужчина, взглянул на нее и учтиво снял шляпу. Маша ему тоже поклонилась и, сама не знала отчего, вдруг закраснелась! Немного погодя тот же молодой человек прошел назад, потом обернулся, прошел еще и опять воротился. Всякий раз он смотрел на нее, и у Маши всякий раз сильно билось сердце. Маше уже минуло семнадцать лет; но до сего времени никогда не случалось, чтоб у нее билось сердце, когда кто-нибудь проходил мимо окошек. Ей показалось это странным, и она после обеда села к окну — для того только, чтоб узнать, забьется ли сердце, когда опять пройдет молодой мужчина... Таким образом она просидела до вечера, однако никто не являлся. Наконец, когда подали огонь, она отошла от окна и целый вечер была печальна и задумчива; она досадовала, что ей не удалось повторить опыта над своим сердцем.

На другой день Маша, только что проснулась, тотчас вскочила с постели, поспешно умылась, оделась, помолилась богу и села к окну. Взоры ее устремлены были в ту сторону, откуда накануне шел незнакомец. Наконец она его увидела; глаза его еще издали ее искали,— а когда подошел он ближе, взоры их как будто нечаянно встретились. Маша, забывшись, приложила руку к сердцу, чтоб узнать, бьется ли оно?.. Молодой человек, заметив сие движение и, вероятно, не понимая, что оно значит,— тоже приложил руку к сердцу... Маша опомнилась, покраснела и отскочила назад. После того она целый день уже не подходила к окну, опасаясь

увидеть молодого человека. Несмотря на то, он не выходил у нее из памяти; она старалась думать о других предметах, но усилия ее были напрасны.

Чтоб разбить мысли, она вздумала ввечеру итти в гости к одной вдове, жившей с ними в соседстве. Входя к ней в комнату, к крайнему удивлению увидела она того самого незнакомца, которого тщетно забыть старалась. Маша испугалась, покраснела, потом побледнела и не знала, что сказать. Слезы заблистали у ней в глазах. Незнакомец опять ее не понял... он печально ей поклонился, вздохнул — и вышел вон. Она еще более смешалась и с досады заплакала. Встревоженная соседка посадила ее возле себя и с участием спросила о причине ее огорчения. Маша сама не ясно понимала, о чем плакала, и потому не могла объявить причины; внутренно же она приняла твердое намерение сколько можно убегать незнакомца, который довел ее до слез. Эта мысль ее поуспокоила. Она вступила в разговор с соседкой и начала ей рассказывать о домашних своих делах и о том, что они, может быть, скоро переедут в Лафертовскую часть.

— Жаль мне, — сказала вдова,— очень жаль, что лишусь добрых соседей; и не я одна о том жалеть буду. Я знаю одного человека, который очень огорчится, когда узнает эту новость.

Маша опять покраснела; хотела спросить, кто этот человек,— но не могла выговорить ни слова. Услужливая соседка верно угадала мысли ее, ибо она продолжала так:

— Вы не знаете молодого мужчины, который теперь вышел из комнаты? Может быть, вы даже и не заметили, что он вчера и сегодня проходил мимо вашего дома; но он вас видел и нарочно зашел ко мне, чтоб расспросить у меня об вас. Не знаю, ошибаюсь ли я или нет, а мне кажется, что вы крепко задели бедное его сердечко! Чего тут краснеть!— прибавила она, заметив, что у Маши разгорелись щеки.— Он человек молодой, пригожий, и если нравится Машеньке, то, может быть, скоро дойдет дело и до свадьбы.

При сих словах Машенька невольно вспомнила о бабушке. «Ах!— сказала она сама себе,— не это ли жених, мне назначенный?» Но вскоре мысль эта уступила место другой, не столь приятной. «Не может быть,— подумала она,— чтоб такой пригожий молодец имел короткую связь с покойницею. Он так мил, одет так щеголевато, что, верно, не умел бы удвоить бабушкина клада!»

Между тем соседка продолжала ей рассказывать, что он хотя из мещанского состояния, но поведения хорошего

и трезвого и сидельцем в суконном ряду. Денег у него больших нет; зато жалованье получает изрядное, и кто знает? может быть, хозяин когда-нибудь примет его в товарищи!

— Итак,— прибавила она,— послушайся доброго совета: не отказывай молодцу. Деньги не делают счастья! Вот бабушка твоя,— прости господи мое согрешение!— денег у нее было невесть сколько; а теперь куда все это девалось?.. И черный кот, говорят, провалился сквозь землю — и деньги туда же!

Маша внутренно очень согласна была с мнением соседки; и ей также показалось, что лучше быть бедною и жить с любезным незнакомцем, нежели богатой и принадлежать — бог знает кому! Она чуть было не открылась во всем; но вспомнив строгие приказания матери и опасаясь собственной своей слабости, поспешно встала и простилась. Выходя уже из комнаты, она, однако, не могла утерпеть, чтоб не спросить об имени незнакомца.

— Его зовут Улияном, — отвечала соседка.

С этого времени Улиян не выходил из мыслей у Маши: все в нем, даже имя, ей нравилось. Но чтоб принадлежать ему, надобно было отказаться от сокровищ, оставленных бабушкою. Улиян был не богат, и верно, думала она, ни батюшка, ни матушка не согласятся за него меня выдать! В этом мнении еще более она уверилась тем, что Ивановна беспрестанно твердила о богатстве, их ожидающем, и о счастливой жизни, которая тогда начнется. Итак, страшась гнева матери, Маша решилась не думать больше об Улияне: она остерегалась подходить к окну, избегала всяких разговоров с соседкою и старалась казаться веселою; но черты Улияна твердо врезались в ее сердце.

Между тем настал день, в который должно было переехать в лафертовский дом. Онуфрич заранее туда отправился, приказав жене и дочери следовать за ним с пожитками, уложенными еще накануне. Подъехали двое роспусок; извозчики с помощию соседей вынесли сундуки и мебель. Ивановна и Маша, каждая взяла в руки по большому узлу, и — маленький караван тихим шагом потянулся к Проломной заставе. Проходя мимо квартиры вдовы соседки, Маша невольно подняла глаза: у открытого окошка стоял Улиян с поникшею головою; глубокая печаль изображалась во всех чертах его. Маша как будто его не заметила и отворотилась в противную сторону; но горькие слезы градом покатились по бледному ее лицу.

В доме давно уже ожидал их Онуфрич. Он подал мнение

свое, куда поставить привезенную мебель, и объяснил им, каким образом он думает расположиться в новом жилище.

— В этом чулане, — сказал он Ивановне, — будет наша спальня; подле нее, в маленькой комнате, поставятся образа; а здесь будет и гостиная наша и столовая. Маша может спать наверху в светлице. Никогда,— продолжал он,— не случалось мне жить так на просторе; но не знаю, почему у меня сердце не на месте. Дай бог, чтоб мы здесь были так же счастливы, как в прежних тесных комнатах!

Ивановна невольно улыбнулась. «Дай срок! — подумала она, — в таких ли мы будем жить палатах!»

Радость Ивановны, однако, в тот же день гораздо поуменьшилась:— лишь только настал вечер, как пронзительный свист раздался по комнатам и ставни застучали.

— Что это такое? — вскричала Ивановна.

— Это ветер,— хладнокровно отвечал Онуфрич, — видно, ставни неплотно запираются; завтра надобно будет починить.

Она замолчала и бросила значительный взгляд на Машу; ибо в свисте ветра находила она сходство с голосом старухи.

В это время Маша смиренно сидела в углу и не слыхала ни свисту ветра, ни стуку ставней — она думала об Улияне. Ивановне страшнее показалось то, что только ей одной послышался голос старухи. После ужина она вышла в сени, чтоб спрятать остатки от умеренного их стола; подошла к шкафу, поставила подле себя на пол свечку и начала устанавливать на полки блюда и тарелки. Вдруг услышала она подле себя шорох, и кто-то легонько ударил ее по плечу... Она оглянулась... за нею стояла покойница в том самом платье, в котором ее похоронили!.. Лицо ее было сердито; она подняла руку и грозила ей пальцем. Ивановна в сильном ужасе громко вскричала. Онуфрич и Маша бросились к ней в сени.

— Что с тобою делается?— закричал Онуфрич, увидя, что она была бледна, как полотно, и дрожала всеми членами.

— Тетушка!— сказала она трепещущим голосом... Она хотела продолжать, но тетушка опять явилась пред нею... лицо ее казалось еще сердитее — и она еще строже ей грозила. Слова замерли на устах Ивановны.

— Оставь мертвых в покое, — отвечал Онуфрич, взяв ее за руку и вводя обратно в комнату.— Помолись богу, и греза от тебя отстанет. Пойдем, ложись в постель, пора спать!

Ивановна легла, но покойница все представлялась ее гла-

зам в том же сердитом виде. Онуфрич, спокойно раздевшись, громко начал молиться, и Ивановна заметила, что, по мере того как она вслушивалась в молитвы, вид покойницы становился бледнее, бледнее — и наконец совсем исчез.

И Маша тоже беспокойно провела эту ночь. При входе в светлицу ей представилось, будто тень бабушки мелькала перед нею — но не в том грозном виде, в котором являлась она Ивановне. Лицо ее было весело, и она умильно ей улыбалась. Маша перекрестилась — и тень пропала. Сначала она сочла это игрою воображения, и мысль об Улияне помогла ей разогнать мысль о бабушке; она довольно спокойно легла спать и вскоре заснула. Вдруг около полуночи что-то ее разбудило. Ей показалось, что холодная рука гладила ее по лицу... она вскочила. Перед образом горела лампада, и в комнате не видно было ничего необыкновенного; но сердце в пей трепетало от страха: она внятно слышала, что кто-то ходит по комнате и тяжело вздыхает... Потом как будто дверь отворилась и заскрыпела... и кто-то сошел вниз по лестнице.

Маша дрожала, как лист. Тщетно старалась она опять заснуть. Она встала с постели, поправила светильню лампады и подошла к окну. Ночь была темная. Сначала Маша ничего не видала; потом показалось ей, будто на дворе, подле самого колодца вспыхнули два небольшие огонька. Огоньки эти попеременно то погасали, то опять вспыхивали; потом они как будто ярче загорели, и Маша ясно увидела, как подле колодца стояла покойная бабушка и манила ее к себе рукою... За нею на задних лапах сидел черный кот, и оба глаза его в густом мраке светились, как огни. Маша отошла прочь от окна, бросилась на постель и крепко закутала голову в одеяло. Долго казалось ей, будто бабушка ходит по комнате, шарит по углам и тихо зовет ее по имени. Один раз ей даже представилось, что старушка хотела сдернуть с нее одеяло; Маша еще крепче в него завернулась. Наконец все утихло; но Маша во всю ночь уже не могла сомкнуть глаз.

На другой день решилась она объявить матери, что откроет все отцу своему и отдаст ему ключ, полученный от бабушки. Ивановна во время вечернего страха и сама бы рада была отказаться от всех сокровищ; но когда поутру взошло красное солнышко и яркими лучами осветило комнату, то и страх исчез, как будто его никогда не бывало. На место того веселые картины будущей счастливой жизни опять заняли ее воображение. «Не вечно же будет пугать

меня покойница,— думала она, — выйдет Маша замуж, и старуха успокоится. Да и чего теперь она хочет? Уж не за то ли она гневается, что я никак не намерена сберегать ее сокровища? Нет, тетушка, гневайся, сколько угодно, а мы протрем глаза твоим рублевикам!»

Тщетно Маша упрашивала мать, чтоб она позволила ей открыть отцу их тайну.

— Ты насильно отталкиваешь от себя счастие, — отвечала Ивановна. — Погоди еще хотя дня два, — верно, скоро явится жених твой, и все пойдет на лад.

— Дня два!— повторила Маша. — Я не переживу и одной такой ночи, какова была прошедшая.

— Пустое, — сказала ей мать,— может быть, и сегодня все дело придет к концу.

Маша не знала, что делать. С одной стороны, она чувствовала необходимость рассказать все отцу; с другой — боялась рассердить мать, которая никогда бы ей этого не простила. Будучи в крайнем недоумении, на что решиться, вышла она со двора и в задумчивости бродила долго по самым уединенным улицам Лафертовской части. Наконец, не придумав ничего, воротилась домой. Ивановна встретила ее в сенях.

— Маша!— сказала она ей,— скорей поди вверх и приоденься: уж более часу сидит с отцом жених твой и тебя ожидает.

У Маши сильно забилось сердце, и она пошла к себе. Тут слезы ручьем полились из глаз ее. Улиян представился ее воображению в том печальном виде, в котором она видела его в последний раз. Она забыла наряжаться. Наконец строгий голос матери прервал ее размышления.

— Маша! Долго ли тебе прихорашиваться? — кричала Ивановна снизу.— Сойди сюда!

Маша поспешила вниз в том же платье, в котором вошла в свою светлицу. Она отворила дверь и оцепенела!.. На скамье подле Онуфрича сидел мужчина небольшого росту в зеленом мундирном сюртуке,— то самое лицо устремило на нее взор, которое некогда видела она у черного кота. Она остановилась в дверях и не могла итти далее.

— Подойди поближе,— сказал Онуфрич,— что с тобою сделалось?

— Батюшка! Это бабушкин черный кот, — отвечала Маша, забывшись и указывая на гостя, который странным образом повертывал головою и умильно на нее поглядывал, почти совсем зажмурив глаза.

— С ума ты сошла! — вскричал Онуфрич с досадою. — Какой кот? Это г. титулярный советник Аристарх Фалелеич Мурлыкин, который делает тебе честь и просит твоей руки.

При сих словах Аристарх Фалелеич встал — плавно выступая, приблизился к ней и хотел поцеловать у нее руку. Маша громко закричала и подалась назад. Онуфрич с сердцем вскочил с скамейки.

— Что это значит? — закричал он. — Эдакая ты неучтивая, точно деревенская девка!..

Однако ж Маша его не слушала.

— Батюшка! — сказала она ему вне себя, — воля ваша! Это бабушкин черный кот! Велите ему скинуть перчатки; вы увидите, что у него есть когти. — С сими словами она вышла из комнаты и убежала в светлицу.

Аристарх Фалелеич тихо что-то ворчал себе под нос. Онуфрич и Ивановна были в крайнем замешательстве; но Мурлыкин подошел к ним, все так же улыбаясь.

— Это ничего, сударь, — сказал он, сильно картавя, — ничего, сударыня, прошу не прогневаться! Завтра я опять приду, завтра дорогая невеста лучше меня примет.

После того он несколько раз им поклонился, с приятностию выгибая круглую свою спину, и вышел вон. Маша смотрела из окна и видела, как Аристарх Фалелеич сошел с лестницы и, тихо передвигая ноги, удалился; но дошед до конца дома, он вдруг повернул за угол и пустился бежать, как стрела. Большая соседская собака с громким лаем во всю прыть кинулась за ним, однако не могла его догнать.

Ударило двенадцать часов; настало время обедать. В глубоком молчании все трое сели за стол, и никому не хотелось кушать. Ивановна от времени до времени сердито взглядывала на Машу, которая сидела с потупленными глазами. Онуфрич тоже был задумчив. В конце обеда принесли Онуфричу письмо; он распечатал — и на лице его изобразилась радость. Потом он встал из-за стола, поспешно надел новый сюртук, взял в руки шляпу и трость и готовился итти со двора.

— Куда ты идешь, Онуфрич? — спросила Ивановна.

— Я скоро ворочусь, — отвечал он и вышел.

Лишь только он затворил за собою дверь, как Ивановна начала бранить Машу.

— Негодная! — сказала она ей, — так-то любишь и почитаешь ты мать свою? Так-то повинуешься ты родителям? Но я тебе говорю, что приму тебя в руки! Только смей

опять подурачиться, когда пожалует к нам завтра Аристарх Фалелеич!

— Матушка! — отвечала Маша со слезами,— я во всем рада слушаться, только не выдавайте меня за бабушкина кота!

— Какую дичь ты опять запорола? — сказала Ивановна.— Стыдись, сударыня; все знают, что он титулярный советник.

— Может быть, и так, матушка,— отвечала бедная Маша, горько рыдая, — но он кот, право кот!

Сколько ни бранила ее Ивановна, сколько ее ни уговаривала, но она все твердила, что никак не согласится выйти замуж за бабушкина кота; и наконец Ивановна всердцах выгнала ее из комнаты. Маша пошла в свою светлицу и опять принялась горько плакать.

Спустя несколько времени она услышала, что отец ее воротился домой, и немного погодя ее кликнули. Она сошла вниз; Онуфрич взял ее за руку и обнял с нежностию.

— Маша! — сказал он ей,— ты всегда была добрая девушка и послушная дочь! — Маша заплакала и поцеловала у него руку.— Теперь ты можешь доказать нам, что ты нас любишь! Слушай меня со вниманием. Ты, я думаю, помнишь о маркитанте, о котором я часто вам рассказывал и с которым свел я такую дружбу во время турецкой войны: он тогда был человек бедный, и я имел случай оказать ему важные услуги. Мы принуждены были расстаться и поклялись вечно помнить друг друга. С того времени прошло более тридцати лет, и я совершенно потерял его из виду. Сегодня за обедом получил я от него письмо; он недавно приехал в Москву и узнал, где я живу. Я поспешил к нему; ты можешь себе представить, как мы обрадовались друг другу. Приятель мой имел случай вступить в подряды, разбогател и теперь приехал сюда жить на покое. Узнав, что у меня есть дочь, он обрадовался; мы ударили по рукам, и я просватал тебя за его единственного сына. Старики не любят терять времени — и сегодня ввечеру они оба у нас будут.

Маша еще горче заплакала; она вспомнила об Улияне.

— Послушай, Маша! — сказал Онуфрич: — сегодня поутру сватался за тебя Мурлыкин; он человек богатый, которого знают все в здешнем околотке. Ты за него выйти не захотела; и признаюсь,— хотя я очень знаю, что титулярный советник не может быть котом, или кот титулярным советником,— однако мне самому он показался подозрительным.

Но сын приятеля моего — человек молодой, хороший, и ты не имеешь никакой причины ему отказать. Итак, вот тебе мое последнее слово: если не хочешь отдать руку свою тому, которого я выбрал, то готовься завтра поутру согласиться на предложение Аристарха Фалелеича... Поди и одумайся.

Маша в сильном огорчении возвратилась в свою светлицу. Она давно решилась ни для чего в свете не выходить за Мурлыкина; но принадлежать другому, а не Улияну — вот что показалось ей жестоким! Немного погодя вошла к ней Ивановна.

— Милая Маша! — сказала она ей: — послушайся моего совета. Все равно, выходить тебе за Мурлыкина или за маркитанта: откажи последнему и ступай за первого. Отец хотя и говорил, что маркитант богат, но ведь я отца твоего знаю! У него всякий богат, у кого сотня рублей за пазухой. Маша! Подумай, сколько у нас будет денег... а Мурлыкин, право, не противен. Хотя он уже не совсем молод, но зато как вежлив, как ласков! Он будет тебя носить на руках.

Маша плакала, не отвечая ни слова; а Ивановна, думая, что она согласилась, вышла вон, дабы муж не заметил, что она ее уговаривала. Между тем Маша, скрепя сердце, решилась принесть отцу на жертву любовь свою к Улияну. «Постараюсь его забыть, — сказала она сама себе: — пускай батюшка будет счастлив моим послушанием. Я и так перед ним виновата, что против его воли связалась с бабушкой!»

Лишь только смерклось, Маша тихонько сошла с лестницы — и направила шаги прямо к колодезю. Едва вступила она на двор, как вдруг вихрь поднялся вокруг нее, и казалось, будто земля колеблется под ее ногами... Толстая жаба с отвратительным криком бросилась к ней прямо навстречу; но Маша перекрестилась и с твердостию пошла вперед. Подходя к колодезю, послышался ей жалостный вопль, как будто выходящий с самого дна. Черный кот печально сидел на срубе и мяукал унылым голосом. Маша отворотилась и подошла ближе; твердою рукою сняла она с шеи шнурок и с ним ключ, полученный от бабушки.

— Возьми назад свой подарок! — сказала она. — Не надо мне ни жениха твоего, ни денег твоих; возьми и оставь нас в покое.

Она бросила ключ прямо в колодезь; черный кот завизжал и кинулся туда же; вода в колодезе сильно закипела... Маша пошла домой. С груди ее свалился тяжелый камень.

Подходя к дому, Маша услышала незнакомый голос, раз-

говаривающий с ее отцом. Онуфрич встретил ее у дверей и взял за руку.

— Вот дочь моя!— сказал он, подводя ее к почтенному старику с седою бородою, который сидел на лавке. Маша поклонилась ему в пояс.

— Онуфрич!— сказал старик:— познакомь же ее с женихом.

Маша робко оглянулась — подле нее стоял Улиян! Она закричала и упала в его объятия...

Я не в силах описать восхищения обоих любовников. Онуфрич и старик узнали, что они уже давно познакомились,— радость их удвоилась. Ивановна утешилась, узнав, что у будущего свата несколько сот тысяч чистых денег в ломбарде. Улиян тоже удивился этому известию; ибо он никогда не думал, чтоб отец его был так богат. Недели чрез две после того их обвенчали.

В день свадьбы, ввечеру, когда за ужином в доме Улияна веселые гости пили за здоровье молодых, вошел в комнату известный будочник и объявил Онуфричу, что в самое то время, когда венчали Машу, потолок в лафертовском доме провалился и весь дом разрушился.

— Я и так не намерен был долее в нем жить,— сказал Онуфрич.— Садись с нами, мой прежний товарищ; налей стакан цимлянского и пожелай молодым счастия и — многие лета!





В. П. Титов

1807-1891


666

УЕДИНЕННЫЙ ДОМИК НА ВАСИЛЬЕВСКОМ



Повесть



Кому случалось гулять кругом всего Васильевского острова, тот, без сомнения, заметил, что разные концы его весьма мало похожи друг на друга. Возьмите южный берег, уставленный пышным рядом каменных, огромных строений, и северную сторону, которая глядит на Петровский остров и вдается длинною косою в сонные воды залива. По мере приближения к этой оконечности, каменные здания, редея, уступают место деревянным хижинам; между сими хижинами проглядывают пустыри; наконец строение вовсе исчезает, и вы идете мимо ряда просторных огородов, который по левую сторону замыкается рощами; он приводит вас к последней возвышенности, украшенной одним или двумя сиротливыми домами и несколькими деревьями; ров, заросший высокою крапивой и репейником, отделяет возвышенность от вала, служащего оплотом от разлитий; а дальше лежит луг, вязкий, как болото, составляющий взморье. И летом печальны сии места пустынные, а еще более зимою, когда и луг, и море, и бор, осеняющий

противоположные берега Петровского острова,— всё погребено в серые сугробы, как будто в могилу.

Несколько десятков лет тому назад, когда сей околоток был еще уединеннее, в низком, но опрятном деревянном домике, около означенной возвышенности, жила старушка, вдова одного чиновника, служившего не помню в которой из коллегий. Оставляя службу, он купил этот домик вместе с огородом и намерен был завесть небольшое хозяйство; но кончина помешала исполнению дальних его замыслов; вдова вскоре нашла себя принужденною продать всё, кроме дома, и жить малым денежным достатком, накопленным невинными, а может быть, отчасти и грешными трудами покойного. Всё ее семейство составляли дочь и престарелая служанка, бывшая в должности горничной и вместе кухарки. Вдалеке от света, вела она тихую жизнь, которая при всем своем однообразии казалась бы счастливою. По праздникам в церковь; по будням утро за работою; после обеда мать вяжет чулок, а молодая Вера читает ей Минею и другие священные книги или занимается с нею гаданием в карты — препровождение времени, которое и ныне в обыкновении у женщин. Вера давно уже достигла того возраста, когда девушки начинают думать, как говорится в просторечии, о том, как бы пристроиться; но главную черту ее нрава составляла младенческая простота сердца; она любила мать, любила по привычке свои повседневные занятия и, довольная настоящим, не питала в душе черных предчувствий насчет будущего. Старушка мать думала иначе: с грустью помышляла она о преклонных летах своих, с отчаянием смотрела на расцветшую красоту двадцатилетней дочери, которой в бедном одиночестве не было надежды когда-либо найти супруга-покровителя. Всё это иногда заставляло ее тосковать и тайно плакать; с другими старухами она, не знаю почему, водилась вовсе не охотно; зато уж и старухи не слишком ее жаловали; они толковали, будто с мужем жила она под конец дурно, утешать ее ходил подозрительный приятель; муж умер скоропостижно и — бог знает, чего не придумает злоречие.

Одиночество, в коем жила Вера с своей матерью, изредка было развлекаемо посещениями молодого, достаточно отдаленного родственника, который за несколько лет приехал из своей деревни служить в Петербурге. Мы условимся называть его Павлом. Он звал Веру сестрицею, любил ее, как всякий молодой человек любит пригожую, любезную девушку, угождал ее матери, у которой и был, как говорит-

ся, на примете. Но о союзе с ним напрасно было думать: он не мог часто навещать семью Васильевского острова. Этому мешали не дела и не служба: он тем и другим занимался довольно небрежно; жизнь его состояла из досугов почти беспрерывных. Павел принадлежал к числу тех рассудительных юношей, которые терпеть не могут излишества в двух вещах: во времени и в деньгах. Он, как водится, искал и приискал услужливых товарищей, которые охотно избавляли его от сих совершенно лишних отягощений и на его деньги помогали ему издерживать время. Картежная игра, увеселения, ночные прогулки — всё призвано было в помощь; и Павел был счастливейшим из смертных, ибо не видал, как утекали дни за днями и месяцы за месяцами. Разумеется, не обходилось и без неприятностей: иногда кошелек опустеет, иногда совесть проснется в душе, в виде раскаяния или мрачного предчувствия. Чтобы облегчить сие новое бремя, он сперва держался обыкновения посещать Веру. Но мог ли он без угрызений сравнить себя с этой невинною, добродетельною девушкой?

Итак, необходимо было искать другого средства. Он скоро нашел его в одном из своих соучастников веселия, из которого сделал себе друга. Этот друг, которого Павел знал под именем Варфоломея, часто наставлял его на такие проказы, какие и в голову не пришли бы простодушному Павлу; зато он умел всегда и выпутать его из опасных последствий; главное же, неоспоримое право Варфоломея на титул друга состояло в том, что он в нужде снабжал нашего юношу припасом, которого излишество тягостно, а недостаток еще тягостнее — именно деньгами. Он так легко и скоро доставал их во всяком случае, что Павлу на сей счет приходили иногда в голову странные подозрения; он даже решался выпытать сию тайну от самого Варфоломея; но как скоро хотел приступить к своим расспросам, сей последний одним взглядом его обезоруживал. Притом: «Что мне за дело,— думал Павел, — какими средствами он добывает деньги? Ведь я. за него не пойду на каторгу... ни в ад!» — прибавлял он тихомолком от своей совести. Варфоломей к тому же имел искусство убеждать и силу нравиться, хотя в невольных его порывах нередко обнаруживалось жестокосердие. Я забыл еще сказать, что его никогда не видали в православной церкви; но Павел и сам был не слишком богомолен; притом Варфоломей говаривал, что он принадлежит не к нашему исповеданию. Короче, наш юноша наконец совершенно покорился влиянию избранного им друга.

Однажды в день воскресный, после ночи, потерянной в рассеянности, Павел проснулся поздно поутру. Раскаяние, недоверие давно так его не мучили. Первая мысль его была идти в церковь, где давно, давно он не присутствовал. Но, взглянув на часы, он увидел, что проспал час обедни. Яркое солнце высоко блистало на горячем летнем небосклоне. Он невольно вспомнил о Васильевском острове. «Как виноват я перед старухою,— сказал он себе;— в последний раз я был у ней, когда снег еще не стаял. Как весело теперь в уединенном сельском домике. Милая Вера! она меня любит, может быть, жалеет, что давно не видала меня, может быть...». Подумал и решился провести день на Васильевском. Лишь только, одевшись, он вышел со двора, откуда ни возьмись, Варфоломей навстречу. Неприятна была встреча для Павла; но свернуть было некуда.

— А я к тебе, товарищ!— закричал Варфоломей издали;— хотел звать тебя, где третьего дня были.

— Мне сегодня некогда,— сухо отвечал Павел.

— Вот хорошо, некогда! Ты, пожалуй, захочешь меня уверить, что у тебя может быть дело. Вздор! пойдем.

— Говорю тебе, некогда; я должен быть у одной родственницы,— сказал Павел, выпутывая руку свою из холодной руки Варфоломея.

— Да! да! я и забыл об твоей Васильевской ведьме. Кстати, я от тебя слышал, что твоя сестрица довольно мила; скажи, пожалуй, сколько лет ей?

— А мне почему знать? я не крестил ее!

— Я сам никого не крестил отроду, а знаю наперечет и твои лета и всех, кто со мной запанибрата.

— Тем для тебя лучше, однако...

— Однако не в том дело,— прервал Варфоломей,— я давно хотел туда забраться с твоею помощью. Нынче погода чудная; я рад погулять. Веди меня с собою.

— Ей-ей не могу,— отвечал Павел с неудовольствием,— они не любят незнакомцев. Прощай, мне нельзя терять времени.

— Послушай, Павел,— сказал Варфоломей, сердито останавливая его рукою и бросая на него тот взгляд, который всегда имел на слабого юношу неодолимое действие. — Я не узнаю тебя. Вчера ты скакал, как сорока, а теперь надулся, как индейский петух. Что это значит? Я не в одно место возил тебя из дружбы; потому и от тебя могу того же требовать.

— Так!— отвечал Павел в смущении,— но теперь не мо-

гу исполнить этого, ибо... ибо знаю, что тебе там будет скучно.

— Пустая отговорка: если хочу, стало, не скучно. Веди меня непременно; иначе ты не друг мне.

Павел замялся; наконец, собравшись с духом, сказал:

— Слушай, ты мне друг! но в этих случаях, я знаю, для тебя нет ничего святого. Вера хороша, непорочна как ангел, но сердце ее просто. Даешь ли ты мне честное слово не расставлять сетей ее невинности?

— Вот нашел присяжного волокиту,— прервал Варфоломей с каким-то адским смехом.— И без нее, брат, много есть девчонок в городе. Да что толковать долго? честного слова я не дам: ты должен мне верить или со мной рассориться. Вези меня с собою или — давай левую.

Юноша взглянул на грозное лицо Варфоломея, вспомнил, что и честь его и самое имущество находятся во власти этого человека и ссора с ним есть гибель; сердце его содрогнулось; он употребил еще несколько слабых возражений — и согласился.

Старушка от всей души благодарила Павла за новое знакомство; степенный, тщательно одетый товарищ его крайне ей понравился; она, по своему обыкновению, видела в нем выгодного женишка для своей Веры. Впечатление, произведенное Варфоломеем на сию последнюю, было не столь выгодно: она робким приветствием отвечала на поклон его, и живые ланиты ее покрылись внезапною бледностию. Черты Варфоломея были знакомы Вере. Два раза, выходя из храма божия, с душою, полною смиренными набожными чувствами, она замечала его стоящим у каменного столпа притвора церковного и устремляющим на нее взор, который пресекал все набожные помыслы и, как рана, оставался у нее врезанным в душу. Но не любовной силою приковал этот взор бедную девушку, а каким-то страхом, неизъяснимым для нее самой. Варфоломей был статен, имел лицо правильное; но это лицо не отражало души, подобно зеркалу, а, подобно личине, скрывало все ее движение; и на его челе, видимо спокойном, Галль верно заметил бы орган высокомерия, порока отверженных.

Впрочем, Вера умела скрыть свое смущение, и едва ли кто заметил его, кроме Варфоломея. Он завел разговор общий, и был любезнее, умнее, чем когда-нибудь. Часы проходили неприметно; после обеда предложена прогулка на взморье, по окончании которой все воротились домой, и старушка принялась за любимое свое препровождение вечера —

гадание в карты. Но сколько ни трудилась она раскладывать, как нарочно ничего не выходило. Варфоломей подошел к ней, оставя в другом углу своего друга в разговоре с Верою. Видя досаду старухи, он заметил ей, что по ее способу раскладывания нельзя узнать будущего, и карты, как они теперь лежат, показывают прошедшее. «Ах, мой батюшка! да вы, я вижу, мастер; растолкуйте мне, что же они показывают?» — спросила старушка с видом сомнения.— «А вот что»,— отвечал он и, придвинув кресла, говорил долго и тихо. Что говорил? Бог весть, только кончилось тем, что она от него услышала такие тайны жизни и кончины покойного сожителя, которые почитала богу да ей одной известными. Холодный пот проступил на морщинах лица ее, седые волосы стали дыбиться под чепцом; она дрожа перекрестилась. Варфоломей поспешно отошел; он с прежней свободою вмешался в разговор молодежи; и беседа верно продлилась бы до полночи, если бы наши гости не поторопились, представляя, что скоро будут разводить мост и им придется ночевать на вольном воздухе.

Не станем описывать многих других свиданий, которые друзья наши имели вместе на Васильевском в продолжение лета. Для вас довольно знать, что в течение всего времени Варфоломей всё более и более вкрадывался в доверенность вдовы; добродушная Вера, которая привыкла согласоваться слепо с чувствами своей матери, забыла понемногу неприятное впечатление, сперва произведенное незнакомцем; но Павел оставался для нее предметом предпочтения нескрытного, и, если сказать правду, так было за что: частые свидания с молодою родственницей возымели на юношу преблаготворное действие; он начал прилежнее заниматься службою, бросил многие беспутные знакомства, словом, захотел быть порядочным человеком; с другой стороны, беспечный его нрав покорялся влиянию привычки, и ему изредка казалось, что он может быть счастлив такою супругою, как Вера.

Предпочтение этой прелестной девушки к товарищу, казалось, должно бы оскорбить неукротимое самолюбие Варфоломея; однако он не только не изъявлял неудовольствия, но обращался с Павлом радушнее, ласковее прежнего; Павел, платя ему дружеством искренным, совершенно откинул все сомнения насчет замыслов Варфоломея, принимал все его советы, поверял ему все тайны души своей. Однажды зашла у них речь о своих взаимных достоинствах и слабостях — что весьма обыкновенно в дружеской беседе

на четыре глаза. «Ты знаешь, я не люблю лести,— говорил Варфоломей,— но откровенно скажу, друг мой, что я замечаю в тебе с недавнего времени весьма выгодную перемену; и не один я, многие говорят, что в последние шесть месяцев ты созрел больше, чем другие созревают в шесть лет. Теперь недостает тебе только одного: навыка жить в свете. Не шути этим словом; я сам никогда не был охотником до света, я знаю, что он нуль; но этот нуль десятерит достоинство единицы. Предвижу твое возражение; ты думаешь жениться на Вере»... (при сих словах Варфоломей остановился на минуту, как будто забывшись)... «ты думаешь на ней жениться,— продолжал он,— и ничего не хочешь знать, кроме счастия семейного да любви будущей супруги. То-то и есть: вы, молодежь, воображаете, что обвенчался, так и бал кончен; ан только начинается. Помяни ты мое слово — поживешь с женою год, опять вспомнишь об людях; но тогда уж потруднее будет втереться в общество. Притом люди необходимы, особливо человеку семейному: у нас без покровителей и правды не добудешь. Может быть, еще тебя стращает громкое имя: большой свет! Успокойся: это манежная лошадь; она очень смирна, но кажется опасной потому, что у нее есть свои привычки, к которым надо примениться. Да к чему тратить слова по-пустому? Лучше поверь их истину на опыте. Послезавтра вечер у графини И...; ты имеешь случай туда ехать. Я вчера у нее был, говорил об тебе, и она сказала, что желает видеть твою бесценную особу».

Сии слова, подобно яду, имеющему силу переворотить внутренность, превратили все прежние замыслы и желания юноши; никогда не бывалый в большом свете, он решился пуститься в этот вихрь, и в условленный вечер его увидели в гостиной графини. Дом ее стоял в не очень шумной улице и снаружи не представлял ничего отличного; но внутри — богатое убранство, освещение. Варфоломей уже заранее уведомил Павла, что на первый взгляд иное покажется ему странным; ибо графиня недавно приехала из чужих краев, живет на тамошний лад и принимает к себе общество небольшое, но зато лучшее в городе. Они застали нескольких пожилых людей, которые отличались высокими париками, шароварами огромной ширины, и не скидали перчаток во весь вечер. Это не совсем согласовалось с тогдашними модами среднего петербургского общества, которые одни были известны Павлу, но Павел уже положил себе за правило не удивляться ничему, да и когда ему было заметить сии мелочи? его вниманием овладела хозяйка совершенно. Вообрази-

те себе женщину знатную, в пышном цвете юности, одаренную всеми прелестями, какими природа и искусство могут украсить женский пол на пагубу потомков Адамовых, прибавьте, что она потеряла мужа и в обращенье с мужчинами может позволить себе ту смелость, которая более всего пленяет неопытного. При таких искушениях мог ли девственный образ Веры оставаться в сердце переменчивого Павла? Страсти загорелись в нем; он всё употребил, чтобы снискать благоволение красавицы, и после повторенных посещений заметил, что она не равнодушна к его стараниям. Какое открытие для пламенного юноши! Павел не видал земли под собой, он уже мечтал... Но случилась неприятность, которая разрушила все его отважные воздушные замки. Однажды, будучи в довольно многолюдном обществе у графини, он увидел, что она в стороне говорит тихо с одним мужчиною; надобно заметить, что этот молодец щеголял непомерным образом и, несмотря на все старания, не мог, однако, скрыть телесного недостатка, за который Павел с Варфоломеем заочно ему дали прозванье косоногого; любопытство, ревность заставили Павла подойти ближе, и ему послышалось, что мужчина произносит его имя, шутит над его дурным французским выговором, а графиня изволит отвечать на это усмешками. Наш юноша взбесился, хотел тут же броситься и наказать насмешника, но удержался при мысли, что это подвергнет его новому, всеобщему посмеянию. Он тот же час оставил беседу, не говоря ни слова, и поклялся ввек не видеть графиню.

Растревоженный в душе, он опять вспомнил о давно покинутой им Вере, как грешник среди бездны разврата вспоминает о пути спасения. Но на этот раз он не нашел близ милой девушки желаемой отрады; Варфоломей хозяином господствовал в доме и того, кто ввел его туда за несколько месяцев, принимал уже, как гостя постороннего. Старуха была больна, и не на шутку. Вера казалась в страшных суетах и развлечении; Павла приняла она с необычайною холодностию и, занимаясь им, сколько необходимо требовало приличие, готовила лекарства, бегала за служанкою, ухаживала за больною и нередко призывала Варфоломея к себе на помощь. Всё это, разумеется, было странно и досаждало Павлу, на которого теперь, как на бедного Макара, валилась одна неудача за другою. Он хотел было затеять объяснение, но побоялся растревожить больную старуху и Веру, без того уже расстроенную болезнию матери. Оставалось одно средство — объясниться с Варфоломеем. Приняв такое ре-

мнение, Павел, извиняясь головною болью, откланялся немного спустя после обеда и, не удержанный никем, уехал, намекнув Варфоломею с некоторою крутостию, что желает его видеть в завтрашнее утро.

Чтобы вообразить себе то состояние, в каком несчастный Павел ожидал на другой день своего бывшего друга и настоящего соперника, должно понять все различные страсти, которые в то время боролись в душе его и, как хищные птицы, словно хотели разорвать между собою свою жертву. Он поклялся забыть навеки графиню, и между тем в сердце пылал любовию к изменнице; привязанность его к Вере была не столь пламенна; но он любил ее любовью братскою, дорожил добрым ее мнением, а в нем почитал себя потерянным надолго, если не навеки. Кто же был виновник всех этих напастей? Коварный Варфоломей, этот человек, которого он некогда называл своим другом и который, по его мнению, так жестоко обманул его доверенность. С каким нетерпением ждал его к себе Павел, с какою досадою он смотрел на улицу, где бушевала точно такая же метель, как и в душе его! «Бездельник,— думал он,— воспользуется непогодою, он избежит моей правдивой мести; он лишит меня последней отрады — сказать ему в бесстыдные глаза, до какой степени я его ненавижу!»

Но в то время, как Павел мучился сомнением, отворилась дверь, и Варфоломей вошел с таким же мраморным спокойствием, с каким статуя Командора приходит на ужин к Дон-Жуану. Однако лицо его вскоре приняло выражение более человеческое; он приблизился к Павлу и сказал ему с видом сострадательной приязни: «Ты на себя не похож, друг мой; что причиною твоей горести? Открой мне свое сердце».

— Я тебе не друг!— закричал Павел, отскочив от него в другой угол комнаты, как от лютой змеи; дрожа всеми составами, с глазами, налитыми кровью и слезами, юноша опрометью высказал все чувства души, может быть и несправедливо разгневанной.

Варфоломей выслушал его с каким-то обидным равнодушием и потом сказал:

— Речь твоя дерзка, и была бы достойна наказания; но я тебе прощаю: ты молод и цены еще не знаешь ни словам, ни людям. Не так говорил ты со мной бывало, когда без моей помощи приходилось тебе хоть шею совать в петлю. Но теперь всё это забыто, потому что холодный прием девушки раздражил твою самолюбивую душонку. Изволит пропадать

по целым месяцам, творит неведомо с кем неведомо какие проказы, а я за него терпи и не ходи, куда мне хочется. Нет, сударь; буду ходить к старухе, хоть бы тебе одному назло. Притом у меня есть и другие причины: не стану таить их — знай, Вера влюблена в меня.

— Лжешь, негодяй!— воскликнул Павел в исступлении,— может ли ангел любить дьявола?

— Тебе простительно не верить,— отвечал Варфоломей с усмешкою;— природа меня не изукрасила наравне с тобою; зато ты и пленяешь знатных барынь, и пленяешь навеки, постоянно, неизменчиво.

Этой насмешки Павел не мог вынести, тем более что он давно подозревал Варфоломея в содействии к его разладу с графинею. Он в ярости кинулся на соперника, хотел убить его на месте; но в эту минуту он почувствовал себя ударенным под ложку; у него дух занялся, и удар, без всякой боли, на миг привел его в беспамятство. Очнувшись, он нашел себя у противной стены комнаты, дверь была затворена, Варфоломея не было, и, как будто из просонок, он вспоминал последние слова его: «Потише, молодой человек, ты *не с своим братом* связался».

Павел дрожал от ужаса и гнева; тысячи мыслей быстро сменялись в голове его. То решался он отыскать Варфоломея хоть на краю света и размозжить ему череп; то хотел идти к старухе и обнаружить ей и Вере все прежние проказы изменника; вспоминал об очаровательной графине, хотел то заколоть ее, то объясниться с нею, не изменяя прежнему решению: последнее согласить, конечно, было трудно. Грудь его стеснилась; он, как полуумный, выбежал во двор, чувствуя в себе признаки воспалительной горячки; бледный, в беспорядке, рыскал он по улицам и верно нашел бы развязку всем сомнениям в глубокой Неве, если б она, к счастию, не была закутана в то время ледяною своей шубою.

Утомилась ли судьба преследовать Павла или хотела только сильнее уязвить его минутным роздыхом в несчастиях, он, воротясь домой, был встречен неожиданным исполнением главного своего желания. В прихожей дожидал его богато одетый слуга графини И..., который вручил ему записку; Павел с трепетом развертывает и читает следующие слова, начертанные слишком ему знакомою рукою графини:

«Злые люди хотели поссорить нас; я всё знаю; если в вас осталась капля любви ко мне, капля сострадания, придите в таком-то часу вечером. Вечно твоя И.».

Как глупы любовники! Павел, пробежав сии магические строки, забыл и дружбу Веры, и неприязнь Варфоломея; весь мир настоящий, прошедший и грядущий стеснился для него в лоскутке бумаги; он прижимает к сердцу, целует его, подносит несколько раз к свету. «Нет!— восклицает он в восторге,— это не обман; я точно, точно счастлив; так не напишет, не может написать никто, кроме ее одной. Но не хочет ли плутовка зазвать и морочить меня, и издеваться надо мною по-прежнему? Нет! клянусь, не бывать этому. «Твоя — вечно твоя», пусть растолкует мне на опыте, что значит это слово. Не то... добрая слава ее теперь в моих руках».

В урочный час наш Павел, пригожий и разряженный, уже на широкой лестнице графини; его без доклада провожают в гостиную, где, к его досаде, собралось уже несколько посетителей, между которыми, однако, не было косоногого. Хозяйка приветствует его сухо, едва говорит с ним; но она недаром на него уставила большие черные глаза свои и томно опустила их: мистическая азбука любящих, непонятная профанам. Гости принимаются за игру; хозяйка, отказываясь, уверяет, что ей приятно садиться близ каждого из игроков поочередно, ибо она надеется ему принести счастие. Все не надивятся ее тонкой вежливости. Немного спустя: «Вы у нас давно не были,— говорит графиня, оборачиваясь к юноше,— замечаете ли некоторые перемены в уборах этой комнаты? Вот, например, занавесы висели сперва на лавровых гирляндах; но мне лучше показалось заменить их стрелами».— «Недостает сердец»,— отвечает Павел полусухо, полувежливо. «Но не в одной гостиной,— продолжает графиня,— есть новые уборы», и вставая с кресел: «Не хотите ли,— говорит она,— заглянуть в диванную; там развешаны привезенные недавно гобелены отличного рисунка». Павел с поклоном идет за ней. Неизъяснимым чувством забилось его сердце, когда он вошел в эту очарованную комнату. Это была вместе зимняя оранжерея и диванная. Миртовые деревья, расставленные вдоль стен, укрощали яркость света канделабров, который, оставляя роскошные диваны в тени за деревьями, тихо разливался на гобеленовые обои, где в лицах являлись, внушая сладострастие, подвиги любви богов баснословных. Против анфилады стояло трюмо, а возле на стене похищение Европы — доказательство власти красоты хоть из кого сделать скотину. У этого трюмо начинается роковое объяснение. Всякому просвещенному известно, что разговор любящих всегда есть самая жестокая

амплификация: итак, перескажу только сущность его. Графиня уверяла, что насмешки ее над дурным французским выговором относились не к Павлу, а к одному его соименнику, что она долго не могла понять причины его отсутствия, что, наконец, Варфоломей ее наставил, и прочее, и прочее. Павел, хотя ему казались странными сведения Варфоломея в таком деле, о котором никто ему не сказывал, и роль миротворца, которую он принял на себя при этом случае, поверил, разумеется, всему; однако упорно притворялся, что ничему не верит. «Какого же еще доказательства хотите вы?» — спросила наконец графиня с нежным нетерпением. Павел, как вежливый юноша, в ответ поцеловал жарко ее руку; она упрямилась, робела, спешила к гостям; он становился на колени и крепко держа руки ее, грозил, что не выпустит, да к этому вприбавок сию же минуту застрелится. Сия тактика имела вожделенный успех — и тихое, дрожащее рукопожатие, с тихим шепотом: «Завтра в 11 часов ночи, на заднее крыльцо», громче пороха и пушек возвестили счастливому Павлу торжество его.

Графиня весьма кстати воротилась в гостиную; между двумя из игроков только что не дошло до драки. «Смотрите,— сказал один графине, запыхавшись от гнева,— я даром проигрываю несколько сот душ, а он...» — «Вы хотите сказать — несколько сот рублей», — прервала она с важностью. «Да, да... я виноват... я ошибся»,— отвечал спорщик, заикаясь и посматривая искоса на юношу. Игроки замяли спор, и всю суматоху как рукой сняло. Павел на сей раз пропустил всё мимо ушей. Волнение души не позволило ему долго пробыть в обществе, он спешил домой предаться отдыху, но сон долго не опускался на его вежды; самая действительность была для него сладким сновиденьем. Распаленной его фантазии бессменно предстояли черные, большие, влажные очи красавицы. Они сопровождали его и во время сна; но сны, от предчувствия ли тайного, от волнения ли крови, всегда кончались чем-то странным. То прогуливался он по зеленой траве; перед ним возвышались два цветка, дивные красками; но лишь только касался он стебля, желая сорвать их, вдруг взвивалась черная, черная змея и обливала цветки ядом. То смотрел он в зеркало прозрачного озера, на дне которого у берега играли две золотые рыбки; но едва опускал он к ним руку, земноводное чудовище, стращая, пробуждало его. То ходил он ночью под благоуханным летним небосклоном, и на высоте сияли неразлучно две яркие звездочки; но не успевал он налюбоваться ими, как зарожда-

лось черное пятно на темном западе и, растянувшись в длинного облачного змея, пожирало звездочки. — Всякий раз, когда такое видение прерывало сон Павла, встревоженная мысль его невольно устремлялась на Варфоломея; но через несколько времени черные глаза снова одерживали верх, покуда новый ужас не прерывал мечты пленительной. Несмотря на всё это, Павел, проспавши до полудня, встал веселее, чем когда-нибудь. Остальные 11 часов дня, как водится, показались ему вечностию. Не успело смеркнуться, как он уже бродил вокруг дома графини; не принимали никого, не зажигали огня в парадных комнатах, только в одном дальнем углу слабо мерцал свет: «Там ждет меня прелестная»,— думал про себя Павел, и заранее душа его утопала в наслаждении.

Протяжно пробило одиннадцать часов на Думской башне, и Павел, любовью окрыленный... Но здесь я прерву картину свою и, в подражание лучшим классическим и романтическим писателям древнего, среднего и новейшего времени, предоставлю вам дополнить ее собственным запасом воображения. Коротко и ясно: Павел думал уже вкусить блаженство... как вдруг постучались тихонько у двери кабинета; графиня в смущении отворяет; доверенная горничная входит с докладом, что на заднее крыльцо пришел человек, которому крайняя нужда видеть молодого господина. Павел сердится, велит сказать, что некогда, колеблется, выходит в прихожую, ему говорят, что незнакомый ушел сию минуту.— Он возвращается к любезной; «Ничто с тобой не разлучит меня»,— говорит он страстно. Но вот стучатся снова, и горничная входит с повторением прежнего.— «Пошлите к черту незнакомца,— кричит Павел, топнув ногою,— или я убью его»; выходит, слышит, что и тот вышел; сбегает по лестнице во двор, но там ничто не колыхнется, и лишь только снег безмолвно валит хлопьями на землю. Павел бранит слуг, запрещает пускать кого бы то ни было, возвращается пламеннее прежнего к встревоженной графине; но прошло несколько минут, и стучатся в третий раз, еще сильнее, продолжительнее. «Нет, полно!— закричал он вне себя от ярости,— я доберусь, что тут за привидение; это какая-нибудь штука».— Вбегая в прихожую, он видит край плаща, который едва успел скрыться за затворяемою дверью; опрометью накидывает он шинель, хватает трость, бежит на двор, и слышит стук калитки, которая лишь только захлопнулась за кем-то. «Стой, стой, кто ты таков?» — кричит вслед ему Павел и, выскочив на улицу, издали ви-

дит высокого мужчину, который как будто останавливается, чтобы поманить его рукою, и скрывается в боковой переулок. Нетерпеливый Павел за ним следует, кажется, нагоняет его; тот снова останавливается у боковой улицы, манит и исчезает. Таким образом юноша следит за незнакомцем из улицы в улицу, из закоулка в закоулок, и наконец находит себя по колена в сугробе, между низенькими домами, на распутии, которого никогда отроду не видывал; а незнакомец пропал безо всякого следа. Павел остолбенел, и признаюсь, никому бы не завидно, пробежав несколько верст, очнуться в снегу в глухую полночь, у черта на куличках. Что делать? идти? — заплутаешься; стучаться у ближних ворот? — не добудишься. К неожиданной радости Павла, проезжают сани. «Ванька!— кричит он,— вези меня домой в такую-то улицу». Везет послушный Ванька невесть по каким местам, скрыпит снег под санями, луна во вкусе Жуковского неверно светит путникам сквозь облака летучие. Но едут долго, долго, всё нет места знакомого; и наконец вовсе выезжают из города. Павлу пришли естественно на мысль все старые рассказы о мертвых телах, находимых на Волковом поле, об извозчиках, которые там режут седоков своих, и т. п. «Куда ты везешь меня?» — спросил он твердым голосом; не было ответа. Тут, при свете луны, он захотел всмотреться в жестяной билет извозчика и, к удивлению, заметил, что на этом билете не было означено ни части, ни квартала, но крупными цифрами странной формы и отлива написан был № 666, число Апокалипсиса, как он позднее вспомнил. Укрепившись в подозрении, что он попал в руки недобрые, наш юноша еще громче повторил прежний вопрос и, не получив отзыва, со всего размаху ударил своей палкою по спине извозчика. Но каков был его ужас, когда этот удар произвел звон костей о кости, когда мнимый извозчик, оборотив голову, показал ему лицо мертвого остова, и когда это лицо, страшно оскалив челюсти, произнесло невнятным голосом: «Потише, молодой человек; ты *не с своим братом* связался». Несчастный юноша только имел силу сотворить знамение креста, от которого давно руки его отвыкли. Тут санки опрокинулись, раздался дикий хохот, пронесся страшный вихрь; экипаж, лошадь, ямщик — всё сравнялось с снегом, и Павел остался один-одинехонек за городскою заставою, еле живой от страха.

На другой день юноша лежал изнеможенный на кровати в своей комнате. Подле него стоял добрый престарелый дядька и, одной рукой держа вялую руку господина, часто

отворачивался, чтобы стереть другой слезу, украдкой навернувшуюся на подслепую зеницу его. «Барин, барин,— говорил он,— недаром докладывал я вашей милости, что не бывает добра от ночной гульбы. Где вы пропадали? что это с вами сделалось?» Павел не слыхал его: он то дикими глазами глядел по нескольку времени в угол, то впадал в дремоту, впросонках дрожал и смеялся, то вскакивал с постели как сумасшедший, звал имена женские, потом опять бросался лицом на подушки. «Бедный Павел Иванович! — думал про себя дядька.— Господь его помилуй, он верно ума лишился», и в порыве добросердечия, улучив первую удобную минуту, побежал за врачом. Врач покачал головою, увидя больного, не узнававшего окружающих, и ощупав лихорадочный пульс его. Наружные признаки противоречили один другому, и по ним ничего нельзя было заключить о болезни; всё подавало повод думать, что ее причина крылась в душе, а не в теле. Больной почти ничего не вспомнил о прошедшем; душа его, казалось, была замучена каким-то ужасным предчувствием. Врач, убежденный верным дядькою, с ним вместе не отходил целый день от одра юноши; к вечеру состояние больного сделалось отчаянно; он метался, плакал, ломал себе руки, говорил о Вере, о Васильевском острове, звал на помощь, к кому и кого, бог весть, хватал шапку, рвался в дверь, и соединенные усилия врача и слуги едва смогли удержать его. Сей ужасный кризис продолжался за полночь; вдруг больной успокоился — ему стало легче; но силы душевные и телесные совершенно были убиты борьбою; он погрузился в мертвый сон, после коего прежний кризис возобновился.

Припадок одержал юношу полные трое суток с переменчивою силою; на третье утро, начиная чувствовать в себе более крепости, он вставал с постели, когда ему сказали, что в прихожей дожидается старая служанка вдовы. Сердце не предвещало ему доброго; он вышел; старушка плакала навзрыд. «Так! еще несчастие!— сказал Павел, подходя к ней,— не мучь меня, голубушка; всё скорее выскажи».— «Барыня приказала долго жить,— отвечала старушка,— а барышне бог весть долго ли жить осталось».— «Как? Вера? что?» — «Не теряйте слов, молодой барин: барышне нужна помощь. Я прибрела пешком; коли у вас доброе сердце, едемте к ней сию минуту: она в доме священника церкви Андрея Первозванного».— «В доме священника? зачем?» — «Бога ради, одевайтесь, всё после узнаете».— Павел окутался, и поскакали на Васильевский.

Когда он в последний раз видел Веру и мать ее, вдова уже давно страдала болезнию, которая при ее преклонных летах оставляла не много надежды на исцеление. Слишком бедная, чтобы звать врача, она пользовалась единственно советами Варфоломея, который, кроме других сведений, хвалился некоторым знакомством с медициною. Деятельность его была неутомима: он успевал утешать Веру, ходить за больною, помогать служанке, бегать за лекарствами, которые приносил иногда с такой скоростию, что Вера дивилась, где он мог найти такую близкую аптеку. Лекарства, доставленные им, хотя и не всегда помогали больной, но постоянно придавали ей веселости. И странно, что чем ближе подходила она к гробу, тем неотлучнее пребывали ее мысли прикованы к житейскому. Она спала и видела о своем выздоровлении; о том, как ее дети Варфоломей и Вера пойдут под венец и начнут жить да поживать благополучно, боялась, не будет ли этот домик тесен для будущей семьи, удастся ли найти другой поближе к городу, и проч. и проч. Мутная невыразительность кончины была в ее глазах, когда она, подозвав будущих молодых к своей постели, с какой-то нелепою улыбкою говорила: «Не стыдись, моя Вера, поцелуйся с женихом своим; я боюсь ослепнуть, и тогда уже не удастся мне смотреть на ваше счастие». Между тем рука смерти всё более и более тяготела над старухою: зрение и память час от часу тупели. В Варфоломее не заметно было горести; может быть, самые хлопоты, беспрерывная беготня помогали ему рассеяться. Веру же тревожили размышления об матери, как и о самой себе. Какой невесте не бывает страшно перед браком? Однако она всячески старалась успокоить себя. «Я согрешила перед богом,— думала девица;— не знаю, почему я сперва почла Варфоломея за лукавого, за злого человека. Но он гораздо лучше Павла; посмотрите, как он старается о матушке: сам себя бедный не жалеет — стало, он не злой человек». Вдруг мысли ее туманились. «Он крутого нрава,— говорила она себе,— когда чего не хочет и скажешь ему: Варфоломей, бога ради это сделайте,— он задрожит и побледнеет. Но,— продолжала Вера, мизинцем стирая со щеки слезинку,— ведь я сама не ангел; у всякого свой крест и свои пороки: я буду исправлять его, а он меня».

Тут приходили ей на ум новые сомнения: «Он, кажется, богат; честными ли он средствами добыл себе деньги? но это я выспрошу, ведь он меня любит». Так утешала себя добрая, невинная Вера; а старухе между тем всё хуже да ху-

же. Вера сообщила свой страх Варфоломею, спрашивала даже, не нужно ли призвать духовника; но он горячился и сурово отвечал: «Хотите ускорить кончину матушки? это лучший способ. Болезнь ее опасна, но еще не отчаянна. Что ее поддерживает? надежда исцелиться. А призовем попа, так отнимем последнюю надежду». Робкая Вера соглашалась, побеждая тайный голос души; но в этот день,— и заметьте, это было на другой день рокового свидания Павла с прелестной графинею,— опасность слишком ясно поразила вещее сердце дочери. Отозвав Варфоломея, она ему сказала решительным голосом: «Царем небесным заклинаю вас, не оставьте матушку умереть без покаяния: бог знает, проживет ли она до завтра» — и упала на стул, заливаясь слезами. Что происходило тогда в Варфоломее? глаза его катались, на лбу проступал пот, он силился что-то сказать и не мог выговорить. «Девичье малодушие, — пробормотал он напоследок.— Ты ничему не веришь... вы, сударыня, пе верите моему знанию медицины... Постойте... у меня есть знакомый врач, который больше меня знает... жаль, далеко живет он». Тут он схватил руку девицы и, подведя ее стремительно к окну, показал на небо, не поднимая глаз своих: «Смотрите; там еще не явится первая звезда, как я буду назад, и тогда решимся; обещаете ли только не звать духовника до моего прихода?» — «Обещаю, обещаю». Тогда послышался протяжный вздох из спальней.— «Спешите,— закричала Вера, бросаясь к дверям ее, потом оборотилась, взглянула еще раз с умилением грусти неописанной на вкопанного и, махнув ему рукою, повторила:— Спешите ради меня, ради бога».— Варфоломей скрылся.

Мало-помалу зимний небосклон окутывался тучами, а в больной жизнь и тление выступали впоследние на смертный поединок. Снег начинал падать; порывы летучего ветра заставляли трещать оконницы. При малейшем хрусте снега Вера подбегала к окну смотреть, не Варфоломей ли возвращается; но лишь кошка мяукала, галки клевались на воротах, и калитку ветер отворял и захлопывал. Ночь с своей черной пеленою приспела преждевременно; Варфоломея нет как нет, и на своде небесном не блещет ни одной звезды. Вера решилась послать по духовника старую служанку; долго не возвращалась она, и не мудрено, потому что не было ни одной церкви ближе Андрея Первозванного. Но хлопнула калитка, и вместо кухарки явился Варфоломей, бледный и расстроенный. «Что? надежды нет?» — прошептала Вера. — «Мало, — сказал он глухим голосом; — я был

у врача; далеко живет он, много знает...» — «Да что же говорит он, бога ради?» — «Что до того нужды?.. за попом теперь посылать время. А! вижу; вы послали уже... туда и дорога!» — сказал он с какой-то сухостью, в которой обнаруживалось отчаяние.

Чрез несколько времени, уже в глухую ночь, старая служанка прибрела с вестью, что священника нет дома, но когда воротится, ему скажут и он тотчас придет к умирающей. Об этом решились предварить ее. «С умом ли вы, дети,— сказала она слабо;— неужто я так хвора? Вера! что ты хныкаешь? Вынеси лампаду; сон меня поправит». Дочь лобызала руку матери, а Варфоломей во всё время безмолвствовал поодаль, уставив на больную глаза, которые, когда лампада роняла на них свое мерцание, светились как уголья.

Вера с кухаркою стояли на коленях и молились. Варфоломей, ломая себе руки, беспрестанно выходил в сени, жалуясь на жар в голове. Чрез полчаса он вошел в спальню и как сумасшедший выбежал оттуда с вестью «Всё кончено!» Не стану описывать, что в сию минуту почувствовала Вера! Однако сила ее духа была необычайная. «Боже! это воля твоя!» — произнесла она, поднимая руки к небу; хотела идти; но телесные силы изменили, она полумертвая опустилась на кресла, и не стало бы несчастной, если б внезапный поток слез не облегчил ее стесненной груди. Между тем старуха, воя, обмыла труп, поставила свечу у изголовья и пошла за иконою; но тут же от усталости ли, от иной ли причины, забылась сном неодолимым. В эту минуту Варфоломей подошел к Вере. У самого беса растаяло бы сердце: так она была прелестна в своей горести. «Ты меня не любишь,— воскликнул он страстно;— я с твоею матерью потерял единственную опору в твоем сердце». Девицу испугало его отчаяние. «Нет, я тебя люблю»,— отвечала она боязливо. Он упал к ногам ее: «Клянись,— говорил он,— клянись, что ты моя, что любишь меня более души своей». Вера никогда не ожидала б такой страсти в этом холодном человеке: «Варфоломей, Варфоломей, — сказала она с робкою нежностию,— забудь грешные мысли в этот страшный час; я поклянусь, когда схороним матушку, когда священник в храме божием нас благословит...» Варфоломей не выслушал ее и, как исступленный, ну молоть околесную: уверял, что это всё пустые обряды, что любящим не нужно их, звал ее с собою в какое-то дальнее отечество, обещал там осыпать блеском княжеским, обнимал ее колена со слезами. Он говорил с такою страстью, с таким жаром, что все чудеса, о которых

рассказывал, в ту минуту казались вероятными. Вера уже чувствовала твердость свою скудеющей, опасность пробудила ее силу душевную; она вырвалась и побежала к дверям спальней, где думала найти служанку; Варфоломей заступил ей дорогу и сказал уже с притворною холодностью, с глазами свирепыми: «Послушай, Вера, не упрямься; тебе не добудиться ни служанки, ни матери: никакая сила не защитит тебя от моей власти».— «Бог защитник невинных»,— закричала бедняжка, в отчаянии бросаясь на колени пред распятием. Варфоломей остолбенел, его лицо изобразило бессильную злобу. «Если так,— возразил он, кусая себе губы,— если так... мне, разумеется, с тобою делать нечего; но я заставлю твою мать сделать тебя послушною».— «Разве она в твоей власти?» — спросила девица. «Посмотри»,— отвечал он, уставивши глаза на полурастворенную дверь спальней, и Вере привиделось, будто две струи огня текут из его глаз и будто покойница, при мерцании свечи нагоревшей, приподнимает голову с мукою неописанной и иссохшею рукою машет ей к Варфоломею.— Тут Вера увидела, с кем имеет дело. «Да воскреснет бог! и ты исчезни, окаянный»,— вскрикнула она, собрав всю силу духа, и упала без памяти.

В этот миг словно пушечный выстрел пробудил спящую служанку. Она очнулась и в страхе увидела двери отворенными настежь, комнату в дыму и синее пламя, разбегавшееся по зеркалу и гардинам, которые покойница получила в подарок от Варфоломея. Первое ее движение было схватить кувшин воды, в углу стоявший, и выплеснуть на поломя; но огонь заклокотал с удвоенною яростию и опалил седые волосы кухарки. Тут она без памяти вбежала в другую комнату, с криком: «Пожар, пожар!» Увидя свою барышню на полу без чувства, схватила ее в охапку и, вероятно, получив от страха подкрепление своим дряхлым силам, вытащила ее на мост за ворота. Близкого жилья не было, помощи искать негде; пока она оттирала снегом виски полумертвой, пламя показалось из окон, из труб и над крышею. На зарево прискакала команда полицейская с ведрами, ухватами: ибо заливные трубы еще не были тогда в общем употреблении. Сбежалась толпа зрителей, и в числе их благочинный церкви Андрея Первозванного, который шел с дарами посетить умиравшую. Он не был в особенных ладах с покойницей и считал ее за дурную женщину; но он любил Веру, о которой слыхал много хорошего от дочери, и, соболезнуя несчастию, обещал деньги пожарным служи-

телям, если успеют вытащить тело, чтобы доставить покойнице хоть погребение христианское. Но не тут-то было. Огонь, разносимый вьюгою, презирал всё действие воды, все усилия человеческие; один полицейский капрал из молодцов задумал было ворваться в комнаты, дабы вынести труп, но пробыл минуту и выбежал в ужасе; он рассказывал, будто успел уже добраться до спальней и только что хотел подойти к одру умершей, как вдруг спрыгнула сверху образина сатанинская, часть потолка с ужасным треском провалилась, и он только особенною милостию Николы Чудотворца уберег на плечах свою головушку, за что обещал тут же поставить полтинную перед его образом. Между собою зрители толковали, что он трус и упавшее бревно показалось ему бесом; но капрал остался тверд в своем убеждении и до конца жизни проповедовал в шинках, что на своем веку лицезрел во плоти нечистого со хвостом, рогами и большим горбатым носом, которым он раздувал поломя, как мехами в кузнице. «Нет, братцы, не приведи вас бог увидеть окаянного». Сим красноречивым обетом наш гений всегда заключал повесть свою, и хозяин, в награду его смелости и глубокого впечатления, произведенного рассказом на просвещенных слушателей, даром подносил ему полную стопу чистейшего пенника.

Итак, невзирая на все старания команды, которой деятельным усилиям в сем случае потомство должно, впрочем, отдать полную справедливость, уединенный домик Васильевского острова сгорел до основания, и место, где стоял он, не знаю почему, до сих пор остается незастроенным. Престарелая служанка, при пособии благочинного с причетом приходским, воскресив Веру из обморока, нашла с нею убежище в доме сего достойного пастыря. Пожар случился столь нечаянно и все обстоятельства оного были так странны, что полиция нашла нужным о причинах его учинить подробное исследование. Но как подозрение не могло падать на старую служанку, а еще менее на Веру, то зажигателем ясно оказался Варфоломей. Описали его приметы, искали его явным и тайным образом не только во всех кварталах, но и во всем уезде Петербургском; но всё было напрасно: не нашли и следов его, что было тем более удивительно, что зимою нет судоходства и, следственно, ему никакой не было возможности тихонько отплыть на иностранном корабле в чужие краи. Неизвестно, до чего могло бы довести долгое исследование; но благочинный, любя Веру душевно и не зная, до какой глубины могли простирать-

ся ее связи с этим человеком, благоразумно употребил свое влияние, дабы потушить дело и не дать ему большей гласности.

Таким образом Павел, за которым послали на третий день, узнав от старухи дорогою, что было ей известно из цепи несчастных приключений, нашел юную свою родственницу больную в жилище отца Ионна. Гостеприимное семейство пригласило его остаться там до ее выздоровления. Ветреный молодой человек испытал в короткое время столько душевных ударов, и сокровенные причины их оставались в таком ужасном мраке, что сие произвело действие неизгладимое на его воображение и характер. Он остепенился и нередко впадал в глубокую задумчивость. Он забывал и прелести таинственной графини, и буйные веселия юности, сопряженные с такими пагубными последствиями. Одно его моление к небу состояло в том, чтобы Вера исцелилась и он мог служить для нее образцом верного супруга. В минуты уединенного свидания он решался предлагать ей сии мысли; но она, впрочем оказывая ему сестрину доверчивость, с неизменной твердостью отвергала их. «Ты молод, Павел,— говорила она,— а я отцвела мой век; скоро примет меня могила, и там бог милосердый, может быть, пошлет мне прощение и спокойствие». Эта мысль ни на час не оставляла Веру; притом ее, кажется, мучило тайное убеждение, что она своею слабостью допустила злодея совершить погибель матери в сей, а может быть — кто знает?— и в будущей жизни. Никакое врачевство не могло возвратить ей ни веселости, ни здоровья. Поблекла свежесть ланит ее — небесные глаза, утратив прежнюю живость, еще пленяли томным выражением грусти, угнетавшей душу ее прекрасную. Весна не успела еще украсить луга новою зеленью, когда сей цветок, обещавший пышное развитие, сокрылся невозвратно в лоне природы всеприемлющей.

Надобно догадываться, что Вера пред кончиною, кроме духовного отца, поверила и Павлу те обстоятельства последнего года своей жизни, которые могли быть ей одной известными. Когда она скончалась, юноша не плакал, не обнаруживал печали. Но вскоре потом он оставил столицу и, сопровождаемый престарелым слугою, поселился в дальней вотчине. Там во всем околотке слыл он чудаком и в самом деле показывал признаки помешательства. Не только соседи, но самые крестьяне и слуги, после его приезда, ни разу не видали его. Он отрастил себе бороду и волосы, не выходил по три месяца из кабинета, большую часть приказаний

отдавал письменно, и то еще, когда положат на его стол бумагу к подписанию, случалось, что он вместо своего имени возвратит ее с чужою, странною подписью. Женщин пе мог он видеть, а при внезапном появлении высокого белокурого человека с серыми глазами приходил в судороги, в бешенство. Однажды, шагая по своему обыкновению по комнате, он подошел к двери в то самое время, как Лаврентий отворил ее неожиданно, чтоб доложить ему о чем-то. Павел задрожал: «Ты — не я уморил ее»,— сказал он отрывисто и через неделю просил прощенья у старого дядьки, ибо вытолкнул его так неосторожно, что тот едва не проломил себе затылок о простенок. «После этого,— говорил Лаврентий,— я всегда прежде постучусь, а потом уже войду с докладом к его милости».

Павел умер, далеко не дожив до старости. Повесть его и Веры известна некоторым лицам среднего класса в Петербурге, чрез которых дошла и до меня по изустному преданию. Впрочем, почтенные читатели, вы лучше меня рассудите, можно ли ей поверить и откуда у чертей эта охота вмешиваться в людские дела, когда никто не просит их?



В.Ф. Одоевский



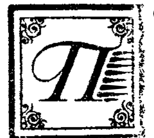
1803–1869



ИМПРОВИЗАТОР



Es möchte kein Hund so länger leben!
D'rum hab' ich mich der Magie ergeben...
*Göthe**



По зале раздавались громкие рукоплескания. Успех импровизатора превзошел ожидания слушателей и собственные его ожидания. Едва назначали ему предмет,— и высокие мысли, трогательные чувства, в одежде полнозвучных метров, вырывались из уст его, как фантасмагорические видения из волшебного жертвенника. Художник не задумывался ни на минуту: в одно мгновение мысль и зарождалась в голове его, и проходила все периоды своего возрастания, и претворялась в выражения. Разом являлись и замысловатая форма пьесы, и поэтические образы, и щегольской эпитет, и послушная рифма. Этого мало: в одно и то же время ему задавали два и три предмета совершенно различные; он диктовал одно стихотворение, писал другое, импровизировал третье, и каждое было прекрасно в своем роде: одно производило восторг, другое трогало до слез,

---

* Так пес не стал бы жить!..
Вот почему я магии решил предаться...
Гете

третье морило со смеху; а между тем он, казалось, совсем не занимался своею работою, беспрестанно шутил и разговаривал с присутствующими. Все стихии поэтического создания были у него под руками, как будто шашки на шахматной доске, которые он небрежно передвигал, смотря по надобности.

Наконец утомилось и внимание и изумление слушателей; они страдали за импровизатора; но художник был спокоен и холоден,— в нем не заметно было ни малейшей усталости, — но на лице его видно было не высокое наслаждение поэта, довольного своим творением, а лишь простое самодовольство фокусника, проворством удивляющего толпу. С насмешкою смотрел он на слезы, на смех, им производимые; один из всех присутствующих не плакал, не смеялся; один не верил словам своим и с вдохновением обращался как холодный жрец, давно уже привыкший к таинствам храма.

Еще последний слушатель не вышел из залы, как импровизатор бросился к собиравшему деньги при входе и с жадностию Гарпагона принялся считать их. Сбор был весьма значителен. Импровизатор еще от роду не видал столько монеты и был вне себя от радости.

Восторг его был простителен. С самых юных лет жестокая бедность стала сжимать его в своих ледяных объятиях, как статуя спартанского тирана. Не песни, а болезненный стон матери убаюкивали младенческий сон его. В минуту рассвета его понятий не в радужной одежде жизнь явилась ему, но хладный остов нужды неподвижною улыбкой приветствовал его развивающуюся фантазию. Природа была к нему немного щедрее судьбы. Она, правда, наделила его творческим даром, не осудила в поте лица отыскивать выражения для поэтических замыслов. Книгопродавцы и журналисты давали ему некоторую плату за его стихотворения, плату, которая могла бы доставить ему достаточное содержание, если б для каждого из них Киприяно не был принужден употреблять бесконечного времени. В те дни, — редко тусклая мысль, как едва приметная звездочка, зарождалась в его фантазии; но когда и зарождалась, то яснела медленно и долго терялась в тумане; уже после трудов неимоверных достигала она до какого-то неясного образа; здесь начиналась новая работа: выражение отлетало от поэта за мириады миров; он не находил слов, а если и находил, то они не клеились; метр не гнулся; привязчивое местоимение хваталось за каждое слово; долговязый глагол путался между именами; проклятая рифма пряталась между не-

созвучными словами. Каждый стих стоил бедному поэту нескольких изгрызенных перьев, нескольких вырванных волос и обломанных ногтей. Тщетны были его усилия! Часто хотел он бросить ремесло поэта и променять его на самое низкое из ремесл; но насмешливая природа, вместе с творческим даром, дала ему и все причуды поэта: и эту врожденную страсть к независимости, и это непреоборимое отвращение от всякого механического занятия, и эту привычку дожидаться минуты вдохновения, и эту беззаботную неспособность рассчитывать время. Прибавьте к тому всю раздражительность поэта, его природную наклонность к роскоши, к этому английскому приволью, к этому маленькому тиранству, которыми, наперекор обществу, природа любит отличать своего собственного аристократа! Он не мог ни переводить, ни работать на срок или по заказу; и между тем, как его собратия собирали с публики хорошие деньги за какое-нибудь сочинение, случайно возбуждавшее ее любопытство,— он еще не мог решиться приняться за работу. Книгопродавцы перестали ему заказывать; ни один из журналистов не хотел брать его в сотрудники. Деньги, изредка получаемые несчастным за какое-нибудь стихотворение, стоившее ему полугодовой работы, обыкновенно расхватывали заимодавцы, и он снова нуждался в самом необходимом.

В том городе жил доктор, по имени Сегелиель. Лет тридцать назад его многие знали за довольно сведущего человека; но тогда он был беден, имел столь малую практику, что решился оставить медицинское ремесло и пустился в торги. Долго он путешествовал, как говорят, по Индии, и наконец возвратился на родину со слитками золота и множеством драгоценных каменьев, построил огромный дом с обширным парком, завел многочисленную прислугу. С удивлением замечали, что ни лета, ни продолжительное путешествие по знойным климатам не произвели в нем никакой перемены; напротив, он казался моложе, здоровее и свежее прежнего; также не менее удивительным казалось и то, что растения всех климатов уживались в его парке, несмотря на то что за ними почти не было никакого присмотра. Впрочем, в Сегелиеле не было ничего необыкновенного: он был прекрасный, статный человек, хорошего тона, с черными модными бакенбардами; носил просторное, но щегольское платье; принимал к себе лучшее общество, но сам почти никогда не выходил из своего огромного парка; он давал молодым людям денег взаймы, не требуя отдачи; держал славного повара, чудесные вина, любил сидеть долго за обе-

дом, ложиться рано и вставать поздно. Словом, он жил в самой аристократической, роскошной праздности. Между тем он не оставлял и своего врачебного искусства, хотя принимался за него нехотя, как человек, который не любил беспокоить себя; но когда принимался, то делал чудеса; какая бы ни была болезнь, смертельная ли рана, последнее ли судорожное движение, — доктор Сегелиель даже не пойдет взглянуть на больного: спросит об нем слова два у родных, как бы для проформы, вынет из ящика какой-то водицы, велит принять больному — и на другой день болезни как не бывало. Он не брал денег за лечение, и его бескорыстие, соединенное с чудным его искусством, могло бы привлечь к нему больных всего мира, если бы за излечение он не назначал престранных условий, как, например: изъявить ему знаки почтения, доходившие до самого подлого унижения; сделать какой-нибудь отвратительный поступок; бросить значительную сумму денег в море; разломать свой дом, оставить свою родину и проч.; носился даже слух, что он иногда требовал такой платы, такой... о которой не сохранило известия целомудренное предание. Эти слухи расхолажали усердие родственников, и с некоторого времени уже никто не прибегал к нему с просьбою; к тому же замечали, что когда просившие не соглашались на предложение доктора, то больной умирал уже непременно; та же участь постигала всякого, кто или заводил тяжбу с доктором, или сказал про него что-нибудь дурное, или просто не понравился ему. От всего этого у доктора Сегелиеля набралось множество врагов: иные стали доискиваться об источнике его неимоверного богатства; медики и аптекари говорили, что он не имеет права лечить непозволенными способами; бо̀льшая часть обвиняли его в величайшей безнравственности, а некоторые даже приписывали ему отравление умерших людей. Общий голос принудил наконец полицию потребовать доктора Сегелиеля к допросу. В доме его сделан был строжайший обыск. Слуги забраны. Доктор Сегелиель согласился на все, без всякого сопротивления, и позволил полицейским делать все, что им было угодно, ни во что не мешался, едва удостаивал их взгляда и только что изредка с презрением улыбался.

В самом деле, в его доме не нашли ничего, кроме золотой посуды, богатых курильниц, покойных мебелей, кресел с подушками и рессорами, раздвижных столов с разными затеями, нескольких окруженных ароматами кроватей, утвержденных на деках музыкальных инструментов,— вроде

кроватей доктора Грема, за позволение провести ночь на которых он некогда брал сотни стерлингов с английских сластолюбцев;— словом, в доме Сегелиеля нашли лишь выдумки богатого человека, любящего чувственные наслаждения, лишь все то, из чего составляется приволье (comfortable) роскошной жизни, но больше ничего, ничего, могущего возбудить малейшее подозрение. Все бумаги его состояли из коммерческих переписок с банкирами и знатнейшими купцами всех частей света, нескольких арабских рукописей и кипы бумаг, сверху донизу исписанных цифрами. Сначала эти последние очень обрадовали полицейских чиновников: они думали найти в них цифрованное письмо; но по внимательном осмотре оказалось, что то были простые черновые счета, накопившиеся, по словам Сегелиеля, от долговременных торговых оборотов, что было весьма вероятно. Вообще на все пункты обвинения доктор Сегелиель отвечал весьма ясно, удовлетворительно и без всякого замешательства; во всех словах его и во всех поступках видна была больше досада на то, что его беспокоят из пустяков, нежели боязнь запутаться в своих ответах. Для объяснения богатства он сослался на свои бумаги, по которым можно было видеть всю историю его торговли; торговля эта, правда, ведена была им с каким-то волшебным успехом, но, впрочем, не заключала в себе ни одного преступного действия; медикам и аптекарям отвечал он, что докторский диплом дает ему право лечить, кого и как он хочет; что он никому не навязывается с своим лечением; что не обязан объявлять составление своего лекарства и что, впрочем, они могут разлагать его лекарство, как им угодно; что, не предлагая никому своих услуг, он был вправе назначать какую ему угодно плату; и что если он часто назначал странные условия, которые всякий был волен принять или не принять, то это для того только, чтоб избавиться от докучливой толпы, нарушавшей его спокойствие — единственную цель его желаний. Наконец, при пункте об отравлении доктор возразил, что, как известно всему городу, он большею частию лечил людей, ему совершенно неизвестных; что никогда не спрашивал ни об имени больного, ни об имени того, кто приходил просить об нем, ни даже о месте его жительства; что больные, когда он отказывался лечить, умирали оттого, что прибегали к нему тогда уже, когда находились при последнем издыхании; наконец, что враги его, вероятно, умирали по естественному ходу вещей; причем он доказал очевидными свидетельствами и доводами, что ни он и никто из

его дома не имел ни малейшего сношения с покойниками. Люди Сегелиеля, допрошенные поодиночке со всеми судейскими хитростями, подтвердили все его показания от слова до слова. Между тем следствие продолжалось; но все, что ни открывали, все говорило в пользу доктора Сегелиеля. Ученый совет, подвергнув химическому разложению Сегелиелево лекарство, по долгом рассуждении объявил, что это славное лекарство было не иное что, как простая речная вода, и что действие, будто бы ею производимое, должно отнести к сказкам или приписать воображению больных. Сведения, собранные о болезнях людей, в смерти которых обвиняли Сегелиеля, показали, что ни один из них не умер скоропостижно; что бо̀льшая часть из них умерли от застарелых или наследственных болезней; наконец, при вскрытии трупов людей, об отравлении которых существовали сильнейшие подозрения, не оказалось и тени отравления, а обнаружились только известные и обыкновенные признаки обыкновенных болезней.

Этот процесс, привлекший многочисленное стечение народа в тот город, долго длился, ибо обвинителями была почти половина его жителей; но наконец, как судьи ни были предупреждены против доктора Сегелиеля, принуждены были единогласно объявить, что обвинения, на него взнесенные, не имели никакого основания, что доктора Сегелиеля должно освободить от суда и от всякого подозрения, а доносчиков подвергнуть взысканию по законам. По произнесении приговора Сегелиель, наблюдавший до тех пор совершенное равнодушие, казалось, ожил; он немедленно внес в суд несомненные доказательства об убытках, понесенных им от сего процесса по его обширной торговле, и просил, чтоб они взысканы были с его обвинителей, с которых, сверх того, требовал удовлетворения за бесчестие, ему нанесенное. Никогда еще не видали в нем такой неутомимой деятельности: казалось, он переродился; исчезла его гордость; он сам ходил от судьи к судье, платил несчетные деньги лучшим стряпчим и рассылал гонцов во все края света; словом, употребил все способы, которые находил и в законах, и в своем богатстве, и в своих связях, для конечного разорения своих обвинителей, всех членов их семейств до последнего, родственников и друзей их. Наконец он достиг своей цели: многие из его обвинителей лишились своих мест,— и с тем вместе единственного пропитания; целые имения нескольких семейств отсуждены были в его владение. Ни просьбы, ни слезы разоренных не трогали его души: он с жестоко-

сердием изгонял их из жилищ, истреблял дотла их домы, заведения; вырывал с корнями деревья и бросал жатву в море. Казалось, и природа и судьба помогали его мщению; враги его, все до одного: их отцы, матери, дети умирали мучительною смертию; — то в семействе являлась заразительная горячка и пожирала всех членов его; то возобновлялись старинные, давно уснувшие болезни; малейший ушиб в младенчестве, бездельное уколотие руки, незначащая простуда — обращались в болезнь смертельную, и скоро самые имена целых семейств были стерты с лица земли. То же было и с теми, которые избегли от наказания законов. Этого мало: поднималась ли буря, восставал ли вихрь, — тучи проходили мимо замка Сегелиелева и разражались над домами и житницами его неприятелей, и многие видали, как в это время Сегелиель выходил на террасу своего парка и весело чокался стаканом с своими друзьями.

Это происшествие навело сначала всеобщий ужас, и хотя Сегелиель, после своего процесса, переселился в город Б..., где снова начал вести столь же роскошную жизнь, как и прежде, но многие из жителей его родины, знавшие подробно все обстоятельства процесса и раздраженные поступками Сегелиеля, не оставили своего плана — погубить. Они обратились к старикам, помнившим еще прежние процессы о чародействе, и, потолковав с ними, составили новый донос, в котором изъясняли, что хотя по существующим законам и нельзя обвинить доктора Сегелиеля, но что нельзя и не видеть во всех его действиях какой-то сверхъестественной силы, и вследствие того просили: придерживаясь к прежним законам о чародействе, снова разыскать все дело. К счастию Сегелиеля, судьи, к которым попалась эта просьба, были люди просвещенные: один из них был известен переводом Локка на отечественный язык; другой — весьма важным сочинением о юриспруденции, к которой он применил Кантову систему; третий оказал значительные услуги атомистической химии. Они не могли удержаться от смеха, читая эту странную просьбу, возвратили ее просителям, как недостойную уважения, а один из них, по добродушию, прибавил к тому изъяснение всех случаев, казавшихся просителям столь чудесными; и — благодаря европейскому просвещению — доктор Сегелиель продолжал вести свою роскошную жизнь, собирать у себя все лучшее общество, лечить на предлагаемых им условиях, а враги его продолжали занемогать и умирать по-прежнему.

К этому страшному человеку решился идти наш буду-

щий импровизатор. Как скоро его впустили, он бросился доктору на колени и сказал: «Господин доктор! Господин Сегелиель! Вы видите пред собою несчастнейшего человека в свете: природа дала мне страсть к стихотворству, но отняла у меня все средства следовать этому влечению. Нет у меня способности мыслить, нет способности выражаться; хочу говорить — слова забываю, хочу писать — еще хуже; не мог же бог осудить меня на такое вечное страдание! Я уверен, что мое несчастие происходит от какой-нибудь болезни, от какой-то нравственной натуги, которую вы можете вылечить».

— Вишь, Адамовы сынки,— сказал доктор (это была его любимая поговорка в веселый час), — Адамовы детки! Все помнят батюшкину привилегию; им бы все без труда доставалось! И получше вас работают на сем свете. Но, впрочем, так уж и быть,— прибавил он, помолчав,— я тебе помогу; да ты ведь знаешь, у меня есть свои условия...

— Какие хотите, господин доктор!— что б вы ни предложили, на все буду согласен; все лучше, нежели умирать ежеминутно.

— И тебя не испугало все, что в вашем городе про меня рассказывают?

— Нет, господин доктор! Хуже того положения, в котором я теперь нахожусь, вы не выдумаете. (Доктор засмеялся.) Я буду с вами откровенен: не одна поэзия, не одно желание славы привели меня к вам; но и другое чувство, более нежное... Будь я половчее на письме, я бы мог обеспечить мое состояние, и тогда бы моя Шарлотта была ко мне благосклоннее... Вы понимаете меня, господин доктор?

— Вот это я люблю,— вскричал Сегелиель,— я, как наша матушка инквизиция, до смерти люблю откровенность и полную ко мне доверенность; беда бывает только тому, кто захочет с нами хитрить. Но ты, я вижу, человек прямой и откровенный; и надобно наградить тебя по достоинству. Итак, мы соглашаемся исполнить твою просьбу и дать тебе способность *производить без труда;* но первым условием нашим будет то, что эта способность никогда тебя не оставит: согласен ли ты на это?

— Вы шутите надо мною, господин Сегелиель!

— Нет, я человек откровенный и не люблю скрывать ничего от людей, мне предающихся. Слушай и пойми меня хорошенько: способность, которую я даю тебе, сделается частию тебя самого; она не оставит тебя ни на минуту

в жизни, с тобою будет расти, созревать и умрет вместе с тобою. Согласен ли ты на это?

— Какое же в том сомнение, г. доктор?

— Хорошо. Другое мое условие состоит в следующем: ты будешь *все видеть, все знать, все понимать.* Согласен ли ты на это?

— Вы, право, шутите, господин доктор! Я не знаю, как благодарить вас... Вместо одного добра вы даете мне два,— как же на это не согласиться!

— Пойми меня хорошенько: ты будешь *все знать, все видеть, все понимать.*

— Вы благодетельнейший из людей, господин Сегелиель!

— Так ты согласен?

— Без сомнения; нужна вам расписка?

— Не нужно! Это было хорошо в то время, когда не существовало между людьми заемных писем; а теперь люди стали хитры; обойдемся и без расписки; сказанного слова так же топором не вырубишь, как и писанного. Ничто в свете, любезный приятель, *ничто* не забывается и не уничтожается.

С этими словами Сегелиель положил одну руку на голову поэта, а другую на его сердце, и самым торжественным голосом проговорил:

«От тайных чар прими ты дар: обо всем размышлять, все на свете читать, говорить и писать, красно и легко, слезно и смешно, стихами и в прозе, в тепле и морозе, наяву и во сне, на столе, на песке, ножом и пером, рукой, языком, смеясь и в слезах, на всех языках...»

Сегелиель сунул в руку поэту какую-то бумагу и поворотил его к дверям.

Когда Киприяно вышел от Сегелиеля, то доктор с хохотом закричал: «Пепе! фризовую шинель!» — «Агу!» — раздалось со всех полок докторской библиотеки, как во 2-м действии «Фрейшюца».

Киприяно принял слова Сегелиеля за приказание камердинеру; но его удивило немного, зачем щеголеватому, роскошному доктору такое странное платье; он заглянул в щелочку — и что же увидел: все книги па полках были в движении; из одной рукописи выскочила цифра 8; из другой арабский алеф, потом греческая дельта; еще, еще — и наконец вся комната наполнилась живыми цифрами и буквами; они судорожно сгибались, вытягивались, раздувались, переплетались своими неловкими ногами, прыгали, падали; неисчислимые точки кружились между ними, как инфузо-

рии в солнечном микроскопе, и старый халдейский полиграф бил такт с такою силою, что рамы звенели в окошках...

Испуганный Киприяно бросился бежать опрометью.

Когда он несколько успокоился, то развернул Сегелиелеву рукопись. Это был огромный свиток, сверху донизу исписанный непонятными цифрами. Но едва Киприяно взглянул на них, как, оживленный сверхъестественною силою, понял значение чудесных письмен. В них были расчислены все силы природы: и систематическая жизнь кристалла, и беззаконная фантазия поэта, и магнитное биение земной оси, и страсти инфузория, и нервная система языков, и прихотливое изменение речи; все высокое и трогательное было подведено под арифметическую прогрессию; непредвиденное разложено в Ньютонов бином; поэтический полет определен циклоидой; слово, рождающееся вместе с мыслию, обращено в логарифмы; невольный порыв души приведен в уравнение. Пред Киприяно лежала вся природа, как остов прекрасной женщины, которую прозектор выварил так искусно, что на ней не осталось ни одной живой жилки.

В одно мгновение высокое таинство зарождения мысли показалось Киприяно делом весьма легким и обыкновенным; чертов мост с китайскими погремушками протянулся для него над бездною, отделяющею мысль от выражения, и Киприяно — заговорил стихами.

В начале сего рассказа мы уже видели чудный успех Киприяно в его новом ремесле. В торжестве, с полным кошельком, но несколько усталый, он возвратился в свою комнату; хочет освежить запекшиеся уста, смотрит: в стакане не вода, а что-то странное: там два газа борются между собою, и мирияды инфузорий плавают между ними; он наливает другой стакан, все то же; бежит к источнику — издали серебром льются студеные волны, — приближается — опять то же, что и в стакане; кровь поднялась в голову бедного импровизатора, и он в отчаянии бросился на траву, думая во сне забыть свою жажду и горе; но едва он прилег, как вдруг под ушами его раздается шум, стук, визг: как будто тысячи молотов бьют об наковальни, как будто шероховатые поршни протираются сквозь груду каменьев, как будто железные грабли цепляются и скользят по гладкой поверхности. Он встает, смотрит: луна освещает его садик, полосатая тень от садовой решетки тихо шевелится на листах кустарника, вблизи муравьи строят свой муравейник, все тихо, спокойно;— прилег снова — снова начинается шум. Киприяно не мог заснуть более; он провел целую ночь не смыкая

глаз. Утром он побежал к своей Шарлотте искать покоя, поверить ей свою радость и горе. Шарлотта уже знала о торжестве своего Киприяно, ожидала его, принарядилась, приправила свои светло-русые волосы, вплела в них розовую ленточку и с невинным кокетством посматривала в зеркало. Киприяно вбегает, бросается к ней, она улыбается, протягивает к нему руку,— вдруг Киприяно останавливается, уставляет глаза на нее...

И в самом деле было любопытно! Сквозь клетчатую перепонку, как сквозь кисею, Киприяно видел, как трехгранная артерия, называемая сердцем, затрепетала в его Шарлотте; как красная кровь покатилась из нее и, достигая до волосных сосудов, производила эту нежную белизну, которою он, бывало, так любовался... Несчастный! В прекрасных, исполненных любви глазах ее он видел лишь какую-то камер-обскуру, сетчатую плеву, каплю отвратительной жидкости; в ее миловидной поступи — лишь механизм рычагов... Несчастный! Он видел и желчный мешочек, и движение пищеприемных снарядов... Несчастный! Для него Шарлотта, этот земной идеал, пред которым молилось его вдохновение, сделалась — анатомическим препаратом!

В ужасе оставил ее Киприяно. В ближнем доме находилось изображение Мадонны, к которой, бывало, прибегал Киприяно в минуты отчаяния, которой гармонический облик успокоивал его страждующую душу; — он прибежал, бросился на колени, умолял; но увы! для него уже не было картины: краски шевелились на ней, и он в творении художника видел — лишь химическое брожение.

Несчастный страдал до неимоверности; все: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание,— все чувства, все нервы его получили микроскопическую способность, и в известном фокусе малейшая пылинка, малейшее насекомое, не существующее для нас, теснило его, гнало из мира; щебетание бабочкина крыла раздирало его ухо; самая гладкая поверхность щекотала его; все в природе разлагалось пред ним, но ничто не соединялось в душе его: он *все видел, все понимал,* но между им и людьми, между им и природою была вечная бездна; ничто в мире не сочувствовало ему.

Хотел ли он в высоком поэтическом произведении забыть самого себя, или в исторических изысканиях набрести на глубокую думу, или отдохнуть умом в стройном философском здании — тщетно: язык его лепетал слова, но мысли его представляли ему совсем другое.

Сквозь тонкую пелену поэтических выражений он видел

все механические подставки создания: он чувствовал, как бесился поэт, сколько раз переламывал он стихи, которые казались невольно вылившимися из сердца; в самом патетическом мгновении, когда, казалось, все внутренние силы поэта напрягались и перо его не успевало за словами, а слова за мыслями,— Киприяно видел, как поэт протягивал руку за «Академическим словарем» и отыскивал эффектное слово; как посреди восхитительного изображения тишины и мира душевного поэт драл за уши капризного ребенка, надоедавшего ему своим криком, и зажимал собственные свои уши от действия женина трещоточного могущества.

Читая историю, Киприяно видел, как утешительные высокие помыслы об общей судьбе человечества, о его постоянном совершенствовании, как глубокомысленные догадки о важных подвигах и характере того или другого народа, которые, казалось, сами выливались из исторических изысканий,— в самом деле держались только искусственным сцеплением сих последних, как это сцепление держалось за сцепление авторов, писавших о том же предмете; это сцепление за искусственное сцепление летописей, а это последнее за ошибку переписчика, на которую, как на иголку, фокусники поставили целое здание.

Вместо того чтоб удивляться стройности философской системы, Киприяно видел, как в философе зародилось прежде всего желание сказать что-нибудь новое; потом попалось ему счастливое, задорное выражение; как к этому выражению он приделал мысль, к этой мысли целую главу, к этой главе книгу, а к книге целую систему; там же, где философ, оставляя свою строгую форму, как бы увлеченный сильным чувством, пускался в блестящее отступление,— там Киприяно видел, что это отступление только служило прикрышкою для среднего термина силлогизма, которого игру слов чувствовал сам философ.

Музыка перестала существовать для Киприяно; в восторженных созвучиях Генделя и Моцарта он видел только воздушное пространство, наполненное бесчисленными шариками, которые один звук отправлял в одну сторону, другой в другую, третий в третью; в раздирающем сердце вопле гобоя, в резком звуке трубы он видел лишь механическое сотрясение; в пении страдивариусов и амати — одни животные жилы, по которым скользили конские волосы.

В представлении оперы он чувствовал лишь мучение сочинения музыки, капельмейстера; слышал, как настраивали инструменты, разучивали роли, словом, ощущал все преле-

сти репетиций; в самых патетических минутах видел бешенство режиссера за кулисами и его споры с статистами и машинистом, крючья, лестницы, веревки, и проч. и проч.

Часто вечером измученный Киприяно выбегал из своего дома на улицу: мимо него мелькали блестящие экипажи; люди с веселыми лицами возвращались от дневных забот под мирный домашний кров; в освещенные окна Киприяно смотрел на картины тихого семейного счастия, на отца и мать, окруженных прыгающими малютками,— но он не имел наслаждения завидовать сему счастию; он видел, как чрез реторту общественных условий и приличий, прав и обязанностей, рассудка и правил нравственности — вырабатывался семейственный яд и прижигал все нервы души каждого из членов семейства; он видел, как нежному, попечительному отцу надоедали его дети; как почтительный сын нетерпеливо ожидал родительской кончины; как страстные супруги, держась рука за руку, помышляли: чем бы поскорее отделаться друг от друга?

Киприяно обезумел. Оставив свое отечество, думая спастись от самого себя, пробежал он разные страны, но везде и всегда по-прежнему продолжал *все видеть* и *все понимать.*

Между тем и коварный дар стихотворства не дремал в Киприяно. Едва на минуту замолкнет его микроскопическая способность, как стихи водою польются из уст его; едва удержит свое холодное вдохновение, как снова вся природа оживет перед ним мертвою жизнию — и без одежды, неприличная, как нагая, но обутая женщина, явится в глаза ему. С каким горем он вспоминал о том сладком страдании, когда, бывало, на него находило редкое вдохновение, когда неясные образы носились перед ним, волновались, сливались друг с другом!.. Вот образы яснеют, яснеют; из другого мира медленно, как долгий поцелуй любви, тянется к нему рой пиитических созданий;— приблизились, от них пышет неземной теплотою, и природа сливается с ними в гармонических звуках — как легко, как свежо на душе! Тщетное, тяжкое воспоминание! Напрасно хотел Киприяно пересилить борьбу между враждебными дарами Сегелиеля: едва незаметное впечатление касалось раздраженных органов страдальца, и снова микроскопизм одолевал его, и несозрелая мысль прорывалась в выражение.

Долго скитался Киприяно из страны в страну; иногда нужда снова заставляла его прибегать к пагубному Сегелиеву дару: дар этот доставлял избыток, а с ним и все вещественные наслаждения жизни; но в каждом из наслажде-

ний был яд, и после каждого нового успеха умножалось его страдание.

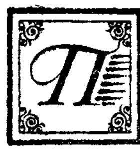
Наконец он решился не употреблять более своего дара, заглушить, задавить его, купить его ценою нужды и бедности. Но уж поздно! От долговременного борения расшаталось здание души его; поломались тонкие связи, которыми соединены таинственные стихии мыслей и чувствований,— и они распались, как распадаются кристаллы, проржавленные едкою кислотою; в душе его не осталось ни мыслей, ни чувствований: остались какие-то фантомы, облеченные в одежду слов, для него самого непонятных. Нищета, голод истерзали его тело, — и долго брел он, питаясь милостынею и сам не зная куда...

Я нашел Киприяно в деревне одного степного помещика; там исправлял он должность — шута. В фризовой шипели, подпоясанный красным платком, он беспрестанно говорил стихи на каком-то языке, смешанном из всех языков... Он сам рассказывал мне свою историю и горько жаловался на свою бедность, но еще больше на то, что никто его не понимает; что бьют его, когда он, в пылу поэтического восторга, за недостатком бумаги, изрежет столы своими стихами; а еще более на то, что все смеются над его единственным, сладким воспоминанием, которого не мог истребить враждебный дар Сегелиеля, — над его первыми стихами к Шарлотте.



OPERE DEL CAVALIERE GIAMBATTISTA PIRANESI*





еред отъездом мы пошли проститься с одним из наших родственников, человеком пожилым, степенным, всеми уважаемым: у него во всю его жизнь была только одна страсть, про которую покойница-жена рассказывала таким образом:

— Вот, примером сказать, Алексей Степаныч, уж чем не человек, и добрый муж, и добрый отец, и хозяин — все бы хорошо, если б не его несчастная слабость...

Тут тетушка останавливалась. Незнакомый часто спрашивал:

— Да что, уж не запóем ли, матушка? — и готовился предложить лекарство; но выходило на деле, что эта слабость — была лишь *библиомания.* Правда, эта страсть в дяде была очень сильна; но она была, кажется, единственное окошко, чрез которое душа его заглядывала в мир поэтический; во всем прочем старик был — дядя, как дядя, курил, играл в вист по целым дням и с наслаждением предавался северному равнодушию. Но лишь доходило дело до книг, старик пе-

* Труды кавалера Джиамбаттисты Пиранези *(итал.).*

рерождался. Узнав о цели нашего путешествия, он улыбнулся и сказал:

— Молодость! молодость! Романтизм да и только! Что бы обернуться вокруг себя? уверяю вас, не ездя далеко, вы бы нашли доволно материалов.

— Мы не прочь от этого,— отвечал один из нас,— когда нам удастся посмотреть на других, тогда, может быть, мы доберемся и до себя; но начать с чужих, кажется, учтивее и скромнее. Сверх того, те люди, которых мы имеем в виду, принадлежат всем народам вместе, многие из наших или живы, или еще не совсем умерли: чего доброго — еще их родные обидятся... Не подражать же нам тем господам, которые заживо пекутся о прославлении себя и друзей своих, в твердой уверенности, что по их смерти никто о том не позаботится.

— Правда, правда!— отвечал старик,— уж эти родные! От них, во-первых, ничего не добьешься, а во-вторых, для них замечательный человек не иное что, как дядя, двоюродный братец, и прочее тому подобное. Ступайте, молодые люди, померьте землю: это здорово для души и для тела. Я сам в молодости ездил за море отыскивать редкие книги, которые здесь можно купить в половину дешевле. Кстати о библиографии. Не подумайте, чтоб она состояла из одних реестров книг и из переплетов; она доставляет иногда совсем неожиданные наслаждения. Хотите ль, я вам расскажу мою встречу с одним человеком в вашем роде?— Посмотрите, не попадет ли он в первую главу вашего путешествия!

Мы изъявили готовность, которую рекомендуем нашим читателям, и старик продолжал:

— Вы, может быть, видали карикатуру, которой сцена в Неаполе. На открытом воздухе, под изодранным навесом, книжная лавочка; кучи старых книг, старых гравюр; наверху Мадонна; вдали Везувий; перед лавочкой капуцин и молодой человек в большой соломенной шляпе, у которого маленький лазарони искусно вытягивает из кармана платок. Не знаю, как подсмотрел эту сцену проклятый живописец, но только этот молодой человек — я; я узнаю мой кафтан и мою соломенную шляпу; у меня в этот день украли платок, и даже на лице моем должно было существовать то же глупое выражение. Дело в том, что тогда денег у меня было немного, и их далеко не доставало для удовлетворения моей страсти к старым книгам. К тому же я, как все библиофилы, был скуп до чрезвычайности. Это обстоятельство заставляло меня избегать публичных аукционов, где, как в карточной

игре, пылкий библиофил может в пух разориться; но зато я со всеусердием посещал маленькую лавочку, в которой издерживал немного, но которую зато имел удовольствие перерывать всю от начала до конца. Вы, может быть, не испытывали восторгов библиомании: это одна из самых сильных страстей, когда вы дадите ей волю; и я совершенно понимаю того немецкого пастора, которого библиомания довела до смертоубийства. Я еще недавно,— хотя старость умерщвляет все страсти, даже библиоманию,— готов был убить одного моего приятеля, который прехладнокровно, как будто в библиотеке для чтения, разрезал у меня в эльзевире единственный листок, служивший доказательством, что в этом экземпляре полные поля*, а он, вандал, еще стал удивляться моей досаде. До сих пор я не перестаю посещать менял, знаю наизусть все их поверья, предрассудки и уловки, и до сих пор эти минуты считаю если не самыми счастливыми, то по крайней мере приятнейшими в моей жизни. Вы входите: тотчас радушный хозяин снимает шляпу и со всею купеческою щедростию предлагает вам и романы Жанлис, и прошлогодние альманахи, и *Скотский Лечебник*. Но вам стоит только произнести одно слово, и оно тотчас укротит его докучливый энтузиазм; спросите только: «Где медицинские книги?» — и хозяин наденет шляпу, покажет вам запыленный угол, наполненный книгами в пергаментных переплетах, и спокойно усядется дочитывать академические ведомости прошедшего месяца. Здесь нужно заметить для вас, молодых людей, что еще во многих наших книжных лавочках всякая книга, в пергаментном переплете и с латинским заглавием, имеет право называться медицинскою; и потому можете судить сами, какое в них раздолье для библиографа: между *«Наукою о бабичьем деле, на пять частей разделенной и рисунками снабденной», Нестора Максимовича Амбодика,* и «Bonati Thesaurus medico-practicus undique collectus»** вам попадется маленькая книжонка, изорванная, замаранная, запыленная; смотрите,— это: «Advis fidel aux veritables Hollandais touchant ce qui s'est passé dans les villages de Bodegrave et Swammerdam». 1673***,— как занимательно!

* Известно, что для библиоманов ширина полей играет важную роль. Есть даже особенный инструмент для измерения их, и несколько линий больше или меньше часто увеличивают или уменьшают цену книги на целую половину. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

** «Полный медико-практический словарь Бонатуса» *(лат.)*.

*** «Достоверный отчет о природных голландцах, касающийся происшедшего в деревнях Бодеграве и Сваммердам» *(франц.)*.

Но это никак эльзевир! эльзевир! имя, приводящее в сладкий трепет всю нервную систему библиофила... Вы сваливаете несколько пожелтевших «Hortus sanitatis», «Jardin de dévotion», «Les Fleurs de bien dire, recueillies aux cabinets des plus rares ésprits pour exprimer les passions amoureuses de l'un et de l'autre sexe par forme de dictionnaire»*,— и вам попадается латинская книжка без переплета и без начала; развертываете: как будто похоже на Виргилия,— но что слово, то ошибка!.. Неужели в самом деле? не мечта ли обманывает вас? неужели это знаменитое издание 1514 года: «Virgilius, ex recensione Naugerii»?** И вы не достойны назваться библиофилом, если у вас сердце не выпрыгнет от радости, когда, дошедши до конца, вы увидите четыре полные страницы опечаток, верный признак, что это именно то самое редкое, драгоценное издание Альдов, перло книгохранилищ, которого большую часть экземпляров истребил сам издатель, в досаде на опечатки.

В Неаполе я мало находил случаев для удовлетворения своей страсти, и потому можете себе представить, с каким изумлением, проходя по Piazza Nova***, увидел груды пергаменов; эту-то минуту библиоманического оцепенения и поймал мой незваный портретист... Как бы то ни было, я со всею хитростию библиофила равнодушно приблизился к лавочке и, перебирая со скрытым нетерпением старые молитвенники, сначала не заметил, что в другом углу к большому фолианту подошла фигура в старинном французском кафтане, в напудренном парике, под которым болтался пучок, тщательно свитый. Не знаю, что заставило нас обоих обернуться,— в этой фигуре я узнал чудака, который всегда в одинаковом костюме с важностию прохаживался по Неаполю и при каждой встрече, особенно с дамами, с улыбкою приподнимал свою изношенную шляпу корабликом. Давно уже видал я этого оригинала и весьма был рад случаю свести с ним знакомство. Я посмотрел на развернутую перед ним книгу: это было собрание каких-то плохо перепечатанных архитектурных гравюр. Оригинал рассматривал их с большим вниманием, мерил пальцами намалеванные колонны, приставлял ко лбу перст и погружался в глубокое размышление.

---

* «Сад здравия», «Сад благочестия», «Цветы красноречия, выбранные в форме словаря из библиотек лучших авторов для выражения любовных страстей лиц обоего пола» *(франц.)*.

** Вергилий, изданный Наугерием *(лат.)*.

*** Новая площадь *(итал.)*.

«Он, видно, архитектор,— подумал я,— чтоб полюбиться ему, притворюсь любителем архитектуры». При этих словах глаза мои обратились на собрание огромных фолиантов, на которых выставлено было: «Opere del Cavaliere Giambattista Piranesi». «Прекрасно!» — подумал я, взял один том, развернул его,— но бывшие в нем проекты колоссальных зданий, из которых для построения каждого надобно бы миллионы людей, миллионы червонцев и столетия,— эти иссеченные скалы, взнесенные на вершины гор, эти реки, обращенные в фонтаны,— все это так привлекло меня, что я на минуту забыл о моем чудаке. Более всего поразил меня один том, почти с начала до конца наполненный изображениями темниц разного рода; бесконечные своды, бездонные пещеры, замки, цепи, поросшие травою степы — и, для украшения, всевозможные казни и пытки, которые когда-либо изобретало преступное воображение человека... Холод пробежал по моим жилам, и я невольно закрыл книгу. Между тем, заметив, что оригинал нимало не удостоивает внимания зодческий энтузиазм мой, я решился обратиться к нему с вопросом:

— Вы, конечно, охотник до архитектуры?— сказал я.

— До архитектуры?— повторил он, как бы ужаснувшись.— Да,— промолвил он, взглянув с улыбкой презрения на мой изношенный кафтан,— я большой до нее охотник!— и замолчал.

«Только-то?— подумал я,— этого мало».

— В таком случае,— сказал я, снова раскрывая один из томов Пиранези,— посмотрите лучше на эти прекрасные фантазии, а не на лубочные картинки, которые лежат перед вами.

Он подошел ко мне нехотя, с видом человека, досадующего, что ему мешают заниматься делом, но едва взглянул на раскрытую передо мной книгу, как с ужасом отскочил от меня, замахал руками и закричал:

— Бога ради, закройте, закройте эту негодную, эту ужасную книгу!

Это мне показалось довольно любопытно.

— Я не могу надивиться вашему отвращению от такого превосходного произведения; мне оно так нравится, что я сей же час куплю его,— и с сими словами я вынул кошелек с деньгами.

— Деньги!— проговорил мой чудак этим звучным шепотом, о котором мне недавно напомнил несравненный Каратыгин в «Жизни Игрока».— У вас есть деньги!— повторил он и затрясся всем телом.

Признаюсь, это восклицание архитектора несколько расхолодило мое желание войти с ним в тесную дружбу; но любопытство превозмогло.

— Разве вы нуждаетесь в деньгах?— спросил я.

— Я? Очень нуждаюсь!— проговорил архитектор,— и очень, очень давно нуждаюсь,— прибавил он, ударяя на каждое слово.

— А много ли вам надобно?— спросил я с чувством.— Может, я и могу помочь вам.

— На первый случай мне нужно безделицу — сущую безделицу, десять миллионов червонцев.

— На что́ же так много? — спросил я с удивлением.

— Чтобы соединить сводом Этну с Везувием, для триумфальных ворот, которыми начинается парк проектированного мною замка,— отвечал он, как будто ни в чем не бывало.

Я едва мог удержаться от смеха.

— Отчего же,— возразил я,— вы, человек с такими колоссальными идеями,— вы приняли с отвращением произведения зодчего, который, по своим идеям, хоть несколько приближается к вам?

— Приближается?— воскликнул незнакомец.— Приближается! Да что́ вы ко мне пристаете с этой проклятою книгою, когда я сам сочинитель ее?

— Нет, это уж слишком!— отвечал я. С этими словами взял я лежавший возле «Исторический словарь» и показал ему страницу, на которой было написано: «Жиамбатиста Пиранезе, знаменитый архитектор... умер в 1778...»

— Это вздор! это ложь!— закричал мой архитектор.— Ах, я был бы счастлив, если б это была правда! Но я живу, к несчастию моему живу,— и эта проклятая книга мешает мне умереть.

Любопытство мое час от часу возрастало.

— Объясните мне эту странность,— сказал я ему,— поверьте мне свое горе: повторяю, что я, может быть, и могу помочь вам.

Лицо старика прояснилось; он взял меня за руку.

— Здесь не место говорить об этом; нас могут подслушать люди, которые в состоянии повредить мне. О! я знаю людей... Пойдемте со мною; я дорогой расскажу вам мою страшную историю.

Мы вышли.

— Так, сударь,— продолжал старик,— вы видите во мне знаменитого и злополучного Пиранези. Я родился человеком с талантом... что я говорю? теперь запираться уже поздно,—

я родился с гением необыкновенным. Страсть к зодчеству развилась во мне с младенчества, и великий Микель-Анджело, поставивший Пантеон на так называемую огромную церковь Св. Петра в Риме, в старости был моим учителем. Он восхищался моими планами и проектами зданий, и когда мне исполнилось двадцать лет, великий мастер отпустил меня от себя, сказав: «Если ты останешься долее у меня, то будешь только моим подражателем; ступай, прокладывай себе новый путь, и ты увековечишь свое имя без моих стараний». Я повиновался, и с этой минуты начались мои несчастия. Деньги становились редки. Я нигде не мог найти работы; тщетно представлял я мои проекты и римскому императору, и королю французскому, и папам, и кардиналам: все меня выслушивали, все восхищались, все одобряли меня, ибо страсть к искусству, возженная покровителем Микель-Анджело, еще тлелась в Европе. Меня берегли как человека, владеющего силою приковывать неславные имена к славным памятникам; но когда доходило дело до постройки, тогда начинали откладывать год за годом: «Вот поправятся финансы, вот корабли принесут заморское золото»,— тщетно! Я употреблял все происки, все ласкательства, недостойные гения,— тщетно! я сам пугался, видя, до какого унижения доходила высокая душа моя,— тщетно! тщетно! Время проходило, начатые здания оканчивались, соперники мои снискивали бессмертие, а я — скитался от двора к двору, от передней к передней, с моим портфелем, который напрасно час от часу более и более наполнялся прекрасными и неисполнимыми проектами. Рассказать ли вам, что я чувствовал, входя в богатые чертоги с новою надеждою в сердце и выходя с новым отчаянием?— Книга моих темниц содержит в себе изображение сотой доли того, что происходило в душе моей. В этих вертепах страдал мой гений; эти цепи глодал я, забытый неблагодарным человечеством... Адское наслаждение было мне изобретать терзания, зарождавшиеся в озлобленном сердце, обращать страдания духа в страдание тела,— но это было мое единственное наслаждение, единственный отдых.

Чувствуя приближение старости и помышляя о том, что если бы кто и захотел поручить мне какую-либо постройку, то недостало бы жизни моей на ее окончание, я решился напечатать свои проекты, на стыд моим современникам и чтобы показать потомству, какого человека они не умели ценить. С усердием принялся я за эту работу, гравировал день и ночь, и проекты мои расходились по свету, возбуждая то смех, то удивление. Но со мной сталось совсем другое. Слу-

шайте и удивляйтесь... Я узнал теперь горьким опытом, что в каждом произведении, выходящем из головы художника, зарождается дух-мучитель; каждое здание, каждая картина, каждая черта, невзначай проведенная по холсту или бумаге, служит жилищем такому духу. Эти духи свойства злого: они любят жить, любят множиться и терзать своего творца за тесное жилище. Едва почуяли они, что жилище их должно ограничиться одними гравированными картинами, как вознегодовали на меня... Я уже был на смертной постели, как вдруг... Слыхали ль вы о человеке, которого называют *вечным жидом?* Все, что рассказывают о нем,— ложь: этот злополучный перед вами... Едва я стал смыкать глаза вечным сном, как меня окружили призраки в образе дворцов, палат, домов, замков, сводов, колонн. Все они вместе давили меня своею громадою и с ужасным хохотом просили у меня жизни. С той минуты я не знаю покоя; духи, мною порожденные, преследуют меня: там огромный свод обхватывает меня в свои объятия, здесь башни гонятся за мною, шагая верстами; здесь окно дребезжит передо мною своими огромными рамами. Иногда заключают они меня в мои собственные темницы, опускают в бездонные колодцы, куют меня в собственные мои цепи, дождят на меня холодною плесенью с полуразрушенных сводов,— заставляют меня переносить все пытки, мною изобретенные, с костра сбрасывают на дыбу, с дыбы на вертел, каждый нерв подвергают нежданному страданию,— и между тем, жестокие, прядают, хохочут вокруг меня, не дают умереть мне, допытываются, зачем осудил я их на жизнь неполную и на вечное терзание,— и наконец, изможденного, ослабевшего, снова выталкивают на землю. Тщетно я перехожу из страны в страну, тщетно высматриваю, не подломилось ли где великолепное здание, на смех мне построенное моими соперниками. Часто, в Риме, ночью, я приближаюсь к стенам, построенным этим счастливцем Микелем, и слабою рукою ударяю в этот проклятый купол, который и не думает шевелиться,— или в Пизе вешаюсь обеими руками на эту негодную башню, которая, в продолжение семи веков, нагибается на землю и не хочет до нее дотянуться. Я уже пробежал всю Европу, Азию, Африку, переплыл море: везде я ищу разрушенных зданий, которые мог бы воссоздать моею творческою силой; рукоплескаю бурям, землетрясениям. Рожденный с обнаженным сердцем поэта, я перечувствовал все, чем страждут несчастные, лишенные обиталища, пораженные ужасами природы; я плачу с несчастными, но не могу не трепетать от радости при виде разрушения... И все

тщетно! час создания не наступил еще для меня — или уже прошел: многое разрушается вокруг меня, но многое еще живет и мешает жить моим мыслям. Знаю, до тех пор не сомкнутся мои ослабевшие вежды, пока не найдется мой спаситель и все колоссальные мои замыслы будут не на одной бумаге. Но где он? где найти его? Если и найду, то уже проекты мои устарели, многое в них опережено веком,— а нет сил обновить их! Иногда я обманываю моих мучителей, уверяя, что занимаюсь приведением в исполнение какого-либо из проектов моих; и тогда они на минуту оставляют меня в покое. В таком положении был я, когда встретился с вами; но пришло же вам в голову открыть передо мною мою проклятую книгу: вы не видали, но я... я видел ясно, как одна из пилястр храма, построенного в средине Средиземного моря, закивала на меня своей косматой головою... Теперь вы знаете мое несчастие: помогите же мне, по обещанию вашему. Только десять миллионов червонцев, умоляю вас! — И с сими словами несчастный упал предо мною на колени.

С удивлением и жалостию смотрел я на бедняка, вынул червонец и сказал:

— Вот все, что могу я дать вам теперь.

Старик уныло посмотрел на меня.

— Я это предвидел,— отвечал он,— но хорошо и это: я приложу эти деньги к той сумме, которую сбираю для покупки Монблана, чтоб срыть его до основания; иначе он будет отнимать вид у моего увеселительного замка.

С сими словами старик поспешно удалился...



ГОРОД БЕЗ ИМЕНИ



> В пространных равнинах Верхней Канады, на пустынных берегах Ореноко, находятся остатки зданий, бронзовых оружий, произведения скульптуры, которые свидетельствуют, что некогда просвещенные народы обитали в сих странах, где ныне кочуют лишь толпы диких звероловов.
>
> *Гумбольд. Vues des Cordillères*. Т. 1*



Дорога тянулась между скал, поросших мохом. Лошади скользили, поднимаясь на крутизну, и наконец совсем остановились. Мы принуждены были выйти из коляски...

Тогда только мы заметили на вершине почти неприступного утеса нечто, имевшее вид человека. Это привидение, в черной епанче, сидело недвижно между грудами камней в глубоком безмолвии. Подойдя ближе к утесу, мы удивились, каким образом это существо могло

* Виды Кордильеров *(франц.)*.

взобраться на вышину почти по голым отвесным стенам. Почтальон на наши вопросы отвечал, что этот утес с некоторого времени служит обиталищем *черному человеку,* а в околодке говорили, что этот черный человек сходит редко с утеса, и только за пищею, потом снова возвращается на утес и по целым дням или бродит печально между камнями, или сидит недвижим, как статуя.

Сей рассказ возбудил наше любопытство. Почтальон указал нам узкую лестницу, которая вела на вершину. Мы дали ему несколько денег, чтобы заставить его ожидать нас спокойнее, и через несколько минут были уже на утесе.

Странная картина нам представилась. Утес был усеян обломками камней, имевшими вид развалин. Иногда причудливая рука природы или древнее незапамятное искусство растягивали их длинною чертою, в виде стены, иногда сбрасывали в груду обвалившегося свода. В некоторых местах обманутое воображение видело подобие перистилей; юные деревья, в разных направлениях, выказывались из-за обломков; повилика пробивалась между расселин и довершала очарование.

Шорох листьев заставил черного человека обернуться. Он встал, оперся на камень, имевший вид пьедестала, и смотрел на нас с некоторым удивлением, но без досады. Вид незнакомца был строг и величествен: в глубоких впадинах горели черные большие глаза; брови были наклонены, как у человека, привыкшего к беспрестанному размышлению; стан незнакомца казался еще величавее от черной епанчи, которая живописно струилась по левому плечу его и ниспадала на землю.

Мы старались извиниться, что нарушили его уединение...

— Правда...— сказал незнакомец после некоторого молчания,— я здесь редко вижу посетителей; люди живут, люди проходят... разительные зрелища остаются в стороне; люди идут дальше, дальше — пока сами не обратятся в печальное зрелище...

— Не мудрено, что вас мало посещают,— возразил один из нас, чтоб завести разговор,— это место так уныло,— оно похоже на кладбище.

— На кладбище...— прервал незнакомец,— да, это правда!— прибавил он горько,— это правда — здесь могилы многих мыслей, многих чувств, многих воспоминаний...

— Вы, верно, потеряли кого-нибудь, очень дорогого вашему сердцу?— продолжал мой товарищ.

Незнакомец взглянул на него быстро; в глазах его выражалось удивление.

— Да, сударь,— отвечал он,— я потерял самое драгоценное в жизни — я потерял отчизну...

— Отчизну?..

— Да, отчизну! вы видите ее развалины. Здесь, на самом этом месте, некогда волновались страсти, горела мысль, блестящие чертоги возносились к небу, сила искусства приводила природу в недоумение... Теперь остались одни камни, заросшие травою,— бедная отчизна! я предвидел твое падение, я стенал на твоих распутиях: ты не услышала моего стона... и мне суждено было пережить тебя.— Незнакомец бросился на камень, скрывая лицо свое... Вдруг он вспрянул и старался оттолкнуть от себя камень, служивший ему подпорою.

— Опять ты предо мною,— вскричал он,— ты, вина всех бедствий моей отчизны,— прочь, прочь — мои слезы не согреют тебя, столб безжизненный... слезы бесполезны... бесполезны?.. не правда ли?..— Незнакомец захохотал.

Желая дать другой оборот его мыслям, которые с каждою минутою становились для нас непонятнее, мой товарищ спросил незнакомца, как называлась страна, посреди развалин которой мы находились?

— У этой страны нет имени — она недостойна его; некогда она носила имя,— имя громкое, славное, но она втоптала его в землю; годы засыпали его прахом; мне не позволено снимать завесу с этого таинства...

— Позвольте вас спросить,— продолжал мой товарищ,— неужели ни на одной карте не означена страна, о которой вы говорите?..

Этот вопрос, казалось, поразил незнакомца...

— Даже на карте...— повторил он после некоторого молчания,— да, это может быть... это должно так быть; так... посреди бесчисленных переворотов, потрясавших Европу в последние веки, легко может статься, что никто и не обратил внимания на небольшую колонию, поселившуюся на этом неприступном утесе; она успела образоваться, процвесть и... погибнуть, не замеченная историками... но, впрочем... позвольте... это не то... она и не должна была быть замеченною; скорбь смешивает мои мысли, и ваши вопросы меня смущают... Если хотите... я вам расскажу историю этой страны по порядку... это мне будет легче... одно будет напоминать другое... только не прерывайте меня...

Незнакомец облокотился на пьедестал, как будто на кафедру, и с важным видом оратора начал так:

«Давно, давно — в XVIII столетии — все умы были взволнованы теориями общественного устройства; везде спорили о причинах упадка и благоденствия государств: и на площади, и на университетских диспутах, и в спальне красавиц, и в комментариях к древним писателям, и на поле битвы.

Тогда один молодой человек в Европе был озарен новою, оригинальною мыслию. Нас окружают, говорил он, тысячи мнений, тысячи теорий; все они имеют одну цель — благоденствие общества, и все противоречат друг другу. Посмотрим, нет ли чего-нибудь общего всем этим мнениям? Говорят о правах человека, о должностях: но что может заставить человека не переступать границ своего права? что может заставить человека свято хранить свою должность? одно — собственная его польза! Тщетно вы будете ослаблять права человека, когда к сохранению их влечет его собственная польза; тщетно вы будете доказывать ему святость его долга, когда он в противоречии с его пользою. Да, *польза* есть существенный двигатель всех действий человека! Что бесполезно — то вредно, что полезно — то позволено. Вот единственное твердое основание общества! Польза и одна польза — да будет вашим и первым и последним законом! Пусть из нее происходить будут все ваши постановления, ваши занятия, ваши нравы; пусть польза заменит шаткие основания так называемой совести, так называемого врожденного чувства, все поэтические бредни, все вымыслы филантропов — и общество достигнет прочного благоденствия.

Так говорил молодой человек в кругу своих товарищей, — и это был — мне не нужно называть его — это был Бентам.

Блистательные выводы, построенные на столь твердом, положительном основании, воспламенили многих. Посреди старого общества нельзя было привести в исполнение обширную систему Бентама: тому противились и старые люди, и старые книги, и старые поверья. Эмиграции были в моде. Богачи, художники, купцы, ремесленники обратили свое имение в деньги, запаслись земледельческими орудиями, машинами, математическими инструментами, сели на корабль и пустились отыскивать какой-нибудь незанятый уголок мира, где спокойно, вдали от мечтателей, можно было бы осуществить блистательную систему.

В это время гора, на которой мы теперь находимся, была окружена со всех сторон морем. Я еще помню, когда паруса наших кораблей развевались в гавани. Неприступное положение этого острова понравилось нашим путешественникам. Они бросили якорь, вышли на берег, не нашли на нем ни од-

ного жителя и заняли землю по праву первого приобретателя.

Все, составлявшие эту колонию, были люди более или менее образованные, одаренные любовию к наукам и искусствам, отличавшиеся изысканностию вкуса, привычкою к изящным наслаждениям. Скоро земля была возделана; огромные здания, как бы сами собою, поднялись из нее; в них соединились все прихоти, все удобства жизни; машины, фабрики, библиотеки, все явилось с невыразимою быстротою. Избранный в правители лучший друг Бентама все двигал своею сильною волею и своим светлым умом. Замечал ли он где-нибудь малейшее ослабление, малейшую нерадивость, он произносил заветное слово: *польза* — и все по-прежнему приходило в порядок, поднимались ленивые руки, воспламенялась погасавшая воля; словом, колония процветала. Проникнутые признательностию к виновнику своего благоденствия, обитатели счастливого острова на главной площади своей воздвигнули колоссальную статую Бентама и на пьедестале золотыми буквами начертали: *польза.*

Так протекли долгие годы. Ничто не нарушало спокойствия и наслаждений счастливого острова. В самом начале возродился было спор по предмету довольно важному. Некоторые из первых колонистов, привыкшие к вере отцов своих, находили необходимым устроить храм для жителей. Разумеется, что тотчас же возродился вопрос: полезно ли это? и многие утверждали, что храм не есть какое-либо мануфактурное заведение и что, следственно, не может приносить никакой ощутительной пользы. Но первые возражали, что храм необходим для того, дабы проповедники могли беспрестанно напоминать обитателям, что польза есть единственное основание нравственности и единственный закон для всех действий человека. С этим все согласились — и храм был устроен.

Колония процветала. Общая деятельность превосходила всякое вероятие. С раннего утра жители всех сословий поднимались с постели, боясь потерять понапрасну и малейшую частицу времени,— и всякий принимался за свое дело: один трудился над машиной, другой взрывал новую землю, третий пускал в рост деньги — едва успевали обедать. В обществах был один разговор — о том, из чего можно извлечь себе пользу? Появилось множество книг по сему предмету — что я говорю? одни такого рода книги и выходили. Девушка вместо романа читала трактат о прядильной фабрике; мальчик лет двенадцати уже начинал откладывать деньги на составление капитала для торговых оборотов. В семействах не

было ни бесполезных шуток, ни бесполезных рассеяний,— каждая минута дня была разочтена, каждый поступок взвешен, и ничто даром не терялось. У нас не было минуты спокойствия, не было минуты того, что другие называли самонаслаждением,— жизнь беспрестанно двигалась, вертелась, трещала.

Некоторые из художников предложили устроить театр. Другие находили такое заведение совершенно бесполезным. Спор долго длился — но наконец решили, что театр может быть полезным заведением, если все представления на нем будут иметь целию доказать, что польза есть источник всех добродетелей и что бесполезное есть главная вина всех бедствий человека. На этом условии театр был устроен.

Возникали многие подобные споры; но как государством управляли люди, обладавшие бентамовою неотразимою диалектикою, то скоро прекращались ко всеобщему удовольствию. Согласие не нарушалось — колония процветала!

Восхищенные своим успехом, колонисты положили на вечные времена не переменять своих узаконений, как признанных на опыте последним совершенством, до которого человек может достигнуть. Колония процветала.

Так снова протекли долгие годы. Невдалеке от нас, также на необитаемом острове, поселилась другая колония. Она состояла из людей простых, из земледельцев, которые поселились тут не для осуществления какой-либо системы, но просто чтоб снискивать себе пропитание. То, что у нас производили энтузиазм и правила, которые мы сосали с молоком материнским, то у наших соседей производилось необходимостью жить и трудом безотчетным, но постоянным. Их нивы, луга были разработаны, и возвышенная искусством земля сторицею вознаграждала труд человека.

Эта соседняя колония показалась нам весьма удобным местом для так называемой *эксплуатации*;* мы завели с нею торговые сношения, но, руководствуясь словом *польза*, мы не считали за нужное щадить наших соседей; мы задерживали разными хитростями провоз к ним необходимых вещей и потом продавали им свои втридорога; многие из нас, оградясь всеми законными формами, предприняли против соседей весьма удачные банкротства, от которых у них упали фабрики, что послужило в пользу нашим; мы ссорили наших со-

* К счастию, это слово в сем смысле еще не существует в русском языке; его можно перевести: наживка на счет ближнего. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

седей с другими колониями, помогали им в этих случаях деньгами, которые, разумеется, возвращались нам сторицею; мы завлекали их в биржевую игру и посредством искусных оборотов были постоянно в выигрыше; наши агенты жили у соседей безвыходно и всеми средствами: лестию, коварством, деньгами, угрозами — постоянно распространяли нашу монополию. Все наши богатели — колония процветала.

Когда соседи вполне разорились благодаря нашей мудрой, основательной политике, правители наши, собравши выборных людей, предложили им на разрешение вопрос: не будет ли полезно для нашей колонии уже совсем приобрести землю наших ослабевших соседей? Все отвечали утвердительно. За сим следовали другие вопросы: как приобрести эту землю, деньгами или силою? На этот вопрос отвечали, что сначала надобно испытать деньгами; а если это средство не удастся, то употребить силу. Некоторые из членов совета хотя и соглашались, что народонаселение нашей колонии требовало новой земли, но что, может быть, было бы согласно более с справедливостию занять какой-либо другой необитаемый остров, нежели посягать на чужую собственность. Но эти люди были признаны за вредных мечтателей, за идеологов: им доказано было посредством математической выкладки, во сколько раз более выгод может принести земля уже обработанная в сравнении с землею, до которой еще не прикасалась рука человека. Решено было отправить к нашим соседям предложение об уступке нам земли их за известную сумму. Соседи не согласились... Тогда, приведя в торговый баланс издержки на войну с выгодами, которые можно было извлечь из земли наших соседей, мы напали на них вооруженною рукою, уничтожили все, что противопоставляло нам какое-либо сопротивление; остальных принудили откочевать в дальние страны, а сами вступили в обладание островом.

Так, по мере надобности, поступали мы и в других случаях. Несчастные обитатели окружных земель, казалось, разработывали их для того только, чтоб сделаться нашими жертвами. Имея беспрестанно в виду одну собственную пользу, мы почитали против наших соседей все средства дозволенными: и политические хитрости, и обман, и подкупы. Мы по-прежнему ссорили соседей между собою, чтоб уменьшить их силы; поддерживали слабых, чтоб противопоставить их сильным; нападали на сильных, чтоб восстановить против них слабых. Мало-помалу все окружные колонии, одна за другою, подпали под нашу власть — и Бентамия сделалась

государством грозным и сильным. Мы величали себя похвалами за наши великие подвиги и нашим детям поставляли в пример тех достославных мужей, которые оружием, а тем паче обманом обогатили нашу колонию. Колония процветала.

Снова протекли долгие годы. Вскоре за покоренными соседями мы встретили других, которых покорение было не столь удобно. Тогда возникли у нас споры. Пограничные города нашего государства, получавшие важные выгоды от торговли с иноземцами, находили полезным быть с ними в мире. Напротив, жители внутренних городов, стесненные в малом пространстве, жаждали расширения пределов государства и находили весьма полезным затеять ссору с соседями, хоть для того, чтоб избавиться от излишка своего народонаселения. Голоса разделились. Обе стороны говорили об одном и том же: об общей пользе, не замечая того, что каждая сторона под этим словом понимала лишь свою собственную. Были еще другие, которые, желая предупредить эту распрю, заводили речь о самоотвержении, о взаимных уступках, о необходимости пожертвовать что-либо в настоящем для блага будущих поколений. Этих людей обе стороны засыпали неопровержимыми математическими выкладками; этих людей обе стороны назвали вредными мечтателями, идеологами; и государство распалось на две части: одна из них объявила войну иноземцам, другая заключила с ними торговый трактат*.

Это раздробление государства сильно подействовало на его благоденствие. Нужда оказалась во всех классах; должно было отказать себе в некоторых удобствах жизни, обратившихся в привычку. Это показалось нестерпимым. Соревнование произвело новую промышленную деятельность, новое изыскание средств для приобретения прежнего достатка. Несмотря на все усилия, бентамиты не могли возвратить в свои домы прежней роскоши — и на то были многие причины. При так называемом благородном соревновании, при усиленной деятельности всех и каждого, между отдельными городами часто происходило то же, что между двумя частями

---

* Американский республиканский журнал «Tribune» (из коего отрывок напеч<атан> в «Сев<ерной> пчеле», 1861, сент. 21, № 209, стр. 859, кол. 4), исчисляя следствие торжества ультрдемократической партии, говорит: «Один штат немедленно объявит недействительным тариф союза, другой воспротивится военным налогам, третий не позволит ходить в своих пределах почте; вследствие всего этого союз придет в полное расстройство». *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

государства. Противоположные выгоды встречались; один не хотел уступать другому: для одного города нужен был канал, для другого железная дорога; для одного в одном направлении, для другого в другом. Между тем банкирские операции продолжались, но, сжатые в тесном пространстве, они необходимо, *по естественному ходу вещей*, должны были обратиться уже не на соседей, а на самих бентамитов; и торговцы, следуя нашему высокому началу — польза, принялись спокойно наживаться банкротствами, благоразумно задерживать предметы, на *которые было требование*, чтоб потом продавать их дорогою ценою; с основательностию заниматься биржевою игрою; под видом неограниченной, так называемой священной свободы торговли учреждать монополию. Одни разбогатели — другие разорились. Между тем никто не хотел пожертвовать частию своих выгод для общих, когда эти последние не доставляли ему непосредственной пользы; и каналы засорялись; дороги не оканчивались по недостатку общего содействия; фабрики, заводы упадали; библиотеки были распроданы; театры закрылись. Нужда увеличивалась и поражала равно всех, богатых и бедных. Она раздражала сердца; от упреков доходили до распрей; обнажались мечи, кровь лилась, восставала страна на страну, одно поселение на другое; земля оставалась незасеянною; богатая жатва истреблялась врагом; отец семейства, ремесленник, купец отрывались от своих мирных занятий; с тем вместе общие страдания увеличились.

В этих внешних и междуусобных бранях, которые то прекращались на время, то вспыхивали с новым ожесточением, протекло еще много лет. От общих и частных скорбей общим чувством сделалось общее уныние. Истощенные долгой борьбою, люди предались бездействию. Никто не хотел ничего предпринимать для будущего. Все чувства, все мысли, все побуждения человека ограничились настоящей минутой. Отец семейства возвращался в дом скучный, печальный. Его не тешили ни ласки жены, ни умственное развитие детей. Воспитание казалось излишним. Одно считалось нужным — правдою или неправдой добыть себе несколько вещественных выгод. Этому искусству отцы боялись учить детей своих, чтоб не дать им оружия против самих себя; да и было бы излишним; юный бентамит с ранних лет, из древних преданий, из рассказов матери, научался одной науке: избегать законов божеских и человеческих и смотреть на них лишь как на одно из средств извлекать себе какую-нибудь выгоду. Нечему было оживить борьбу человека; нечему было утешить

его в скорби. Божественный, одушевляющий язык поэзии был недоступен бентамиту. Великие явления природы не погружали его в ту беспечную думу, которая отторгает человека от земной скорби. Мать не умела завести песни над колыбелью младенца. Естественная поэтическая стихия издавна была умерщвлена корыстными расчетами пользы. Смерть этой стихии заразила все другие стихии человеческой природы; все отвлеченные, общие мысли, связывающие людей между собою, показались бредом; книги, знания, законы нравственности — бесполезною роскошью. От прежних славных времен осталось только одно слово — *польза;* но и то получило смысл неопределенный: его всякий толковал посвоему.

Вскоре раздоры возникли внутри самого главного нашего города. В его окрестностях находились богатые рудники каменного угля. Владельцы этих рудников получали от них богатый доход. Но от долгого времени и углубления копей они наполнились водой. Добывание угля сделалось трудным. Владельцы рудников возвысили на него цену. Остальные жители внутри города по дороговизне не могли более иметь этот необходимый материал в достаточном количестве. Наступила зима; недостаток в уголье сделался еще более ощутительным. Бедные прибегнули к правительству. Правительство предложило средства вывести воду из рудников и тем облегчить добывание угля. Богатые воспротивились, доказывая неопровержимыми выкладками, что им выгоднее продавать малое количество за дорогую цену, нежели остановить работу для осушения копей. Начались споры, и кончилось тем, что толпа бедняков, дрожавших от холода, бросилась на рудники и овладела ими, доказывая с своей стороны также неопровержимо, что им гораздо выгоднее брать уголь даром, нежели платить за него деньги.

Подобные явления повторялись беспрестанно. Они наводили сильное беспокойство на всех обитателей города, не оставляли их ни на площади, ни под домашним кровом. Все видели общее бедствие — и никто не знал, как пособить ему. Наконец, отыскивая повсюду вину своих несчастий, они вздумали, что причина находится в правительстве, ибо оно, хотя изредка, в своих воззваниях напоминало о необходимости помогать друг другу, жертвовать своею пользою пользе общей. Но уже все воззвания были поздны; все понятия в обществе перемешались; слова переменили значение; самая общая польза казалась уже мечтою; эгоизм был единственным, святым правилом жизни; безумцы обвиняли своих пра-

вителей в ужаснейшем преступлении — в поэзии. «Зачем нам эти философические толкования о добродетели, о самоотвержении, о гражданской доблести? какие они приносят проценты? Помогите нашим существенным, положительным нуждам!» — кричали несчастные, не зная, что существенное зло было в их собственном сердце. «Зачем,— говорили купцы,— нам эти ученые и философы? им ли править городом? Мы занимаемся настоящим делом; мы получаем деньги, мы платим, мы покупаем произведения земли, мы продаем их, мы приносим существенную пользу: мы должны быть правителями!» И все, в ком нашлась хотя искра божественного огня, были, как вредные мечтатели, изгнаны из города. Купцы сделались правителями, и правление обратилось в компанию на акциях. Исчезли все великие предприятия, которые не могли непосредственно принести какую-либо выгоду или которых цель неясно представлялась ограниченному, корыстному взгляду торговцев. Государственная проницательность, мудрое предведение, исправление нравов, все, что не было направлено прямо к коммерческой цели, словом, что не могло приносить процентов, было названо — мечтами. Банкирский феодализм торжествовал. Науки и искусства замолкли совершенно; не являлось новых открытий, изобретений, усовершенствований. Умножившееся народонаселение требовало новых сил промышленности; а промышленность тянулась по старинной, избитой колее и не отвечала возрастающим нуждам.

Предстали пред человека нежданные, разрушительные явления природы: бури, тлетворные ветры, мор, голод... униженный человек преклонял пред ними главу свою, а природа, не обузданная его властью, уничтожала одним дуновением плоды его прежних усилий. Все силы дряхлели в человеке. Даже честолюбивые замыслы, которые могли бы в будущем усилить торговую деятельность, но в настоящем расстроивали выгоды купцов-правителей, были названы предрассудками. Обман, подлоги, умышленное банкрутство, полное презрение к достоинству человека, боготворение злата, угождение самым грубым требованиям плоти — стали делом явным, позволенным, необходимым. Религия сделалась предметом совершенно посторонним; нравственность заключилась в подведении исправных итогов; умственные занятия — изыскание средств обманывать без потери кредита; поэзия — баланс приходо-расходной книги; музыка — однообразная стукотня машин; живопись — черчение моделей. Нечему было подкрепить, возбудить, утешить человека; негде было ему

добыться хоть на мгновение. Таинственные источники духа иссякли; какая-то жажда томила,— а люди не знали, как и назвать ее. Общие страдания увеличились.

В это время на площади одного из городов нашего государства явился человек, бледный, с распущенными волосами, в погребальной одежде. «Горе,— восклицал он, посыпая прахом главу свою,— горе тебе, страна нечестия; ты избила своих пророков, и твои пророки замолкли! Горе тебе! Смотри, на высоком небе уже собираются грозные тучи: или ты не боишься, что огнь небесный ниспадет на тебя и пожжет твои веси и нивы? Или спасут тебя твои мраморные чертоги, роскошная одежда, груды злата, толпы рабов, твое лицемерие и коварство? Ты растлила свою душу, ты отдала свое сердце в куплю и забыла все великое и святое; ты смешала значение слов и назвала златом добро, добром — злато, коварство — умом и ум — коварством; ты презрела любовь, ты презрела науку ума и науку сердца. Падут твои чертоги, порвется твоя одежда, травою порастут твои стогны, и имя твое будет забыто. Я, последний из твоих пророков, взываю к тебе: брось куплю и злато, ложь и нечестие, оживи мысли ума и чувства сердца, преклони колени не пред алтарями кумиров, но пред алтарем бескорыстной любви... Но я слышу голос твоего огрубелого сердца; слова мои тщетно ударяют в слух твой: ты не покаешься — проклинаю тебя!» С сими словами говоривший упал ниц на землю. Полиция раздвинула толпу любопытных и отвела несчастного в сумасшедший дом. Чрез несколько дней жители нашего города в самом деле были поражены ужасною грозою. Казалось, все небо было в пламени; тучи разрывались светло-синею молниею; удары грома следовали один за другим беспрерывно; деревья вырывало с корнем; многие здания в нашем городе были разбиты громовыми стрелами. Но больше несчастий не было; только чрез несколько времени в «Прейскуранте», единственной газете, у нас издававшейся, мы прочли следующую статью:

«Мылом тихо. На партии бумажных чулок делают двадцать процентов уступки. Выбойка требуется.

P. S. Спешим уведомить наших читателей, что бывшая за две недели гроза нанесла ужасное повреждение на сто миль в окружности нашего города. Многие города сгорели от молнии. К довершению бедствий, в соседственной горе образовался волкан; истекшая из него лава истребила то, что было пощажено грозою. Тысячи жителей лишились жизни. К счастию остальных, застывшая лава представила им новый

источник промышленности. Они отламывают разноцветны куски лавы и обращают их в кольца, серьги и другие украшения. Мы советуем нашим читателям воспользоваться несчастным положением сих промышленников. По необходимости они продают свои произведения почти задаром, а известно, что все вещи, делаемые из лавы, могут быть перепроданы с большою выгодою и проч...»

Наш незнакомец остановился. «Что вам рассказывать более? Недолго могла продлиться наша искусственная жизнь, составленная из купеческих оборотов.

Протекло несколько столетий. За купцами пришли ремесленники. «Зачем,— кричали они,— нам этих людей, которые пользуются нашими трудами и, спокойно сидя за своим столом, наживаются? Мы работаем в поте лица; мы знаем труд; без нас они бы не могли существовать. Мы приносим существенную пользу городу — мы должны быть правителями!» И все, в ком таилось хоть какое-либо общее понятие о предметах, были изгнаны из города; ремесленники сделались правителями — и правление обратилось в мастерскую. Исчезла торговая деятельность; ремесленные произведения наполнили рынки; не было центров сбыта; пути сообщения пресеклись от невежества правителей; искусство оборачивать капиталы утратилось; деньги сделались редкостью. Общие страдания умножились.

За ремесленниками пришли землепашцы. «Зачем,— кричали они,— нам этих людей, которые занимаются безделками — и, сидя под теплою кровлею, съедают хлеб, который мы вырабатываем в поте лица, ночью и днем, в холоде и в зное? Что бы они стали делать, если бы мы не кормили их своими трудами? Мы приносим существенную пользу городу; мы знаем его первые, необходимые нужды — мы должны быть правителями». И все, кто только имел руку, не привыкшую к грубой земляной работе, все были изгнаны вон из города.

Подобные явления происходили с некоторыми изменениями и в других городах нашей земли. Изгнанные из одной страны, приходя в другую, находили минутное убежище; но ожесточившаяся нужда заставляла их искать нового. Гонимые из края в край, они собирались толпами и вооруженной рукою добывали себе пропитание. Нивы истаптывались конями; жатва истреблялась прежде созрения. Земледельцы принуждены были, для охранения себя от набегов, оставить свои занятия. Небольшая часть земли засевалась и, обрабатываемая среди тревог и беспокойств, приносила плод не-

обильный. Предоставленная самой себе, без пособий искусства, она зарастала дикими травами, кустарником или заносилась морским песком. Некому было указать на могущественные пособия науки, долженствовавшие предупредить общие бедствия. Голод, со всеми его ужасами, бурной рекою разлился по стране нашей. Брат убивал брата остатком плуга и из окровавленных рук вырывал скудную пищу. Великолепные здания в нашем городе давно уже опустели; бесполезные корабли сгнивали в пристани. И странно и страшно было видеть возле мраморных чертогов, говоривших о прежнем величии, необузданную, грубую толпу, в буйном разврате спорившую или о власти, или о дневном пропитании! Землетрясения довершили начатое людьми: они опрокинули все памятники древних времен, засыпали пеплом; время заволокло их травою. От древних воспоминаний остался лишь один четвероугольный камень, на котором некогда возвышалась статуя Бентама. Жители удалились в леса, где ловля зверей представляла им возможность снискивать себе пропитание. Разлученные друг от друга, семейства дичали; с каждым поколением терялась часть воспоминаний о прошедшем. Наконец, горе! я видел последних потомков нашей славной колонии, как они в суеверном страхе преклоняли колени пред пьедесталом статуи Бентама, принимая его за древнее божество, и приносили ему в жертву пленников, захваченных в битве с другими, столь же дикими племенами. Когда я, указывая им на развалины их отчизны, спрашивал: какой народ оставил по себе эти воспоминания? — они смотрели на меня с удивлением и не понимали моего вопроса. Наконец погибли и последние остатки нашей колонии, удрученные голодом, болезнями или истребленные хищными зверями. От всей отчизны остался этот безжизненный камень, и один я над ним плачу и проклинаю. Вы, жители других стран, вы, поклонники злата и плоти, поведайте свету повесть о моей несчастной отчизне... а теперь удалитесь и не мешайте моим рыданиям».

Незнакомец с ожесточением схватился за четвероугольный камень и, казалось, всеми силами старался повергнуть его на землю...

Мы удалились.

Приехав на другую станцию, мы старались от трактирщика собрать какие-либо сведения о говорившем с нами отшельнике.

— О! — отвечал нам трактирщик. — Мы знаем его. Несколько времени тому назад он объявил желание сказать

проповедь на одном из наших митингов (meetings). Мы все обрадовались, особливо наши жены, и собрались послушать проповедника, думая, что он человек порядочный; а он с первых слов начал нас бранить, доказывать, что мы самый безнравственный народ в целом свете, что банкрутство есть вещь самая бессовестная, что человек не должен думать беспрестанно об увеличении своего богатства, что мы непременно должны погибнуть... и прочие, тому подобные, предосудительные вещи. Наше самолюбие не могло стерпеть такой обиды национальному характеру — и мы выгнали оратора за двери. Это его, кажется, тронуло за живое; он помешался, скитается из стороны в сторону, останавливает проходящих и каждому читает отрывки из сочиненной им для нас проповеди.



СИЛЬФИДА



(ИЗ ЗАПИСОК БЛАГОРАЗУМНОГО ЧЕЛОВЕКА)

Посв. Анас. Серг. П-вой

Поэта мы увенчаем цветами и выведем его вон из города.

Платон

Три столба у царства: поэт, меч и закон.

Предания северных бардов

Поэты будут употребляться лишь в назначенные дни для сочинения гимнов общественным постановлениям.

Одна из промышленных компаний XVIII-го века.

!?!?
XIX-й век

ПИСЬМО I



аконец я в деревне покойного дядюшки. Пишу к тебе, сидя в огромных дедовских креслах, у окошка; правда, перед глазами у меня вид не очень великолепный: огород, две-три яблони, четвероугольный пруд, голое поле — и только; видно, дядюшка был не большой хозяин; любопытно знать, чтó же он делал, проживая здесь в продолжение пятнадцати лет безвыездно. Неужли он, как один из моих соседей, встанет поутру рано, часов в пять, напьется чаю и сядет раскладывать гранпасьянс вплоть до обеда;

отобедает, ляжет отдохнуть и опять за гранпасьянс вплоть до ночи; так проходят 365 дней. Не понимаю. Спрашивал я у людей, чем занимался дядюшка? Они мне отвечали: «Да *так-с»*. Мне этот ответ чрезвычайно нравится. Такая жизнь имеет что-то поэтическое, и я надеюсь вскоре последовать примеру дядюшки; право, умный был человек покойник!

В самом деле, я здесь по крайней мере хладнокровнее, нежели в городе, и доктора́ очень умно сделали, отправив меня сюда; они, вероятно, сделали это для того, чтоб сбыть меня с рук; но, кажется, я их обману: сплин мой, подивись, почти прошел; напрасно думают, что рассеянная жизнь может лечить больных в моем роде; неправда: светская жизнь бесит, книги также бесят, а здесь, вообрази себе мое счастие,— я почти никого не вижу, и со мной нет ни одной книги! этого счастия описать нельзя — надобно испытать его. Когда книга лежит на столе, то невольно протягиваешь к ней руку, раскрываешь, читаешь; начало тебя заманивает, обещает золотые горы,— подвигаешься дальше, и видишь одни мыльные пузыри, ощущаешь то ужасное чувство, которое испытали все ученые от начала веков до нынешнего года включительно: искать и не находить! Это чувство мучило меня с тех пор, как я начал себя помнить, и я ему приписываю те минуты сплина, которые докторам угодно приписывать желчи.

Однако ж не думай, чтоб я жил совершенно отшельником: по древнему обычаю, я, как новый помещик, сделал визиты всем моим соседям, которых, к счастию, немного; говорил с ними об охоте, которой терпеть не могу, о земледелии, которого не понимаю, и об их родных, о которых сроду не слыхивал. Но все эти господа так радушны, так гостеприимны, так чистосердечны, что я их от души полюбил; ты не можешь себе представить, как меня прельщает их полное равнодушное невежество обо всем, что происходит вне их уезда; с каким наслаждением я слушаю их невероятные суждения о единственном нумере «Московских ведомостей», получаемом на целый уезд; в этом нумере, для предосторожности обернутом в обойную бумагу, читается по очереди все, от привода лошадей в столицу до ученых известий включительно; первые, разумеется, читаются с любопытством, а последние для смеха,— который я разделяю с ними от чистого сердца, хотя по другой причине; за то пользуюсь всеобщим уважением. Прежде они меня боялись и думали, что я, как приезжий из столицы, буду им читать лекции о

химии или плодопеременном хозяйстве; но когда я им высказал, что, по моему мнению, лучше ничего не знать, нежели знать столько, сколько знают наши ученые, что ничто столько не противно счастию человека, как много знать, и что невежество никогда еще не мешало пищеварению, тогда они ясно увидели, что я добрый малый и прекраснейший человек, и стали мне рассказывать свои разные шутки над теми умниками, которые назло рассудку заводят в своих деревнях картофель, молотильни, крупчатки и другие разные вычурные новости: умора, да и только! — И поделом этим умникам — об чем они хлопочут? Которые побойчее, те из моих новых друзей рассуждают и о политике; всего больше их тревожит турецкий султан по старой памяти, и очень их занимает распря у Тигил-Бузи с Гафис-Бузи; также не могут они добраться, отчего Карла X начали называть Дон-Карлосом... Счастливые люди! Мы спасаемся от омерзения, которое наводит на душу политика, искусственным образом,— т. е. отказываемся читать газеты, а они самым естественным — т. е. читают и не понимают...

Истинно, смотря на них, я более и более уверяюсь, что истинное счастие может состоять только в том, чтоб все знать или ничего не знать, и как первое до сих пор человеку невозможно, то должно избрать последнее. Я эту мысль в разных видах проповедую моим соседям: она им очень по сердцу; а меня очень забавляет то умиление, с которым они меня слушают. Одного они не понимают во мне: как я, будучи *прекраснейшим* человеком, не пью пунша и не держу у себя псовой охоты; но надеюсь, что они к этому привыкнут и мне удастся, хотя в нашем уезде, убить это негодное просвещение, которое только выводит человека из терпения и противится его внутреннему, естественному влечению: сидеть сложивши руки... Но к черту философия! она умеет вмешаться в мысли самого животного человека... Кстати о животных: у иных из моих соседей есть прехорошенькие дочки, которых, однако ж, нельзя сравнить с цветами, а разве с огородной зеленью,— тучные, полные, здоровые — и слова от них не добьешься. У одного из ближайших моих соседей, очень богатого человека, есть дочь, которую, кажется, зовут Катенькой и которую можно бы почесть исключением из общего правила, если б она также не имела привычки прижимать язычок к зубам и краснеть при каждом слове, которое ей скажешь. Я бился с нею около получаса и до сих пор не могу решить, есть ли ум под этою прекрасною оболочкою, а эта оболочка в самом деле прекрасна. В ее полу-

заспанных глазках, в этом носике, вздернутом кверху, есть что-то такое милое, такое ребяческое, что невольно хочется расцеловать ее. Мне очень *желательно,* как здесь говорят, заставить заговорить эту куколку, и я приготовляюсь в будущее свидание начать разговор хоть словами несравненного Ивана Федоровича Шпоньки: *«летом-с бывает очень много мух»**, и посмотрю, не выйдет ли из этого разговора нечто продолжительнее беседы Ивана Федоровича с его невестою.

Прощай. Пиши ко мне чаще; но от меня ожидай писем очень редко; мне очень весело читать твои письма, но едва ли не столь же весело не отвечать на них.

ПИСЬМО II

(Два месяца спустя после первого)

Говори теперь о твердости духа человеческого! Давно ли я радовался, что со мною нет ни одной книги; но не прошел месяц, как мне взгрустнулось по книгам. Началось тем, что соседи мои надоели мне до смерти; правду ты мне писал, что я напрасно сообщаю им мои иронические замечания об ученых и что мои слова, возвышая их глупое самолюбие, еще больше сбивают их с толка. Да! я уверился, мой друг: невежество не спасенье. Я скоро здесь нашел все те же страсти, которые меня пугали между людьми так называемыми образованными, то же честолюбие, то же тщеславие, та же зависть, то же корыстолюбие, та же злоба, та же лесть, та же низость, только с тою разницею, что все эти страсти здесь сильнее, откровеннее, подлее,— а между тем предметы мельче. Скажу более: человека образованного развлекает самая его образованность, и душа его по крайней мере не каждую минуту своего существования находится в полном унижении; музыка, картина, выдумка роскоши — все это отнимает у него время на низости... Но моих друзей страшно узнать поближе; эгоизм проникает, так сказать, весь состав их; обмануть в покупке, выиграть неправое дело, взять взятку — считается не втихомолку, но прямо, открыто, делом умного человека; ласкательство к человеку, из которого можно извлечь пользу,— долгом благовоспитанного человека; долголетняя злоба и мщение — естественным делом; пьянство, карточная игра, разврат, какой никогда в голову не войдет человеку образованному,— невинным, по-

* Гоголь. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

зволенным отдыхом. И между тем они несчастливы, жалуются и проклинают жизнь свою.— Как и быть иначе! Вся эта безнравственность, все это полное забвение человеческого достоинства переходит от деда к отцу, от отца к сыну в виде отеческих наставлений и примера и заражает целые поколения. Я понял, наблюдая вблизи этих господ, отчего безнравственность так тесно соединена с невежеством, а невежество с несчастием: христианство недаром призывает человека к забвению здешней жизни; чем более человек обращает внимания на свои вещественные потребности, чем выше ценит все домашние дела, домашние огорчения, речи людей, их обращение в отношении к нему, мелочные наслаждения, словом, всю мелочь жизни,— тем он несчастливее; эти мелочи становятся для него целию бытия; для них он заботится, сердится, употребляет все минуты дня, жертвует всею святынею души, и так как эти мелочи бесчисленны, душа его подвергается бесчисленным раздражениям, характер портится; все высшие, отвлеченные, успокоивающие понятия забываются; терпимость, эта высшая из добродетелей, исчезает,— и человек невольно становится зол, вспыльчив, злопамятен, нетерпящ; внутренность души его становится адом. Примеры этого мы видим ежедневно: человек всегда беспокойный, не нарушили ль в отношении к нему уважения или приличий; хозяйка дома, вся погруженная в смотрение за хозяйством; ростовщик, беспрестанно занятый учетом процентов; чиновник, в канцелярском педантизме забывающий истинное назначение службы; человек, в низких расчетах забывающий свое достоинство; — посмотрите на этих людей в их домашнем кругу, в сношении с подчиненными — они ужасны: жизнь их есть беспрерывная забота, никогда не достигающая своей цели, ибо они столько пекутся о средствах для жизни, что жить не успевают! — Вследствие этих печальных наблюдений над моими деревенскими друзьями я заперся и не велел никого из них пускать к себе. Оставшись один, я побродил по комнате, посмотрел несколько раз на свой четвероугольный пруд, попробовал было срисовать его; но ты знаешь, что карандаш мне никогда не давался: трудился, трудился — вышла гадость; принялся было за стихи — вышел, по обыкновению, скучный спор между мыслями, стопами и рифмами; я даже было запел, хотя никогда не мог наладить и di tanti palpiti* — и наконец, увы! призвал старого

* *Буквально:* с волнением, с трепетом *(итал.)*.

управителя покойного моего дядюшки и невольно спросил у него: «Да неужели у дядюшки не было никакой библиотеки?» Седой старичок низко мне поклонился и отвечал: «Нет, батюшка; такой у нас никогда не бывало».— «Да что же такое,— спросил я,— в этих запечатанных шкапах, которые я видел на мезонине?» — «Там, батюшка, лежат книги; по смерти дядюшки вашего тетушка изволила запечатать эти шкафы и отнюдь не приказывала никому трогать».— «Открой их».

Мы взошли на мезонин; управитель отдернул едва державшиеся восковые печати — шкаф открыт, и что я увидел? Дядюшка, чего я до сих пор не подозревал, был большим мистиком. Шкапы были наполнены сочинениями Парацельсия, графа Габалиса, Арнольда Виллановы, Раймонда Луллия и других алхимиков и кабалистов. Я даже заметил в шкафу остатки некоторых химических снарядов. Покойный старик верно искал философского камня... проказник! и как он умел сохранять это в секрете!

Нечего было делать; я принялся за те книги, которые нашлись, и теперь, вообрази себе меня, человека в XIX-м веке, сидящего над огромными фолиантами и со всеусердием читающего рассуждение: о первой материи, о всеобщем электре, о души солнца, о северной влажности, о звездных духах и о прочем тому подобном. Смешно, и скучно, и любопытно. За этими хлопотами я почти позабыл о моей соседке, хотя ее батюшка (один порядочный, хотя и скучный, человек из всего уезда) часто у меня бывает и очень за мною ухаживает; все, что я ни слышу об ней, все показывает, что она, как называли в старину, предостойная девица, т. е. имеет большое приданое; между тем я слышал стороною, что она делает много добра, напр<имер> выдает замуж бедных девушек, дает им денег на свадьбу и часто усмиряет гнев своего отца, очень вспыльчивого человека; все окрестные жители называют ее ангелом — это не по-здешнему. Впрочем, эти девушки всегда имеют большую склонность выдавать замуж, если не себя, так других. Отчего бы это?..

ПИСЬМО III

(Два месяца спустя)

Ты, я чаю, думаешь, что я не только влюбился, но даже женился,— ты ошибаешься. Я занят совсем другим делом; я пью — и знаешь ли что? чего не выдумает безделье! я пью — воду... Не смейся: надобно знать, какую воду. Роясь в библиотеке моего дядюшки, я нашел рукописную книгу, в которой содержались разные рецепты для вызывания элементарных духов. Многие из них были смешны до крайности; тут требовалась печенка из белой вороны, то стеклянная соль, то алмазное дерево, и по большóй части все составы были таковы, что их не отыщешь ни в одной аптеке. Между прочими рецептами я нашел следующий: «Элементарные духи,— говорит автор,— очень любят людей, и довольно со стороны человека малейшего усилия, чтоб войти в сношение с ними; так, наприм<ер>, для того чтоб видеть духов, носящихся в воздухе, достаточно собрать солнечные лучи в стеклянный сосуд с водою и пить ее каждый день. Этим таинственным средством дух солнца будет мало-помалу входить в человека, и глаза его откроются для нового мира. Кто же решится обручиться с ними посредством одного из благородных металлов, тот постигнет самый язык стихийных духов, их образ жизни, и его существование соединится с существованием избранного им духа, который даст ему познание о таких таинствах природы... но более мы говорить не смеем... Sapienti sat...* здесь и без того много, много уже сказано для просветления ума твоего, любезный читатель»,— и проч. и проч. Этот способ показался мне столько простым, что я вознамерился испытать его, хоть для того, чтоб иметь право похвастаться, что я на себе испытал кабалистическое таинство. Я вспомнил было ундину, которая так утешала меня в ребячестве; но, не желая иметь дела с ее дядюшкою, я пожелал видеть сильфиду; с этою мыслию — чего не делает безделье?— бросил бирюзовый перстень в хрустальную вазу с водою, выставил эту воду на солнце, к вечеру, ложась спать, ее выпиваю, и до сих пор я нахожу, что по крайней мере это очень здорово; еще никакой элементарной силы я не вижу, а только сон мой сделался спокойнее.

Знаешь ли, что я не перестаю читать моих кабалистов и алхимиков, и знаешь ли, чтó я еще скажу тебе: эти книги

---

* Для понимающего достаточно *(лат.)*.

для меня весьма занимательны. Как милы, как чистосердечны их сочинители: «Наше дело,— говорят они,— очень просто: женщина, не оставляя своего веретена, может совершить его, — умей только понимать нас».— «Я видел,— говорит один, — при мне это было, когда Парацельсий превратил одиннадцать фунтов свинца в золото».— «Я сам,— говорит другой,— я сам умею извлекать из природы первоначальную материю, и сам посредством ее могу легко превращать все металлы один в другой по произволению».— «Прошлого года,— говорит третий,— я сделал из глины очень хороший яхонт» и проч. У всякого после этого откровенного признания следует краткая, но исполненная жизни молитва. Для меня необыкновенно трогательно это зрелище: человек говорит с презрением о том, что они называют ученостию профанов, т. е. нас; с гордою самоуверенностию достигает или думает достигнуть до последних пределов человеческой силы — и на сей высокой точке смиряется, произнося благодарную, простосердечную молитву всевышнему. Невольно веришь знанию такого человека; один невежда может быть атеистом, как один атеист невеждою. Мы, гордые промышленники XIX-го века, мы напрасно пренебрегаем этими книгами и даже не хотим знать о них. Посреди разных глупостей, показывающих младенчество физики, я нашел много мыслей глубоких; многие из этих мыслей могли казаться ложными в XVIII-м веке, но теперь большая часть из них находит себе подтверждение в новых открытиях: с ними то же случилось, что с драконом, которого тридцать лет тому почитали существом баснословным и которого теперь отыскали налицо, между допотопными животными. Скажи, должны ли мы теперь сомневаться в возможности превращать свинец в золото с тех пор, как мы нашли способ творить воду, которую так долго почитали первоначальною стихиею? Какой химик откажется от опыта разрушить алмаз и снова восстановить его в первобытном виде? А чем мысль делать золото смешнее мысли делать алмазы? Словом, смейся надо мною как хочешь, но я тебе повторяю, что эти позабытые люди достойны нашего внимания; если нельзя во всем им верить, то, с другой стороны, нельзя сомневаться, что их сочинения не намекают о таких знаниях, которые теперь потерялись и которые бы не худо снова найти; в этом ты уверишься, когда я тебе пришлю выписку из библиотеки моего дядюшки.

ПИСЬМО IV

В последнем моем письме я забыл тебе написать именно то, для чего я начал его. Дело в том, что я нахожусь, мой друг, в странном положении и прошу у тебя совета: я писал к тебе уже несколько раз о Катеньке, дочери моего соседа; мне наконец удалось заставить говорить ее, и я узнал, что она не только имеет природный ум и чистое сердце, но еще совсем неожиданное качество: а именно — она влюблена в меня по уши. Вчера приехал ко мне отец ее и рассказал мне то, о чем я слышал только мельком, препоручая все мои дела управителю; у нас производится тяжба об нескольких тысячах десятинах леса, которые составляют главный доход моих крестьян; эта тяжба длится уже более тридцати лет, и если она кончится не в мою пользу, то мои крестьяне будут совершенно разорены. Ты видишь, что это дело очень важное. Сосед мой рассказал мне его с величайшими подробностями и кончил предложением помириться; а чтоб мир этот был прочнее, то он дал мне очень тонко почувствовать, что ему бы очень хотелось иметь во мне зятя. Это была совершенно водевильная сцена, но она заставила меня задуматься. Что, в самом деле? молодость моя уже прошла, великим человеком мне не бывать, все мне надоело; Катя девушка премилая, послушлива, неговорливая; женившись на ней, я кончу глупую тяжбу и сделаю хоть одно доброе дело в жизни: упрочу благосостояние людей, мне подвластных; одним словом, мне очень хочется жениться на Кате, зажить степенным помещиком, поручить жене управление всеми делами, а самому по целым дням молчать и курить трубку. Ведь это рай, не правда ли?.. Все это вступление к тому, что, как бы сказать тебе, что я уже решился жениться, но еще не говорил об этом отцу Кати, и не буду говорить, пока не дождусь от тебя ответа на следующие вопросы: как ты думаешь, гожусь ли я быть женатым человеком? спасет ли меня от сплина жена, которая, не забудь, имеет привычку по целым дням не говорить ни слова и, следственно, не имеет никакого средства надоесть мне? одним словом, должно ли еще мне подождать, пока из меня выйдет что-нибудь новое, неожиданное, оригинальное, или просто, как говорится, я уже кончил свой карьер, и мне остается заботиться только о том, чтоб из моей особы можно было сделать как можно больше спермацета? Ожидаю от тебя ответа с нетерпением.

ПИСЬМО V

Благодарю тебя, мой друг, за твою решительность, твои советы и за благословление; едва я получил твое письмо, как поскакал к отцу моей Кати и сделал формальное предложение. Ежели б ты видел, как Катя обрадовалась, покраснела; она даже мне проговорила следующую фразу, в которой вылилась вся чистая и невинная душа ее: «Я не знаю,— сказала она мне,— удастся ли мне это, но я постараюсь сделать вас столько счастливым, как я сама буду счастлива». Эти слова очень просты, но если б ты слышал, с каким выражением они были сказаны; ты знаешь, что часто в одном слове больше скрывается чувства, нежели в длинной речи; в Катиных словах я видел целый мир мыслей: они должны были ей дорого стоить, и я умел оценить всю силу, которую дала ей любовь, чтоб превозмочь девическую робость. Действия человека важны по сравнению с его силами, а я до сих пор думал, что превозмочь робость было свыше сил Кати... После этого, ты можешь себе представить, что мы обнялись, поцеловались, старик расплакался, и по окончании поста мы веселым пирком да и за свадебку. Приезжай ко мне непременно, брось все свои дела — я хочу, чтоб ты был свидетелем моего, как говорят, счастия; приезжай хоть для курьеза, посмотреть на жениха с невестою, каких ты, верно, никогда не видывал; сидят друг против друга, смотрят обоими глазами, оба молчат и оба очень довольны.

ПИСЬМО VI

(Несколько недель спустя)

Не знаю, как начать мне мое письмо; ты меня почтешь сумасшедшим; ты будешь смеяться, бранить меня... Все позволяю; позволяю даже мне не верить; но я не могу сомневаться в том, что я видел и что вижу всякий день собственными глазами. Нет! не все вздор в рецептах моего дядюшки. Действительно, это остаток от древних таинств, которые доныне существуют в природе, и мы многого еще не знаем, многое забыли и много истин почитаем за бредни. Вот что со мной случилось: читай и удивляйся! Мои разговоры с Катею, как ты легко можешь себе представить, не заставили меня забыть о моей вазе с солнечною водою; ты знаешь, любознательность, или, просто сказать, любопытство есть основная моя стихия, которая мешается во все мои де-

ла, их перемешивает и мне жить мешает; мне от нее ввек не отделаться; все что-то манит, все что-то ждет вдали, душа рвется, страждет — и что же?.. Но обратимся к делу. Вчера вечером, подошед к вазе, я заметил в моем перстне какое-то движение. Сначала я подумал, что это был оптический обман и, чтоб удостовериться, взял вазу в руки; но едва я сделал малейшее движение, как мой перстень рассыпался на мелкие голубые и золотые искры, они потянулись по воде тонкими нитями и скоро совсем исчезли, лишь вода сделалась вся золотою с голубыми отливами. Я поставил вазу на прежнее место, и снова мой перстень слился на дне ее. Признаюсь тебе, невольная дрожь пробежала у меня по телу; я призвал человека и спросил его, не замечает ли он чего в моей вазе; он отвечал, что нет. Тогда я понял, что это странное явление было видимо только для одного меня. Чтоб не подать повода человеку смеяться надо мною, я отпустил его, заметив, что мне вода показалась нечистою. Оставшись один, я долго повторял свой опыт, размышляя над этим странным явлением.— Я несколько раз переливал воду из одной вазы в другую: всякий раз то же явление повторялось с удивительною точностию — и между тем оно не изъяснимо никакими физическими законами. Неужли в самом деле это правда? Неужли мне суждено быть свидетелем этого странного таинства? Оно мне кажется столько важно, что я намерен его исследовать до конца. Я больше прежнего принялся за мои книги, и теперь, когда самый опыт совершился пред моими глазами, все более и более мне делается понятным сношение человека с другим, недоступным миром. Что будет далее!..

ПИСЬМО VII

Нет, мой друг, ты ошибся и я также. Я предопределен быть свидетелем великого таинства природы и возвестить его людям, напомнить им о той чудесной силе, которая находится в их власти и о которой они забыли; напомнить им, что мы окружены другими мирами, до сих пор им неизвестными. И как просты все действия природы! Какие простые средства употребляет она для произведения таких дел, которые изумляют и ужасают человека! Слушай и удивляйся.

Вчера, погруженный в рассматривание моего чудесного перстня, я заметил в нем снова какое-то движение: смотрю — поверх воды струятся голубые волны, и в них отража-

ются радужные опаловые лучи; бирюза превратилась в опал, и от него поднималось в воду как будто солнечное сияние; вся вода была в волнении; били вверх золотые ключи и рассыпались голубыми искрами. Тут было соединение всех возможных красок, которые то сливались бесчисленными оттенками, то ярко отделялись. Наконец радужное сияние исчезло, и бледный зеленоватый цвет заступил его место; по зеленоватым волнам потянулись розовые нити, долго переплетались между собою и слились на дне сосуда в прекрасную, пышную розу — и все утихло: вода сделалась чиста, лишь лепестки роскошного цветка тихо колебались. Так уже прошло несколько дней; с тех пор каждый день рано поутру я встаю, подхожу к моей таинственной розе и ожидаю нового чуда; но тщетно — роза цветет спокойно и лишь наполняет всю мою комнату невыразимым благоуханием.— Я невольно вспомнил читанное мною в одной кабалистической книге о том, что стихийные духи проходят все царства природы прежде, нежели достигнут своего настоящего образа. Чудно! чудно!

(Чрез несколько дней)

Сегодня я подошел к моей розе и в средине ее заметил что-то новое... Чтоб лучше рассмотреть ее, я поднял вазу и снова решился перелить ее в другую; но едва я привел ее в движение, как опять от розы потянулись зеленые и розовые нити и полосатою струею перелились вместе с водою, и снова на дне вазы явился мой прекрасный цветок: все успокоилось, но в средине его что-то мелькало: листы растворились мало-помалу, и — я не верил глазам моим!— между оранжевыми тычинками покоилось,— поверишь ли ты мне?— покоилось существо удивительное, невыразимое, неимоверное — словом, женщина, едва приметная глазу! Как описать мне тебе восторг, смешанный с ужасом, который я почувствовал в эту минуту!— Эта женщина была не младенец; представь себе миньятюрный портрет прекрасной женщины в полном цвете лет, и ты получишь слабое понятие о том чуде, которое было перед моими глазами; небрежно покоилась она на своем мягком ложе, и ее русые кудри, колеблясь от трепетания воды, то раскрывали, то скрывали от глаз моих ее девственные прелести. Она, казалось, была погружена в глубокий сон, и я, жадно вперив в нее глаза, удерживал дыхание, чтоб не прервать ее сладкого спокойствия.

О, теперь я верю кабалистам; я удивляюсь даже, как прежде я смотрел на них с насмешкою недоверчивости. Нет, если существует истина на сем свете, то она существует только в их творениях! Я теперь только заметил, что они не так, как наши обыкновенные ученые: они не спорят между собою, не противоречат друг другу; все говорят про одно и то же таинство; различны лишь их выражения, но они понятны для того, кто вникнул в таинственный смысл их... Прощай. Решившись исследовать до конца все таинства природы, я прерываю сношения с людьми; другой, новый, таинственный мир для меня открывается; я лишь для потомства сохраню историю моих открытий. Так, мой друг, я предназначен к великому в этой жизни!..

ПИСЬМО ГАВРИЛА СОФРОНОВИЧА РЕЖЕНСКОГО К ИЗДАТЕЛЮ

Милостивый государь!

Извините меня, что хотя я лично не имею чести быть с вами знакомым, но, по сведению о тесной вашей дружбе с Михаилом Платоновичем, решаюсь беспокоить вас письмом моим. Вам, конечно, небезызвестно, что у меня с покойным его дядюшкою, по коем он ныне находится законным наследником, имелась тяжба о значительном количестве строевого и дровяного леса. Почувствовав склонность к старшей дочери моей Катерине Гавриловне, ваш приятель предложил мне себя в зятья, на что я, как вам известно, изъявил свое согласие; впоследствии чего, надеясь на обоюдную пользу, я остановил ход сего дела; но ныне нахожусь в крайнем недоумении. Вскоре после обручения, когда и повестки были ко всем знакомым разосланы, и приданое дочери моей окончательно приготовлено, и все бумаги нужные к сему очищены, Михаил Платонович вдруг прекратил ко мне свои посещения. Полагая сему причиною случившееся нездоровье, я посылал к нему человека, а наконец и сам, несмотря на свою дряхлость, к нему отправился. Неприлично, да и обидно мне показалось напомнить ему о том, что он забыл свою невесту; а он хоть бы извинился! только что рассказывал мне о каком-то важном деле, им предпринятом, которое ему должно кончить до свадьбы и которое в продолжение некоторого времени требует его неусыпного внимания и надзора. Я полагал, что он хочет завести поташный завод, о котором он прежде поговаривал; думал я, что он

хочет удивить меня и припасти для меня свадебный подарок, показав на опыте, что он может заниматься чем-нибудь дельным, по причине того, что я его часто журил за его пустодомство; однако же я никаких приготовлений для такого завода не заметил и ныне не вижу. Я положил было посмотреть, что дальше будет, как вчера, к величайшему моему удивлению, узнал, что он заперся и никого к себе не пускает, даже кушанье ему подают в окошко. Тут мне пришла, милостивый государь, престранная мысль в голову. Покойный дядя его жил в этом же доме и слыл в нашем уезде чернокнижником; я, сударь, сам некогда учился в университете; хотя немного поотстал, но чернокнижию не верю; однако же мало ли что может причиниться человеку, особливо такому философу, как ваш приятель! Что же наиболее уверяет меня в том, что с Михаилом Платоновичем случилось что-то недоброе, — это слух, дошедший до меня стороною, будто бы он сидит по целым дням и смотрит в графин с водою. В таковых обстоятельствах, милостивый государь, обращаюсь к вам с покорнейшею просьбою — немедленно поспешить вашим сюда приездом для вразумления Михаила Платоновича, по вашему к нему участию, дабы и я мог знать, чего мне держаться: снова ли начать тяжбу, или покончить решенное дело; ибо сам я, после нанесенной мне вашим приятелем обиды, к нему в дом не поеду, хотя Катя и с горькими слезами меня о том упрашивает.

В надежде скорого свидания с вами, честь имею быть, и проч.

РАССКАЗ

Получив это письмо, я счел долгом прежде всего обратиться к знакомому мне доктору, очень опытному и ученому человеку. Я показал ему письма моего приятеля, рассказал его положение и спросил его, понимает ли он что-нибудь во всем этом?.. «Все это очень понятно,— сказал мне доктор,— и совсем не ново для медика... Ваш приятель просто с ума сошел...» — «Но перечтите его письма,— возразил я,— есть ли в них малейший признак сумасшествия? отложите в сторону странный предмет их, и они покажутся хладнокровным описанием физического явления...»

«Все это понятно...— повторил медик.— Вы знаете, что мы различаем разные роды сумасшествий — vesaniae*.

* безумия *(лат.)*.

К первому роду относятся все виды бешенства — это не касается до вашего приятеля; второй род содержит в себе: во-первых, расположение к призракам — hallucinationes;* во-вторых, уверенность в сообщении с духами — demonomania**. Очень понятно, что ваш приятель, от природы склонный к ипохондрии,— в деревне, один, без всяких рассеянностей, углубился в чтение всякого вздора, это чтение подействовало па его мозговые нервы; нервы...»

Долго еще объяснял мне доктор, каким образом человек может быть в полном разуме и между тем сумасшедшим, видеть то, чего он не видит, слышать, чего не слышит. К чрезвычайному сожалению, я не могу сообщить этих объяснений читателю, потому что я в них ничего не понял; но, убежденный доводами доктора, я решился пригласить его ехать со мною в деревню моего приятеля.

Михайло Платонович лежал в постели, худой, бледный; в продолжение нескольких дней он уже не принимал никакой пищи. Когда мы подошли, оп пе узнал пас, хотя глаза его были открыты; в них горел какой-то дикий огонь; на все паши слова он пе отвечал нам ни слова... На столе лежали исписанные листы бумаги — я мог разобрать в них лишь некоторые строки, вот они:

ОТРЫВКИ

Из журнала Михаила Платоновича

— Кто ты?

— У меня пет имени — оно мне не нужно...

— Откуда ты?

— Я твоя — вот все, что я знаю; тебе я принадлежу и никому другому... но зачем ты здесь? как здесь душно и холодно! У нас веет солнце, звучат цветы, благоухают звуки... за мной... за мной!.. как тяжела твоя одежда — сбрось, сбрось ее... а еще далеко, далеко до нашего мира... но я не оставлю тебя!— Как все мертво в твоем жилище... все живое покрыто хладною оболочкой: сорви, сорви ее!

...Так здесь ваше знание?.. Здесь ваше искусство?.. вы отделяете время от времени и пространство от пространства, желание от надежды, мысль от ее исполнепия, и вы

* галлюцинации *(лат.)*.
** демономания *(лат.)*.

не умираете от скуки? — За мной, за мной! скорее, скорее...

...Ты ли это, гордый Рим, столица веков и народов? Как растянулась повилика по твоим развалинам... Но развалины шевелятся, из зеленого дерна подымаются обнаженные столпы, вытягиваются в стройный порядок,— чрез них свод отважно перегнулся, отряхая вечный прах свой, помост стелется игривым мозаиком,— на помосте толпятся живые люди, сильные звуки древнего языка сливаются с говором волн,— оратор в белой одежде с венцом на главе поднимает руки... И все исчезло: пышные здания клонятся к земле; столпы сгибаются, своды врываются в землю — повилика снова вьется по развалинам — все умолкло,— колокол призывает к молитве, храм отворен, слышны звуки мусикийского орудия — тысячи созвучных переливов волнуются под моими пальцами, мысль стремится за мыслию, они улетают одна за другою как сновидения... если бы схватить, остановить их? — И покорное орудие снова вторит, как верное эхо, все минутные, невозвратимые движения души... Храм опустел, лунный блеск ложится на бесчисленные статуи; они сходят с мест своих, проходят мимо меня, полные жизни; их речи древни и новы, важна их улыбка и значителен взор; но снова они оперлись на свои пьедесталы, и снова лунный блеск ложится на статуи... Уж поздно... нас ждет веселый, тихий приют; в окошках мелькает Тибр; за ним Капитолий вечного града... Очаровательная картина! она слилась в тесную раму нашего камелька... да! там другой Рим, другой Тибр, другой Капитолий. Как весело трещит огонек... Обними меня, прелестная дева... В жемчужном кубке кипит искрометная влага... пей... пей... Там хлопьями валится снег и заметает дорогу — здесь меня греют твои объятия...

Мчитесь, мчитесь, быстрые кони, по хрупкому снегу, взвивайте столбом ледяной прах: в каждой пылинке блистает солнце — розы вспыхнули на лице прелестной — она прильнула ко мне душистыми губками... Где ты напіла это художество поцелуя? все горит в тебе и кипячею влагою обдает каждый нерв в моем теле... Мчитесь, мчитесь, быстрые кони, по хрупкому снегу... Что? не крик ли битвы? не новая ли вражда между небом и землею?.. Нет, то брат предал брата, то невинная дева во власти преступления... и солнце светит, и воздух прохладен? Нет! потряслася земля, солнце померкло, буря опустилась с небес, спасла жертву и омыла

преступного,— и снова солнце светит, и воздух тих и прохладен, лобызает брат брата, и сила преклоняется пред невинностию... За мной, за мной... Есть другой мир, новый мир... Смотри: кристалл растворился — там внутри его новое солнце... Там совершается великая тайна кристаллов; поднимем завесу... толпы жителей прозрачного мира празднуют жизнь свою радужными цветами; здесь воздух, солнце, жизнь — вечный свет: они черпают в мире растений благоуханные смолы, обделывают их в блестящие радуги и скрепляют огненною стихией... За мной, за мной! мы еще на первой ступени... По бесчисленным сводам струятся ручьи: быстро бьют они вверх и быстро спускаются в землю; над ними живая призма преломляет лучи солнца; лучи солнца вьются по жилам, и фонтан выносит на воздух их радужные искры; они то сыплются по лепесткам цветов, то длинною лентою вьются по узорчатой сети; жизненные духи, прикованные к вечно-кипящим кубам, претворяют живую влагу в душистый пар, он облаками стелется по сводам и крупным дождем падает в таинственный сосуд растительной жизни... Здесь, в самом святилище, зародыш жизни борется с зародышем смерти, каменеют живые соки, застывают в металлических жилах, и мертвые стихии преобразуются началом духа... За мной! за мной!.. На возвышенном троне восседает мысль человека, от всего мира тянутся к ней золотые цепи,— духи природы преклоняются в прах перед нею,— на востоке восходит свет жизни,— на западе, в лучах вечерней зари, толпятся сны и, по произволу мысли, то сливаются в одну гармоническую форму, то рассыпаются летучими облаками... У подножия престола *она* сжала меня в своих объятиях... мы миновали землю!

Смотри — там в безбрежной пучине носится ваша пылинка: там проклятия человека, там рыдания матери, там говор житейской нужды, там насмешка злых, там страдания поэта — здесь все сливается в сладостную гармонию, здесь ваша пылинка не страждущий мир, но стройное орудие, которого гармонические звуки тихо колеблют волны эфира.

Простись с поэтическим *земным* миром! И у вас есть поэзия на земле! оборванный венец вашего блаженства! Бедные люди! странные люди! в вашей смрадной пучине вы нашли, что даже страдание есть счастие! Вы страданию даете поэтический отблеск! Вы гордитесь вашим страданием; вы хотите, чтоб жители другого мира завидовали вашей

жизни! В нашем мире нет страдания: оно удел лишь несовершенного мира,— создание существа несовершенного! — Вольно́ человеку преклоняться пред ним, вольно́ ему отбросить его, как истлевшую одежду на плечах путника, завидевшего родину. . . . .

Неужели ты думаешь, что я не знала тебя? Я с самого младенчества соприсутствовала тебе в дыхании ветерка, в лучах весеннего солнца, в каплях благовонной росы, в неземных мечтаниях поэта! Когда в человеке возрождается гордость его силы, когда тяжкое презрение падает с очей его на скудельные образы подлунного мира, когда душа его, отряхая прах смертных терзаний, с насмешкою попирает трепещущую пред ним природу,— тогда мы носимся над вами, тогда мы ждем минуты, чтоб вынести вас из грубых оков вещества — тогда вы достойны нашего лика!.. Смотри, есть ли страдание в моем поцелуе: в нем нет времени — он продолжится в вечность: и каждый миг для нас — новое наслаждение!.. О, не измени мне! не измени себе! берегись соблазнов твоей грубой, презренной природы!

Смотри — там вдали, на вашей земле поэт преклоняется пред грудою камней, обросших бесчувственным организмом растительной силы. «Природа! — восклицает он в восторге,— величественная природа, что выше тебя в этом мире? что́ мысль человека пред тобою?» А слепая, безжизненная природа смеется над ним и в минуту полного ликования человеческой мысли скатывает ледяную лавину и уничтожает и человека, и мысль человека! Лишь в душе души высоки вершины! Лишь в душе души бездны глубоки! В их глубину не дерзает мертвая природа; в их глубине независимый, крепкий мир человека; смотри, *здесь* жизнь поэта — святыня! *здесь* поэзия — истина! здесь договаривается все недосказанное поэтом; здесь его земные страдания превращаются в неизмеримый ряд наслаждений...

О, люби меня! Я никогда не увяну: вечно свежая, девственная грудь моя будет биться на твоей груди! Вечное наслаждение будет для тебя ново и полно — и в моих объятиях невозможное желание будет вечно возможной существенностию!

. . . .

Этот младенец — это дитя наше! он не ждет попечений отца, он не будит ложных сомнений, он заранее исполнил твои надежды, он юн и возмужал, он улыбается и не рыдает — для него нет возможных страданий, если только ты

не вспомнишь о своей грубой, презренной юдоли... Нет, ты не убьешь нас одним желанием!

Но дальше, дальше — есть еще другой, высший мир, там самая мысль сливается с желанием. — За мной! за мной!..

Дальше почти невозможно было ничего разобрать; то были несвязные, разнородные слова: «любовь... растение... электричество... человек... дух...» Наконец, последние строки были написаны какими-то странными неизвестными мне буквами и прерывались на каждой странице...

Запрятав подальше все эти бредни, мы приступили к делу и начали с того, что посадили нашего мечтателя в бульонную ванну: больной затрясся всем телом. «Добрый знак!» — воскликнул доктор. В глазах больного выражалось какое-то престранное чувство — как будто раскаяние, просьба, мученье разлуки; слезы его катились градом... Я обращал на это выражение лица внимание доктора... Доктор отвечал: facies hippocratica!*

Чрез час еще бульонная ванна — и ложка микстуры; за нею порядочно мы побились: больной долго терзался и упорствовал, но наконец проглотил. «Победа наша!» — вскричал доктор.

Доктор уверял, что надобно всеми силами стараться вывести нашего больного из его оцепенения и раздражить его *чувственность*. Так мы и сделали: сперва ванна, потом ложка аппетитной микстуры, потом ложка бульона, и благодаря нашим благоразумным попечениям больной стал видимо оправляться; наконец показался и аппетит — он уже начал кушать без нашего пособия...

Я старался ни о чем прежнем не напоминать моему приятелю, а обращать его внимание на вещи основательные и полезные, как-то о состоянии его имения, о выгодах завести в нем поташный завод, а крестьян с оброка перевести на барщину... Но мой приятель слушал меня как во сне, ни в чем мне не противоречил, во всем мне беспрекословно повиновался, пил, ел, когда ему подавали, хотя ни в чем не принимал никакого участия.

Чего не могли сделать все микстуры доктора, то произвели мои беседы о нашей разгульной молодости и в особенности несколько бутылок отличного лафита, который я до-

---

* предсмертная маска *(лат.)*.

гадался привезти с собою. Это средство, вместе с чудесным окровавленным ростбифом, совершенно поставило на ноги моего приятеля, так что я даже осмелился завести речь о его невесте. Он выслушал меня со вниманием и во всем со мною согласился; я, как человек аккуратный, не замедлил воспользоваться его хорошим расположением, поскакал к будущему тестю, все обделал, спорное дело порешил, рядную написал, одел моего чудака в его старый мундир, обвенчал — и, пожелав ему счастия, отправился обратно к себе домой, где меня ожидало дело в гражданской палате, и, признаюсь, поехал весьма довольный собою и своим успехом. В Москве все родные, разумеется, осыпали меня своими ласками и благодарностию.

Устроив мои дела, я чрез несколько месяцев рассудил, однако же, за благо навестить молодых, тем более что я от молодого не получал никакого известия.

Застал я его поутру: он сидел в халате, с трубкой в зубах; жена разливала чай; в окошко светило солнышко и выглядывала преогромная спелая груша; он мне будто обрадовался, но вообще был неговорлив...

Я выбрал минуту, когда жена вышла из комнаты, и сказал, покачав головою:

— Ну, что, несчастив ты, брат?

Что же вы думаете? он разговорился? Да! Только что он напутал!

— Счастлив! — повторил он с усмешкою, — знаешь ли ты, что сказал этим словом? Ты внутренно похвалил себя и подумал: «Какой я благоразумный человек! я вылечил этого сумасшедшего, женил его, и он теперь, по моей милости, счастлив... счастлив!» Тебе пришли на мысль все похвалы моих тетушек, дядюшек, всех этих так называемых благоразумных людей — и твое самолюбие гордится и чванится... не так ли?

— Если бы и так... — сказал я.

— Так довольствуйся же этими похвалами и благодарностию, а моей не жди. Да! Катя меня любит, имение наше устроено, доходы сбираются исправно, — словом, ты дал мне счастье, но не мое: ты ошибся нумером. Вы, господа благоразумные люди, похожи на столяра, которому велели сделать ящик на дорогие физические инструменты: он нехорошо смерил, инструменты в него не входят, как быть? а ящик готов и выполирован прекрасно. Ремесленник обточил инструменты, — где выгнул, где спрямил, — они вошли в ящик и улеглись спокойно, любо посмотреть на него, да толь-

ко одна беда: инструменты испорчены. — Господа! не инструменты для ящика, а ящик для инструментов! Делайте ящик по инструментам, а не инструменты по ящику.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ты очень рад, что ты, как говоришь, меня вылечил, то есть загрубил мои чувства, покрыл их какою-то непроницаемою покрышкою, сделал их неприступными для всякого другого мира, кроме твоего ящика... Прекрасно! инструмент улегся, но он испорчен; он был приготовлен для другого назначения... Теперь, когда среди ежедневной жизни я чувствую, что мои брюшные полости раздвигаются час от часу более и голова погружается в животный сон, я с отчаянием вспоминаю то время, когда, по твоему мнению, я находился в сумасшествии, когда прелестное существо слетало ко мне из невидимого мира, когда оно открывало мне таинства, которых теперь я и выразить не умею, но которые были мне понятны... где это счастие? — возврати мне его!

— Ты, братец, поэт, и больше ничего,— сказал я с досадою,— пиши стихи...

— Пиши стихи!— возразил больной,— пиши стихи! Ваши стихи тоже ящик; вы разобрали поэзию по частям: вот тебе проза; вот тебе стихи, вот тебе музыка, вот живопись — куда угодно? А может быть, я художник такого искусства, которое еще не существует, которое не есть ни поэзия, ни музыка, ни живопись,— искусство, которое я должен был открыть и которое, может быть, теперь замрет на тысячу веков: найди мне его! может быть, оно утешит меня в потере моего прежнего мира!

Он наклонил голову, глаза его приняли странное выражение, он говорил про себя: «Прошло — не возвратится — умерла — не перенесла — па́дай! падай!» — и прочее тому подобное.

Впрочем, это был его последний припадок. Впоследствии, как мне известно, мой приятель сделался совершенно порядочным человеком: завел псарную охоту, поташный завод, плодопеременное хозяйство, мастерски выиграл несколько тяжеб по землям (у него чересполосица); здоровье у него прекрасное, румянец во всю щеку и препорядочное брюшко (NB. Он до сих пор употребляет бульонные ванны — они ему очень помогают). Одно только худо: говорят, что он немножко крепко пьет с своими соседями — а иногда даже и без соседей; также говорят, что от него ни од-

ной горничной прохода нет, — но за кем нет грешков в этом свете? По крайней мере он теперь человек, как другие.

Так рассказывал один из моих знакомых, доставивший мне письма Платона Михайловича, — очень благоразумный человек. Признаюсь, я ничего не понял в этой истории: не будут ли счастливее читатели?



М. П. Погодин



1800–1875



ЧЕРНАЯ НЕМОЧЬ



себя ли Федор Петрович, Афанасьевна?— спрашивала, выходя на монастырь из церковных ворот, толстая купчиха низенькую, приземистую женщину, которая, сложа руки, стояла у калитки священникова дома и разговаривала с своею знакомою.

— О каком Федоре Петровиче вы изволите спрашивать, сударыня?

— Да о священнике.

— Тьфу пропасть! Я ведь и забыла его имя; навыкла все звать батюшкою. Добро пожаловать, сударыня, милости просим. Он изволил лечь отдохнуть после обеда, да скоро встанет: пономарь приходил уж спрашиваться, не пора ли благовестить к вечерне; но матушка велела обождать маленько.

— Так матушка дома?

— На погребу, Марья Петровна. Вчера мы капусту рубили, так она с батраком кладет гнеты на кадки и моет кружки,— а я вот выбежала переговорить с соседкой. Да что она прячется, чего испугалася?

— Проводи меня к матушке, Афанасьевна,— сказала гостья и всунула в руку будущей проводницы двугривенный, за который сия последняя насильно поцеловала у ней пухлую руку, вырвав из-под черного атласного салопа.

— Грязно вам будет пройти, сударыня: у нас на дворе нечисто, да и матушка разгневается на меня. Сем-ка я позову ее самое.

— Нужды нет, милая, зачем ее отрывать от дела.

— Как изволите, сударыня.— Ты, сестрица, подожди меня здесь минуту,— закричала Афанасьевна знакомке, давно уже спрятавшейся за колокольнею, и повела свою благодетельницу через грязный двор по насланным доскам к погребу, из коего доносились уже к ним глухие звуки протопопицыной брани, обращенной к батраку, который ворочал каменья в подземелье под ее руководством.

— Бог в помочь, матушка! захлопотались вы. На вас и праздника нету.

— Кто там? Ах, свет мой, Марья Петровна, куда вы пожаловали и как меня застали! Вот уж проказница, нечего сказать,— отвечала смутившаяся протопопица, вылезая из ямника по изломанной лестнице. — Извините великодушно... — и началось троекратное целование.

— Что ты, дура, не вызвала меня!— проворчала она тут же, в мгновенных промежутках, оборачиваясь к Афанасьевне.

— Я хотела было, да Марья Петровна сама не изволила.

— И — матушка, не гневайтесь! Дело хозяйское. И с нами то ж случается; домок вести не шуточка; свой глаз везде хорош: где недосмотришь, там ведь мошной заплатишь.

— Умная речь, Марья Петровна! Милости же просим в покои. Степка! убери здесь все, да навесь петлю в двери на творило, а ты, Афанасьевна, запри после погреб, и ключ ко мне. Милости просим.

— Почем покупали капусту нынче, матушка? — спросила дорóгою гостья.

— Нынче дорогá была, Марья Петровна, не уродилася, видно, оттого, что дождей было много. Да у Федора Петровича есть сын духовный — огородник, в Красном селе, так он и уступил мне девять гряд по три рубля.

— Не больно чтобы дешево. А сколько кочней на гряде вышло?

— Кочней по сороку. Но зато и капуста! кочни тугие, белые. Одной серой для рабов нарубили ушатов семь. Правду сказать: и дорого, да мило; и дешево, да гнило.

Между тем вошли они в покои с заднего крыльца, и гостья, вынув из-под полы кулечек, тихонько, как бы мимоходом, вручила его хозяйке, которой сначала, разумеется, было очень совестно принять его; но после она должна была уступить настоятельному требованию доброхотной дательницы.

— Чем же мне дорогую гостью подчивать? — сказала протопопица, спрятав кулечек под кровать, и тотчас посадила Марью Петровну под образа; забренчала ключами, которые тряслись у ней на поясе, вынула из шкапа рюмку и бутылку столового вина и, налив по края, поднесла со многими поклонами к усевшейся чинно гостье.

— Всем довольна, благодарим покорно, матушка.

— Пожалуйте хоть откушать.

Купчиха, отведав, или лучше, омочив только губы в вине, поставила рюмку на поднос и после многократных повторений возгласу *пожалуйте* и объяснений со стороны протопопицы, что в тот день было разрешение вина и елея, выпив полрюмки, объявила решительно, что больше пить не может. «И так уж, матушка, я вас уважила, а то ведь я горячего, изволите знать, не употребляю. А батюшка почивать изволит?»

— Лег отдохнуть. Нынче было много именинников, так он устал за молебнами и поздно вышел из церкви, а вчера просидел долго у каретника Третьяго. Пора уж и будить его; в соборе давно заблаговестили к вечерне. А, да вот он и сам идет: ему не спится, когда время служить.

— Ба, ба, ба, Марья Петровна,— воскликнул отец Федор, протирая себе заспанные глаза и снимая с головы шерстяной колпак.— Как это вы вспомнили об нас?

— Нуждица, батюшко,— пришла к вам посоветоваться,— отвечала Марья Петровна, подходя под благословение своего духовника, коего супруга между тем, продрав кое-как дырочку на крепко увязанном кульке, с удовольствием увидела, что там кроме пяти фунтов чаю находилось еще несколько свертков с пастилою и прочими закусками.

— Рад служить, чем льзя. Да не изволите ли пождать здесь полчаса-места, я только что вечерню отслужу. Али не терпит время?

— Время терпит, сударь; покамест мы с матушкой переговорим.

— Ладно. Так слушай же, Фенюша, угощай дорогую гостью, а я к вам ворочусь разом.

Знакомки занялись разговорами о возрастающей дорого-

визне съестных припасов и будущей дешевизне ситцев, которые позволено было по новому тарифу выписывать из-за границы; и хотя любопытная протопопица беспрестанно обращалась на предмет неожиданного посещения гостьи, однако скромная гостья всякий раз отделывалась от нее односложными ответами и продолжала прежнюю речь о домашнем быту, пока наконец хозяин не возвратился к ожидающей.

— Самовар скорее, Феня, да просила ли ты Марью Петровну монастырским или полынным?

— Всем потчивала, да изволит спесивиться.

— Подавай, подавай. Нет, Марья Петровна, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. К тому же вы у нас редкая гостья: вы кушали чай на Святой в воскресенье после вечерни, а после того, кажись, и глаз не показывали.

— Помилуйте, батюшко, да в Духов день мы гостили у вас долго и с сожителем.

— Виноват, помню, помню.

Между тем Марья Петровна говорила очень отрывисто,— поглядывала исподлобья на свою хозяйку,— и сметливый хозяин тотчас догадался, что ей хочется открыться перед ним наедине, и повел ее за руку в другую комнату.

Любопытной протопопице было это очень неприятно, даже обидно, и если кулек, разложенный теперь пред нею во всех приятных подробностях, не задабривал ее несколько, то ее неудовольствие излилось бы в язвительной речи перед Афанасьевною, которая принесла ей ключи от погреба и не менее ее горела желанием узнать причину посещения купчихи.

Забежав перед тем к своей знакомке, оставленной нами под колокольнею, получила она от нее настоятельное поручение разведать, зачем Авакумиха пришла в такое необыкновенное время к отцу протопопу. Сия знакомка,— надобно предуведомить читателей,— принадлежала к числу тех тучных щепетильных торговок, которые высовывают свои головы из подземельных лавок близ Сухаревой башни, около церкви Троицы на Листах и вместе с нитками, шерстью, шелком и прочими вещами такого рода производят обширную меновую торговлю всеми семейственными новостями в той части города.

Читатели могут судить, с каким сердцем отвечала протопопица маме,— между тем как в противном случае, то есть знавши, о чем речь, она почла бы за особенное удо-

вольствие удовлетворить ее любопытству и показать свое уменье решать всякие запутанные дела.

— Не твое дело, — отвечала она ей отрывисто, и Афанасьевна, с которой обыкновенно обращались запанибрата, но иногда держали в страхе, принуждена была замолчать, прикусив губы, и выжидать благоприятной минуты.

Между тем обе они, занимаясь приготовлениями к чаю, поглядывали на затворенную дверь, из-за которой слышан был невнятный шепот и за которую я должен теперь переселить моих читателей.

— Бог посетил нас, батюшко, ума приложить не могу. Сынку нашему Ганюшке так тоскуется, что на свет божий подчас не смотрит, все молчит, как к смерти приговоренный; иногда плачет. Я уж и тем и сем его тешу: и шубу енотовую купила в семьсот рублей, и шапку бобровую, и сукна тонкого на сюртук: ничто не в помогу — такая-то *черная немочь* нашла на него.

— А каково ведет он себя?

— Как красная девушка. Грешить нельзя на бога. Ни пьет, ни играет...

— Не слюбился ли с кем?

— Бог весть, сударь. Сама было я подумала на это, да нет: ворожейка вечор мне гадала и на воде, и на кофее, и на картах: полюбовницы нигде не выходит. Грусть есть, да сама не знает, какая. Не испортил ли кто его, моего голубчика, спросила я, — ведь от лихого человека не убережешься, батюшко, — и того нет. Ходила еще я намедни в наверситет: там один солдат всякую судьбу рассказывает, вертя какие-то два большие шара, все исписанные мелконамелко и раскрашенные, в медных обручах, — один шар — небо, а другой — земля. Так вертел он их для меня, что ажно в глазах зарябело, а после стал все открывать, да что-то мудрено, — я, признаться, ничего и не поняла.

— Напрасно, Марья Петровна, вы прибегаете к таким мерам. Они достойны всякого порицания, и только великим раскаянием изгладить их можно пред ботом. Это диавол, пакостник нашея плоти, смущает.

— Ох, батюшка, знаю сама, что грех смертный — это чернокнижье: да ведь уж с горя. Помолитесь хоть вы обо мне недостойной!

— Скажите мне теперь — давно ли с ним случилось это?

— Давно уж, батюшко, он ходит, как темная туча, — го-

да с два, — а растужился-то больно третий месяц; беда да и только. Судите, сударь, он у нас один, словно порох в глазе. Да еще что: боюсь я пуще сожителя: ведь он у меня, сами знаете, такой, бог с ним, суровой да строгой; молчит, молчит — да как рассердится на Ганю, как пришибет его за что-нибудь, так неравён час, долго ли до греха, — а у Семена Авдеевича рука такая тяжелая, такая тяжелая, что... (тут остановилась Марья Петровна, спохватившись, что уже и так сказала лишнее).

— Спрашивали ли вы его, отчего в нем такая печаль?

— Я всякий день почти спрашиваю. Наладил себе в ответ: ничего да и только, больше не добьешься. Я обещалась уже, батюшко, сходить пешком к Троице-Сергию, да по пути хочу побывать у одного старичка, налево от большой дороги за Братовщиною. Говорят, что он тоже всю подноготную ведает; как вы приговорите, батюшко? Вы нас до короткости знаете. Я всякого понятия лишилась. Правду сказать по пословице: чужую беду на воде разведу, а к своей так и ума не приложу.

— Я ничего не могу сказать вам наскоро, любезная моя Марья Петровна. Сына вашего я знаю, вижу, как он и в церкви божией ведет себя, и ничего дурного за ним не примечал досель. Пришлите-ка вы его лучше ко мне: я постараюсь, опираясь на божие слово, преклонить его к откровенности и, может быть, при помощи свыше, успею в том. Никто таков, как бог. Тогда уж легко будет подумать и о средствах, как пресечь зло.

— Ах, батюшко, вы мне жизнь даете. Ганюшка вас ведь много любит и уважает. Вот я бессчетная! Ну что бы давно этому придти мне в голову, ну что бы давно мне покучиться вам об этом — теперь все дело, может быть, было бы уж улажено. Так, так — лучше и придумывать нечего. Когда же, батюшко, прислать мне его к вам?

— Да хоть завтра, около поздних обеден!

— Очень хорошо, сударь, тем и лучше. Завтра большой праздник, в кругу крест, и в рядах не сидят.

— Самовар кипит,— закричала нетерпеливая протопопица, которая наконец стала уже и просто подслушивать у двери, выслав Афанасьевну кипятить сливки,— милости просим сюда, все ли переговорили?

И священник, услышавший приятное воззвание, вышел тотчас вместе с своею духовною дочерью из исповедной комнаты, повторяя ей последние слова свои о присылке завтра сына.

Мы не станем описывать беседы за самоваром о предметах, для нас посторонних: протопоп препоручил Марье Петровне уведомить ее сожителя, главного прихожанина, принимавшего живое участие во всем, относившемся до храма божия, что богатый граф Н. после похорон своего дяди купил очень мало парчи на ризы, и потому они будут несколько коротки и узки, особливо для дьякона,— и потом, что завещание мещанина О., отказавшего церкви пять тысяч рублей на поминовение об его душе, утверждено законным порядком и задним числом в уездном суде. Притом сия беседа была очень коротка: Марья Петровна торопилась, чтоб хозяин, возвращавшийся всегда об эту пору из города, застал ее дома, закрыла уже вторую чашку и, несмотря на настоятельное требование хозяйки, никак не стала пить больше четырех, поднялась немедленно, расцеловалась с матушкою, взяла благословение у батюшки, поблагодарила униженно обоих за угощение, благие советы и будущие милости и отправилась.

Как ни спешила она, однако опоздала и в первой раз в продолжение тридцатилетней своей замужней жизни пришла домой после своего хозяина. Насупив брови, сидел он в переднем углу, ворчал и поглядывал в окошко.

— Бог милости прислал, Семен Авдеевич! Батюшка Федор Петрович и матушка вам кланяются,— сказала дрожащим голосом обробевшая супруга грозному супругу.

Семен Авдеевич, надо предуведомить читателей, был русским мужем в полном смысле этого слова, не любил шутить, не допускал, чтоб Марья Петровна жаловалась на его привязанность, — и у него всякая вина была виновата. Вообще он был человек упрямый, не терпел прекословий и требовал, чтоб слова его были принимаемы за святые и ненарушимые. Домашние боялись его обыкновенного взгляда, не говоря уже о минутах гнева, когда все вокруг его приходило в трепет,— и с подобострастием исполняли его приказания, которых он никогда не повторял. Этого пока нам довольно знать об его характере.

— Семен Авдеевич,— начала опять Марья Петровна, скинув салоп, повесив его на гвоздик и занавесив простынею,— я ходила ведь к батюшке посоветоваться о нашем горе. Отец протопоп велел прислать Ганю завтра к себе и обещался божиим словом уговорить его и наставить на путь истинный. Может быть, это и пойдет ему на пользу. Ведь

вы знаете сами, какой Федор Петрович — речистой: заговорит о чем божественном, словно рекою польется, так плакать и хочется; а Ганюшка наш очень к нему привержен.

— Что тут пустяки околачивать, — отвечал супруг, несколько смягчившись, — я придумал, что делать надо с Гаврилой. Женить поскорее и концы в воду. Мне уже давно заговаривал сват из железного ряда о Куличевых, и я заварил кашу. Сегодня же придет к нам сваха,— знаешь,— торговка с Листов, что сватала Иванову куму, Савишна. Она мне даве встретилась. Нам чего лучше. Старик-ать в миллионэ.

— Да дочь ведь не одна у него, Семен Авдеевич, не то две, не то три. Правда, те уже давно замужем, отрезанные ломти.

— У Куличева на всех достанет. Об этом тужить нечего. А когда поп велел прислать к себе Гаврилу?

— Завтра после обеден.

— Это, впрочем, не мешает... да вот и гостья наша...

В комнату вошла женщина лет под сорок, среднего роста, в черном тафтяном поизношенном салопе, повязанная скромно саржевым платком кофейного цвета, помолилась усердно образу, в переднем углу висевшему, и раскланялась пред хозяевами.

— Доброго здоровья желаю вам, сударь Семен Авдеевич, и вам, сударыня Марья Петровна. По добру ли, по здорову вы поживаете?

— Помаленьку, Прасковья Савишна, — отвечала хозяйка. — Прошу вас покорно садиться. Что давно не видать тебя было, мой свет?

— Захлопоталась, родная. Нынче в мясоед-то бог сподобил меня пять свадеб снарядить, да такие-то нешто все богатые, да добрые, да великодушные; так я то у свекров да свекровей гостила, то у тестей да тещей, то у молодых. Никто ведь от себя не пускает,— за руки держат,— хоть век живи на всем на готовом,— что твоей душеньке угодно, пей, ешь и веселись.

— Э, брат-Савишна, ты рада тарабарить о пустяках,— сказал ей улыбаясь хозяин, — а нам слушать тебя некогда, разве Маше на досуге. Поднеси-ка ей, жена, горского или горького, да и приступим к своему делу.

— Ох-хо-хо, батюшко Семен Авдеевич, вы все такие же, как прежде, слова не дадите выговорить. Ведь на то и язык бог дал, чтобы говорить. Спасибо еще, что со слов пошлины не берут. Намолчимся в могиле, мой родимый!

Между тем Марья Петровна напенила ей бокал.

— Доброго здоровья желаю вам, мои благодетельные! Коли вперед дают магарыч, так, видно, после не будет обиды. Ну, мои батюшки, у вас, слышала, есть купец, а у меня есть товар. Давайте торговаться.

— Какой же бы это был у вас товар? — сказал с гордостью тою же аллегорией купец, потирая себе рукою бороду и усы.— Чтобы нам-ста в лавку принять было не стыдно.

— Куда больно надменны, Семен Авдеевич, уж и в лавку принять стыдно! Не бойтесь, сударь; нашего товару не охает ни дворянин, ни купец первостатейный. Во-первых, есть у нас на примете у Куличева, у Григорья Сергеевича, дочка — маков цвет, сто тысяч денег чистогану, на пятьдесят приданого; у Жестиной внучка, — правда, постарше, да зато единородная, каменный дом с лавками на Смоленском рынке, приданое порядочное, и жемчужку есть и бриллиантиков, крепостных в волю, и всякое домашнее обзаведение; у Нестаровых племянница-сирота, приданого поменьше, зато собою красавица, полная, румяная, здоровая, на фортопьяне так и рассыпается, что на твоих гуслях, и по-французскому умеет, бойка, резва...

— Полно, полно, Савишна, нам таких не надо, — прервал старик, — нам давай попроще да попрочнее.

— Чего же искать долго, — сказала Марья Петровна, — Куличева мне не противна. Девушка скромная и смирная; намедни я видела ее на гулянье с родителями. И семейство хорошее, небаламутное, родни немного. Нет ли у тебя, Савишна, росписи от них?

— Где ж, матушка, роспись! Я ведь не знаю еще, как и согласятся они...

— Как согласятся! мы разве кланяемся,— закричал сердито старик. — Невест много, хоть пруд пруди.

— Ох, Семен Авдеевич, все ты не туда воротишь! кто, батько, всякое лыко в строку ставит. Я ведь не к тому речь вела, а сказала только, что надо мне переговорить с ними прежде. Поверьте мне, я вас по соседству всею душою люблю, зная, что вы меня не обидите, и постараюсь дело уладить. Завтра же — к обеду, коли за тем стало, принесу вам роспись. А и то сказать: если вы уж так заспесивились, так ведь мы с своим товаром и прочь пойдем. Женихи у меня есть и другие. Недалеко сказать, подле вас живет майор, четвернею в карете может ездить, а это ведь по нынешнему великатству не шутка, и с кавалериею. У головы сын...

— Перестань, Прасковья Савишна,— сказала хозяйка, —

ты на моем муженьке не взыщи: ведь уж у него всегда речь такая, зато без лихвы.

— Разве так, то...

— О, травленая,—сказал, развеселившись, купец, посмотрел с улыбкою на сваху, и, вынув из бумажника красную ассигнацию, подал ей.

— Ну вот давно бы так — теперь и за дело приняться охотнее и веселее,— отвечала она, завертывая ассигнацию в узелок на платке. — Прощайте же, мои светы, до завтра; мне надо еще забежать кой-куда: просили принести в одном доме сережки, а в другом турецкой платочек,— прощайте.

Свахе налили еще бокал горского. Она выпила, поклонилась опять по-прежнему, раскланялась и ушла.

Старики разговорились между собой о невесте, и тем кончился первый день, в который мы их узнали.

Назавтра Авакумов, воротясь от ранней обедни, послал своего сына к отцу Федору с угрозою, что ежели и пастырское наставление останется втуне, то уж сам он примется по-своему.

Отец Федор, к которому родители посылали сына с такою надеждою на успех, под грубою, простою наружностию, нам уже несколько известною по разговору его с Марьею Петровною,— скрывал многие превосходные качества: он имел разум, просвещенный наукою, сердце доброе и чувствительное, характер твердый и решительный. Он ходил, правда, неловко, не любил околичностей, отвечал всегда жестко и на отрезе, не знал никаких светских приличий и осторожностей, утирался рукою, — но читал и понимал блаженного Августина и Канта, восхищался всякою глубокою мыслию, истинно соболезновал сердцем при виде несчастий ближнего и скор был на подание помощи. Говорил он обыкновенно тяжело, кроме тех только случаев, когда, свергнув оковы школьной схоластики, переставал мудрить и давал волю внутреннему горячему чувству, не охлажденному летами. Тогда речь его преисполнялась убеждения, и он овладевал душою слушателя. Между прихожанами славился он своею ученостию, чистотою нравов и готовностию на всякое доброе дело.

— Добро пожаловать, Гаврило Семенович,— так приветствовал он вошедшего купецкого сына,— родительница ваша просила меня переговорить с вами; очень рад, если могу служить чем вам и вашему почтенному семейству, от кото-

рого я видел всегда столько знаков благорасположения. Прошу покорно в гостиную. Афанасьевна! коли придет кто ко мне, проси обождать часок-места, теперь, де, не время.

С сими словами повел он духовного своего сына по чистому половику в опрятную комнату, украшенную по стенам большими портретами митрополитов Платона и Амвросия, преосвященного Августина и ставленною грамотою в большой золотой раме. В переднем углу под сению красивых искусственных верб висел образ Казанской божьей матери, пред коим теплилась лампада и горела восковая свечка. Окошки задернуты были миткалевыми белыми занавесками. На столах, покрытых, как и стулья, затрапезными чехлами, не видать было ничего, кроме гусиного крыла в углу, коим сметывалась пыль, и нескольких поминаний на наугольнике под образом. На середине стола лежала Библия в октаву, разложенная на апостольских посланиях, и Глазуновский месяцослов.

— Отчего вы так похудели, мой любезный друг? — Так начал священник, расположившись с своим гостем на софе, хотя было сей последний долго отнекивался и не решался сидеть на таком высоком месте.

— Не знаю-с.

В самом деле молодой человек, которому было не больше осмнадцати лет от роду, имел лицо совершенно обтянутое, бледное как полотно; в глазах у него заметно было что-то возвышенное и благородное, но они были тусклы, впалы, и только изредка из-под густых бровей сверкал луч жизни. Однако же он был не дурен собою, имел черты лица правильные, широкий лоб с глубокими чертами, белокурые волосы.

— Родительница ваша, — начал с расстановкою, откашливаясь, подготовленную речь отец протопоп,— родительница ваша, дочь моя духовная и любезная, приходила к нам вчера и рассказывала чистосердечно о своем несчастии. Она объяснила нам, что вы долгое уже время о чем-то неведомом печалитесь, а чрез то на нее, а ровно и на сожителя ее, а вашего родителя, наводите тоску. На сие самое я как пастырь церкви и отец ваш духовный, долженствующий... х, х, х, кашель одолевает меня... долженствующий пещись о вверенном ему стаде, так и по просьбе вашей родительницы, обязанным себя считаю войти в ваше положение и подать вам благий совет. Различны бывают искушения, которым подвергается человек в сей жизни, но кийждо искушается от своея похоти влеком и прельщаем. Тоска ваша принадле-

жит, может быть, к сему числу. Всякую радость имейте, говорит тот же святой апостол Иаков в своем соборном послании, егда во искушения впадаете различна: ведяще, яко искушение вашея веры соделывает терпение; терпение же дело совершенно да имать, яко да будете совершении и всецели, ни в чем же лишени. Отчаяние же принадлежит к числу смертных грехов, а вера, надежда и любовь составляют основание христианских добродетелей. Возверзи печаль твою на господа, говорит псалмопевец Давид. Действительно, молитвою человек облегчает и укрепляет душу свою, и на сию усердную заступницу нашу... хма, лампадка-то погасла, знать, масла плут лавочник отпустил не свежего... молящийся может возложить упование. После сего беседа назидательная с пресвитерами духовными и другими мудрыми людьми принадлежит к числу действительнейших средств, к которым прибегать советуют многие учители церкви, а между прочими и ныне празднуемый св. Василий. Разумеется, я, недостойный, не дерзаю равнять себя с великими светильниками, которые выводили всегда заблудших овец своих на путь истины и жизни; но по усердию моему к вам и семейству вашему ласкаю себя надеждою, что и моя грешная молитва и мое смиренное неразумное слово окажет какое-либо хотя малое действие.

Священник был очень рад, что, кончив наконец длительную речь свою, украшенную по Бургиевой Реторике сравнениями, свидетельствами от противного и примерами, он сложил наконец тяжелое бремя, его угнетавшее со вчерашнего дня.

— Чувствительную мою благодарность приношу вам, сударь,— отвечал юноша,— за ваше участие ко мне. Давно уже хотел я упасть к ногам вашим и просить вашего пастырского совета; но все опасался обеспокоить вас моею просьбою, сомневался, что мои мысли покажутся вам неблагоразумными и мечтательными и навлекут на меня укоризну. Теперь я очень обрадовался приказанию родителей, которое столько согласно с моим собственным желанием.

— И — что за опасения, что за сомнения, друг мой милый. Будь уверен, что я не употреблю во зло твоей доверенности. Мы вместе рассудим дело. Вспомни, что я венчал твоих родителей, крестил тебя, носил на руках и, ребенка еще, любил от всего моего сердца. Теперь не могу без слез смотреть на тебя: задумчивость и уныние, начертанные на лице твоем, внушают в меня сострадание; предчувствую, что, узнав твое состояние, я должен буду соболезновать о тебе.

Излей же предо мной всю душу твою — скажи мне, от чего твоя грусть, тоска и печаль.

— Батюшко, я хочу учиться.

— Как, как! что такое, учиться? Как учиться? Чему учиться? — воскликнул удивленный священник, вовсе не ожидавший такого ответа.

— Да, батюшко, давно уже зародилось во мне это желание. Оно не дает мне покоя ни днем, ни ночью. За прилавком в городе, за чайным столом в гостинице, дома в комнате, па улице средь прохожих, в церкви божией, везде, всегда мерещатся мне вопросы, на которые отвечать я себе не в силах и которые, как демоны какие, беспрестанно уязвляют меня и мучат. Мне все хочется знать, знать... и отчего солнце восходит и закатывается, и от чего месяц нарождается и опять убывает, и от чего звезды падают, и каким светом сияют они, от чего радуга блестит своими яркими цветами, от чего облака носятся, гром гремит, молния сверкает; от чего горы поднялись и опустилися долины, какою цепью соединяются на земле божии твари, камни, травы и звери, почему каждая из них необходима, что такое человек, что он на земле делает, откуда он пришел, куда он идет, какое таинство открывается ему смертью, как мысль в голове зачинается и плодится; как выговаривается она словом, — от чего во всяком царстве есть крестьянин, мастеровой, купец и дворянин, как на один рубль, если он будет переходить из рук в руки, накупается столько ж, сколько и на миллион рублей, от чего бумага идет паравне с золотом, — всегда ли было так на земле, как теперь, как все это стало, лучше или хуже было прежде, везде ли так, как у нас, от чего разрознились народы, языки и веры, что такое счастие, несчастие, судьба, случай, что такое добро, зло, воля, разум, вера, что такое бог...

Слезы в три ручья полились из очей воспламененного юноши — он не мог говорить больше. Истощившись от напряжения всех своих нравственных сил в продолжение сей торжественной речи, произнесенной им со всем жаром, какой только может придать живому человеческому слову внутреннее, сильное чувство, — под бременем собственных своих вопросов, которые каким-то бурным потоком вылились теперь внезапно из груди его, долго в ней заключенные, пал он в объятия к священнику. Старец смотрел на него с изумлением и, пораженный сею истинною силою, которая везде, всегда, на всех, добрых и злых, хитрых и простых, оказывает одинаковое действие, прижал его к своему сердцу.

— Друг мой, друг мой, благодать божия тебя осенила,— сказал он, обливаясь слезами.— Вопросы твои должен делать себе весь человеческий род, но по грехам нашим только избранные постигают их важность, только мудрые стремятся решить их.

— Как, батюшко,— воскликнул юноша, приподняв свою голову,— и другие тоскуют так же, как я? Я не один! Мою тоску вы хвалите? Она не мечтательная?

— Нет, нет, сын мой. Расскажи мне теперь всю историю твоей жизни. Зачем прежде не открылся ты мне? Всеми силами буду я стараться за тебя пред твоими родителями, и бог нам поможет.

Юноша ободрился. В первый раз от роду выговорил он заветную свою тайну, облегчил свое сердце доверенностию, узнал, что его скорбь, вопреки мучительным опасениям, имеет твердое основание, в первый раз услышал приветное слово. Легким румянцем покрылось просиявшее чело юного гения, которому сама благая мать-природа внушила великие вопросы, плод вековых трудов и опытов, задачу человеческой жизни,— который доселе в неведении великих, могущественных сил своих, с лютым червем сомнения в сердце влачил унылую жизнь среди всех возможных препятствий. Он стал говорить свободно и величественно, как будто вдруг упали оковы с его духа и он переселился в другую высшую сферу. Счастлив священник! из уст помазанного человека, в цвете его сил, в первую высокую минуту его самопознания услышал он чудную повесть его жизни, как она представилась вдруг его чистому воображению! Мы можем передать здесь читателям только слабое эхо.

— Младенцем, на коленях у матери, сидел я, говорят, не как другие дети; иногда уставливался глазами по целым часам на какой-нибудь предмет, как будто думая о нем, иногда смеялся так долго и приятно, что никто не мог смотреть на меня без удовольствия, и даже сам суровый отец мой улыбался невольно. Никто не слыхал от меня крику: всегда послушный, исполнял я с какою-то радостию всякое приказание. Рано пробудилось во мне любопытство, и лишь только стал я понимать что-нибудь, как и начал расспрашивать домашних обо всем, что попадалось мне на глаза; они не знали, куда деваться от моих изысканий. Надевали ль на меня новое платье, я спрашивал, из чего оно сшито, откуда взята материя, как она делается, кем, где, из чего; подава-

ли ль кушанье на столе, мне хотелось узнать, как оно приготовляется, из каких снадобьев, где берут сии снадобья, когда ввелось оно в употребление. Ответами никогда почти я не был доволен, и задолго еще до истощения моих вопросов меня заставляли умолкать, и я, с досадою, голодный, принужден был прибегать к догадкам и умозаключениям. В детских играх редко принимал я участие, но напротив любил делать, чем скучали другие: так на осьмом, девятом году для меня приятно было, хоть я и не понимал тому причины, смотреть, смотреть долго на синее небо, осыпанное блестящими звездами,— на месяц, который в туманную осеннюю ночь светлым шаром катился по небу через тонкие облака,— на реку, как она с шумом и белою пеною бьет всякую преграду на пути своем, течет извилинами далеко, далеко и теряется наконец вдали, чуть видимой.

На девятом году, отслужив молебень Козьме и Дамиану, отдали меня учиться к нашему прежнему дьякону. Скоро я выучил азбуку и понял склады; как удивился я этому искусству разнимать каждое слово на его составы и опять складывать, и писать, чтоб всякой вдали понимал наши неслышные речи! Как человек мог выдумать это, часто размышлял я с собою и тотчас поверил своему учителю, который сказал мне, что первые слова написаны были богом, давшим Моисею десять заповедей на горе Синайской. Переход от письма к печати казался для меня не столь мудреным, хоть я и чувствовал большее удовольствие, рассуждая с собою, каким образом человек постепенно дошел до этого остроумного изобретения.

Меня посадили за часовник и псалтирь. Других книг запретил давать мне батюшко, говоря, что я могу избаловаться от них, отвыкнуть от дела и набраться грешных мыслей. Здесь перервались мои новые удовольствия: я не понимал почти ничего из читанного; дьякон не толковал мне или толковал так, что растолкованное казалось мне после еще мудренее, наказывал больно, если я не выучивал наизусть скучных уроков, — даже иногда за то, что выговаривал слова не так, как напечатаны они в книге, а как произносятся в просторечии, — и во мне поселилось непреодолимое отвращение от такого учения. Сидя у него за указкою и пером, над непонятными книгами целый день до вечера, я скучал, голова моя тяжелела, ум тупел, и даже в свободное время я не мог уже ни о чем думать, ничто уже не доставляло мне удовольствия. Усталый, в изнеможении, приходя домой, я бросался на постель и спал непробудным сном до но-

вего истязания. Родители мои заметили это, хотя никогда я не смел жаловаться, и, желая сберечь мое здоровье, решились взять меня чрез два года от дьякона, тем более что я выучился уже хорошо читать, писать, считать. Как я был рад! насилу вырвался я из этой душной темницы! Опять я дышал свободою, думал, делал, что хотел, и месяца через два оправился совершенно.

Батюшка стал брать меня в город и приставил к лавке. Сначала я очень полюбил эту суету, этот шум, это разнообразие. Беспрестанно видел я перед собою новые лица, возрасты, звания. С утра до вечера народ кипел в рядах. У всякого была нужда, но всякой мог и удовлетворить ее. Эта приятная возможность напечатлевалась на лицах. Все было довольно, радостно, счастливо. Я и сам принимал участие в общем действии и полною рукою оделял приходящих потребными вещами. Одному отмеривал полотно, другой подавал ленты, третьего снабжал платками. В наших лавках есть всякие товары, начиная от самых высоких и дорогих до самых низких и дешевых, от толстого затрапеза и посконной холстины, за которыми приходила к нам нищая старуха, боявшаяся передать одну полушку за аршин, до тонкой дымки, которую покупала знатная красавица, готовая без торгу заплатить вдесятеро против настоящей цены. Для меня приятно было уставлять их рядом в моем воображении. Какая длинная, длинная лестница! Какие частые, почти сходные между собою ступени, и какая чудесная разница на краях! Я долго и с большим удовольствием учился, на что в какой вещи должно смотреть преимущественно, на каких фабриках, из каких материалов она приготовляется, из каких иностранных городов получается, когда на нее бывает бо́льшее требование, в чем состоит и от чего зависит ее доброта или изъянность.

Так протекли два года. Когда я все понял, когда нечего уже было узнавать мне больше, — видя пред глазами всегда одно и то же, я перестал принимать по-прежнему живое участие в торговле, стал равнодушным; но каким ужасом вдруг объято было мое сердце, когда однажды нечаянно представилась мне мысль, что всю жизнь свою до гроба, до гроба должен я буду проводить одинаково, покупать, продавать, продавать, покупать. Я обомлел...

«Неужели бог сотворил меня только для того, — стал я думать успокоившись, — чтоб я торговал, чтоб на пятидесятом году моей жизни стал тем же, чем был в шестнадцатом?»

Не может быть. Если все следующие тридцать лет моей жизни будут похожи на один день, то зачем мне и жить их?

Животное, правда, пребывает всегда в одном состоянии; но разве я, человек, похож на животное?

Нет. Я могу думать, говорить, выбирать, наслаждаться, знаю добро и зло, истину и ложь, мне нравится красота и противно безобразие, я переношу в себя всю природу.

В этом, впрочем, не может еще состоять главное мое отличие: ведь я все это получил от бога при самом рождении и по сему дару могу только назваться любимым чадом божиим, — не более...

На что же дарованы мне сии чудесные человеческие способности? Верно, на какое-нибудь великое употребление, верно, я должен делать с ними что-нибудь другое, не похожее на действия животного с своими?

Они могут возрастать, улучшаться, тупеть; младенцем повиновался я первому движению, — теперь слышится во мне голос рассудка, который указывает мне, что я должен делать, чего не должен; прежде не умел я перечесть четырех, не понимал разницы между причиною и действием, забавлялся игрушками, сердился за безделицу, — теперь утверждаю, отрицаю, наслаждаюсь природою, восхищаюсь словами спасителя, повелевающего любить врагов и благословлять клянущих.

— Точно, точно — человек должен возделывать свои способности, должен работать над собою, — воскликнул я себе торжественно. — Вот достойное ему занятие на всю жизнь. Я не должен быть на пятидесятом году тем, чем я есмь теперь.

Все сии мысли с быстротою молнии пронеслись в моей голове одна за другою, скорее, нежели я пересказал их вам теперь. Как будто тяжелая гиря свалилась с моего сердца. Я отдохнул, довольный своим заключением; долго потом размышлял я о причинах, доведших меня до оного, и совсем позабыл настоящее свое положение, совсем потерял из виду те препятствия, которые встретились мне тотчас, когда дело дошло до исполнения моих новых желаний.

В таких размышлениях я не мог, разумеется, заниматься своим делом: часто за простую бахрому запрашивал я столько, сколько надо взять за лучшее кружево, бархат продавал одною ценою с ситцем, обсчитывался, сдавал лишние деньги; и если бы товарищи, любившие меня от всего сердца, не старались закрывать моих проказ от батюшки, то я беспрестанно подвергался бы великим опасностям. Впрочем,

они считали меня помешанным, пред моими глазами в таких случаях пожимали плечами, перешептывались между собою и вслух почти изъявляли свое сожаление. Я не обращал внимания на их суждения и продолжал думать свою крепкую думу.

Все утверждало меня в прежней догадке. От общей мысли я обратился именно к себе: как за прилавком могу я возделывать свои способности? здесь чувствуют удовольствие только от барышей, думают о барышах, действуют для барышей. Здесь притупеют мои способности, точно как притупели они во всех моих товарищах, которые прежде, верно, думали по-моему.

Стало быть, торговля мешает человеку достигать своей цели!

Не может быть: если бы она не была необходима, то не могла бы и возникнуть между людьми, а необходимое не мешает. Лучше ли ее другие знания? Нет: разве судья не употребляет своего времени на решение чужих споров? Разве крестьянин не орошает кровавым пóтом земли для нашего прокормления? Разве солдат не учится и не дерется для защиты отечества? Разве ученый, забывая себя, не учит других? Всякое звание, очевидно, необходимо в обществе, и между тем у всякого есть забота, которая мешает ему посвятить себя исключительно на усовершенствование своих способностей...

Нет, нет, я ошибаюсь. Ничто не может мешать человеку. Сии заботы, сии препятствия должны, верно, служить только к возбуждению его деятельности, к укреплению его силы, к возвышению его духа; должны служить ему лестницею на небо. Может быть, без них, избалованный и вялый, он обленился бы на долгом пути своем и заглох, как стоячая вода. С богом боролся Иаков, и спаслась душа его.

...Я весь трепетал среди сих размышлений, кровь моя с удивительною быстротою во мне обращалась, лицо горело...

Так — человек должен исполнять житейские обязанности, радеть о своем теле, но вместе и помнить свою отчизну, небо и радеть о своей душе. Он должен нести терпеливо египетскую работу и стремиться в землю обетованную!..

— Когда же ты даруешь ее узреть нам, господи, — вопросил я в умилении, — когда свернем мы с себя сии тяжелые оковы нужды, и целые, насладимся употреблением всех великих способностей, нам тобою дарованных, когда вкусим полное счастие и внидем в твое царствие? Чего ты от нас для этого требуешь?

Будите убо вы совершенни, якоже отец ваш небесный совершен есть, послышался мне внутренний голос, — и я в восторге упал на колени пред благодатным внушением. Так, так, человек должен усовершенствоваться, повторял я себе почти без памяти. Это было в лавке. Сидельцы захохотали и, увидев меня в таком положении, называли сумасшедшим, но я не внимал их диким воплям. Я был вне себя, в каком-то высоком самозабвении. Я не слыхал на себе этих вериг, этой тяжелой плоти. Душа моя парила в горних пространствах. Нет, батюшко, не могу, не могу вам выразить, что со мною творилося. *Сколько* я чувствовал! Как будто бы от моего сердца протянулись жилы по всей природе, как будто кровь моя разлилася повсюду, и я все услышал, все увидел, осязал, узнал, слился с общею жизнию... я ничего не имел, но все содержал. — О, зачем я не умер тогда!

Не помню, как я воротился домой. Вскоре занемог я сильною горячкою, которая в шесть недель в самом деле привела было меня к гробу.

Начав оправляться, пришедши в себя, я тотчас обратился к благодатной мысли об усовершенствовании, озарившей мою душу в ту незабвенную, вечную минуту, в субботу 19 января 18...го года.

Тогда-то с ужасом увидел я ясно, в каком несчастном положении нахожуся, сколько имею особенных неудобств. Отец мой, выросший в нужде, навсегда остался с нею, при миллионах был нищим и беспрестанно боялся, что умрет с голоду. Выше денег нет для него ничего. Меня любит он наиболее потому, может быть, что, по его мнению, я могу сохранить и увеличить его капитал. Как осмелюсь я заикнуться пред ним, что хочу учиться, — как стану просить его, чтоб он отдал меня в училище, когда при мне часто он называл все училища распутными домами, которые непременно навлекут на землю содомское наказание, когда настрого запрещал мне читать даже Евангелие. Притом с самого младенчества я его боюся как огня. Один взгляд его часто каменит меня. Мать любит меня от всего сердца, но, покорная во всем мужу,— не имея на него никакого влияния, не может подать мне помощи. Посоветоваться, поговорить мне было не с кем, да и, не уверенный ни в себе, ни в людях, я боялся, чтоб не стали насмехаться над моими странными мыслями.— Что мне делать?

Я решился обратиться к книгам. В них, думал я, должна заключаться вся премудрость, в них разумные люди предали своим собратиям благие истины, ими обретенные,

о всех предметах, достойных человеческого внимания. Там найду я средства к моему усовершенствованию.

На все деньги, сколько их у меня случилось, купил я себе потихоньку книг, попросив купца отобрать самые лучшие. В глухую полночь, когда все вокруг меня засыпало, я высекал огонь, вынимал из-под полу мое сокровище и принимался читать вплоть до утра. Ах, батюшко, как обманулся я в своем ожидании! Как много мелкого, обыкновенного, пустого нашел я в одних книгах, как много непонятного, бесполезного в других! Стоило ли труда писать их, думал я часто и сожалел, что некому было указать мне на достойные и любопытные: батюшка не спускал с меня глаз и, заметив прежде, что я любил говорить о Библии с одним старым нашим приказщиком, всячески старался держать меня в удалении от всякого сообщения. Редко попадались даже и такие книги, которые хоть бы скуки не наводили на меня, очень немногие вознаграждали за потерю времени. Между прочими случилось мне прочесть стихотворения какого-то господина Жуковского. В них нашел я все знакомое, но так сладко, так приятно было мне читать их, что неприметно выучил их наизусть, — и часто, когда грусть стесняет мое сердце, когда моя будущность закрывается темными тучами, я нашептываю себе в утешение его складную речь:

Здесь радости — не наше обладанье!
Пролетные пленители земли
Лишь по пути заносят к нам преданье
О благах, нам обещанных вдали!
Земли жилец безвыходный страданье,
Ему на часть судьбы нас обрекли!
Блаженство нам по слуху лишь знакомец!
Земная жизнь — страдания питомец.
И сколь душа велика сим страданьем!
Сколь радости при нем помрачены!
Когда простясь свободно с упованьем,
В величии покорной тишины,
Она молчит пред грозным испытаньем,
Тогда... тогда с сей светлой вышины
Вся Промысла ей видима дорога!
Она полна понятного ей бога!

Между тем мысли мои следовали по полученному направлению. Я не переставал думать, смотрел в бездну, — и голова моя наконец закружилась. Все прежние вопросы, казалось, решенные, возобновились опять с новою силою. К ним беспрерывно присоединялись другие, или лучше: все сделалось для меня вопросом безответным. Я недоумевал,

сомневался. Часто смотря на небесные миры, я спрашивал себя: есть ли им пределы? Я не мог представить себе сих пределов, — ибо, если есть они, то какая же непонятная пустота за ними находится? — и вместе не постигал беспредельности. — Усовершенствование! — К чему оно? Что такое это ничто, из которого бог сотворил мир? Где превитает душа человеческая по смерти? Падение! искупление! Верую, господи, восклицал я, обливаясь горькими слезами, помози моему неверию. Я чувствовал, что диавол искушал меня,— мысль моя мешалася, в душе открылася какая-то пропасть, которая всем своим вместилищем алкала содержания и осуждена была на пустоту. Жизнь моя преисполнилась муки. Но это не все, — оставалась еще мысль, которая могла произвести на меня ужаснейшее действие, и я зародил ее: что, если я служу мечте и, грешный, своими рассуждениями собираю казнь на преступную главу свою в день страшного суда божия!

Я предавался отчаянию. Часто в бешенстве бил я себя в грудь, рвал волосы, готов был разрушить все и, изнуренный, падал на землю. Вы слышали, батюшко, как я был счастлив в ту минуту. Столько же, нет — еще более, стал я несчастлив после.

Одно было у меня утешение — ходить по воскресеньям к обедне в Шереметевскую больницу. Там, стоя в преддверии, обливался я горькими слезами и молился. Отдаленный алтарь, представлявшийся мне в каком-то таинственном сумраке, растворенные царские двери, священник, воздымавший длани к милосердному за грехи всего мира, согласное пение ликов, все наполняло душу мою благоговением. С каким умилением смотрел я на запрестольный образ спасителя, возлетавшего из гроба в горняя! Моя душа рвалась за ним.

Другое утешение обретал я, слушая по всенощным Евангелие, читаемое вами. Каждое слово, произнесенное вашим важным и вместе усладительным голосом отзывалось в моем сердце: «Приидите ко мне вси труждающиеся и обремененнии, и аз упокою вы. Возмите иго мое на себе, и научитеся от мене, яко кроток есмь и смирен сердцем: и обрящете покой душам вашим. Иго бо мое благо и бремя мое легко есть».

— Господи, — вопрошал я, повергшись во прах, — скажи, твое ли иго на мне?

Месяца два тому назад я прочитал книгу об естественной истории и физике. В ней узнал я много любопытного о раз-

ных примечательных явлениях в природе, на которые прежде смотрел глазами невежи. Круг моего зрения распространился, хоть, к сожалению, многого не понял я в сих драгоценных книгах. Особенно заняла меня статья о бабочках: как сии насекомые личинками укрываются в темноте и ищут себе пищи, — как в куколках образуются все их части, — как наконец вылетают они из своих темниц и красуются по лугам и полям в великолепном убранстве. Во мне поселилась мысль о смерти. Я люблю думать о ней и признаюсь, во время сих-то размышлений бываю наиболее спокоен, какое-то тихое уныние, в которое ныне погружается иногда утомленная душа моя, служит мне залогом, что предчувствие мое сбудется и я скоро достигну тихого пристанища, идеже несть болезни, ни печали, ни воздыхания.

...Мне ужасов могила не являет,
И сердце с горестным желаньем ожидает,
Чтоб Промысла рука обратно то взяла,
Чем я без радости в сем мире бременился,
Ту жизнь, в которой я столь мало насладился,
Которую давно надежда не златит.

Вот, батюшко, вся история моей жизни. Сам я никогда не видал ее так ясно, как показал вам теперь, и удивляюсь, откуда взялись у меня слова на то, чтоб выговорить в порядке все мысли, рассеянно пронесшиеся в голове моей в столь продолжительное время. Верно, мое желание дало мне силу, и, косноязычный, я обрел язык пред вами. Рассудите и научите меня. Единственное мое желание: смерть или свет.

— Сын мой, — сказал важным голосом священник, задолго до окончания речи вставший невольно с своего места пред молодым человеком, — благо тебе, что святая вера никогда не покидала тебя среди опасных сетей, раскинутых для твоего уловления человеконенавистником. Молись, молись богу; и он, даровавший тебе душу пылкую и разум острый, проницательный, укажет и путь, воньже пойдеши, поможет одолеть соблазны и ниспошлет душе твоей желанный мир и упокоение. Я посещу твоих родителей послезавтра и буду просить их, чтобы они отпускали тебя чаще беседовать со мною. Здесь будем мы молиться вместе, здесь в Евангелии, писаниях святых отцов и мудрых мужей будем мы почерпать святые уроки истины, и, может быть, духовный глад души твоей утолится, и ты спокойно, не яко Моисей, но яко Навин, узришь землю обетованную.

Юноша упал в ноги к священнику и в пламенных выражениях благодарил за приветствие. Напутствуемый благословениями, оставил он с миром скромное жилище, в котором целебный елей утешения пролился на его смертельные раны.

Доро́гою был он в необыкновенном расположении духа; действительно, сколько случилось с ним неожиданного, нового в этот краткий промежуток времени: он собрал все свои мысли и чувствования; уразумел их яснее, нежели когда-либо, почти пережил опять, рассказал свою жизнь, испытал новое, прекрасное удовольствие, которое доставляет человеку свое слово, получил одобрение, надежду... Душу его волновали разные чувства, которые разрешились наконец в какое-то безотчетное изумление.

Так воротился он домой и пошел в гостиную явиться к родителям.

Какие роковые слова поразили слух его в ту минуту, как отворил он дверь?

— Божьего-то милосердия маловато, Савишна, — говорил отец, сидевший на софе между женою и свахою и державший в руках толстую синюю тетрадь,— ведь, почитай, только пять образов в окладах, а порядочной один, Казанская,— убрус низан жемчугом; ободки-то нечего и считать?

Понял юноша, о чем идет речь, и почти без памяти упал на стуле подле двери, из-за которой только что показался.

Старики, слишком занятые разговором, не приметили вошедшего и продолжали свое дело.

— Божьего милосердия Куличевы еще подбавят, Семен Авдеевич, — подхватила сваха,— они желают, как бог даст, сладится дело, выменять образ во имя женихова ангела и невестина вместе и убрать каменьями. После сестры куда много осталось у них серег да колец — камни все разноцветные, как жар горят: муж у покойницы торговал этим товаром. Впрочем и то сказать: вы не так считаете. Кроме Казанской, есть Ахтырская, Николай Чудотворец в золоченом окладе; спаситель, правда, в серебряном, — ну а четыре образа в венцах с полями? Чего же больше!

— Серьги бриллиантовые с бурмицкими подвесками, — продолжал читать Семен Авдеевич, довольный обещанным пополнением.

— Эхма, все пишете вы неаккуратно. Надо бы прибавить, во сколько крат: серьги серьгам розь. Пожалуй — насажают крупинок, а все говорят: бриллиантовые.

— Извольте взглянуть подальше: цена выставлена. По ней можете вы рассудить, каковы крупинки — в пять тысяч рублей.

— В пять тысяч рублей! А кто оценил их в такую цену?

— Помилуйте, Семен Авдеевич, ведь вы чай Куличевых знаете, — слухом земля полнится, — неужто станут они в глаза обманывать?

— Ну хорошо, хорошо. Я не люблю только, что пищете вы необстоятельно.

— Серьги бриллиантовые же, камни помельче, без подвесок,— серьги третьи, золотые, буднишние, с яхонтиками. Серьги четвертые, желудками, янтарные.

— Серег довольно.

— Гребенка бриллиантовая иностранной работы в восемь тысяч.

— Вот эта штука на порядках.

— Склаваж бриллиантовый в семь тысяч.

— Не дурно и это.

— Перстень изумрудный, осыпан бриллиантами в три ряда, один ряд покрупнее, два помельче.

— Тьфу пропасть, да бриллианты-то у них, Савишна, али дома родятся, что ли? Ну-ка, Маша, подай нам шипучего, — сказал Семен Авдеевич, развеселясь при мысли о таких сокровищах.

— Как же, — сказала молчавшая доселе Марья Петровна, отходя за вином в ближний поставец,— жито долго, без мотовства, коплено, — притом ведь дочь родную выдают, не падчерицу.

Сваха между тем в торжестве осклаблялась умильно.

— Налей же нам по рюмочке да перестань пенить: ведь в пене толку нет. Не готов ли и пирог горячий? Мы закусили бы кстати.

— Больно рано, батько, сейчас только в печку поставили; чай не пропекся еще.

— Ин подождем маленько. Я не спорного десятка. А покамест разберем еще кое-что в грамотке.

— Кольцо золотое с сердоликом. Кольцо золотое с ага... ага... агат... агатом.

— Это что за камень такой — ага... агат?

— Не умею сказать, батюшко, это вписывал золотых дел мастер. Чай должен быть камень не простый.

— Уж не с хитрости ли так написано: невесту-то ведь зовут Агафьею? — примолвила остроумная Марья Петровна.

— Колец ординарных шесть.

— Вот так лучше: гуртовой счет я люблю.

— Теперь о головных уборах.

— Ну, пошло тряпье. Это твое дело, Маша, читай.

— Эх, батюшко, ведь ты знаешь, что я на медовые деньги училась и печатное-то насилу разбираю, где же возиться мне с скорописью. Тут же такая мелочь.

— Да я ведь в этом толку не знаю, а впрочем пожалуй: «Ток блондовой с жемчугом и панашем из царских перьев в восемьсот рублей. Платье блондовое плетеное с каймой на атласном чехле, отделанное блондами в поларшина шириною, с руладками и розетками из венецианского атласа, в тысячу пятьсот рублей».

— Эки штуки! Это подвенечное, что ли?

— Нет, батюшко, подвенечное не пишется, — подхватила тотчас Марья Петровна, желая пощеголять своими познаниями. — Его должен припасать жених.

— Вот тебе раз! Уж хоть бы первое платье жена себе сшила, а то — припасай муж от первого и до последнего. Так я тебя, мой друг, обуваю, одеваю тридцать лет невступно. Когда мы свадьбу-то с тобою играли? — спросил он, разнежившись, милую свою половину.

— Послезавтра, на день мученика Евлампия.

Старик продолжал читать роспись о числе и качестве салопов летних и зимних, сорочек мужских и женских, о брачной постеле, о переменах на подушки, о простынях, перинах, тюфяках, полотенцах, скатертях, салфетках, комодах, зеркалах, — но мы избавляем наших читателей от сих подробностей, на кои Марья Петровна обращала строгое внимание и загоняла вопросами сваху, с которой пот катился градом. Непременно надобно было объяснить ей: хорошо ли подобраны меха, ровны ли полы, пушисты ли и черны ли воротники, плотен ли атлас на зимних салопах, — какова тафта на подкладке, довольно ли ваты, хорошо ли выстеганы летние, — из какого полотна шиты сорочки, все ли в два полотнища, — в какие наволоки всыпан пух и сколько весят перины, — широка ли фалбора на наволочках, — как велики одеяла, цельные или составные зеркала, и проч. и проч.

Прасковье Савишне за словом ходить в карман было не нужно, — и Семен Авдеевич только что послушивал да посмеивался, дивясь опытности супруги и искусству свахи. Как одна не упускала ни одного случая, где могла заметить недостаток, так другая старалась выставить везде излишек, и прение кончилось благополучно. Впрочем, со стороны ро-

дителей истребовано было непременно, чтоб Куличевы прибавили еще два образа в серебряных ризах для полного замещения образной, салоп летний буднишний, дюжину рубашек мужу и одну перемену на наволочки попараднее. Прасковья Савишна, видно, уполномоченная, обещалась удовлетворить их желание.

— Приданое порядочное, — сказала в заключение жена, смотря на мужа. — Я с своей стороны согласна; как вам будет угодно, Семен Авдеевич?

— А на сколько приданого-то всего-навсе? — спросил купец.

— На пятьдесят тысяч.

— Денег сто тысяч. Да! какова бишь невеста собою, я и позабыл спросить.

— Ей всего тринадцать еще лет, батюшко, — беленькая, как колпик, румяненькая,— немножко толстенька, да ведь нынче стягиваются.

— Я согласен,— сказал старик. — Мы пошлем от себя нынче к Куличевым сестру Анну с предложением, а там хоть и смотр назначить завтра.

— Они также откладывать не станут. И то сказать: приготовляться им, что ли? Все свое домашнее, годовое, — родня покорна, тотчас соберется.

— Ладно. Выпьем-ка еще на прощанье. Вот и пирог готов горячий. Ай да Маша!

— Послушай, свет мой Прасковья Савишна, — сказала хозяйка, — приходи ты завтра к нам в вечерни; мы вместе и поехали бы на смотр.

— Поезжайте уж одни, мне нельзя, родимая. Я обещалась у них вывести невесту; пошла слава, что у меня рука легка: кого выведу на смотр, так уж быть той под венцом. Я признательно вам скажу, что Куличевым больно хочется выдать свою Агафью Григорьевну за вашего сынка, и по состоянию вашему, и по житью, и по слухам: они ведь давно уж оспрашивали об вас и у частного майора, и у старосты церковного, и в ряду. Теперь таить нечего.

— То-то же! знай наших! — сказал с гордостью купец, между тем как сваха поднялась, окончив свою миссию с желанным успехом, и прощалась с его женою. — До свидания, Савишна. Твое за нами.

— Знаю, батюшко, что обижена вами не буду, — и отправилась в сопровождении Марьи Петровны.

— Гаврило, — воскликнул тогда отец к сидевшему безмолвно сыну.

Он очнулся, как бы из глубокого сна внезапно пробужденный, и стал озираться кругом мутными глазами. Несчастный! каким ядом напоялось твое сердце в то время, как отец и мать с заботливостию собирали тебе имение! Куда не проникнул этот яд, когда ты услышал роковое воззвание к себе?

— Гаврило! мы поедем скоро смотреть тебе невесту. Все ли платье у тебя готово? Ты, неряха, пожалуй, оденешься в лохмотья.

Сказал и пошел к Марье Петровне, которая, проводивши гостью, стала собирать на стол, без памяти от удовольствия, видя своего мужа в таком необыкновенном расположении духа, веселого, разговорчивого.

А что наш Гаврила?

Как шальной повлекся он в свою светелку, и мы не можем сказать, спал ли он или нет.

Ввечеру тетка по обряду ездила к Куличевым с предложением от имени своего брата — выдать дочь за его сына. Те приняли предложение, разумеется, с удовольствием, и с общего согласия положено было на другой день после вечерен быть смотру.

Разрядившись, Марья Петровна в шелковом лиловом платье, в желтой турецкой шали, с пятью нитками жемчуга на шее, в тяжелых серьгах, от которых длинные ее уши оттягивались еще более, в шелковом платке на голове,— Семен Авдеевич в синем тонком сюртуке, одного цвета с сыновним, — отправились к нареченному почти тестю и теще. Послушный сын их, казалось, лишился даже способности чувствовать, не только говорить. Мрачный и неподвижный, он похож был более на каменную статую, нежели на живое существо, и по виду его нельзя было судить, что происходило в глубине его сердца.

Все комнаты освещены были у Куличевых, еще засветло: окошки закрыты живописными сторами, в удержание любопытных; по стенам горели восковые свечи в бронзовых жерандолях. В зале несколько купцов в углу о чем-то шумели и при появлении гостей немедленно умолкли. В гостиной по стенке барельефами сидели нарядные их жены с сложенными руками, молча и поглядывая на двери. Приезжие представились хозяевам, раскланялись с гостями и сели на

указанные места: отец женихов подле отца невестина, мать женихова подле матери невестиной, жених посредине, — вокруг большого стола, уставленного разными вареньями, пастилами, сухими плодами и другими закусками, под сению лимонного дерева. Лишь только начался было обыкновенной разговор, как и отворилась дверь из ближней комнаты, явилась невеста, выведенная легкою рукою Прасковьи Савишны,— в белом бархатном платье, девочка низенькая, но толстая-претолстая, с одутловатыми щеками, набеленная, нарумяненная, рассеребренная, раззолоченная и всякими драгоценными каменьями изукрашенная; она поклонилась и села благочинно подле своих родителей. Старики стали толковать об упадке торговли, о новом канале, о понижении цены на хлеб, которым торговал Куличев, о предстоящих банкротствах; старухи — о прошедшем гулянье, о шаре, который удивительно как высоко поднялся на воздух с человеческою фигурою, и о вчерашних богатых похоронах. Жених же не вымолвил ни одного слова с невестою. Такое явление было однако ж отнюдь не странно и оправдывалось скромностию молодого человека, более достойною хвалы, нежели осуждения. Куличевым было это даже очень приятно, потому что их милая Агаша не с этой стороны могла предупредить в свою пользу. Сваха Прасковья Савишна была душою разговора: как валдайский колокольчик, так и заливалася она перед всеми, подпускала шуточки насчет жениха с невестою, насчет пожилых жен и мужьев и получала себе одобрительный ответ в беспрерывном хохоте всей честной компании. Между тем на больших подносах в фарфоровых дорогих чашках стали разносить кофе, чай, вина, закуски. Таким образом время шло неприметно и со всяким удовольствием как для гостей, так и для хозяев. Семену Авдеевичу понравился особенно сам Куличев: его расчетливость, проницательность, оборотливость, наконец, уважение, которое хитрый старик умел показать в разговоре к будущему своему родичу насчет его удачных оборотов, а всего более богатство, везде очевидное, преклонили совершенно на его сторону самолюбивого скупца, который даже и подгулял на радостях. При прощанье сей последний дал ему понять, что готов породниться с ним от всего сердца.

С такими чувствами по радушном угощении расстались новые знакомые уже поздно ввечеру.

Молча Авакумовы возвращались домой. Старик обдумывал будущие свои спекуляции, старуха припоминала виденные ею великолепные наряды на гостьях, а сын... он при-

шел наконец в себя: все виденное, слышанное им возбудило его умственную и сердечную деятельность. Сначала обнаружилась, разумеется, первая: невольно он углубился в размышление о человеке вообще, о разделении на полы, мужеский и женский, об их назначении, различии и связи, о параллельных явлениях во всей природе... заиграла и фантазия: ему представилась картина счастливой любви; составился идеал прелестного существа, которое ему верит, одно с ним думает, чувствует, которое его понимает, любит, с которым он живет одною жизнию. Какое счастие, воскликнул он, забывшись в восторге, друг мой... и вдруг ему представилась в воображении чучела, которую родители назначали ему в спутницы жизни. Он испугался, как при виде ядовитого насекомого, задрожал... «Нет, нет, никогда! скорее соглашусь на безумие, скорее... так... может быть... но осталось еще средство, последнее, — подождем священника: какое действие произведет на родителей его посещение? Если же...»

С сею твердою мыслию бросился он нераздетый на стул и уснул глубоким сном вплоть до позднего утра.

Между тем священник, удивленный своим открытием, все это время рассуждал о средствах, как уровнять пылкие порывы юноши, удержать его на одной дороге и направить к одной цели, как успокоить его волнующееся сердце, которое ко всему стремится и ничего не достигает, как дать ему столько же внимания, сколько он имел остроты и проницательности, — как наконец убедить его родителей на то, чтоб они согласились отказаться на время от своих прав над сыном и позволили ему заниматься под руководством своего духовного отца. Последнее — было всего труднее. Зная упрямство Авакумова, он никак не надеялся достигнуть вдруг своей цели; но, решившись употребить все свое ораторское искусство, решившись воспользоваться своим званием, знакомством, он никак не боялся и совершенной неудачи. Обдумав все, он ожидал с нетерпением назначенного дня.

Добродетельный старец! Напрасно ты беспокоился, тосковал, когда долго не представлялись твоему воображению удачные средства, напрасно им радовался, напрасно наконец принимал жестокие брани за столбняк от своей взыскательной супруги! Судьба Гаврилы уже решена отцом.

В четверг, рано поутру, помолившись на коленях пред

своею образною, добрый отец Феодор пошел к Авакумовым, и вот какими неожиданными словами встретил его веселый хозяин:

— Проздравьте нас, батюшко; у нас затевается свадьба.

— Какая свадьба? Здравствуйте, Семен Авдеевич!

— Милости просим — сына женим.

Можно представить себе удивление посетителя!

Собравшись несколько с духом и увидев, что наступила минута решительная, что должно переменить план, действовать или теперь, без дальних проводов, или никогда, он поздравил Семена Авдеевича по его требованию и начал исподволь рассуждать о его сыне, о молодых его летах, о верной надежде всегда найти выгодную невесту, как по состоянию его родителей, так и по отличной репутации. Потом, заметив удовольствие самолюбивого собеседника, искусный оратор стал говорить о великих способностях Гаврилы, которые заметил в нем в продолжение краткой беседы о пользе, которую он может принести отечеству своими услугами, и, наконец, о славе, которою может возвеличить все семейство, если дадут ему средства заняться науками.

— О каких науках говорите вы, отец Федор? — воскликнул купец, удивившийся в свою очередь. — Наше ли это дело купеческое? Разве без нас мало дураков, которые смотрят в яму и в ад с этими науками?

Священник истощал все свое красноречие на убеждение этого закоренелого невежи, что науки, во благо употребленные, в духе святого Евангелия, обогащают, прославляют, счастливят государства; помогают человеку уразуметь благодеяния господа и достойно благодарить его и наконец отверзают ему райские двери.

— Отец Федор! и без ваших наук мы прожили век не хуже других. Посмотрите, — у соседа сын учился в школе, да и надавал на отца фальшивых векселей на сорок тысяч, — шутка! — вот тебе и науки! Хоть бы их с корнем вон!

— Все можно употребить во зло, — отвечал священник — и, увидя свою неудачу с этой стороны, стал обращать речь на другую и начал доказывать, опираясь на божие слово, в какой ответственности пред богом находятся и какому наказанию подвергаются родители, если препятствуют детям в их благих намерениях.

— Если правду вам сказать, отец Федор, — прервал речь его сердито старик, вставший с своего стула, — мы толчем с вами воду. Я ударил по рукам с Куличевым и слово

свое сдержу. Спасибо вам за ваши науки и за ваши советы, а впрочем у меня уж и у самого седые волосы.

Священник с горестию увидел, что ему теперь больше делать нечего, что он своею неуместною проповедию может ожесточить упрямца и сделать больше вреда, чем пользы, своему любимцу, что должно надеяться еще на время — сказал несколько слов в утоление его гнева и распрощался с ним, — а вместе с женою его и с сыном, которые тогда вошли в комнату.

— Сын мой, — сказал он юноше с глубоким вздохом и слезами на глазах, давая свое благословение, — претерпевый до конца, той спасен будет.

— Дух бодр, но плоть немощна, —отвечал ему твердым голосом несчастный, услышав такое наставление и поняв с ужасом, чем кончилась беседа.

— Каков мудрец, — сказал Семен Авдеевич, оставшись один с своим семейством, — подъехал ко мне с науками. Нет, брат, старого воробья на мякине не обманешь. Ну, Гаврило, тебе бог дает славную невесту.

— Батюшко, я не хочу жениться,— отвечал ему сын отрывисто.

— Как не хочешь жениться! — воскликнул старик с гневом. — Ведь я приказываю. Это еще что? Иль поп надул тебе в уши такие науки?

— Глупый, — продолжал он чрез минуту, одумавшись, что в такое время лучше вести дело тихо, — ведь за невестою полмиллиона.

— На что мне они?

— На что! мы заведем контору в Петербурге, — отвечал почти с улыбкою старик, невольно обрадовавшийся случаю высказать любимые планы, которые завертелись у него в голове с третьегоднишнего смотра.

— А потом что?

— Мы удвоим свои обороты, сами станем выписывать товары и будем получать барыш двойной.

— А потом что?

— Потом мы заведем ситцевую фабрику, почище Федоровой,— давно уж хочется мне утереть нос этому гордецу.

— А потом что?

— Купим себе завод в Перми: там нынче, говорят, золото находят под каждым шагом.

— А потом что?

— Потом, разумеется, станем ворочать миллионами. Да кой прах,— закричал опять грозно опомнившийся старик,—

об чем стал я говорить с тобою! Разве это твое дело? Я так хочу, и дело кончено.

— Батюшко, позвольте мне в первый раз от роду сказать вам одно слово. На что нам миллионы? Нас только трое. Нам довольно и того, что имеем. Ведь лишние — и миллион, и рубль — равны.

— Миллион и рубль равны! да что ты за сумбур, что ты за науку несешь? Или ты вовсе рехнулся? Слушай, Гаврило, много пустого говорил я и с тобою нынче. Вот тебе мое слово: я хочу, чтоб на той же неделе был ты женат на Куличевой, и не будь я Семен Авдеев Авакумов, если этого не сделается.

— Решительно ли вы говорите это мне, батюшко?— спросил его юноша.

— Да.

— Решительно ли вы мне говорите это? — повторил он таким голосом, от которого мать его невольно перекрестилась.

— Решительно!

Юноша умолкнул. В нем боролись страсти. Он смотрел на образ, на мать, на отца, дрожал и наконец стремительно бросился к ним в объятия, осыпал их горячими поцелуями, прижимал к своему сердцу и обливался горячими слезами.

— Простите, простите меня, мои добрые родители,— повторял он, рыдая на их груди, и выбежал из комнаты в свою светелку.

Старики не понимали такой внезапной перемены и в изумлении смотрели друг на друга.

— Что с ним сделалось, с моим другом сердечным? — сказала наконец растроганная мать.

— Верно, он опомнился, — сказал старик, вышед из недоумения, — ведь он не глуп, хоть поп и хотел учить его наукам. Ну, слава богу, я рад, что все хорошо окончилось. Волею, вестимо, дело все лучше, чем неволею, — и старики занялись разговорами о предстоящей свадьбе. Марья Петровна начала высчитывать, сколько подарков должно припасти для невестина поезда и вообще какие распоряжения должно сделать к свадебным пирам, с кем посоветоваться о поварах, кондитерах, музыкантах, какие покои должно отвести молодым, где поставить брачную кровать. У старика не выходили из головы миллионы, и он беспрестанно твердил, что должно торопиться и что только такою скорою мерою можно положить конец черной немочи сына.

Таким образом прошло утро и наступило время обеденное. Семен Авдеевич выпил уж рюмку травнику и закусил, девки давно уже собрали на стол, — наконец Марья Петровна повестила, что щи поставлены.

— Теперь за обедом мы помиримся с нашим Гаврилою,— сказал старик, — кликните его.

Но откликнется ли он?

На двор въехала телега в сопровождении квартального, лекаря, бутошника и какого-то купца. На этой телеге привезен был мокрый, бледный труп Гаврилы.

Приехавший купец, старый знакомец, вошел поспешно в комнату, где веселые старики собирались обедать.

— Молитесь богу, Семен Авдеевич и Марья Петровна, и скрепите ваше родительское сердце. Сын ваш бросился с Каменного моста и утонул.

— Ах!

Мать упала в обморок. Отец остолбенел. Купец продолжал:

— Я проезжал мимо, увидел сумятицу и спросил: что такое? Мне отвечали, что какой-то молодой человек посередине моста, улучив время, когда народ был только с краев, перекрестился на Кремль, поклонился на все стороны и бросился в реку, в то место, где вода подле свай бьет сильнее. Я полюбопытствовал и остановился. При мне бросились рыбаки в лодке, долго искали и вытащили тело. Тотчас узнал я по лицу Гаврилу Семеновича и выкинул сто рублей для рабочих, чтоб усерднее и скорее стали откачивать; но уже было поздно, и он скончался. Полиция хотела было взять тело на съезжую, но я упросил знакомого частного, чтоб такого позора вам не делали и позволили отвезти тело домой. Вот оно, смотрите — на дворе.

Мать лежала без чувств. Старик слушал речь и не слыхал ее и страшно поводил глазами. Смертная бледность покрывала лицо его.

Перепуганные домашние бросились к священнику. Сей прибежал немедленно, с воплями бросился на труп молодого своего друга, над которым выли несчастные родители, и осыпал поцелуями.

— Примите с покорностию наказание, — сказал он наконец преступникам, собравшись с духом. — Вы заслужили его,— но милости его несть числа. Молитесь и не отчаивайтесь. Сыну вашему там лучше. Ах, несчастный, — прибавил

он про себя, вспомнив, какой конец положил себе нетерпеливый юноша, — ты лишился и этого.

Священник велел себя повести в его комнату. Там на столе нашел он письмо к себе следующего содержания — последний глас страдальца, которому судьба назначала быть вторым Гердером или Ломоносовым:

«К тебе, святый отец, дерзаю я обратиться с последним словом своим на земле. Не отвергни его. Моего терпения не стало больше. Меня хотят убить тысячью смертями. Я выбираю одну. О! может быть, она тяжелее тысячи, может быть, на небе я буду еще злополучнее, чем на земле. Что делать! Чувствую, чего достоин я. Молись обо мне. Много может молитва праведного. Ты один на земле был добр для меня. Не оставь и в могиле.

Еще одна просьба, сердечная просьба. Утешай моих родителей. Несчастный! Сколько горя я делаю им! каким позором покрываю седые их головы! Они не виноваты. Как им было понимать меня!

Исповедуюсь пред тобою в последнем грехе, которого не хочу унесть с собою в могилу: смерть мила мне еще как опыт. Молись, молись обо мне. Целую, недостойный, руку твою».

Юношу погребли близ кладбища, за Серпуховскою заставою направо от большой дороги. Туда всякой день приходила пешком мать его и горькими слезами орошала землю, покрывающую прах ее возлюбленного сына. Там, на его могиле, под деревянным крестом нашли ее однажды мертвую. Старик торговал по-прежнему, но и он стал задумываться чаще, а иногда на глазах его видели даже слезы, которые утирал он украдкою от своих прикащиков.



А. Ф. Вельтман



1800–1870





ЭРОТИДА



Это было, кажется, в прошедшем году в августе месяце... точно.

Званые гости съехались в один дом праздновать *красный день* хозяйки.

Семейство было *средней руки,* жило не на *большую ногу.* Обед был вкусен и весел. Хозяин пил за здоровье гостей, гости за здоровье молодой хозяйки и поэта: так величали добрые приятели самого хозяина, который — не при нем будь сказано — умел слагать стихи, вроде *«на прыщик Делии»*, и сочинять журнальные повести.

После обеда, по обычаю, дамы пошли в гостиную, мужчины уединились в кабинет жечь табак.

После-обеда, в обществе, в беседе приятельской, есть живой журнал. В это время выполняются экспромтом все статьи тяжелой и легкой литературы, критики и смеси.

В одном углу, с сигаркою в зубах, сидит тучная статья сельской промышленности и хозяйственной экономии, под заглавием: *о пользе свеклы и картофеля.* В другом углу, раскинувшись на диване, *философия* трактует о различии философии и филозофии; подле *филологическая статья* до-

казывает, что слово филология составлено из φιλος — друг и λόγς — слово; что французское слово filoi — мошенник, обманщик — имеет корнем своим также слово φιλος, получившее превратный смысл с тех пор, как люди стали употреблять слово *друг* как лучшее оружие для обмана; и что от слова λόγω — говорю — происходит русский глагол *лгу*, ибо *говорю* и *лгу* некоторым образом единозначительны.

Тощее *стихотворение,* затянувшись украинским вахштафом, ходит Эолом по комнате и ропщет про себя куплеты.

Историческая статья, заложив руки в боковые карманы, излагает свое мнение о хаосе времен и народов; *механика* — о различии стремления к центру и от центра; *метамеханика* — о законах духовных движений в природе; *геология* — о расширении толщи земной; *ботаника* — об общественной и частной жизни растений.

Но частные разговоры сливаются наконец в *смесь.* Внимание общее к слухам, новостям, остротам, городским сплетням... Только *критика* сидит надувшись, слушает и прислушивается, смотрит и всматривается, все видит и ненавидит.

После-обеда происходит незаметно. Цель жизни исполняется: пища варится хорошо, душа не тоскует, не измеряет времени.

Так началось *после-обеда* и у поэта. Сперва поступила философическая статья: *что такое женщина?* потом механическая: *о стремлении к сердцу и от сердца;* потом астрономическая: *о светилах любви;* потом агрономическая: *о возделывании женской души и о причинах неурожая семейственного счастия;* потом начался критический разбор женщины во всех отношениях; потом смесь, рассказы, анекдоты...

— Я не умею рассказывать,— сказал хозяин,— но прочту вам быль о том, на что женщина может решиться из любви.

— Очень, очень рады!— вскричали некоторые из гостей, но бо́льшая часть нахмурилась при слове *чтение.* Поэт этого не заметил, вынул тетрадку из конторки, поставил перед собой стакан воды и начал читать следующее.

ЧАСТЬ I

Бригадир.— В наше блаженное время.— Женихи.— Улан.— Он знает приличия.

I

Около 25 лет тому назад бригадир Хойхоров (предок его был вывезен с Кавказа) доживал свой век в поместье, высо-

чайше дарованном ему за заслуги. Он был из числа тех людей, которые хвалят только свое прошедшее, любят старые привычки, как старое вино, не видят добра в будущем и думают, что все окружающее их теряет свою силу, свою красоту, портится, клонится к разрушению.

Воспоминание о прошедшем имеет какую-то особенную приятность, но у старожилов нашего времени есть какая-то чудная страсть или, может быть, и пристрастие к временам Екатерины. Когда они заведут речь о своем *прошлом*, на щеках их выступает румянец, в очах заблещет молния.

«Теперь все коротко: и платье, и ум, и жизнь людей. Где теперь такие люди, какие бывали в наше время?— Румянцев, Потемкин, Орлов, Суворов, Шереметев... Истинные вельможи славою, честью и богатством!

Бывало, Петр Борисович или Николай Петрович вздумают попировать, созвать гостей в Останкино, в Кусково... Вся дворня во французских, шитых золотом кафтанах!.. От заставы Московской вплоть до дачи огородят собою дорогу по обе стороны сорок тысяч душ Московской губернии: мужички, купцы да крестьяне, тысячники да мильонщики, в синих бархатных да плисовых кафтанах, а молодицы и девицы в парче, увешаны жемчугом, накрыты золотой фатою!.. А поедет сам цугом, в раззолоченной карете, в золоченых шорах, впереди скороходы, сзади гайдуки в сажень!.. За ним вся знать московская. А в Кускове сто поваров обед готовят. А обед часов пять тянется; носят, носят, золотым блюдам счета нет!.. откушают — почетные садятся играть в *преферанс*, в *ламуш*, в *панфил*, в *тресет*, в *басет*, в *марьяж*, в *ломбер*... Дамы идут прогуливаться в сад, деревья от маковки до корня унизаны ананасами, апельсинами, персиками... На пруду раззолоченная шлюпка, роговая музыка гремит, как на страшном суде. Потом театр воздушный... что за актеры!.. а все доморощенные!.. про кулисы и говорить нечего: машина на машине — сами двигаются!.. Потом откроется бал... пойдут *полонез*, *пергурдин*, *манцмаску*, *менуэт*... А что за наряды! Боже великий!.. одного золота да блесток, что на пол просыплется, нашему брату на целую жизнь на пропитанье достало бы — полотеры пудами на выжигу продают!..

Бывало, сама государыня дивится: ну,— говорит,— Николай Петрович, богат ты и тороват! угостил! где нам за тобой тягаться?»...

Таким образом и бригадир Хойхоров видал прохождение небесных и земных комет и не дивился звездам.

Пережив жену свою, он остался с единородной своею дочерью *Эротидой* (он любил мудреные греческие имена и при рождении дочери выбрал это имя из *Гипотипозиса,* или из *Полного месяцеслова);* ему понравилось имя Эротида — любовь на лице являющая.

Он взялся сам воспитывать дочь свою.— Не поручу,— говаривал он еще жене своей,— не поручу ее ни *мадаме,* ни *мусье.*

— Помилуй, батюшка мой,— говаривала ему жена,— да ты только и знаешь, что свой артикул!— Но с женою умерли противоречия, и бригадир, нарядив дитя в амазонское платьице, накупил ему для забавы деревянных солдатиков, ружье, барабан, коня на колесах...

«Эротида будет у меня хват девка!» — думал он. — Ну, Эротенька, марш, марш! — и Эротенька, перекинув через плечо перевязь барабана, взяв в руки ружье, марщировала пред отцом, — отец любовался.

Когда Эротиде минуло 12 лет и деревянный конек стал уже ей не по росту, бригадир выучил ее ездить верхом, брал с собою в отъезжее поле. Изучение же наукам, т. е. чтению, письму и закону божию, поручил своему сельскому священнику отцу Лазарю, доброму старцу, любившему слушать бригадирские рассказы о воинских подвигах.

Вместе с бригадиром постарел и деревянный дом его, и все дворовые строения. Стены и кровли почернели, обросли мохом и муравою. Но кому не понятна любовь к *привычному месту?* кто не чувствовал какой-то неловкости, когда в его комнате старая мебель заменялась новою?

Все стены держались только подставами, а бригадир и не думал о перестройке дома.

— Вот уже! сколько могу припомнить, ваше превосходительство,— говаривал ему отец Лазарь,— домик-то ваш при мне стоит десятка четыре лет, а строился он до предместника моего... из опасенья бы изволили перестроить...

— И, братец,— отвечал обыкновенно бригадир,— простоит еще с меня; что мне в новых палатах? Теперь архитекторы, упаси боже, построят дом, ни приюту, ни тепла, да еще того и гляди провалится, задавит. Вот, недалеко пример, у соседа... как бишь?.. Ну, да провал его возьми, и вспоминать не стоит!

— Касьян, Касьян... дай бог память!..

— Какой Касьян, братец, я сроду ни одного Касьяна не знал, а с его отцом был закадычный друг. Сын мотыга, гордец, француз, построил себе дом в Москве, переехали жиль-

цы. Первый снег — стропилы не выдержали, рухнулись, потолок провалился... всю, братец, семью было передавил...

— Слышал, слышал, ваше превосходительство... дом Григория Михайловича...

— Пора, отец Лазарь, надуматься. Да ты скоро забудешь, как свиных детей зовут...

— Виноват... ваше превосходительство.

— То-то, братец, ну, ступай, ступай, учи Эротиду...

— Хотел было я... изложить мою просьбицу... ваше... превосходительство...

— Что, верно, опять на посев хлеба? Нет, отец Лазарь, починать закрома для тебя не буду.

Таково было обхождение бригадира со всеми; немножко грубо, но зато простодушно. Сло́ва *вы* от него никто не слыхивал; для приличия он не хотел отступать от грамматического правила. Но, грубо говоря, он был добр на деле. Священник был уверен, что на другой же день будет ему прислано с господского двора и жита, и проса, и ячменю, и овса. Соседи его любили и съезжались к нему раза два в год, в торжественные дни и *праздники в кругу.*

Только молодежь поотучил он от себя. Его первый вопрос был: «А тебе, братец, который годок?.. пора, пора на службу! в двадцать лет стыдно соску сосать!.. на службу, на службу, и не показывайся мне на глаза до капитанского чина; ну, в капитанском чине можно и в отпуску побывать».

Таким образом, круг бригадира ограничивался *живыми преданиями глубокой старины.*

Мужчины в пудреных париках, с сальными косами, с мешочком на конце вроде хлопушки, в шитых золотом бархатных или атласных кафтанах с пуговицами фарфоровыми, стальными, шитыми блестками, с медальонами, в плисовых сапогах...

Дамы постарше — в громадных атласных *калишах* на проволоке, с блондами вокруг лица, с бочка́ми вместо фижм, в пышных *полонезах,* с прорезами сбоку, в которые продевались полы атласной юбки и висели, как *драпри* окон из двух разноцветных шелковых материй.

Дамы средних лет, за полвека, в чепцах *суворовских* или в прическе, обильной *кудрями,* сверх коей *шифоне* из индийского шелка соединялся с унизанным жемчугом черным *бордоном,* продетым сквозь прическу; в *мантильях* с длинными полами и капишоном; в башмаках белых, вышитых блестками и стальными бусами, с каблуками с два вершка вышины, с носками, как нос стерляди.

Дамы же молодые, еще не прожившие половины столетия, красовались прической из волос, напудренных и взбитых вроде лебяжьего пуха; несколько разноцветных перьев расстилались по одной стороне головы; их одежда не отставала от моды, их платья были в три полотнища, талия под мышкой; белая шея прикрывалась прозрачным кисейным платком; дебелые руки обнажены до плеча, но в лайковых длинных перчатках; на ногах *марокские* башмачки красного цвета.

Все они ласкали 14-летнюю Эротиду, называли малюткой, обходились как с ребенком и только что не брали ее к себе на руки.

II

Таков был бригадир, вся родня и все соседи его; но дочь его, Эротида, была чудная девушка. Несмотря на то что воспитание отцовское готовило ее в драгунскую службу, бог весть где переняла она все женское, все милое, привлекательное. Несмотря на то что отец учил ее фрунтовому шагу, она шагала не в аршин; ножку ее нельзя было назвать ногой, потому что и на 14 году, укладывая ее в башмачок, как в колыбельку, можно было припевать: «Баю-баюшки-баю, баю крошечку мою!» Глаза Эротиды были чернее всего на свете, а ресницы подобны тем, которые Фирдевси сравнил с копьем героя Кива в башне Пешена; ее волоса, распущенные локонами до плеч, были самого лучшего каштанового цвета, любимого всеми веками, исключая то время, когда была мода на рыжих да красных. Стан ее был величествен, перехват тонок, грудь пышна, шея бела, румянец пылок.

И вся она была ангел, в котором еще нет зародыша разрушения, который еще не отравлен горем жизни, не заражен злыми привычками окружающих. Это была дитя-дева, не прикованная еще к земле ни страхом, ни надеждами.

Не рассыпайте же перед ней, люди, семя ласкательства, не маните на корм эту птицу небесную!.. не вынуждайте ее любить вас, не требуйте клятв на постоянство, не топите ее в своих желаниях!.. дайте налюбоваться на диво божие, дайте помолиться на нее! Когда пахнет тление, прикоснется и до нее холодная рука времени,— тогда возьмите ее себе!

Настал Эротиде 15-й год. Друг бригадира, богатый сосед,

холостяк, отставной секунд-майор, которого грудь была украшена золотым крестом Очаковским, который страдал подагрою лет за 30 до рождения Эротиды, сделал следующее предложение другу своему:

— Послушай, братец; ты знаешь, я жизнь провел аккуратно, без долгов, имею состояньице и, слава богу, силы... Мы, братец, с тобою друзья давние, искренние... отчего бы и не породниться... благо есть случай... твоя Эротида... невеста, братец...

— И, братец,— отвечал ему бригадир, — у Эротиды есть уже один дряхлый отец, к чему ей навязывать на шею другого!..

Разобидели эти слова секунд-майора; перестал он ездить в дом к своему другу.

Таким образом Эротида избавилась от одного жениха.

Явился другой. Он вручил бригадиру письмо от своей тетушки, старого друга покойной бригадирши.

— Рад, рад знакомству,— сказал бригадир, прочитав письмо, в котором мелыком упоминалось о будущности Эротиды и потом следовала длинная рекомендация вручителю письма.

— Рад, рад знакомству! — повторил бригадир, — а что, батюшка, где изволишь служить?

— Я служил в 1-м Мушкатерском полку капралом, но по домашним обстоятельствам вышел в отставку; а теперь-с, после родителей, полный хозяин именья и буду очень счастлив...

— Молоденек еще, молоденек, государь мой, служить бы да служить.

— Здоровье не позволяет-с.

— А, дело другое; точно, знаю по себе, служба требует сил и здоровья, точно так же, как и женитьба. Ну, что ж делать, лечиться, лечиться должно; а у нас в уезде прекраснейший лекарь...

— Но...

— Да, да, поправишь здоровье да опять на службу; потому что, братец, что ж это за чин: капрал в отставке? Ну, в военной тягостно, куда-нибудь в статскую; бумаги переписывать не велик труд.

Не по душе гостю были слова бригадира; он отвернулся к окошку.

— Какое прекрасное местоположение!

— Не худо, очень не худо.

Кукушка высунулась из часовых дверец, прокуковала час за полдень.

Гость встал с места.

— Второй уже час, а мне еще до обеда нужно проехать пятнадцать верст.

— Прощайте, прощайте, батюшка, рад знакомству!

Таким образом Эротида избавилась от второго жениха.

За третьим дело не стало. Приехала к бригадиру двоюродная сестра его — женщина, у которой повсюду есть делишки, везде заботы и хлопоты.

— Ну, братец, насилу притащилась к тебе! что за дорога!.. Берлин мой совсем расколыхался. Знаешь ли что? сядь-ка поближе... Эротида у тебя хоть под венец... Видал ты у меня... знаешь Игнатья Ивановича?

— Как не знать палатской крысы, которую женил бы я на кошке.

— Как ты злословишь людей, не знамши их в глаза! Это ни на что не похоже! Я, сударь, в доме моем бесчестных людей не принимаю!..

— Право?.. Ну, ну, не сердись, сестра. Я говорю по слухам, а пословица говорит: «не всякому слуху верь».

— То-то же, сударь... это честнейший человек!

— А что, он еще председателем?

— Председателем; да в какой любви и чести у генерал-губернатора! Сильная рука! далеко пойдет!

— Гм! Есть у меня дельцо... Помнишь тяжбу за чересполосную землю...

— Что ж, *неужли* выиграет у тебя эта голь-дворянин?

— Да, почти; а землицы-то жаль.

— Эх, братец, да я познакомлю тебя с Игнатием Ивановичем покороче. Да он все для меня сделает; уж твоему ли делу чета дело Рытвиных.

— Ну?

— Выиграли.

— Не знаю дела Рытвиных, а я владею землею не по праву; документы все у противника; как ни бейся, а придется еще и приплатить *тыщаги* две...

— Пустяки! И земля и деньги пойдут в приданое Эротиде.

— Недурно бы... а Эротиду пора выдавать замуж... А что, сестра, каков человек Игнатий Иванович?

— Партия хоть куда. Человек в ходу, не в летах, имеет состояньице.

— И честной души?

— Честнейший, благороднейший, в этом я тебе круглая порука.

— Помилуй, сестра, не сама ли ты поручилась, что он пособит мне ограбить бедного человека!

Старуха взбесилась, уехала.

Таким образом Эротида избавилась от третьего жениха.

III

Бригадир отстаивал дочь свою от нашествия женихов; сама же Эротида и не думала о женихах, потому что сперва должно иметь хотя теоретическое понятие о любви, а она была окружена со всех сторон прошедшим веком, который не любил говорить при девушках о том, чего им знать не надлежало.

Эротиде очень веселы казались *муштры* воинские и рассказы отцовские про походы и как в турецкую войну *меркентерам* турки головы резали.

Она почти не скидала амазонского платья, которое состояло из *пьеро* мундирного покроя, палевого тафтяного жилета и пуховой шляпы, убранной лентами.

Сердце ее было свободно, душа чиста, ее небо ясно, поле жизни усеяно цветами, а в характере Эротиды было что-то неробкое, решительное.

Итак, Эротида не ведала любви; но наступает время, в которое оболочка кокоса разрывается с громом.

Одному взводу уланского полка назначены квартиры в селе бригадира. Взводный командир поручик Г...ъ, прекрасный собою молодой человек, отчаянная голова, вступая в село, знал уже от *языков*, кто таков помещик, в каком он духе, какова дочь его, который ей год, как его зовут, как ее зовут и пр. Как знаток военного искусства, он основательно изучил правила, что военному человеку должно иметь во всем предвидение, пользоваться малейшим случаем, иметь хороший глазомер, иметь решимость и что, вступая в страну, должно разведывать о образе мыслей жителей, о привычках... и т. п.

На сером коне, который изогнул шею в кольцо, уставил хвост трубой, ехал он, подбоченясь, мимо окон бригадирского дома.

Все, что только было живо в доме, высыпало на двор, унизало собою окны; сам бригадир сел также у окна и любовался отважным, дебелым фрунтом улан; а Эротида загляделась на самого предводителя.

Проезжая мимо окон, поручик сделал вежливый поклон, приложил руку к киверу; из-под руки окинул быстрыми очами Эротиду.

Бригадир принял это за чинопочитание, а неробкая Эротида в первый раз чего-то испугалась, вспыхнула, отшатнулась немного от окна.

Поручик, не хуже искусного поселянина, с первого взгляда узнавал добрую, не паханную еще почву, на которой каждый взор, каждое слово взрастет и даст *сторицею*. Поручик знал *приличия:* он нигде не пропускал являться с *истинным почтением* к родителям и с *совершенною преданностию* к дочерям.

И вот явился он к бригадиру во всей форме, почтил его именем ваше превосходительство, спросил: какие угодно будет ему сделать распоряжения в отношении помещения и продовольствия взвода.

Бригадир не устоял от толиких учтивостей и *таковою* уважения к его заслугам. Он усадил поручика и три часа сряду говорил убедительным языком о достоинстве прежней службы, как он *храбрость, искусство и верность в различных акциях чрез знатные службы оказал* и как он аккуратен был в *обстоятельствах* и *околичностях* службы, как исправен был в представлении начальству *инвентариума, сиречь справной росписи* об вверенном ему полку, амуниции и всяких чинов людей, как командовал в турецкую войну *корволантом* и т. д.

Терпеливо, очень терпеливо, как нельзя терпеливее слушает Г...ъ старика; а кому не нужны терпеливые слушатели?

Разговор продолжался о князе Таврическом. Современнику Екатерины, самовидцу чудес прошлого века, было о чем слово сказать; повесть длинная, бесконечная, в которой бригадир играл роли: капорала, каптенармуса, сержанта, вахмистра, прапорщика, капитана над вожами, капитан-поручика, секунд-майора и т. д.

Еще не был кончен рассказ, как вошел дворецкий, в сером французском кафтане до пят, и доложил, что «кушать, дескать, подали!»

Поручик знает приличия; встал, пристукнул шпора о шпору, прощается с хозяином; но бригадир удержал его обедать. Вышли в залу; явилась и Эротида. Бригадир не любил рекомендаций, но поручик пристукнул шпора о шпору, а Эротида присела, разрумянилась.

Бригадир уселся на своем обычном месте, в голове стола,

по правую сторону посадил гостя, по левую села Эротида; прочие приборы были заняты домашними безгласными существами.

Бригадир продолжал свой рассказ, поручик внимательно слушал; но его взоры...

О, глаза ужасная вещь! особенно когда они, выходя из пределов своей обязанности — *смотреть* и *видеть*, вздумают *говорить*. Краткость, ясность, убеждение, сила, мысль, душа... и кому ж говорят они? — сердцу, этому чувствительному, малодушному поклоннику очей, ланит, уст, персей... этому бедному заключенному в мрачных недрах, этому сердцу, которое и от радости и от печали готово разбить всю грудь, готово выпрыгнуть на подставленную ладонь каждого хитреца, каждой плутовки в два аршина и два вершка ростом, у которой взор острее солнечного луча!..

Сколько раз Эротида покушалась рассмотреть пристальнее поручика; поднимает взор, а поручик поймает его и отразит таким взглядом, что Эротида душевно сердится, зачем сидит она и против окон и против поручика; сердится она и на лицо свое, которое то и дело загорается так, что ничем не потушишь.

Но обед кончен, рассказ кончен, ратафию поднесли, кофе подали, из-за стола встали. Поручик прищелкнул шпора о шпору, отцу поклон, дочери взор, прощается.

— Прощайте, прощайте, г. поручик, милости просим и вперед!— говорит бригадир, надевая колпак, признак, что его высокородие, а в случае особенного уважения, его превосходительство, тотчас после обеда любит соснуть.

Но г. поручик знает приличие; без особенного приглашения он уже не является в дом; только служебная необходимость по нескольку раз в день заставляет его галопировать мимо бригадирских палат.

Эротида нашла себе работу подле окна; в ней родилась охота к женским рукодельям, что-то шьет она в *тамбур*, верно подарок своего рукоделья папиньке в день имянин.

Поручик проезжает, кланяется так ловко, мило. Эротиде ли быть неучтивой, не отвечать на поклон?

Наступает день имянин бригадира. Поручик приглашен к *обеденному столу*. Он является так почтительно, так умно поздравляет его превосходительство со днем ангела. Нельзя не поздравить и дочери: этого требует приличие.

Роброны и миниатюрные чепчики на самой вершине огромной прически, основанной на войлоках и укрепленной булавками в пол-аршина величины, опасны и для отважно-

го *волокиты;* но Г...ъ находит удобный случай сказать несколько слов Эротиде.

Что говорил он ей, что отвечала она ему, трудно, невозможно повторить. В русском языке на словах соблазн чувств еще не существует; почти до самого всемирного выражения «я вас люблю» уста молчаливы, глупы и рады, рады, что за них говорят очи.

Одно только умное и обдуманное сказал поручик:

— Я слыхал, вы охотницы ездить верхом.

— Я очень люблю верховую езду,— отвечала ему Эротида.

— Если б я был столько счастлив... (выражение, без которого нельзя обойтись), если б я мог сопутствовать вам в ваших прогулках...

— Эротида, Эротида! — раздалось из гостиной. И Эротида не успела отвечать: «Это было бы мне очень приятно».

Прошел день имянин, прошло несколько дней, во время которых, однако же, бригадир не скучает без поручика, хотя и некому было рассказывать «события прошедших дней, преданья старины глубокой». «Нет,— думал он, сам себе на уме,— знаю я эти кивера набекрень... тотчас приставят мазу!»

И бригадир продолжает свою обыкновенную жизнь, ездит с дочерью прогуливаться верхом, но без сопутника.

Он делал дело, и поручик также не забывал дела, только у Эротиды валилось дело из рук.

Один раз Г...ъ случайным образом встретился с старым кавалеристом и прекрасной амазонкой в поле. Поклонившись, он уже намерен был пристроиться к фрунту, обратив *глаза направо,* но бригадир почтил его вопросом:

— Куда, г. поручик?

— Так, ездил без цели и намерения.

— О, что ж за прогулка без цели и намерения. Я вам советую проехать на мой свечной завод; любопытно взглянуть, как свечки макают. Вот, поезжайте по этой тропинке.

— Очень любопытно! — отвечал поручик, бросив горестный взор на Эротиду и прощаясь со встречными.

«А, злодей!— думал поручик, отправляясь по показанной тропинке,— постой, и на тебя есть фортель!..»

Дня через два Г...ъ является перед обедом к бригадиру, зовет его на травлю лисицы, лисицы старой, опытной.

— Вы увидите, что у меня за собаки!— говорит он.

Травля — страсть бригадира.

— Посмотрим, посмотрим, г. поручик, не угодно ли спустить свою лучшую вместе с моим Лучом.

— О, рад! Угодно заклад? Ухо на ухо.

— Хорошо!

Сборы недолги. Седлают коней для Эротиды и бригадира. Денщик поручика помогает; он свел уже знакомство со всею дворней, он чистит и поглаживает коня Эротиды.

Садятся, едут в чистое поле. Охотники отправлены вперед; красного зверя везут в клетке; собаки рвутся со свор.

Бригадир и поручик заводят разговор об охоте; Эротида галопирует подле отца; лошадка ее пляшет, гордится своим седоком... но вдруг прижала уши, замотала головой, замахала хвостом, пошла неспокойным, неровным шагом.

Наша амазонка отважно ездит, игра лошадки ей нравится, она затягивает уздечку... тс, тс!.. но лошадка ее закрутилась, взвилась, кинулась вперед стрелой, помчалась во весь опор; тщетны усилия Эротиды удержать ее.

Покуда бригадир успел ахнуть, Эротида уже далеко. Поручик успел уже догнать ее, схватить ее коня за узду, соскочить с седла... Конь вырвался из рук; но Эротида уже на руках.

— О, как счастлив я! — вскричал он, осыпая ее руку поцелуями.— Мне удалось спасти вас от опасности! Я сам бы умер, я не перенес бы малейшего вашего несчастия!..— Это все было сказано невольно, а что невольно, то простительно.

— Вы испугались, Эротида?

Эротида хотела отвечать: «Нет-с, ничего»; но какое-то женское чувство сказало ей, что необходимо маленькое беспамятство, смущение.

Запыхавшись от страха, подскакал отец.

— Что с тобой, Эротида?

Эротида, поддерживаемая поручиком, медлит отвечать.

— Благодарю, благодарю, г. поручик... Не знаю, что сделалось с поганой лошаденкой; кажется, такая смирная.

— Верно, чего-нибудь испугалась... — отвечал поручик.

Прискакали и люди, заметившие издали, что с барышней случилось что-то недоброе. Послали за коляской; коляска приехала. Эротиду повезли домой... задумчивую: испуг сильно подействовал на нее.

Нельзя избавителю от опасности не навестить спасенную и не узнать об ее здоровье.

Но какая страшная перемена после подобного случая во взорах спасенной. Она уже без боязни, без робости смотрит на спасителя — и из их взоров невидимый паук (верно, тот,

который соткал мир, по мнению негров) ткет паутину, опутывает ею крылатое сердце.

И вот настает время, свободно произносит язык, сперва:

— О, Эротида, я не пережил бы вас!.. о, этот случай показал мне, что в вас заключено мое благо!..

Потом спустя несколько времени:

— Эротида, Эротида! хоть одно слово!..— но Эротида молчит... но ее рука уже осыпана поцелуями... она сама уже в объятиях...

Но это сон, дерзкая мечта. Родитель почивает спокойно положенные часы на отдых после обеда: он, проснувшись, думает о благе дочери... Она уже возле него; ее щеки горят, сердце бьется, душа, как голубь, хочет выпорхнуть из тела.

ЧАСТЬ II

Карлсбад.— Ва-банк.— Опоздала.— Новая пациентка.— Снова ва-банк.— Убита!

I

В 1814 году, когда в Париже целая Европа праздновала низвержение маленького Капрала с плеч своих, большая часть русских офицеров — раненых, больных и *расстроивших* свое здоровье, были уволены в отпуск, на воды, на все четыре стороны.

Уланского полка ротмистр Г...ъ также торопится пользоваться водами. Украшенный знамениями победы над общим врагом, он хочет пожить на воле, испытать счастия *направо* и *налево*.

Давно наслышан он про Карлсбад, давно жаждал Карлсбада. Там воды текут по золоту, берега Теппеля и Эгера усеяны живыми цветами; там вода и любовь во 165° теплоты; там пьется, кроме воды, *благоуханное дыхание* страждущих меланхолией, бессонницей, отсутствием аппетита и всеми возможными припадками, для которых нужно рассеяние и 165° шпруделя[1] и любви,— любви, этого лекарственного недуга от всех недугов, этого опиума, возбуждающего деятельность чувств, этого дня среди ночи, этого блаженного страдания.

Может быть, Г...у полезнее бы были воды Висбаденские или Пирмонские, или даже Теплицкие, но Г...ъ предпочел Карлсбад — Карлсбад, который умнее было бы назвать Афродитенбад, потому что его воды есть Силуамский источник

[1] Здесь: источник лечебной воды *(нем.)*.

прекрасного пола, потому что и сама Венера в случае болезни не избрала бы для восстановления своего здоровья иных вод, кроме Карлсбада.

Итак, ротмистр Г...ъ едет туда.

Вот он уже вступает в границы Австрии, он уже проклинает мосты и мостики, на содержание которых обязан и он платить деньги, проклинает и гельд, и тринкгельд, и doutche Sprache[1], которого не понимает.

Но вот въезжает он в Карлсбад... и тут слышит он halt[2] и erlauben Sie![3] Привратник неторопливо продувает свою трубу, играет на трубе поздравление с приездом и за Frompe terstükchen[4] требует с Г...а деньги. Расплатился; но его останавливают еще двадцать вопросов, двадцать предложений и рекомендаций, печатных и словесных, всех гостиниц и table d'Hôte[5] Карлсбада: где ему угодно остановиться? на долгое время или на короткое? — поденно, понедельно или помесячно? — какие воды будет пить?

Надоели Г...у запросы.

— Все равно, куда хотите везите!— говорит он.

— Как это можно,— отвечают ему.— Здесь есть и дорогие заездные домы, и дешевые, Gott weiss[6], где вам понравится, из многого выбирают: тут есть и *Böhmische Saal*[7] и *Rothen Ochsen*[8], можно остановиться и под *Золотым щитом,* и под вывеской *Оленя;* может быть, вы любите играть в бильярд...

Выбирает Г...ъ *Золотой щит*. Нанял на месяц покой — являются новые посольства и предложения: какими водами будет пользоваться? угодно ли, чтобы его имя печатали в Badelist[9] за 30 крейцеров, или нет? хочет он иметь Badelist для прочтения или собственностию?

Ввечеру является у двери номера толпа Nacht-music[10], играет и требует денег.

Наутро является хозяин с предложением взять прием карлсбадской соли как необходимого средства для очищения перед пользованием водами.

---

[1] деньги, и чаевые, и немецкий язык *(нем.)*.
[2] стой *(нем.)*
[3] проезжайте! *(нем.)*
[4] трубные сигналы, или трель *(нем.)*.
[5] табльдот *(франц.)*.
[6] бог знает *(нем.)*.
[7] Богемский зал *(нем.)*.
[8] Красные быки *(нем.)*.
[9] список принимающих ванны *(нем.)*.
[10] ночной музыки *(нем.)*.

Наконец все предложения истощены; Г...ъ пациент Карлсбада. У него оцарапано плечо пулею, рука подвязана; а это так интересует всех земных существ, носящих шелковые эполеты, обшитые блондовой бахромой, вооруженных золотым кинжалом, на котором у пояса привешены часы,— всех земных существ, украшенных серьгами — серьгами! признаком рабства, по глупым преданиям Востока.

Г...ъ уже в каштановой аллее. Вместо меча у него золотой лорнет в руке, вместо мундира на плечах фрак; только широкие лампасы, сапоги с высокими каблуками и шпоры показывают, что он военный, и какой военный!— с перевязанною рукою, с крученым усом, с русыми волнистыми кудрями, с вскинутым плечом, с маленькой модной сутулиной, с пур-ле-меритом на шее и с 25 годами, означенными в формуляре в графе «сколько от роду лет?».

Все эти достоинства могут привлечь и дружбу, и любовь на свою сторону.

В несколько дней воды Карлсбада приносят свою пользу. Ротмистр уже со всеми знаком; у него уже полна комната военно-раненой молодежи; он уже может владеть рукой, метать *направо* и *налево, записывать, списывать* и *отписывать.*

Время летит, пробки летят; кипит молодость, кипит и шампанское. О, девы, девы! женщины, женщины!.. смотрите на эту молодежь, смотрите на эти 52 листа, которые означали у древних число недель в году, а 364, число очков всех карт,— число дней в году. Посмотрите, как каждый юноша и муж заботится, чтоб ему *рутировала дама,* с какою надеждою гнет он ее на *пэ,* и в душе и на столе *транспорт!* Но вот «ander Stück manier!»[1] поносит он свою даму, рвет на части, бросает под стол, встает из-за стола и идет мучить своими ласками первую встречную *сусанхен;* тщетно кричит она: Lassen Sie mich, herr Oberster![2]

Однажды в общей зале *Золотого щита,* где ежедневно готов список 200 блюдам для наблюдающих строгую диету, где есть и *Мельникер,* и *Унгер,* и *Рейн,* и шампаниер-вейн, кроме сладкой, соленой, кислой и горькой воды, где для моциону есть бильярд и карты, кости и фортунка, и трик-трак, и просто шашки, а для услаждения слуха — и слепые, и зрячие музыканты, и оркестр, и *оркестрино...,* Г...ъ, окруженный понтерами, *резал штос;* ему не везло счастие, его *оборвали;* молчали-

---

[1] «на другой лад!» *(нем.)*
[2] оставьте меня, господин офицер! *(нем.)*

во он отирал пот с лица, брал новую талию, рвал вдребезги старую, и стакан *каролину* стоял подле него, забытый...

Банк сорван. Г...ъ вынимает кошелек, высыпает на стол сто червонцев; это все, чем он может жертвовать.

Он уже прорезал талию, понтеры протрещали колодами, выдергивают по карте.

— Ва-банк!— раздался голос в угле стола. Ротмистр вздрогнул, взглянул на нового понтера. Это был молодой человек; лицо его было болезненно; густые, черные бакенбарды и навислые усы еще более придавали ему бледности. Он был в казакине, в чекчирах с широким малиновым лампасом.

Бросив кошелек на стол, он повторил:

— Ва-банк! Дама!

Г...ъ взглянул на него и продолжал всматриваться.

— Извольте снять,— произнес наконец он не равнодушно, положив на стол колоду.

Молодой человек снял.

Г...ъ берет колоду, обертывает очками кверху, скидывает попарно карты...

— Дама убита!— вскрикивают все понтеры в один голос.

— Баста!— говорит Г...ъ, дометав талию и загребая выигрышные червонцы.

«Это горяченький новичок,— думает он,— надо с ним покороче познакомиться».

— Не в добрый час поставили вы решительную карту.

— Да,— отвечал молодой человек,— мне не везет счастье.

— Несчастье в картах, счастье в любви!

— Этому я не верю... может быть, вы на себе испытали.

— Карты мне не везут!

— А любовь?

— Любовь? ну, в ней трудно проиграться тому, кто не ставит целого сердца на одну карту.

Молодой человек промолчал.

— Встречался ли где я с вами или у вас есть родные,— продолжал Г...ъ,— только что-то мне знакомо лицо ваше.

— Может быть, — сказал молодой человек, отворотясь к окну.

— Вы, верно, еще недавно здесь? — продолжал Г...ъ.

— Вчера приехал.

— В отпуску?

— Нет, в отставке, служил в Мамоновском полку.

— Если у вас здесь мало знакомых, то очень рад буду, если не откажетесь разделять со мною время. Вы где остановились?

— Под вывескою *Три звезды.*

— Поближе к водам!.. Вы, верно, туда идете теперь? И я иду прогуливаться, нам путь один; а я, между тем, вам как новому приезжему покажу, на что стоит обратить внимание в Карлсбаде. Вот, например, это «шёне[1] Кристинхен»!

— Lassen Sie mich, Kapitain![2] — вскричала молоденькая Кристинхен, служанка хозяйская, попавшаяся навстречу на лестнице и вырываясь из рук ротмистра.

Молодой человек, еще неопытный, как дева вспыхнул, потупил глаза; казалось, что это был первый урок в науке, для него новой.

Г...ъ взял его под руку; вышли на бульвар.

— Вы говорите по-немецки?

— Ни слова.

— Жаль! Русскому офицеру, знающему немецкий язык, здесь раздолье. Мне кажется, что женщины всего земного шара имеют какую-то особенную наклонность к русским... Ну, а здесь на водах необходимо волокитство; оно полирует кровь... Сегодня, кажется, все звезды на небе!.. Посмотрите! это больные! Верно, много опорожнено бокалов шампанского за их здоровье!.. За чье же здоровье они приехали сюда пить воду?.. А! вот и она!.. Как нравится вам это личико под голубой шляпкой?.. прелесть!

— Хороша.

— Только-то? Вы, верно, уже влюблены? Это равнодушие мне обидно. Но я все-таки рад, что и вы не будете в числе моих соперников... Я с ними разделываюсь à coup sur[3].

Дамы приблизились. Ротмистр бросил значительный взгляд на девушку в голубой шляпке; взгляд девушки был еще значительнее. Молодой человек заметил это.

— Совершенство! — вскричал Г...ъ, когда прошли дамы, — и еще лучше то, что не она, а ее маминька сожжет себя 165-градусным спруделем, потому что, по-моему, нет ничего хуже *залеченной* женщины. То ли дело цветок, не тронутый хроническою меланхолиею, в который не влито еще медицинского здоровья. Что толку в превращении розы в лилию!..

— А если любовь заботится об этом превращении?

— Все равно! О, да вы мечтатель, заразились вздохами. Стыдно! Ну, женщине, существу архичувствительному, дело другое, а молодому человеку вянуть от любви... Зайдемте

---

[1] прелесть *(нем.)*.
[2] оставьте меня, господин офицер! *(нем.)*
[3] точным ударом *(франц.)*.

кстати на почту; ко мне должны быть письма из полка... Потом опять на бульвар, а потом ко мне, если угодно, на русский чай...

Они подошли к окошку, где выдают письма. Ротмистр объявил свое имя, ему подали письмо.

— Ба!— вскричал он, ломая печать,— знакомая рука!.. Запоздалое, сладкое известие от 12 июня 1812 года! О, это любопытно! Пойдемте в аллею, присядемте. Кстати, вы, кажется, устали; слабость заметна по вашему лицу.

Они пошли в аллею, сели.

Г...ъ пробежал письмо и захохотал.

— Ну, скажите, пожалоста, будьте судьей. Еще в исходе 11-го года стоял я, со взводом, в селе одного бригадира, чудака старого покроя, у которого была дочь. Тогда я был еще моложе, ветренее, влюбился в девушку. За взаимностию дела не стало. Старику нельзя было и думать отдать свою дочь за меня, потому что у меня ничего не было за душой, кроме моего почтения. Я готов был увезти ее — не решилась: как можно без папинькиной воли выйти замуж! А между тем молодость не рассуждает о последствиях. Уезжая, я поклялся всем, на чем свет стоит, и в беспредельной любви, и вечной верности; поклялся писать, дослужиться до бригадирского чина и тогда формально требовать руки ее. Перед началом войны я и писал; но открылась война — не до любви. В Германии, во Франции, победы; красавиц бездна, одна другой лучше, одна другой огненнее, победа за победой, а перед победителями все кладет оружие; и вот — прошли три года, и вот — письмо от моей милой Эротиды отыскало меня на краю света, да опоздала! Уведомляет, что она свободна, что папинька умер, что она ждет меня вручить мне свою руку... Опоздала! Нет, через три года я рисковать прогонами не буду. С тех пор много воды ушло, а девушки ждать женихов не любят, да и притом же, признаться, писать не умеет...

«Милой, дражающий друг, я слабодна, папинька... ах! не магу праизнести, сердце абливается кровию...» Прекрасный слог! Наставила *ахов и охов!* Терпеть не могу этой чувствительности! То ли дело...

Тут ротмистр вынул из бокового кармана записную книжку, из книжки вынул записочку.

— Прочтите.

— Извините, я не понимаю по-французски.

— Ну, я сам прочитаю и переведу вам: Monsieur, je tiens trop à votre estime, т. е. Милостивый государь, я держусь очень к вашему уважению... pour n'avoir pas montré

à ma mère dans une circonstance aussi importante pour la reputation d'une jeune personne, la lettre que vous venez de me fair l'honneur de m'écrire... т. е., что не показала маминьке в таком важном случае, для репутации молодой особы, письмо, которое вы сделали честь мне писать... oserai — je vous avouer, monsieur, que je ne laissais pas de redouter son sentiment sur vos propositions... т. е. осмелюсь ли признаться, что я боялась ее чувств на ваши пропозиции... Et n'est-ce pas assez vous fair entendre que mon coeur partage tous vos projets,— Adeline... т. е. и не довольно ли, чтоб дать вам слышать чрез сие, что мое сердце делит все ваши прожекты!

— Вот истинное женское мужество и доверенность полная! Такое сердце стоит похитить из объятий родительских.

— Да, это правда,— отвечал молодой человек с негодованием,— предпочтение ваше имеет законные причины... Синица в руках лучше журавля в небе... Однако ж мне нужно сходить теперь в контору и взять билет на воды... Извините меня, я вас оставлю...

Г...ъ пустился по бульвару, потерялся в толпе, а молодой человек пошел стороной бульвара. Он видел, однако же, как ротмистр мелькал около голубой шляпки; видел, как он отправился домой, а дамы с бульвара перешли улицу Ней-Визе и вошли в угольный дом.

Молодой человек подошел к крыльцу, спросил у человека в ливрее, кто из приезжих живет в этом доме.

— Пани ксёнжна[1] Л... из Польши,— отвечал человек.

— Она здесь со своею дочерью Аделиной?

— Так есть.

Молодой человек отправился домой в гостиницу под вывескою *Три звезды*.

— Спасу ее! спасу!— произнес он несколько раз почти вслух.

II

Наступает вечер. Ротмистр ждет гостя, тасует карты. Молодой человек не идет. Между тем собралась молодежь. Сперва речь о женщинах, потом за карты; посмеялись над молодым человеком, проигравшим сто червонцев — верно, последние!— и молодой человек забыт.

---

[1] княжна *(польск.)*.

На другой день, по обычаю, ротмистр и вся молодежь отправляются после обеда на бульвар; на бульваре новое лицо, которое обратило внимание всей публики.

Все, что только носит на себе название ein flinker, gewandter Bursch[1], все уже ходит около него, всматривается и просто, и в стекла, вздымает плечи и горбится, и щурит глаза, и пучит их, и оседает с ноги на ногу, и шепчет про себя: ah, c'est une divinité![2]

Г...а увлекает общая молва. Он также наводит свой лорнет и как знаток восклицает: черт знает как хороша!

Он снова смотрит. Самолюбие его выражается обычными словами банкомета: о, да это такой *куш,* при котором не стоит обращать внимания на все прочие *куши.*

По слухам, это приезжая из России, обладательница нескольких тысяч душ. С нею нет ни маминьки, ни папиньки, ни бабушки, ни мужа; с нею только пожилой доктор немец; следовательно, она должна быть молодая вдова, рассеивающая свое горе...

Красота всех женщин, пациенток Карлсбада, потухла перед ней, как луна перед зарею.

Ротмистр снова смотрит и ищет ее взора... встречает... заметил в нем что-то такое... и забыл молоденькую польку Аделину. Аделина слишком белокура, слишком низка ростом, слишком легка: в ней нет того горделивого благородства, оценяющего собственное достоинство; нет того огня в очах, нет и нет чего-то, составляющего славу победы, льстящего всем чувствам.

— Чудное существо!— кричит молодежь, собравшись к ротмистру.— Верно, приехала рассеять печаль свою!.. Господа, не оставим сердца во вдовстве!

Ротмистр молчит, но в душе он готов бы был заступиться за ее честь, готов придраться к каждому, кто бы вздумал быть открытым претендентом на победу ее сердца.

Ротмистр проигрывается; тому она виновата, он рассеян; никогда еще женщина не поселяла в нем страсти; в первый раз испытывает он задумчивость и бессонницу. Она везде перед ним... Но он смеется и сам над собою; он уверен в самом себе, как всемирный победитель; он умеет ловить взоры, заставлять краснеть женщину — он так создан. Страсть может еще придать ему более решительности идти прямым путем к цели, не смотреть себе под ноги. «Кто бы ты ни бы-

---

[1] бойкого, ловкого бурша *(нем.).*

[2] ах, это чудо! *(франц.)*

ла,— думает он, как Телемак,— богиня или простая смертная, ты будешь моею!»— и он преследует ее в галерее спруделя и в аллее каштановой, как будто владеющий уже правом защищать красавицу от лорнетов и толпы искателей.

Проходит несколько дней, и Г...ъ нашел случай говорить с нею на водах. Он торжествует, замечая, что в сердце ее запала уже искра любви к нему; от него не скрывается забывчивость, взгляды и угнетаемые скромностью вздохи.

Но скрывается ли это от стоглазого аргуса зависти? Таит ли это стоустое злословие?

Заступится ли женщина за честь женщины? отстоит ли ее от навета? или первая предаст на позор подобное себе существо?

В первый раз, когда Г...ъ подошел к madam Emilie Horeff[1] (так записана была незнакомка в Badelist) и завел разговор с нею и с сопровождавшим ее доктором, все, что только ходило в галерее, по доброй воле и для предписанного *моциона*,— все поняло, все проникло тайну, все улыбнулось, зашептало, заговорило о скорой победе, потом — о добродетелях женских, о скромности, о приличии...

Злые слухи чернили уже прекрасную посетительницу Карлсбада, а она, как солнце, была выше туч, которые затмевали свет ее.

Только Г...ъ мог знать и испытывать на себе всю строгость ее правил, всю чистоту ее души, непроницаемой для соблазна. В разговорах с нею притупилась его дерзость; казалось, что он сделался мечтателем; он говорил с нею про Россию, возбуждал в ней любопытство видеть окрестности Карлсбада, малый Версаль, древний замок Стейн-Эльнбоген, где есть камень, упавший с неба; Хиршеншпрунг, где есть прелестное место, называемое *небо на земле.*

— О,— говорил он,— как блажен, кто испытает *небо на земле,* кто встретит ангела-женщину, осмелится произнести: *люблю,* и эхо этого слова отзовется в ее сердце!..

— Блаженство на земле,— отвечала она задумчиво,— не похоже ли оно на мрачный угол горы, который носит название *небо на земле?* Может быть, тот, кто назвал его так, на этом же самом месте был мучеником раскаяния за миг надежды и радости!.. Один ли смысл заключает в себе слово люблю? Не значит ли оно иногда — *я играю вами?*

— Играть святым чувством!— возразил Г...ъ.— О, нет!.. я не испытывал еще его, не произносил слова люблю, не владел ничьим сердцем, но я заступаюсь за смысл этого слова...

[1] госпоже Эмилии Горевой *(франц.).*

Г...ъ продолжал описывать яркими красками любовь, взаимность, земной рай и, как будто не замечая, преследовал Эмилию до самого дома, нанимаемого ею против *Золотого льва*.

Перед крыльцом он остановился со всевозможными извинениями, что увлекся занимательностию разговора.

— Кого не увлекают слова?.. но поток их часто опасен... Благодарю вас.

Г...ъ готов уже был раскланяться, но прекрасная пациентка Карлсбада остановила его словами:

— Вы возбудили во мне любопытство видеть *небо на земле*. Если вам угодно сопутствовать мне туда, то я ожидаю вас завтра на утреннюю прогулку, в 10 часов утра.

Как будто предвидя готовность Г...а, она, не ожидая ответа, вбежала на крыльцо, а ротмистр, торжествующий в душе, отправился на бульвар, выходил весь Карлсбад и возвратился в свой номер не прежде полуночи, чтоб избавиться от докучливых товарищей своих; он ничего не хотел видеть, слышать и знать, кроме 10 часов утра.

После томительной бессонницы настало утро; но до 10 часов оставалось еще 18 000 мгновений.

Наконец Г...ъ летит на крыльях любви к Эмилии Горевой. Он застает ее в гостиной; перед нею на столе лежит золотое кольцо; она, казалось, задумалась над кольцом. Вошедший ротмистр испугал ее. Она смутилась.

— Извините меня, что я вошел без доклада; ваш доктор сказал мне, что вы принимаете... Но я возмутил, кажется, какую-то грусть, воспоминание... и над кольцом?..

— Нет, не кольцо было причиною моей задумчивости... в нем нет приятных для меня воспоминаний... оно не памятник любви!.. Я им могу столько же дорожить, сколько вы дорожите тем кольцом, которое у вас на руке... и в доказательство я готова с вами меняться...

— О,— сказал Г...ъ, смутясь несколько,— воспоминанием любви я бы не пожертвовал, но кольцо матери я имею право променять... Я желал бы променять его на кольцо ваше...

— Я не откажусь от своего слова. Вот кольцо, которым я не дорожу... Оно ваше!

— Вы дарите меня счастьем!— вскричал Г...ъ, меняясь кольцами. Он хотел что-то продолжать в восторге чувств своих, но вопрос Эмилии прервал его восклицания.

— Тут слова: *Эротида, 1811 года*. Это, верно, имя матушки вашей?..

— Ее имя...— отвечал Г...ъ нетвердым голосом.— Вы по-

дарили меня счастьем!..— продолжал он, надевая на руку кольцо и целуя его.

Но Эмилия не обращает внимания на его восторг. Она встала с места, вышла из комнаты...

«Что это значит? — думал Г...ъ.— Понимаю! порыв любви и испуганная скромность женщины...»

Вместо Эмилии вышла горничная девушка и объявила, что госпожа ее чувствует себя нездоровою и извиняется, что принуждена отложить поездку за город.

«А, плутовка! — думал Г...ъ, выходя и рассматривая кольцо, полученное от Эмилии. На нем было вырезано имя, но соскоблено...— Может быть, это имя... но все равно!.. что мне нужды до прошедшего! Золотые ключи от города высланы навстречу победителю, и город будет наш!»

Г...ъ идет домой. Для него необходимо рассеяние; взор его светел, он щедр за общим столом, он готов лить шампанское на голову тому, кто не пьет его. После обеда рассыпает он червонцы на стол, тасует карты; понтеры трещат колодами, выигрышные червонцы в банке; пошли *углы, транспорты, темные, на все четыре, до первой убитой...*

— Ва-банк!— раздается в углу стола.

Ротмистр вскидывает взоры. Это знакомец его, молодой человек.

— А, мое почтение!.. Не хотелось бы на все, да нечего делать, за мной реванж.

— Ва-банк! дама!— повторяет молодой человек.

Г...ъ начинает метать...

— Убита,— раздается в устах всех понтеров.

— Нет счастья в картах!

— Верно, вы слишком счастливы в любви!— говорит ротмистр, считая червонцы.

— Правда ваша. Не угодно ли выиграть любовное кольцо... Вы, кажется, можете отвечать таким же... Я вижу у вас на руке.

— Я на свое кольцо не играю,— отвечал Г...ъ,— но если угодно, ваше пойдет в пяти червонцах.

— Может быть, вы дороже оцените это кольцо.

Молодой человек снял кольцо с руки и бросил к ротмистру.

Г...ъ взял его, взглянул на надпись: *Эротида, 1811 года.* Он вспыхнул, вскочил с места, схватил молодого человека за руку, отвел его в сторону и произнес задыхающимся голосом:

— Где, сударь, взяли вы это кольцо?

— Я, сударь, не обязан вам отвечать на ваш вопрос.

— Вы должны отвечать, или я заставлю вас, сударь, отвечать на расстоянии четырех шагов!..

— И очень рад, принимаю ваш вызов.

— Завтра же в 6 часов, сударь!..

— Не завтра, а сего же дня; теперь еще светло, сию же минуту! Там, сударь, где *небо на земле!*

— Очень хорошо-с! Уверен, что вы там не будете так счастливы на rendez-vous[1] со мною!.. но секунданты?

— Не нужно... к чему свидетели? Любовь не терпит их, и ненависть не должна любить! Прощайте, чрез полчаса я буду на месте.

Молодой человек уходит.

«Знаю я вашу братью фанфаронов!» — думает ротмистр.

В положенное время он велит седлать коня, берет кухенрейтерские пистолеты, едет в Хиршеншпрунг. Молодой человек уже там.

— На сколько шагов угодно? с барьером.

— Вы вызывали меня отвечать вам в расстоянии четырех шагов, и я готов; но до смертельной раны, не иначе.

Решимость молодого человека потрясла душу ротмистра.

— Хорошо, хорошо!— отвечал он,— заряжайте пистолеты!

Пистолеты заряжены, шаги отмерены.

— Я вам, сударь, повторяю,— говорит Г...ъ,— извольте мне отвечать на вопрос, сделанный вам, и дело обойдется без крови.

— Ответ уже в дуле, сударь, извольте повторить ваш вопрос выстрелом!

Г...ъ навел курок, молодой человек также. Он подошел к самому барьеру, целит в ротмистра медленно.

Г...ъ не выдержал, спустил курок, и пуля впилась в грудь молодого человека. Он упал на землю, бросил пистолет, сжал рану рукою.

— Убил!— вскричал Г...ъ невольно, подбегая к нему.

Молодой человек приподнялся, сорвал с себя накладные волоса и произнес замирающим голосом:

— Оставьте... помощь ваша бесполезна и для соперника вашего и для моей соперницы...

— Эмилия!— вскричал Г...ъ, падая на колена.

— Нет, не Эмилия... а забытая тобой... Эротида... прощай!..

— Эротида!— едва промолвил ротмистр. Чуть внятное *про-*

---

[1] на свидании *(франц.)*.

щай повторилось. Последний луч солнца исчез за горою; казалось, что ночь торопилась накинуть черный покров на отжившую Эротиду.

— Вообразите же себе,— говорил мне Г...ъ в 1818 году в М....е,— был же я столько слеп, что не узнал Эротиды в Эмилии и Эмилии в этом отчаянном офицерике Мамоновского полка.

— Что же сделали вы с этой несчастной?— спросил я, смотря с ужасом на этого человека.

— Похоронил собственными руками в волнах Эгера! Возвратившись в Карлсбад, я на другой же день слышал новость городскую: повсюду рассказывали, что прекрасная пациентка скрылась неизвестно куда с одним молодым человеком, моим соперником, испугавшимся вызова на дуэль... Аделина долго дулась на меня, однако же мир был заключен; она рассталась с маминькой. На границе России, в первой церкви, стал я с нею около налоя, дьячок подал нам в руки свечи, отпел панихиду вместо венчанья... Теперь не знаю, как проживает она в Могилеве на Днепре.

Вот слова, которыми заключил Г...ъ рассказ, из которого я составил быль или небылицу — не знаю.

— Повесть хороша, хороша!— сказали слушатели.

— Хороша, только конец немного темен; притом же Эротида в собственной роли мало образована, в роли Эмилии слишком блистательна, а в роли офицера чересчур мужественна.

— Воспитание, любовь и время чего не могут сделать из женщины!— отвечал хозяин-повествователь, укладывая свою тетрадку в бюро.



О. М. Сомов

1793–1833



КИЕВСКИЕ ВЕДЬМЫ





олодой казак Киевского полка Федор Блискавка возвратился па свою родину из похода против утеснителей Малороссии, ляхов. Храбрый гетман войска малороссийского Тарас Трясила после знаменитой *Тарасовой ночи,* в которую он разбил высокомерного Конецпольского, выгнал ляхов из многих мест Малороссии, очистив оные и от коварных *подножков** польских, жидов-предателей. Много их пало от руки ожесточенных казаков, которые, добивая их, напевали те же самые ругательства, каковыми незадолго пред тем жиды оскорбляли православных. Все было припомянуто: и наушничество жидов, и услужливость их полякам, и мытарство их, и содержание на аренде церквей божиих, и продажа непомерною ценой святых пасох к светлому христову воскресе-

* *Подножек* (пидножок) — раб, прислужник, припадающий к ногам. Гетман Брюховецкий писал к царю Алексею Михайловичу: «Вашего Царского Пресветлого Величества, Благодателя мого милостивого верпий холоп и найнижший подножок Пресветлого Престола, Боярин и Гетман верного войска Вашего Царского Пресветлого Величества Запорозкого Ивашка Брюховецкий».

нию. Само по себе разумеется, что имущество сих малодушных иноверцев было пощажено столь же мало, как и жизнь их. Казаки возвратились в домы свои, обременясь богатою добычей, которую считали весьма законною и которую летописец Малороссии оправдывает в душе своей, рассудив, сколь неправедно было стяжание выходцев иудейских. Это было справедливым возмездием за утеснения; и в сем случае казаки, можно сказать, забирали обратно свою собственность.

Те, которые знали Федора Блискавку как лихого казака, догадывались, что он пришел домой не с пустыми руками. И в самом деле, при каждой расплате с шинкаркой или с бандуристами он вытаскивал у себя из *кишени** целую горсть *дукатов,* а польскими *злотыми* только что не швырял по улицам. При взгляде на золото разгорались глаза у шинкарей и *крамарей***; а при взгляде на казака разгорались щеки у девиц и молодиц. И было отчего: Федора Блискавку недаром все звали лихим казаком. Высокий его рост с молодецкою осанкой, статное, крепкое сложение тела, черные усы, которые он гордо покручивал, его молодость, красота и *завзятость**** хоть бы кому могли вскружить голову. Мудрено ли, что молодые киевлянки поглядывали на него с лукавою, приветливою усмешкой и что каждая из них рада была, когда он заводил с нею речь или позволял себе какую-нибудь незазорную вольность в обхождении?

*Перекупки***** на Печерске и на Подоле****** знали его все, от первой до последней, и с довольными лицами перемигивались между собою, когда, бывало, он идет по *базару*. Они ждали этого как ворон крови, потому что Федор Блискавка из казацкого молодечества расталкивал у них лотки с *кнышами, сластенами* либо *черешнями******* и раскатывал

---

* *Кишень* — карман. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

** *Крамарь* — мелочной торговец красным товаром. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

*** *Завзятость* — удальство, молодечество. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

**** *Перекупка* — рыночная торговка, продающая плоды, овощи и т. п.— *Перекупками* называются они потому, что покупают сии произведения дешевою ценой у сельских жителей и продают дороже в городе. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

***** *Печерск* и *Подол* — части города Киева. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

****** *Кныши* — род саек; *сластены* — оладьи. *Черешни* — небольшие сливы, похожие на французские mirabelles и очень сладкие. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

на все стороны большие вороха арбузов и дынь, а после платил за все втрое.

— Что так давно не видать нашего *завзятого?* — говорила одна из подольских перекупок своей соседке.— Без него и продажа не в продажу: сидишь, сидишь, а ни десятой доли в целый день не выручишь того, чем от него поживишься за один миг.

— До того ли ему! — отвечала соседка.— Видишь, он увивается около Катруси Ланцюговны. С нею теперь спознался, так и на базарах не показывается.

— А чем Ланцюговна ему не невеста? — вмешалась в разговор их третья перекупка.— Девчина как маков цвет; поглядеть — так волей и неволей скажешь: красавица! Волосы как смоль, черная бровь, черный глаз, и ростом и ста́тью взяла; одна усмешка ее с ума сводит всех *парубков*. Да и мать ее — женщина не бедная; скупа, правда, старая карга! зато денег у нее столько, что хоть лопатой греби.

— Все это так,— подхватила первая,— только про старую Ланцюжиху недобрая слава идет. Все говорят — наше место свято! — будто она ведьма.

— Слыхала и я такие слухи, кумушка,— заметила вторая.— Сосед Панчоха сам однажды видел своими глазами, как старая Ланцюжиха вылетела из трубы и отправилась, видно, на шабаш...

— Да мало ли чего можно о ней рассказать! — перебила ее первая.— Вот у Петра Дзюбенка извела она корову, у Юрчевских отравила собак за то, что одна из них была *ярчук** и узнавала ведьму по духу. А с Ничипором Проталием, поссорившись за огород, сделала то, что не приведи бог и слышать.

— Что, что такое? — вскричали с любопытством две другие перекупки.

— Ну, да уж что будет, то будет, а к слову пришлось рассказать. Старая Ланцюжиха испортила Ничипорову дочку так, что хоть брось. Теперь бедная Докийка то мяучит кошкой и царапается на стену, то лает собакой и кажет зубы, то стрекочет сорокой и прыгает на одной ножке...

— Полно вам щебетать, пустомели! — перервала их разговор одна старая перекупка с недобрым видом, поглядывая на всех такими глазами, с какими злая собака рычит на

* *Ярчук* — собака, родившаяся с шестью пальцами и, по малороссийскому поверью, имеющая природный дар узнавать ведьм по духу, даже кусать их. (*Примеч. О. М. Сомова.*)

прохожих.— Толковали бы вы про себя, а не про других,— продолжала она отрывисто и сердито.— У вас все пожилые женщины с достатком — ведьмы; а на свои хвосты так вы не оглянетесь.

Все перекупки невольно вскрикнули при последних словах старухи, но мигом унялись, ибо не смели с нею ссориться: про нее тоже шла тишком молва, что и она принадлежала к *кагалу** киевских ведьм.

Нашлись, однако же, добрые люди, которые хотели предостеречь Федора Блискавку от женитьбы на Катрусе Ланцюговне; но молодой казак смеялся им в глаза, отнюдь не думая отстать от Катруси. Да как было и верить чужим наговорам? Милая девушка смотрела на него так невинно, так добросердечно, улыбалась ему так умильно, что хотя бы целый Киев собрался па площади у Льва и присягнул в том, что мать ее точно ведьма,— и тогда бы Федор не поверил этому.

Он ввел молодую хозяйку в свой дом. Старая Ланцюжиха осталась в своей хате одна и отказалась от приглашения своего зятя перейти к нему па житье, дав ему такой ответ, что ей, по старым ее привычкам, нельзя было б ужиться с молодыми людьми. Федор Блискавка не мог нарадоваться, глядя на милую жену свою, не мог нахвалиться ею. И жаркие ласки, и пламенные поцелуи, и угодливость ее мужу своему, и досужество в домашнем быту — все было по сердцу нашему казаку. Странно казалось ему только то, что жена его среди самых сладостных излияний супружеской нежности вдруг иногда становилась грустна, тяжело вздыхала и даже слезы павертывались у ней па глазах; иногда же он подмечал такие взоры больших, черных ее глаз, что у него невольно холод пробегал по жилам. Особливо замечал оп это под исход месяца. Тогда жена его делалась мрачною, отвечала ему коротко и неохотно, и, казалось, какая-то тоска грызла ее за сердце. В это время все было не по ней: и ласки мужа, и приветы друзей его, и хозяйственные заботы; как будто божий мир становился ей тесен, как будто опа рвалась куда-то, по с отвращением, с крайним насилием самой себе и словно по некоторому непреодолимому влечению. Порой заметно было, что опа хотела в чем-то открыться мужу; по всякой раз тяжкая тайна залегала у ней в груди, теснила ее — и только смертная бледность, потоки слез и трепет всего ее тела открывали мужу ее, что тут было нечто непросто: более никакого признания не мог он от нее

* *Кагал* — синагога или сборище. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

добиться. Катруся, вдруг овладев собою, оживлялась, начинала смеяться, играть как дитя и ласкать своего мужа больше прежнего; потом уверяла его, что это был болезненный припадок от порчи, брошенной на нее с малолетства дурным глазом какой-то злой старухи, но что это не бывает продолжительно. Федор верил ей, потому что любил жену свою и сверх того видал примеры подобпой порчи пли болезни.

Однако под исход месяца, с наступлением ночи всегда замечал он в жене своей необыкновенное беспокойство. Она, видимо, начинала чего-то бояться, поминутно вздрагивала и бледнела час от часу более. Хотел он дознаться причины тому, но это было сверх сил его: всякой раз, когда он с вечера подмечал в Катрусе какое-то душевное волнение, какую-то скрытую тревогу,— неразгадаемый, глубокий сон одолевал его, лишь только он припадал головою к подушкам. Сам ли он догадался, или добрые люди надоумили, только однажды в такую ночь под исход месяца Федор, ложась в постелю, начал шарить рукой у себя под подушкой и нашел узелок каких-то трав. Едва он дотронулся до них рукою, вдруг почувствовал, что рука стала тяжелеть и кровь утихать в ней мало-помалу, как будто засыпая. Жена его на тот раз была занята хозяйственными хлопотами и не примечала за ним. Федор мигом отдернул форточку у окна и выбросил узелок. Дворная собака, лежавшая на *приспе**, вероятно, думала, что бросили ей кость или другую поживу; она встала, отряхнулась, с одного скачка очутилась над узелком и начала его обнюхивать; но только что понюхала, как зашаталась, упала и заснула крепким сном. «Эге! так вот от чего и я спал, дорогая моя женушка!»— подумал Федор. Сомнения его отчасти подтвердились; но чтобы совершенно убедиться в ужасной тайне п не навести подозрения жене своей, он притворился спящим и храпел так, как будто бы трое суток провел без сна. Катруся, возвратясь из клетп, куда она выносила остатки ужина, подошла к своему мужу, положила руку на его грудь, поглядела ему в лицо и, тяжело вздохнув, отошла к печи. Федор Блискавка, не переставая храпеть изо всей силы, открыл до половины глаза и следпл ими за своей женою. Он видел, как она развела в печи огонь, как поставила на уголья горшок с водою, как начала в него бросать какие-то снадобья, приговаривая вполголоса странные, дикие для слуха слова. Внимание Федора увели-

* *Приспа* — завалина, земляная насыпь вокруг хаты. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

чивалось с каждою минутой: страх, гнев и любопытство боролись в нем; наконец последнее взяло верх. Притворяясь по-прежнему спящим, он высматривал, что будет далее.

Когда в горшке вода закипела белым ключом, то над ним как будто прошумела буря, как будто застучал крупный дождь, как будто прогремел сильный гром; наконец, раздалось из него писклявым и резким голосом, похожим на визг железа, чертящего по точилу, трижды слово: «Лети, лети, лети!» Тут Катруся поспешно натерлась какой-то мазью и улетела в трубу.

Дрожь проняла бедного казака, так что зуб на зуб не попадал. Теперь уже нет больше сомнения: жена его ведьма; он сам видел, как она снаряжалась, как отправилась на шабаш. На что решиться? В тогдашнем волнении чувств и тревоге душевной он ничего не мог придумать, даже не доставало у него ни на что смелости; лучше отложить до следующего раза, чтоб иметь время все обдумать, ко всему приготовиться и запастись отвагой. Так он и решился. Однако же бессонница его мучила, страх прогонял дремоту; ему все чудились какие-то отвратительные пугалища. Он ворочался на постеле, потом встал и ходил по хате; напрасно! сон бежал от него, в хате ему было душно. Он вышел на чистый воздух; тихая, прохладная ночь немного освежила его; месяц последним, бледным светом своим как будто прощался с землею до нового возрождения. При его чуть брезжущем свете Федор увидел спавшую собаку и подле ней заколдованный узелок. Чтоб избавиться от тяжкой бессонницы и скрыть от жены своей, что он проник в ее тайну, Федор поднял узелок двумя щепками; и вмиг собака встрепенулась, вскочила, потрясла головой и начала ласкаться к своему хозяину. Не теряя времени, молодой казак возвратился в хату, положил узелок под изголовье, прилег на него и заснул как убитый.

Когда он открыл глаза, то увидел, что Катруся лежала подле него. На лице ее не было заметно даже и следов вчерашнего исступления, ни в глазах ее той неистовой дикости, с которою она делала заклинания свои. Какая-то томная нега, какая-то тихая радость отражались в ее взорах и улыбке. Никогда еще не расточала она столько страстных поцелуев, столько детских ласк своему мужу, как в это утро. Словом: это была молодая, милая и любящая женщина, творение бесхитростное и младенчески-резвое, но отнюдь не та страшная чародейка, которую муж ее видел ночью. И казалось, это не было и не могло быть в ней притворством: она

дышала только для любви, видела все счастие жизни только в милом друге своем. Уже казак начал колебаться мыслями: вправду ли случилось то, чему он был свидетелем? не сон ли такой привиделся ему ночью? не злой ли дух смущал его страшными грезами, чтобы отвратить его сердце от жены любимой?

Прошел и еще месяц. Катруся во все это время по-прежнему была домовитою хозяйкою, милою, веселою молодицей, ласковою, услужливою женой. Однако же Федор Блискавка обдумывал втайне, что́ должно ему было делать, и наконец надумался. Под исход месяца стал он прилежнее наблюдать за своей женою и заметил в ней те же самые признаки: и слезы, и тяжкие вздохи, и тайную тоску, и отвращение от всего, даже от ласк ее мужа, и порою дикий, неподвижный взор. Еще с вечера Федор объявил, что ему было душно в хате, и отворил оконце; когда же ложился в постелю, то, запустив руку под изголовье, выхватил узелок и выбросил его на двор с такою же быстротою, с какою обыкновенно отбрасывал он горящий уголь, когда доставал его из печи, чтоб закурить трубку. Все это было исполнено мигом, так, что Катруся никак не могла сего заметить. Радуясь успеху, казак притворился спящим и захрапел, как и в первый раз. Жена таким же образом подошла к постели и поглядела ему в лицо, положила руку на его грудь, наклонилась, поцеловала мужа своего, и он почувствовал, что горячая слеза упала ему на щеку. Потом, с тяжким вздохом и отирая себе глаза рукавом тонкой сорочки, она принялась за богоотступное свое дело. Внимание казака, подкрепляемое твердою его решимостью и отвагой, на сей раз удвоилось. Он присматривался, где и какие снадобья брала жена его, вслушивался в чудные слова и затвердил их. Уже ничто не было ему страшно: ни пламенное, неистовое лицо и сверкающие глаза жены, ни рев бури, ни гром, ни резкий, отвратительный голос из горшка. И едва молодая ведьма исчезла в трубу, муж ее вскочил с постели, подбросил новых дров на потухавшие уголья, налил свежей воды в горшок и поставил его на огонь. Потом отыскал небольшой ларец, спрятанный под лавкою в подполье и закладенный каменьями, раскрыл его — и остолбенел от ужаса и омерзения. Там были человеческие кости и волосы, сушеные нетопыри и жабы, скидки змеиной кожи, волчьи зубы, чертовы пальцы*, осиновые уголья, кости

---

* *Чертов палец* — ископаемое, находимое весьма часто в Украине. Оно имеет вид конический и цветом похоже на нечистый янтарь. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

черной кошки, множество разных невиданных раковин, сушеных трав и кореньев и... всего нельзя припомнить. Победив свое отвращение, Федор схватил полную горсть сих колдовских припасов и бросил их в котел, приговаривая те слова, которые перенял у жены своей. Но когда котел начал кипеть, то Федор почувствовал, что лицо его кривлялось и подергивалось, как от судороги, глаза искосились, волосы поднялись дыбом, в груди как будто кто стучал молотком, и все кости его хрупали в суставах. После сего он пришел в какое-то исступление ума, ощутил в себе непомерную отвагу, нечто похожее на крайнюю степень опьянения; в глазах его попеременно мелькали яркие искры, светлые полосы, какие-то дивные, уродливые призраки; над ним и буря злилась, и дождь шумел, и гром гремел — но он уже ничего не боялся. И когда услышал зычный, резкий голос из горшка и слово: «Лети, лети, лети!», то, не владея собою от бешенства, торопливо схватил коробочку с мазью, патер себе руки, ноги, лицо и грудь... и вмиг какая-то невидимая сила схватила его и бросила в трубу. Это быстрое движение заняло у него дух и отбило память. Когда же он очувствовался, то увидел себя под открытым небом, на Лысой горе, за Киевом...

Что там увидел наш удалой казак, того, верно, кроме его ни одному православному христианину не доводилось видеть; да и не приведи бог! И страх, и смех пронимали его попеременно: так ужасно, так уродливо было сборище на Лысой горе! По счастью, неподалеку от Федора Блискавки стоял огромный костер осиповых дров: он припал за этот костер и оттуда выглядывал, как мышь из норки своей выглядывает в хату, которая наполнена людьми и кошками.

На самой верхушке горы было гладкое место, черное как уголь и голое как безволосая голова старого деда. От этого и гора прозвана была Лысою. Посреди площадки стояли подмостки о семи ступенях, покрытые черным сукном. На них сидел пребольшой медведь с двойною обезьяньею мордой, козлиными рогами, змеиным хвостом, ежовою щетиной по всему телу, с руками остова и кошачьими когтями на пальцах. Вокруг него, поодаль от площадки кипел целый базар ведьм, колдунов, упырей, оборотней, леших, водяных, домовых и всяких чуд невиданных и неслыханных. Там великан жид сидел на корточках перед цымбалами величиною с барку, на которых струны были не тоньше каната; жид колотил по ним большими граблями, потряхивая остроконечною своей бородою, хлопая глазами и кривляя свою рожу, и без того

очень гадкую. Инде целая ватага чертенят, один другого гнуснее и неуклюжее, стучала в котлы, барабанила в бочонки, била в железные тарелки и горланила во весь рот. Тут вереница старых, сморщенных как гриб ведьм водила *журавля**, приплясывая, стуча гоцки** сухими своими ногами, так что звон от костей раздавался кругом, и припевая таким голосом, что хоть уши зажми. Далее долговязые лешие пускались вприсядку с карликами домовыми. В ином месте беззубые, дряхлые ведьмы верхом на метлах, лопатах и ухватах чинно и важно, как знатные паньи, танцевали польской с седыми, безобразными колдунами, из которых иной от старости гнулся в дугу, у другого нос перегибался через губы и цеплялся за подбородок, у третьего по краям рта торчали остальные два клыка, у четвертого на лбу столько было морщин, сколько волн ходит по Днепру в бурную погоду. Молодые ведьмы с безумным, неистовым смехом и взвизгиваньем, как пьяные бабы на *веселье****, плясали *горлицу* и *метелицу***** с косматыми водяными, у которых образины на два пальца покрыты были тиной; резвые, шаловливые русалки носились в дудочке***** с упырями, на которых и посмотреть было страшно. Крик, гам, топот, возня, пронзительный скрып и свисты адских гудков и сопелок******, пенье и визг чертенят и ведьм — все это было буйно, дико, бешено; и со всем тем видно было, что сия страшная сволочь от души веселилась.

Федор Блискавка из своей засады смотрел на это, и жутко ему было, так что холод сжимал всю внутренность. Невдалеке от себя увидел он и тещу свою, Ланцюжиху, с одним заднепровским пасечником, о котором всегда шла недобрая молва, и старую Одарку Швойду, торговавшую бубликами******* на Подольском базаре, с девяностолетним крама-

---

* *Журавель* — малороссийская пляска, род линного польского, только гораздо живее; танцуется попарно. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

** *Гоцки* — гоц-гоц! Чоканье ногой об ногу. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

*** *Веселье* (висилье) — свадьба, свадебный пир. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

**** *Горлица и метелица* — малороссийские пляски; танцуются кадрилью. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

***** *Дудочка* — тоже пляска, живая и быстрая. По большей части две женщины танцуют ее с одним мужчиной. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

****** *Сопелка* — дудка, свирель. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

******* *Бублики* — калачи или крендели. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

рем Артюхом Холозием, которого все почитали чуть не за святого: так этот окаянный ханжа умел прикидываться набожным и смиренником; и нищую калеку Мотрю, побиравшуюся по улицам киевским, где люди добрые принимали ее за юродивую и прозвали Дзыгой*; а здесь она шла рука об руку с богатым скрягою, паном Крупкою, которого незадолго перед тем казаки выжили из Киева и которого сами земляки его, ляхи, ненавидели за лихоимство. И мало ли кого там видел Федор Блискавка из своих знакомых, даже таких людей, о которых прежде бы никак не поверил, что они служат нечистому, хоть бы отец родной уверял его в том под присягой. Вся эта шайка пожилых ведьм и колдунов пускалась в плясовую так задорно, что пыль вилась столбом и что самым завзятым казакам и самым лихим молодицам было бы на зависть. Немного в стороне оттуда увидел Федор и свою жену. Катруся отхватывала казачка с плечистым и круторогим лешим, который скалил зубы и подмигивал ей, а она усмехалась и вилась перед ним, как юла. Федор, в гневе и ревности, хотел бы броситься на нее и на рогатого плясуна и порядком потузить обоих; но, подумав, удержался и сделал умно. Где бы ему было сладить с целым чертовским кагалом, который, верно, напал бы на него, и тогда поминай как звали.

Вдруг раздался как внезапный порыв бури густой, сиповатый рев черного медведя, сидевшего на подмостках,— и покрыл собою все: и звон гудков и цымбалов, и свист волынок и сопелок, и гарканье, хохот и говор веселившейся толпы. Все утихло: каждый из плясунов, подняв в эту минуту одну ногу, как будто прирос на другой к своему месту; те из них, которые подпрыгнули вверх, так и остались на воздухе; отворенные рты не успели сомкнуться, поднятые в пляске руки и вздернутые вверх плеча и головы не успели опуститься; грабли жида на цымбалах и смычки чертенят на гудках словно окаменели у струн. Черный медведь протянул костяную руку — и мигом все запели:

Высоки скоки
В сороки,
Низки поклоны
В вороны**,—

подскокнули снова вверх и повалились на землю, головами к тому месту, где сидел медведь. «Ах ты, проклятое пле-

* *Дзыга* — волчок или юла, игрушка. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

** Свадебная песня.— Заметим, что здесь предлог *в* заменяет предлог *у* русского языка. *(Примеч. О. М. Сомова.)*

мя!— шептал про себя Федор Блискавка.— Оно же еще смеет и кощунствовать над обрядами православных и напевать честные *весельные* песни на своем мерзкостном шабаше перед этим уродом, в насмешку над добрыми людьми! Чтоб вы все провалились в тар-тарары, да и женушка моя с вами; чтоб вам всем по горячей *пекельной** головне в глотку: тогда бы небось позабыли вы горланить и запели бы иную песню, чертова челядь!»

Черный медведь долго принюхивался во все стороны и наконец проревел, как из бочки: «Здесь есть чужой дух!» В минуту все всполошилось: нечистые духи, ведьмы, колдуны, упыри, русалки — все бросились искать с зверскими, кровавыми глазами, с пеною бешенства на губах. И Катруся — Катруся была из первых! Сердце замерло у Федора, холод пронимал его до костей. «Теперь-то,— думал казак,— настал мой смертный час!» Прижавшись вплоть к земле за дровами, он, ни жив ни мертв, выглядывал исподлобья. Вдруг видит: Катруся первая подбежала к тому месту, заглянула за костер, злобно сверкнула на мужа своим огненным взором, скрыпнула зубами... но в тот же миг сорвала с себя *намитку,* накинула на Федора, сунула под него лопату, провела пальцем черту по воздуху на Киев — и, прежде чем Федор опомнился, он уже лежал в своей хате на постеле.

Когда чувства его поуспокоились, он сел на постелю, как человек, едва выздоравливающий от горячки, в которой грезились ему страшные мечты. Скоро мысли его приняли течение более правильное: он припоминал себе и страхи, и смешное, отвратительное гаерство прошлой ночи, и жену свою, с ее любовью, с ее нежными ласками, с ее заботливостью о нем и о доме, с ее детскою игривостью... «И все это было только притворство!— думал он.— Все это нашептывала ей нечистая сила, чтобы лучше меня обмануть». То вдруг представлялась ему жена в минуту чародейских обрядов, то опять сверкала на него огненным взором и скрежетала зубами, как на Лысой горе... В задумчивости он и не приметил, что жена стояла подле него. Федор, взглянув на нее, вздрогнул, словно босою ногою наступил на змею. Катруся была бледна и томна, губы ее помертвели, глаза покраснели от слез, которые ручьями текли по ее лицу.

---

* *Пекельный* — адский. *Пекло* — ад, от глагола: *пеку, печь* (по-малороссийски: *пекты*). (*Примеч. О. М. Сомова.*)

— Федор!— сказала она печально.— Зачем ты подсматривал, что́ я делала? зачем, не спросясь меня, пускался на Лысую гору? зачем не хотел довериться жене своей?.. Бог с тобою! ты сам растоптал наше счастие!..

— Прочь от меня, змея, злодейка, ведьма богомерзкая!— отвечал Федор с негодованием и отвращением.— Ты опять хочешь меня обойти бесовскою лестью?.. Так нет, не надейся!

— Послушай, Федор,— подхватила она, обвив его руками вокруг тела, припав головою к нему на грудь и умильно смотря ему в глаза.— Послушай! Не я виновата, мать моя всему виною: она неволей отвела меня на шабаш, неволей обрекла в ведьмы и вымучила из меня страшную клятву... Мне было тогда еще четырнадцать лет. И тогда я нехотя летала на шабаш, боясь матери: ведьмы и все их проклятые обряды и все их проклятые повадки были мне как острый нож, а от одной мысли про шабаш мутило у меня па душе. Суди же, каковы они были для меня, когда ты стал моим мужем — ты, кого люблю я, как душу, как свое спасенье на том свете... Не раз хотела я отшатнуться от шабаша, не бывать на нем; только под исход месяца, чем больше я о том думала, тем больше меня мучила тоска несказанная. Ты сам знаешь, каково мне тогда бывало... Не приведи бог и татарину того вытерпеть!.. И сколько я ни силилась одолеть тоску-злодейку, сколько ни отмаливалась — ничто пе помогало! Все мне и днем, и ночью кто-то надувал в уши про шабаш, все мне так и мерещилось, чтоб быть там. А наступал срочный день — какая-то невидимая сила так и тянула меня туда назло моей воле. Когда же я прилетала на Лысую гору, там меня словно дурь охватывала: буйно бросалась я в толпу ведьм, колдунов и всей бесовщины, сама себя не помнила, что делала, и не могла не делать того, что другие... Как бога с небес, ждала я страстной недели: тогда кинулась бы я в ноги чернецам божьим и упросила бы их, чтобы заперли меня на все последние три дня в Пещерах, до самой воскресной заутрени, и отмолили бы от меня бесовское наваждение... Теперь это поздно! Ты, милый муж мой, сокол мой ясный! ты сам погубил и меня, и себя и навеки затворил от меня двери райские...

— Так живи же с своими *родичами**, лешими да русалками, коли запал тебе след туда, где веселятся души христианские!.. Сгинь отсюда! оставь меня...

---

* *Родич* — родня, родственник. (*Примеч. О. М. Сомова.*)

— Не властна я тебя оставить! — перервала его Катруся, сжав его еще крепче в объятиях и, так сказать, приросши к нему. — Я тебе сказала, что на мне лежит страшная клятва... В силу этой клятвы кто бы ни был из близких нам: муж ли, брат ли, отец ли... кто бы ни был тот, кто подсмотрит наши обряды, — но мы должны... ох! тяжело сказать!.. должны высосать до капли кровь его...

— Пей же мою кровь!.. Мне тошно жить на свете! Что мне в жизни?.. Одна мне приглянулась, стала моей женою; любил я ее пуще красного дня, пуще радости, и та обманула меня и чуть не породнила с бесовщиной... Все мне постыло на этом свете... Пей же, соси мою кровь!

— И мне не жить после тебя на свете! Увидит то душа твоя. Грустно мне, тяжко мне, что злая доля развела нас и здесь, и там...

Катруся зарыдала и упала в ноги мужу.

— Об одном только прошу тебя, — продолжала она, — погляди на меня умильно, дай на себя насмотреться, поцелуй меня впоследние и прижми к своему сердцу, как прижимал тогда, когда любил меня!

Добрый Федор был тронут слезными просьбами жены своей. Он ласково взглянул на нее, обнял ее, и уста их слиплись в один долгий, жаркий поцелуй... В ту же минуту она рукою искала его сердца по биению.. Вдруг какая-то острая, огненная искра проникла в сердце Федора; он почувствовал и боль, и приятное томление. Катруся припала к его сердцу, прильнула к нему губами; и между тем, как Федор истаивал в неге какого-то роскошного усыпления, Катруся, ласкаясь, спросила у него: «Сладко ли так засыпать?»

— Сладко!.. — отвечал он чуть слышным лепетом — и уснул навеки.

Тело казака похоронено было с честью усердными его товарищами. Ни жены, ни тещи его никто не видел на погребении; но в следующую ночь жители Киева сбежались на пожар: хата Федора Блискавки сгорела дотла. Тогда же видно было другое зарево от Лысой горы, и смельчаки, отважившиеся на другой день посмотреть вблизи, уверяли, что на горе уже не было огромного костра осиновых дров, а на месте его лежала только груда пеплу, и зловонный, серный дым стлался по окружности. Носилась молва, будто бы ведь-

мы сожгли на этом костре молодую свою сестру, Катрусю, за то, что она отступилась от кагала и хотела, принеся христианское покаяние, пойти в монастырь; и что будто бы мать ее, старая Ланцюжиха, первая подожгла костер. Как бы то ни было, только ни Катруси, ни Ланцюжихи не стало в Киеве. О последней говорили, что она оборотилась в волчицу и бегала за Днепром по бору.

Теперь Лысая гора есть только песчаный холм, от подошвы поросший кустарником. Видно, ведьмы ее покинули, и оттого она просветлела.



Н. Ф. Павлов

1803–1864



ЯТАГАН



«Il avoit à la main une éspéce de vilain coutelas...»
«Un ataghan?..» dit Chateàufort qui aimoit la couleur locale.
«Un ataghan», reprit Darcy avec un sourire d'approbation.
La double méprise[1]

I



как шел к нему кавалерийский мундир!.. как весело, как живо, как ребячески вертелся он перед зеркалом!.. как ловко перехватывал по нескольку раз свою шляпу, над которой раскидывались, свертывались, дрожали чистые, уклончивые ветви белого пера!.. То резво бросал он ее под левую руку, то важно опускал к правому колену, принимая степенное положение, прищуривая глаза и ста-

[1] «В руках у него был какой-то скверный тесак...»
«Ятаган?..» — перебил его Шатофор, любивший местный колорит.
«Ятаган»,— продолжал Дарси, одобрительно улыбнувшись.
Мериме. «Двойная ошибка»

раясь сгорбить немного прямизну своего стана. С какою негой ложились его благородные пальцы на черный миниатюрный ус, где юные волосы, недавно пробившись на свет, были ярки цветом, как вороненая сталь. Этот ус не походил на густой, суровый, беспорядочный, висячий ус закоренелого солдата, этот ус не закоптел еще в дыму сражений, не вымок в лагерной чаше. От него не задрожал бы неприятель, не обомлел бы жид, не заплакала бы беззащитная сирота, не забегал бы опрометью полоумный трактирщик и не притих бы ревнивый муж. Это был ус не для бивак, не для батарей, а для гостиной, для женщины, для того только, чтоб оттенить румянец губ и белизну зубов, чтоб придать лицу рыцарскую прелесть, напомнить какой-нибудь романс, поединок, странствующую любовь, а не северного богатыря. Как приятно рисовались шелковистые ресницы юноши, когда он опускал довольный взгляд на свои новые эполеты! Хотя тогда не было еще эполет кованых, металлических, прекрасных, но зато не было и звездочек, губительных для честолюбия корнета, которого душа рвется в ротмистры. Потому-то, может быть, он посматривал на свои плечи с особенным удовольствием. Часовая цепочка моталась на его красивой груди, горели пуговицы, блестел темляк, все было, говоря попросту, с иголочки, — и его гибкие, стройные члены, его движения дышали искренней радостью. Он мог уже обедать у Андриё, промчаться в коляске, явиться с лорнетом в театр и блеснуть на Невском проспекте. Он не станет уже высматривать издалека, не идет ли полковник, не едет ли генерал, и если возле него мелькнут живые глаза, локон, ниспадающий шарф,— он не будет уже погружен в думу о беспокойном слове: пальцы по швам. Часто пристукивал он нога об ногу, и его шпоры звенели, и необыкновенно одушевлялся его острый взор, как будто заранее он тешился мыслию, что эти звуки отдадутся в сердце избранной красоты, когда она, облетая с ним роскошную залу, прильнет к его замирающей руке; как будто он предчувствовал, что по этим звукам станут отгадывать его нетерпеливые шаги, как будто думал... но чего не думает человек, прочитав в приказах, что он уже не юнкер, а корнет?.. У кого с этим чином не связаны воспоминания детских восторгов, в которых было так много надежды, любви, свободы и, что всего лучше, много молодости!.. Единственный чин, младший, четырнадцатый член огромного семейства, но милее всех своих братьев!.. Придут другие чины!.. Время и терпение отсчитают их всякому, как следующее жалованье за жизнь, при-

дет все: и генеральство и звезды, да не придет молодость корнета!.. Витые эполеты повиснут на плечах, да не будет уже девственного взора, чтоб полюбоваться ими... тогда уже другое! тогда уже мысль о власти!.. что-то мрачное, таинственное, коварное!.. Корнет, первая крепкая ступень, с которой не видно, куда приведет и как шатка лестница, называемая жизнию: первое чувство равенства с другими, первое позволение наслаждаться, как другие!.. Корнет не то что коллежский регистратор, исчадие чернил, рабочий грязных судов, безответный труженик опрятных канцелярий, который растет помаленьку над бессмыслицей прозы в духоте четырех стен!.. Корнет не то что студент, получивший аттестат: студент, еще не доучась, танцует на балах, повязывает галстук по последней моде, сидит знатоком в театре, играет роль; студент может скрыть, что он еще учится... а потому чувства юнкера, надевающего офицерский мундир, нельзя объяснить достаточным сравнением. В этом чувстве столько неопределенного!.. Важность смешана с ребячеством, суетливость честолюбия и спокойствие успеха; может быть, удовлетворенная зависть, может быть, сродное человеку желание иметь менее начальников... словом, я не знаю чтó... только всякий, кому бы случилось наблюдать, как мой корнет примеривал мундир, всякий загляделся бы на него или с участием, или с насмешкой!.. Это была минута, когда он смелее бы прыгнул на коня, понесся бы по полю бог знает куда и влюбился бы без памяти в первую, которая б приласкала его... минута румянца, быстроты, щедрости, прекрасных замыслов, от которых резвые мысли то кружатся над землей, как чистые голуби, то взвиваются к небу, как жужжащая ракета.

Восторг молодого человека покажется естественнее и понятнее, если я означу эпоху его производства в корнеты.

Это случилось в те недавние годы, как женские лифы были короче и как военные, кроме армейских пехотных офицеров, торжествовали на всех сценах: от паркета вельможи до избы станционного смотрителя. Мундир брал в полон балы и не дожидался лошадей. Для мундира родители сажали сына за математику и хлопотали с дочерью; для мундира лелеяла девица богом данную ей красоту; для мундира юноша собирался жить. Вечная ли надежда найти под блистательным платьем блистательную душу, временное ли пристрастие к военной славе, как ко всякой другой, или врожденная в нас наклонность к пестроте, наклонность, от которой иные жители земного шара раскрашивают свое тело, — не-

известно, что внушало предпочтение, только весь первый план живых картин общества был уставлен стройными фигурами, на которых играли краски всех цветов, а одноцветный фрак стоял далеко, теряясь в потемках затененной перспективы. Он прокрадывался по гостиным робкими шагами незваного гостя, и ничей взор не следил его, и никто не справлялся о нем, билось ли под ним жаркое сердце поэта, текла ли медленная кровь дипломата. Все благоговело перед мундиром или бредило мундиром. Никто не предвидел будущей судьбы фрака, что он выступит вперед, хвастая глубокомыслием, просвещением, образованностию, что всем захочется чему-то и для чего-то учиться, быть пружинами, заводить фабрики. Только иногда некоторые аристократки, полуразрушенные памятники пудры, сохранившие долголетнюю привязанность к веку более изнеженному, более раздушенному, оскорблялись резкостью движений, отрывистою речью и позволяли себе возвышать голос против общего мнения, упрекая военных в том, что от них пахнет казармами.

В эту эпоху юнкер был пожалован в корнеты. Он принадлежал к великому числу тех корнетов, которым отцы оставили в наследство какие-то рассказы о Кинбурнской косе, о взятии Измаила, о Потемкине, о золотых временах; какое-то имя, уцелевшее на бумаге через несколько веков, но имя без дел, без преданий, без малейшего подвига, достойного чьей-нибудь памяти; оставили какую-то неиссякаемую родню, разбросанную по лицу России, по захолустьям деревень и по ярмаркам московских гостиных; какие-то души, заносимые снегами, закопченные дымом и заложенные, вместе же с этим — банкрутство. Покойный отец корнета пировал, как все отцы прошлого столетия, и развалины состояния, накопленного трудами предков под сенью воеводства, винной продажи или торга рекрутами, не могли бы доставить ему средства для удовлетворения возрастающим потребностям образованной жизни, если б его мать не посвятила остатка дней своих на ежеминутные заботы о спокойствии, о благосостоянии, о щегольстве сына. Он был ей единственной связью с действующим светом, от которого давно отказалась она, осудив себя на вечную ссылку в деревню, где годы и часы заставали ее с той же думой, с той же привязанностью. После пышной расточительности в молодости она погрузилась в преклонных летах во все мелочные хлопоты хозяйства, только б сын ее не задумался над расходами необходимой роскоши, только б конь ее сына

так же красиво рыл землю, как конь первого богача. Образ ее жизни, ее разговоры, ее письма представляли утешительные доказательства материнской любви, чистой, попечительной, не перепутанной с другими корыстными чувствами,— любви, которая не упрекает в равнодушии, не мстит за неблагодарность, не обманывает и не пристает: «Будь со мной, живи и умри возле меня». Если часто такая любовь, как все прекрасное, достается недостойному, по крайней мере это пошлое правило нельзя, мне кажется, применить к корнету, потому что он редко пропускал почту и без лени брал перо, когда надобно было писать к матери. К тому же, тотчас после производства, загорелось в нем желание проситься в отпуск. Конечно, он хотел обрадовать ее, разделить с нею свое восхищение; а может быть, досадуя, что никто в Петербурге не засуетился вместе с ним и не заметил, что на белом свете стало одним офицером больше, он хотел поскорее туда, где, вероятно, заглядятся на него, примут на сердце все прелести гвардейского мундира; где есть и радостные слезы матери, и деревенские соседки, и невиданные глаза, и губернский город. При всяком возвышении хочется удивить кого бы то ни было, как при всякой мысли, которая нам нравится, хочется высказать ее тому, на кого она сильнее подействует...

Прошло сколько-то времени, и веселый корнет скакал по тульской дороге, прикрикивая на станционных смотрителей и буяня немного с извозчиками...

Поздно вечером подъехал он к старинной обители своих предков. Месяц бросал несколько лучей на огромные и ветхие хоромы. Никто не шевелился, только ночной сторож колотил в доску.

В первый раз увидел корнет этот дом, где жили его отцы, где живет его мать, откуда столько любви долетало к нему до Петербурга... Взволнованный, он торопливо выпрыгнул из коляски. «Матушка, верно, почивает», — проговорил камердинеру, и в этих звуках сказалась прекрасная минута сердца!.. Помаленьку поднялась суматоха... забегали огни... «Молодой барин, молодой барин», — зашумели по дому... вдруг появилась дрожащая старушка в спальном платье, всплеснула руками и с криком: «Сашенька, друг мой!» — упала расплаканная в объятия сына.

Бьется сердце во многих объятиях, при многих встречах: есть друзья, жены, невесты... есть горячие поцелуи и радостные слезы, но нет слезы чище, нет поцелуя откровенней, как слеза и поцелуй матери!.. Весь этот корыстный мир при-

язни, склонностей, страстей, лобзаний, и клятв, и восторгов не может проникнуть в сокровеннейшие изгибы нашего сердца и наполнить его таким твердым убежденьем, такой светлой уверенностью, с какою сын кидается на грудь матери!.. Не только труды, заботы и все вещественные удовольствия она приносит ему на жертву, лучшее чувство души, невыразимую радость свидания, свое высочайшее наслаждение — спешит отдать за его спокойствие. Она исчезает, точно нет ее.

— Сашенька устал с дороги, Сашеньке надо отдохнуть, приготовьте поскорей комнату, что возле кабинета. Ты, друг мой, спишь на тюфяке или на перине? Да ты весь в пыли, да что ж Сашеньке ужинать?

Напрасно он говорит: «Я не устал, я не хочу спать, позвольте мне побыть с вами...» — она не верит, она все хлопочет, как бы уложить Сашеньку, а столько лет не видалась с ним, а так пристально смотрит на него!..

— Ты, право, похудел с дороги... мне и в голову не приходило ждать тебя: ни слова не писал... Завтра твое рожденье, друг мой; ты знал?.. у меня обедает князь с дочерью; я думаю, ты помнишь его, ты уж был не маленький... Здравствуй, Павел, здравствуй!.. — Камердинер корнета целовал руку у барыни, и она плакала от радости, что видит Павла.

Между тем в дверях гостиной, где происходила эта сцена, трудная для описания, потому что оттенки материнской любви так же нежны и неуловимы, как цвет ясного неба, — между тем в дверях начали мелькать полурастрепанные прически, сонные лица и с робким любопытством выглядывали из слабо освещенных комнат. Наконец собралась беспорядочная толпа, удивительно разнообразная в нарядах. Впереди старая няня корнета и кормилица, за ними большая часть природных дворовых и несколько происшедших. Все сперва в церемониальном порядке, а там наперерыв бросились по-русски прикладываться к ручке молодого барина, которую он по-немецки не давал. С таким усердием и с такою настойчивостью они ловили его руку, что если б не замешались тут няня и еще кой-кто старее корнета по крайней мере втрое, то человек несведущий сказал бы: «Это отец, это дети!»

После трогательных и поучительных картин, после различных излияний души, происходивших от разных побуждений, у кого от любви, у кого от привычки, после замечаний о красоте, о росте, о мундире корнета, замечаний, сде-

ланных матерью, няней и кормилицей вслух, публично, а прочими за углом, не в барском присутствии, — словом, после ужина приезжего уложили. Он давно спал, а мать не спала.

Завтра рождение сына! Чем подарить его? Надо, чтобы, проснувшись, он увидел подарок перед собой! Который послан в Петербург — не поспел. Пошли большие хлопоты!..

Няня с кормилицей позваны к барыне на совет: каждая подавала мнение; но, как на многих советах, каждое мнение было нехорошо. Растворили шкафы, перерывали сундуки! То дурно, то нейдет, то не понравится, и горничная, которая отправляла должность секретаря, то есть все делала, и вынимала, и клала, и приносила, — начала уже заботиться о здоровье барыни:

— Вы, право, сударыня, занеможете: ведь посмотрите, уж почти совсем рассвело.

В это время нерешимости и неудач, когда у всех, даже у няни с кормилицей, кроме одной матери, обнаружилось большое поползновение ко сну, в это время она вспомнила об одной вещи!.. Вещь прекрасная, приличная военному... но есть примета, примета народная, примета давнишняя!.. Вещь принесли.

Все похваливали, прибавляя: «Да этим, сударыня, не дарят», и старушка впала в раздумье...

Не дарят!.. А подарок понравится сыну!

Этот подарок дошел, как наследственная святыня, до третьего или четвертого поколения; напоминал о подвиге воина, знаменитого в родословной корнета... этот подарок, сработанный под знойным небом для сильной руки и раскаленной крови, посвященный мщению, палач христианских голов, модная игрушка воинственных щеголей Востока, лучшая жемчужина азиатского пояса, этот подарок был — ятаган.

II

Много рек рассекает необъятную Россию. Питательные жилы огромного тела то бьются неприметно, как волосяные сосуды, то кипят жизнию, как начальственная артерия. Живопись природы, отрывки из истории разбросаны на их берегах, а ни у одной нет столько поэзии в названии, как у реки, которая протекает по Тульской губернии от северо-запада к юго-востоку.

Пробив землю неугомонным ключом, она явилась на свет

в Богородицком уезде, прорезала себе путь чрез Ефремовский, и видно, с каким усилием рвалась между гор, металась от скалы к скале, чтоб, наконец, добраться до Дона. «Красивая Мечь» — прозвал ее народ, не согласуя прилагательного с существительным. В том месте, где она выгибается наподобие рога и где стоит село Изрог, сохранилось до сих пор темное предание о приключении, от которого будто бы произошло это поэтическое имя.

Рассказывают, что там какой-то Ярослав переезжал когда-то через мост в коляске; что лошади провалились; что он, для спасения любимого коня, вынул меч и хотел обрубить постромки, но уронил его в воду.

Есть еще предания, есть еще поэзия старины в окрестностях Красивой Мечи. Близ нее лежит так называемый «Конь-Камень», окруженный своими обломками и другими камнями, вросшими в землю. У иных это проезжий витязь, это безбожный народ, который осмелился творить в честь его игрища и пляски на день вознесения. У иных это чужестранный богатырь, который ехал по заповедным лугам и не поклонился на привет красных дев да молодых парней, сказав, что на земле не кланяется никому. Гром наказал его. Там накануне Иоанна Крестителя, Ивана Купалы, сверкает таинственный огонь по верхам гор, спускаются с неба свечки и венцы. «Свечка горит», — скажут вам, указывая на фосфорное сияние. Бог весть, кто затеплил эту лампаду, только она теплится над схороненным кладом или над русским, убитым за независимость.

Студеная прозрачная река течет так же быстро, извивается так же неправильно, как летает над нею ласточка, беспокоясь о приближении тучи. Высокий тростник шумит по ее заливам. Круты, отвесны берега ее. По ним тянутся леса, кое-где возвышаются курганы, надгробные памятники безыменных людей, и кое-где мелькают разноцветные скалы: то бледные, то голубые, то желтые. Тут дико глядит природа, и когда осень, обрывая деревья, подергивает зелень краскою смерти, тут приятно смотреть на орла, как он, опустясь на прибрежную вершину, сидит спокойный с чувством своей царственной силы. Река красивая, река живописная, очаровательная Мечь!.. В иную минуту ее небо примешь за небо Швейцарии!.. Далее от берегов за лесами, за курганами открывается обширный горизонт: деревни, поля, рощи. Картина более игривая, более суетная... На ней жизнь, труды, пот человека, и чтоб эта жизнь, эти труды не показались горькими, на нее должно любоваться не осенью, а

при блистательном солнце лета, в летний полдень, в летнее утро!..

Велико наслаждение писателя, если придется ему рассказывать происшествие, которое случилось в неизвестном углу, да хоть сколько-нибудь заманчивом для воображения; происшествие на просторе поля, не в сонном городе, где нет приключений на улицах и страстей в гостиных; где жизнь изнашивается без жизни и где не вымолишь у нее ни одного предмета для повести.

Много лет тому назад на берегу Красивой Мечи в прекрасный вечер июня, в эти сладкие часы, когда у юноши навертывается безотчетная слеза мечтательности, небольшое общество расположилось около чайного стола в душистом саду, под тихим небом деревни. Тесный кружок состоял из людей одного племени, одной классификации: но, судя по первому взгляду, некоторые отделялись от других резкою межою понятий, привычек, образованности. Случай не новый!.. От чайного столика до пышного обеда, от семьи до бала все то же: говорят одним языком и не понимают друг друга. Кроме этого разногласия в образе воспитания и в обороте мыслей, тут таилась еще причина для щекотливого спора. Все страсти, желания, склонности человека умещаются легко на самом узком пространстве, и этот малый мир, сколок с большого, заключал в себе начало многих разнообразных волнений сердца. Для одних тут было чему радоваться, на что надеяться; для других — чему завидовать, чего искать и на кого взглянуть.

— Прикажете ли, папенька, еще чаю?

— Да помилуй, Верочка, я и этого допить не могу. У меня слишком сладко, а Андрею Степановичу ты, кажется, налила совсем без сахару. Он своей чашки и не отведал. — После этих слов отец Верочки опустился в кресло и продолжал беспечно пускать на воздух легкие струи дыма.

Верочка спешила поправить свое рассеяние. Ее лицо, веселое, одушевленное, приняло вдруг выражение некоторого спокойствия и важности, как бывает часто, если нечаянный намек, взгляд, звук, какая-нибудь безделица напомнит женщине, что она увлеклась немного. Но этот переход от движения к покою, от свободы к оковам не нравится... Приметное нетерпение мелькало в черных глазах, когда они остановились на Андрее Степановиче и когда нежная рука с благовоспитанной небрежностью приподнимала для него другую чашку...

Он вскочил, кланялся, просил, чтоб ее сиятельство не

беспокоились, и уверял, что у него очень сладко. Наконец опять уселся, опять на кончике стула, боком, совершенно повернувшись к своему соседу, с тою переменою, что начал прилежно пить чай, который давно простыл от его вежливого обращения. Андрей Степанович говорил много и не менее того повторял: «ваше сиятельство, вашего сиятельства, вашему сиятельству». Князь, важный старик приятной наружности, слушал его один: то холодно, то с участием, и по этому участию можно было догадаться, что если Андрей Степанович считается первым охотником в уезде, то занимает также немаловажное место и в иерархии богатства. У них образовалась беседа своя. Никто не мешал им, и никому они не мешали. Только иногда князь, услышав нечаянное какое-нибудь слово, сказанное в другом отделении общества, бросал туда одну из этих несвязных и часто обидных фраз, на которые вельможи не ждут ответа и на которые нечего отвечать; да иногда Андрей Степанович делался предметом общего внимания. На несколько секунд умолкали все. Корнет, залетевший из Петербурга на стул подле княжны, перерывал разговор с нею и щурился, всматриваясь в Андрея Степановича; старушка, сидевшая против нее, не сводила с корнета глаза; княжна не позволяла себе ни малейшего движения, но видно было, что скрадывает улыбку, готовую просиять на ее устах; полковник, стоявший на середине круга с ятаганом в руке, вытягивался во всю длину воинственного роста, а лет тридцати мужчина в адъютантском мундире, развалясь немного неучтиво на креслах, поднимал голову вверх и смотрел на небо, точно ничего не слушает. Адъютанты часто, как и чиновники особых поручений, заносчивы, потому что, спутники большой планеты, они имеют право вертеться около нее.

Это явление происходило в те минуты, когда голос Андрея Степановича раздавался громче, глаза полнели, лицо краснело, когда вспышки охотничьего красноречия, выражения, созданные вдохновением страсти: «стая закипела, и матерой волк загорелся в чистых полях» вырывались из его широкой груди. Но проблеск внимания исчезал быстро, и совершенное равнодушие к особе Андрея Степановича заступало место электрического действия. Корнет по-прежнему обращался к княжне, по-прежнему старушка смотрела только на него и любовалась им нежнее и становилась наблюдательнее, как будто хотела воротить потерянное мгновение, искру участия, украденную другим у предмета ее невыразимой привязанности.

— Позвольте заметить, кинжалами не дарят, — сказал полковник, относясь к ней, поглядывая значительно на княжну и повертывая ятаган, привезенный по просьбе князя напоказ военным гостям.

Ножны кинжала, покрытые облинялым бархатом, были перехвачены в двух местах золотыми бляхами. У слоновой рукоятки, раздвоенной сверху, обложенной дорогими каменьями неискусной грани, осыпанной жемчугом, недоставало нескольких украшений: камни повышадали, жемчуг затерся, но на прихотливом оружии все еще уцелело клеймо роскоши и азиатской красоты, свидетельствуя ясно, что прямой узорчатый клинок, закаленный на заводах Дамаска, служил не уличному убийце, не для куска хлеба.

— О, я с него взяла за это грош, — отвечала полковнику мать корнета.

— Мало, Наталья Степановна; да и гвардейскому офицеру нейдет платиться медными деньгами, — возразил князь, придавливая большим пальцем табачный пепел в трубке.

— Вы шутите, папенька; а подарить кинжалом в день рождения — это страшно.

Тут княжна откинула рассеянно черный волнистый локон, который закрыл было яркие лучи одного из ее прекрасных глаз, бросила беглый взгляд на полковника с адъютантом и обернулась к корнету. По-видимому, она старалась поддерживать общий разговор, сколько этого требует учтивость от полной хозяйки дома, и нередко должностная фраза, тяжелая дань общежитию, слетала с ее соблазнительных губ. Но почти всякий раз после такой фразы она обращалась к своему соседу и забывала других и слушала его так живо, что противоречие или согласие, да или нет, рисовались заранее в ее выразительных чертах. Заранее она давала ответ ему то благородной усмешкой, то живописным наклонением головы, то неизъяснимым красноречием взора.

— О, я не боюсь примет, — сказал молодой гвардеец, посвящая свои слова также целому обществу. — И зачем вы пугаете меня, княжна? Его, кажется, отнял мой прапрадед, матушка, у сераскир-паши или у трехбунчужного? Эти наследственные предания воспламеняют потомков... мне уже хочется отнять у какого-нибудь паши саблю... Я велю обтянуть его новым бархатом... Позвольте мне, княжна, думать, что мой ятаган не страшен.

— Кинжал примечательный... можно б сказать, прекрасный, если б прекрасно было убивать людей, — проговорил адъютант и ушел в свой черный галстук. Он почти все

молчал; переставая молчать, почти все относился к полковнику, а между тем пристально, язвительно следил все движения корнета, все взгляды княжны и беспокойно вслушивался в каждое их слово. Напрасно небрежным положением тела он силился принять на себя равнодушный вид, напрасно прибегал ко всем приемам изученного хладнокровия, которое помогает утаить бунтующее чувство, и с улыбкой счастия, с порывами восхищения вытерпеть пытку самолюбия на дне души, без свидетелей. Оно, оскорбленное, прорывалось наружу и в тонких переменах желчного лица, и в изысканной замысловатости, и в насильственном предпочтении полковника всему обществу. Племянник могущественного дяди, адъютант известного генерала, он находился в отпуску у родных и, будучи знаком с князем по Москве, сделался у него в доме ежедневным гостем. Хотя часто он встречал тут и полковника, расположенного также в соседстве с своим полком, и хотя у этого было заметно менее наклонности к приданому невесты, чем страсти к ее увлекательной красоте, но адъютант не робел. Лоск светскости, смелость паркетной опытности внушали ему высокое мнение о себе и унизительное о сопернике. Деревня удивительно питает гордость. В деревне на каждом шагу представлялись ему эти мелочные, но сладкие утехи самолюбия, до которых никак не доживешь в большом городе, потому что там много адъютантов. В деревне он видел себя единственным представителем столичного общежития и являлся перед княжною торжественный, веселый, а может быть, и уверенный в победе. Вооруженный великолепными фразами и неистощимыми воспоминаниями 1812 года, ходячая реляция, герой всех своих рассказов шумел в целом уезде, тем более что чувство чести, развитое в нем до крайней степени, налагало благоговейный страх на простодушных помещиков. Это была честь щекотливая, честь недоступная, честь во всех суставах и мускулах. Если, бывало, Андрей Степанович или какой-нибудь щеголь в розовом галстуке неосторожно задевал его локтем на деревенском пиру и потом рассыпался в извинениях, то с этой честью делалась судорога: адъютант наклонялся важно в знак прощения, но продолжительным уничтожающим взглядом вымерял дерзкого с ног до головы. «Не верьте, — говаривал он, — если кто скажет, что в душе не трусил ядра или пули; но трусов нет, струсить в сражении нельзя», и, отправляясь от этого предисловия, судил о храбрости, как о деле весьма обыкновенном, припоминал свои подвиги так, мельком, более от солдатской откро-

венности, чем от желания выказать себя; однако же все успели подробно узнать, что приключилось ему на высотах Монмартра, в каком углу Европы был он окружен французскими латниками и на котором клочке Бородинского поля воевал с Наполеоном. Ему удивлялись, а княжна, кстати о высотах Монмартра, расспрашивала о Париже, о Тальме.

В эти минуты храбрости, ловкости, красноречия, самозабвения, в эти минуты, которые испытал всякий, кому случалось ораторствовать в глуши деревни или за Москвой-рекой, где нет никого, чтоб вас перебить, затмить или вам противоречить, в эти минуты, мимолетные, как день, упал с неба корнет. Какая-то мрачность подернула блистательного адъютанта, и княжна стала так рассеянна, что не могла уже слушать последовательно длинную историю военных похождений. Уже за чайным столом он не находил в себе искусства овладеть разговором, не поспевал за быстротою светских мыслей, которых никак не догонишь, если самолюбие мучит душу и исключительная дума давит воображение. Уже, наконец, он не глядел ни на княжну, ни на корнета; он напал на полковника, и, придираясь к ятагану, начал громко объяснять, каким образом достался ему под Красным кривой кинжал, вывезенный из Египта французским генералом; каким образом турки вонзают ятаганы в землю, кладут ружья на рукоятки и лежа стреляют; словом, он, казалось, совершенно пренебрег вниманием княжны, только речь его все походила на золотой мундир камергера, причисленного к герольдии.

Между тем как адъютант разыгрывал роль жертвы, которая переносит свое несчастие с достоинством, резвая хозяйка забыла давно о ятагане. У нее с корнетом предметы пролетали молнией мимо светского внимания, рождались и мерли, как слава в наше время; их разговор был разговор беглый, скользящий, проникнутый братством воображения, сходством вкусов, всею легкостью молодости, всеми цветами нарядов, балов, красоты, богатства.

— Вы смеетесь, княжна, — сказал, между прочим, корнет, — а чай не деревенское удовольствие, для чая нужен город, зима. Во-первых, при дневном свете чай уже не то: для него необходимы свечи. После спектакля, часов в одиннадцать вечера, когда вы сидите за фортепьянами, а снег заносит окна, тут я понимаю чай; вот эти минуты сотворены истинно для чая!

— Чай на чистом воздухе всего приятнее, — заметил полковник, который покушался давно поместить свое слово и

отдохнуть от обязанности слушать теорию ятагана, выученную им твердо в школе сражений.

К тому же он думал, вероятно, угодить княжне. И она вступилась за чистый воздух, восстала против поздних вечеров, против всех обыкновений столицы, восстала за деревню, но так мило, так неискренно, так неубедительно!.. Звуки ее голоса защитили и утреннюю зарю, и уединенные прогулки, и весь восхитительный мир патриархальной жизни, да только пристрастие к невинным суетам проглянуло на ее лице... спектакли, балы, ловкий гвардеец кружились перед нею, — она перенеслась на солнце паркета; но спорила, но нападала на них, потому что нельзя же высказывать эти тайны сердца; потому что ложь лучше истины; потому что женщина всегда хвалит то, чего не любит, и любит то, чего не хвалит.

Отрывистое изречение полковника пропало, как подвиг солдата, как мысль, зачеркнутая красными чернилами, как жаркое чувство в глазах робкого юноши, когда он следит издали великолепную красавицу, которая не узнает никогда о его скромном существовании.

Во все продолжение этой беседы полковник стоял: то в нерешимости, куда девать ятаган, то принимался снова рассматривать его, то подпирался обеими руками, сгибал левую ногу и пристукивал шпорой, то щипал бакенбарды. Кресты и медали, законная вывеска благородной души, полезных трудов и неустрашимости, были красиво развешаны на его груди в убийственном количестве... Но грустная мысль!.. это лицо, опаленное порохом, эта грудь, по которой столько раз скользил неприятельский штык, эти знаки отличия, из которых, может быть, каждый прикрывал рану, все терялось, все как будто не было!.. Непостижим доступ к сердцу женщины!.. Не она ли отзывалась о нем с особенным уважением за то, что он никогда не наводил разговора на войну, не намекал на собственные заслуги, хотя и замечала, что ему все хочется щеголять светскостью... Не она ли отдавала полную справедливость его молчаливой неустрашимости, признавая ее первым достоинством в мужчине!.. и со всем тем послужной список, исчерченный кровью, не мог занять первого места за чайным столом...

III

В усадьбе князя водили рассёдланных лошадей, когда его дочь, в верховом платье, в мужской шляпе и с хлысти-

ком, подошла проворно к стеклянным дверям, откуда отлогий скат, уставленный по сторонам лиловыми и белыми левкоями, спускался в широкую длинную аллею из столетних столбовых дерев, аристократически мрачную и богато опрятную. В самом конце ее, где был выход из сада, стоял корнет с адъютантом: этот как будто имел намерение не сходить с места; тот как будто колебался в нерешимости: остаться или уйти. Княжна выдернула из-за пояса лорнет и стала смотреть украдкой с таким любопытством, что казалось, ей очень хотелось заменить чувством зрения ограниченность другого чувства и подслушать глазами далекий разговор. Он приметно оживился. Спокойствие, требуемое от образованной осанки, нарушилось у офицеров во всех частях: кто трепал аксельбанты, мял фуражку, кто пожимал плечами и махал рукою... однако еще немного, и они разошлись бы довольно смирно. Корнет отступил уже шага три, адъютант почти совсем отвернулся, но только взглянул назад, кивнул головой... и вмиг корнет остановился; сделал знак на дом и на аллею, надвинул фуражку... Адъютант к нему... и оба вместе исчезли из сада.

Лорнет закачался на золотой цепи, княжна потупилась. Обвила хлыстик около руки с большим тщанием, оторвала рассеянно несколько листков у прекрасной штамбовой розы и медленно пошла к фортепьянам; оглянулась на аллею, оглянулась еще раз, задумчиво пролетела пальцами по клавишам и с небрежностью мужчины кинулась на диван. Шляпа упала с нее, и она приняла одно из этих неправильных, искусительных положений, которые не терпят свидетелей, таятся в непорочности девичьего уединения. Это был отдых от неволи, бунт против привычек воспитания; это были обременительные размышления, итальянская лень или заманчивая мечта! О чем думала княжна?.. О чем думают княжны наедине?.. Голос отца застал ее в живописном забытьи, и она опомнилась и вдруг из прелестной романтической женщины превратилась опять в прелестную классическую княжну.

— Да что такое у вас сделалось? — спросил князь с видом неудовольствия. — Полковник не умел мне объяснить причины: говорит, что не знает; однако ж я послал его помирить их непременно... Это почти у меня в доме, ездили с тобой...

— Я и сама не знаю, — томно отвечала княжна, — лошадь у адъютанта испугалась, он упал...

— Ну да, упал, это уж я слышал! — прервал князь, скла-

дывая руки на спине и начиная сердито ходить по комнате.

— И упал довольно смешно, папенька; сын Натальи Степановны улыбнулся и, не помню, что-то сказал мне. Я смотрела на адъютанта... кажется, вскакивая на лошадь, он видел, как тот засмеялся...

— Да я и тебя не оправдываю... Это один предлог для адъютанта: разумеется, всякий выйдет из терпения, когда его выбрасывают из общества, не замечают...

Тут князь стал проповедовать дочери тяжелую науку света; а как проповеди, советы и всякого рода нравоучения бывают длинны, когда читаются людям слабым (краткость создана силой!), то он распространился об этом предмете, обвинил корнета за молодость, а дочь за опрометчивость в обращении и вообще остался верен назначению всех нравоучителей и судей, которые умеют осудить, да не умеют уберечь никого от слабости или преступления. Однако же под конец начал смягчать жестокость упреков выражениями: «друг мой, милая»; потому что княжна сильно растрогалась. Приученная по смерти матери к безусловным похвалам, к безусловному исполнению своих прихотей, она прослезилась, слушая отца и ломая хлыстик. Трудно решить, досада ли извлекла эти слезы или приготовленные в душе для другого чувства они заблистали на густых ресницах при первом удобном случае. Женщины плачут обо всем, когда им хочется плакать о чем-нибудь.

Едва князь, движимый отцовскою нежностью, умерил скорость диагонального путешествия по гостиной и произнес несколько слов более снисходительных, как дочь, после продолжительного молчания, не возразив ничего на родительский приговор, спросила с живостью:

— Да куда ж полковник пошел? найдет ли он их?

В эту минуту загремели шпоры. Княжна бросилась в другую комнату, притворила за собой двери, но не плотно, и приложила ухо. Она не могла не вспомнить, что нельзя ей показаться полковнику: не причесана, не переодета, в волнении!.. вслед за ним явилась и Наталья Степановна с веселым лицом, а потом он подошел к князю скорым шагом, и на вопрос:

— Ну, что там?

Отвечал шепотом:

— Маленькая неприятность, ваше сиятельство . . . .

. . . .

. . . .

IV

Вы, может быть, помните, как однажды волновалось московское общество, и позволите мне употребить это выражение, вопреки несправедливым, раздраженным жестоким судьям, которые утверждают, что общество московское не волнуется, что оно равнодушно, холодно, что у этой кокетки и глаза не живы и душа мертва! Вы, может быть, подкрепите меня свидетельством пред всяким, кто любит читать одну правду. Да, страшное волнение встретило в гостиных князя с дочерью, когда они воротились на зиму в Москву. Волнение вполголоса, без признаков на лицах, не приметное для поверхностного взгляда.

Красота княжны не изменилась, но огонь не оживлял ее речей, и черты, где при малейшем впечатлении сверкал ум или теплилось чувство; где все внушало или благоговение, или страсть, где был и ангел света и ангел тьмы, — эти черты приняли в себя что-то однообразное, неподвижное, безответное; приняли такое выражение, которое часто на лице женщины приводит вас в отчаяние и не позволяет никакой заносчивой мысли закрасться к вам в голову. Лучшая струна сердца, струна симпатии, назначенная для отголосков на все звуки, молчала, как будто приучалась к одному. Никогда наружное кокетство, отданное в удел низшим рядам общества, провинциалкам гостиных, не унижало княжны пред мужчинами; никогда принужденность движений, слов, взглядов, поклонов не портила того, что было в ней истинно прекрасного; а потому, не подстрекаемая этой допотопной склонностью своего пола, она являлась в свет с естественным расположением души и не умела скрыть, что ее воображение поражено чем-то.

Свет не простит естественности, свет не терпит свободы, свет оскорбляется сосредоточенной думой; он хочет, чтоб вы принадлежали только ему, чтоб только для него проматывали свое участие, свою жизнь, чтоб делили и рвали свою душу поровну на каждого... Заройте глубоко высокую мысль, притаите нежную страсть, если они мешают вам улыбнуться, рассмеяться или разгруститься по воле первого, кто подойдет. Свет растерзает вас, и он терзал княжну.

— Как она имеет дух показываться? — говорили матери, снаряжая дочерей на вечер.

— По крайней мере не давала бы виду, что эта история была за нее, — замечали мимоходом почетные барыни во время торжественного шествия к зеленым столам.

— Оба убиты на месте. Вы знали —на, что был адъютантом у графа***? Какой милый человек! Я, право, услышавши, сама расплакалась о нем; а как жалок его дядя! Мне пишут из Петербурга, что он совсем потерялся, точно помешанный... — так на одном бале шептала своей пожилой соседке важная особа, похожая на картину, вставленную в золотую раму, а написанную рукой суздальского живописца.

— У меня сердце обливается кровью, когда я ее вижу, — продолжала она, занимаясь все княжною, которая царствовала над мазуркой, и не оглядывалась назад, чтоб не видеть своей дочери, которая сидела как опущенная в воду.

— Ей век не замолить этого греха! — прибавила пожилая соседка с постепенным одушевлением в голосе, потому что женский суд всегда идет crescendo.— А другой, кажется, только что был пожалован в офицеры... Такой молоденький! Мудрено ли, что она вскружила ему голову! Приехал повидаться с матерью! Вот несчастный случай! Верно, она не переживет... О дяде адъютанта вам пишут?.. Да если б это была моя дочь, да я не знаю, что б со мной было! Я бы ума лишилась!

— Могу вас уверить, что убит один, — сказала молодая дама.

Между тем юность с прекрасными глазами и с теплым сердцем смотрела на княжну не так сурово: несколько зависти и много удивления кружилось около нее. Заманчиво быть причиною дуэли, приятно заставить умереть или убить — это к лицу женщине, это по душе ей.

— Она решительно влюблена, — говорил гвардейский офицер, роняя себя на диван в одной из комнат, отдаленных от залы.

— Я не замечаю, — протяжно возразил камер-юнкер, поправляясь перед зеркалом. Он танцевал мазурку с княжпою.

— Я не узнаю ее...

— Зачем же вы хотите приписывать любви небольшую перемену?.. просто огорчение... да, кажется, и молодой человек, которого теперь общее мнение навязывает княжне, не имеет таких достоинств и блеска, что б уж совсем околдовали ее! Самая дуэль...

— Что ж дуэль? — сказал гвардейский офицер, выпрямляясь на диване. — Он уклонялся от нее — правда, а адъютант и обрадовался, думал, что напал на труса.

— Да, струсил, — перервал другой военный, входя гром-

ко в комнату, — рука дрогнула, и в пятнадцати шагах пуля попала только прямо в середину лба...

— О, я очень далек от того, чтоб называть его трусом: жаль, что это может кончиться неприятностью! Дядя покойника не оставит этого так: дрались без секундантов...

— Неправда! неправда! Ох, эти дяди! — отвечал с живостию военный, повертываясь проворно к дверям навстречу прекрасному строю девиц, которых причудливая прогулка завела нечаянно туда, где мужчины отдыхали от света залы, глаз, от танцев и разговоров мазурки.

Все эти обвинения, приговоры и догадки перебегали из уст в уста, но на почтительном расстоянии от княжны; не отдалили от нее ни одного поклонника и не отняли первенства на роскошных выставках невест. Одобрения, похвалы не могут вывести иную вперед из толпы, затененной природою и случаем; не могли порицания, клевета, вся настойчивая злость людей стереть румянца княжны и лишить ее наследства. В пестром букете балов она оставалась средним цветком, и когда не было этого цветка, то букет терял прелесть радужных отливов и благоухание моды. Впрочем, несмотря на кучу приглашений, она выезжала реже прежнего, и если б не увещания отца да другие деспотические отношения света, то, казалось, заключила бы себя охотно в четырех стенах на всю зиму, длинную, неизмеримую для того, кому хочется весны и в деревню. Сколько законных отговорок находила она, чтоб остаться дома, сколько раз болела у нее голова, сколько раз забывала заказать платье, как часто не в чем ей было ехать!.. Но ни разу не забыла, в какой день отходит почта в Тульскую губернию. Тут накануне садилась писать, погружалась в занятие с заботливостью, с робким умилением: в ней обнаруживалась борьба искренней печали с поддельной веселостью, как будто рука ее подбирала слова, в которых сомневалось сердце, как будто язык лепетал утешения, которым она не верила. Эти письма бывали всегда адресованы к Наталье Степановне. От нее княжна получала также каждую почту большие послания, упитанные материнскими слезами, и, расстроенная, прибегала тотчас к отцу и бросалась к нему на шею и спрашивала: «Писали ли вы, папенька, в Петербург?» — «Писал, мой друг», — отвечал он всякий раз, надевая очки, чтоб прочесть письмо Наталии Степановны.

В этой переписке, в этих необходимых угождениях свету, в этих вопросах и ожиданиях ответов из Петербурга дожила княжна до весны. Торопилась на берег Красивой Мечи,

уговаривала отца, как однажды утром, незадолго до отъезда, позвали ее к нему.

— Бедная Наталья Степановна! — сказал он, бросая на стол распечатанный пакет.

Княжна вздрогнула, ее щеки загорелись, и сердце забилось всем могуществом молодости, всею бурею женской чувствительности.

V

Страшную перемену нашли они в матери корнета. Ее лета не перевалились еще за эту отвратительную границу, где нет более перемен; где душа погребается под развалинами тела, немая, неспособная подрумянить пожелклую кожу, положить на нее новое клеймо размышлений, страданий или радости; за эту границу, за которой признаком жизни остается какая-нибудь привычка — привычка к собаке, к креслам, к воспитаннице.

Не было ни корнета, ни адъютанта. Только Андрей Степанович являлся к князю по-прежнему свидетельствовать свое почтение и отдавать отчет в наступательных действиях против русаков и красных зверей; да еще полковник не подвергся влиянию времени. Неизменный, как гранит, он пребыл верен своему посту, верен княжне и не без тайного удовольствия встретился опять с нею: поле сражения оставалось за ним. Полковник не переменился, но все переменились к нему. Он сделался первым человеком, ненаглядным гостем, предметом общих ласк. Княжна, Наталья Степановна и сам князь, увлекаясь их примером, угождали ему, как должник заимодавцу, как бедный друг другу богатому, как писатель цензору. Угождали, но вместе и просили.

— Я уверен,— говаривал князь,— что вы, полковник, не отягчите его участи: он будет переведен к вам; его мать истерзала мне сердце; я писал, просил, чтоб по крайней мере ему быть возле нее: она умерла бы... Пожалуйста, полковник, я надеюсь на вас.

— Помилуйте, ваше сиятельство, можете ли вы сомневаться? Верно, я сделаю все, что будет зависеть от меня.

Тут князь жал ему руку, а он с гордостию поглядывал на княжну: сладко обещать покровительство при глазах прекрасной женщины. Но иногда бывали и тяжелые минуты для полковника — минуты, с которыми не умел он справиться: прослезиться неприлично, не прослезиться совестно; словом, он не знал, что делать; боролся между чувствитель-

ностью человека и мраморностью солдата, между своим положением и своим саном. В это затруднение приводила полковника Наталья Степановна, когда хватала его за руку и когда ее слезы лились ручьем на форменный обшлаг. Хотя рыдания мешали ей произносить слова явственно, но он понимал, что это мать просит за сына. Княжна отвертывала поскорей голову и выбегала из комнаты. Князь повторял: «Да полноте, Наталья Степановна, успокойтесь»; а полковник сыпал утешения и клялся обещаньями: «Как вам не стыдно, сударыня, мы постараемся все поправить; верно, я для здешнего дома не окажу ему никаких притеснений» и проч.

Только у княжны не вырвалось ни одной просьбы, ни одного намека, по которому полковник мог бы догадаться, какое участие брала она в судьбе того, за кого ходатайствовали, как хотелось ей перешагнуть черту приличия и плакать самой за молодого человека. Женская сметливость учила ее, естественная хитрость шептала ей: не проси, не напомни чайного столика, не напомни, что когда-то корнет затирал полковника. Он все сделает для тебя: он назначит парад, угостит музыкантами, пройдет церемониальным маршем, с одним полком бросится воевать вселенную; но если вмешается самолюбие, защекотит ревность... и княжна с неподражаемым искусством разыгрывала роль, добродетельную по цели и грешную по средствам. Так грех и добродетель путаются на земле, так женщин клянут за притворство и пятнают за откровенность.

Полковник выдавал себя за смертного охотника до просвещения, до книг, а пуще до запрещенных стихов, и княжна снабжала его книгами, слушала стихи, которыми любил он роптать, шуметь, разгорячаться в ее присутствии, просила вписывать в ее альбом. Полковник уверял, что страстен к музыке, и она просиживала вечера за фортепьянами, доставляя ему случай восхищаться, вертеться и божиться всем, что ни есть святого, что он ничего не слыхивал лучше. Полковник любил обедать у князя, и она спрашивала всякий раз: «Вы будете к нам завтра?» Он иногда, подделываясь к женскому вкусу, погружался посвоему в разложение нежных чувств, тонких оттенков, в анатомию сердечных болезней — и княжна опускала глаза: черные ресницы прятали стыдливый или насмешливый взгляд, и легкая двусмысленная улыбка налетала на уста. Он часто к исходу дня, к сумеркам, к этому часу, когда язык приговаривается, голова тупеет и заносится в какую-

то пустоту, где нет ничего, что б можно ощупать или на что опереться, он часто молчал, посматривая на свою собеседницу, на потолок, на стены, на небо в открытое окно, не попадется ль мысль, не навернется ль слово... и княжна начинала поскорей хвалить погоду... Но как передать эту вкрадчивую внимательность, эту благородную лесть, этот мир тонких, мелочных, бесчисленных соблазнов, которые наслала она на простую душу воина, чтоб он не закипел жаждою брани и приласкал того, кому береглись все искренние ласки ее сердца? как передать это обольстительное уменье стянуть кстати перчатку с руки, выдвинуть ножку, дать заметить, что видят вас издали, бросить вам мельком при всех меткое слово, таинственный намек на вашу любимую мысль, на вашу любимую слабость, на вчерашний разговор с вами?.. что есть уклончивого в женском нраве, что есть блестящего в женском уме, что есть неисповедимого в женской прелести — вся эта отрава, которая всасывается в сердце мужчины, когда вздумается красавице употребить его средством для сует самолюбия, для мщения, для добродетели... все это счастие, о котором мы бредим, эта цель, которую шарим по углам света, все слилось в какой-то очаровательный призрак... новый, не виданный полковником на самых великолепных парадах, в самых славных делах.

Никогда не вздевал он эполет и не развешивал крестов с таким удовольствием, как теперь; никогда не становился перед полком с такой непринужденной гордостью, и при криках «вольно» или «смирно» никогда не бывало в его голосе такого одушевления. Полк и кресты явились ему в другом виде, но более соблазнительном. Темное, инстинктное чувство, заглушаемое обыкновенно мечтами о качествах, которых нет у нас, вероятно, докладывало ему, что носить георгий, кричать на две тысячи человек — это было его единственное право на руку княжны. Он перелистывал мысленно историю своей храбрости, конечно, уже не оттого, что она всякий раз, бывало, доводила его до непременного генеральства, — нет, теперь эта история оканчивалась другою надеждой — мысль: «мне не откажут» привязалась одна ко всем воспоминаниям, похороненным в столбцах послужного списка, и сделалась лучшим итогом службы. Но не только его честолюбие приняло новое направление, княжна произвела перемену даже в его светском обращении. Надобно было видеть полковника, надобно было следить, как он мало-помалу становился красноречивее, развязнее. Отрывистые слова начали вязаться между собой и разрастались в круг-

лый разговор. Уже при каждом слове он не поглядывал по сторонам, ловя на лицах одобрение и стараясь передать другим свой смех, свою улыбку, которыми новобранец гостиной прикрывает обыкновенно щекотливую робость, беспрестанные сомнения и раздражительную недоверчивость к самому себе. В его движениях не так уже было заметно желание рисоваться, щеголять всяким шагом, всяким поворотом головы или стана. Полковника окружили свободой, дали ему простор, занимались им, и он стал откровеннее, смелее, приятнее. Он не входил уже в гостиную с прежним мнением, что там следует быть не таким, каков он есть; гостиная не представлялась уже ему страшным судилищем, где смутитесь вы перед равнодушием правосудия, где иногда скользнет по вас чей-нибудь взгляд, но заставит поправиться, где иногда станут слушать вас, но с осторожным или рассеянным вниманием, и где обдадут холодом все, что вы заготовили в глубокомысленном уединении и чем надеялись отличиться. Короче, полковник получил эту счастливую уверенность, которая внушает смелость пускать слова по произволу мысли, не воздерживаясь, не охорашиваясь, и нередко внутренний жар оживлял безыскусственность его выражений, и нередко княжна, боясь формального объяснения, торопилась найти предлог, чтоб перервать разговор.

Впрочем, любезность его не дошла еще до невыносимой обольстительности, потому что когда княжна уходила от него и бросалась в своей комнате на диван, то у нее вырывался из груди тяжелый вздох отдыха, между тем как на лице обнаруживалось беспокойство, раздумье о том, что не слишком ли уже баловали полковника. Прежде ей не приходило и в голову, что он может мечтать о руке ее; теперь это казалось в порядке вещей, и она вздрагивала при мысли о решительном предложении...

Но это предложение, это объяснение в любви — это были фурии-мучительницы полковника, это были призраки, которые встречали его у постели и утром и вечером, становились в рядах солдат, маршировали на ученьях и, как полковые знамена, не покидали его. Как предлагают руку и сердце? как говорят: люблю вас? как это сказать? как осмелиться сказать, и кому же? Княжне!.. Она так нарядна, так знатна, так страшно окружена всем великолепием приличий. «Упасть к ее ногам, — думал полковник, — но это, кажется, не водится, это нейдет к моему росту и летам; сказать просто, не падая на колена, как-то холодно, затруднительно; написать письмо, но к княжнам писем по-русски не

пишут; открыться князю, но она осердится, что я не спросился у нее»; словом, что ни задумывал полковник, все было неловко. Подчас, гуляя с княжной по саду, он разгорался жаждой приступа, чувствовал, что волна храбрости мчит его к цели, и облекал уже умственно свою речь в законные формы вступления и готов был произнести торжественно: «Ваше сиятельство!..» Но вдруг замирал, вдруг один взгляд, одно слово княжны то пугало его неприличием, то перебрасывало из настоящего в прошедшее, от любви к походам, на край света, под Лейпциг, в оркестр полковых музыкантов или к огромному дубу, замечательному по своей дряхлости, или к Наталье Степановне, которая прохаживалась, задумавшись, по уединенной аллее... и полковник тотчас догадывался, что теперь не время, некстати, лучше в другой раз.

Эти мучения прекратились наконец; он отменил личное объяснение, не столько потому, что княжна почти не оставалась с ним одна, сколько потому, что ему блеснула счастливая мысль. Беспрестанно повертывая один и тот же предмет, можно открыть в нем полезную для нас сторону. Полковник был вне себя от открытия, отдохнул, успокоился. Наталья Степановна объяснится за него с княжною, а Наталью Степановну попросит ее сын.

Таким образом, и сам полковник ожидал его с удивительным нетерпением.

VI

Полковничья квартира в богатом селе была по возможности возведена на степень удобного жилья и приноровлена к потребностям постоянного пребывания; однако ж разные полугородские украшения не отнимали у нее походного, поэтического вида. Стены были завешаны коврами, пол устлан также ковром, ширмы отделяли спальню, то есть постель, от кабинета, или приемной; а у небольших окон новые рамы с цельными стеклами, задернутые зелеными занавесками наподобие стор, показывали, что нет ничего невозможного на свете. Французские и турецкие пистолеты, черкесская шашка, два-три кинжала и образцы киверов, ранцев, сум занимали место картин. В одном углу стояли знамена полка, в другом солдатское ружье; под знаменами — шпага арестованного офицера. Наконец беспорядочная группа трубок, бисерный кисет, «Воинский устав», «Рекрутская школа», «Краткое наставление о солдатском ружье» и

табачная атмосфера — все это одело большую горницу зажиточного крестьянина по военной форме. Только с некоторых пор между признаками временного привала, строгой службы и неизнеженных бивачных привычек вкрались кой-какие предметы роскоши, приличные столичному слабодушному щеголю. Так, например, на столе, где лежали полковые ведомости, «Военный журнал» и другие дельные бумаги, тут же почти без смены стояло зеркало, а возле него какой-то переводный роман, взятый у княжны, несколько ножниц и ноженок, духи в хрустале, французская помада в фарфоре и прочие изящные мелочи туалета, необходимые для истинной любви девятнадцатого столетия. Что делать?.. Полковник не стригся уже под гребенку, не оставлял бакенбард на произвол ветра и пыли, а старался соединить женоподобные прелести статского наряда с суровым блеском военного; позволял себе, отправляясь к князю, выставлять из-за черного галстука воротнички, чистые, как серебро; расстегивал мундир, и белый жилет его всегда бывал бел, и золотая цепь от часов пригонялась таким образом, что вместе с орденами не вредила впечатлению целого. Что же касается до прежней благоразумной экономии в носке эполет, то эту статью полковник вычеркнул вовсе из устава о своем гардеробе.

Он пил чай и курил трубку, сидя перед зеркалом, как однажды утром вошел к нему полковой адъютант и, подавая распечатанный пакет, сказал:

— Прислан из гвардии разжалованный по суду в солдаты за убиение на дуэли.

— А, прислан! — перервал полковник, вскочил со стула и схватил весело бумагу.

Его радость ручалась за ласковый прием несчастному; он не даст ему почувствовать неизмеримости расстояния, на которое так быстро раздвинули их, и протянет добродетельную, хоть всегда тяжелую руку помощи...

— Это тот, что прошлого года, говорили, женится на княжне, вот вашей знакомой...

Косо посмотрел начальник на подчиненного и продолжал читать...

— Да теперь уже не женится, — прибавил опрометчивый адъютант и лукаво улыбнулся, чем довольно удачно выразил презрение к одному и лесть другому.

— Да где же он? Покажите мне его.

Адъютант отворил дверь.

Без галстука, в сюртуке без эполет, в полном беспорядке власти, полковник взял чашку, с торжественной беспеч-

ностью взглянул на дверь, поднес к губам трубку, затянулся — и сел. Ему напомнили, что корнета считали женихом княжны, напомнили корнета рядом с княжною, и просьбы князя, материнские слезы, собственные выгоды уступили вспышке самолюбия. Это была минута, когда сильный хочет показаться слабому в величественном спокойствии древней статуи или в оскорбительной, небрежной неге; когда приготовляется делать вопросы и смотреть в сторону; минута, когда полковник говорил: *ты*.

Солдат вошел.

Может быть, ощущение его, как он переступал порог, не должно сравнивать ни с чем, а оставлять особо, на той уединенной высоте, куда оно занесено врожденной гордостью человека: это не отчаянье, не нищета, не ревность; это что-то неприятнее нищеты и язвительнее ревности; это какая-то пронзительная нота, которая не гармонирует ни с одним страданьем.

Солдат вытянулся, промаршировал и проговорил: «Честь имею явиться к вашему высокоблагородию...»

Но движения его были красивы и свободны, а голос тверд. На лице не было ни просьбы о пощаде, ни страха, ни унижения. Это был тот же корнет. Та же краска молодости, что в иные лета продолжает цвести над всяким несчастием. Только солдатский мундир придал ему мечтательную прелесть. Мысль о бесприютности, о необходимой и безмолвной жертве общества, о том, кто идет за смертию, куда глаза глядят, не спрашивая, где его отец, жена, дети, — эта мысль облагородилась образованным взглядом.

Полковник не смутился, не заметил опасного, заманчивого соединения этого взгляда с этим мундиром... он увидел мерный шаг, вытяжку, и пугающее воспоминание исчезло! Судьба закинула корнета далеко от княжны, солдат не может быть соперником, — и рассудок взял верх над мелочным чувством, и сострадание к ближнему, которого мы не боимся или в котором имеем нужду, смягчило жестокость величия.

Полковник встал и с важностью начальнической ласки, с явным желанием осчастливить человека опустил руку на плечо солдату: этот покраснел.

— Здравствуйте! Мы с вашей матушкой ждали вас давно. Мне очень жалко, что с вами так случилось, да мы не заставим вас служить по-нашему.— Тут полковник обернулся к адъютанту: — Держать его в штабе.

— Благодарю вас за ваше снисхождение, — сказал солдат.

— Все поправится, молодой человек; вы можете видаться с матушкой, когда хотите, только...

Полковник взглянул на адъютанта, как будто ему неприятно было, что есть свидетель следующих слов:

— Только я вам не советую показываться у князя; оно бы и ничего, да у него много бывает, чтоб, знаете, не дошло... для вас же лучше.

Он произнес это со всем простодушием дипломата.

Несколько времени продолжался затруднительный для обоих разговор. Полковник завел речь об обстоятельствах дуэли, пожимал плечами, обвинял убитого адъютанта, потом шутливо заметил, что сукно на мундире у солдата слишком тонко, потом спросил с громким смехом, умеет ли он делать налево кругом; а когда этот выставил правую ногу, полковник сказал скороговоркой:

— Без формы, без формы... отправляйтесь, куда вам надобно.

Солдат (я стану называть его, как у солдат водится, по прозванию: Бронин; обыкновение, которым они опередили гостиные, где уже потому необходимо говорить иногда по-французски, что нет возможности упомнить имя и отчество или времени выговорить их, — отчего выходит, что всего лучше разговаривать по-русски с князем, графом и бароном)... Бронин оделся во фрак и поскакал к матери.

VII

Это было самое ясное утро; легкий ветер колебал Красивую Мечь, и миллионы золотых пятен, рассыпанные солнцем по ее поверхности, блестели, дрожали, ослепительно перескакивали с струи на струю.

Он не нашел Натальи Степановны дома: она была в деревне у князя. Тут Бронин почувствовал на себе тяжелую ношу совета, который должно считать приказом, подозревал, почему не велено ему показываться у князя; но нетерпение утешить нежную мать превозмогло подчиненность. Он, верно, никого не найдет там... легко скрыть от полковника... к тому же можно ли ему испугаться страшилищ благоразумия и в это утро, в этот час, в это мгновение не броситься к той, кто первая приветствовала улыбкой новый мундир молодого офицера и раскрыла перед ним все легкие, увлекательные подробности гостиной, все счастие образованной суеты. «Как она встретит меня, я во фраке, я солдат?» — только эта мысль мучила Бронина.

Князь принял его радушно, с бо́льшей внимательностью, чем прежде, и осыпал надеждами на прощение. Мать схватила обеими руками за голову и стала целовать.

— Матушка, вы, право, стыдите меня, целуете, как ребенка, — сказал он, и глаза его наполнились слезами.

Но княжны не было в комнате. Известие долетело мигом до ее уборной.

Приколите же, княжна, к поясу самую свежую розу; киньте же поскорей в зеркало самый любопытный взгляд; бросьте поскорей на несчастного палящие лучи восторга, прохлажденные состраданием и скромностью... Проворно подошла она к дверям и остановилась так, что нельзя было отгадать, чего ей хочется, идти или остаться. Приметная небрежность в тонкостях туалета показывала, как она торопилась, но рука ее несколько раз прикасалась к дверям все не за тем, чтоб отворить. Только теперь она вспомнила, что они расстались, как расстаются в свете, после нескольких упоительных бесед, не сказав друг другу ничего решительного. Кого увидит она? думал ли он беспрестанно о ней?.. Ей не нужно более этих стройных, вкрадчивых слов, приносимых к ногам прекрасной женщины на крыльях остроты, ума и удивления, не нужно пленительной светскости офицера, для кого год тому назад пробудилось ее чувство, это невольное чувство, подобное капле дождя, которая летит с неба и сама не знает, на какой цветок упадет!.. Теперь дайте ей всю важность, всю святость, всю глубину любви, заплатите за слезы, за память, за полковника, за эту беспредельную нежность женской фантазии, которая рисует несчастие в чудных формах, то с гордым взглядом, то с чистой, младенческой душой, и переносит солдата в несбыточный мир равенства; заплатите за эту способность привязываться к несчастию, которая не помнит ни ваших заблуждений, ни ваших злодейств: видит только конец их и оторвет женщину от великолепной жизни, от друзей, от родных и поведет за вами в Сибирь, на край света, повсюду, где только можно умереть за вас... способность, которая лучше женских стихов, женской прозы, лучше пера герцогини Абрантес, Дельфины Ге и причудливой мисс Тролопп!

Князь, не желая, вероятно, быть помехой свиданью матери с сыном, оставил их наедине, а она тотчас же отправилась делать распоряжения и хлопотать, как бы его квартиру в штабе нарядить приличным образом, то есть наполнить всем, что нейдет солдату. А потому, когда княжна в прекрасной нерешимости роняла легкую кисть своей руки

на бронзу дверей и задумывалась и возвращалась взять платок или перчатку,— Бронин был уже один.

Он стоял у окна и смотрел сквозь длинный ряд комнат туда, откуда следовало показаться княжне, а иногда взглядывал на дорогу, по которой приезжал полковник. Все, что окружало его, сохранило прежний вид веселой роскоши и могло бы потешить воспоминанием о резвом офицерстве. Огромная этажерка была по-прежнему уставлена теми же китайскими куклами: китайцы сидя, стоя, согнувшись, с зонтиками и без зонтиков! Один с сломанным посохом, одна с отбитой ножкой — особенные любимцы корнета, безответные жертвы, заклейменные забавой сильного,— отделялись от всех своей обвинительной наружностью и доказывали несомненными уликами, как он, бывало, любил рассматривать их, как смеивался над ними, как, в жару приятного непостоянства, опрометчиво повертывался к княжне и ставил несчастных не глядя, куда попало, без всякого уважения к китайской старости и красоте. Теперь он не удостоил их ни одним взглядом и едва прислонился к этажерке спиною.

Корнет двадцать раз обошел бы эту богатую гостиную, двадцать раз остановился бы перед картиной, вазой или бюстом, перебрал бы все изящные безделки и каждой подарил бы секунду этого скользкого, судорожного внимания, с которым человек бросается на всякую мелочь, когда один, посреди неодушевленного великолепия, ждет чего-нибудь и хочет рассеять нетерпеливую тоску и ищет доски спасения на неизмеримом море ожидания... Но солдат стоял спокойно. Несчастие сковывает тело и его быстроту, гибкость, волнения переносит на душу. Солдат не подступился ни к чему, потому что не было на нем этих эполет, разорваны были эти нити, которые связывали его с фарфором, бронзой и мрамором. Отнимите у человека блеск, суету, возможность суеты, и ему или опротивеют до ненависти прихотливые выдумки роскоши, или покажется слишком мелкой эта наружная отделка жизни. Он станет допрашивать ее, что в ней есть независимого, тайного, загроможденного миллионами условий и очаровательными тонкостями общежития? Где у нее эти приметы, полученные ею при рождении от творца, которые не должны были полинять под румянами образованности? Где эта мысль, это чувство, эти лучи сердца, способные осветить ее голую и холодную пустыню? Наконец, где эта любовь, которая кажется ложью корнету, когда он блестит на паркете, и истиной, когда наденут на него лямку солдата?

Он ждал княжны, но княжны, похожей на его судьбу; он отнял бы у нее титло, сорвал бы дорогой браслет, нарядил бы в смиренное платье деревенской затворницы, чтоб только как-нибудь приблизить ее к себе, перенести из сложного, ослепительного света в простой и дикий мир солдата, чтоб газовая лента или слишком живописный локон не помешали слиянию сердец, не напомнили огней, вальса...

Вот почему Бронин стоял спиною к китайским куклам и почему княжна застала его в таком несовременном состоянии души, что он восставал даже на поэзию женского наряда, настраивал людей, предметы, прекрасную женщину под лад своему мундиру и, может быть, верил обветшалому предрассудку, что для счастия надо хижину и сердце!

Княжна встретила его как женщина, которая боится обидеть мужчину состраданием и не любит, чтоб он нуждался в нем. Если отец очень внимательным приемом, излишеством учтивости не достиг вполне своей доброй цели и дал Бронину почувствовать несколько разницу двух мундиров, то дочь поступила тоньше. Она проникла в тайну, не разгаданную умом. Ее веселый взгляд, ее ровное обращение слили в одно корнета и солдата, счастие и беду. Только все он не мог сначала освободиться от застенчивости, едва приметной, но всегда привязанной ко всякой неудаче, ко всякому невыгодному последствию хоть даже самого благородного дела. А потому разговор между ними пошел сперва по своим обыкновенным ступеням, и поэзия сердца уступила первенство деспотическим приемам общежития.

— Я стою здесь на часах и караулю полковника, — сказал Бронин с улыбкой после нескольких фраз и нескольких промежутков молчания.

— Я прикажу смотреть его; скажут, как он поедет. — Княжна позвонила в колокольчик.

— Верно, ему так приятно у вас, что он не хочет разделить этого удовольствия ни с кем?

— Папенька и ваша матушка избаловали его.

Бронин подошел к княжне, сел возле нее и загляделся на ее руку, которая играла колокольчиком.

— Он мне запрещает бывать у вас, матушка советует, чтоб я слушался его; неужели и вы станете мне то же советовать?

— Папенька всегда бранит меня за неблагоразумие, — отвечала княжна. Черные ресницы закрыли выражение ее глаз, солдат вспыхнул, и потом разговор оживился.

— О, если вы так помнили нашу деревню,— сказала она

Бронину, перерывая его одушевленный рассказ о прошлом времени, о первой их встрече,— не должно ли мне принять ваши слова за упрек, от которого я перед вами не буду уметь защититься?

— За упрек, княжна?

— Папенька говорил тогда, что я была причиной...— Она наклонила немного голову и, растягивая кончик носового платка, стала прилежно рассматривать его.— Может быть, вы беспрестанно думали, что без несчастного знакомства с нами, с бедным адъютантом ваша матушка не пролила бы столько слез?... Ах, ради бога, облегчите мою совесть... вы обвиняли нас?

— Будьте, пожалуйста, покойны. Неужели вам кажется, что нет в жизни этих сладких минут, которые перевешивают всякое несчастие? Неужели вы думаете, что нет этих приятных воспоминаний, которые отнимают силу у настоящей беды? Я помнил вашу деревню, но затем, чтоб забывать все другое; я страдал, но только оттого, что не смел надеяться быть опять здесь, в этой комнате, возле вас...

Бронин заглянул нескромно в лицо княжне: она, не поднимая головы, не сделав ни малейшего движения, обернула на него полный, внимательный взор с вопросом, который требовал еще уверений, еще более ясности, необходимой для прихотливых, бесчисленных, вероломных сомнений женского сердца...

В это мгновение двери растворились, и человек доложил проворно:

— Полковник едет.

Оба вскочили с мест; но вдруг Бронин, вероятно, пристыженный боязливой торопливостью, сел опять в кресла так смело и так решительно, как будто не хотел никогда вставать с них.

— Ради бога уйдите!— проговорила беспокойно княжна, подходя к нему и взглядывая в одно время на него, на дверь и на окна. Она измерила разом всю бездну опасности; она призналась себе тут, что в обращении с полковником переступила невольно за границу добродетельного расчета и поддалась извинительному желанию: потешиться жертвой своей красоты.

— Ради бога уйдите! — повторяла она с умилительной тревогой.

— Вот, княжна, самая ужасная минута,— сказал Бронин угрюмо, начиная колебаться между гордостью и зависимостью.— Как неприятно прятаться!..

VIII

— Его простят,— говорил князь, погружая после обеда тяжелое тело свое в вольтеровские кресла.

— Помилуйте, его простят!.. не было примеров,— резал полковник, встряхивая сияющие эполеты.

— Его простят,— шептала про себя Наталья Степановна, застегивая поздно вечером крючки молитвенника и посматривая на иконы, слабо освещенные лампадой.

«Его простят»,— думала княжна утром перед зеркалом, в сумерки за фортепьянами и в полусонном забытьи на постели. Но, недовольная одною этой мыслью, она прибавляла к ней другую, чтоб прожить заранее несколько мгновений этого полного счастия, которое в женской голове всегда слаживается так стройно и так хорошо!

«Папенька согласится»,— прибавляла она. А потому этого прощения ей хотелось так сильно, так нетерпеливо, так молодо, что едва ли чувство самой матери, более благоговейное, более тихое, не уступало ее деспотическому чувству. Но по странной несообразности она украсила суровое звание Бронина всеми розами воображения, так что, казалось, офицерский мундир только отнимет у него какую-нибудь прелесть, а ни одной не прибавит. Если мужчина любит унизить женщину до себя, то женщина всегда возвышает его над собой и над целым миром.

В нем видела она не грубого солдата под серой шипелью: для нее это был солдат романсов, солдат сцены, солдат, который при свете месяца стоит на часах и поет, посылая песню на свою родину, к своей милой; это был дезертир, юный, пугливый и свободный; увлекательно прелестный простотой своего распахнутого театрального мундира, с легко накинутой фуражкой, с едва наброшенным на шею платком; для нее это был человек, разжалованный не по обыкновенному ходу дел, но жертва зависти, гонений, человек, против которого вселенная сделала заговор, и княжна вступалась за него и взглядывала так гордо, так нежно, как будто столько любви у нее, что она может вознаградить за ненависть целого света.

Словом, в нем был только один недостаток. Этого не умели уже исправить ни ее сердце, ни ее воображение, и для этого-то нужен был прежний мундир. Спокойствие, блестящую будущность, добрую славу, самое жизнь она отдала бы ему, да как отдать руку?.. Солдату нельзя ездить в карете!.. Припишите это порочному устройству обществ, прокляните обычаи людей, но согласитесь, что есть ядовитые безделки,

на которые не наступит ничья нога и о которых можно без греха помнить в самые небесные минуты на земле.

Впрочем, солдатский мундир так ей нравился, что однажды она спросила у Бронина: зачем ходит он во фраке? Была ли это женская прихоть, нежность, или княжна хотела от него полного признания, как в словах, так и в одежде, во всем, что обыкновенно считается унизительным и что́ одна смелая откровенность может облагородить? Во всякое другое время и от всякой другой женщины солдат принял бы такой вопрос за упрек в малодушии, но между ними не было уже разделяющих чувств. Он услышал это наедине с княжною, в саду, когда она позволяла уже ему высказывать всю необъятность счастия быть с нею наедине.

Эти прогулки оставались непроницаемой тайной для полковника. Хотя князь, узнав сперва о приказании, полученном солдатом от начальника, закричал: «Вздор, вздор, я ему скажу»; но дочь остановила отца и убедила, что не надо противоречить полковнику, когда он довольно добр и когда нет никакой особенной причины настаивать на бесполезном позволении. Скрывая свои свидания с Брониным от одного, она не всегда доводила их до сведения и других, так что эти невинные прогулки прятались иногда от самого князя и от всех в тишине мрачных аллей, охраняемые прелестями таинственности, освещенные мирно прекрасными глазами, робким румянцем и волнуемые только невоздержными порывами влюбленного мужчины. Это были минуты искренности, к которой рвется возвышенное сердце и за которую княжна платила дорого, потому что полковник не прекращал почти ежедневных посещений и, считая себя благодетелем Бронина, сделался еще более заносчивым. Он не знал, что́ делалось с княжною, когда ей докладывали о его приезде, и каким образом она всякий раз произносила «что?», переспрашивая у человека неизбежную и слишком внятную весть; было от чего полковнику проклясть жизнь свою, если б он услышал это «что» и увидел его на лице княжны.

Наступило утро, в которое опасный соперник солдата проснулся необыкновенно рано, начал ходить по горнице, ходил чрезвычайно долго и шагал очень широко, так что в каждый конец для его третьего шага недоставало пространства. К нему позвали Бронина.

Когда этот явился, полковник подошел к нему быстро, схватил его за руку, разрушил ее форменное положение и с полусмехом скомандовал: «Вольно, снимите кивер!» Такой прием мог бы околдовать душу всякого подчиненного,

даже и того, кто не был бы отделен от своего начальника ничем не наполненной бездной, но в солдате не замечалось ни исступления восторга, ни торопливости усердия. Спокойно он бросил кивер на стул.

— Мне нужно с вами поговорить по-приятельски,— сказал полковник, сжимая руку Бронина и налегая с особенным выражением на слово: *по-приятельски*. — Вы видели княжну?

— Встретил у матушки,— отвечал Бронин медленно.

— У нас скоро будет смотр,— продолжал полковник, начиная набивать трубку.— Я представлю вас дивизионному генералу.

Бронин наклонил голову. Тут последовало молчание.

Полковник раскурил трубку, потом пошел от солдата в другой угол и на ходу, обернувшись к нему спиною, сказал:

— Послушайте, поговорите обо мне вашей матушке...

— Что вам угодно? — спросил солдат с удвоенным вниманием.

— Я уверен, что вы оцените мою доверенность. Я с своей стороны постараюсь быть вам полезным; надеюсь, что ваша матушка не прочь от того, чтоб оказать мне небольшую услугу. Вы знаете, что я часто бываю у князя, и сколько мог заметить, мои посещения не противны княжне...

Солдат потянул свой галстук: крючки застегнутого воротника начинали его душить.

— Признаюсь, я никогда не был о себе слишком высоких мыслей; но ее ласковое обращение, ее особенная внимательность ко мне... притом же, согласитесь, я полковник, служил... Молодой человек! вы не знаете, что такое служба, вы не в состоянии еще понять, как страстно можно любить службу... ну, теперь она мне в голову нейдет... я прошу вашу матушку поговорить обо мне с княжною и с князем.

Краска начала выступать на лице полковника, и он опять отвернулся от солдата.

Этот стоял, опустив глаза и ломая пальцы. Только волпение, в каком находился полковник, мешало ему заметить, как тяжело слушать и молчать, когда другой смеет намекать нам, что нравится женщине, которую мы обожаем.

— Княжна может быть уверена,— продолжал полковник, опуская трубку на пол, опираясь с жаром обеими руками на чубук и становясь более картинным,— что ей не найти такого мужа. Захочет она, чтоб я продолжал служить, — стану служить; захочет, чтоб вышел в отставку,— выйду; вздумает жить в столице, в деревне — где ей угодно; мне

с нею везде будет так же весело и приятно, как в то время, когда я получил первый крест или когда мне дали полк и я, выехав к нему на учение, окинул его глазом. Но вы расскажете красноречивей, что́ я чувствую. Я мало вертелся в свете, мой язык привык к команде, вы моложе, вы ближе к женскому вкусу...

Тут полковник взглянул пристально и любопытно на солдата, как будто хотел отыскать на его лице опровержение своих слов.

— Или я ошибаюсь, или мне не должно бояться отказа. Во всяком случае надеюсь, что ваша матушка согласится быть посредницей: мое счастие зависит теперь от нее.

Он подошел к солдату, опять взял его за руку с большим чувством и через секунду прибавил:

— Не худо будет упомянуть между прочим, что мне скоро достается в генералы. Для княжны это, конечно, ничего... но князь... вы знаете, чины еще действуют.

— Очень хорошо, я скажу матушке,— отвечал Броиин сухо.

Не прошло часа после этого разговора — он был уже в саду у князя.

IX

Княжна гуляла и шла к нему навстречу; но, завидя его издали, пошла тише, хотя глаза ее приметно развеселились.

— Что с вами? Вы смотрите так насмешливо?— спросила она шутя.

— Мой полковник предлагает вам руку и сердце и поручил мне просить матушку, чтоб открылась вам за него в любви. Он без памяти от того, что очаровал вас.

— Ах, боже мой! он теперь догадается и станет мстить вам!— сказала княжна, изменяясь в лице.

— О, да как он влюблен! и я выслушал его изъяснение по форме, молча, с начала до конца. Тысячу раз думал я, что перерву его, не позволю продолжать, скажу, что мне не следует этого слушать, что он выбрал такого поверенного, который не может благородно выполнить его поручения,— но что делать? душа моя присмирела в тисках этого мундира...— и он дернул с досадой красный воротник.— Ах, княжна! Как мне в эту минуту жаль стало моих эполет.

Трудно выразить ее заботливость, когда начала она перебирать разные средства, чтоб согласить безопасность солдата с отказом полковнику. То хотела сама обратиться к нему, вввериться благородству его военного характера и произнести твердым голосом: «Простите меня, я не люблю вас,

я для другого рассыпала перед вами драгоценные камни моей красоты и воспитания». Тут задумчивые глаза ее раскрывались мгновенно в полном блеске, вспыхивая надеждой на величие души, на самоотвержение. То вдруг эта светлая надежда потухала в пей, как одна из тех ветреных мыслей, которых истину доказывает сердце, но которые слишком дерзки для женских привычек и слишком мечтательны для рассудка. Княжна переходила от чудес жизни к обыкновенным явлениям и полагала, что отец ее...— опа обовьется около его шеи, расплачется перед ним — его связи удержат полковника в почтительной боязливости и не дадут разыграться его негодованию или ревности.

Напрасно Бронин силился вырвать ее из этого мира забот, участия... восхитительного, как доказательство любви, и несколько неприятного, как желание женщины защитить мужчину. Он бросал беспечно свою судьбу на жертву непроницаемой будущности, он твердил ей о настоящей минуте... они сидели рядом... Солнечные лучи, пробираясь сквозь густые ветви дерев, образовали перед ними стену зелени, унизанную точками света... Княжна и солдат, два странных наряда вместе... два существа с одной планеты, но раскинутые какой-то мыслью по концам ее и соединенные чувством, которое не знает пространства, не боится расстояния.

Долго она не слушала его, долго прибегала ко всем усилиям воображения, чтоб утешить себя какой-нибудь счастливой уверенностью, потом задумалась, потом взглянула на Бронина, как будто утомленная испугом, и ласково сказала:

— Боже мой! зачем вас перевели к нему в полк? — Оп схватил ее руку в первый раз, прижал крепко к губам... она покраснела, но оставила руку па произвол любви, и ветер накинул широкую ленту ее пояса на колени к солдату...

. . . .

Между тем растревоженный полковник вышел из своей квартиры.

Его замыслам стало душно, его чувству нужно было и прохладу воздуха и простор неба. С дороги сбивался он на тропинку, с тропинки на пашню. Он шел скоро, как будто догонял свои мысли, которые все опережали его. Он шел бог знает куда, а очутился, усталый, перед домом князя.

Войти или нет?.. Полковник не будет уметь сохранить должного спокойствия!.. Не лучше ли дождаться ответа?.. Да, нет ничего приятней, как перед решительной минутой подмечать самому этот ответ, делать догадки о наступающем блаженстве по разным пустякам гостиной!.. И потом,

чем наполнить пустоту времени? Куда бежать от сомнений?.. Он вошел.

Князь был на охоте. В передней никого. Почтительно прокрался полковник до одной комнаты, из которой окна выходили в сад. Никто не попадался ему навстречу... Считая неприличным атаковать дальнейшую часть дома, он опустился на диван, покойно упругий, обложенный мягкими подушками, обтянутый полосатым штофом,— и расцвел!..

Буря войны, ее голод и холод, кочевая жизнь... как все это показалось вдруг слишком молодо, тяжело, невозможно более для полковника, убаюканного негой роскошного дивана! Великолепие строя, чудная выправка и склейка людей, как все это показалось ему хуже, чем мраморный камин, матовые шары ламп, малахит и бронза подсвечников. Полусонно смотрел он на поясные и миниатюрные портреты княжеских предков, вероятно с таким же чувством, с каким Наполеон думал о родословной австрийского императора, когда сватался за его дочь. Полковник послужил... пора отдохнуть... что в славе, которая спит на сырой земле!.. Какая в том честь, что солдат сделает на караул! Ему захотелось отведать барской спеси, причуд богатства, понежиться в объятьях знатности и красоты!.. И почему не лелеять этой сладкой мечты? почему не надеяться на это заслуженное счастие?.. Он дрался храбро, княжна так восхитительно приветлива к нему, помещики с таким подобострастием становятся около него в кружок, сажают на первое место, ждут к обеду, а Андрей Степанович, решительно уверенный, что для полковника нет невозможного, набожно говорит ему всякий раз: «В ваши лета, в вашем чине...»

Эти великие и малые воспоминания, это высокомерие, внушенное ему не собственным самолюбием, а ложью общества, злая ошибка других, потому что они смотрели на него в увеличительное стекло; наконец безгрешное, понятное в нем желание палат и сердца — все это отлило его надежды в прекрасную, крепкую форму... и он поднялся лениво с дивана и медленно подошел к окну, чтоб окинуть глазом еще частицу своих будущих владений... Но тут более любви, чем надменности, проявилось у него. Любовь душистая, светлая, беспечная повеяла ему из сада!.. любовь, какой не видывал он в деревенском сарафане, в кормче жида и у мелочных немок. Как нежно поглядел он на эти укатанные дорожки... где будет прохаживаться с своей обворожительной женой, на эти кусты роз, на эти тюльпаны... а там, вдали, глубокая, темная беседка... там, может быть, много схоронится супружеских тайн...

Вдруг полковник дрогнул, лицо его оцепенело, и он приметно вооружался всею зоркостью глаза, как будто поверял дистанцию при построении колонн к атаке... что-то мелькнуло сквозь ветви... что-то похожее на мундир и на женское платье... Он отсторонился от окна, оперся на эфес шпаги, и, я думаю, пальцы его выпечатались на бронзе... это княжна, это Бронин...

Нет, полковник, это демон, который принимает на себя все виды, чтоб вырвать нас из области счастия и показать нам жизнь, какова она без украшений, накинутых на нее головою и сердцем человека, жизнь с усмешкой безверия, с отчаянным взором!.. Но белое платье мелькнуло опять, но знакомый зонтик заслонял от солнца знакомые черные волосы, но красный воротник, но темно-зеленое сукно... В них нельзя ошибиться полковнику... это он, это она...

Да, полковник, это он, это солдат, который по твоему слову не шелохнется при тресках грома, не смигнет под грохотом ядер... это солдат, для которого ты отец и мать, жизнь и смерть, и небо и ад... ты обходился с ним как с равным, так щадил его, ты высказал ему всю душу, а он обманул тебя, а княжна рассыпалась перед тобой для него, а там они смеются над твоей неловкой любовью... Куда ж девалась твоя служба?.. какой же теперь смысл в твоих крестах?.. Все раны Смоленска, Бородина и Лейпцига раскрылись у несчастного полковника!..

Смотри, полковник... он целует ее руку, эту руку, так хорошо освещенную солнцем, что ты отсюда можешь видеть ее белизну и нежность!.. смотри... их только двое... никого нет еще... они давно здесь... оторви его... чтоб княжна не отыскала и следов солдата!.. Но не поздно ли?..

Полковник не понимал, что есть невинные ласки, непорочное уединение... Подозрительно впивались его глаза в белое платье, и не бледность, которая грозит смертью, но грубая краска гнева зарделась на его полных щеках... Он воротился назад, к привычкам целой жизни, к своей невероломной страсти, в мир войны, дисциплины и зажигательных звуков барабана! Заблуждение вырвало его из строя и предательски покинуло одного, далеко от княжны!.. Ему показалось, что они идут к дому... он кинулся из комнаты, но вдруг приостановился, страшный, огромный... повернул голову, бросил еще один взгляд... только не на княжну, не на сгибы белого платья...

Он взглянул на солдата.

X

Если б вы вбежали за полковником в его квартиру, вам бы представилось одно из этих загадочных явлений, которыми душа расстраивает отчетливый порядок наших мыслей, когда от ежедневных, правильных впечатлений переносится внезапно к какому-нибудь впечатлению страстному и, обнаруживая все могущество своих поэтических волнений, дает мертвым предметам что-то живое, сливает их с собою в одну стройную картину. Изба, дворец равно отражают это напряженное состояние души. Этот взрыв ее поднимает все на одну высоту с нею, и вы видите кругом или блеск, или обломки.

Полковник курил, но это была туча дыма!.. Дым, выносясь густыми клубами, вился в кольца, расширялся, тянулся к потолку и растягивался под ним в тонкую прозрачную пелену. Потом прокрадывался и расстилался по стенам, потом бежал, потом струился по полу, потом стало ему тесно. В этом аду дыма один угол, освещенный двумя-тремя лучами солнца, оставался чем-то утешительным, чистым, как будто человеколюбие притаилось тут от грозы ожесточенного сердца. Ковры, пистолеты, знамена — все исчезло, только мерцали частицы кинжалов, да виднелись две неподвижные фигуры, два синих, дымчатых лица, да против них сверкали глаза полковника и гремел его начальнический голос.

Горячо сердился он на офицеров (это были офицеры) за то, что избавляли солдат от службы. Гнев его разразился в своем полном объеме, как вообще гнев человека, который шумит на безответного, а потому бывает не робко дерзок и не трусливо храбр.

— Ни шагу никуда отсюда! — кричал он.— Ужо его на учепье, завтра ко мне в вестовые!

Но в этих звуках было что-то дикое, таинственное, как будто они относились к какому-то призраку, как будто полковник искал возле офицеров кого-то другого и на него смотрел и другое говорил ему. «Я стану между тобой и ею... сквозь меня ты не увидишь ни нежной руки, ни ясного дня, ни цветов, ни румянца, ни яркой улыбки... Я покажу тебе только, как бледно может быть лицо, как впалы щеки и как мутны глаза... мне не нужно обманывать, хитрить, кидаться к тебе на шею, жать с восторгом руку; мне не нужно таиться, подыскиваться, клеветать на тебя, стеречь тебя за углом, красться к тебе ночью — ты мой при свете солнца, при тысяче глаз» . . . .

. . . .

Ученье шло дурно. Полковник был недоволен до того, что передал свою ярость лошади: вся в пене, она бесилась под ним красиво, только беспокойно несла голову, потому что он беспрестанно затягивал поводья. Особенно же его раздраженное внимание обращалось на беспорядки того взвода, где с полунасмешливой и с полугорькой улыбкой стоял под ружьем Бронин. Там все было не так: люди не ровнялись, фронт волновался, шаг был короткий, вялый, взгляд не быстрый. Замечая повсюду недостатки, без милости пришпоривая лошадь, полковник все озирался в одну сторону, и куда ни переносился — дирекция его огнедышащих глаз не переменялась.

— Не качаться,— кричал он, смотря на Бронина,— ровняй его!

Фельдфебель потянулся через заднюю шеренгу и слегка дал прикладом толчок солдату. Этот побледнел.

В самом деле несносно, когда ученье идет дурно. Оно требует непременно стройности, правильности, как признаков дружной храбрости и единодушия, необходимого для неодолимой силы, составляемой из тысячи сил.

Представьте себе быструю точность движений; эти ряды, ровные, крепкие, которые то сплотятся стройно в светлые тучи штыков, то развернутся свободно длинной гранитной стеной, протянутся блистательным лучом! Эти груди вперед, эти дерзкие лица идут на целый мир, эти ноги ступают твердо и поднимаются решительно; представьте себе этот чистый, дружный, отделанный шаг, и вы поймете, что церемониальный марш может вас бросить и в жар и в холод. Тут орудия смерти не беспорядочны, не безобразны, тут смерть нарядна, тут то же чувство изящества, то же чувство красоты, но вместе и чувство силы, невозможное для отдельного человека.

Теперь представьте, что ученье идет не так, что в нем нет этого согласия, и вы поймете, почему полковник, выведенный, наконец, из терпенья, отправился во весь карьер и прямо перед Брониным мастерски осадил лошадь.

— Что это за стойка?.. опустился!.. Господин взводный командир, поправьте его... выпустил колени... плечи ровнее, грудь вперед.

Слова начальника произвели пагубное действие: губы у солдата задрожали, но это было единственное проявление жизни на его лице, потому что весь буйный пыл ее, все лучи собрались в глаза. В них все было: и презрение, и нена-

висть, и отвага, и эта гордость, которую внушает безумная любовь и от которой мы представляем себе весь свет сердцем женщины, хотим везде стоять на первом месте, занестись куда-то высоко, выше всех общественных отношений, всех соперников и выше всякой славы.

Но простая команда не могла бы, конечно, привести Бронина в такое раздражительное состояние; вероятно, он подозревал, почему, когда воротился в штаб, потребовали его на ученье. Невыносимо посмотрел он и, забывая свой долг, свою мать, свою княжну, сказал замирающим голосом:

— Полковник, не мучьте меня, вам от этого не будет лучше; я говорю, не мучьте.

Штык зашевелился у него на ружье, только движения штыка начальник не видал уже. Лошадь под ним взвилась и отскочила, потому ли, что он не был более в силах править ею, или потому, что не мог стоять под взглядом солдата и толкнул ее.

Нарушение дисциплины, на которую опирается общее благосостояние, да тайна полковника, мучительная тайна... да еще: «вам от этого не будет лучше...» — с него было довольно. Он понесся, вскрикнул дико, и грозное слово раздалось по рядам.

У солдата выхватили ружье и сдернули мундир . . .
. . . .

— Полно, брось его,— скомандовал полковник через несколько секунд с другого конца фронта; потом подскакал к ротному начальнику, махнул полковому адъютанту и скоро проговорил с приметным волнением:

— Не высылать его на ученье, не наряжать в вестовые; пусть он делает, что хочет, ходит во фраке, бывает, где ему угодно: оставить его в покое.

Что-то похожее на слезу блеснуло у него в глазах; он отвернулся проворно, вонзил шпоры в лошадь и исчез.

Возвращаясь с ученья, некоторые солдаты рассуждали между собой о преимуществах толстой рубашки перед тонкою и приправляли свои слова одним из тех мудрых изречений, в которые воплощается прошедшее: за битого двух небитых дают.

XI

Смерклось.

В одном из самых лучших крестьянских домов, в горнице, убранной, как убирает материнская попечительность,

и блестящей этими волшебными безделками, этими подарками на память, которыми дорожит любовь при своем начале,— едва можно было различать предметы, и то от месяца да от тусклой, нагоревшей свечи, поставленной в так называемой передней.

На полу валялся солдатский мундир, на нем рубашка, разорванная пополам, сверху донизу, вероятно в припадке бешеного негодования. Павел, старый слуга, каких слуг более нет, не смел ничего прибирать, а робко выглядывал из-за дверей и раза два уже обтирал глаза рукавом.

Бронин лежал на турецком диване лицом в подушку, шитую по канве княжною. Если б он не повертывал иногда головы на окно, как будто хотел по темноте отгадать время, да если б еще не пожимал плечами, как будто чувствовал боль в спине,— должно б было подумать, что он спит. Камердинер его и дядька давно покушался войти; наконец переступил тихо порог, подкрался к дивану и, помолчав, сказал унылым голосом:

— Вот, сударь, к вам записка; как вы были на...— Он остановился и переменил оборот речи.— Давеча прислала княжна.

Бронин протянул руку, не поднимая головы, взял записку, стиснул — и не прочел. Грустно Павел отправился назад, но через четверть часа вбежал в больших торопях.

— Барыня, сударь, приехала, барыня!

Бронин вскочил, крикнул: «Не говори ей...» — и замер на месте.

Казалось, он испугался: иных слез, иных рыданий мы боимся и умирая. Верно, дошло до нее... она никогда не приезжала так поздно...

Павел вздел на него проворно мундир, который попался под руку, забросил рубашку, потом внес свечу, и — подарок матери, подарок в день рожденья, драгоценный ятаган засверкал на стене. Его ножны были уже обтянуты новым зеленым бархатом, золотые бляхи ярко отчищены, жемчуг отмыт, и на месте выпавших камней сияли другие. Павел поднял проворно зонтик у подсвечника и поставил его в углу, подалее, чтоб ни один луч не осветил для матери лица ее сына.

— Сашенька, друг мой!— кричала Наталья Степановна еще за дверьми, с сильным движением в голосе.

Бронин затрясся, и, прежде чем пошел навстречу к ней, его судорожный вздох отвечал на эти звуки, как будто душа, выстрадавшая свою часть на земле, оробела при виде

лишнего страдания. Павел провожал барыню, не смея поднять глаз.

— Сашенька, ты прощен.

При этом слове она кинулась к нему на шею с быстротой и веселостью молодости.

— Князь сейчас получил письмо из Петербурга, на днях будет в приказах!..

Слезы так и катились у нее от радости, поцелуи так и сыпались на щеки Бронина.

Может быть, он не устоял бы против рыданий о его позоре, может быть, он пал бы под материнской печалью, но радость, но насмешка судьбы нашла его немым. Есть же это чувство, которое не принимает в себя никаких посторонних волнений, которого не умеешь назвать, раздробить на оттенки, и — пусть небо прояснится, подует попутный ветер, разыграется парус — тяжелый груз этого чувства все топит корабль человека.

— Поедем, друг мой, поскорей; тебя ждут ужинать; добрый князь зовет пить шампанское!.. Как он рад, а как рада княжна!..— Тут Наталья Степановна улыбнулась с двусмысленным восхищеньем.— Да что у тебя так темно?..

— Светло, матушка,— отвечал Бронин, опуская голову на ее руку.

— Поедем же скорей...

— Нельзя... мне надо видеть полковника.

— И, друг мой!..

— Мне надо видеть полковника, матушка,— сказал сын, усиливая голос и взглядывая на ятаган.

— Да он, верно, не осердится. Полковник, право, мил!.. Как добр до тебя!.. Завтра мы здесь отслужим молебен, и я буду молиться за него. Да что с тобой, друг мой, ты будто не рад?

— Рад, матушка, очень рад...

— Ай!— вскрикнула она,— как ты сжал мне руку, Сашенька!— и крепко поцеловала сына...

. . . .

Долго отговаривался он. Наконец Наталья Степановна заметила его бледность, и с заботливостью, в которой не было ничего горького, потому что радость покрывала все другие чувства, спросила:

— Ты болен, друг мой? Что с тобой?

— Много ходил сегодня, устал; да вы не беспокойтесь, матушка: к завтрему это пройдет.

Тут поразительна была странность человеческого сердца:

сын испугался, что мать обеспокоится о его нездоровье, а между тем безобразный умысел понемногу выступал из души к нему на лицо. Слабое освещение, старость глаз и потом слепой восторг и самая чудовищность, невероятность сыновней беды помешали Наталье Степановне проникнуть тайну или сделать какую-нибудь печальную догадку. Она убедилась, что ему нельзя ехать, что он устал, должен отдохнуть и что к завтрему это пройдет...

. . . .

— Да что ж ты не велишь ничего сказать княжне?..

— Поклонитесь ей, поблагодарите ее.

И он опять схватил руку у матери, прижал к губам, и она опять расцеловала его.

— Так завтра, мой друг, мы все приедем к обедне!

— Завтра, матушка!..

. . . .

Коляска промчалась — и все затихло; только кое-где перекликались собаки...

— Павел, ложись, я разденусь сам...

. . . .

Прошел длинный час; слышно было, что и Павел спит. Бронин ходил по горнице; то смотрел на окна, то на стены, то не смотрел ни на что. Вдруг подошел к ятагану, дико стал перед ним и впился в него глазами!..

В эту минуту решительно нельзя было узнать в солдате юного корнета... ни одной похожей черты!.. только волосы, не обстриженные еще по форме и разбросанные в неподражаемом беспорядке, сохранили свой прежний лоск, прежнюю увлекательность... и, несмотря на пугающее выражение его лица, прекрасная женщина могла бы еще взглянуть на их волнистые, роскошные отливы, и томно впустить свои ласковые пальцы в эти густые локоны, и нежно приподнять их, и сладострастно разметать, и вспыхнуть, и обомлеть, любуясь ими. Это были еще волосы корнета.

Он снял ятаган со стены...

. . . .

Месяц разделил широкую улицу села на две резкие половины: светлую и мрачную... На рубеже света и мрака, на этой черте, где конец жизни сливался с началом смерти, — несколько раз появлялась и исчезала тень солдата!..

Но часовой ходил у квартиры полковника... но страх или презрение к самому себе... но что-то останавливает человека, когда он крадется ночью...

. . . .

XII

Ударяли к обедне. Был какой-то праздник в селе.

Мало-помалу высыпа́ли на улицу солдаты, крестьяне и крестьянки. У иного на шляпе был воткнут за тесьму пучок желтых цветов, у иной в косу была вплетена лента. Многие, идя в церковь, переваливались лениво и не без чувства поглядывали на запертый кабак. Погода была чудная. Это было одно из тех невыразимых мгновений, когда жить значит не вспоминать, действовать или надеяться, а просто дышать, смотреть на небо, на зелень, на цветы... наслаждение, не купленное ни трудом, ни деньгами!.. Тихо и светло текла Красивая Мечь!.. Мелкий дождь сквозь солнечные лучи вспрыснул землю, и радуга, как газовый шарф, опоясала половину прекрасного неба.

Вдали мчалась к церкви коляска в шесть лошадей; из нее высовывалась нарядная шляпка, вылетал белый вуаль, и некоторые говорили: «Это его сиятельство с дочкой!»

Показался и полковник. Выходя из квартиры, он обернулся назад и пасмурно сказал кому-то: «Помирите меня с ним».

Потом отправился в церковь, но едва сделал несколько шагов, как с ним поровнялся солдат... без кивера, мундир нараспашку, лицо искажено... левая рука его упала с гигантской силой на плечо полковника...

Лезвие ятагана блеснуло на солнце и исчезло...

Ударяли к обедне, но никто не шел в церковь. Огромная толпа стояла тесно и мертво, с оцепенелыми глазами, с бессмысленным любопытством. Движение боязливое, неслышное было заметно только в тех, которые пришлись позади других, а потому тянулись, чтоб полюбоваться невиданной картиной... Несколько офицеров поддерживало голову бедного полковника, и лекарь, обрызганный кровью, зашивал страшную рану. Несколько солдат рвало и вязало убийцу. Бледное лицо его ожило, оно вздрогнуло жизнию, как вздрагивает труп от гальванической искры: румянец заиграл па щеках, слезы полились градом... на паперти оттирали двух женщин... он смотрел туда, и прискорбные, раздирающие звуки: «Матушка, матушка!» — неслись на воздух. Еще слова два прибавлял он, да ничего более нельзя было разобрать, потому что он глотал их вместе с слезами.

. . . .

Через несколько дней глухой, прерывистый бой барабана, обтянутого черным сукном, возвестил похороны полковника. Ружья на погребенье, флер на шпагах — этот смиренный вид оружия, данного в руки не для изъявления тихой

скорби; наконец это немое, торжественное благоговение к святыне покойника, выражаемое вполне только послушными солдатами и их печальным маршем,— все заставляло тосковать по умершем. Красноречивые военные почести проводили его тело в могилу, почести, на которые мы, живые, смотрим часто с горькой, глубокой, темной завистью. Это смерть с каким-то отголоском из жизни, с каким-то следом на земле...

. . . .

Через сколько-то времени тот же батальон, который шел за гробом полковника, построился на поле для другого дела. Перед фронтом стало пятеро солдат. Между ними был один без ружья, в одежде, не подчиненной уже форме. Отдали честь. Батальонный адъютант прочел бумагу. Раздалась команда:

— Стройся в две шеренги, ружья к ноге...

Проворно разнесли по рядам свежие прутья. Иные солдаты ловко схватили их и красиво взмахнули ими по воздуху и, подтрунивая над своим товарищем, пробормотали:

— А пришлось прогуляться по зеленой улице.

Забили в барабаны и — ввели его в эту улицу...

Многие офицеры отвернулись...

Позади рядов прохаживался лекарь, и вблизи дожидалась тележка...

. . . .

Я не знаю, что сталось с княжною. Она исчезла от меня, как исчезает от нас будущность в потемках неба и завтрашнего дня. Исчезла, может быть, в одиночестве печали, а может быть, в ослепительных, неясных переливах блистательного света. Знаю только, что некогда на берегу Красивой Мечи лежал гранитный камень, обнесенный железною решеткой, куда, бывало, каждый день приходила она плакать и откуда однажды убежала с ужасом, потому что к этому же камню привели два лакея дряхлую, ветхую женщину с печатью страшного разрушения на лице и с цветами на чепчике.

Эта полуистлевшая женщина проснулась рано, если болезненное оцепенение членов можно назвать сном, вскочила на постели и вскрикнула:

— Сегодня рождение Сашеньки! подавайте новое платье, нарядный чепчик, цветов; подайте ятаган... я подарю его Сашеньке!

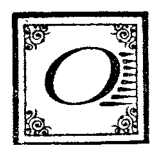


ДЕМОН





I



Однажды в самую светлую ночь в Петербурге, на Петербургской стороне, сидел за письменным столом чиновник лет сорока пяти. Сальная свеча, которая совсем была не нужна, но которую он в жару трудолюбия не вздумал потушить, до того нагорела, что из ее светильни составилась черная шапка, похожая на подстриженную березу. Андрей Иванович был или не довольно образован, или не довольно богат, чтоб употреблять воск, и вместе с тем имел, видно, в душе столько благородства, что не жалел сала. Небольшая комната служила ему кабинетом. Она была чище подьяческих кабинетов во всей остальной России. Сверх того, некоторые предметы показывали, что ее хозяин не все купается в чернилах, не всегда занят делом; но позволяет себе наслаждаться жизнию, разнообразить свои занятия, чувствует потребность просвещения и жажду поэзии. Особенно же кидалось в глаза то, что он, по счастию, не читает ничего на иностранных языках, а питается все произведениями родной почвы; следовательно, находится в благополучном состоянии турка, который не видит чужих жен. Хорошенькая Александровская

колонна из бронзы, несколько литографий российской работы, один нумер какого-то журнала, два-три тома каких-то повестей и соловей в клетке удовлетворяли тут прихотям ума и сердца. Несмотря на такой прибор комнаты, нельзя, однако ж, не упрекнуть просвещенного чиновника. Колонна, литографии и соловей были, разумеется, куплены; книги же, судя по разрозненным частям, взяты на подержанье: патриархальное обыкновение, которое сохранилось во всей своей чистоте не только у чиновников, но и у людей более прихотливых, более богатых, более испорченных в других отношениях общественными пороками образованности: никто не попросит поносить вашего платья, и всякий хватает почитать вашу книгу. Я было забыл самое главное украшение кабинета — кипу деловых бумаг.

Таким образом, куда Андрей Иванович ни обертывался, везде перед ним свое, родное: книга русского писателя, картинка русского художника, процесс русского суда и соловей русской рощи. Он сидел в халате и все писал. Только скрып его пера нарушал тишину комнаты и Петербургской стороны. Нигде освещенного дома, нигде съезда карет. Запоздалый пешеход мог спокойно добраться до своего жилья. Ему не попадались навстречу цельные стекла и в них миллионы свеч, ленты, мундиры, женские прически; ни в одном окне не было ничего возмутительного, ничего такого, что заставляет прохожего повесить голову или поднять ее гордо.

Прекрасная ночь и тусклое мерцанье огня бросали фантастический свет на утомленное лицо Андрея Ивановича. Усталость клонила его. Рука работала усердно, но без этой работы, без этого движения мысли, которое раздражает тело, придает ему бодрость, делает человека ночью умнее, жизнь приятнее, а сон ненужным. Серые глаза, не оживленные разумным трудом, волненьями души, едва смотрели: то раскрывались, как в испуге, то мало-помалу слипались опять. На полных щеках не играл болезненный румянец бессонницы. Они были бледнее обыкновенного. Андрей Иванович не бегал по комнате, не тер себе лба, не раскидывался на спинке кресел, не ломал рук, а все сидел, не разгибался и писал,— сонный, терпеливый, полезный, добродетельный!.. Белокурые волосы с проседью лежали в том же порядке, в каком были приглажены поутру. Шумный день столицы и морской ветер промчались мимо, не пошевелив ни одного волоска.

Чья судьба решалась под рукой темного человека, в краю дешевых квартир, при свете чудной ночи и сальной свечи?

где тот, кого сыщет всемогущая бумага? на берегу какого моря, в каких снегах России? Андрей Иванович решительно не знал, о чем идет дело. Остроконечный нос его едва не вступил в должность пера; но тут он очнулся, отряхнул голову, оперся обеими руками о стол, поднялся, потушил свечу и подошел к окну. На том берегу темнелась и светлела великая картина. Тут можно было простоять долго, вздрогнуть при виде человеческой силы, человеческих богатств и гранитов Севера; можно было пожелать переехать туда, на другую сторону Невы, в какой-нибудь из этих домов, из которых каждый был поместительней квартиры Андрея Ивановича. Но он не растревожился, взглянул и отошел с тем же, с чем пришел. Ему не захотелось ничего передвинуть, ничего переменить и поправить, все здания были на своих местах, все было благо, что было, не захотелось даже и переезжать. Правильное течение жизни и привычка к правильности, формальности, очереди, спасала его от неисполнимых желаний, от вредных сравнений себя с ближними, Петербургской стороны с Дворцовой набережной; словом, от глупых мук воображенья. Поработав и поглядев в окно, он отправился в другое отделение своего жилища. Две комнаты отделяли его от той, куда направились его шаги. Тихо растворилась дверь в нее, осторожно ступила нога через порог, однако ж он вошел небрежно, в полной уверенности, что ляжет спать, и сбирался уже на покой, по вдруг остановился, как будто встретил что-то новое, к чему не привык, как будто голова его, которая устояла перед чудесами спящего Петербурга, расположилась нечаянно к мечтательности и сердце, онемелое под сухим трудом, отозвалось внезапно на язвительные размышления. Перед ним лежала в постели женщина. Ни скрып дверей, ни шорох мужчины не разбудили ее, она не пошевелилась, а потому читатель догадается, что это была жена чиновника. Ее комната, столица ее царства, носила характер отличный от мужнина кабинета. Там занятия ума, пища для мысли,—тут, по мере возможности, вкус, роскошь, некоторое обоготворение тела, так приятное нежному полу. Тут добрый муж тратил жалованье, выработанное там. На туалете красного дерева лежало бусовое ожерелье, несколько колец, две пары ненадеванных перчаток, стояла склянка с духами и фарфоровая баночка без помады. Даже довольно затейливый ковер был разостлан у кровати с той стороны, где почивала жена. Муж берег только ее ножку от холодного прикосновения досок. Чиновники балуют жен. Впрочем, и туалет, и духи, и ковер,— что это значило? всего этого мало

было для милой женщины, для комнаты, где она, несчастная, и спала и одевалась. Других размеров требовала душа при взгляде на ее тихий сон, на ее ангельское личико. Самый нежный румянец, самый последний луч от ярких красок дня остался у нее на щеках. Чистый чепчик с простой оборкой спрятал все волосы, веки закрывали глаза: все было бело и розово, только чернелись тонкие брови да густые ресницы. Что-то девичьего сохранилось еще в ее чертах, они уцелели от ежеминутного влияния семейных нужд и бедности, от черных работ хозяйства; девятнадцать лет сберегли ее, как сберегает раковина свою жемчужину в пропастях грязного моря. Не слышно было, дышит ли она! так легко было ей спать, так мало еще накопилось у нее этих грубых дней, за которыми следует мертвый сон с тяжелым дыханьем! Уютно лежала она на двуспальной постели, немного занимала места, грех было будить ее, жалко оставить тут; духи средних веков не являлись из-под земли, чтобы неслышными пальцами понести красавицу по воздуху и опустить где-нибудь на золотую кровать, под бархатный занавес, в благоуханной атмосфере, в стенах, унизанных драгоценными каменьями. Мужчина подле нее, мужчина в ее спальне!.. это разбойник, который пришел осквернить преступлением убежище невинности, это вор влез в окно, чтоб ограбить сироту; но широкий бухарский халат, подпоясанный, как у порядочного человека, но овал лица, подходивший близко к сферической линии, изображающей доброту, ручались за законность его дерзости и за чистоту его намерений. Однако ж он стоял, точно осужденный, точно совесть мучила его!.. неужли и теперь, неужли опять он осмелится подступиться к ней? он, кавалер пряжки за двадцать лет и четвертой степени Станислава!.. Хоть бы Анна была у него на шее, хоть бы голова была без седых волос, хоть бы каменный дом был на проспекте!

— Что ж ты не ложишься?— сказала жена, полураскрывая сонные глазки, зашевелилась под одеялом, повернулась и заснула опять. Ответа не было. Андрей Иванович стоял остолбенелый, не откликалась его душа на ночной шепот, как и на стройные громады гранита. Есть такие люди, которых не трогает ни законная любовь, ни архитектура. Чувством ли унижения мучился он? сошла ли на него мысль, что деньги, власть, женщины достаются иногда в силу неправосудия судьбы и притеснения от своих ближних? Наконец, по примеру жены, он также повернул спину, вышел в ту же дверь, прошел те же две комнаты и очутился в том же кабинете.

Что-то необыкновенное происходило у него на сердце, замысел или раздумье было в голове. Он начал ходить, тереть лоб и трепать на лбу волосы, чего чиновники никогда не делают. Вы бы сказали: это воскрес рыцарь, который готов на все, чтоб оказаться достойным своей дамы; это человек, который прочел вчера в Юнге, что можно остановить время и заставить его отдать назад, что оно унесло; прочел и поверил. Чему иному приписать такое обратное и неузаконенное путешествие из спальни в кабинет? Поздно, очень поздно приходят иные намеренья в голову! сколько раз ложился он, не останавливаясь перед кроватью, не заглядываясь на жену? но, бывает, целую жизнь не догадаешься, что тебе худо и не посовестишься владеть тем, чего не стоишь. Андрей Иванович растворил окно. Свежий воздух и черные мысли пахнули с Невы. Петербург спал, покоился этот гигант Севера, страшно и приятно было смотреть на грозный и великолепный сон. Трое часовых стерегло его. На земле несколько штыков, между землею и небом ангел колонны, а на небе стоял месяц на карауле. Все было тихо, ничто не двигалось, и в этот великий час в целом божьем мире все чиновники давным-давно перестали писать, а ты пиши да пиши, и не то, что взбредет самому на ум, а что напутают другие; не о друзьях и знакомых, не о жене и детях, не о своем жалованье или чине, а о судьбе какого-нибудь камчадала. Напрасно перо твое притупится, рассудок потемнеет и ты уткнешься в бумагу с вопросом: господи боже мой, неужли в самом деле есть на свете такие земли и такие люди?.. они есть,— есть реки, которые текут золотом, горы, из которых бьют ключи алмазов, есть миллионы племен, есть все! чего нет? люди всякого цвета, всякого чина и звания, они выслуживают узаконенные годы, получают по службе отличия, люди дерутся, воруют, разбойничают, лазают в землю, зарываются в снег, ныряют на морское дно, и все затем, чтобы заставить тебя писать, да как и не писать? Не для того ли построен Петербург, не для того ли днем светит солнце, а ночью месяц? Глаза Андрея Ивановича не поднялися на небо, не остановилися в воздухе, они перенеслись через Неву, миновали набережную, дворцы, колонну, они пробирались к месту его служения; но какие-то незнакомые призраки подвертывались ему беспрестанно; то чужие окна, то чужие стены, то памятник, то солдат; скалы Финляндии росли на болоте и заслоняли дорогу его сердцу. А как бы не взглянуть ему на свое сокровище! сколько бурь высидел он там на одном и том же стуле! Ураган Финского залива уносил над его го-

ловой начальников отделения, а он не колыхался, он продолжал писать; сочинители черновых менялись над ним,— что ему за дело? сочинения оставались те же. Сегодня он пришел оттуда, завтра пойдет туда, завтра проснется этот Петербург, встрепенется эта Нева, зашевелится этот гранит, завтра заблещет солнце, эполеты, звезды, прилетят корабли и с четырех сторон света нагрянет жизнь в эти широкие, немые, окаменелые улицы. А ты, Андрей Иванович, с своим портфелем под мышкой, отправляйся сидеть, сидеть да писать, и смотри дорогой не толкай никого, не заглядывайся по сторонам, гляди все под ноги и вперед, не то заноет сердце, истерзаются глаза: возле тебя, у тебя под боком потянется ослепительный ряд зеркальных стекол, больших, светлых, ярких, и в них, в них улыбнется тебе и платочек, который годился бы на белую грудь твоей жены, и шляпка, которая чуть-чуть спрятала бы от людей ее пухленькие щечки. Не заглядывайся по сторонам, не то зайдешь в кондитерскую, съешь слоеный пирожок, выпьешь чашку кофе; хорошо еще, что ты не читаешь журналов, нет тебе и предлога зайти; хорошо, что ты не охотник до устриц, что тебя не потянет на биржу. Пуще же всего смотри, чтобы не столкнуться с приятелем; едва завидишь его, нырни в толпу: приятель потащит тебя обедать в ресторацию; конечно, обеды в ресторациях веселее, чем в недрах своего семейства, да ведь у тебя есть обед дома, это будет двойная трата. После обеда отдохни, да и опять за письмо; но боже спаси тебя отправиться куда-нибудь на остров погулять под ручку с женой! вы не пара, ты стар, она молода, притом же из порядочных людей кто ее увидит там? Она будет затерта в толпе, а кто и увидит, тот укажет на тебя пальцем, тот подумает: можно ли это прогуливаться под ручку с такой прекрасной женщиной, не имея ничего на шее! Напрасны были увещания рассудка. Влияние этой ночи пагубно было Андрею Ивановичу. Точно он переродился. Утром, как вышел из дому и возвращался домой, куда девалась его смирная походка и беспорочная служба? Шаги его явным образом стали противозаконны, глаза разбегались и буйствовали по Невскому проспекту. Такая жадность оживила взгляды, что они не останавливались ни на чем. В несколько часов он пересмотрел гораздо более предметов, чем во всю прошлую жизнь. Нет чтоб посторониться иному, нет чтоб вспомнить завет стариков: чин чина почитай. Он так и кипел неуважением. Особенно это было заметно в отношении к кавалерам Анны на шее; на его же беду, как нарочно, все Анны высыпали на

проспект. Этого зрелища он уже не мог выносить, отворачивался, бежал, волнение было так сильно, что, казалось, того и гляди он бросится в объятия к первому, у кого нет ни креста, зальется слезами и вскрикнет: «Ты мой друг, благодетель, отец, хочешь ли я брошусь в Неву, взлезу на петропавловский шпиц?» Он не пропустил без внимания ни одной колясочки, если она везла даму: почему жене его не проехать бы в таком же экипаже, когда его жена не в пример лучше той, которая сидит там? Жена! — Андрей Иванович был еще на народе, Андрей Иванович может в отделении положить перо, заняться приятными разговорами и послушать умных людей!.. За ним, перед ним, кругом его все идет, едет, вертится, шумит; для глаз столько красок, для ушей столько звуков, для ума столько бессмыслицы, для сердца такая пытка, как тут не развлечься!.. а она, бедная, где в эту минуту? в какую глушь завез ты ее? какими замкáми запер? с кем ей перемолвить слово? в чем выехать? Шить да шить, но ведь это стоит твоего письма!.. Мысль о жене приметно гналась по его пятам, и, если он пропускал мимо генерала, звезду, как пропускает стрелок, не поднимая ружья, птицу, которая вьется под небом, в соседстве облаков, то жена, то ее тень, то ее нежная особа, сотворенная со всеми причудами природы, вынуждали его тут на многие неблаговидные поступки, что бывает со многими, когда они очень заботятся о жене и детях. Вероятно, для жены он позволял себе смерить глазами иной высокий дом; для нее ускорял шаги, не догонит ли кареты четверней, для нее взгляды его перескакивали через улицу, хотели прорваться сквозь стены Александринского театра и вдруг тихо опускались на землю, подергивались мгновенной грустью: там, в этом театре, были прекрасные ложи, где ни разу не сидела его прекрасная жена. Поздно пришел он в отделение, рано ушел. Кто знал его кантовскую точность, тот только может судить о тревоге его сердца. По отделению мелькнуло перед ним два-три молодых человека, которых он прежде не замечал, потому что прежде делал дело, а не занимался пустяками. Ни один из них не сел пописать, не сказал с ним ни слова, не взглянул на него; они поговорили между собой по-французски, а с его начальниками на неизвестном языке, приехали в каретах, прошлись да в каретах и уехали. Но эти желанья, мученья и картины, хотя все в них было ново и внезапно для Андрея Ивановича, хотя он сам не мог бы отдать себе отчета, откуда что взялось у него, откуда такое сумасбродство после жизни, доведенной спо-

койно до седых волос и, что еще лучше, до объятий завидной женщины, все-таки говорю, это странное нашествие ада на его душу не должно бы до того растревожить желчь мужа, чтобы страдала жена. Не должно бы по-настоящему подействовать на его ровный нрав таким образом, чтоб это было заметно и отравило семейное счастие. Конечно, он был не Талейран; но, исписавши столько бумаг, где иные упражняются в том, чтоб скрывать талант, полученный от бога, скрывать, что и у них есть здравый смысл, как бы не научиться и ему притаить кое-что? со всем тем, едва он ступил на порог своей квартиры, домашние могли тотчас заметить в нем перемену: не было на нем прежнего лица, которое за версту, бывало, просило уже обедать. Можно б подумать, что он на целый век лишился аппетита. Что с ним? чем он так взволнован? Нет, это уже не Невский проспект сидит у него в голове. Ему хочется принарядить жену, показать ее в люди, хочется денег, Анны на шею; да, боже мой, кому ж этого не хочется? да о чем же хлопочет весь мир? Но мир ведет себя пристойно, он обрабатывает свои дела потихоньку, это кабинетные тайны; он добьется до креста и не наденет его, он набьет в карманы денег и с постной физиономией будет проповедовать, что богатый не внидет в царство небесное. Поэтому выражение в чертах Андрея Ивановича нельзя было приписать какой-нибудь обыкновенной естественной причине, которую всякий носит у себя в сердце и от которой ни у кого не меняется лицо. Любопытно б, однако ж, объяснить себе его расстройство, отгадать истину, дорыться до корня его отчаянья. Но иногда приходят в голову все вещи известные, тертые, все деньги да чины, и никак не припомнишь, что еще глубже трогает человека. Правда, одно слово, сказанное на ухо, может убить старого мужа, один почерк пера может уничтожить давнослуживого чиновника.

— Что с тобой сделалось? — спросила жена, потому что этого вопроса нельзя было избежать; но спросила без суетливости, без испуга, с каким подбегает жена к осерженному мужу, когда он или моложе ее, или, если старше, может по смерти оставить что-нибудь.

— Сделается,— отвечал муж,— как сидишь целое утро, не разгибая спины, когда другие прогуливаются у тебя под носом и ходят так прямо, точно проглотили аршин.— В первый раз Андрей Иванович солгал на службу. Именно в это-то утро он и не имел права роптать, в это-то утро он почти и не сгибал спины. Женино любопытство ограничилось

одним вопросом, потом она надулась сама, села, как правая, к окошку, подперлась локтем и стала смотреть на улицу. Чрезвычайно приятно, когда молоденькая женщина сидит, молчит и дуется; благороден порыв независимости в слабом существе и извинительно пренебрежение в красавице. Она не навязывалась с утешеньями, не приставала: «Раздели со мною пополам твое горе». Что тут делить попустому! Из всех разделов это, конечно, самый чувствительный, но зато и самый несносный: делишь, делишь, а все останешься при своем; никто тебя не обидит и не возьмет чужого! Она не прибегла к кошачьим ласкам, чтоб умилостивить разъяренного льва, спросила, повернулась и села. Ее равнодушие может показаться странным, всякий имеет право сказать: ей должно было хоть притвориться, да изъявить больше участия, потому что всякий догадался уже, какая сила свела эту жену с этим мужем. Нищета выдала ее головою. Он дал ей крышу, он поил, кормил и одевал ее, но вот и все, а удовлетворение первых нужд не ставит никого в совершенную зависимость. За такое содержание в обрез, за кусок хлеба никто не благодарит; кусок хлеба только сердит и принимается, как должное, как исполнение христианской заповеди. Вот если б жена знала, что муж в состоянии выполнить причуды ее воображения и тщеславия, что он ужо привезет ей ложу в театр, завтра подарит модный браслет, о, тогда дело другое! тогда, разумеется, она не села бы к окошку и не подперлась бы локтем. Лишнее милее необходимого, и льстить, угождать, ухаживать за ложу или за браслет не так стыдно перед собой, не так отвратительно, как за насущный хлеб. Чиновница похорошела, чиновник подурнел. Они принялись обедать. Она не ела и того, чего хотелось; он ел и то, чего не хотел. Она взглядывала беспрестанно на все четыре стороны, на все безделицы, не стоящие внимания, но так искусно, что муж, который сидел перед нею почти лицом к лицу, ни разу не попался ей на глаза. Он не смотрел на безделицы. Она, после первого блюда, хоть их всего было два с половиной, положила на стол салфетку; ему салфетка была необходима до самого конца, потому что он утирался чаще обыкновенного. Нельзя было предвидеть, чем кончится такое разногласие в действиях: попросит ли муж у жены прощенья, что воротился домой сердит и несчастен, или жена, вопреки обычаю, спустит ему несчастие без наказания! Тем трогательней была эта сцена, что случилась за обедом. Тут бедность и очевиднее и чувствительнее. Комнаты свои Андрей Иванович поубрал, но едва ли не на счет своего стола. Комнаты для лю-

дей, стол для себя, а с собою многие у нас поступают без всякой церемонии. Что-то неизмеримое разделяло мужа с женой. Резче выдалась особенность каждого. Чем более продолжалось убийственное молчание, тем более жена становилась тут не у места. Это была гравюра с английской подписью на постоялом дворе, в горнице русского мужика: однако ж Андрей Иванович выглядывал исподлобья так значительно, как будто умел читать по-английски. Впрочем, он, казалось, и не думал о водворении мира в своем семействе, казалось, в душе у него не было уже и речи о домашнем счастии. Видеть жену, которая после первого блюда кладет салфетку, смотрит па все, кроме вас, и сидит пред вами в двух шагах, поджавши губки,— затруднительно, беспокойно; у всякого в этих случаях прибавляется неловкости, у Андрей Ивaновича — нет; он ничего не разбил и не пролил, он был неловок по-прежнему; что-то мертвое очутилось у него в глазах, какое-то равнодушие к собственным страданьям и к страданьям целого человечества. «Да что ты так смотришь на меня? на мне узоров нет, а портретов писать еще не выучился»,— сказала жестокосердая жена, повертывая голову в сторону, так что слова ее относились прямо к стене. «Да помилуй, друг мой, за это еще с мужей пошлины не берут»,— заметил несчастный муж и потупился в тарелку. «Да что ж я тебе на смех, что ли, досталась?» Жена вскочила и выбежала из комнаты. Муж сделал на стуле медленный полуоборот, кинул ей вслед дальновидный взгляд и потом постепенно пришел в прежнее положение. В самом деле, было отчего вскочить: девятнадцатилетняя женщина сидела за обедом и сама не обедала. День был теплый, в доме душно, а на ее розовые щеки, в ее ясные очи валил пар от русских щей; а перед нею неопрятные остатки самой нехитрой, но самой сытной пищи; тесный столик, уставленный измаранными тарелками, и человеческий рот, который все ест да ест, не скажет милого слова, не поцелует ручки; перед нею покраснелый Андрей Иванович, его отяжелелая особа и его лукавые, пристальные, непостижимые взгляды. Мерно поднимал он их на нее, долго останавливал на ней, точно искал в вечно прекрасном лице какого-нибудь выражения врасплох, какой-нубудь тонкой черты, где виднее душа. Жена портила картину, мужу следовало быть наедине с этим обедом. Жена убежала. Муж приподнялся и помолился.

II

На плечах у Андрея Ивановича был тот же бухарский халат, та же сальная свеча догорала в его кабинете, и такая ж ночь светилась под окном. Воротился вчерашний час, все явилось на смотр в прежнем виде; опять старая сказка, опять гранит, ангел и месяц; опять, куда ни взгляни, нет средства смотреть: все великолепно, очаровательно, чудно!.. Петербург стоял на том же месте, морские волны не смыли его, ни одна из них не вспрыгнула на берег, а Андрей Иванович сумел перетерпеть кораблекрушение. Петербург был тот же — чиновник переменился. Кипа бумаг лежала еще тут, перед ним, да уж ему до них не было дела. Он не сидел, он не писал, он просто ходил. Это беззаботное препровождение времени предполагает или много денег, или бунт страсти, а так как мы видели, что по деньгам нельзя оставить Андрея Ивановича в подозрении, то следует думать, что у него кипела душа. Впрочем, он не выходил из границ. Даже в этом непривычном состоянии не позволял себе никакого своеволия, никаких порывов, которые б разноречили с его зрелыми летами и с его прошедшим миролюбием. Все движенья мятежного Андрея Ивановича были разумны, проникнуты опытом жизни и знанием человеческого сердца. Так, например, он вдруг останавливался по середине комнаты, правую руку, то есть кончики пальцев, клал за пазуху халата, левую закладывал на поясницу, нагибал голову со всем станом немного вперед и, потупив глаза, держался в этом почтительном положении несколько минут. То стоял он немым, то шевелил губами, как будто произносил речь, как будто украл из классической трагедии монолог наперсника; но и его, как наперсников, нельзя было расслышать: глубина смиренья или пыл чувства задушали звуки голоса. Потом, это ему не нравилось, он опускал руки, как солдат, как солдат вытягивался с тою только разницей, что не отменял наклоненья головы и потупленных глаз. Правда, пробовал он приподнять голову, вскинуть глаза, выдвинуть одну ногу, но это ему не удавалось, к этому не было у него призванья. А между тем сияла бледная ночь, а между тем широкие полосы света и тени падали с неба на громадные созданья человека. Все было близко, что́ льстит гордости, что́ убеждает нас в прочности наших строений, все, от чего исчезает земля под ногами. Но иные тем охотнее припадают к ней, чем больше величия у них под боком. Долго переходил Андрей Иванович из одного положения в другое, долго вырабатывал из себя статую, согласную с его идеей и с требованьями

века, долго трудился он обдуманно, отчетливо, без опрометчивости,— дьявольское наваждение коверкало его члены в ночное время, когда люди или спят, или пишут. Дорого ему стоило это. Он не учился танцевать. Тело его не было выломано и приготовлено искусством для всяких театральных положений. Андрея Ивановича бросило в краску, у Андрея Ивановича откуда ни взялась живость молодости. Бывало, с середины комнаты до письменного стола он пройдет чинно и сделает пять крошечных шагов. Теперь это расстояние вместилось в один огромный шаг. Растрепался халат на его груди, и, может быть, в первый раз сверкнули степенные глаза. Он опомнился, он взглянул на свои бумаги, он с раскаяньем блудного сына кинулся к ним: сколько часов погублено в праздности, в действиях законопротивных, отдано на съеденье бог знает каким преступным мыслям!.. Горячая жажда честной работы проснулась в нем, жажда труда все-таки почтенного, который до сих пор кормил его без укоризны!.. с необыкновенной жадностью рылись его руки в бумагах, точно скупой между куч золота не досчитывался червонца!.. Наконец он вытащил лист самой лучшей почтовой бумаги, поднес к свече, полюбовался произведением петергофской фабрики и сел. Минутный пыл прошел, обычный свет распространился по его лицу, как лучи утра по небу. Андрей Иванович может писать неправильно, но сидит за письмом всегда в правильном состоянии души. Андрей Иванович не пишет очертя голову. Почтовая бумага была положена к стороне, перед ним лежала серая: уже на волос от нее шевелилось его перо, он наклонялся к ней, отшатывался от нее и не спускал с нее глаз, заглядывал то справа, то слева, а все не решался приступить. Опять странность, то ли было прежде! прежде писанье текло у него как по маслу. Наконец сомнения прекратились, начало сделано, но и тут беда: не успевало слово явиться на бумаге, как он медленно, важно и без малейшего негодованья зачеркивал его. Куда девался золотой век переписыванья? Завтра спросят у Андрея Ивановича: «Перебелили вы?»— а он уже не скажет: «Перебелил»; Андрей Иванович не перебеливает, Андрей Иванович сочиняет. После каждой строки, которая оставалась неопороченною, которая была ему по душе, он чуть-чуть, самым нежным образом повертывал голову и немного искоса взглядывал на дверь: из-за нее волшебной невидимкой налетало на него бесплотное вдохновение, за нею хранилась эта казна, откуда можно брать, без позволения начальства, сокровища дорогих мыслей и ярких слов.

III

Едва солнце стало подниматься из-за Невы, как Андрей Иванович вылетел на улицу. Так еще было рано, что общество, которое нашел он там, не совсем приличествовало его званию. Охтянка с кувшинами молока, чухна в одноколке, повара с дач за припасами, солдаты на смену и ни одной чиновной особы! Не с кем было разделить время, встретить восход дневного светила, некому поклониться, а найти знакомое лицо, уверить себя, что оно точно знакомо и раскланяться с ним хоть издали, кто не знает, как это необходимо и на воздухе и в четырех стенах? Честолюбие ведет не к добру: чем выше сан, тем скучнее, тем больше становится около вас этих чумных, с которыми не следует вам связываться. Чиновник должен бы испытать тут весь ужас одиночества, всю неприятность быть на улице, когда она полна разночинцами; но он шел скоро, ему некогда было рассуждать, он спешил к цели и щупал только боковой карман мундирного фрака, желая, вероятно, унять биенье сердца или осведомиться, не выскочил ли его бумажник в Неву. Под мышкой у него не было портфеля, даже курьеры с чемоданами бумаг, когда попадались ему навстречу, не привлекали его вниманья: так охолодел он к своему ремеслу. Петербург просыпался весело: казалось, что никто в нем не встанет с постели левой ногой; несколько лучей солнца — и все изменилось: река, камни, люди и чугун — все, кроме Андрея Ивановича. Он один находился еще под влиянием месяца и продолжал грозную ночь. Лицо его лоснилось, глаза съежились, фрак походил на халат, а палка на перо. Он не смотрел никуда, его ноги выбирали сами дорогу, он проносился по зеркалу тротуаров, как дух, которого не может согреть солнце, освежить запах моря и порадовать только что выметенная улица. Ему негде было постоять, некуда прислониться, все здания отталкивали его, прелестное утро гнало отовсюду, потому что он не оставил ничего у себя дома, ничего не спрятал в своем кабинете, а вынес на площадь все имущество своей души, ее заботы, замыслы, надежды, вынес целую ночь свою. Она вся была с ним, четко отпечатанная в его чертах. И Петербург отказывался от него, люди не признавали его за брата, он каким-то отверженным колесил по городу и нигде не встречал второго себя, нигде не осталось унылых следов ночи, ни одного предмета, истерзанного ее привиденьями, ни одного лица, измятого бессонницей. У него под глазами богатая столица отвечала на все требованья других; другие на-

ходили тотчас, что́ им по сердцу: там везлись припасы, которые съедятся, там бумаги, которые прочтутся. Петербург бодрствовал, Петербург служил, Петербург ел уже. Какое ему дело до чужой ночи! он и своей не помнит, где ему отыскать ее теперь в глубоких безднах родного моря? С минуты на минуту город жаднее кидался на рынки и становился несноснее; едва Андрей Иванович успевал подойти к дому,— дом просыпался, изо всех окон выглядывали какие-то лица, из каждой двери высыпали на улицу неугомонные нужды, новое движенье, новый шум, все это прибавлялось, росло, и крик новорожденного дня сильнее да сильнее преследовал несчастного. Зачем выскочил он из-под своего тихого крова? скоро не найти ему места, скоро лучи солнца заглянут во все закоулки и бросятся ему под ноги. Он торопится предупредить этот блеск, вредный для зрения, и вдруг, в пылу убийственного эгоизма образованной столицы, наткнулся на что-то однородное с собою, встретил сочувствие, нашел дом, для которого, как и для него, утро еще не наступило, дом, который спал. Ни на кровле, ни на окнах не было ни одной ослепительной полоски, солнце не попортило еще дикого гранита, дом стоял весь в тени, был неприступен, важен и велик. Только сердце юноши могло обхватить его и самое молодое воображение подняться выше. Андрей Иванович стал как вкопанный, глаза его уперлись в стену, не смея разгуляться по ее огромной площади, которая была ему не по чину и не под лета. Обязанный службой и семейством, он присмирел, сморщился. Бедность, красавица жена и почти пятидесятилетний возраст на плечах придавили его к земле. Дом был построен крепко, ни туда, ни оттуда, казалось, ни входа, ни выхода, казалось, там или много было дела, или уж ровно ничего. Какое ж сношение у человека, стоявшего под открытым небом, с человеком, закупоренным в этих стенах? Сквозь плотную массу их нельзя разговаривать, ничего не слышно, а Андрей Иванович и не думал идти прочь; напротив, он расположился, как дома, опять схватился за карман, полез за пазуху, потом, конечно для большего удостоверения, цело ли все, вынул пакет и начал ворочать его. Таких пакетов мы не умеем делать в Москве. Впрочем, этот не пример: он так тщательно был запечатан, из такой роскошной бумаги, к тому же так сохранен, что даже буря души не измяла и не запачкала его!.. Кто не догадается, что тут было одно из первых сочинений Андрея Ивановича? игрушка его воображенья, незаконный плод его ночи! Топина пакета показывала, что он пишет широкой кистью и набрасывает только главные

черты. Почтительно обращались его пальцы с таинственным пакетом, как будто предвидели, что до него удостоят прикоснуться другие руки; как будто в нем хранились самые нежные чувства, излитые в самых нежных стихах. Но стихи дело не офицерское, на это есть поэты; чиновник, что ни принимался писать, а верно, написал просьбу. Такое предположение было сообразнее с сущностью обстоятельств, тем более, что он едва не на цыпочках ступил на крыльцо и вошел в сени. Перед ним лестница, да куда ведет она? над ним свод, да его не достанешь. Никто не загораживает дороги, а идти страшно, а врожденное чувство шепчет: «Ни шагу вперед». В таком положении находились богатыри перед очарованными за́мками: сражаться не с кем, нет ни души, только в воздухе раздается чей-то голос и не велит шевелиться. Андрей Иванович не пошел прямо, а стал поглядывать, нельзя ли обойтись ему без торжественного шествия по парадной лестнице!.. В стороне была дверь, тихо и скромно добрался он до нее, робко дотронулся до замка́, и рука у него задрожала: есть такие ж минуты в жизни каждого из нас, какая была у Наполеона, когда он с острова Эльбы ступил на берег Франции: пан или пропал. Андрей Иванович отворил, и ему стало просторней на земле. Картина, которая представилась, внушала больше храбрости, чем картина сеней. Человек неизвестного звания, в неприличной одежде, с заспанными глазами, с всклокоченной головой, чистил сапоги и, несмотря на это смиренное занятие, едва удостоил взглядом своего гостя в мундирном фраке. Этот порывался вступить в обстоятельный разговор, где б одно слово вязалось за другое, мысль вытекала из мысли, тот действовал лаконически:

— Не можете ли вы доставить этот пакет его превосходительству?

— Его превосходительство на даче.

— Ведь он каждое утро изволит приезжать.

— Что ж, вы все несите туда.

— Пакеты, кажется, принимаются здесь.

— Принимаются, да не я их принимаю...

Андрей Иванович никогда б не кончил, если б не прибег к общеупотребительному средству; он, не в пример другим, принес жертву, которая иным не в привычку; он служил давно и рисковал своей собственностью в надежде, что получит то, чего просит.

Через несколько дней велено было ему явиться к начальнику в десять часов утра.

IV

Чрезвычайно приятно дожидаться в приемной делового человека!.. Тут между новыми лицами, между жителями особенной части света вы встречаете и старых знакомых, их, кого столько раз видали и привыкли видеть на улицах, на балах, по гостиным, по ресторациям!.. тут в несколько минут вы можете исправить ложные мнения, составленные вами о людях. Один являлся везде и вечно с шумом да с криком, и вы думали про него: какой беспокойный и опасный человек! Другой оскорблял вас прыткостью лошадей, скакал мимо, как будто хотел сломить голову, и вы воображали: этому жизнь копейка! Все, что пугало вас: страшный рост, страшный чин, блеск ума, непреклонность сердца, все, которые буйствуют на гуляньях, превозносятся в гостиных, величаются перед подчиненными, тешатся над лакеями, так смело любезничают с дамами, что завидно; так крепко стоят, что, кажется, у их ног есть дубовые корни; так громко проповедуют, что уж, конечно, не уступят ни вершка из своих заветных убеждений; все эти юные головы, бешеные глаза, широкие плечи и угрюмые усы, все, кого считали вы такими ветрениками, что их может осчастливить только женская улыбка и приманить один женский взгляд; все, кого нельзя умилостивить кучами золота и совратить с пути истины никаким красноречием... Души, очищенные светом наук, и души, грязные невежеством... о, вы помиритесь с ними, вы их полюбите, вы признаете в своих ближних своих братьев, вы увидите, что они не так легкомысленны, как кажутся, не так вспыльчивы, чтоб не могли владеть собой, и не такого гранитного свойства, чтоб не растаяли на солнце. Сладко воротиться от заблуждений, исправиться от зависти и улучить в жизни минуту, когда имеешь право не свидетельствовать никому почтенья; сладко с наглых улиц, из великолепных зал и даже с Петербургской стороны перенестись в приемную!.. какой ровный свет, какая тишина, какие открываются миротворные звуки в человеческом голосе, какая легкость движений, что за воздушная походка! Андрей Иванович давным-давно наслаждался, потому что стоял у притолоки с незапамятных времен. Это был не тот несчастный для начальников день, в который ломится к ним всякий,— и кому нечего есть, и кто сыт по горло, и кого ограбили, и кто награбил. Это было не то ужасное утро, когда мало еще, что они вытерпливают неисповедимую бессмыслицу просьб, позволяют дерзкому человечеству проявлять свой эгоизм, бормотать

дрожащим языком о своих желаньях, о своем голоде и о своих прихотях; когда мало, что они находятся в необходимости отворачиваться беспрестанно то от слез, то от глупости, уничтожать просителей или взглядом или словом, но должны еще насладиться свиданьем с вежливыми и чувствительными людьми, с теми, кому нет до них другого дела, кроме сердечной потребности, духовного влеченья, кому только и нужно, что приехать, постоять, поклониться и поклоном отвести душу. А потому приемная не напоминала нисколько вавилонского столпотворения; все в ней на этот раз было просто, обыкновенно, неразнообразно; всех можно было оглядеть на просторе с ног до головы и вывесть заключения, свойственные мыслящему человеку. Андрей Иванович находился не в многочисленном обществе, а между тем стоял у притолоки так плотно, как будто испытывал давление масс. Цвет невинности и цвет греха, белый и темно-зеленый, давали приятный характер его одежде. Он прибрался по-воскресному, он пришел в гости, и платье у него было вычищено с особенной тщательностью, волосы причесаны глаже обыкновенного, а белый галстук был завязан самым уютным бантиком. Несмотря, однако ж, на такое старание сохранить во всем чистоту, приличие, меру, несмотря на уменье и скромно повязаться и развесить все свои права на гордость, нельзя было сказать, что это праздник у Андрея Ивановича. Любовь к жене, сила воли или алчность воображенья перенесла его из затишья Невы в самый разлив Петербурга,— он очутился, наконец, в сердце этого здания, мимо которого со времени своей женитьбы не мог пройти равнодушно... все домá как домà, этот один тревожил несчастного, на этот один косился он и заглядывался всякий раз... грозил ли ему опустошеньем, старался ль напитаться впечатлениями неправды, чтоб сильнее выразить свои жалобы небу?.. робко, полупристально, болезненно озирались глаза Андрея Ивановича; с непривычки он, может быть, искал тут чего-нибудь похожего на свою уютную квартиру, какой-нибудь нити родства у начальника с подчиненным, искал птицы под пару своему соловью... но все было ново, дико, неприязненно, все как-то не так, как у людей. Ни одна мысль его не могла подняться до этого высокого потолка, ни одно чувство не приходилось впору по величию этих стен и окон. Было где отдохнуть от письма, разломать свои члены, но этот простор казался ему, видно, так же приятен, как широкая степь в метелицу. Хотя почти на все предметы он осмелился взглянуть исподтишка, самым учтивым образом, однако ж одна дверь осталась не-

прикосновенной: на нее недостало у него духу обратить свое дерзкое любопытство. Другие, кто был в комнате, обходились с этой дверью также осторожно; все взгляды, даже и те, где более, чем у Андрея Ивановича обнаруживалось способности к геройству, скользили только по ней, ни один не смел упереться в нее. Дверь огромная, дверь по росту великанов, которые когда-то хотели вскарабкаться на небо. Тяжело висела она на своих позолоченных петлях, блистал ее бронзовый замок. За нею было тихо, за нею молчанье гробов; она заслоняла какой-то чудный мир, откуда не приносилось ни звуков человеческого голоса, ни шороха человеческих ног.

Там тянулся беспредельный ряд комнат, там начиналось серебряное или золотое царство, где устанешь ходя, а не встретишь ни души, не отыщешь сердца, которое б билось; там также кто-нибудь коптел над письмом или в недоступном уединении чистил ногти, погруженный в черную магию своей силы. Испуганный ужасающими размерами дома, Андрей Иванович принял решительное намерение не смотреть на эту грозную дверь, чтоб сохранить остаток мужества и присутствие ума, необходимое в таких обстоятельствах. Глаза его перестали бродить по сторонам, а, следуя уже самому естественному направлению, уставились прямо. Перед ними очутился не мертвый предмет, не пища для мечты, не запертая дверь, которая разгорячает воображение и расслабляет душу, а два живых существа. Андрей Иванович стоял, они сидели, Андрей Иванович в белом галстуке, они в черных. Эти два посетителя до того погрузились в свой разговор и в самих себя, что, по-видимому, не имели ни малейшего понятия, есть ли кто еще в этой комнате и в целом доме. Им не случилось ни разу повернуть головы на труженика службы; однако ж с той минуты, как он обратил на них свою почтительную наблюдательность, небольшая перемена последовала в их особах. Они почувствовали, вероятно, присутствие жертвы, которую можно растерзать, а потому один из них важнее положил ногу на ногу, другой развалился в креслах. Тот, кто был старше, сидел чинно, его благородная осанка показывала, что он понял жизнь, заглянул на ее дно и увидал, что не из чего хлопотать. Седые волосы внушали почтение, правильные черты лица выражали бесстрастные мудрости, тело было уже так тучно, что даже не имело возможности изворачиваться в свете с тою угодительной легкостью, какая необходима искателям счастья. Он чрезвычайно медленно вертел свою табакерку и чрезвычайно сте-

пенно слушал своего собеседника. Андрей Иванович казнился, Андрей Иванович смотрел на него с ужасом; старик обращался с этой комнатой, как тот с своей квартирой; он сидел и не удивлялся, что сидит; он прирос к креслам, он того и гляди что останется в них обедать и после обеда отдыхать; мир разрушится, а старик этого не заметит, отворится дверь, а он не пошевелится. Молодой блистал летами, беспечностью неопытного сердца, белокурые волосы вились неправильно на его беззаботной голове, щеки горели румянцем; он весь был невинность, забвенье, свобода; он не знал, что есть на свете чины, ордена, деньги и безденежье; он дышал модой, его окружала атмосфера нарядных дам, блестящих балов, он раскидывался на креслах с такою изнеженностью, что, верно, нес вздор своему знакомому... а между тем бедный чиновник, по их милости, не знал, куда девать свои глаза: стены и люди внушали равное благоговение... их черные галстуки, их неприличные поступки, искажение всех обрядов, которым выучился он на службе и которых идеал представляла его одежда... ах, это были приятели, друзья, братья начальника, ах, это были, конечно, сами начальники... Но вдруг за дверью зазвенел колокольчик. Андрей Иванович потер рукою по волосам, чтобы были поглаже, и вместе с тем перевел дух... он с отчаянья смотрел еще на прежнее место, но прежнее виденье исчезло, там не было ни воздушного юноши, ни разочарованного мудреца; там давным-давно никто не сидел; важные люди провалились сквозь землю, а на месте их стояли такие же Андреи Ивановичи; ноги их не двигались ни взад, ни вперед, а все шевелились, как будто имели обязанность волноваться заодно с душою, как будто спрашивали: «Куда прикажете?» Кто-то бросился в дверь, но при этом общем смятении нельзя было различить, кто именно; в таких смутных обстоятельствах легко ошибиться и принять камердинера за чиновника, а чиновника за камердинера. Тревога была фальшивая. Старик и молодой уселись опять, но уже понапрасну: Андрей Иванович отменил вытяжку; он с чувством собственного достоинства начал и сам прохаживаться на пространстве аршина; для него не было уже в этой комнате диких зверей, только в душе у него гнездилась дума, способная поглотить целое существованье человека. Все перебывали за дверью, все возвращались оттуда с явным расположением или насвистывать водевиль, или задушить своего подчиненного. Оставалась очередь за чиновником.

В комнате становилось просторней да просторней, и, на-

конец, она до того опустела, что если б была ночь, то он испугался б самого себя.

Долго пришлось ему томиться в пустыне приемной.

— Пожалуйте,— сказали и ему.

И для него отворилась дверь.

Андрей Иванович был не философ. Он в продолжение жизни не работал над своей душой, чтоб приучить ее к хладнокровному созерцанию человеческого величия. Он даже под старость не верил еще, что все это суета. Ему некогда было упражняться в мужестве и не у кого учиться неустрашимости. В статской службе не то что в военной, все одни перья, нет ни пуль, ни ядер, нет охотников лезть грудью вперед и хоть одному да вспрыгнуть на батарею, а потому и не настоит особенной надобности храбриться. Андрей Иванович не бился головой об стену, чтоб лично для себя, из собственного удовольствия вырвать с корнем из своей груди какое-нибудь непристойное чувство: он, по примеру других, пускал свое сердце на волю божью, это негодное сердце, которое становится шире в присутствии четырнадцатого класса и ежится перед генералом. Следовательно, можно вообразить, в каком положении находились его руки, ноги, глаза, целый стан, целый образ божий, когда он шагнул в дверь и очутился в генеральской атмосфере. Перед ним также кабинет, также приют труда, но в другом роде. Солнце светило в огромные окна. Что-то веселое, какая-то радость оживляла угрюмую картину богатства. Не одни люди убрали этот кабинет, само небо было к нему милостивей, чем к кабинету подчиненного, и посылало для освещения гораздо больше лучей. Посередине стоял длинный стол, уложенный книгами и бумагами. Много блистало на нем подсвечников с разными выдумками в пользу драгоценного зрения, много затей для каждой прихоти и ответов на каждую мысль. Не отодвигаясь от него, не шевелясь с кресел, можно было все счесть, все смерить, все узнать, обо всем справиться, проглотить вкратце всю премудрость человека, всю подноготную важных занятий и выйти на божий свет в полном вооружении, как Минерва из головы Юпитера. Чего не поймешь, можно было велеть, чтоб поняли; чего не захочешь понять, потому что иногда длинно, велишь сделать извлечение. Всякий лист бумаги написан четко, черными чернилами; какая вещь ни попадется под руку, все это перламутр, золото, все это из Англии да из Франции, так что по чувству приличия тут неловко бы беседовать о народности. Ландкарты французские, книги французские, гравюры, литографии француз-

ские, ковер английский; с первого взгляда русского только и было, что Андрей Иванович, да и тот находился в таком не национальном расположении духа, что со страху мог легко заговорить по-иностранному. На столе стояли еще великолепные часы и портрет женщины, которая своими чертами одушевляла, вероятно, работу. Приятно в начальнике излияние чувствительности; приятно, когда над сухим и часто бесчеловечным трудом мужчины носится женский образ, не отлетает добрый ангел. Кто входил, тому нельзя было видеть портрета. Андрей Иванович сделал шаг, ступил на мягкий ковер и занял своей особой такое маленькое пространство, что, если б взглянули тут на него последователи Мальтуса, то согласились бы, что, как люди ни размножайся, им никогда не будет очень тесно. Эта робость, это смущение, это чинопочитание, которые он внес с собою в комнату, не подавили, однако ж, в нем природного инстинкта. Что ни происходило у него на душе, а он не растерялся, он дебютировал и между тем отгадал чувством, где что находится в этой неведомой стороне, куда следует при входе обернуться, в какой угол направить глаза. Положим, что картины, бюсты, произведения искусства не могли ослепить его, положим, что он был не женщина и не мог ни на секунду заняться безделками роскоши, но какой же дух шепнул ему: не гляди ни минуты на готические кресла, стоящие перед столом, не соблазняйся ничем, что тебе представится, не ищи себе подобного на том месте, где вечно находил ты пишущих людей, а взгляни прямехонько направо, там, в дали, в глубине... он то и сделал; мысль и луч его глаза, как самая меткая пуля, отправились тотчас в цель, упали как молния на главный предмет и в одно мгновение встретились с бархатным сюртуком и человеческой спиною. Хозяин кабинета писал стоя. Присутствие нового лица не обеспокоило его. Он продолжал писать. Андрей Иванович бледнел, лицо его сливалось с белым галстуком, а тело с воздухом, потому что ни того, ни другого вовсе не было слышно. Час от часу становилось ему страшнее. Молчанье вещь ужасная. Мы б перестали бояться зверей, если б они хоть немножко разговаривали.

Вдруг из-за спины послышалось:

— Что вам угодно от меня?

Хотя Андрей Иванович не принадлежал к числу тех, которые смиренно отказываются от всякой деятельности и, вопреки своему призванью, погребают себя в праздности и ничтожестве, только б не пришлось им беседовать с чьей-нибудь спиною, однако ж этот спинной вопрос смешал и его.

— Ваше превосходительство,— проговорил он бог знает уже каким голосом и запнулся. Опять последовало молчанье. Начальник положил перо и оборотился. Это был мужчина среднего роста, лет сорока, с привлекательной осанкой, с благородным выражением в лице. Его черты, нега его движений показывали человека, мастерски воспитанного, высокообразованного, человека, принадлежащего большому дому, отборному обществу, мировым идеям. Он был так изящен, что, верно, не видывал в глаза ни одного мужика, и если при самом начале оказал неважному человеку маленькую неучтивость, то это была не его вина: занятия, власть, привычка, обстоятельства, да и сами подчиненные... Он пошел к столу, приятно разгоряченный своей работой, пошел важно, небрежно, в забытьи, а Андрей Иванович в это время твердил у дверей урок той мучительной ночи, когда клал за пазуху кончики пальцев и вытягивался, как солдат; Андрей Иванович превратился в магнитную стрелку и тихо, неприметно, не двигаясь с места, все вертелся к своему дорогому северу по пословице: где мило — там глаза, но напрасно. Он не мог добиться, чтоб заметили его. Природа назло ему сотворила его добродетельным, дала силы помогать многим, когда они ничего не делают, и не дала средств мешать им, когда они заняты. Хозяин кабинета прохаживался, нюхал табак, смотрел в потолок, то мерил глазами своего гостя, то наблюдал его лоб, то гляделся в его пуговицу, словом был чрезвычайно милостив, только молчал.

Андрей Иванович, конечно, догадывался, что такой скромности требуют дела службы, не терпящие отлагательства.

— Да что ж вы молчите?— спросил начальник с живостию, которая показывала, что он вспомнил свою обязанность и почувствовал, наконец, надобность выгнать Андрея Ивановича.

— Ваше превосходительство,— проговорил этот во второй раз и впал в уныние. Приятно быть причиной такого страха, приятно стоять перед тем, у кого от вас не ворочается язык. Важные мысли, бремя занятий, гордость сана слетели с лица начальника; он облокотился о стол и как-то разнежился; тело его сделалось гибче, глаза добрее, он быстро перешел от совершенного пренебрежения к ласковому вниманью и вежливо обратился к Андрею Ивановичу, как будто сжалился над ним или узнал в нем старого знакомого, за которого мучает совесть.

— Да таким образом я никогда не добьюсь, зачем вы про-

сили меня видеть; я занят, вы, пожалуйста, не держите ж меня, скажите.

— Ваше превосходительство, я служил...

— Что ж, разве вы не довольны службой? — Начальник сел, повалился на спинку готических кресел, вывернул ладони и, зевая от усталости, вытянулся.

— Помилуйте, ваше превосходительство, как можно быть недовольным!.. я хотел доложить, что служу почти тридцать лет...

— Ну хорошо, что ж далее?

По мере того как начальник становился добрее, терпеливее и вникал в нужды своего подчиненного, по мере того этот делался развязней. Руки у него начинали при ином слове отделяться от стана, в глазах замечалась дерзость, ноги выходили из границ.

— Ваше превосходительство, я по мере сил трудился и тружусь; я довольствовался куском хлеба, другие получали, может быть, за службу более, но я думал: бог с ними, только б быть сыту да по мере возможности быть полезну, а там что бог даст.

Такой нравственный образ воззрения на вещи поставил начальника в положение известного Отелло, когда этот спрашивал у своего друга: к чему клонится речь сия? душа его, видимо, начинала возвращаться в то первобытное состояние, в котором поворачивала спину, но Андрей Иванович уже подрумянился.

— Ваше превосходительство,— сказал он с небольшим напором голоса, и этот титул был уже не просто учтивость или подобострастие, а риторическая фигура повторения, чтоб усилить речь.— Я на службе дожил до седых волос, имел счастие получить эти знаки отличия, первый приходил в отделение, последний уходил, дома не имел времени пропустить в горло куска хлеба, не знал ночей, все умирал над делом и не жаловался, да и на меня никто не пожалуется; теперь же пришлось высказать правду, неволя говорит, ваше превосходительство.

— Да что ж она говорит?— вскрикнул начальник полусердито; но чиновник пришел уже в такое нервное состояние, что не мог оробеть. Как лошадь, которая закусила удила, как трус, которого вывели из терпения, он сам вскрикнул в том же тоне:

— Ваше превосходительство, вы меня обидели, чувствительно обидели.

Начальник встал, смерил его глазами с ног до головы и

взглянул пристально ему в лицо, как будто хотел дознаться, кто перед ним,— великий человек или безумный. Дерзкое обвинение, едкие слова правды или наглость лжи изумили его, он потерялся и, точно не знал, чтó делает, с кем говорит, спросил тихо, рассеянно:

— Чем?

Андрей Иванович улыбнулся и горько и зло.

— Гм!.. чем? вы не знаете!.. У нашего брата в жизни какая цель? было бы, как придешь домой, где отогреться, угол, где прилечь, да было бы с кем перемолвить слово, разделить пополам горе и бедность, ваше превосходительство, грех не пощадить седых волос, отнять у нищего рубашку; у вас столько денег, что, если их разделить по нашей братьи чиновникам, так каждому придется вдоволь; в этой одной комнате столько сокровищ, что тысяча таких, как я, завтра б... вам мало!.. да, боже мой, возьмите себе все, деньги, почести, я одной милости прошу, я прошу немногого, оставьте мне под старость мою милую жену.

Слезы брызнули из глаз Андрея Ивановича. Слезы трогают, слезы льстят, слезы уверяют вас, что вы богатырь, а что другой ребенок; слезы сильное оружие, оттого-то с женщинами и не должно сражаться.

Андрей Иванович воспользовался своим расположением к чувствительности.

— Ты сумасшедший,— сказал начальник довольно умеренно.

— Нет, ваше превосходительство, я в полном уме, но есть отчего сойти!.. в чем моя вина? что у меня жена молода, что у меня жена красавица! я все знаю, она бредит вами... вы б вечером, когда ложитесь в постель покойны, счастливы, богаты, в чинах, вы б спросили, чтó он делает, чтó делает бедный человек, у которого, если вы захотите, не будет завтра ни постели, ни куска хлеба!.. Бывают такие тихие ночи, что, кажется, нет никого на земле, кто б не спал приятно, а мне приходится бежать из дома, кинуться в Неву или разбить голову о какой-нибудь памятник; а я ворочаюсь, не знаю, на какой бок лечь, а я слушаю, как она во сне повторяет беспрестанно имя вашего превосходительства.

— Да что ты? откуда ты? с чего ты взял?— вскрикнул начальник. У него в голосе слышались уже отзывы той бури, которая копилась в душе. Он невинен, сказал бы один; он изучил дела и знает, что ни в каком случае не должно признаваться, сказал бы другой.

Недоуменье, непонятливость, любопытство — все эти отрицательные чувства, под которые легко подделаться, изобразились и перепутались в его чертах. Он стоял в странном оцепенении, он, может быть, хотел лучше показаться смешным, прикинуться глупым и с удивительной наблюдательностью глядел в глаза Андрею Ивановичу, не мутны ли они? Но эти глаза сделались живее, чище, но это круглое, мирное лицо воспламенилось. Оно также запылало благородством, схороненным на дне каждой души.

— Ваше превосходительство,— начал опять оскорбленный муж несколько плаксивым голосом, который разрушал отчасти очарование его воспламененного лица.— На кого вы напали? Чем мне от вас защититься? Какая безумная предпочтет меня вам? да и поделом мне.— Андрей Иванович рванул себя за волосы.— Тебе бы писать да писать, тебе бы коптеть над делом, тебе бы околеть над проклятыми бумагами, а то вот еще что вздумал!.. жениться!.. Вот тебе молодая жена, вот тебе жена-красавица!— Клок волос остался у него в руке.

Начальник вложил пальцы одни в другие, прижал их легонько к груди, наклонил голову немного вперед, посмотрел на чиновника молча, потом тихо, нрепокойно, в совершенном отчаянье спросил:

— Какая жена? что ты за человек? шутка это, что ли? Научил тебя кто или сам ты выдумал? ради бога, скажи, покуда я не потерял терпенья и не отправил тебя в желтый дом.

— Ваше превосходительство, не стращайте; я знал, на что шел, жить или умереть — мне все равно: она бредит вашим превосходительством, не запирайтесь.

— Вон!— закричал начальник полным голосом, кинулся к Андрею Ивановичу и за один шаг от него едва мог удержать себя. Человек светский, не столько чувствительный к обидной мысли, как к обидному выражению, он выносил разного рода неучтивые обвинения в дурном поступке, но не в силах был вынести грубого слова. Он посягнул на единственное утешение темного труженика, отнял у него последнее счастье, он внес раздор в бедный дом, в беззащитную семью, это бы ничего, от таких упреков не страдает гордость, напротив... но едва с неловкого языка сорвалось: «Не запирайтесь», как вся кровь бросилась ему в лицо и залп его бешенства мигом обратил Андрея Ивановича в первобытное состояние. Бездна, которую этот наполнил было глубоким человеческим чувством, опять раскрылась перед ними, опять

длинный ряд чинов раздвинул их на неимоверное расстояние. Андрей Иванович прибрал свои руки и ноги, потушил жар своей души и, как Сильфида, скользнул в дверь, но, повернувшись, улыбнулся про себя так двусмысленно, так зло, так надменно и самоуверенно, как будто надеялся поступить на вакансию какого-нибудь дьявола.

— Вон!— кричал ему вслед начальник, недовольный, видно, его расторопностью.

Дверь затворилась. Гость отправился. Хозяин кабинета остался один, и остался на том же месте, держал себя за голову, смотрел туда, где явился и исчез перед ним призрак чиновника. Утомленный продолжительным терпеньем, он, наконец, вышел из себя, дал себе волю, закинул руки на спину и бросился ходить по комнате, чтоб, вероятно, быстротой движенья успокоить взволнованную душу, излить наружу свое справедливое негодованье и свой всемогущий гнев. Щеки его были необыкновенно красны, глаза сверкали. Первые шаги показывали совершенную решимость не разбирать правого с виноватым, не рассуждать, не вникать в дело, а сердиться. Это был или благородный порыв против клеветы, или порыв нетерпимости против благородства. Всякое чувствительное сердце испугалось бы за Андрея Ивановича. Но нет такого положения, нет, слава богу, такой грозы на земле, чтоб вовсе не видно было света, чтоб где-нибудь не прокрался тонкий луч надежды. Неистово ходил хозяин кабинета, и между тем вместо впечатления ужаса походка его, страшно сказать, имела в себе что-то смешное. Быстро шагал он и вдруг так же быстро останавливался перед бюстом, перед стулом, особенно перед дверьми, задумывался, покачивал головой, протягивал руки вперед, пожимал плечами... В одну из этих немых сцен он не утерпел, не смог больше размышлять молча, жесты увлекли его язык, мысль вырвалась из души, и он проговорил громко: «Жена-красавица!..» — но эти слова еще пуще осердили его, он еще скорей отбежал от дверей. Такая скорость была, однако ж, не в его характере, не в духе его воспитанья, не в нравах общества, к которому он принадлежал. А потому, когда в другом углу комнаты раздалось опять: «Жена-красавица!..» — ноги его начинали уже нежнее прикасаться к английскому ковру. Предвидел ли Андрей Иванович этот переход от движений самых неправильных в самую изящную природу? Знал ли он заранее, что глава его не может долго бегать по кабинету, как какой-нибудь неблаговоспитанный неуч? Изучил ли он до того человеческое сердце, что нашел людей добрее, чем их

представляют, и понял глубокий смысл пословицы: где гнев, там и милость?

В комнате стало весело по-прежнему, не было ни лица, ни чувства в раздоре с прекрасными лучами солнца; никто не роптал на судьбу, не плакался на людей, не надоедал несчастием, никто несносными жалобами не отравлял благоуханного воздуха роскоши. Начальник ходил еще, только руки его были уже в боковых карманах бархатного сюртука. Голова наклонилась на одно плечо, глаза поднялись вверх; какие-то мечты носились над ним под потолком, в какую-то прекрасную будущность он погружал свои взгляды... душа его строила воздушные за́мки и полусонно, смело, с явной наглостью любовалась чудными сокровищами, которые ей грезились, как любуются те, у кого есть довольно власти, чтоб завладеть ими, или довольно денег, чтоб их купить. Но вдруг он схватился за колокольчик и позвонил. Человеку положительному, человеку, искушенному опытом жизни, вздумалось, конечно, поверить мир мечты миром действительным, захотелось образумить себя и узнать, сохранит ли он в соприкосновении с существенностью здравое понятие о том, что слышал и чем забавлялось уже его избалованное воображение!

Вошел кто-то вроде Андрея Ивановича.

— Он давно служит?— спросил начальник. Вопрос не имел надлежащей ясности, но иному дается привилегия быть темным; иной какими иероглифами ни пишет, на каком коптском языке ни пробормочет несколько звуков, а найдется ужас сколько таких, что все поймут. Поэтому за вопросом последовал как молния и ответ:

— Давно, ваше превосходительство.

— У него большая семья, много детей, он вдов?— продолжал спрашивать хитрый начальник и продолжал скоро, строго, угрюмо, с пренебрежением. Этот образ спрашивания, эта суровость необходимы при разговоре о большом количестве детей и вообще в делах, требующих приличного сострадания и чувствительности. Хозяин кабинета имел вид, что принимает во вдовце, обремененном многочисленным семейством, такое сердечное участие, что даже сердится на свою слабость. Тот, кого так безжалостно закидал он вопросами, кто должен был знать всю подноготную каждого предмета, который подвернется на глаза его превосходительству, смешался. Да как и не смешаться, когда в первый раз отроду придется противоречить? Понизив голос и в недоуменье, так ли понял, о том ли говорит, не смея ничего утверждать и не смея, однако ж,

отрицать вполне целый вопрос, он возразил сомнительно только на один его пункт.

— У него нет-с детей.

— Как нет?— сказал начальник помягче.— Я спрашиваю вот о том, что сейчас вышел.

— Он женат на первой, и не очень давно, ваше превосходительство.

— Не очень давно?.. да уж ему... да он мне показался в таких летах...— Начальник улыбнулся и замялся, как будто не хотел уязвить слабого своей могучей эпиграммой.

Подчиненный потупил глаза в землю, скромность запрещала ему выказать, как весело было у него на сердце от такого милостивого разговора, однако ж он принял на себя дерзость усмехнуться.

— Да еще какую выбрал, ваше превосходительство! красавица, и такая молоденькая!..

Начальник опять надулся.

— Там никого еще нет?

— Никого-с.

— Хорошо.

Один ушел, другой кинулся в сторону, наткнулся на великолепную гравюру пиршество Балтазара и начал беспрестанно нюхать перед нею табак, начал разглядывать ее с полным, по-видимому, уваженьем к созданью живописца и к отличной работе гравера.

Этот огромный, бесконечный дворец, эти огненные, непостижимые слова, написанные неведомыми пальцами, этот блеск, от которого потускнели тысячи светильников и курильниц, царь и его наложницы, сосуды, похищенные из Иерусалима и наполненные вином разврата, мелкая толпа, раздавленная ужасом, миллион лиц, где виднеется только одно лицо пророка... Владелец картины вникал во все подробности и, закинув руки опять на спину, ближе да ближе нагибаясь к картине, проговорил сквозь зубы, но с особенным благозвучием в голосе:

— Бредит мной!

V

Неприятно жить за Москвой-рекой, да и на Петербургской стороне не лучше! Там вы точно исключены из списка живых; а как вскроется Нева, то и сидите без дела, кусайте пальцы, посматривая па Северную Пальмиру! Уж если бог привел быть жителем столицы, то, по-моему, надо терзаться

в самом центре ее и, хоть по треску мостовых, ежеминутно чувствовать важные преимущества своего положения. Невский проспект, Тверская, вот около чего, вот где следует селиться... Правда, меня самого берет ужас, как я вспомню, сколько раз проехал я по Тверской! Неприятно, говорю, это отступничество от божьего мира, это умничанье столичных отшельников, эгоистов в полном значении слова; еще неприятнее иметь кабинет у жены под носом! Андрей Иванович сообразил все эти неудобства и переехал. Кабинет себе устроил он уже не возле спальни и так далеко, что мог безмятежно предаваться своим трудолюбивым занятиям. Ничто женское не мешало ему, никакое нежное сердце не в силах было действовать пагубно на таком благородном расстоянье. Он переехал; но не все перевез с собою. Много явилось нового, многого не оказалось. Посещение, сделанное им, имело влияние на его вкус и на меблированье дома. И он поставил на свой письменный стол бронзовые часы, и у него на стенах висели парижские картинки. Чувство народности пострадало жестоко в этом переезде. Журналов валялось больше, повестей ни одной. Андрей Иванович взялся за ум и перестал читать. Какая-то привязанность к вещественности, ко всему искусственному, какое-то забвение удовольствий, предлагаемых матерью природой, открылось в нем. Соловья не было. Бог знает куда он девался. Труженик, который часто, бывало, отдыхал за его пеньем, не вспомнил о нем в суматохе перевозки, а может быть, чего доброго, счел неприличным принять старого друга, повесить клетку с птицей в таких комнатах, где находились бронзовые часы и где каждое кресло работал немец.

Было семь часов утра, чиновник по старой привычке сидел уже; но сидел перед зеркалом, не в халате, а в полном облачении, в белом галстуке, только без фрака, и завязывал на шее ленту, на которой висел аннинский крест. По медленности, с какою делалось это дело, можно было заметить, что он никуда не едет, а так, просто, прохлаждается для препровождения времени.

Прошел час, прошло два, Андрей Иванович то наклонит зеркало, то сам наклонится к нему, то отшатнется и взглянет на него свысока, а все сидит, все смотрится. Есть такие предметы, в которых беспрестанно открываешь новые стороны; такие источники, которых никак не вычерпаешь досуха. Вместо того чтоб отправляться на службу, он начал принимать гостей.

— Ну, что поделываешь?— сказал, повернувшись провор-

но всей Анной к какому-то посетителю, у кого на лице и в ухватках было видно, что он живет еще на Петербургской стороне и еще пишет.

— Да ничего-с, пришел поздравить вас. Вы, кажется, изволите ехать. Карета подана.

— Нет, братец, это жена; ужасная охотница выезжать. Видел лошадок?

— Видел-с. Чудесные лошади.

— Зато, братец, и дорого стоят.

— Да помилуйте, что ж в свое удовольствие и не заплатить денег за вещь, которая нравится! — заметил гость со вздохом.

Андрей Иванович ударил его по плечу.

— Правда, правда, братец, был бы ум — деньги будут.

Кое-кто явились еще с какими-то поздравленьями, а между тем человек, лакей или камердинер, подал билет на ложу в театр.

Андрей Иванович прикрикнул:

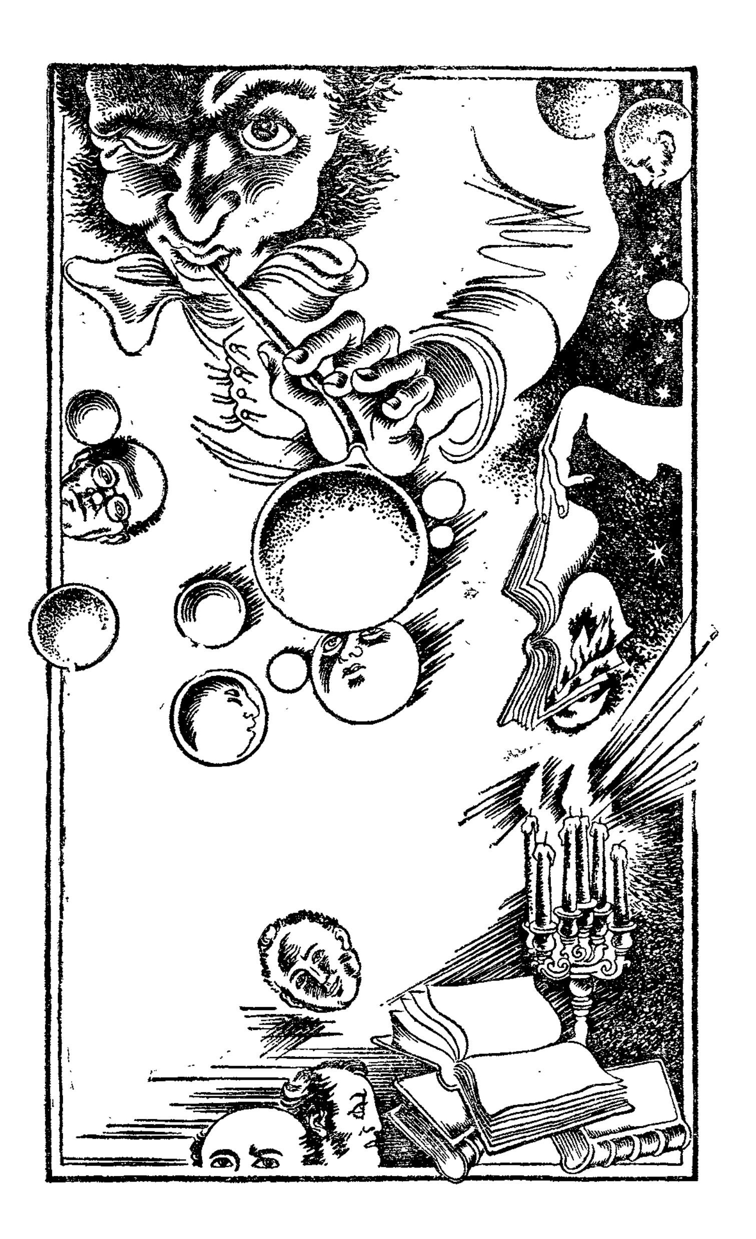
— Ну, что ты несешь ко мне! Отдай на половину к Марье Ивановне.



О. И. Сенковский



1800–1858



ПРЕВРАЩЕНИЯ ГОЛОВ В КНИГИ И КНИГ В ГОЛОВЫ



Пусть люди бы житья друг другу
не давали:
Да уж и черти-то людей тревожить
стали!
Хемницер



Теперь и я начинаю верить в ночные чудеса! Ночь была самая бурная, самая осенняя. Страшный ветер с моря ревел по длинным улицам Петербурга и, казалось, хотел с корнем вырвать Неву и разметать ее по воздуху. Облака быстро протекали перед бледною луной, которая сквозь туманную их пелену являла только вид светлого пятна без очертания. По временам крупные капли дождя с силою ударяли в стекла моих окон. Мы сидели вдвоем перед камином, один молодой поэт и я. Из уважения к хронологии, без которой нет истории, я должен прибавить, что это было вчера.

Поэт был уже великий, но еще безымянный. Он еще подписывался тремя звездочками; однако ж читатели при виде этих трех звездочек всякий раз приходили в неволь-

ный трепет: столько всегда под этою таинственной вывеской было тьмы, ада, ведьм, чертей, мертвецов, бурь, громов, отчаяния, проклятий и угроз человечеству, которое его не понимало! О, как красноречиво ругал он «общество»! Да как огненно описывал «деву»! Великий поэт! Он подавал о себе самые мрачные надежды. Мой собеседник долго не говорил ни слова; но я примечал, что при каждом сильном порыве ветра он приходил в беспокойство. Я приписывал это особенному нервическому его расположению. Вдруг из крыши вырвало часть желоба, который с грохотом упал на мостовую перед самыми окнами. Поэт вскочил.

— Пойдем гулять!— вскричал он.— Пойдемте гулять на набережную!

— Гулять? — сказал я. — В бурю, в двенадцатом часу ночи?

— Что нужды? — возразил поэт.— Как можно сидеть дома в такую погоду!.. Разве вы не находите никакого удовольствия смотреть на эту великолепную борьбу стихий? Разве вам не веселее любоваться на волны разъяренной Невы, чем на эти пестрые толпы ничтожеств с расстроенными желудками, которые каждый день перед обедом разносят их церемониально по тротуару Невского проспекта и бессмысленно улыбаются одно другому? Пойдемте. Вы еще не знаете наслаждения гулять в бурю! Скоро полночь... Тем лучше! По крайней мере мы не удивим людей.

— Вы решительно не любите людей? — спросил я, смеясь.

— Я их презираю!— отвечал поэт торжественным тоном..— Вид их для меня ужасен,— прибавил он, надевая палевые перчатки.— Я их ненавижу, да и не нахожу, чтобы вы с своей стороны имели много поводов обожать людей.

— Я всегда очень хорошо уживался с людьми,— возразил я хладнокровно.

— Да разве еще мало зла сделали вам люди?.. или по крайней мере старались сделать?

— Люди? Не говорите этого, мой друг! Вы, верно, хотели сказать «литераторы»: а это большая разница!.. Я нахожу, что люди всегда были слишком, слишком благосклонны и добры ко мне.

— Ну так по крайней мере вы не встретите теперь литераторов. Пойдемте!

Не знаю, эта ли причина или другие, более красноречивые доводы поэта убедили меня согласиться на его стран-

ное предложение; но дело в том, что я действительно по его примеру вооружился галошами, надел плащ, и мы вышли на Английскую набережную. Бесполезно было бы описывать все мучения подобной прогулки, во время которой одною рукою надобно было держать шляпу на голове, а другою беспрестанно закутываться в плащ, срываемый с плеч ветром. Сделав несколько шагов вдоль набережной, я остановился и решительно объявил поэту, что не пойду против ветра; что если ему угодно продолжать прогулку, то я предлагаю поворотить к бульварам Адмиралтейства и идти на Невский проспект, где по крайней мере строения заслонят нас несколько от бури. Кажется, что великолепная борьба стихий скоро надоела и самому поэту, потому что он без труда согласился с моим мнением, дав мне только заметить красоту огромных черных волн Невы, которые в это время были освещены луною, освободившеюся на мгновение от туч. Мы благополучно достигли бульвара. Поэт рассказал мне здесь много прекрасных вещей о луне, которых я, для краткости, не повторяю.

Мы скоро очутились на Невском проспекте. Во все время нашего странствования не встречали мы ни живой души. Улицы были совершенно пустые, окна домов совершенно темные. Дошедши до Большой Морской, я поворотил в эту улицу, чтобы под защитою ее домов пробраться до своей квартиры, когда мой товарищ внезапно был поражен необыкновенным освещением одного из домов Невского проспекта по ту сторону Полицейского моста. Он остановил меня. Действительно, дом был весь в огне. Сначала мне казалось, что этот яркий свет разливался из окон Дворянского собрания, но поэт, который превосходно знал топографию Невского проспекта, скоро убедил меня, что освещенный дом должен лежать гораздо ближе. Все соображения местности приводили нас обоих к заключению, что это был тот самый дом, в котором находятся магазин и библиотека Смирдина. Но что значит такое освещение после полуночи? Разные предположения, одно страннее другого, приходили нам в голову и после тщательного разбора были поочередно отвергаемы как неправдоподобные. Я видел, что поэту страх хотелось решить загадку личным удостоверением, и сам предложил ему перейти чрез Полицейский мост, чтобы посмотреть вблизи на предмет наших гипотез.

С мосту уже были мы в состоянии убедиться самым положительным образом, что освещение, которое нас так по-

ражало, в самом деле происходило из магазина и библиотеки Смирдина. Но удивление наше возросло еще более, когда, пройдя несколько шагов, мы приметили первые кареты длинного ряда экипажей, уставленных в три линии вдоль всего тротуара. Не оставалось более никакого сомнения, что в залах Александра Филипповича Смирдина происходит что-то необычайное — собрание — быть может, бал — или по крайней мере свадьба. По мере того, как мы подвигались вперед, форма экипажей и упряжи, наружность лошадей, кучеров, лакеев более и более приводили меня в недоумение: это были по бо̀льшей части старинные рыдваны, кареты и линейки готического фасона с дивными украшениями, кони непомерной величины в сбруях прошедшего столетия, люди тощие, длинные, бледные, в допотопных ливреях и с ужасными усами. Я обратил внимание моего спутника на это странное обстоятельство: он посмотрел и вздрогнул. Уста его дрожали.

— Чего вы перепугались? — спросил я.

— Ничего!— бодро отвечал поэт.— Ничего, так,— прибавил он спустя несколько мгновений, но уже измененным голосом и схватил меня под руку; я приметил, что он дрожит.— Рок! рок!.. — продолжал он именно тем голосом, который в стихах своих называл «гробовым».— Пойдемте! Нечего делать... Пойдемте, это собрание относится к одному из нас. Я и забыл, что обещал быть в нем сегодня!

И, говоря это, он сильно жал мою руку и увлекал меня ко входу в освещенный дом.

— Так что же оно значит? — спросил я, несколько встревоженный его отчаянным тоном.

— Увидите! Увидите! Это любопытно!.. очень любопытно!.. это поучительно!.. Вы узнаете много нового. Мне обещали открыть одну великую тайну...

— Кто обещал?

— Кто! — воскликнул он печально.— Кто!.. Тот, кому оно как нельзя лучше известно. Тот, кто... Не спрашивайте, ради бога! Вы его увидите сами.

— Да кто же эти люди? Откуда эти уродливые экипажи?

— Кто эти люди?.. Разумеется, петербургские жители. Мало ли в городе старинных экипажей?.. Вы видите, что между ними есть и новые кареты. Посмотрите, какая щегольская коляска! Эй, кучер!.. чья коляска?

Кучер назвал одного из известнейших поэтов наших.

— Видите ли?.. и он здесь! Пойдем скорее.

Ответ кучера несколько успокоил меня. Любопытство мое возбуждено было в высочайшей степени, тем более что я ничего не слыхал о приготовлениях к этому празднику и что он был для меня совершенною нечаянностью. Правда, место, где он происходил, и имя, которое только что я услышал, заставляли думать, что это должно быть литературное собрание, а в моей частной философии есть коренное правило, никогда не купаться в море между акулами и не бывать в подобных собраниях — два места, где, того и гляди, отхватят вам ногу острыми зубами или кусок доброго имени дружеским поцелуем; но на этот раз я готов был впервые в жизни нарушить мудрое правило, чтобы узнать причину столь многочисленного ночного конгресса. Мы взошли на подъезд, который был ярко освещен и покрыт теснившимся народом. В дверях стояли два человека: они, казалось, раздавали билеты входящим, и один из них громко повторял: «Пожалуйте, господа; пожалуйте скорее; представление начинается».

— Представление? — вскричал я. — Что это значит? Какое представление?

— Да, да! представление!— отвечал поэт дрожащим голосом.— Я давно уже получил приглашение.

— Да кто же здесь дает представление после полуночи?— спросил я довольно громко.

Вопрос мой, видно, был услышан одним из раздававших билеты, потому что он оборотился ко мне и сказал с важностью:

— Синьор Маладетти Морто, первый волшебник и механик его величества короля кипрского и иерусалимского, будет иметь честь показывать различные превращения... Пожалуйте, господа! пожалуйте скорее! представление начинается!

Говоря это, он почти насильно сунул нам в руку два билета, и толпа, теснившаяся сзади, втолкнула нас в двери. Это имя, признаться, несколько зловещее, страшное лицо и хриплый голос раздавателя билетов, странные фигуры, которые нас окружали в сенях и всходили с нами по лестнице, все это способно было внушить некоторый страх и самому храброму. Я сообщил сомнения свои поэту и не решался идти далее. Он засмеялся над моей трусостью, но каким-то глухим, отчаянным смехом, и опять потащил меня по лестнице. Не скрываюсь, что в это время любопытство мое совершенно пропало и только ложный стыд заставил

меня повиноваться моему спутнику. Мы достигли входа в книжный магазин. Здесь два другие человека переменили у нас билеты и просили идти далее. У дверей первой залы не было никого: мы вошли без всяких обрядов; никто не потребовал с нас платы за вход, и это меня удивило еще более. Зала была освещена множеством кенкетов, уставлена во всю длину частыми рядами стульев, и по крайней мере три четверти их заняты были посетителями обоего пола. Книги с прилавков были убраны, и все шкафы завешены красными занавесами. Огромный занавес такого же цвета закрывал всю глубину залы со стороны Конюшенной улицы. Перед ним находился длинный стол, на котором в разных местах стояли инструменты и ящики. За столом важно расхаживал человек в черном фраке и по временам отдавал приказания служителям. Изо всего можно было заключить, что это сам синьор Маладетти Морто, первый волшебник и механик его величества короля кипрского и иерусалимского. Желая взглянуть ближе на него и на его зрителей, я подошел к первым рядам стульев. Лицо этого человека кроме пронзительного взора и насмешливой улыбки, сросшейся с его тонкими губами, не представляло ничего примечательного.

Перед ним на двух первых рядах стульев сидели в глубоком молчании Александр Филиппович Смирдин, очень бледный лицом, и почти все светила нашей поэзии и прозы — люди с гениями столь необъятными, что сознание ничтожества моего подле них оттолкнуло меня с силою электрического удара на противоположный конец залы, где я скрылся и пропал в толпе. Никогда еще не видал я такой массы ума и славы. Великолепное зрелище! В расстройстве от своего уничижения я потерял из виду поэта и, смиренно заняв место в одном из последних рядов, с нетерпением ждал начала представления. Надобно заметить, что между гениями первых рядов я видел множество напудренных париков: при беглом взгляде, который успел я бросить на них, находясь еще в главном конце залы, мне показалось, будто эти почтенные лица не совсем мне незнакомы и что я встречал их иногда в каких-то картинках, но краткость времени не дозволяла мне собрать и привести в порядок своих воспоминаний, вокруг меня не было ни одного знакомого человека, у которого мог бы я расспросить, а между тем и представление уже начиналось. Раздался звон колокольчика.

Все утихло. Человек в черном фраке, расхаживавший за столом, остановился и приветствовал собрание тремя поклонами.

— Милостивые государи и государыни! — сказал он. — Недавно приехав в эту великолепную столицу и не имея счастия быть вам известным, я должен прежде всего сказать несколько слов о себе. Видя меня в этом магазине, вы, может быть, полагаете, что я писатель. Нет, я давно отказался от притязаний на авторскую славу: я был автором, но теперь я волхв и колдун. Хотя природа и наделила меня всеми способностями для того, чтоб быть славным сочинителем повестей и былей, я, однако ж, предпочел этому званию другое, более выгодное. Не спорю, что иногда очень приятно шалить с веселою, беззаботною сатирой и смотреть на движения своих ближних в свете, как на игру бесконечной комедии, нарочно для вас представляемой вашим родом, и самому смеяться и рассказывать про свой смех тем, которые сидят подле вас, но пришли в этот огромный театр без очков. Но это ремесло имеет разные свои неудобства. Расскажите дело, как его видите, как оно было или как быть могло: один сердится на вас, зачем оно так было, другой, зачем оно так может быть; тот думает, что вы рассказываете лучше его, и бесится на вас за то, что рассказ ваш не совсем глуп; иной находит сочинение ваше глупым и бранит вас за то, что, как ему кажется, сам он написал бы его гораздо лучше. Путешествуя по разным странам мира, я решительно убедился, что для людей писать невозможно. И, видя перед собою такое блестящее собрание авторских гениев всех возможных разборов, я дерзаю даже удивляться, как вы, милостивые государи, решились на такое скучное, неприятное, бесполезное ремесло! Зачем вам быть писателями, когда вы можете прослыть отличнейшими шарлатанами? Посмотрите на меня: я шарлатан!.. и чрезвычайно доволен моим званием. Прекрасное звание! веселое звание! благородное звание! Сделайтесь и вы, все до единого, шарлатанами: для вас это будет очень легко — вы уже сочинители; первый шаг сделан. Я говорю по опыту. Нарядитесь все фиглярами, паяцами, шутами: как вы тогда будете хорошо понимать друг друга! как вам будет ловко жить с себе подобными! как явно будете обманывать друг друга и всех на свете! Да как потом будете вы смеяться!.. Главная трудность жизни, поверьте, происходит единственно оттого, что люди одеваются не в свои платья. Если бы каждый из нас нарядился соответственно своим деяниям или писаниям... Вот для представления вам образчика дела я тотчас переоденусь в шутовское платье, и вы меня мигом пой-

мете. Как прикажете нарядиться? Гением?.. философом?.. глубокомысленным ученым?

Нет! Все это костюмы слишком старые, слишком обыкновенные, изношенные и запачканные дураками...

Вот... на нынешний вечер... и только для вас... наряжусь я человеком ко всему способным. Наряд, правда, уж слишком пестрый, немножко карикатурный, но он теперь в большой моде и притом самый удобный для производства тех чудесных явлений, которые хочу иметь честь вам представить. Дайте мне только время принарядиться как следует: увидите, какие покажу я вам фокусы!.. О, вы любите фокусы! Вы сами делаете их превосходно; однако ж таких, как те, которые я вам сегодня представлю, надеюсь, вы еще не производили и не видали. Вы уже горите нетерпением? Из глаз ваших брызжет любопытство? Вы сомневаетесь в возможности превзойти вас на этом благородном поприще?.. Погодите. Сейчас, сейчас!.. Между тем, милостивые государи и государыни, извольте занимать места: представление будет разнообразно и великолепно.

Вот мой костюм. Делая все основательно, прежде всего — не при вас будь сказано — я надеваю панталоны... парадные, полосатые, разноцветные... сшитые, как изволите видеть, из исторических атласов и статистических таблиц: теперь, если мне или вам понадобятся справки для глубокомысленных соображений, они все тут... Вот на этой ноге годы, месяцы и числа деяний народов... Вот здесь раскрашенные картины их исторической жизни. А там точное показание рогатого и безрогого скота, состоящего сегодня налицо у вышеупомянутых народов. Одну ногу сую в сапог, выкроенный из романов, другую обуваю в драматический котурн. Жилет у меня цвета германской философии с мелкими умозрительными пуговками. На шее повязываю себе большим бантом промышленность и торговлю. Кафтан надеваю антикварский. Волосы намазываю технологией и причесываю под изящные искусства...

Наряд, как изволите видеть, отменно идет мне к лицу... Но чтоб предстать перед вас полным, ко всему способным шутом, надеваю еще на голову вместо колпака химическую реторту и начинаю говорить с вами на двенадцати языках, которых ни я, ни вы не понимаем.

Теперь я готов к вашим услугам. Милостивые государи и государыни, пожалуйте сюда скорее, торопитесь, не зевайте. Есть еще десяток билетов. Цена за вход весьма умеренная: с дам и мужчин не берем ни копейки, дети платят по-

ловину. Приходите! Право, не будете раскаиваться, что пожертвовали своим временем. Вы, может быть, спросите, как можем мы давать представления так дешево? скажете, что мы должны быть в убытке? Конечно, с первого взгляда оно так бы казалось, но мы отыгрываемся на большом числе ротозеев, и хотя с них получается очень мало, ровно нуль, однако ж множество нулей с одним искусным шарлатаном впереди составляет огромную сумму. Этот расчет мы, шарлатаны, понимаем прекрасно.

Приходите же, пожалуйста: здесь показываются невиданные и неслыханные штуки, про которые не снилось ни Месмеру, ни Калиостро, ни даже знаменитому Пинетти, моему покойному дяде, шурину, брату, куму и наставнику. Эй, честные господа! Эй, почтенные, прекрасные госпожи! живее, проворнее... Не скупитесь, берите остальные билеты: вы увидите здесь дивы дивные и чудеса сверхъестественные. Здесь показывают не мосек, одетых историческими лицами, не обезьян, наряженных в бальное платье: представление наше нового и гораздо высшего рода, приспособленное к понятиям и потребностям людей столь знаменитых и столь образованных, как вы, милостивые государи и государыни, приведенное в уровень с веком, подобранное к росту современных идей. Все новые изобретения и открытия прошедших, настоящих и будущих веков были призваны нами для сообщения ему занимательности и совершенства, достойных такого умного и глубокомысленного собрания... потому что я и мои собратия, шарлатаны всех родов и названий, обожаем всякие открытия, лишь бы эти открытия нас не закрывали.

Спешите, господа! спешите! Представление начинается. Кому еще угодно к нам пожаловать?.. Еще есть два порожние места. Никого нет более?.. Раз, два, три! Поднимайте занавес.

И так как, милостивые государи и государыни, вы удостоили наше представление блистательного и многочисленного присутствия, то я сперва покажу вам мой кабинет заморских редкостей. Если вам случалось прежде посещать эту залу, то вы помните, что все эти шкафы, которыми стены так плотно обставлены, всегда были открыты и наполнены книгами. В эту минуту они завешены и заключают в себе мой физиологический кабинет, составленный из редкостей, каких нет, не бывало и никогда не будет на свете. Что, если я доложу вам, что теперь на этих полках вместо книг стоят головы, которые сочиняют книги? Вы уже удив-

ляетесь, слыша, что мой кабинет, который тотчас откроется взорам вашим, состоит исключительно из человеческих голов всякого рода, разбора, калибра, весу, объема, вида и достоинства. Но вы удивитесь еще более, когда я почтепнейше доведу до вашего сведения, что их у меня двенадцать тысяч. Вы скажете: неправда! быть пе может! Вы подумаете, что я туманю, и спросите, откуда взял я столько голов! На все есть у меня ответ ясный и удовлетворительный. Прошу благосклонно выслушать.

Бессмертный мой дядя, шурин, брат, кум и наставник Джироламо-Франческо-Джакомо-Антонио-Бонавентура Пинетти, о котором вы сами иногда рассказываете такие чудеса, что не знаешь, в какую упрятать их голову, путешествуя по различным странам, землям и народам, однажды заехал нечаянно на самый край света. Он увидел себя в баснословном африканском государстве, называемом между нами, учеными, Голкондою — где алмазы растут точно как у нас огурцы — где за железный гвоздь дают топор чистого золота — где книги пишутся с одного конца, а понимаются с другого. Там царствовал тогда мудрый, знаменитый и могущественный султан Шагабагам-Балбалыкум, славившийся па целом Востоке своим правосудием. Однажды за столом он так взбесился на своего повара, который прислал ему пережаренную куропатку, что приказал обезглавить его, всю кухню, весь свой двор, все свое государство, которое, впрочем, было очень невелико. В восточных государствах эти вещи случаются почти ежедневно. В правосудном гневе своем мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум явился столь неумолимым, что, когда по обезглавлении всего государства предстали перед него с донесением два его палача, он приказал, чтобы и они срубили друг другу головы, что и было исполнено со всею надлежащею строгостью. Будучи на другой день без завтрака и без подданных — во всей Голконде оставались в живых только мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум и мой незабвенный учитель Джироламо-Франческо-Джакомо-Антонио-Бонавентура Пинетти — он наименовал последнего своим первым поваром, камердинером, евнухом, секретарем, казначеем, визирем, комендантом всех морских и сухопутных сил и единым другом; и трое суток жили они очень весело. Султан царствовал в пустом государстве со славою, мой наставник управлял на славу пустым государством; оба они начинали уже прославляться в Африке, как однажды зашел у них любопытный разговор.

— Мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум! — воскликнул Пинетти.

— Что, мой любезный Пинетти? — воскликнул султан.

— Вы вчера изволили лестно отзываться о моем управлении.

— Я очень доволен твоим усердием. Моя Голконда явно приходит в цветущее состояние. Но скажи мне, пожалуй, как ты это делаешь?

— Посредством политической экономии, мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум.

— Политической экономии? — повторил мудрый султан.— Что это за чертовщина?

— Это наука, нарочно выдуманная у нас на Западе для обогащения пустых государств посредством разных пустяков.

— Так у нас есть и такая наука? — вскричал изумленный султан.— Аллах велик, мой любезный Пинетти!

— Очень велик,— отвечал Пинетти.— При помощи этой удивительной науки три великие промышленности, сельское хозяйство, ремесленность и торговля, оказывают неимоверные успехи в торжественных речах и книгах, так что в три дня любой народ может сделаться необыкновенно богатым по теории, умирая с голоду в практике. Великие истины этой науки, которые быстро и успешно распространяю я в Голконде...

— Вот этим я не совсем доволен, мой любезный Пинетти. Я не люблю истин, и в особенности великих.

— Мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум! истины этой науки только баснословные истины; да притом так называемые великие истины вредны тогда только, когда они могут закрадываться в головы; а так как вы благоразумною и решительною мерой изволили устранить навсегда это неудобство...

— И то правда! Ну, так очень рад, что великие истины политической экономии быстро и успешно распространяются вне голов. Однако ж скажи мне, кто, собственно, им верит у нас, если они так успешно и быстро распространяются?

— Никто, мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум.

— Жалую тебе за это почетную шубу! — вскричал султан в восхищении.

— Вообще все идет так прекрасно,— продолжал Пинетти,— что наша политическая система найдет себе подражателей на всем Востоке и ваше имя как первого ее изобрета-

теля будет вечно жить в потомстве. О, эта система производит сильное, удивительное впечатление во всей Африке! Вы одним ударом опрокинули все прежние политические теории и открыли новую, удивительно простую и ясную. Одного только недостает в этой чудесной системе: сегодня поутру я, как ваш верховный визирь, чтобы показать всю энергию моей администрации, признал необходимым, как у нас говорится, frapper quelques grands coups d'état*, то есть для примера отколотить кого-нибудь по пятам; и...

— Что ж? — вскричал султан.

— Некого колотить,— отвечал мой учитель, скромно потупив глаза.

— Досадно!— сказал мудрый султан.— За все твои необыкновенные подвиги я от души желал бы доставить тебе это истинно визирское удовольствие, тем более что и мера сама по себе спасительна: но как же быть теперь? Откуда взять для тебя пят pour frapper de grands coups d'état, как у вас говорится? Не хочешь ли употребить на это твои собственные?.. Я сам готов взять палку и для примера отвалять тебя на славу.

— Я счел бы себя счастливейшим из людей... — отвечал мой наставник в некотором затруднении,— но... но боюсь...

— Чего боишься?

— Того, что эта мера может быть непонята, перетолкована неблагонамеренно... Скажут, что мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум собственноручно изволил наказывать своего визиря за разные несообразности, что дела у нас идут дурно, что политическая экономия никуда не годится...

— Правда, правда!— вскричал султан.— Ты прав, Пинетти! Ты удивительно мудрый и дальновидный человек! Сам Гарун-аль-Рашид не имел такого остроумного визиря. Но как же быть с пятами, которые, как я сам знаю, необходимо нужны тебе для успешного хода нашей восточной администрации? Было у меня несколько карманников, позоривших всю мою голкондскую литературу... Как жаль, что я велел их обезглавить вместе с прочими! Я бы теперь с удовольствием предоставил их тебе, чтобы ты порядком отколотил их по пятам для примера всей африканской пустыни.

---

* Устроить несколько государственных переворотов *(франц.)*.

— Карманников?.. Это термин голкондский?

— Ну да! Голкондский. Карманников, то есть изобретателей системы «битья по карманам»... людей, которые алчным пером своим посягали на чужие карманы и производили настоящий грабеж. Да правду сказать, они не стоили и палки! Как быть, однако ж?

— Не прикажите ли оживить кого-нибудь из голкондцев? Я берусь, если вам угодно, известными мне средствами поставить на ноги всех обезглавленных.

— Я уже вчера думал об этом и был уверен, что ты в состоянии сделать это. Вы, западные, собаку съели на все науки. Сколько ты их знаешь?

— Сто восемьдесят.

— Я так и полагал. Сто восемьдесят наук! Знаешь ли, любезный Пинетти, что с этою пропастью наук можно было бы, мне кажется, поставить их на ноги без голов.

— И очень легко!

— Неужели?.. Но как же они будут жить без голов?

— Нынче у нас доказано, что голова совсем не нужна человеку и что он может все слышать, видеть и обонять посредством желудка, который даже в состоянии узнавать людей сквозь стены, читать письма, спрятанные в кармане, описывать события, происходящие за тысячу миль, и с точностью предсказывать будущее, чего головам никогда не удавалось сделать удовлетворительно, даже когда они пытались только предсказывать перемены погоды с помощью лучших барометров.

— Аллах, аллах! — вскричал изумленный султан. — Вот уж этого никак я не думал, чтоб желудок был умнее головы! Аллах, аллах! Нет силы ни могущества кроме как у аллаха! И, следственно, когда я в Голконде стану царствовать желудком, оно выйдет еще мудрее нынешнего царствования моею головою?

— Гораздо мудрее, если только это возможно. Ваше царствование будет тогда магнетическое, ясновидящее.

— Ясновидящее! Ах, как ты меня обрадовал! Знаешь ли, любезный Пинетти, я давно уже... с тех пор как в наших африканских песках распространились ваши западные умозрения и разные прочие вздоры... я давно желал иметь хорошенькое царство, составленное из людей, преобразованных по новому плану; из людей основательных и положительных, которые бы рассуждали и управлялись желудками. Я приметил, что у меня в Голконде все глупости выходили

из голов; да и на всем Востоке они происходят оттуда же... не знаю, как у вас, на Западе?

— У нас на Западе глупости происходят из желудка.

— У нас на Востоке желудки, слава богу, отличны, но головы крепко порасстроены теориями.

— У нас на Западе головы, слава богу, отличны, но желудки все вообще ужасно расстроены и алчны и производят страшные потрясения, перевороты, революции...

— Если б я был султаном на Западе, я бы велел всем вам отсечь желудки.

— Вы так мудры, великий султан Шагабагам-Балбалыкум!..

— Так ты мне возвратишь их в целости, только без голов?

— Извольте.

— Я награжу тебя за то по-султански.

— Я уверен в вашей неисчерпаемой щедрости!

— Дарю тебе все головы моих голкондцев.

Пинетти в знак благодарности упал к ногам мудрого и великодушного султана Голконды и с благоговением поцеловал его туфли.

Мой незабвенный наставник, конечно, ожидал гораздо значительнейшей милости за свою услугу: но что прикажете делать с таким своенравным африканским властителем! При помощи известных себе секретов статистики, истории, политической экономии, умозрительной физики и разных других несомненных наук, также при могущественном пособии животного магнетизма мой бессмертный учитель в одни сутки надушил все эти мертвые туловища летучими жидкостями и динамическими теориями, возбудил деятельность их желудочных нервных узлов, открыл в их подложечных областях чувства зрения, слуха, обоняния, память, предчувствие, воображение, и прочая, и прочая, и, приведши тела в сообщение с небольшим Вольтовым столбом, поднял всех голкондцев на ноги. По данному знаку они встали и пошли кланяться, интриговать, решать дела, писать ученые книги, читать вздорные романы — как будто ни в чем не бывало! — не примечая даже, что ни у одного из них нет головы на плечах. Мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум помирал со смеху, смотря на свое магнетическое государство. С тех пор любимая его забава состояла в том, чтобы, лежа на софе и куря трубку, двух главных своих карманников сперва заставить дружески целоваться и взаимно превозносить себя похвалами, а потом, искусно поссорив их между собою, до-

вести до драки в своем присутствии: и когда один из них, вздумав дать пощечину другому, замахнется для нанесения обидного удара, и рука его, не встречая лица, опишет по пустому воздуху полукружие над шеей противника, тогда-то мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум хохочет, бывало, до слез и потешается над своим ясновидящим народом! Так как он теперь надеялся один с ним управиться, то мой незабвенный наставник, собрав все подаренные себе головы, счел приличным скорее унести оттуда свою собственную. Он нагрузил ими десять кораблей, но впоследствии оказалось, что девять десятых из них не стоили и гроша, и он побросал их в море, оставив себе двенадцать тысяч голов, отличнейших в целом государстве, из которых и состоит великолепный кабинет физиологических редкостей, находящийся нынче в моем владении.

Теперь, как уже вам известна история моего кабинета, как вы уже знаете, что̀ это за головы, и не сомневаетесь в том, что это настоящие людские головы, не телячьи, не бараньи, не сахарные или капустные, то я скажу вам еще, милостивые государи и государыни, для личного вашего сведения и соображения, что они по сю пору совершенно как живые и силою нашего искусства сохранены в первобытном состоянии, без малейшей порчи, как будто сегодня были сорваны с плеч. Они разобраны по родам и видам согласно своей прочности, логике и склонностям и расположены систематически в этих закрытых шкафах, как банки в аптеке, с приличными надписями на ярлычках, приклеенных к их носам. Каждый шкаф содержит в себе отдельный класс голов и снабжен, как вы изволите видеть, особенною надписью на шести известных и шести неизвестных языках, изображающею общее наименование класса. Наконец, мой наставник и я после долгих и томительных опытов с помощью бесчисленных наук и преимущественно умозрений имели счастие изобрести магнитный жезл чудесных свойств, которого прикосновение мигом заставляет эти головы говорить совершенно так, как говорили они при жизни, когда ездили верхом на людях.

Смотрите же теперь, милостивые государи и государыни! Вот шкаф № 1. Я не из тех шарлатанов, которые начинают свои представления мелкими, обыкновенными фокусами, чтобы утомить внимание зрителей для удобнейшего расположения их к дальнейшим производствам. С первого слова я открываю шкаф № 1 и показываю все, что̀ у меня есть лучшего и достойнейшего любопытства... Теперь вы убедились, что

это в самом деле головы?.. Прошу взглянуть на них поближе: я не боюсь близкого осмотра; у меня нет обмана. Все головы — там, где прежде были книги! Если вы охотники до чтения, то можете вместо книг читать эти головы: они раскладываются и читаются подобно книгам, как вы в том скоро удостоверитесь сами. Но взгляните только на их мины: какая осанка! какая важность! сколько благородной гордости! Как они свежи, румяны, вымыты, завиты, причесаны, напудрены! Как настроены на глубокомысленную ноту, величавы, казисты! Да как хорошо пахнут!.. Славные головы! Редкие головы! Они высоко ценились в Голконде и употреблялись для суждения о всех других сортах голов. Таких голов не увидите вы нигде на свете! Это головы так называемые *«пустые»*, как о том свидетельствует и надпись шкафа на двенадцати языках; а если угодно, можно справиться и с моим каталогом: я не люблю морочить. Но вот лучшее доказательство: беру с полки наудачу которую-нибудь из них, дую ей в ухо — пуф! — ветер выходит в другое ухо. Теперь дую в ноздри — их! — ветер вылетает в оба уха. Следственно, совершенно пусты! Тут нет никакого подлога. Можно еще постучать в них пальцем: слышите? — звенят как стаканы. Совершенно пусты! Теперь беру мой волшебный жезл, и, как скоро проведу им по их устам, произнося известные халдейские слова, которым выучил меня незабвенный мой наставник, они тотчас станут рассуждать, как рассуждали на шее у голкондцев. Шамбара-мара-фарабамбаламбалыку! почтенные головы № 1, рассуждайте!.. О, видите! все вдруг раззевают рты! Слушайте со вниманием.

Головы на полках. А! — Э? — Мм! — Э!

— Вот все опять закрыли уста, ничего не сказавши! Жаль!.. Не приписывайте этого, однако ж, милостивые государи и государыни, недействительности моего магнетического жезла: он тут нисколько не виноват, и я не стану вас обманывать. Хотя это очень дорогие головы, однако ж они именно столько умели сказать и при жизни. Оно, конечно, немного, но что прикажете делать!.. Поэтому они всегда подавали мнения свои письменно. Теперь прошу почтенное собрание подойти поближе к шкафу и читать ярлыки, прилепленные к носам: вы увидите, кому они принадлежали. Прошу без церемонии!.. Постойте: одна из них, на верхней полке, хочет сказать что-то любопытное.

Одна из голов. А я согласна с мнением тех, которые сказали: «Э!»

— Видите ли, как славно рассуждает! Погодите: я сейчас сниму ее и скажу вам, чья она. Ах, какое несчастие!.. ярлычок куда-то отвалился, и я теперь не припомню имени почтеннного мужа, на чьих плечах она процветала. Но знаю наверное, что она украшала какого-то почтенного мужа; в этом шкафу все порядочные головы, все № 1, которые то и дело подавали мнения свои о других головах.

А между тем как эти господа изволят любоваться на сокровища моего первого шкафа, за который лет шесть тому назад давали мне два миллиона наличными в Бельгии — там тогда нужно было рассуждать о разных высоких предметах и был большой запрос на головы,— между тем я покажу собранию шкаф № 2, с надписью — головы-кукушки, с умом, сзерновавшимся в одно неподвижное понятие. Вот они. Редкие головы! на вид они похожи на обыкновенные головы; но отличаются от всех прочих тем удивительным свойством, что всю жизнь кукуют одною какой-нибудь идеей, которая свила себе гнездо в их мозгу и при всяком случае, высунув сквозь рот голову, поет всегдашнюю свою песенку. Я бы заставил их показать свое искусство, но это не очень любопытно: о чем бы вы ни рассуждали с ними или в их присутствии, одна из них регулярно, всякую четверть часа пропоет вам: куку, мануфактура!— другая: куку, акупунктура! — иная: куку, Шеллинг! — эта: куку, Бентам, куку!.. Вы можете поверить мне на слово: тут нет обмана. Вся занимательность в том, что они здесь подобраны все одинакового свойства: в Голконде, где часы еще не были изобретены, их употребляли вместо стенных часов, и у мудрого султана Шагабагам-Балбалыкума в каждом углу бесчисленных его палат стоял один голкондец с такою головой; в Европе я продаю их довольно выгодно в разные комитеты и ученые общества.

Лучше перейдем к следующему шкафу. Шкаф № 3, «головы всеобщие», иначе называемые головы-мельницы, с умом о двенадцати жерновах. Я в двух словах изображу вам их необыкновенное устройство, но наперед сниму с одной из них череп и попрошу вас взглянуть на их ум. Он состоит весь из зубчатых колес, поршней и вертящихся камней. Теперь он в бездействии, и вы не видите в нем ни следа мысли; но заговорите только с этого рода головою: все идеи, какие в них ни бросите, хоть бы они были тверже алмаза, мигом будут раздавлены и смолоты. И чем более станете подсыпать понятий, своих или из ка-

кой-нибудь книги, тем быстрее вертятся в них жернова, производя страшный стук и шум мельницы в полном движении. Превратив все предметы, попавшиеся под их тяжелые камни, в крупу, в муку, которая кругом сыплется из них на пол; запылив вас ею с ног до головы, выбросив все из себя, они опять останавливаются: загляните в них в то время, и вы опять не найдете ни одной щепочки мысли или материала к рассуждению. Ужасные головы! Они ничего не создают, ничего не в состоянии создать, но все портят, ломают, уничтожают. В Африке они вторглись в словесность под предлогом беспристрастных критиков и переломали все идеи, все таланты, все вдохновения таланта; ничего благородного, ничего прекрасного не оставили они в своей отечественной литературе; все истерли, превратили в пыль; когда мой бессмертный учитель туда приехал, в книжных магазинах на полках стояли только мешочки отрубей, которые продавались вместо изящного. Ужасные головы!

Но вот отделение, достойное всего вашего внимания: «головы механические», иначе головы-ящики, с умом на пружине. Это головы знаменитых хронологов, историков, лексикографов, грамматиков, законоведцев и библиографов Голконды. Возьмем одну из них, например эту, с большим красным носом, и для удобнейшего объяснения снимем также с нее череп, примечательный своею толщиной. Господа, прошу сюда поближе! Это голова славного африканского библиографа. Извольте заметить, что она внутри имеет вид шкатулки со множеством перегородок и ящиков, которые битком набиты заглавиями и форматами книг, книжечек, брошюр, уставов, уложений, положений и учреждений всех известных и неизвестных народов. Эти заглавия теперь перемешаны и лежат в беспорядке по разным ящикам, потому что в таком же виде они всегда лежали в голове и при жизни глубокоученого законоведца. Вы, может статься, думаете, что подобные головы ни к чему не годятся?.. Вы ошибаетесь: в нужных случаях с ними делают чудеса. Так, например, этот глубокоученый библиограф имел обыкновение сверлить пальцем в ухе при всяком затруднительном случае: ему довольно было повернуть палец известным образом, и эти заглавия и форматы вдруг приходили в брожение, ворочались, шевелились с шепотом, как раки в кастрюле, перескакивали из ящика в ящик, строились в шеренги, укладывались дивными узорами. Я могу показать вам это на опыте. Вот кладу палец в ухо этой голове

и как скоро поверну им в одну сторону — крак! — смотрите, все издания расположились в голове по алфавитному порядку!.. Что ж вы скажете о такой голове? Теперь поверну пальцем в противную сторону — крак! — ну что, видите ли?.. те же издания построились в хронологический порядок, по годам своего выхода в свет. Посверлю ей в ухе еще иначе: вот хронологический порядок оборачивается вверх дном, и все книги ложатся отделениями, по содержанию. Удивительная голова! Однако ж обманывать вас не стану: она способна только к таким фокусам; в дело употребить ее никак невозможно. Подобным образом и эта плоская, тощая, бледная голова голкондского грамматика и лексикографа. Позвольте снять с нее очки и парик... Теперь вскройте ее и посмотрите: она верхом насыпана голкондскими словами разной длины, толщины и всех возможных видов и теперь кажется вам четвериком, наполненным рубленою соломой; эта солома — весь запас ее сведений... Голова умом не богатая, но, когда я захочу, она представит вам чудеса еще удивительнее тех, которых уже были вы свидетелями. Пожмите ее под правым ухом! — все слова пришли в алфавитный порядок, и вы имеете словарь. Потащите за левое ухо! — они жужжат, движутся, перепрыгивают и становятся под своими корнями. Не угодно ли кому-нибудь покачать ее тихонько в обе стороны?.. Вот они начинают склоняться: *Сей, сия, сие; сего, сей; сего... оный, оная, оное; оного, оной...* Какой шум, гам! Вы слишком сильно ее качнули. Теперь не удержишь ее ничем в свете: беда раскачать грамматическую голову!.. Как она раздувается! Увидите, что она лопнет! Где буравчик? дайте скорее буравчик!.. Надо спасать голову! Вот как их лечат в Голконде: как можно скорее сверлят им во лбу дырочку... дырочка готова, и сквозь дырочку сыплются на стол исключения и изъятия. Посмотрите, какая куча грамматических неправильностей навалилась из нее в одну минуту! Не открой я им отверстия, они разорвали бы ее вдребезги, и я лишился бы лучшей в моем собрании машины для чески языков и наречий. Прошу, господа, поосторожнее с моими головами; не шевелите ими так сильно: ведь это людские головы!.. Но я вам покажу голову еще любопытнее этой. Вот она. Голова тяжелая, плоскодонная, как всегда грамматические головы. Она совсем похожа на предыдущую, с тем только различием, что кроме рубленой соломы, составляющей единственно ее богатство, есть здесь еще разные презлые ухищрения механики. Посмотрите в этот уголок... самый темный уголок головы, которая, впро-

чем, вся не очень светла. В нем стоит чудная машинка... Это модель машины для битья по карманам, потому что голова эта принадлежала главному из голкондских карманников. В противоположном уголку, как вы изволите видеть, висит мешочек с ядом, выжатым из злобы и мщения для смазки колес и пружин машины. Жаль, что у вас, милостивые государи, нет с собою ни одного лишнего кармана, а то бы я просил вас одолжить меня им и показал на опыте образ действования этой машинки. Впрочем, он так безнравствен и отвратителен, что вы немного потеряете, если его и не увидите. Две другие головы того же сорту, находившиеся в моем собрании, были вместо рубленой соломы набиты такими мерзостями, что, когда мой почтенный наставник выбросил их в море, даже акулы гнушались ими и не хотели пожрать их.

Открываю шкаф № 4 — *головы-шифоньерки*, с задним умом, не совсем приятного вида, немножко похожие на филинов, но тем не менее достопримечательные. Приподняв крышку, вы видите в них... Об чем изволите вы спрашивать? — где ум этой головы?.. Ум остался назади, за семь столетий отсюда: его никогда нет дома... Вы видите в ней только кучу обломков и лоскутков; но если вступите в разговор с нею, она вам с точностью скажет, к чему принадлежал такой-то обломок, от чего оторван лоскуток и какое было назначение их во время óно. В Голконде люди складывали в эти головы все изношенные, вышедшие из моды или негодные к потреблению понятия. Если, копая землю, случайно отрывали старый горшок, кусок башмака или вилки, то и это прятали туда же. Головы этого рода очень полезны для опрятности общественного разума, который без них был <бы> загроможден изломанною рухлядью прошедшей образованности или прошедшего варварства, был бы засорен черепками давно оставленных прихотей. Я продал несколько этих «шифоньерок» в Германии: к сожалению, там цена на них теперь упала, а здесь даже не знают их достоинства; но в Голконде, где очень любят порядок, головы такие были расставлены по всему протяжению общества в известных дистанциях, как у нас по деревням бочки с водой, и жители сбрасывали в них все вещественное и умственное старье. Благодаря этому заведению никакая человеческая глупость не терялась в том краю, и казна не издерживала ни копейки на археологические поиски. Люди, смышленые подобно нам, вытаскивали из них потихоньку эти тряпки и, промыв их, подкрасив,

продавали тем же жителям за новые идеи: этот порядок водится и теперь во многих африканских землях и называется там «бесконечным совершенствованием человечества». Ах, милостивые государи и государыни, сколько дивных вещей, которыми вас здесь морочат мои почтенные собратия шарлатаны, узнали бы вы настоящим образом, если б решились съездить летом в Голконду!.. Я открываю вам чистосердечно все тайны ремесла, потому что у меня нет обмана.

В этом шкафу под № 5 хранятся головы-собачки, с передовым умом, который тоже никогда не бывает у себя дома; но он не тащится за своей головою в тысяче верст назади, как предыдущий, а обгоняет ее несколькими ветками — или, по крайней мере, одним столетием — и мчится вперед не оглядываясь. Страшные головы! Они совершенно противоположны тем, которые имел я честь показывать вам недавно: всегда в движении, всегда забегают вперед своему веку, скачут ему на шею и лают, подобно moськам, опережающим бегущих лошадей. Они не помнят и не знают ни того, что́ есть, ни того что́ было; все рвутся вперед, все силятся поймать зубами за пяту будущность, которая от них уходит. Вам, может статься, никогда не приводилось заметить,— теперь вы видите собственными глазами!— что родятся на свете головы с таким умом, из которого для настоящего времени нельзя даже сварить каши: он или будет годен к употреблению через тысячу лет, или бы годился десять веков тому назад. «Шифоньерки» — смирные и полезные головы, но «собачки» ужасно скучны и несносны. Они беспрерывно лают на настоящий век, кусают ноги своего общества и предсказывают ему будущее, обделанное по их желаниям и понятиям. В Голконде не знали, что с ними делать. Наконец, мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум, видя, что они напрасно тратят время на пророчение того, что сбудется едва за сто тысяч лет, а может быть, и никогда не сбудется, пожелал употребить их прорицательный дар на что-нибудь полезное и велел им предсказывать погоду. Плохо шли их предсказания в Голконде. Мудрый султан велел их высечь по пятам, и с тех пор, если случалось, что он страдал бессонницею, то призывал их к себе и заставлял рассуждать под своею кроватью о будущем возрождении мужчин посредством женщин, что всегда усыпляло его через пять минут. Вы изволите видеть два пустые места в этом шкафу: здесь были две головы этого разбору; я продал их почти за бесценок: одну господину Морфи

в Англии, а другую профессору Штифелю в Германии: они надели их себе на плеча и сочиняют теперь календари с означением на целый год вперед хорошей и дурной погоды.

Вот новый класс голов. Головы, технически называемые у нас балаганами. Позвольте поставить несколько их на этом столе и снять с них крышки для вашего удовольствия, потому что это чрезвычайно любопытные головы. Прошу посмотреть в середину. Они пусты внутри; в этой пустоте туго натянута ниточка наподобие каната в балагане Лемана; но это не ниточка, а идея... и всегда чужая идея. В этой, например, голове натянута идея — умственное движение; во второй — средние века; в третьей — время и пространство; в четвертой — новая драма; в пятой — промысел народов, и так далее. Умов теперь не видно, потому что они за кулисами; но как скоро я подам знак своим жезлом, они вдруг выскочат, наряженные паяцами, и начнется представление. Шамбара-мара-фара!.. смотрите в эту голову! Натянутая в ней ниточка названа в моем каталоге, кажется, германскою философией. Видите ли этот маленький, бледный, худощавый ум? Видите ли, как он ловко вскочил на свою идею и как проворно пляшет по ней без шеста?.. Как прыгает, ломается, кувыркается?.. Какие делает сальто-мортале?.. Вот он берет стул и столик, ставит их на этой паутинной ниточке и будет завтракать! Вот схватил скрипку и пустился плясать вприсядку на канате! Вот поскользнулся и свалился на землю — и в два прыжка опять очутился на своей идее — и танцует по-прежнему! Это голова одного отчаянного писателя: когда, бывало, станет он прыгать по какой-нибудь тоненькой чужой идее, вся Голконда не может налюбоваться на его искусство.

Теперь, господа, пожалуйте в эту сторону: я представлю вам самую богатую часть моего собрания — четыре шкафа голов, названных в моем каталоге горшками, с умом водянистым. Он жидок, прозрачен и безвкусен как вода и стоит в них тихо, пока вы не приведете их в соприкосновение с теплотою какой-нибудь модной идеи. Я могу показать вам небольшой опыт с ними: у меня есть для этого полный прибор, очаг с длинною плитой, в которой поделаны отверстия как для кастрюль. Беру из шкафов двадцать четыре головы-горшка и ставлю их в эти отверстия. Сперва вскрываю черепа, чтоб вы удостоверились, что все они налиты чистым умом из холодной воды и что тут нет обмана. Потом высекаю огонь, зажигаю один роман Вальтера

Скотта и подкладываю его под плиту. Прошу обратить внимание: по мере того, как огонь согревает, вода более и более шевелится — и вот все «горшки» вдруг закипели историческим романом! Слышите ли, как в них клокочет исторический роман?.. Теперь надо скорее закрыть «горшки» крышками и поставить назад в шкафы: а то будут кипеть, кипеть, пока весь их ум не испарится, и в другой раз нельзя будет употребить их для опытов! Это, изволите видеть, головы голкондских подражателей.

Вот еще любопытные вещи: головы-мортиры, с умом параболическим. По ним все дрянь: они знают, как все лучше сделать. Но они не так глупы, как кажутся, и дела свои умеют обделывать прекрасно: чтобы казаться глубокомысленнее, они порицают и унижают все, что в них не вмещается. Первое их правило — ничему не удивляться. Приведите их под Тенериф, и они вам мигом проглотят Тенериф как пилюлю и спросят: «Где же Тенериф? И что находили вы в нем высокого или удивительного?» А если им не удастся проглотить, то вот как они действуют. Они никогда не прицеливаются умом прямо в предмет, но стреляют им вверх, как бомбою, и стараются попасть в цель вертикально, описав наперед по воздуху огромную параболу; само собою разумеется, что они никогда в нее не попадают — всегда или заходят далее, или лопаются с треском в половине пути, исчертив воздух лентами серного пламени и наполнив его умозрительным дымом. В Голконде это называется — бросать высшие взгляды; не знаю, как здесь?.. Но смотреть на это очень забавно, особенно в темную ночь, когда эти головы, ополчившись, осаждают другую голову, которой ума они боятся. Мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум чрезвычайно любил тешиться этим зрелищем: он готов был оставить самый великолепный фейерверк и ехать смотреть на бомбардировку высшими взглядами, чтобы хохотать над самонадеянностью этих «мортир» и над их бесконечными промахами. Обезглавив все свое царство, он вовсе не раскаивался в этом ужасном поступке, и когда мой незабвенный наставник возвратил ему подданных, султан всего более радовался тому, что они возвращены ему без голов. Однако ж при расставании он сказал ему со вздохом: «Увы! теперь моим голкондцам не из чего даже бросать высшие взгляды!.. Ну, да они народ смышленый и, спохватясь, что у них нет голов, наверное, придумают средство стрелять высшими взглядами из сапога».

Показывать ли вам еще разные другие редкости моего кабинета, головы, называемые плавильными печами, с умом белокаленым, на который всякое брошенное понятие мигом испаряется в газ, и вы видите от него только туман, мглу, умозрение; головы-насосы, с умом из грецкой губки, которою вбирают они в себя всякие чужие мысли: наполнившись ими, они выжимают их в грязный ушат своей прозы, чтоб опять вбирать другие мысли и сделать из них то же употребление; головы-веретена, которые бесконечно навивают одну и ту же идею; головы — шампанские рюмки, которые без всякой видимой цели быстро пускают со дна искры пьяного газа и пенятся шумным слогом; головы-лужи, с студенистым умом, который беспрерывно трясется,— это называют они по-голкондски юмористикой,— ни к чему не способен, ничего не производит, а только если чужая репутация ступит на него неосторожно, он тотчас поглощает ее в свою нечистую бездну или забрызгивает своею грязью; головы-мешки, которые, выбросив из себя мысли, насыпаются фактами; головы-волынки, на которых играют похвалу только всем глупостям; головы-туфли, головы-веретела, барабаны, термометры, крысы, и прочая, и прочая?.. Я думаю, вы утомились их осмотром и ожидаете от меня новых доказательств моего искусства. Собираю все мои головы в корзины и высыпаю их перед вами на средину залы.

Вы имеете перед собою огромную груду голов разного разбора и свойства; груду голов сваленных, перемешанных, перепутанных, опрокинутых, теснящих, давящих одна другую,— точный образ благоустроенного и просвещенного общества или кучи яиц. Что из них сделать? К чему годятся людские головы?.. Из туловища можно сделать важного человека; из головы — ничего!.. Вот три большие колпака: прошу посмотреть — в них ничего нет! Из этой груды беру три головы — три какие-нибудь — для меня все равно: одну, например, из «балаганов», другую из «мортир», третью из «плавильных печей». Каждую из них накрываю одним колпаком. Все вы изволили видеть, что под каждый колпак положил я по одной голове; теперь назначьте сами, под которым колпаком должны эти три головы очутиться: под первым, под вторым или под третьим?.. Под вторым? Извольте! Поднимаю второй колпак: вот все три головы под одним колпаком... Ах, да это не головы! Это — книги!.. Головы превратились в книги!.. Какое странное явление! Так из

людских голов можно по крайней мере делать книги? Кому угодно раскрыть эти толстые, прекрасные сочинения и посмотреть их содержание? Вы помните, что я взял три головы: в одной из них ум, наряженный паяцем, прыгал по тоненькой идее, натянутой в виде каната; другая стреляла высшими взглядами; третья, с умом белокаленым, мигом превращала понятия в пар, в туман. Поэтому если я не подмéнил голов благовременно приготовленными книгами, если я действительно в состоянии делать чудные превращения, эти три книги должны соединить в себе свойства трех умов, вынутых мною на выдержку из груды. Милостивые государи!.. Позвольте спросить... нет ли здесь между вами читателя?.. Никто не откликается?.. Вот это досадно! Кто ж будет читать книгу, которую мы состряпали?.. Господа! скажите по совести... не стыдитесь... кто из вас читатель? Нет ни одного?

— Есть один... Я читатель.

— Ах, как вы нас обрадовали! Великодушный человек!.. Благосклонный читатель, пожалуйте сюда поближе; благоволите прочитать почтенному собранию заглавие этого сочинения.

— «История судеб человеческих»...

— «История судеб человеческих»? Какое замысловатое заглавие! Эти голкондские головы как будто нарочно созданы для заглавий!.. Загляните теперь в содержание: вы найдете там и пляску на одной идее, и высшие взгляды, и туман, и разные разности, о которых и говорить нечего в такой честной и благородной компании. Ну, что, есть ли?.. Есть! Тем лучше. Видите, что я не обманываю. Кто хочет купить у меня эту «Историю»? Господа, не угодно ли подписываться на эту любопытную историю? Теперь у меня только один экземпляр; но вы видите, какая здесь куча голов: все это литература!.. я в минуту сделаю из любой головы точно такую же историю. Прошу подписываться! Кто желает?.. Никто?.. Так надо приняться за другой фокус. Прикажите же теперь сами, что́ должен я сделать из этой истории. Сударыня, что вам угодно, чтоб я из нее сделал.

— Роман.

— Хорошо. А вы, почтенный и добродетельный муж, что желаете из нее сделать?

— Нравоучение.

— Очень хорошо! А вы, прекрасный юноша?

— Портфель с деньгами.

— Бесподобно! Я получил от вас три различные требо-

вания; но всех их невозможно вдруг исполнить: одно даже совершенно неудобоисполнимо. Из истории вы хотите сделать нравоучение; этого и сам Великий Алберт, постигший все тайны природы, никогда не делывал. Видно, что почтенный и добродетельный муж, который предложил мне это требование, никогда сам лично книгами не занимался, а производил чтение посредством секретарей. Согласитесь, что история и нравоучение две вещи слишком противоположные, чтоб одну из них можно было превращать в другую: если б люди действовали по нравоучению, истории не было б на свете — было бы только нравоучение; и, обратно, если б они вели себя по истории, нравоучение было бы наукою совершенно излишнею: довольно б было поступать по истории. Таким образом, простите меня, почтенный и добродетельный муж, если я предпочту приказание этой дамы: прошу пожаловать мне сочинение, которое сделал я из трех голкондских голов. У кого оно?.. Прошу также посмотреть, что у меня нет ничего в руках и рукава засучены: беру эти три книги, которые вы уже видели, и как скоро на них подую... Раз, два, три! — Пх!.. Извольте читать, сударыня!

— «Судьбы человеческие. Роман в трех частях».

— Подменил заглавие! Подменил заглавие!

— Кто говорит, что я подменил заглавие? Как вам не стыдно, господа, клеветать на меня так ужасно! Вы изволили быть свидетелями, что у меня ничего не было в руках. Разумеется, что самое простое средство сделать из истории роман это переменить заглавие; но я не такой человек... Я не употребляю таких грубых обманов. Это волшебные превращения, искусство делать из людских голов разные вещи, и вы сами видите, что с помощию этого искусства сочинение чрезвычайно улучшилось и усовершенствовалось, потому что теперь вы читаете его с любопытством, тогда как за историю не хотели мне дать ни копейки... Прошу, однако ж, отдать мне мой роман: я хочу показать его прекрасному юноше... Прекрасный юноша, вы от меня чего-то требовали: извольте взять в свои руки этот роман и держать его крепко, а когда я на него подую... Раз, два, три! — Пх! — Посмотрите, что́ у вас в руках?

— Ах!.. Толстый портфель!.. с ассигнациями!

— Ведь вы требовали портфеля с деньгами! Чему же тут удивляетесь? Все это превращения людских голов и ума человеческого; превращения странных образов мыслей в ис-

торию,— истории в роман,— романа в деньги, — а денег... Пожалуйте мне портфель обратно. Почтенный и добродетельный муж благоволит взять этот портфель и положить его себе в карман. Берите смело; не бойтесь... ну, так! Хорошо! Застегните плотно платье, чтоб кто-нибудь не вытащил у вас этого клада. Я между тем, милостивые государи и государыни, покажу вам новое чудо моего искусства. Видите ли эту груду голов? Все это головы, принадлежащие моему собранию редкостей: их должно быть двенадцать тысяч без трех голов, которые употребил я для вашей потехи на выделку разных творений... Почтенный и добродетельный муж, возвратите мне портфель с деньгами: он мне крайне понадобился.

— С удовольствием.

— С удовольствием? Я не думаю! Деньги никогда не возвращаются с удовольствием, даже чужие. Что ж вы это мне возвращаете?.. Ведь это не портфель, а какая-то книжка? Посмотрим заглавие... «Искусство брать взятки, нравоучительная повесть». Прекрасно! Вы кладете в карман деньги и из того же кармана вместо денег вынимаете и дарите почтеннейшей публике нравоучительное слово против взяток! А, господа! Если вы так составляете литературу, то я удивляюсь, как еще находите вы читателей! Теперь для удостоверения вас, что здесь не было никакого обмана, я сожигаю эту книжечку, обращаю ее в золу, подливаю немножко воды, делаю из всего этого тесто, разделяю его на три шарика, беру три стеклянные трубочки, конец каждой из них упираю в один шарик и, соединив во рту моем три другие конца, при ваших же глазах начинаю дуть... Смотрите, смотрите, как мои шарики раздуваются, растут, растут, растут!.. Вы думаете, может быть, что это мыльные пузыри?.. Нет! Погодите, позвольте мне еще немножко подуть... Узнаете ли теперь, что это такое?.. Три человеческие головы! Извольте рассмотреть их со вниманием: вы опять имеете перед собою те же самые три престранные головы, которые недавно превратили мы в историю судеб человечества, которая превратилась в роман, который превратился в деньги, которые превратились в нравоучение, которое превратилось в прах, который превратился опять в авторские головы. Здравствуйте, мои любезные головы! Наконец вы возвратились ко мне из своего литературного путешествия! Наконец я вижу вас снова целыми, здоровыми, свежими, румяными! Но что проку! Мы из вас выработали было кучу денег, толстый портфель, набитый ассиг-

нациями; а теперь за вас же почтеннейшая публика не даст мне и трех рублей, зная внутреннее устройство ваше!.. Идите же, бедные головы мои, опять в груду; дополните собою число двенадцати тысяч голов, над которыми обещал я показать последний и самый удивительный пример моего искусства... Милостивые государи и государыни! Вы видите эту груду голов? При третьем ударе по ней моим волшебным жезлом все они исчезнут, а вы извольте тотчас смотреть на эти шкафы...

Сказав это, синьор Маладетти Мòрто взял жезл свой обеими руками, отвесил им три удара по груде голов — два первые слегка, а третий изо всей силы — и в то же самое мгновение головы разлетелись во все стороны и начали укладываться на полках шкафов с страшным шумом и стуком. Род грома раздался по всему зданию. Казалось, будто обрушилась крыша. Все спавшие в доме выскочили из постелей. Александр Филиппович Смирдин вбежал в залу через боковую дверь в халате и ночном колпаке. Он показался мне ужасно испуганным и несколько времени стоял как окаменелый, не будучи в состоянии произнести ни одного слова. Производитель фокусов продолжал:

— Где же мои головы? Их нет! Головы пропали! Вы видите только шкафы, а в шкафах полки, а на полках книги. Это книги почтенного здешнего хозяина, Александра Филипповича Смирдина, которого имеем честь приветствовать здесь лично. И теперь, как представление кончилось, я должен объявить почтенному собранию, что головы, которые вы здесь видели, были головы не голкондцев, а самих сочинителей двенадцати тысяч творений, красующихся на полках этого магазина. Мы силою нашего волшебного искусства сперва превратили книги в головы, потом показали вам тайное устройство этих голов и, наконец, снова повелели быть им книгами. Теперь, милостивые государи и государыни, наслаждайтесь ими. Желаю вам много удовольствия и спокойной ночи.

Во время этого последнего монолога я подбежал к Александру Филипповичу, который все еще в изумлении стоял у боковых дверей. Я хотел спросить его о причине его странного костюма; но, минуя первые ряды стульев, вдруг увидел другого Александра Филипповича, сидящего на том же месте, где я заметил его еще до начала представления.

— Что это за история! — вскричал я в остолбенении. —

Александр Филиппович!.. Вас здесь двое?.. Посмотрите на вашего двойника!

— Вижу, вижу! — отвечал он дрожащим голосом и повел взором по всему собранию. — Боже мой, что это значит? Откуда весь этот народ?.. Да ведь и вы здесь в двух экземплярах?

Я оглянулся и действительно увидел в нескольких шагах от себя точный образ собственной моей персоны, сидящий на стуле между зрителями. Я был поражен ужасом и в моем смущении с трудом расслышал только последние слова производителя волшебных представлений, который говорил моему спутнику, поэту:

— Ну, милостивый государь! Мы пришли сюда за вами. Вы не забыли обещания вашего на кладбище? Мы сдержали свое слово: вы, по хирографу, написанному нами на бычачьей шкуре и собственноручно подписанному вами, воспевали мертвецов, ад, ведьм, мы доставляли вам благосклонных читателей и славу и еще, на придачу, дали великолепное представление. Вы желали узнать великую тайну литературы. Теперь вы ее знаете. Мы льстим себя надеждою, что и вам самим не захочется после этого оставаться здесь долее. Скоро станут звонить к заутрене; нам пора домой. Не угодно ли пожаловать с нами?

И, говоря это, производитель волшебных превращений схватил моего поэта одною рукой за волосы; стекло в окне лопнуло и зазвенело по полу; фокусник, поэт и все собрание улетели в это отверстие. Все это сделалось так мгновенно, что мы едва могли приметить, куда они девались. В зале остались только Александр Филиппович, два его приказчика, прибежавшие, подобно ему, на стук, произведенный возвращением книг в шкафы, и я.

Бесполезно было бы изображать наше изумление и пересказывать разговор, который вслед за этим начался между нами. Александр Филиппович Смирдин уверял меня, что в этом ночном обществе он ясно видел почти всех живых и умерших сочинителей и сочинительниц, которых портреты висят у него на стенах, и что сверх того узнал тут было множество лучших его покупщиков книг.

Я приметил на полу что-то белое. Взяв свечу, мы подошли к этому месту и нашли три звездочки, без сомнения последний земной след великого безымянного поэта... Я не шучу; Александр Филиппович — свидетель.

Сегодня поутру он и его приказщики осторожно расспрашивали у многих из писателей и покупщиков, виденных нами в зале во время представления, о том, чтó они делали и где были прошедшую ночь? Все божатся, что они были дома и спали.

Решительно чудеса! Впрочем, я читал что-то подобное в «Черной Женщине».

А между тем великий безымянный поэт пропал без вести! Его нигде не отыскали сегодня.



Е. А. Ган

1814–1842



ИДЕАЛ





ом дворянского собрания был великолепно освещен; плошки на воротах, плошки у подъезда; кареты, коляски, брички, сани везли целые грузы бабушек, маменек, дочек, внучек; собрание было блистательное. Два жандарма, стоявшие у крыльца, не успевали отгонять опорожненных экипажей. Канцелярские стряхивали снег с своих шинелей, артиллеристы, смотря с улыбкой презрения на этих *фрачников*, гордо расправляли усы и всклокоченные волосы. Но то ли еще было в зале!

Четыре люстры величаво спускались с потолка; вдоль стен расставлены были диваны, крытые оранжевым ситцем с зелеными узорами, а на передней части залы под огромным зеркалом стояли два пунсовые кресла. На хорах тринадцать человек музыкантов сидели в ожидании входа губернатора с поднятыми смычками, готовясь огласить залу при его вступлении полонезом из «Русалки». Диваны были уже заняты дамами всех возрастов и чинов; статские смиренно расхаживали по зале с круглыми шляпами в руках; кавалеристы с нетерпением брякали шпорами; старики

умильно кружились подле расставленных карточных столов, но никто не начинал ни танцевать, ни играть. Общество походило на огромного истукана, для которого душа не была еще ассигнована. Кое-где мужчина, проходя за диванами, останавливался позади девицы и, наклонясь, шептал ей, вероятно, что-нибудь очень приятное, потому что улыбка вдруг расцветала на устах девушки, и, глядя на нее, маменька самодовольно поправляла свой чепец.

Вот явился и крошечный прокурор в огромном парике, который уже тридцать лет венчает эту голову, глубокий тайник законов. За ним плывет толстая прокурорша с четырьмя дочерьми, из которых меньшая головой выше своего папеньки. Статские почтительно расступались перед законоведцем, а несколько артиллеристов порхнули к его дочерям.

— Mademoiselle *Espèrance*, вы ангажированы на мазурку?

— Ах, да!

— Кем?

— Мусье Сидоренко.

— Как я несчастлив.

И рыцарь изъявил свою горесть отрывком из одной русской поэмы, которой сочинитель испытал бы еще большую горесть, услышавши, как безжалостно исковерканы были его стихи.

Зала совершенно наполнилась, а танцевать все еще не начинали; бьет десять часов; на всех лицах нетерпение; но все сидят как прикованные. Вот влетело в залу розовое облачко, предвестник яркого светила. Это был городничий. Ропот надежды пробежал по всему собранию; от дверей до пунсовых кресел составилась широкая дорога, и глубокое молчание воцарилось в зале, как на море тишь перед грозою; музыканты ударили в смычки; радостный трепет потряс молодых девиц до самого основания, и губернатор важно вошел в дверь, ведя под руку свою величественную половину, украшенную блондами, цветами, перьями, ярко-малиновым беретом и бронзовою фероньеркою, которой три висящие стеклышка качались как маятники над ее широким носом. При входе в залу он вручил шляпу свою дежурному чиновнику, который нарочно для того стоял у дверей с самого начала вечера. Губернатор и губернаторша продолжали шествие; все склоняло головы по мере их приближения, дамы *вставали с мест:* да! вставали; таков непреложный этикет губернских балов. Только военные позволя-

ли себе кланяться с развязным видом. Грозная чета опустилась на мягкие кресла; дамы окружили губернаторшу, и она снисходительно кивала им головой, а некоторых милостиво спрашивала даже о здоровье. Но более всех суетилась приехавшая с ней маленькая полицеймейстерша, одетая по последней картинке московского модного журнала.

— Мадам Бирбенко, — сказала томно губернаторша вертлявой полицеймейстерше, — не становитесь, пожалуйста, моим vis-à-vis в кадрилях; я слишком кажусь огромною против вас.

— Извольте-с, ваше превосходительство, — отвечала покорно мадам Бирбенко.

— Скажите, mesdames, кто из вас знает,— произнесла вновь губернаторша,— увидим ли мы здесь сегодня полковницу Гольцберг?

— Сомневаюсь,— вскричала полицеймейстерша,— она парит под небесами и не спустится к нашим земным веселостям, хоть и не пропускает случая пользоваться земными удовольствиями.

— Вы, видно, коротко знакомы с ней? — простодушно спросила ее недавно приехавшая помещица.

— Ах, боже мой, да разве нужно быть век знакомой, чтоб узнать женщину! Видна птица по полету; да и слышно же, что говорят!

— Я слышала,— сказала прокурорша,— что она все читает *книжки* и что даже мужу ее эти книжки крепко надоели; поручик Тарабарин рассказывал, что полковнику часто приходит охота бросить их в печь.

— Ах, maman, вы совсем не то говорите,— сказала умирающим голосом старшая дочь прокурорши, поднимая свои серые глаза, которых, наперекор всем стараниям, никак не могла сделать томно-выразительными, — нас уверял поручик, что она сочиняет роман, который скоро поступает в печать.

— Уж конечно, роман нравственный! — вскричала с злобною усмешкою полицеймейстерша.— Эти смиренницы любят выставлять напоказ добродетели, которых у них не водится.

— Да почему же вы полагаете в ней скрытые пороки?— произнес голос из толпы.— Я знаю давно мадам Гольцберг и уверяю вас, что свет много бы выиграл, если бы в нем было побольше подобных ей женщин.

— Ах, бог мой, симпатическое предстательство!— возразила вполголоса полицеймейстерша, и взоры ее обратились

в ту сторону с такою яростью, что два квартальных у дверей уронили со страху свои шляпы.

В это время вошла в залу молодая женщина лет двадцати двух, не красавица, но стройная, милая, одетая чрезвычайно просто: ни одного цветка, ни одного бронзового украшения. С первого взгляда можно было сказать об ней — не дурна,— но второй взгляд рождал желание всмотреться в ее черты, и чем более вы всматривались в них, тем неохотнее взоры ваши отвращались от этого милого личика. Темные глаза ее боязливо смотрели из-под длинных черных ресниц; в ее улыбке было что-то неизъяснимо доброе, и тень грусти часто мелькала на этом лице, но принужденная веселость побеждала ее; несмотря на боязнь, на почти детскую робость осанка ее была благородна и даже немного горда. Она смотрела вокруг себя, как некогда смотрел христианин в римском цирке на диких зверей, трепеща от их сверкающих взоров, от их острых когтей, но возносясь духом выше их свирепости и силы, стремясь с светлою надеждою к близким небесам. Мне грустно было смотреть на эту необыкновенную женщину, рожденную украшать собою выбор человечества; грустно было видеть эту светлую поэтическую душу окруженною ядовитым роем ос, которые находили удовольствие жалить ее со всех сторон. Положение мужчины с высшим умом нестерпимо в провинции; но положение женщины, которую сама природа поставила выше толпы, истинно ужасно.

— Ваша полковница хотела поразить нас настушескою простотою... как это мило!— сказала полицеймейстерша одному офицеру, спеша, сколько позволяли ей коротенькие ножки, опередить госпожу Гольцберг, чтобы стать во второй паре.

Бесконечно тянулся польский; губернатор прошелся со всеми супругами своих подчиненных, строго соблюдая старшинство чинов, а губернаторша со всеми офицерами, строго соблюдая постепенность их миловидности. Наконец, по желанию ее заиграли вальс.

Вальс, столько оклеветанный, но все-таки любимый танцующим светом, если ты где-нибудь сохранил свою непорочность, то это в тесных залах провинциальных городов, где ловкие кавалеры не поддерживают своих дам, но часто держатся за них, чтобы не сбиться с такту и не спутаться ногами с следующею парою; где длинные шпоры кавалеристов беспощадно впиваются в женские ножки; где запах помады, которую многие кавалеры так щедро намазывают свои во-

лосы, заставляют танцорок отворачивать носики и пламенно желать окончания тура.

В это время полковница Гольцберг в сильном смущении радостно сжимала руки одной девицы: несмотря на все ее усилия овладеть собою, слезы едва не брызнули из-под ее ресниц, и яркий румянец озарил ее бледные щеки. Девица с неменьшим волнением смотрела на нее, но она казалась немного старее госпожи Гольцберг и лучше умела управлять своими чувствами. Несколько любопытных взоров были устремлены на них, но в первую минуту радостной встречи они не замечали ничего.

— Вера,— говорила госпожа Гольцберг,— так ли мы думали встретиться! Ах, как тягостна подобная встреча здесь, на бале! Она переносит меня в минуту нашего горького прощанья, помнишь, над свежей могилой нашей матери! сколько лет я не получала от тебя ни строки! Скажи, знала ли ты, что я замужем?

— Да, но не знала точно фамилии твоего мужа, ни места пребывания вашего.

— А ты все еще живешь у родственницы своей?

— С нею я и залетела в эту сторону.

— Слава богу! Теперь я не одинока в мире!

— Ольга! ты все та же пламенная голова. Успокойся, друг мой, посмотри, мы представляем очень занимательную сцену для любопытных. Завтра целый день я твоя, но сегодня забудь о моем присутствии. Вот идет твой кавалер, кадриль ожидает тебя; поди, до свидания.

И Вера, освободив руку свою, поспешно скрылась в толпе и ушла в уборную комнату, чтобы оправиться от собственного смятения, которое овладело ею наперекор принятому равнодушию при неожиданной встрече с подругою своего детства, с своей сестрой по сердцу. Госпожа Гольцберг машинально подала руку своему кавалеру, молодому помещику той губернии; он недавно прибыл из Петербурга, играл значительную роль в обществе и обращал на себя всеобщее внимание женского пола, несмотря на свой черный фрак, вошедший в пренебрежение с тех пор, как в городе поселились две конно-артиллерийские батареи. Молодой помещик повел ее к кадрилю и поставил против губернаторши. Раздались звуки Россини; все пришло в движение; толкаясь и теснясь, пары суетливо перебегали с места на место; одна только полковница оставалась недвижима, как будто память прошедшего изгнала из нее чувство настоящей минуты.

— Мадам Гольцберг, ваша очередь! — пропищал возле нее насмешливый голос.

— Ваша очередь, — повторил басом ее кавалер.

Она опомнилась, протанцевала первую фигуру, но в продолжении кадриля несколько раз сбивалась с такту, путала фигуры и отвечала невпопад петербургскому кавалеру, который, играя своими бриллиантовыми пуговками, поглядывал на нее искоса с недоуменьем и самодовольно рисовался против большого зеркала.

На другой день все кричали по секрету о *ни на что не похожем* смятении полковницы Гольцберг в то время, как «петербургский» танцевал с нею. Многие подозревали давнишнее знакомство между ними; некоторые разглашали это за достоверное, и все знающая полицеймейстерша рассказывала уже по этому случаю несколько презабавных анекдотов, извлеченных из взоров полковницы и из собственных своих догадок. Бедная полковница!

Надобно знать, что в то время три особы были предметами бесжалостного внимания жителей этого города — полковница Гольцберг, жена полковника Листкова, командовавшего другою батареею, и приезжий из Петербурга мосье Нерецкий,— но каждая по другой причине. Первой не могли простить ее холодности к обществу, дышащему мелочной завистью и сплетнями, этой язве провинциальных городов; ее склонность к уединенной жизни, ее отчуждения от всех знакомств и особенно простоте ее нарядов, без всякой бронзы. Вторая явилась грозною соперницею всех модниц города: два раза в год выписывала она из Москвы целые транспорты нарядов; она имела большие притязания на красоту и на паркете была истинной командиршей своих офицеров, как муж ее был командиром их в поле. Мосье Нерецкий занимал умы вот по какому поводу: Нерецкий не имел в городе родных, и именье его не было расстроено, — так зачем бы ему переселиться из столицы на всю зиму в дрянной городок? Нет сомнения, говорили мужчины, что он исключен из службы. Нет сомнения, говорили женщины, что он в Петербурге не нашел подруги по сердцу и возвратился в свой родимый край искать второго рождения или первой любви, или, говоря яснее, законной супруги. Как не обратить внимания на человека, у которого можно при случае выиграть порядочные деньги! Как, с другой стороны, не обратить внимания на человека лет тридцати, с большими бакенбардами, с тремя бриллиантовыми пуговицами на манишке, на человека, который так мило растя-

гивается на стуле перед фортепианами и поет «Талисман» и «Красный сарафан» полубасом, полутенором, опираясь на восемьсот душ, которые он наследовал после батюшки в пятидесяти верстах от города? По всем *таковым* уважениям каждый шаг госпож Гольцберг и Листковой и господина Нерецкого был основанием новой сплетни. А в эту зиму, как нарочно, столько было балов и пиров, сколько не запомнят в той стороне со времени Куликовского сражения. В старых деревянных рядах всякий день толпились дамы; купцы развешивали *моднейшие* газы и материи; девицы и дамы на каждый бал являлись в новых платьях и с новыми затеями.

Уже вторая дочь прокурора познакомилась довольно коротко с Нерецким; он всегда танцевал с ней мазурку, но иногда казался неравнодушен и к дочери отставного генерала, которая *некогда* была воспитана в институте и потому все еще обворожала детской невинностью и милой резвостью,— а иногда его снисходительный взор падал на дочь главы купечества, наследницу двух больших домов и нескольких сот тысяч денег. Эти три грации боролись между собой, гоняясь за сердцем петербургского адониса, то опережая друг друга, то отставая с горечью и злобою. Когда в зале явилась полковница Гольцберг, Нерецкий первую кадриль танцевал с ней. Этого уже довольно. Полковницу разнесли на языках. К мазурке он приглашал ее, она отказалась и уехала, а он всю остальную часть вечера бродил со шляпою в руках, не танцуя и почти не говоря ни с кем, что с ним очень редко случалось. Какая пространная канва для злоречия! Все взволновалось; все зашипело от ярости! Через неделю Нерецкий был с визитом у Гольцберга, и полковник пригласил его к обеду на следующий день. К вечеру того дня уже все рассказывали, что полковница надела новый шелковый капот и заказала к обеду два лишних блюда.

Но возвратимся ко дню, который непосредственно последовал за балом. В десять часов утра Вера была уже в комнате Ольги, и они без докучливых свидетелей предавались искренним чувствованиям.

Вообразите два цветка, возросшие на одном стебле, которых питала одна роса, освежал и лелеял один ветерок; которые под грозною тучею прижимались один к другому и после весело красовались под весенним солнцем, любуясь взаимно своей красотой. Вообразите, что жестокая рука сорвала их с родного куста и, не довольствуясь этим, разорвала еще не отстрадавшие их стебли и посадила цветки в разных сторонах, под разными небесами, на незнакомых

почвах. Бедные цветы не увяли, но душа, насильственно разделенная надвое, могла ли оживлять их по-прежнему? Зной палил их, черная туча обливала холодным дождем, они равно клонились к земле осиротелыми головками; им не от кого было ждать утешительного взора, некого ободрять веселою улыбкою; и равнодушно ждали они вихря, который вырвал бы их с нового корня и обратил в прах.

Так росли Вера и Ольга; мать Ольги приютила сироту Веру, и она забыла свое сиротство. В счастливой южной стороне, на южном берегу Крыма жили они, не считая дней. Солнце пробуждало их для учения, для прогулок, для неистощимых разговоров; в продолжение коротких южных зим они пламеннее предавались учению под заботливым руководством матери.

Но чтобы понять характеры этих двух молодых особ, надобно знать несколько их воспитание.

Мать Ольги, умная, почти ученая женщина, была несколько вольнодумна. Не по собственным размышлениям, но в те лета, когда всякий по наружности блистательный афоризм глубоко западает в разум, она прочла все творения философов французской школы и считала непреложные условия женского быта за выдумки, годные только для толпы. В жизни своей она не испытывала этих сильных переворотов, которые заставляют иногда закоренелых вольнодумцев устремлять взор к небесам; она жила тихо, однообразно: исполняла все свои обязанности с строгою точностию, была добра для себя и для других и по этим правилам воспитывала своих детей. Они учились всему, исключая того, что должно служить основанием прочего; но мать старалась от нежного возраста изощрить в них до высочайшей степени чувство благородства; предметами их благоговения были деяния великих мужей. Самопожертвование, великодушные поступки заставляли трепетать их юные сердца, и от ранних пор они привыкли чувствовать и мыслить по примерам древних. Никогда ложь не оскверняла их уст; данное обещанье они хранили и исполняли наперекор всем обстоятельствам, как тот римлянин, жертва своего слова, который вызывал слезы удивления па их щеки. Прибавьте к этому совершенное уединение, где ничто не разочаровывало их понятий, где, напротив, все питало в них посеянные семена плодов пе нашего века, где развалины генуэзской крепости и высокий утес беспрестанно являлись их пылкому воображению то древней Капитолией, то скалой Тарпейской и где библиотека нескольких сот томов была

отворена для них от тринадцатилетнего возраста. Представьте себе все это, и вы поймете их порывы сердца, простите им излишнюю мечтательность головы. Вы скажете, что теперь не много примеров такого воспитания. Не знаю!.. Конечно, теперь их гораздо меньше, с тех пор как в домашнем образовании юношества Бальзак заступил место Цицерона.

Да, после шестилетней разлуки они увиделись вновь; но как годы изменили их! Кто бы узнал в тихой, медленной поступи Ольги, в ее бледном лице и грустном выражении глаз, в холодных и резких суждениях Веры и в ее равнодушии ко всем чувствам сердца, кто бы узнал, говорю я, тех резвых девиц, которые как серны карабкались на неприступные утесы, смеялись на краях бездны, встречали восход солнца на обломках древнего христианского храма, любуясь пурпуровым цветом утренних облаков и зарумяненною поверхностью моря? Которые по непонятному для самих себя влечению искали опасных мест, с наслаждением садились на высоком обрыве, внизу которого кипели волны, и там с большим восторгом читали сперва Плутарха, позже вымыслы графини Жанлис и баронессы Сталь?

Сколько рассказов, сколько взаимных доверенностей! В первый раз после шести лет они облегчали души свои, переливая в душу друга давно тяготившие их чувства.

— Да! — продолжала Вера, рассказав подруге происшествия своих прошедших годов,— это разочарование, этот неожиданный нравственный удар перевернули все мое существование. Я увидела, как неуместны в нашем свете высокие понятия, великодушие, благородство, и составила себе очерк своей будущей жизни. Я в полном смысле слова одинока в свете, никто не любит меня, никто не заботится обо мне, и я вознамерилась обратить все нежные чувства своего сердца, все, что заключается в нем, преданности, любви, дружества, все, к собственной своей особе. Самый тесный эгоизм вот моя стезя. Я не могу любить моею первою, чистою любовью и не хочу предаваться никакому чувству второстепенному; и потому никогда не выйду замуж. Я покину мир, как покидает пришлец чужую сторону, где он принужден был говорить языком других и считал свое пребывание только чужими обедами. Я хочу и стараюсь довести себя до такой степени равнодушия, чтобы чувства мои сделались неспособными ни к какой нежности. Я хочу сделаться недоступной для всех умственных, духовных ощущений и жить, подобно устрице, одним телом.

С удивлением слушала ее Ольга; этот язык был для нее нов и непонятен; для нее, которая совершенно противуположно отвергала от себя все земные чувства и жила одной душой, влача в свете сонное существование, почти машинально исполняя обязанности, налагаемые обществом, и пробуждаясь к жизни только наедине с собою, с своими духовными собеседниками.

Рассмотревши ее положение, вы простите ей излишнюю мечтательность. Есть особы, которые не знаю для чего родятся в свет, потому что в этот мир, полный холодных умствований и расчетов, они приносят с собой душу, жадную до глубоких, истинных чувств; ум, который, видя всю ничтожность маскарадного покрывала приличий, никогда не может согласить поступков своих с мнением деспота — общества, и выше всего приносят упование на свою долю счастия! Эти особы, принужденные следовать общей колее, должны как влюбленный duc de Lorraine*, держа в горсти горящие угли, никому не открывать их, хотя бы тело их испепелилось вместе с углями,— если не хотят сделаться предметом посмеяния. Никогда не свыкнутся они с условиями света, будут в тягость себе и другим, и даже голос их так чужд всему миру, что нигде не найдет он отголоска.

Это случилось с Ольгою; с своим воспитанием, с своим образом мыслей и жизни до пятнадцатилетнего возраста, как могла она принять удел свой так, как приняли бы его тысячи женщин? Смерть матери вырвала ее из мирного убежища, разлучила с подругой ее детства и бросила на руки одному родственнику, старому полковнику, обремененному собственным семейством, который, исполняя долг христианина и родственника, с беспокойством помышлял, что, может быть, нелегко ему будет сбыть с рук девушку без приданого. И вдруг молодой полковник Гольцберг,— молодой по леточислению дяди, которому полковничий чин вышел на пятьдесят осьмом году,— представь, пленился и предложил руку свою Ольге: сердца он предложить не мог, «ибо не оказалось оного в запасном магазине его высокоблагородия». Дядя благословлял небо и, не рассуждая долго, объявил свое решение Ольге: через две недели бедная сирота с сердцем, еще не уврачеванным от первого удара, с помутившимся разумом от угара нежданных происшествий, сама не зная что делает, стояла у алтаря с человеком, которого едва знала в лицо.

---

* Герцог де Лорэн *(франц.)*.

Мало-помалу угар рассеялся; Ольга приходила в себя, и ее положение начинало ей представляться яснее. Она увидела себя связанною с человеком, с которым не могла иметь ни малейшего сочувствия. В ее девические, или скорее, детские годы любовь исключительно не занимает мечты: иногда по прочтении какого-нибудь нравственного романа ей грезился идеал; несколько дней она видела во всякой звездочке глаза, которые жгли ее сердце; но эта мечта скоро рассеивалась, сменялась другою, и Ольга не считала любви потребностью жизни, предметом существованья женщины. Будь ее муж человек с умом, с малейшею прозорливостью, он мог бы легко привязать ее к себе, иногда подделываясь под ее детские восторги, иногда доказывая их опасность в ее положении, он мог бы исцелить ее от ума, одеревенить ее, сделать материальною, сформировать по-своему; конечно, это было нелегко, но не невозможно. Но полковник Гольцберг был *добрый немец;* славный хозяин в своей батарее, удалой кавалерист, подчас кузнец и шорник, подчас барышник, которого не провел бы ни один цыган: он знал все подробности пушки и зарядного ящика, но сердце женщины было для него тайником непроницаемым. Он женился, потому что ему было сорок лет и хотелось обзавестись хозяйством; потому что Ольга ему понравилась и он полагал, что хотя она не имеет приданого, однако может составить его счастие на зимней квартире.

О счастии женщины он имел короткое и ясное понятие: благосклонное обращенье, снисходительность к капризам и модная шляпка,— вот что, по его мнению, не могло не осчастливить женщины, и к этому он, вступая в супружеское звание, обязался мысленно подпискою.

Таким образом, судьба не только не дала этой поэтической женщине мужчины, который был бы в состоянии понять ее, воспользоваться всеми сокровищами ее ума, души, сердца, наслаждаться красотами ее внутреннего мира или по крайней мере ловко зарыть их в землю и скрыть навсегда от собственного ее сознания, но еще бросил ее в круг, вовсе не сродный ей.

Знаете ли вы, что такое жизнь называемой *военной дамы?* Ольга вышла замуж, и несколько дней спустя карета их выехала в грязные улицы жидовского местечка. Оборванные, полунагие жиденки с визгом окружали редкое для них зрелище; по обеим сторонам улицы тянулись жалкие и запачканные лачуги крестьян и сынов Иуды; на всяком шагу взоры встречали отвратительную нечистоту. Карета

остановилась у дверей одной из лачуг, вновь выбеленной и обнесенной новым забором. Это была квартира полковника. Часовой мерными шагами ходил возле зеленого ящика, и мимо него полковник Гольцберг ввел свою молодую супругу в низенькую комнату, обитую коврами; на стенах висели сабли и пистолеты, во всех углах стояли трубки разных величин и достоинств и красовались табачные кошельки, бисерные и шелковые, вышитые еще для холостого полковника милыми соседками. Три подобные комнаты составляли их жилище. Утро муж ее проводил в сараях, в манеже и так далее; к обеду сходилось человек двенадцать офицеров и оглашали маленькую комнату шумными разговорами; иногда в веселый час подчиненные отпускали полковнице по комплименту, всякий по своему уменью, и после обеда все расходились спать; Гольцберг также ложился, и тишина воцарялась в смиренном жилище, прерываемая только его звучным храпением. Смеркается, офицеры от нечего делать вновь сходятся к своему начальнику, закуривают трубку и садятся вокруг самовара. Ольга едва успевает наполнять быстро опоражниваемые стаканы; они толкуют об ученье, о лошадях, собаках, пистолетах, шорах; разбирают военные приказы, жалуются на медленное производство; между тем дым из трубок сгущается, образуется плотное облако, наполняющее всю комнату, свечи слабо мерцают в дымной атмосфере, окруженные венцом красно-синеватого цвета, как мерцание фонаря в воздухе, сжатом двадцатью градусами мороза. Тут расставляют карточные столы, и в маленькой комнате раздаются только технические восклицания игры, непонятные для Ольги, не посвященной в таинства этих иероглифов, некогда изобретенных для безумного, а теперь занимающих большую половину всех умных людей. Иногда отважнейшие из офицеров вторгаются и в литературную область, тупые остроты и каламбуры летают перекрестным огнем, но, к счастию, недолго; скоро важный вопрос о способностях к фрунтовой службе такого-то фейерверк<ер>а или о копытах недавно приведенного коня сменяет вопрос о гениях нашей словесности, и залп табачного дыма изо всех ртов покрывает все пеленою удушливого мрака.

И сегодня, и завтра, и вечно все то же и то же; годы, создавая и разрушая царства, как будто забывают о жидовском местечке. Изредка приезд какого-нибудь генерала, какой-нибудь смотр нарушал этот порядок вещей в однообразном быту Ольги: тогда все военные суетились, эполеты

и лядунки сияли новой позолотой, в комнатах некому было курить; но начальник только налетит и исчезнет, и на другой же день все возвращается к прежнему положению. Однажды капитанша пришла поздравить Ольгу с известием или со слухом, что ее мужа скоро произведут в генералы.

— Ах, не говорите мне этого!—вскричала бедная Ольга в отчаяньи.— У меня прибавится еще двенадцать неугасающих трубок!

В такой-то быт попалась Ольга. Сперва она от всей души желала сдружиться с мужем, найти в нем собеседника и отголосок своих чувствований; но он смеялся, зевал, прерывал ее восторженные мечтания просьбою заказать к завтрашнему обеду побольше *ветчины* или, соскучившись слушать непонятные для него звуки, заигрывал на свой лад песенку, которая возмущала все существование бедной Ольги.

Чувства в этом случае — как травка *не тронь меня:* они от неприятного прикосновения сжимаются и увядают; и хотя, отдохнув, приходят в прежнее состояние, однако отпечаток неосторожной руки остается на них неизгладимо. Ольга поняла свое положение и не имела других разговоров с мужем, как о вещах самых обыкновенных. И это разногласие, это одиночество души усилили в ней склонность к уединению и мечтательности. Ее юное пылкое воображение, не находя никакой пищи вокруг себя, заключилось в пределы своего мира и извлекало огонь из собственных рудников. Когда муж ее со всем обществом офицеров отправлялся в набег на именинные пироги соседних помещиков, тогда только Ольга свободно дышала — предавалась своим книгам, своим стихам и фантазиям, и им она обязана была небольшим числом своих счастливых минут, немногими бледными лучами света в этом унылом и мрачном быту.

Сроднившись наконец с своим положением, она отчасти примирилась с ним. Порой счастливые сны ее детства и неизвестность об участи Веры еще смущали ее спокойствие; но перед ней в туманной дали горела одна звездочка, и к ней шла она ровными шагами, глядя вокруг себя, как глядит усталый путник на однообразные степи, когда вдалеке уже виднеется приветный ночлег. Эта звездочка горела над могилой.

Теперь, после многих лет разлуки Ольга и Вера столкнулись неожиданно в городке, куда переведена была артиллерийская батарея, которой командовал Гольцберг. Они сделались неразлучными, несмотря на гнев городских дам.

Ольга по-прежнему избегала их знакомства и их балов, сколько позволяли приличия и муж, затвердивший себе, как одиннадцатую заповедь, что женщины любят балы и наряды и, следственно, жена должна любить их.

В силу этого убеждения Гольцберг передал в один день жене своей приглашение на вечер, от которого, по словам его, невозможно было отказаться. Уже половина города собралась в гостиной, когда вошла полковница Гольцберг. Внезапное *тс* зашипело во всех устах, и под приветливою улыбкою хозяйки не успел еще скрыться смех злоречия.

Губернаторша усадила ее на кресло подле дивана — диван назначен только для помещения превосходительных,— и маленькая полицеймейстерша, которая находилась подле Ольги, бросив значительный взор на нее, вскочила с своего кресла и громогласно возвала к Нерецкому, не угодно ли ему занять ее место?

Танцы еще не начинались; разговор то вспыхивал, то замирал, как угли в камине в начале осени; девицы столпились в один угол и шептались между собою; чепцоносные дамы сидели чинно с позолоченными чашками в руках, а молоденькие женщины перепархивали с места на место или, закинув головки, разговаривали с офицерами, стоявшими за спинками их кресел.

Нерецкий томно улегся на месте, которое предложила ему услужливая полицеймейстерша, и завел с Ольгою разговор,— право, не помню, о чем, но могу уверить, что Нерецкий никогда не заводил пустых разговоров.

— Павел Никифорович! — сказала с противоположной стороны жена почтмейстера,— что за посылку получили вы сегодня из Петербурга?

— Мне прислали несколько французских романов; я не могу жить без литературных новостей,— последние стихотворения Гюго и новую поэму славного Анатолия Борисовича Т-го.

— Новую поэму Т-го!

— Нельзя ли нам *попользоваться* вашими книгами? — раздалось со всех сторон.

— Поэму Т-го! поэму, о которой столько кричали журналы еще прежде издания ее в свет! О, мосье Нерецкий...

И Ольга с пылающим лицом, крепко сжав свои руки, устремила на него умоляющие взоры. Нерецкий благосклонно поклонился публике в знак согласия и обратился к Ольге:

— Вы также принадлежите к числу поклонниц Анатолия Т-го? вы любите его стихотворения?

— Люблю ли я? Укажите мне женщину, которая бы не находила в его небесных стихотворениях отголоска собственных чувств? которая не бредит им, не обожает его!

— Вы слишком склонны к восторгу, — сказал Нерецкий, — конечно, он человек с большим талантом, но он слишком любит отвлеченные описания, слишком многословен.

Ольга бросила на него негодующий взгляд и, не удостоив возражения, отвернулась к старой генеральше, которая, опорожнив уже третью чашку чаю, посматривала с материнскою любовью на приготовленные карточные столы.

В половине бала танцы прервались; из ближней комнаты выскочил мальчик лет двенадцати, одетый в фантастическо-казацкое платье, с тамбурином в руках, и для увеселения публики пустился выплясывать казачка. Этот приятный сюрприз повторялся неотменно на каждом бале знаменитого амфитриона, который, обходя вокруг залы, восклицал: «Не правда ли, какой талант!» На что зрители, кланяясь, отвечали всегда: «Истинный талант, ваше превосходительство! Сущий гений!» Утомленная безвкусным зрелищем, Ольга между тем ушла в уборную комнату, скрылась за длинные ширмы и, бросившись в кресло, без мыслей впала в задумчивость.

Не прошло десяти минут, как несколько дам порхнули к большому зеркалу, и голоса залепетали в одно время:

— Ах, боже мой, какой несносный вечер!

— У меня лопнул башмак.

— Можно ли быть глупее этого Финифтика! Заморил меня своими рассказами.

— Видели вы, как Marie сегодня дурно одета!

— Когда же она бывает лучше!

— Перестанут ли нас когда-нибудь морить этим несносным казачком.

— Сегодня мадам Гольцберг была очень мила.

— В особенности когда румянец заиграл на щеках ее от разговоров с Нерецким.

— Нет, это, ей-богу, ни на что уже не похоже! — произнес один голос с жаром, — не довольно срамить себя дома; нет, еще и на балах делает такой скандал.

— Что такое? — спросили несколько голосов с любопытством.

— Разве вы не видите? Мадам Гольцберг, эта невинность, этот полевой цветок... противно смотреть!

— Да что же такое? скажите, пожалуйста!

— Ах, боже мой! весь город об этом говорит, все видят, кроме этого колпака, мужа. Хоть бы кто-нибудь открыл ему глаза!

Нетерпеливые вопросы повторялись; голос продолжал:

— Неужели вы не заметили явной связи ее с Нерецким? Он проводит у нее дни и ночи, в обществах занимается только ею, везде превозносит ее ум, таланты. Чего ж вам еще?

— Я несколько раз была у мадам Гольцберг, но не встречалась с Нерецким,— возразил один голос.

— Вот еще! разве в их доме одна дверь? Не так она глупа, чтоб не стараться таить свою связь; но не так же глупы и мы, чтоб этого не проникнуть. Я знаю хорошо их квартиру: мы жили в ней два года, когда муж мой только был назначен полицеймейстером.

Ольга слышала эти нелепые обвинения; они как раскаленный свинец падали на ее сердце, но гордость не позволила ей никакого оправдания: обвинение было слишком низко. Ей ли завесть преступную связь! Ей ли нарушить чистоту своей совести, замарать себя в своем собственном мнении, которое было для нее драгоценнее всех мнений на свете! Ей ли обманывать мужа и осквернить уста ложью. Нет, это обвинение как грязный снежный ком, ударившись об ее гранитную непорочность, отпрыгнул и замарал брызгами своими одних только обвинителей.

Она встала; сердце ее разрывалось, но глаза пылали огнем благородной самоуверенности, и на устах бродила улыбка презрения. Она вышла из-за ширм и медленно прошла мимо толпы дам, которые собрались вокруг ораторствующей полицеймейстерши. И когда встречаясь с подобными женщинами,— слава богу, эти встречи довольно редки,— невольно рождается в уме вопрос, из какого особенного вещества созданы они? Исчадие ли они демонов или насмешка природы над человечеством, гнев божий, ниспосылаемый на землю вместе с голодом и язвою? Красота, любезность, непорочность женщины кажутся им личным оскорблением. Злословие и клевета нужны им как воздух, и если бы отворили им двери Магометова рая с условием не разбирать ничьего поведения, не обливать желчью ни одного белого цветка, который попадает им на пути, они, взглянув со вздохом на светлый сад счастия, возвратились бы в грязные

улицы своих земных жилищ, чтоб только иметь удовольствие злословить и клеветать.

— Что я им сделала?— говорила на другой день бедная Ольга своей подруге с заплаканными глазами.— Где вырыли они основание этой нелепой сказки?

— И ты спрашиваешь еще? Разве не знаешь ты, что основанием всех рассказов, пружиной всех их мнений их собственные чувства, собственные характеры? Углубляясь в свою черную думу, они видят в ней, как поступили бы они в подобном случае, и поэтому заключают обо всех.

— О, мой поэт, мой Анатолий, как справедливо сказал ты...

— Да, вот это благоразумнее; прочти несколько строф твоего любимого поэта и утешься в нелепой клевете, от которой, право, ни один твой волос не поседеет.

— От господина Нерецкого,— сказал вошедший слуга, подавая Ольге пакет.

При этом имени брови ее вновь нахмурились: она неохотно взяла в руки пакет, но едва развернула, как лицо ее прояснилось. С выражением блаженной радости она вскричала, прижимая сверток к груди своей:

— Он! Он! Я вновь услышу его звуки, прочту его небесные чувства!

— Ольга!

— Вера!

— Неужели холод годов и опыта не остудил твоей ребяческой страсти к незнакомому тебе человеку? В пятнадцать лет это было только смешно, но теперь...

— К незнакомому человеку? Вера! Что это значит? И ты можешь говорить, что он незнаком мне? Мне незнаком Анатолий? Мой идеал? Мой поэт, которого песни пробудили мое детское воображение, одушевили его жизнью, образовали мою душу? Кто же услаждал мое одиночество, кто утешил меня в горе, кто удваивал мои радости, как не он, не Анатолий? И ты говоришь, что я люблю незнакомого мне человека! Нет, я сроднилась с каждою его мыслию; я знаю все изгибы его благородного сердца; я его обожаю; я пожертвую последнею радостью жизни моей, небогатой утехами, последнею каплею крови для его счастия, я отдам душу свою для продолжения его жизни... Да, да; я люблю его, но я люблю не земною любовию, я люблю не человека... Нет, нет, Вера, ты ошибаешься!

Вера пожала плечами и сказала с улыбкою:

— Погоди, ты пробудишься.

— Не желай мне этого, Вера, если ты хоть немного любишь меня! Послушай, что я скажу тебе, и потом суди, основательно ли твое желание: я совершенно отделена от людей, ни одна нить не связывает меня с миром, ни родственная приязнь, ни приобретенная дружба, ни надежда на будущее, ни желание, ни страх. Чего надеяться, чего страшиться мне? Какие перевороты могут улучшить или более помрачить мою участь? Мое прошедшее, настоящее, будущее, все сосредоточилось и погибло в ложной цели моего назначения. Я иду в густом тумане, не зная, ни куда, ни к чему иду! И неужели ты думаешь, что мне бы достало сил сносить подобное существование, если бы хоть слабый луч небесный не озарял его, если бы в целой природе ни одно эхо не отзывалось моим чувствованиям? В свете, как и в доме моем, я играю вытверженную роль; только наедине с собою я делаюсь тем, чем создала меня природа. Но могу ли я всегда довольствоваться собой? Есть в мире существо, которое мыслит моими мыслями, чувствует моим сердцем, смотрит моими глазами, звучною песнью дает мечтам моим жизнь? Нет во мне прекрасного чувства, нет благородной мысли, которых бы он не одел живыми формами своего слова и не украсил неземной гармонией своего стиха; всякое биение моего сердца находит отголосок в его вдохновенных песнях, всякое слово его громко отзывается в моем сердце. И ты желаешь лишить меня последнего, единственного утешения! Что станется со мною, если я охладею и к этому чувству? Куда обратится, чем наполнится мое пустынное существование? Отними у нищего последнюю копейку и скажи ему: теперь твоя ноша легка! Оторви безумного от единственной мечты, которая радует и счастливит его, и уверяй, что он теперь излечен от своего недуга... О! не желай... нет, нет!..

Изнемогая от душевного волнения, Ольга упала в кресла и закрыла пылающее лицо руками. Вера взяла руки ее и с материнской заботливостью смотрела ей в лицо.

— Ольга!— сказала она.— Я старее тебя и годами и горьким опытом! Послушай, что я скажу тебе: питай свои мечты, утешайся ими, теперь они безвредны. Но, как друг, как сестра, желаю тебе никогда не встречаться с твоим идеалом или по крайней мере не прежде как лет через двадцать: тогда, тогда, пожалуй, встреча будет не опасна!

Ольга не отвечала; глаза ее задумчиво потупились вниз, грудь волновалась.

Настала ранняя весна. Ивы зазеленели; нежный пух

и румяные почки покрыли все деревья; широкая река весело катила голубые волны, освобожденные от двухмесячного заключения.

За городом, на крутом берегу реки красуется роща. Туда спешат первого мая городские жители праздновать наступление весны; там устраиваются пикники, гулянья; но еще пора их не наступала, и только две женщины, закутанные в зимние салопы, в больших шляпах, гуляли по узким тропинкам рощи.

— Отчего,— сказала одна из них,— весна всегда навевает на меня грусть, вместо того чтобы радоваться, как радуются ей все живые существа? Осенние туманы, зимние вьюги не нагоняют на меня такого тяжелого чувства; оно давит грудь мою и доводит иногда до слез без всякой видимой причины.

— Может быть, эта пора напоминает тебе наше детство, наш веселый Крым, его зеленые сады? Воспоминание прошедшего всегда сопряжено с чувством грусти, потому что все дурное в прошедшем предается забвению и мы вспоминаем с сожалением одни только счастливые минуты. По этой причине оно и кажется нам лучше настоящего.

— Да! прекрасно было то время. Помнишь ли ты, Вера, помнишь ли эти южные вечера, под сводом чистого неба? Помнишь ли этот теплый ароматический воздух, где всякое дыхание есть уже наслаждение, где все тихо, так что можно вообразить себя единым живым существом этого эдема, где отдаленный прибой морских волн, как звук маятника, сливается с кротким ропотом фонтана?..

О!.. Вера! Какой мир, какая роскошь зал заменит это наслаждение? Мысли толпятся в душе, неясные призраки носятся перед глазами... То не бдение, но и не сон; бдение не может до такой степени освободиться от всех земных помыслов, очиститься, возвыситься; сон не может быть так действителен, не может проливать такого спокойствия, такой невыразимой тишины в чувства... Вера! помнишь ли ты это?

— Не смущай меня этими воспоминаниями. Право, ты нарушаешь мою систему холодности и равнодушия. Я стараюсь избегать всего, что может сколько-нибудь потревожить мою особу, а ты часто одним дуновением обращаешь в прах все мои благоразумные намерения.

— Знаешь ли,— прибавила Вера с улыбкою,— что иногда ты заставляешь меня сожалеть, зачем я встретилась с тобою? Теперь, если судьба снова разлучит нас, в душе моей

останется горькое чувство, и мне придется снова трудиться над исцелением своим от этого неприятного недуга.

— И может быть, скорее, нежели ты думаешь; мне говорил мой муж, что едва ли мы возвратимся сюда из лагерей.

— Но на время лагерей ты останешься здесь?

— Может быть, если до выступления не узнаем ничего верного.

— А в будущее не должно заглядывать. Довольно хлопот и с настоящим! К чему брать на плечи лишнюю ношу? Но возвратимся к твоей грусти: ты, кажется, готовилась читать послание к весне твоего поэта?

Тень грусти подернула лицо Ольги, просветленное весенним воздухом.

— Не говори с насмешкой о моем поэте и о моей грусти, или ты заставишь меня вести и с тобою визитный разговор и высказывать гостинные чувства.

Вера взглянула на нее с укором; Ольга продолжала:

— Весною я живее чувствую свое сиротство, Вера! этот воздух кипит любовью... а я одна!.. Вопросы о цели моего существования сильнее волнуют мою душу: кто разрешит мне их? Все и все вокруг меня безответны. Я сравниваю иногда долю свою с полевой былинкой, которая растет, прозябает, без действия, без ощущений, не принося никому пользы и не зная, для чего создана она. И я живу подобно ей; и увяну от зимних морозов, не оставивши по себе никаких следов. Это ли жизнь? Жизнь созданья, одушевленного дуновением божиим?

— Прекрасно! Жаль, что не в стихах; вышла бы порядочная элегия. Но кто же, по-твоему, счастлив? Не женщина ли, озабоченная дюжиной детей? Или ветреная кокетка, расставляющая для всех сети, чтобы самой когда-нибудь попасться в них? Или бездушная кукла, которая вальсирует по пути своей жизни, забегая во всякую модную лавку, примеряя с восторгом всякую новую шляпку; которая, если бы это было возможно, ложась в могилу, приказала бы сшить себе саван по последней моде? А!.. Которой из них хотела бы ты быть?

— Выбор труден! Но твой обзор слишком односторонен.

— Я исчислила тебе положение большей части женщин; исключения очень редки.

— Но какой злой гений так исказил предназначение женщин? Теперь она родится для того, чтобы нравиться, прельщать, увеселять досуги мужчин, рядиться, плясать,

владычествовать в обществе, а на деле быть бумажным царьком, которому паяц кланяется в присутствии зрителей и которого он бросает в темный угол наедине. Нам воздвигают в обществах троны; наше самолюбие украшает их, и мы не замечаем, что эти мишурные престолы — о трех ножках, что нам стоит немного потерять равновесие, чтобы упасть и быть растоптанной ногами ничего не разбирающей толпы. Право, иногда кажется, будто мир божий создан для одних мужчин; им открыта вселенная со всеми таинствами, для них и слова, и искусства, и познания; для них свобода и все радости жизни. Женщину от колыбели сковывают цепями приличий, опутывают ужасным «что скажет свет» — и если ее надежды на семейное счастие не сбудутся, что остается ей вне себя? Ее бедное, ограниченное воспитание не позволяет ей даже посвятить себя важным занятиям, и она поневоле должна броситься в омут света или до могилы влачить бесцветное существование!..

— Или избрать мечту и привязаться к ней всею силою души, влюбиться заочно, посылать по почте зефиров вздохи и изъяснения своему идеалу за две тысячи верст и питаться этою платоническою любовию. Не так ли?.. Я окончила твою мысль.

Ольга с неудовольствием отвернулась от нее.

Пролетел еще месяц; артиллерия выступила из города, сопровождаемая вздохами жен и проклятиями некоторых мужей.

И Ольга снова брошена в новый мир. Снова незнакомые лица, незнакомые места. Эта странствующая жизнь для дамы очень непривлекательна. Однако ж в характере человека есть способность сродняться с самым неприятным положением. Тесная лачужка, вид грязной улицы, полудикие *хохлы* с их стоическою беззаботностью и равнодушием ко всему, пока у них есть миска галушек и чарка водки, все это нисколько не заманчиво в настоящем; но, покидая эти предметы, невольный вздох вылетает из сердца; тайная цепь привычки привязывает нас к ним. Но в своей кочующей жизни бедная «военная дама» не смеет дружиться с кем или с чем бы то ни было: страшное слово «поход» вечно висит как черная туча над нею! Грянет урочный сигнал, и покидай все, отрывай сердце от всего, с чем оно свыклось, что было ему мило; укладывай чувства в дорожную суму и иди не ведая куда. Если может какое-либо положение постоянно питать мысль о вечности в незанятом сердце женщины, то это блуждающая жизнь офицерских жен, которые,

не разделяя обязанностей и занятий своих мужей, разделяют только непостоянство их быта.

Минутная гостья, всюду пришлец, жена военного никогда не уверена, что следующая неделя застанет ее в том самом месте, что с особой, с которой она сдружилась наперекор благоразумию, судьба сведет ее опять. Так она бродит из страны в страну, пока наткнувшись на край могилы, не отправится на вечную стоянку.

К каким людям попалась Ольга? Не станем следовать за ней. Бесконечно тревожная жизнь в природе часто очень однообразна на бумаге.

Месяцы быстро сменялись, ничего не изменяя в душевном положении Ольги. Окружающие ее особы считали ее холодною, равнодушною, часто скучною: она нисколько не старалась разуверить их; она с наслаждением хранила в самой глубине души пламенные чувства, стремление ко всему высокому и свое обожание к поэту; она таила свою внутреннюю жизнь, как таит скупец сокровища свои в дремучем лесу, и когда все засыпает вокруг него, когда для всех настает ночь, тогда только является его заря; он крадется к урочному месту и, один, на свободе, предается своим восторгам. Так Ольга, одна в своей избе, часто забывала свое положение и уносилась далеко в мыслях своих; ей грезились сны и надежды ее рано созревшего детства; сны и надежды, погребенные в могиле ее матери.

Но не всегда Ольга занималась одним духовным бытом своего поэта: она с неизъяснимым удовольствием слушала случайные рассказы об его образе жизни, его склонностях, его привычках; иногда казалось ей, что одна строка, написанная его рукою, была бы для нее драгоценнее Ватиканской библиотеки. Но он не знал об ее существовании; и тщетно Ольга стремит к нему душу и мысли свои; он высок, далек и не замечает ее в толпе своих поклонниц.

Но вот Ольга в Петербурге. В Петербурге, говорите вы?.. Да, она здесь, она в театре; театр полон, ложи блещут; партер пестреет тысячью голов. Давали в первый раз оригинальную русскую драму. С шумом отворилась дверь соседней ложи. Ольга робко оглянулась на перья и бриллианты прибывших дам. Подле нее сидел маленький толстенький полковник с огромными рыжими усами.

— Ба! Гольцберг! как бог занес? — раздалось из соседней ложи.

— А! это ты, Разрубаев, — вскричал Гольцберг. — Вот три дня только как приехал в Петербург.

— По службе?

— Нет, я в отпуску; пытаюсь искать теплого местечка; не знаю, как удастся.

Полковник, усевшись в углу ложи, завел бесконечный разговор с своим старым товарищем.

Занавес поднялся, все смолкло, началась пьеса. Ольга удерживала дыхание, чтобы не проронить ни одного слова. «Какая гармония, какие мысли!» — восклицала она в душе. Каждое выражение падало на ее пылающее сердце небесной росой. И в чьей голове зародились эти звучные думы? Из чьей души вылилась эта пламенная любовь к родной России, это восторженное чувство к благу отечества. Если бы даже серая афиша не сказала Ольге имени автора, то она отгадала бы его; она отгадала бы имя Анатолия по сочувствию, — по этой вдохновенной поэзии, — потому что один он в состоянии был так красноречиво выразить то, что чувствует в молчании всякое русское сердце. Вокруг нее раздавался шепот: «Видно, провинциалка! Опа вся предана своей пьесе!» Снизу наводились на нее неотвязные лорнеты и зрительные трубки всех размеров. Но до них ли ей было? В продолжение коротких антрактов она обводила вокруг себя мутный взор, но все представлялось ей хаосом; в ее пылающей голове также был хаос, но хаос, полный небесных ощущений. Она только на минуту пробуждалась от своего забвения и отдыхала душою, чтобы с новою силою погрузиться в волшебный мир восторга.

Пьеса кончилась; гром рукоплесканий потряс здание; неистово кричали любители драматического искусства, вызывая актеров и актрис, но большее число требовало автора. Вся душа Ольги перешла в глаза, когда раздались эти клики: она смотрела на ложу, в которой он должен был явиться, прижимая руки свои к груди и как бы стараясь утишить биение встревоженного сердца; не румянец розы покрыл ее бледные щеки, — нет, они загорелись багровым цветом пылающей крови, и в ту минуту можно было принять ее за жрицу Дельфийскую, ожидающую с упованием и тоской появленья духа. Напрасно, автор не являлся!

Гольцберг, накидывая боа на плечи жены своей, шептал: «Пойдем, Олинька; право, хочется спать». Она не слышала. В двух соседних ложах судили о достоинствах драмы.

В ложе направо: Хорошо, прекрасно, чудо!

В ложе налево: Надуто и пусто! Приторно!

В ложе направо: Он человек с гением!

В ложе налево: Он из числа тех писателей, у которых гения или таланта достает только на одну книгу, именно на первую. Блеснул однажды и померк навсегда!

Ольга не слышала.

Крики начали утихать, любимые актеры вышли на сцену, раскланялись и ушли, ложи пустели; полковник дергал за рукав жену, уверяя то по-русски, то по-немецки, что ему сильно хочется schlafen, и Ольга с горьким чувством обманутой надежды поворотилась к дверям, готовясь выйти.

Дверь ложи налево отворилась, и дамы залепетали в один голос:

— Ах, Анатолий Борисович! поздравляем! какой успех.

— Вы заставили меня плакать!

— Отчего вы не показались на призыв?

— Славно, mon cher,— говорил толстый генерал, пожимая руку вошедшего.— Славно, брат Анатолий!

— Анатолий! — воскликнул еще один голос.

Ольга, не помня приличий, не замечая взоров, которые обратило на нее восклицание, схватилась за спинку стула, чтобы не упасть, и две крупные слезы выкатились из глаз ее, устремленных с невыразимым чувством на поэта, на ее *идеал.*

Многим это покажется преувеличенным и ненатуральным в женщине двадцати трех лет. Но я прошу воспомнить, что Ольга никогда не знала искусства мерить свои чувства аршинами светских условий или назначать им пределы, что она не умела холодно удивляться прекрасному. Душа ее сохранила весь жар, всю первобытную силу свою; пружины этой души были еще слабы и не расслаблены частым употреблением; предметы внешнего мира дотоле скользили у ней по ледяной оболочке, в которой она заключила свои прекраснейшие чувства, и святой огонь этих чувств не охолодел еще от прикосновения всесильного: «не принято в обществе».

Гольцберг, который сделал было несколько шагов из ложи, возвратился, не видя за собой жены. «Олинька, тебе дурно? верно, от жару!» И шарообразный полковник засуетился и побежал в коридор за стаканом воды.

Все это продолжалось не более двух, трех минут. Ольга пришла в себя: сильное смущение последовало за невольным забытьем; она заметила и насмешливые взгляды своих

соседок, и глубокий испытующий взор Анатолия. Чье авторское самолюбие не тронулось бы скорее этим восклицанием, вылетевшим из глубины души, этим смятением, нежели всеми приветствиями модных дам, которые за минуту бранили пьесу!

Полковник возвратился, таща за собой слугу с большим карфином воды.

— Прошло! — сказала Ольга и исчезла из глаз изумленных соседок.

Гольцберг бросился вслед за женою, толпа остановила их; они должны были медленно подвигаться вперед. В эту минуту Ольга почувствовала на лице своем тот самый испытующий взор: он проникал в душу ее, приводил ее в смятенье и трепет; она хотела бы прорваться сквозь толпу, бежать; но равнодушная толпа как бы в насмешку едва двигалась и часто так сближала ее с идеалом, что она чувствовала, как локоны ее развевались от его дыхания. Они обогнули бесконечный коридор и спустились по лестнице: Ольга не оглядывается, не смеет поднять глаз, но чувствует, что он здесь, рядом с нею. Поэт с улыбкой смотрит на нее, наслаждаясь ее смятением как данью своему гению. Но вот холодный ветер подул на Ольгу сквозь отворенную дверь и освежил ее стесненную грудь. Она осмелилась поднять глаза, и они встретились с огненными черными глазами, которые с лаской, почти любовию смотрели на Ольгу.

— Карета полковника Гольцберга!

Ольга бросилась в дверь и почти в беспамятстве упала на подушки кареты.

Что сталось с ней после этой встречи? Трудно объяснить; а она менее всех понимала тревожное состояние своей души. Ее духовная любовь к поэту получила более сущности. Ольга с совершенно новым наслаждением перечитывала его творения, и ей казалось, что она читает их в первый раз. Теперь, выражая его же словами свою любовь, свою тоску, она уже не относилась более к неясному образу, мелькающему то под звездами, то в туманной дали; ее идеал облекся в формы земные; перед ней безотлучно как совесть горели черные глаза, носился милый образ поэта. Но она так сроднилась с безгрешностью своей духовной любви, что ни одно земное помышление не нарушало ее чистоты. Она с ужасом бы отступила от того, кто сказал бы, что она любит Анатолия и что мысленно уже изменяет клятве, данной супругу. Ольга обманывала себя, но не своего мужа.

Это случилось в сентябре, веселом и ясном в южных краях, где ветерок играет еще в зеленых листьях дерев и небо снова принимает светлый весенний цвет, но туманном и дождливом в Петербурге.

Однако ж как бы наперекор обычаям двух климатов в тот год на берегах Невы в сентябре мелькнуло теплое солнце, и целые три дня продолжалась тихая, ясная погода; все жители столицы спешили к знакомым своим на дачи проститься с садами и чистым воздухом. Ольга также поехала к родственнице своего мужа, которая давно приглашала ее к себе, желая познакомиться с нею.

Госпожа Недоумова, отставная генеральша, занимала на одном из островов небольшой красивый дом с мезонином, зеленою крышею и садом, который перерезывали вдоль две прямые дорожки, довольно длинные для прогулки столичных жилиц с затянутыми талиями, которые, прошедшись по ним четыреста шагов, могут вполне утомиться и имеют предлог отдыхать потом целый день на диване. Госпожа Недоумова жила одна, но иногда два сына ее, служившие в Петербурге, приезжали к ней обедать. Один из них был поэт, то есть писал стихи; другой перевел с французского три ужасные повести, от которых кровь леденеет и волоса сами собою подымаются выше кока, избитого à la jeune Franse, и потому считал себя литератором. Несмотря на эти маленькие слабости, молодые Недоумовы были добрые сыновья и очень любезные молодые люди.

Госпожа Недоумова очень обрадовалась приезду Ольги, расцеловала супругу своего милого племянника и упросила ее пробыть у нее несколько дней.

— Завтра приедут Жоржинька и Васинька; вы познакомитесь с моими детьми.

Госпожа Недоумова рассыпалась в похвалах Жоржиньке и Васиньке и их литературным подвигам.

В самом деле, на другой день, между тем как хозяйка одевалась в своей комнате, а Ольга сидела одна в саду под липой, несколько экипажей подъехали к крыльцу домика. Ольга не заблагорассудила торопиться знакомством с милыми братцами и тогда только оставила свое место, когда пригласили ее от имени хозяйки.

Подходя к гостиной, она услышала несколько веселых голосов и, бог знает отчего, почувствовала какой-то страх, взявшись за замок. Она простояла несколько минут в странном волнении, не смея ни отворить двери, ни

уйти. Наконец, смеясь своему смущению, она вошла в гостиную.

— А, Ольга Александровна, — вскричала госпожа Недоумова, — прошу познакомиться и полюбить моих сыновей.

И она поочередно представила ей Жоржиньку и Васиньку.

— А вот еще,— продолжала она,— моя племянница Евгения Антоновна Брацкая; с ней вы, верно, подружитесь...

Ольга обернулась. Перед ней стояла молодая хорошенькая женщина с приветливою фразою, а далее, у растворенного окна, стоял он... он! Анатолий! Поэт стоял, прислонясь к стене и с улыбкою, в которой мелькнула тень коварства, когда Ольга вздрогнула, заметив его, смотрел на нее глазами, как бы приветствуя свою старую знакомую.

— Ольга Александровна! Вот с этим господином вы, верно, знакомы заочно, — сказала неутомимая госпожа Недоумова, приписывая внезапное смятение Ольги провинциальной застенчивости. — Анатолий Борисович, подите сюда, я вас отрекомендую жене моего племянника, полковнице Гольцберг. Мой добрый Анатолий не забывает меня, старушку, которая носила его на руках. К тому же они люди одного ремесла, — прибавила она, указывая на поэта природного и на сына своего, поэта самодельного, — так как им не сойтиться!

День прошел очень весело. Евгения Антоновна была из числа тех женщин, которые равно пленяют любезностью и в большом обществе и в домашнем кругу. Анатолий был чрезвычайно весел, шутил, смеялся и заставлял всех смеяться. Жоржинька и Васинька вторили ему довольно хорошо. Даже Ольга оставила свою привычную холодность и развеселилась. Маленькая полицеймейстерша мигом заметила бы, что ледяная оболочка ее сердца начинала таять от лучей поэтической славы Анатолия, и в первый раз в жизни она сказала бы не клевету.

Ольга ощутила новое существование. Анатолий был беспрестанно с нею, и она не могла не видеть его то грустных, то пламенных взглядов; не могла не замечать, что голос его делался выразительнее и даже нежнее, когда он говорил с нею. В то время, как Евгения пела его элегию, исполненную страсти и молений о взаимности, поэт смотрел на свою тайную обожательницу с таким чувством, глаза его так красноречиво подтверждали всякое слово элегии, что бедная Ольга стояла едва дыша, прислонившись к стене, и

слезы, которые не смели брызнуть из глаз в гостиной, заливали и давили ее сердце.

Прошло три дня; никто не думал об отъезде; только Жоржинька и Васинька, опасаясь, чтобы начальник отделения, не постигая их литературной значительности, не взыскал с них за продолжительное отсутствие как с обыкновенных чиновников четырнадцатого класса, уехали обратно в Петербург. В этот вечер Евгения и Ольга долго гуляли в саду. Поэт, разумеется, был с ними; госпожа Недоумова, боясь заманчивой прелести осенних вечеров, ушла в свою комнату. Настала восхитительная пора сумерок, когда на одном краю неба еще светлеет розовой полосой вечерняя заря, а на другом уже зажигаются бесчисленные звезды, туман стелется на предметы и облекает их в неопределенные фантастические формы. Это пора всегда склоняет к мечтательности, к кротости, к любви; кажется, будто мысли наши, как и окружающие предметы, принимают неясные образы и превращаются в видения фантазии. Известно, хоть бы я этого и не сказала, что разговор между молодыми различных полов, на какой бы лад не был построен, непременно сойдет к рассуждениям — меланхолическим или философическим, смотря по характерам собеседников, о счастии и об истинной любви.

Этим именно кончился и разговор наших гуляющих, коснувшись сперва театров и словесности. Евгения Антоновна, которая вышла замуж по собственному выбору, утверждала, что нет другого счастия в мире, как обвенчаться с любимым человеком и жить, не смотря ни в прошедшее, ни в будущее. Поэт доказывал самым поэтическим образом, будто истинная любовь не требует законных связей и так далее, что всегда и на всех языках доказывают молодые поэты. Ольга молчала во время этих прений: и что могла она сказать? Что испытала она в любви? Свои тайные чувства она начинала таить от самой себя. Это первый предостерегательный голос совести. Зачем так редко мы следуем ему!

Анатолий, чтобы вовлечь ее в разговор, склонил речь к повести, напечатанной в одном журнале, которая нашла отголосок в сердцах многих женщин и была предметом общих разговоров. Евгения привязалась к несбыточным происшествиям этой повести, не умея понять их значения. Ольга с свойственным ей жаром защищала автора.

— Я знаю только то, — сказала Евгения, — что эта повесть нагнала на меня тоску и страшные сны; несчастный герой...

— Не называйте его несчастным! — прервала ее Ольга. — Он так любил, так сильно, глубоко чувствовал, что в сравнении с прозябанием бóльшей части людей он не был совершенно несчастлив!

— Если вы называете не совершенно несчастливым человека, который страдал, умел вполне чувствовать свое страдание и находил одну отраду в этом печальном сознании...

— Вы забываете, — возразил поэт, — что он был уверен во взаимности любимой им особы; а эта уверенность не лучшая ли отрада во всех страданиях, какие бы препятствия и расстояния ни разделяли влюбленных! Постигнуть любовь чистую, духовную, откинувши все низкие страсти чувственности, под прелестною оболочкою женщины любить только незримую душу, проникнуть в сокровеннейшие изгибы этой души, увидеть в ней себя, прочесть свою любовь... о, этого счастия никакие силы небесные не могут отнять у нас! Поставьте вселенную между любовниками этого рода, их души не разлучатся, и тут на их горизонте порой блеснет луч счастья.

Поэт смеялся втайне своей восторженной речи, но она произвела ожидаемое действие в душе Ольги. Характер Анатолия был в совершенном разногласии с теми чувствами, которые он выказывал в своих творениях: огненный и возвышенный в стихах, в сущности он был человек самый обыкновенный, жаден ко всем удовольствиям, буен в кругу товарищей и ловелас с женщинами.

— Поэты более говорят о любви, нежели чувствуют ее, — сказала Евгения, — и вы, верно, основываете эти предположения на одной теории. Испытали ль вы любовь этого рода? Взвесили ль ее бедные утехи с ее терзаниями?

— Нет; до этой поры я не любил, — произнес он выразительно, глядя на Ольгу, которая схватила и поняла этот взгляд сквозь сумрак вечерний. — Я избегаю любви, — продолжал он, — страшусь ее, может быть, от предчувствия. Кто знает, не назначено ли мне судьбою встретиться с душою холодною, не доступною ни к каким глубоким впечатлениям, или уже занятою другим предметом, или, что всего хуже, которая польстит минутной взаимностью и, переменив прихоть, как перчатки, явится вновь свободною и легкою, не подумает о том, что она измяла и истерзала все существование человека.

— И вы также отнимаете у женщины лучшую способ-

ность ее души! — возразила Ольга, уязвленная нападением.— Отнимаете способность любить сильно, постоянно, безусловно, с совершенным самоотвержением, не зная ни препятствий, ни боязни; способность сосредоточить все силы сердечные и умственные в одном чувстве, спаять свое существование с своей любовью?.. Нет, не отнимайте этого высокого дара у женщины. Это наша собственность, наша сила, наш гений!

— Вы любили?

— Я?.. да, я замужем...

— Какой ответ! Любовь и супружество не всегда живут в согласии. Любили ль вы?

Ольга вспыхнула, тайная досада пробудилась в ее сердце.

— Да, я любила и люблю... моего мужа,— отвечала она с гордостью.

— Так по системе Евгении Антоновны вы должны блаженствовать: вы любите вашего мужа, и я имел счастие удостовериться в его нежной привязанности к вам.

— Вы?

— Да, помните ли, в театре? Когда вам сделалось дурно... от жару; и когда полковник с такой заботливостью побежал за водой.

Ольга молчала, но в сердце ее негодование боролось с приятным чувством воспоминания. Анатолий тоже замолчал, довольствуясь тем, что удостоверился в своем торжестве.

— Мне холодно,— сказала Ольга.— Войдем в комнату; я завтра еду в Петербург.

Она в тот же вечер простилась с хозяйкой и на рассвете уехала, увозя с собой столько воспоминаний, сладких для сердца и беспокойных для совести. На половине дороги щегольской кабриолет промчался мимо коляски полковницы Гольцберг. Анатолий вежливо ей поклонился.

Он скоро нашел случай познакомиться с Гольцбергом, и недальновидный полковник сам представил его Ольге, утверждая, что стихи покажутся ей еще прекраснее, когда их автор сам станет их читать. В первый раз мнение полковника было совершенно согласно с мнением полковницы.

Быстро летело время для молодой мечтательницы; ее олицетворенный идеал был беспрестанно с нею, и даже во время его отсутствия она не разлучалась с ним. Всегда, вез-

де она встречала его или его имя — его славу. Поутру за чайным столиком Ольга развертывает принесенный журнал, глаза ее падают на стихи Анатолия или на похвалы его таланту; в полдень она едет прогуляться, и из окон магазинов беспрестанно выглядывают портреты ее поэта, недавно поступившие в продажу; в два часа она делает визиты своим знакомым, и столы всех гостиных украшены его сочинениями в разных форматах и обертках; вечером она едет в театр: там ждет ее еще бо́льшее наслаждение; там мысли поэта получают еще более силы от искусной игры актеров, от волшебных декораций, от гармонических звуков оркестра. Там, бог знает по какому магнетическому сочувствию, при всяком страстном выражении в пьесе глаза Ольги встречают глубокий, исполненный любви взгляд поэта.

Да! Ольга уже любила его со всей силою пламенной души; он не мог сомневаться в этом, но был слишком просвещен в науке женского сердца, чтобы не постигнуть в то же время идеальной непорочности ее помышлений, чтобы не видеть ясно, что Ольга предается этой любви с безотчетной верою в святость своего чувства и что малейший намек на связи земные унизит его в глазах этой чистой женщины, выведет ее из заблуждения, покажет ей предметы в их настоящем виде. Потому он искусно вкрадывался в ее сердце; постепенным и незаметным образом приучал ее мыслить его мыслями, забывать свои мнения для его мнений; словом, он обвивал ее осторожно, как змей спящего ягненка, чтоб не разбудить его преждевременно и в ту минуту, когда бедный встрепенется, задушить его в своих объятиях.

Что подстрекало его к такому многотрудному предприятию? Как мог он, любимый поэт женщин, посреди стольких обворожительных красавиц заняться смиренной Ольгою и посвящать ей часы, которых жаждали не в одном блестящем кругу? Что внушило ему это желание? прихоть, новость, сильно польщенное самолюбие. Незадолго до того он прервал связь с одной из петербургских красавиц и, поводя взором вокруг себя, не находил предмета, способного заменить его последнее обладание. К тому ж самые трудности этой новой победы завлекали его, избалованного легкими успехами. Он тогда не был занят никаким сочинением и, покоясь на лаврах, готов был перепорхнуть от садовой розы к степной фиалке.

Но чем занимался в то время полковник? О, он также

нашел в Петербурге свой идеал! Вывески с разрисованными колбасами, ветчиною, устрицами и страсбургскими пирогами так приветливо улыбались его солидному воображению, столичные обеды и вина разливали такое эмпирейское упоение на его шестое гастрономическое чувство, что он предоставил Ольге полную свободу выезжать в свет или, сидя в своей комнате, мечтать об чем ей угодно. Он рассчитывал, что его супруга едет с ним, а предметы его настоящего обожания, увы, остаются в Петербурге. Сверх того он встретился здесь с многими товарищами, приискивал для себя выгодное место и за разными другими делами рыскал днем и ночью по городу.

Ольга не более прельщалась балами столицы, как и пирами маленьких городов, в которые судьба ее бросала. Круг ее знакомств был очень ограничен, и беседы Анатолия составляли все веселия бедной мечтательницы. Часто она проводила длинные зимние вечера вдвоем, разговаривая или разбирая сочинения поэта: Ольга с наслаждением слушала его истолкования в местах, которые казались ей непонятными, ревниво расспрашивала о предметах его нежных посланий и элегий, об его давних занятиях, о образе жизни, и поэт, плененный ее чистосердечием, заводил ее в лабиринт новых понятий, которого все пути были так хорошо знакомы ему. Поэту нравилась невинность Ольги, не эта девическая невинность, которая происходит от совершенного незнания света и природы,— невинность женщины, невинность, которая имеет начало из беспорочности души и помышлений, чуждых всего, что может сделать малейший тайный укор долгу и вызвать краску совести на лице. Они не сомневались в взаимной привязанности друг друга и с удовольствием говорили об ней, но еще роковое слово не вылетело из уст Анатолия и слова «дружба», «сочувствие душ» искусно маскировали страсть, которая уже обнимала все существование Ольги и быстро приближала поэта к его цели.

В один вечер Ольга сидела одна в своей комнате; все было тихо вокруг нее; только угли в камине трещали, то вспыхивая, то замирая, и сильный ветер порою завывал в трубе; на дворе бушевала вьюга, снег стучал в окно, экипажи разъезжали по улице, говор проходящих, крик кучеров, скрип колес и полозьев доходили до ее слуха. Эта жизнь вне дома еще более усиливала в ней чувство одиночества. Ольга была печальна, более недели она не получала никаких известий об Анатолии, прежде редко проходил день без того, чтобы он не посетил ее или не утешил каким-нибудь знаком вос-

поминания; теперь тысячи догадок волновали ее ум, и она не смела остановиться ни на одной.

У дверей раздался звук колокольчика. Ольга вздрогнула и вскочила с своего места. Отчего? двадцать раз в день раздавался этот звон и не тревожил ее. Но чего не отгадает любящее сердце женщины? Анатолий вошел в комнату; с радостным криком бросилась к нему Ольга:

— Где были вы так долго? что с вами, Анатолий?

— Я был нездоров, — отвечал поэт, прижимая руку ее к устам. — Ольга?.. вы заметили мое отсутствие?

Один взгляд был ему ответом, но этот взгляд высказал поэту торжество его.

После всякой продолжительной грусти радость бывает сильнее: лицо Ольги сияло веселием; она не отнимала руки своей и не могла говорить; голос ее прерывался; она с неизъяснимым чувством смотрела на своего поэта.

После первого смятения разговор их стал жив и весел, но Анатолий возмутил его печальным заключением: он напомнил Ольге близкую минуту их разлуки, и при этом страшном слове сердце ее сильнее рвалось к поэту.

— Ольга, — сказал он наконец после минутного молчания, — я должен сказать тебе... Не смотри на меня с удивлением; это холодное «вы», тип колючих приличий света, неприятно вцепляется в наши речи; отбросим его. Я должен высказать, что гнетет мое сердце. Сколько раз я повторял тебе, что до этой поры я был чужд любви; что ни одна затянутая талия, ни один выученный взгляд здешних красавиц не приводили в трепет моего сердца! Я тосковал, Ольга, я жаждал любви, но она, легкокрылая чарунья, только манила меня и летела все далее... Я встретился с тобою, моя Ольга, я полюбил тебя, я люблю тебя... Не пугайся этих слов, милый друг мой, наши сердца давно поняли их, и что значит слово, название?.. Пустой звук! Любовь и дружба — не одно ли и то же чувство?.. О, не отнимай у меня руки! Скажи, что и ты любишь меня?..

— Довольно, ради бога, довольно!.. Не унижайте моего чувства к вам названием любви; ему нет названия на нашем языке... зачем, зачем вы сказали мне...

Но совесть ее громко твердила — он сказал правду!

— Не принимай святого названия любви в пошлом смысле, которым осквернили ее в свете; пойми меня, мой друг; любовь моя чиста и безгрешна...

Но взор поэта жадно впивался в взволнованную грудь Ольги.

— Я не могу, я не должна любить вас. Я замужем!..

— И ты также привязываешься к этому слову? Бедная! у нее выманили, сорвали с языка роковое «да», и это «да» должно задушить в ее сердце все чувства природы, должно приковать ее терновыми цепями к человеку бездушному.

— Он муж мой! Анатолий, он любит меня, и я... я... уважаю его!

— Ты обманываешь сама себя, Ольга; ты хочешь уверить себя в уважении к человеку, которого не уважаешь; уважение, так же как и любовь к нему, не вмещается в твоем сердце. А он?.. Ты говоришь, что он любит тебя! Гольцберг любит!.. Поди, скажи ему — твоя жена в опасности: он медленно доест свой пирог, запьет стаканом портера и тогда уже отправится спасать любимую жену.

Ольга, выйди из заблуждения! — продолжал он умоляющим голосом. — Ты любишь меня, душа твоя давно принадлежит мне, и в эту минуту она согласна со мною... забудь мир, как я забыл его для тебя! Будь другом, гением моим!

В душе Ольги происходила страшная борьба; ее чувства сильно говорили в пользу Анатолия; они принадлежали ему нераздельно, но совесть, но религия сражались с ее любовью. Она была бледна, уста ее дрожали, и глаза не смели попрежнему с ласкою и доверчивостью устремляться на поэта. Анатолий, потеряв терпение, встал.

— Простите мне, — сказал он с принужденною холодностью, но трепещущим и огорченным голосом, — простите мне; я был в заблуждении; я полагал, что после многих лет тяжкого и бесцветного существования я встретил, наконец, родную мне душу; я думал, что вы поняли мою любовь и любите меня с той же готовностью жертвовать всем на свете для этого священного чувства, с какой я сам всем пожертвовал для вас; иногда мне приходило на мысль, что сами небеса послали мне в виде вашем ангела-утешителя, и я поклонялся вам. Я любил вас и забыл все, все, что было не вы... Ольга! зачем, показавши мне блаженство, ты создаешь преграды к нему из пустых предрассудков, из жалких условий общества, которые люди изобрели только для толпы? Ты чистая, ангельская душа, ты могла бы отбросить от себя эти грязные цепи, ты могла бы... Но простите, простите моему безумию, моей любви!.. Прощайте, Ольга, будьте

счастливы; забудьте обо мне... в объятиях вашего супруга,— прибавил он с горькою усмешкою и сделал шаг к дверям.

Ольга стремительно бросилась к нему:

— Анатолий! Анатолий! ты доведешь меня до сумасшествия. Чего ты хочешь, чего требуешь от меня? моей любви? Но разве ты не знаешь, что я дышу одним тобою? Ты образовал душу мою, ты оживил ее святым огнем, и она давно отдалась второму творцу своему. Каких жертв требуешь ты от меня? Я могу быть твоей сестрой, твоим другом... твоей рабой, если ты этого желаешь, но... Анатолий! сжалься надо мной; не разрушай моего святого мира, в котором я едва начала жить душою.

Анатолий привлек ее к себе и страстно прижал к груди. Ольга не противилась и, не помня ничего, склонила голову на плечо поэта.

— Моя Ольга, — прошептал он и прильнул жаркими устами к плечу ее. Ольга почувствовала опасность *чистой* любви поэта и, вырвавшись из его объятий, в невыразимом волнении упала на диван.

Анатолий с минуту оставался неподвижным; глаза его сверкали; он кусал губы от негодования; наконец, медленно приблизясь к Ольге, он стал перед ней с ужасным видом отчаяния и решимости, вперив в несчастную взор пронзительный и холодный, и произнес голосом, от которого она задрожала всеми членами:

— Так вот твоя любовь, твоя доверчивая, преданная любовь? Один поцелуй пугает тебя! Но я не могу долее сносить эту полулюбовь, это полудоверие. Будь моей, Ольга, моею безусловно, или прощай. Недолго мне оплакивать мое заблуждение; взгляни на меня; я ношу в груди зародыш смерти, и может быть, скоро ты придешь возвратить мне мой жаркий поцелуй, но он не согреет уже этих оледеневших уст! Прощай, Ольга, будь счастлива, если можешь...

Он поспешно скрылся за дверью. Глухой стон вырвался из груди Ольги; она полетела вслед за ним, но на пороге столкнулась с толстою фигурою полковника. В первый раз эта встреча ужаснула ее; она отскочила от мужа, и слезы хлынули из глаз изнемогающей Ольги.

Полковник стоял, выпучивши на нее свои серые глаза, и наконец завопил жалким голосом: «Спазмы, ах, мой спаситель, ведь в самом деле спазмы!» И, торопливо освободившись от трехугольной шляпы и сабли, он побежал за гофманскими

каплями. Но Ольга между тем пришла в себя со страху, который навело на нее воспоминание вида уходящего поэта: действительно, в этом виде было что-то неподдельно адское.

Время летело; Ольга не видит Анатолия. Что перечувствовала и что перетерпела она в это время, скрывая свою борьбу и свое мучение под холодной наружностью, принимая и делая визиты, слушая шутки и улыбаясь, тогда как тоска медленною рукою сжимала ее сердце! Этого не понять тем, кто не находился в подобных обстоятельствах. И странно, что когда в минуты сильнейшей грусти мы принуждены, затаив сердечные чувствования, являться в общество, в толпу холодных, но всегда наблюдательных особ, то всегда легче выказать бешеное веселие, нежели спокойствие и равнодушие. Смеясь, возбуждая смех в других, мы охмеляем самих себя и кажемся непритворно веселыми. И, как нарочно, никто в ее присутствии не вспоминал об Анатолии: казалось, будто все забыли об его существовании. Сто раз роковой вопрос готовился слететь с языка, но неоконченный замирал на устах ее. Она молчала и глубоко, невыразимо страдала в молчании.

Однажды Ольга приглашена была на бал. Может быть, она там встретит Анатолия или хоть услышит об нем! Еще одна странная надежда решила ее принять это приглашение: в нескольких шагах от дома пиршества жил Анатолий; может быть, проезжая мимо его жилища, взор ее схватит милые черты сквозь стекла окон, или хоть огонек мелькнет из его комнаты! Пустая мечта, прихоть, но сердце, утомленное напрасным ожиданием, увлекается малейшей надеждой. И вот Ольга в бальном наряде; вот она является в веселую толпу. Уже поздно, общество занято танцами и картами. Она удаляется в боковую комнату, где несколько знакомых ей особ собрались в кружок. Едва Ольга показалась в дверях, как одна из дам встретила ее вопросом:

— Ольга Александровна, не знаете ли вы, каково теперь здоровье нашего поэта?

Ольга смутилась.

— Я очень давно не видела его, — отвечала она с принужденным равнодушием.

— Он опасно болен, — продолжала услужливая дама.

Ольга вздрогнула, как будто что уязвило ее.

— Пустое, моя милая, — возразила другая дама. — Мой кузен видел его третьего дня у графини Омброзо, и он был очень весел.

— Не может быть; он болен и не выезжает, — сказала первая дама.

— Кто такая эта графиня Омброзо? — спросила с живостью Ольга.

— Неужели вы не знаете, — отвечала вторая дама, — этой интриганки, которая кружит теперь головы нашим fleurs de poix, как называет их Бальзак.

— Италианка?

— Почти; она русская, но для Италии забыла даже родной язык; она приехала, кажется, для получения какого-то наследства.

— С мужем?

— Да, но она из числа тех женщин, которые пе показывают в свет мужей своих. Притом же, никто с точностью не знает, вдова она или замужняя, или жена нескольких мужей; она в третий раз является в Петербурге и всякий раз носит другую фамилию.

— Но это известно, — сказала одна старушка, — ее первый или второй муж барон Лилиенстром, который теперь еще живет в Лифляндии. Она бросила его и ушла с каким-то итальянцем, который в свою очередь оставил ее.

— Видели ль вы эту графиню?

— Несколько раз в театре, belle femme, и всегда окружена толпой мужчин.

— Прекрасная графиня, как полуденное солнце, ослепила все взоры и распалила самые холодные сердца северных жителей.

— Что ж тут удивительного? как не окружить цветок, который цветет и разливает благоуханье равно для всех.

В эту минуту вошел в комнату Жоржинька.

— Вот мосье Недоумов вернее скажет нам, что делает поэт.

— Не правда ли, — сказала первая дама, обращаясь к нему, — Т...ий очень болен?

— Не правда ли, он был на вечере третьего дня у графини Омброзо? — сказала вторая дама.

Молодой человек, бросив значительный взгляд на Ольгу, отвечал громко:

— Мой бедный друг! он не был на бале; он никуда не выезжает. Он быстро приближается к вечеру своей жизни. Сегодня я был у него, и, судя по словам доктора и по некоторым признакам, его болезнь неизлечима, потому что начало ее в душе, а не в расстроенном теле.

— Ах, бог мой! что же с ним, скажите?

— Кто может проникнуть в тайны других, особенно в тайны поэта? но я давно заметил, что его грызет скрытая грусть, что он старается преодолеть ее, но нет, злодейка, она одолела его.

— Не влюблен ли он? — продолжала первая дама.

Молодой человек пожал плечьми, взор его снова обратился к Ольге, и он ясно выразил укор.

— Влюблен ли он, не знаю, — отвечал Жоржинька, помолчав, — но я уверен в том, что если мой друг любит, то из него не иначе вырвешь тайну его страсти, как вместе с его душою. Если он любит безответно, он погибнет, непременно погибнет. Я знаю его!

Ольга сидела спокойно; ничто в ней не обнаруживало душевной тревоги; даже улыбка, которая за несколько минут мелькнула на ее устах, не исчезла; это было внезапное и совершенное окаменение. Руки бедной сделались холоднее бронзового веера, который она сжала с такою силою, что бронза согнулась в слабых руках.

Кадриль кончился в зале; несколько новых лиц вошло в маленькую гостиную; дамы, которые сидели на диванах, встали и смешались с пришедшими; в это мгновение Жоржинька прошел мимо Ольги, бросил на нее суровый взгляд и произнес будто про себя: «Мой бедный друг! Бедный Анатолий!»

Ольга затрепетала. Невыразимая горесть и страх прожгли ее сердце; в голове раздался шум и звон; всякое газовое платье казалось ей призраком; всякий звук стоном умирающего. И она не с ним! И она не может исцелить его нежными заботами, не может перелить души своей в грудь его и умереть счастливой, завещая ему свою жизнь и свое дыхание! Ольга бросается в кабинет хозяйки, отдаленный от гостиной, и боязливо обводит взор вокруг себя: перед ней на столе стихотворения Анатолия с его портретом. Жадно хватает она это милое изображенье, прижимает к груди, целует, но ее пылающие уста касаются только холодной бумаги, и ей слышатся последние слова поэта: «Ты придешь возвратить мне мой жаркий поцелуй, но он не согреет уже этих оледеневших уст!»

— Я должна видеть его! — восклицает она. — Я увижу, увижу тебя, мой Анатолий!

Безумная мысль мелькнула в расстроенном уме Ольги. Светская женщина не остановилась бы на этой мысли или, по крайней мере, сто раз обдумала и взвесила бы ее прежде

исполнения; но для женщины, которая получила от природы необыкновенную силу души и сердца и воспиталась посреди дикой страны, для женщины с понятиями, чуждыми всякого нечистого помышления, для женщины, которая идет по стезе идеальной добродетели, приличия света были ничто. В эту минуту ей и в ум не приходила мысль о непристойности задуманного поступка: какая ей нужда до того, что скажут чужие люди, когда родная душа, готовясь покинуть мир, может быть, призывает ее на последнее прощание. К тому ж она думала, что непродолжительное отсутствие ее с балу не будет замечено. Она знает расположение комнат, спешит через коридор на черное крыльцо и стремглав бросается вниз по лестнице.

Вот она одна в одной из самых многолюдных улиц Петербурга; мимо ее, толкаясь, проходят пешеходы; шумные разговоры оглушают ее; снег скрипит под ее ногами; морозная ночь жжет ее нежное личико; она как тень скользит вдоль стены. Через улицу во втором этаже высокого дома светится огонек; она перебегает на другую сторону улицы; атласные башмачки тонут в глубоком снегу; перед ней ворота. Ольга остановилась на минуту, перевела дыхание, еще раз оглянулась на дом, из которого увлекла ее безумная любовь, и вот она под темным сводом ворот. Вот дверь, вот лестница. Она торопливо взбегает. Вот одиннадцатый нумер. Рука ее протянулась к колокольчику и упала. Но в коридоре раздались голоса, Ольга в испуге дергает ручку колокольчика, дверь отворяется, она вбегает в переднюю. Сонный слуга нимало не удивился приходу женщины. Он ввел Ольгу в залу, попросил подождать возвращения господина в его кабинете и скрылся.

Удивленная Ольга осталась одна. Трепеща, входит она в дверь кабинета, куда слуга снес свою свечу прежде, чем отправился на покой; с недоумением глядит она вокруг себя; видит азиатскую роскошь, пол, устланный коврами, вдоль стен легкие восточные софы, цветы на окнах, у камина пирамиду длинных чубуков. Но все это, конечно, не было замечено Ольгою; она с ужасом думала встретить там бледное, изнеможенное лицо умирающего Анатолия, а встречает только заспанную фигуру слуги и пустые комнаты. Но где же он? Или все, что она слышала, что потрясло ее существование, все это была только простая игра воображения? Она хватает себя за голову, спрашивает, не помешалась ли она, не сон ли смущает ее страшными грезами. Ноги ее подгибаются; она падает в кресла. Через несколько минут, следуя движению,

в котором сама не могла отдать себе отчета, Ольга схватила перо, лист бумаги! Это лист исписан, она бросает его в сторону, ищет другого, но в это мгновение глазам ее мелькнули слова: «Мадам Гольцберг». Что это? Письмо об ней?.. Прочтег ли она чужое письмо, она, привыкшая считать подобный поступок за нравственное воровство? Но что делает в чужом письме ее имя? Не к ней ли писал Анатолий? может быть... и роковой лист снова в руках Ольги. Это неоконченное письмо, но не к ней, имя ее вторично бросается ей в глаза, и демон искушения одолел! Она читает, она прочла, но не может отвести взора от этих строк. Вновь перечитывает она медленно, произнося всякое слово отдельно, как будто ум ее не может постигнуть и сообразить написанного, и вдруг лист выпадает из рук ее. Ольга вскакивает как исступленная; сердце в ней бьется; она шатается и почти без чувств упадает в кресло. Не продолжительпо было счастливое забытье: с первым пробуждением жизни Ольга снова протягивает руку к роковому письму, снова пробегает его и при первых строках с ужасом бросает лист от себя. Мучение бедняжки излилось в горьких рыданиях. Ольга рыдала как дитя, как рыдала некогда в далеком краю, когда, осиротелая, рвалась она над изрытой могилой, в которую опускали единственное звено, связывавшее ее с миром и с людьми. Теперь она вторично стояла над могилой и хоронила в ней душу свою.

Не угодно ли прочесть письмо, вот оно:

«Что тебе вздумалось, mon cher, в эту пору уехать в полк за сорок верст от пиров и разгульной жизни? Я непременно надеялся видеть тебя вчера у нашей Юлии, она как ангел пропела последнее трио в новой опере, и после представления мы превесело отужинали и осушили заздравный кубок в честь ее музыкальных способностей. A propos, знаешь ли, в каком я смешном положении? я не смею казаться в свете и в театре бываю только в закрытой ложе обворожительной графини Омброзо. Мои услужливые друзья, по просьбе моей, распустили слух о моей *смертельной болезни*, и для чего? Смейся, смейся, граф; все для моей духовной, туманной Гольцберг; признаться, она мне уже надоела, но не хочется бросить начатое неоконченным из сострадания, я должен обратить ее к земным помышлениям. Но бог с ней; поговорим о моей неаполитанской чародейке: она делает из жизни моей рай, я не думал, чтобы я был еще в состоянии влюбиться до такой степени...»

В воротах раздался стук экипажа. Но он ли? Анатолий!

Эта мысль привела Ольгу в себя. Она бросается из кабинета, унося с собою ужасное письмо. Слуга отворяет ей дверь, навстречу ей вбегает по лестнице Анатолий, насвистывая веселую арию, на минуту вся кровь прихлынула к сердцу Ольги... беззаботный поэт промчался мимо, не замечая ее в слабо освещенном коридоре.

— Здесь была, сударь, женщина,— пробормотал заспанный слуга вошедшему в дверь Анатолию.

— Женщина? какая женщина?

— Незнакомая, сударь!

— Где же она?

— Да вот сей час убежала, как сумасшедшая, вы, верно, столкнулись с ней на лестнице.

— Нет, а жаль, верно, новое приключение; раздевай меня.

Анатолий, утомленный шумным пиршеством, вошел в свой кабинет, на полу валялись измятый букет цветов и знакомый ему веер. С недоуменьем он поднял то и другое, мысль о письме к приятелю мелькнула в его голове, он перебрасывает на столе все бумаги, письма нет, и Анатолий разгадывает происшествие.

— Так вот чем кончился роман. Ха, ха, ха, итак, addio, mia tortorella! моя платоническая любовь! теперь я твой, bel idol mio, твой нераздельно.

И поэт заснул спокойно, и даже во сне ему не пригрезились терзания Ольги; нет, ему виделась роскошная грудь италианской графини и слышались не рыдания обманутой, а страстный лепет торжествующей любовницы.

Прошли месяцы; Ольга медленно оправлялась от злой горячки; вместе с жизнью обновлялась и память прошедшего. Страшные воспоминания! Как неохотно верило им сердце! Но письмо здесь, перед ней, она знает его наизусть, — и в бреду горячки сколько раз твердила она с безумным хохотом: *она мне надоела*!..

Я видела молодую птичку в весне ее жизни: она в первый раз выпорхнула из темного гнезда; ей представились небо, красное солнце и мир божий: как радостно забилось ее сердце, как затрепетали крылья! Заранее она обнимает ими пространство; заранее готовится жить и с первым стремлением попадается в руки ловчего, который не оковывает ее цепями, не запирает в клетке; нет, он выкалывает ей глаза, подрезывает крылья, и бедная живет в том же мире, где были ей обещаны свобода и столько радостей; ее греет то же

солнце, она дышит тем же воздухом, но рвется, тоскует и, прикованная к холодной земле, может только твердить: *не для меня, не для меня*! Если бы заперли ее в железную клетку, она бы исклевала ее и пробилась на волю или, метаясь, израненная острием железа, без сожаления рассталась бы с последней половиной жизни, когда лучшая половина у нее отнята. Но она не в клетке; не крепкие стены окружают ее, она свободна, и между тем вечная мгла, вечное бездействие — вот удел моей птички! Вот удел Ольги!

Гольцберг добился, наконец, выгодного места. С наступлением весны он оставил Петербург и поселился на короткое время в Царском Селе, в ожидании совершенного выздоровления жены. Доктора грозили ей медленной чахоткой и предписали исландский мох, деревенский воздух и частые прогулки. Ольга печально качала головой, слушая эти наставления; в угодность мужу она исполняла их, но это прозябание томило ее, и она облобызала бы руку, которая б поднесла ей вместо исландского мху стакан яду.

Наконец какое-то бесчувствие овладело ею. Медленно протекали дни и ночи: она их не считала! Иногда, выходя на минуту из этого нравственного оцепенения, она озиралась, — и в целой вселенной не было ни одной былинки, к которой взор ее мог бы обратиться! Все было пусто вокруг нее; пусто, как и в ее душе.

По часам, как заведенный автомат, она вставала, ложилась, ходила гулять. В открытой коляске ее отвозили в сад, и там она ходила по пустынным тропинкам, под тенью едва зазеленевших дерев. В один из ясных весенних дней Ольга долее обыкновенного бродила в саду и утомленная села на камне подле искусственных развалин. Благорастворенный воздух оживил ее немного; она пробуждалась от своего усыпления, но не на радость: смутные воспоминания, горькие чувства столпились в ее осиротелой душе. Прекрасно голубое небо, раскинутое над нею, прекрасны розовые облака на западе, задернутые, как сеткою, ветвями полунагих дерев, прекрасен мир божий, но — *не для меня, не для меня*!

— Не угодно ли вам, сударыня, войти в часовню? — спросил ее незнакомый голос.

Ольга подняла глаза. Перед ней стоял старый инвалид, который, опираясь на костыль, держал в руке связку ключей. Он повторил вопрос. Ольга встала и пошла за ним.

Сквозь густые кустарники они взбрались по лестнице

на площадку. Инвалид отворил дверь башенки и отошел в сторону. Невольно Ольга обратила взор на прекрасную картину, которая расстилалась перед ней. Великолепные дворцы, красивые купола церквей и золотые кресты рисовались на голубом небе; озера и каналы, как зеркала, отражали в себе волшебное зрелище, и вдали раздались стройные аккорды духовых инструментов.

Ольга входит в часовню. Там все тихо и спокойно; высокие стены не покрыты никакими украшениями, только на мраморном пьедестале стоит изображение Спасителя. Чувство благоговения овладело душою Ольги. Она прислоняется к стене и, устремив глаза на кроткое лицо Спасителя, впадает в глубокую задумчивость. В первый раз после многих дней душа ее не отравлена горькими помышлениями, не Анатолий, не его низкий обман грезятся ей: нет, мысли ее стремятся далее! Постепенно тишина места сообщается ее расстроенным чувствам; перед ней, как тени в волшебном фонаре, проходят картины давно минувших лет: вот хижина, где так спокойно протекло ее младенчество, где развились ее понятия, где с такою доверчивостью глядела она в будущее и жизнь представлялась ей беспрерывной цепью радостей и утех. Вот мать ее: она нежно смотрит на свое дитя и, кажется, благословляет младенца-дочь на дальний путь жизни; вот на высоком утесе древний христианский храм, и над ним, высоко в небесах горит вечная звезда, к которой столько раз возносились взоры и мысли Ольги. И все прошло, прошло невозвратно! Где невинность, где беззаботность, где вера в счастие? Она не знала тогда, что наши мечты и светлые надежды — цветы в песчаной пустыне; что судьба — ураган, который налетит, все разметет, и могильный холм возвысится там, где красовались цветы надежды. Теперь она узнала эту горькую истину, и безотрадная тоска змеем впилась в ее сердце. Куда обратиться? в чем искать отрады и спасенья? кто протянет ей руку помощи? С невыразимым отчаянием Ольга прижимает руки к груди; крупные слезы льются по бледным щекам: в это мгновение незримые инструменты заиграли вечернюю молитву; последние лучи солнца пробились из-за туч. Свет полился сквозь готическое окно часовни и озарил полным сиянием небесное лицо Деннекерова Спасителя. Тоскливый взор Ольги останавливается на нем; ей чудится, что мрамор оживает, что божественное сиянье окружает святой лик, что перст богочеловека указывает ей небеса, что очи его глядят с любовью на страдалицу и что уста его произносят:

«Придите ко мне страждущие и обремененные, и я успокою вас».

С трепетным ожиданием смотрела Ольга на святое изображение, и луч надежды проникал в ее душу, и как будто после продолжительной слепоты глаза ее постепенно прозревали. Она вдруг повергается ниц к ногам небесного утешителя. С теплой верою молится она, изливая душу свою перед ним; слезы раскаянья орошают мрамор, и тяжкое чувство свалилось с обремененной груди. Она дышит свободно, с младенческой радостью смотрит на святой лик: она нашла цель жизни, — нашла друга, отраду, утешение! С этой минуты существование ее наполнено.

Я читала письмо ее к Вере.

«Мой друг, мое последнее письмо устрашило тебя; но забудь о нем, Вера, забудь об нем! я спокойна, я счастлива, я разгадала наконец тайну жизни? О, зачем, зачем от детства не указали мне то, к чему дошла я терновой стезей! Сколько утраченных годов и сил душевных, сколько сомнений, боязни, заблуждений!.. Но прошедшее невозвратимо; забыть об нем вот одно мое старание. Ах, Вера, это труднее, нежели я полагала! Но я восторжествую над своей слабостью; я вырву из сердца воспоминание о *нем,* хотя бы оно разорвалось от этого усилия!

Теперь, оглядываясь на прошедшую жизнь мою, я разделяю ее на три поры. Прекрасна была первая, когда с желанием добра, с готовностию любить я вошла в свет! Но это была только заря, и она рано скрылась за темными облаками. Вторая пора наступила с моим замужеством. Меня осудили жить, проводить все дни, все часы моего существования с человеком, которого я не могла любить; сносить грубые ласки того, чье одно прикосновение приводило меня в содрогание... Сколько раз, встречая на каждом шагу понятия, совершенно противоположные моим, сколько раз я искренно желала изменить свой характер, привязаться к обществу, к этим звонкам, к этим игрушкам, которые занимают существование стольких умных и милых женщин! Многие из них считали бы себя счастливыми в моем положении, но это было выше сил моих. Вникая в таинства природы, видя, что *все* имеет свое предназначенье, цель, к которой стремится беспрестанно, я взывала тоскуя: «Где же моя цель, о господи! неужели одна я брошена в мир одинокой, когда все, все имеет себе подобных?» Я не знала тогда, что страдание также имеет свою цель — искупление! Да, друг мой: бог любит равно детей своих; посылая нас в страну

временного изгнания, он определяет всякому из нас равную меру радостей и страданий.

Только не все души создаются с равными способностями чувствовать, не все равно принимают свое определение! То, отчего испепеляются одни, едва согревает другие. — Есть люди, которые, любя жизнь, медленно, с осторожностью пьют то из одной, то из другой чаши попеременно, подслащивая горе — беззаботностью, радость — забвением ее мимолетности. Не углубляясь ни в одно чувство, они скользят по поверхности жизни; не этих ли свет называет счастливыми? Есть другие: получив от природы душу пламенную, неисчерпаемую силу чувств, не зная ни в чем умеренности, они поглощают в короткое время все утехи и горести, определенные им на земле. Тогда я не понимала этого: дитя, едва отбросив помочи, я измеряла уже мыслями и чувствами вселенную! мне было тесно, душно в нашем скромном уголке; иногда мне казалось, что воздуха, облегающего шар земной, недостаточно для напоенья моей стесненной груди. Все обыкновенные заботы, второстепенные ощущения казались мне бесцветными — и я устремилась всеми силами души к одной мечте; она сделалась моей господствующей думой, второй жизнью моей; я до того слилась с ней существованием, что даже после роковой встречи мне и в мысль не приходило, что я люблю молодого человека, забываю долг супруги, делаюсь жертвою моего заблуждения. *Он* безжалостно сорвал повязку с глаз моих, разбил собственною рукою мою бедную долю счастия! Благодарю тебя, Анатолий, благодарю! Но кто отдаст мне мою непорочность, мое спокойствие? страшно носить в душе укор, всечасно слышать голос совести и не сметь сказать самой себе — *я чиста, я безгрешна!*

Но вот пришла третья и последняя пора; я без страха смотрю вдаль; там сияет мне небесная заря прощения. С верою и упованьем иду моим путем; отныне ничто не нарушит моего спокойствия. Я рассеяла свои мечты; страсти, желания испарились; сердце мое спокойно, в нем сохранилось только одно чувство — *божественная надежда!* оно не расстанется с ней и, когда, покорствуя закону природы, смешается с прахом искра, пережившая в нем все чувства земные, быть может, вырастет цветком над могилой его... но нет, Вера, нет, одно еще чувство живет и будет жить в нем до могилы — дружба к тебе!

Мой муж будет счастлив столько, сколько я могу осчастливить его. И я, Вера, я также буду счастлива, потому

что я постигла, наконец, что если женщина по злой прихоти рока или по воле, непостижимой для нас, получает характер, не сходный с нравами, господствующими в нашем свете, пламенное воображение и сердце, жадное любви, то напрасно станет она искать вокруг себя взаимности или цели существования, достойной себя. Ничто не наполнит пустоты ее бытия, и она истомится бесплодным старанием привязаться к чему-нибудь в мире. Неземные привязанности могут удовлетворить ее жажду. Ее любовью должен быть спаситель, ее целью — небеса! *Ольга Г.*»



М. Н. Загоскин

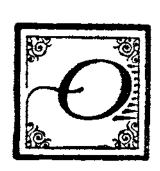
1789–1852

16 Заказ 1269



НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ





тец мой был человек старого века,— начал так Антон Федорович Кольчугин,— хотя, благодаря, во-первых, бога, а во-вторых, родителей, достаток у него был дворянский, и он мог бы жить не хуже своих соседей, то есть — выстроить хоромы саженях на пятнадцати, завести псовую охоту, роговую музыку, оранжереи и всякие другие барские затеи; но он во всю жизнь ни разу и не подумал об этом; жил себе в маленьком домике, держал не больше десяти слуг, охотился иногда с ястребами и под веселой час так-то, бывало, тешится, слушая Ваньку-гуслиста, который, — не тем будь помянут, — попивал, а лихо, разбойник, играл на гуслях; бывало, как хватит «Заря утрення взошла» или «На бережку у ставка́» — так заслушаешься! Но если батюшка мой не щеголял ни домом, ни услугою, то зато крепко держался пословицы: «Не красна изба углами, а красна пирогами». И в старину, чай, такие хлебосолы бывали в диковинку! Дом покойного батюшки выстроен был на самой большой дороге; вот если кто-нибудь днем или вечером остановится кормить на селе, то и бегут

ему сказать; и коли проезжие хоть мало-мальски не совсем простые люди, дворяне, купцы или даже мещане, так милости просим на барский двор; закобенились — так околицу на запор, и хоть себе голосом вой, а ни на одном дворе ни клока сена, ни зерна овса не продадут. Что и говорить: любил пображничать покойник! Бывало, как залучит к себе гостей, так пойдет такая попойка, что лишь только держись: море разливанное; чего хочешь, того просишь. Всяких чужеземных напитков сортов до десяти в подвале не переводилось, а уж об наливках и говорить нечего!

Однажды зимою, ровно через шесть месяцев после кончины моей матушки сидел он один-одинехонек в своем любимом покое с лежанкою. Меня с ним не было: я уж третий год был на службе царской и дрался в то время со шведами. Дело шло к ночи; на дворе была метелица, холод страшный, и часу в десятом так заколодило, что от мороза все стены в доме трещали. В такую погоду гостей не дождешься. Что делать? Покойный батюшка, чтоб провести время до ужина,— а он никогда не изволил ужинать прежде одиннадцатого часу, принялся за Четьи-Минею. Развернул наудачу и попал на житие преподобного Исакия, затворника печерского. Когда он дочел до того места, где сказано, что бесы, явившись к святому угоднику под видом ангелов, обманули его и, восклицая: «Наш еси, Исакий!», заставили его насильно плясать вместе с собою, то покойный батюшка почувствовал в душе своей сомнение, соблазнился и, закрыв книгу, начал умствовать и рассуждать с самим собою. Но чем более он думал, тем более казалось ему невероподобным таковое попущение божие. Вот в самое-то его раздумье нашла на него дремота, глаза стали слипаться, голова отяжелела, и он мне сказывал, что не помнит сам, как прилег на канапе и заснул крепким сном. Вдруг в ушах у него что-то зазвенело, он очнулся, слышит — бьют часы в его спальне ровно десять часов. Лишь только он было приподнялся, чтоб велеть подавать себе ужинать, как вошел в комнату любимый его слуга Андрей и поставил на стол две зажженные свечи.

— Что ты, братец? — спросил батюшка.

— Пришел, сударь, доложить вам, — отвечал слуга, — что на селе остановились приказный из города да козаки, которые едут с Дону.

— Ну так что ж? — перервал батюшка.— Беги скорей на село, проси их ко мне, да не слушай никаких отговорок.

— Я уж их звал, сударь, и они сейчас будут, — пробормотал сквозь зубы Андрей.

— Так скажи, чтоб прибавили что-нибудь к ужину, — продолжал батюшка, — и вели принесть из подвала штоф запеканки, две бутылки вишневки, две рябиновки и полдюжины виноградного. Ступай!

Слуга отправился. Минут через пять вошли в комнату три козака и один пожилой человек в долгополом сюртуке.

— Милости просим, дорогие гости! — сказал батюшка, идя к ним навстречу.

Зная, что набожные козаки всегда помолятся прежде святым иконам, а потом уж кланяются хозяину, он примолвил, указывая на образ спасителя, который трудно было рассмотреть в темном углу: «Вот здесь!» — но, к удивлению его, козаки не только не перекрестились, но даже и не поглядели на образ. Приказный сделал то же самое. «Не фигура, — подумал батюшка, — что это крапивное семя не знает бога; но ведь козаки — народ благочестивый!.. Видно, они с дороги-то вовсе ошалели!» Меж тем нежданные гости раскланялись с хозяином; козаки очень вежливо поблагодарили его за гостеприимство, а приказный, сгибаясь перед ним в кольцо, отпустил такую рацею, что покойный батюшка, хотя был человек речистый и за словом в карман не ходил, а вовсе стал в тупик и вместо ответа на его кудрявое приветствие закричал: «Гей, малый! запеканки!»

Вошел опять Андрей, поставил на стол тарелку закуски, штоф водки и дедовские серебряные чары по доброму стакану.

— Ну-ка, любезные! — сказал батюшка, наливая их вровень с краями. — Поотогрейте свои душеньки; чай, вы порядком надроглись. Прошу покорно!

Гости чин-чином поклонились хозяину, выпили по чарке и, не дожидаясь вторичного приглашения, хватили по другой, хлебнули по третьей; глядь-поглядь, ан в штофе хоть прогуливайся — ни капельки! «Ай-да питу́хи! — подумал батюшка. — Ну!!! нечего сказать, молодцы! Да и рожи-то у них какие!»

В самом деле нельзя было назвать этих нечаянных гостей красавцами. У одного козака голова была больше туловища; у другого толстое брюхо почти волочилось по земле; у третьего глаза были зеленые, а нос крючком, как у филина, и у всех волосы рыжие, а щеки как раскаленные кирпичи, когда их обжигают на заводе. Но всех куриознее показался ему приказный в долгополом сюртуке: такой исковерканной и срамной рожи он сродясь не видывал! Его лысая и круглая

как биллиардный шар голова втиснута была промежду двух узких плеч, из которых одно было выше другого; широкий подбородок как набитый пухом ошейник обхватывал нижнюю часть его лица; давно не бритая борода торчала щетиною вокруг синеватых губ, которые чуть-чуть не сходились на затылке; толстый, вздернутый кверху нос был так красен, что в потемках можно было принять его за головню; а маленькие, прищуренные глаза вертелись и сверкали, как глаза дикой кошки, когда она подкрадывается ночью к какому-нибудь зверьку или к сонной пташечке. Он беспрестанно ухмылялся, «но эта улыбка, — говаривал не раз покойный мой батюшка, — ни дать, ни взять, походила на то, как собака оскаливает зубы, когда увидит чужого или захочет у другой собаки отнять кость».

Вот как гости, опорожнив штоф запеканки, остались без дела, то батюшка, желая занять их чем-нибудь до ужина, начал с ними разговаривать.

— Ну что, приятели,— спросил он козаков,— что у вас на Дону поделывается?

— Да ничего! — отвечал козак с толстым брюхом.— Все по-прежнему: пьем, гуляем, веселимся, песенки попеваем.

— Попевайте, любезные, — продолжал батюшка, — попевайте, только бога не забывайте!

Козаки захохотали, а приказный оскалил зубы, как голодный волк, и сказал:

— Что об этом говорить, сударь! Ведь это круговая порука: мы его не помним, так пускай и он нас забудет; было бы винцо да денежки, а все остальное трынь-трава!

Батюшка нахмурился; он любил пожить, попить, пображничать; но был человек благочестивый и бога помнил. Помолчав несколько времени, батюшка спросил подъячего, из какого он суда?

— Из уголовной палаты, сударь, — отвечал с низким поклоном приказный.

— Ну что поделывает ваш председатель? — продолжал батюшка. А надобно вам сказать, господа, что этот председатель уголовной палаты был сущий разбойник.

— Что поделывает? — повторил приказный. — Да то же, что и прежде, сударь: служит верой и правдою...

— Да, да! верой и правдою! — подхватили в один голос все козаки.

— А разве вы его знаете? — спросил батюшка.

— Как же! — отвечал козак с совиным носом. — Мы все

его приятели и ждем не дождемся радости, когда его высокородие к нам в гости пожалует.

— Да разве он хотел у вас побывать?

— И не хочет, да будет,— перервал козак с большой головою. — Не так ли, товарищи?

Все гости опять засмеялись, а подъячий, прищурив свои кошечьи глаза, прибавил с лукавой усмешкою:

— Конечно, приехать-то приедет, а нечего сказать, тяжел на подъем! Месяц тому назад совсем было уж в повозку садился, да раздумал.

— Как так? — вскричал батюшка. — Да месяц тому назад он при смерти был болен.

— Вот то-то и есть, сударь! По этому-то самому резонту он было совсем и собрался в дорогу.

— А, понимаю! — прервал батюшка.— Верно, доктора́ советовали ему ехать туда, где потеплее?

— Разумеется!— подхватили с громким хохотом козаки. — Ведь у нас за теплом дело не станет: грейся, сколь хочешь.

Этот беспрестанный и беспутный хохот гостей, их отвратительные хари, а пуще всего двусмысленные речи, в которых было что-то нечистое и лукавое, весьма не понравились батюшке; но делать было нечего: зазвал гостей, так угощай! Желая как можно скорее отвязаться от таких собеседников, он закричал, чтоб подавали ужинать. Не прошло получаса, как стол уже был накрыт, кушанье поставлено и бутылки с наливкою и виноградным вином внесены в комнату: а все хлопотал и суетился один Андрей. Несколько раз батюшка хотел спросить его, куда подевались другие люди; но всякий раз как нарочно кто-нибудь из гостей развлекал его своими разговорами, которые час от часу становились забавнее. Козаки рассказывали ему про свое удальство и молодечество; а приказный про плутни своих товарищей и казусные дела уголовной палаты. Мало-помалу они успели так занять батюшку, что он, садясь с ними за стол, позабыл даже помолиться богу. За ужином батюшка ничего не кушал; но, не желая отставать от гостей, он выпил четыре бутылки вина и две бутылки наливки — это еще не диковинка: покойный мой батюшка пить был здоров и от полдюжины бутылок не свалился бы со стула! Да только вот что было чудно: казалось, гости пили вдвое против него, а из приготовленных шести бутылок вина и четырех наливки только шесть стояло пустых на столе, то есть именно то самое число бутылок, которое выпил один покойник батюшка; он видел, что гости наливали

себе полные стаканы, а бутылка всегда доходила до него почти непочатая. Кажется, было чему подивиться; и он точно этому удивлялся — только на другой день, а за ужином все это казалось ему весьма обыкновенным. Я уже вам докладывал, что мой батюшка здоров был пить; но четыре бутылки санторинского и почти штоф крепкой наливки хоть кого подрумянят. Вот к концу ужина он так распотешился, что даже безобразные лица гостей стали казаться ему миловидными, и он раза два принимался обнимать приказного и перецеловал всех козаков. Час от часу речи их становились беспутнее и наглее; они рассказывали про разные любовные похождения, подшучивали над духовными людьми и даже — страшно вымолвить! — забыв, что они сидят за столом, как сущие еретики и богоотступники, принялись попевать срамные песни и приплясывать, сидя на своих стульях. Во всякое другое время батюшка не потерпел бы такого бесчинства в своем доме; а тут, словно обмороченный, начал сам им подлаживать, затянул: *удалая голова, не ходи мимо сада,* и вошел в такой задор, что хоть сей час в присядку. Меж тем козаки, наскучив орать во все горло, принялись делать разные штуки: один заговорил брюхом, другой проглотил большое блюдо с хлебенным, а третий ухватил себя за нос, сорвал голову с плеч и начал ею играть, как мячиком. Что ж вы думаете, батюшка испугался? Нет! все это казалось ему очень забавным, и он так и валялся со смеху.

— Эге! — вскричал подъячий. — Да вон там на последнем окне стоит никак запасная бутылочка с наливкою: нельзя ли ее прикомандировать сюда? Да не вставай, хозяин; я и так ее достану, — примолвил он, вытягивая руку через всю комнату.

— Ого! какая у тебя ручища-то, приятель! — закричал с громким хохотом батюшка. — Аршин в пять! Недаром же говорят, что у приказных руки длинны...

— Да зато память коротка, — перервал один из козаков.

— А вот увидите! — продолжал подъячий, поставив бутылку посреди стола. — Небось, вы забыли, чье надо пить здоровье, а я так помню; начнем с младших! Ну-ка, братцы, хватим по чарке за всех приказных пройдох, за канцелярских мо́лодцев, за удалых подъячих с приписью! чтоб им весь век чернила пить, а бумагой закусывать; чтоб они почаще умирали, да пореже каялись!..

— Что ты, что ты? — проговорил батюшка, задыхаясь со смеху. — Да этак у нас все суды опустеют.

— И, хозяин, о чем хлопочешь! — продолжал приказ-

ный, наливая стаканы. — Было бы только болото, а черти заведутся. Ну-ка, за мной — ура!

— Выпили? — закричал козак с крючковатым носом. — Так хлебнем же теперь по одной за здоровье нашего старшо́го. Кто станет с нами пить, тот наш; а кто наш, тот его!

— А как зовут вашего старшину? — спросил батюшка, принимаясь за стакан.

— Что тебе до его имени! — сказал козак с большой головою. — Говори только за нами: да здравствует тот, кто из рабов хотел сделаться господином и хоть сидел высоко, а упал глубоко, да не тужит.

— Но кто же он такой?

— Кто наш отец и командир?— продолжал козак.— Мало ли что о нем толкуют! Говорят, что он любит мрак и называет его светом: так что ж? Для умного человека и потемки свет. Рассказывают также, будто бы он жалует Содом, Гомор и всякую беспорядицу для того, дескать, чтоб в мутной воде рыбу ловить; да это все бабьи сплетни. Наш господин барин предобрый; ему служить легко: садись за стол не крестясь, ложись спать не помолясь; пей, веселись, забавляйся, да не верь тому, что печатают под титлами — вот и вся служба. Ну что? ведь не житье, а масленица, — не правда ли?

Как ни был хмелен батюшка, однако ж призадумался.

— Я что-то в толк не беру, — сказал он.

— А вот как выпьешь, так поймешь, — перервал подъячий. — Ну, братцы, разом! Да здравствует наш отец и командир!

Все гости, кроме батюшки, осушили свои стаканы.

— Ба, ба, ба! хозяин! — закричал подъячий. — Да что ж ты не пьешь?

— Нет, любезный! — отвечал батюшка. — Я и так уж пил довольно. Не хочу!

— Да что с тобой сделалось?— спросил толстый козак.— О чем ты задумался? Эй, товарищи! надо развеселить хозяина. Не поплясать ли нам?

— А что, в самом деле! — подхватил приказный. — Мы посидели довольно, — не худо промяться, а то ведь этак, пожалуй, и ноги затекут.

— Плясать так плясать! — закричали все гости.

— Так постойте же, любезные!— сказал батюшка, вставая. — Я велю позвать моего гуслиста.

— Зачем? — перервал подъячий. — У нас и своя музыка найдется. Гей, вы — начинай!

Вдруг за печкою поднялась ужасная возня, запищали гудки, рожки и всякие другие инструменты; загремели бубны и тарелки; потом послышались человеческие голоса; целый хор песельников засвистал, загаркал, да как хватит плясовую — и пошла потеха!

— Ну-ка, хозяин,— проговорил козак с красноватым носом, уставив на батюшку свои зеленые глаза, — посмотрим твоей удали!

— Нет! — сказал батюшка, начиная понимать как будто бы сквозь сон, что дело становится неладно. — Забавляйтесь себе сколько угодно, а я плясать не стану.

— Не станешь? — заревел толстый козак.— А вот увидим!

Все гости вскочили с своих мест.

Покойного батюшку начала бить лихорадка, — да и было от чего: вместо четырех, хотя и не красивых, но обыкновенных людей стояли вокруг него четыре пугала такого огромного роста, что когда они вытягивались, то от их голов трещал потолок в комнате. Лица их не переменились, но только сделались еще безобразнее.

— Не станешь! — повторил, ухмыляясь насмешливо, подъячий. — Полно ломаться-то, приятель! И почище тебя с нами плясывали, да еще посторонние; а ведь ты наш.

— Как ваш? — сказал батюшка.

— А чей же? Ты человек грамотный, так, верно, читал, что двум господам служить не можно; а ведь ты служишь нашему.

— Да о каком ты говоришь господине? — спросил батюшка, дрожа как осиновый лист.

— О каком? — перервал большеголовый козак. — Вестимо, о том, о котором я тебе говорил за ужином. Ну вот тот, которого слуги ложатся спать не молясь, садятся за стол не перекрестясь, пьют, веселятся да не верят тому, что печатают под титлами.

— Да что ж он мне за господин? — промолвил батюшка, все еще не понимая порядком, о чем идет дело.

— Эге, приятель! — подхватил подъячий. — Да ты никак стал отнекиваться и чинить запирательство? Нет, любезнейший, от нас не отвертишься! Коли ты исполняешь волю нашего господина, так как же ты ему не слуга? А вспомни-ка хорошенько: молился ли ты сегодня, когда прилег соснуть? Перекрестился ли, садясь ужинать? Не пил ли ты, не веселился ли с нами вдоволь? А часа полтора

тому назад, когда ты прочел вон в этой книге слово: «Наш еси, Исакий, да воспляшет с нами!» Что? разве ты этому поверил?

Вся кровь застыла в жилах у батюшки. Вдруг как будто бы сняли с глаз его повязку, хмель соскочил, и все сделалось для него ясным.

— Господи боже мой!.. — проговорил он, стараясь оградить себя крестным знамением, да не тут-то было!

Рука не подымалась, пальцы не складывались, но зато уж ноги так и пошли писать! Сначала он один отхватал голубца с вывертами да вычурами такими, что и сказать нельзя; а там гости подцепили его, да и ну над ним потешаться. Покойник, рассказывая мне об этом, всегда дивился, как у него душа в теле осталась. Он помнил только одно, как комната наполнилась огнем и дымом, как его перебрасывали из рук в руки, играли им в свайку, спускали как волчок, как он кувыркался по воздуху, бился о потолок, вертелся юлою на маковке и как наконец, протанцовав на голове козачка, он совсем обеспамятел.

Когда батюшка очнулся, то увидел, что лежит на канапе и что вокруг его стоят и суетятся его слуги.

— Ну что? — прошептал он торопливо и поглядывая вокруг себя, как полоумный. — Ушли ли они?

— Кто, сударь? — спросил один из лакеев.

— Кто! — повторил батюшка с невольным содроганием.— Кто!.. Ну вот эти козаки и приказный...

— Какие, сударь, козаки и приказный? — перервал буфетчик Фома. — Да сегодня никаких гостей не было, и вы не изволили ужинать. Уж я дожидался, дожидался; и как вошел к вам в комнату, так увидел, что вы лежите на полу, все в поту, изорванные, растрепанные и такие бледные, как будто бы, — не при вас будь слово сказано, — коверкала вас какая-нибудь черная немочь.

— Так у меня сегодня гостей не было? — сказал батюшка, приподымаясь с трудом на ноги.

— Не было, сударь.

— Да неужели я видел все это во сне?.. Да нет! быть не может! — продолжал батюшка, охая и похватывая себя за бока. — А кости-то почему у меня все так перемяты?.. А эти две свечи?.. Кто их на стол поставил?

— Не знаю,— отвечал буфетчик,— видно, вы сами изволили их зажечь, да не помните спросонья.

— Ты врешь! — закричал батюшка. — Я помню, их принес Андрей; он и на стол накрывал и кушанье подавал.

Все люди посмотрели друг на друга с приметным ужасом. Ванька-гуслист хотел было что-то сказать, но заикнулся и не выговорил ни слова.

— Ну что ж вы, дурачье, рты-то разинули? — продолжал батюшка.— Говорят вам, что у меня были гости и что Андрей служил за столом.

— Помилуйте, сударь! — сказал буфетчик Фома. — Иль вы изволили забыть, что Андрей около недели лежит больной в горячке.

— Так, видно, ему сделалось лучше. Он ровно в десять часов был здесь. Да что тут толковать! Позовите ко мне Андрея! Где он?

— Вы изволите спрашивать, где Андрей? — проговорил наконец Ванька-гуслист.

— Ну да! где он?

— В избе, сударь; лежит на столе.

— Что ты говоришь? — вскричал батюшка.— Андрей Степанов?..

— Приказал вам долго жить,— перервал дворецкий, входя в комнату.

— Он умер!..

— Да, сударь! Ровно в десять часов.



К. С. Аксаков



1817–1860



ВАЛЬТЕР ЭЙЗЕНБЕРГ



(ЖИЗНЬ В МЕЧТЕ)

Повесть

Посвящается Марии Карташевской

Wage du, zu irren und zu träumen*.
Шиллер



В городе М. жил студент, по имени Вальтер Эйзенберг. Это был молодой человек лет осьмнадцати. Жизнь его до того времени не была замечательна никакими особенными происшествиями. Он родился с головою пылкою, сердцем, способным понимать прекрасное, и даже с могучими душевными силами. Но природа, дав ему, с одной стороны, все эти качества, с другой, перевесила их характером слабым, нерешительным, мечтательным и мнительным в высочайшей степени. Пока он рос в дому у отца и матери, все было хорошо: он еще не знал света и не боялся узнать его; но и тогда несчастный его характер не давал ему покоя. Когда ему было лет одиннадцать-двенадцать, поступкам своим умел он отыскать дурную причину: ему казалось, что везде преследовал его какой-то злой дух, который нашептывал ему ужасные

* Дерзай блуждать и грезить *(нем.)*.

мысли и влек к преступлению. Такое-то болезненное состояние души, причина которого находится, вероятно, в способности слишком живо принимать впечатления, продолжалось лет до пятнадцати. Еще до вступления своего в университет он любил живопись как художник и в ней находил отраду больной душе своей. Он принес в университет сердце доверчивое и торопился разделить свои чувства и поэтические мечты с товарищами. Скоро он познакомился с студентами, которые, как ему казалось, могли понимать его. Это был круг людей умных, которые любили поэзию, но только тогда признавали и уважали чувство в другом человеке, когда оно являлось в таком виде, под которым им рассудилось принимать его, как скоро же чувство проявлялось в сколько-нибудь смешной или странной форме, они сейчас же безжалостно восставали и отвергали его. Эйзенберг был моложе их: несколько понятий, конечно, ошибочных, но свойственных летам, случалось ему высказать перед своими приятелями; робкий, сомнительный характер придавал речам его какую-то принужденность; этого было довольно для них, чтобы решить, что у Вальтера нет истинного чувства, хотя они сами точно так же ошибались назад тому года два-три. Вальтер не вдруг это заметил. Он стал говорить свои мысли — его едва выслушивали; он высказывал свои чувства — его слушали и молчали; он показывал свои рисунки — ему говорили холодно и без участия: «Да, хорошо...» Представьте себе положение бедного, вообразите, как сжималось его любящее сердце от такого привета! Часто приходил он домой убитый духом, и тяжелые мысли — сомнение в самом себе, в собственном достоинстве, презрение к самому себе — теснились ему в грудь. Это, право, ужасное состояние. Не дай бог испытать его! Это верх отчаяния, не того отчаяния, бешеного, неистового, нет, отчаяния глубоко-спокойного, убийственного. Об нем едва ли может иметь понятие тот, кто не испытал его. Каким же именем назвать людей, уничтожающих так человека? Наконец, как будто пелена упала с глаз Эйзенберга — он решился не обращать внимания на их мнения, удалиться, заключиться в самом себе и хранить сбереженный остаток чувства. О, он имел довольно гордости, чтобы не выпрашивать участия как милости.

В то время познакомился он с одним молодым человеком, которого звали Карлом. Знакомство их скоро обратилось в дружбу. Как доволен был Вальтер, нашедши человека, которому смело, доверчиво мог поверять все, что было у него на душе, человека, который хотя часто был с ним согла-

сен, не всегда мог понимать его в самом деле странные мысли, но зато умел ценить его и платил ему тою же доверенностью.

Еще одно обстоятельство изменило несколько мирную, уединенную жизнь Вальтера. Он познакомился с доктором Эйхенвальдом, который был известен в городе своими странностями: на лице никогда не сходила насмешливая, неприятная улыбка. Он всегда ходил в сером фраке, в белой шляпе, нахлобученной на его густые, седые брови, и с суковатой палкой; он не говорил почти ни с кем, являлся редко в обществе и бо́льшую часть времени проводил в своем кабинете. У него жила воспитанница, дальняя его родственница, молодая девушка, лет девятнадцати, которой он заступил место отца. Случай познакомил Вальтера с Эйхенвальдом. Гуляя в публичном саду с Карлом, зашли они в одну беседку, в которой никого не было, и у них начался откровенный разговор. Карл ушел прежде. Вальтер также собирался выйти, как из угла беседки показался Эйхенвальд, которого он прежде не приметил, и, взяв его за руку, сказал ему:

— Ко мне, молодой человек... завтра в пять часов жду вас.

Вальтер едва успел поблагодарить, как он уже удалился.

Эйзенберг явился в назначенный час. Эйхенвальд сидел в халате.

— А,— сказал он, усмехаясь, и протянул ему руку.— А вот моя родственница Цецилия!

Перед Вальтером стояла девушка высокого роста; черные глаза ее, сухие и блестящие, имели в себе какую-то чудную обаятельную силу, которая покоряла ей всякого, кто к ней приближался; ее взгляд был быстр и повелителен, но она умела смягчать его, умела тушить влагою неги сверкающий огонь глаз своих, и тогда на кого обращала она взор свой, тот готов был ей отдать и надежды, и жизнь, и душу. Волосы ее, длинные, черные, энергически густые, обвивали несколько раз как тюрбан ее голову. Она редко показывалась в обществе, и юноши города М. очень досадовали за то на Эйхенвальда; другого же случая видеть ее не было, потому что старый доктор почти никого не принимал в дом к себе.

Цецилия сурово взглянула на Вальтера; на гордом, возвышенном челе ее не проскользнуло ни тени привета. Студент оробел. Эйхенвальд говорил мало, и Вальтер, возвращаясь домой, не мог понять, зачем он звал его к себе? Однако ж он решился идти туда в другой раз.

Через неделю, в тот же час Эйзенберг пришел к доктору. Цецилия встретила его.

— Г-на Эйхенвальда нет дома,— сказала она ему, и ее голос звучал ласково.— Не угодно ли вам подождать и провести это время со мною?

Эйзенберг был очень рад. Они были у окошка: ветерок чуть-чуть веял; солнце спускалось с безоблачного неба; тени от домов все росли и росли... Сидеть в такой час у растворенного окошка, дышать свежим воздухом, чувствовать близкое присутствие прекрасной девушки — о, как это хорошо! Разговор шел сначала очень вяло, но Цецилия беспрестанно поддерживала его. Ее слова были растворены ласкою. Эйзенберг становился мало-помалу развязнее, и когда Цецилия предложила ему идти в сад, то он даже осмелился подать ей легкий газовый шарф. Прогуливаясь по саду, они остановились перед грядкою нарциссов. Цецилия сорвала один.

— Я знаю, что вы живописец,— начала она.— Скажите мне, рисуете ли вы цветы? Думаете ли вы, что цветная живопись простая копия природы или в ней также может быть творчество?

— О, без сомнения,— отвечал Эйзенберг,— все будет копией, если мы станем смотреть только на наружную сторону вещей. Нет, должно угадать внутреннюю жизнь, угадать поэзию предмета, и тогда можно воссоздать его на полотне. Я верю, Цецилия,— продолжал он,— что каждый цветок имеет соответствие с каким-нибудь человеком и заключает в себе ту же жизнь, какая и в нем, только в низшей степени, только не так разнообразно развивает ее. Природа, чтобы достигнуть до каждого человека, должна была пройти целый ряд созданий по всем своим царствам и одну и ту же мысль выразила сначала в камне, потом в растении, потом в животном и, наконец, беспрестанно совершенствуясь, в человеке развила ее в высшей степени. Да, Цецилия, у каждого из нас есть родные во всех царствах природы, созданные ею по одной идее с нами; поэтому я думаю, что я могу отыскать свой портрет и между цветами, которые под другими, менее совершенными формами выражают ту же мысль, какую я <выражаю> всем существом своим. После этого как не находить поэзии в цветах, и неужто цветная живопись есть только сухая копировка?

Цецилия взглянула на него пристально.

— Я согласна с вами,— сказала она, помолчав.— Спишите же мой портрет между цветами,— прибавила она с улыбкою.

— Я вас так мало знаю,— отвечал, запинаясь, Вальтер.

— Кто ж вам мешает бывать у нас чаще; но вот, кажется, и г-н Эйхенвальд; пойдемте к нему.

Эйзенберг, пробывши там еще час, пошел домой весь радостный. Он шел по улицам, ни на что не обращая внимания, весь в себе, напевая песни; а в голове его мечтам и конца не было: его сердце наполнялось в это время таким сладким чувством, что он готов был обнять и расцеловать всякого. Пришедши домой, бросился он на стул у окна, потом вскочил и, прошедши раза два по комнате, сел опять и совершенно забылся. Если б его спросили, о чем он думает, он бы не мог отвечать. В это время вошел Карл.

— Вальтер,— сказал он ему,— полно сидеть дома; я пришел за тобою, чтобы прогуляться вместе: время чудное.

— А, Карл, садись! Я пришел сейчас и устал немного. Останься со мной.

Карл заметил, что друг его чертил что-то карандашом на бумаге.

— Что ты рисуешь?

— Так, это моя фантазия.

— Твоя фантазия очень миловидна. Да не портрет ли это? Вальтер не отвечал, продолжая чертить. Карл подождал, пока он кончит; наконец, положив карандаш, спросил его машинально:

— Ну, что?

— Что с тобою, Вальтер? Ты рассеян, это не без причины.

— Ах, Карл, Карл!— сказал Вальтер, опять задумываясь.

Карл долго смотрел на Эйзенберга, наконец сказал тихо:

— Как хороша она!

— Прелестная девушка!

— Какое наслаждение смотреть на нее!

— Да, быть с нею, говорить с нею — вот счастие!

— Умереть у ног ее — вот блаженство!— докончил громко Карл и покатился со смеху.

— Что это значит, Карл? Разве ты знаешь Цецилию? Ты смеешься?

— Попался,— говорил Карл, продолжая смеяться,— попался и высказал все, что было на душе. Видишь, как немудрено узнать твою тайну. Ну, не сердись же. Мне ты мог ее сказать. Итак, Цецилия, прелестная Цецилия владеет твоим сердцем,— прибавил он патетическим тоном.

— Послушай, Карл,— сказал несколько серьезно Вальтер,— если ты хочешь смеяться надо мною, так лучше ступай вон, а то слишком не хорошо узнать секрет другого и по-

том смеяться над ним. Разве я лез к тебе с моею доверенностью?

— Полно, полно, не сердись. Шутка — не насмешка. А лучше расскажи мне хорошенько.

Вальтер рассказал ему все, и Карл, оставя свой шутливый тон, слушал его с участием.

Друзья расстались. Вальтер весело лег спать: завтра он пойдет на целый день к Эйхенвальду; сладкие сны вились над головою его. Он проснулся; светло и радостно улыбалось ему утро, так приветно пели птицы. Он встал, взглянул на свой столик, где лежал портрет ее, нарисованный им вчера. Наконец пришел назначенный час, и Вальтер отправился к Эйхенвальду.

День этот скоро прошел для Эйзенберга; после обеда Эйхенвальд ушел в свой кабинет, и они опять остались одни. Как хороша была Цецилия вечером, в последних лучах солнца, в саду, среди цветов, осененная деревьями. Вальтер смотрел на нее; Вальтер все смотрел на нее.

— Нет, господи! Прекрасна луна, цветы, деревья, безоблачное небо, прекрасна природа; но это создание лучше всех твоих созданий, прекраснее цветов и неба, прекраснее природы!

— Послезавтра вечером я буду одна,— сказала Цецилия, прощаясь с ним.— Приходите, мне нужно поговорить с вами.

— Да, я уйду послезавтра вечером,— подтвердил Эйхенвальд,— приходите.

Нужно ли говорить, как приятно Вальтеру было это предложение. Он пошел прямо к Карлу, чтобы все ему пересказать.

— Послушай,— сказал тот, когда Вальтер кончил,— мне что-то кажется странным и неприличным такая короткость в девушке; и Эйхенвальд точно будто с нею сговорился.

— Ну вот, тебе уж и кажется странно. Ты бы хотел, чтобы Цецилия была модная кукла, со всеми светскими приличиями; неужто все, что сколько-нибудь отклоняется от них, что сколько-нибудь следует естественному влечению, кажется тебе странным; неужто во всяком сколько-нибудь необыкновенном, не пошлом поступке ты находишь дурное?

— Нельзя ли мне видеть Цецилию?

— Ты можешь видеть ее как-нибудь под окном; проходи мимо их дома.— Он сказал ему адрес.

* * *

Был шестой час вечера. Вальтер весело шел по улицам: он увидит Цецилию. Ему казалось, что вся природа гармонировала с ним: легкий вечерний ветерок, теплый воздух, зеленые развесистые сады, мимо которых шел он, вечернее щебетанье птиц, голубое небо, по краям которого, как усталые, растянулись облака,— все, все было так светло, так хорошо, все дышало такою отрадою. Как понятна нам красота природы, когда на душе нашей счастие... А Вальтер был счастлив в эту минуту. Он шел, а перед ним носился образ прелестной девушки. В душе его было ожидание близкой минуты свидания, перед ним был целый вечер, который он проведет с нею. Он подходит к дому Эйхенвальда, видит издали, что кто-то сидит у окна: это она; это верно она; это ее черные волосы колеблются; это ее белая рука лежит на окне; она подняла руку, опять опустила ее; он сейчас ее увидит, она сейчас его увидит, сейчас, сейчас!..

Вальтер поклонился Цецилии, проходя мимо; она встала. Через минуту он был уже в комнате, и они оба сидели у окошка, друг против друга.

Разговор их одушевился. Вальтер принес Цецилии свои рисунки; они говорили о живописи, о поэзии и, наконец, о любви.

— Да, Вальтер,— говорила так искренно Цецилия,— да, любовь — блаженство; но она не для тех людей, которым надобна тишина: для них она беспокойна. Вы любили, Вальтер?

Вальтер покраснел; он невольно вспомнил Карла, но мысль эта рассеялась в одну минуту.

— Я не знал любви до сих пор; но теперь я...

— Вы любите. Что же, вы счастливы?

— Счастлив, счастлив! Чего мне еще желать? Я могу видеть ее перед собою, слышать ее голос, думать о ней... О, если бы вы знали, как я счастлив! Когда б только я был уверен, что она любит меня,— прибавил Эйзенберг, несколько смутясь,— о, тогда бы, тогда бы...

Цецилия улыбнулась.

— Вы меня любите, Вальтер,— сказала она,— и я вас люблю.

Вальтер задрожал: эти неожиданные слова совершенно поразили его.

— Завтра мы едем в деревню: вы будете у нас.

Что мог сказать Вальтер? Он изнемог от силы впечатле-

ния. Цецилия пристально смотрела на него, и он, неподвижный, не мог отвести глаз от ее взора; казалось, он весь перелился в зрение; казалось, там только сосредоточена вся жизнь его. И вдруг ему стало страшно и грустно: перед ним все подернулось туманом; ему казалось, что он перешел в глаза Цецилии и что это чудный какой-то мир; со всех сторон блещут искры: он плавает в какой-то черной влаге, плещется, играет ею и вдруг исчезает, и он тонет, тонет; ему сделалось так страшно и сладко вместе. Потом что-то мелькает перед ним и опять скрывается, а он все тонет, тонет...

Вдруг Цецилия повернула голову и взглянула в окно. Вальтер почувствовал, что все нервы в теле его задрожали и оно как будто ожило, как будто кровь снова заструилась по жилам.

Вальтер посмотрел в окно: это был Карл, который, пройдя мимо и взглянув на Цецилию, привлек на себя ее внимание, заставил оборотиться.

Она уже опять смотрела на него и сказала:

— Вы непременно приедете к нам в деревню.

— Да, да, непременно,— подхватил вошедший Эйхенвальд.

Вальтер не мог долго оставаться; изнеможденный, побрел он домой и не мог дать себе отчета в своем состоянии. Он чувствовал смутно, что он счастлив; но в этом счастии было что-то необыкновенно приятное; в сладкое чувство блаженства теснился какой-то вопрос.

Поутру все ему представилось в радужном, веселом свете: Цецилия его любит; он поедет к ним в деревню. Вальтер не мог ни о чем другом думать. Около обеда пришел к нему Карл.

— Ну, я видел твою Цецилию,— сказал он.— Ты не заметил, кажется, как я прошел мимо. Она хороша; но в лице нет никакой приятности; как могла она тебе понравиться?

— Молчи, Карл, об этом не спрашивают и не рассуждают; а лучше радуйся моему счастию. Слушай,— и он рассказал ему весь разговор свой с Цецилией.

— Я счастлив, Карл, не правда ли?

— Дай бог, чтоб это была правда.

После обеда Эйзенберг пошел с своим другом к одному из своих товарищей, где нашел несколько других студентов. Весь вечер был он весел, шутил, смеялся и, наконец, простился с ними, сказав, что, может быть, долго не увидится; послезавтра он ехал в деревню к Эйхенвальду.

Следующий день он приготовлялся к дороге, увязывал свой станок, укладывал краски: Цецилия просила давать ей уроки в живописи. На другой день рано поутру лошади были уже заложены. Вальтер простился с Карлом, который пришел проводить его, сел и поехал.

Вечером подъехал он к деревне Эйхенвальда. Как торопился выпрыгнуть наш Эйзенберг из своего дорожного экипажа! Он побежал сначала в дом — никого нет; все в саду. Он бросился в сад; идет наудачу по дорожкам, вышел на поляну — нет Цецилии; вот еще одна узкая дорожка ведет в березовую рощу; он спешит к роще,— и вот между ветвями замелькали черные локоны; Цецилия услышала шум, обернулась и увидела Вальтера.

— Вальтер,— сказала она таким голосом, который проник всю его душу,— я ждала вас.

Эйзенберг стал перед ней и, ничего не говоря, смотрел на нее и не мог оторваться: казалось, он утолял жажду, которая давно томила его душу.

Цецилия молча взяла его за руку и повела по саду. Сердце у Вальтера билось, он испытывал неописуемое чувство; он хотел говорить, но язык его не слушался, и он продолжал снова глядеть на Цецилию, которая шла спокойно, задумавшись. Они вышли на поляну; вдали блестела полоса воды; солнце торжественно близилось к закату и далеко отбросило тени от юноши и девушки, когда они отделились от рощи.

— Ты мой,— сказала Цецилия, устремляя глаза на Эйзенберга.

— Я твой,— прошептал он и снова потерялся в черном ее взоре. Снова он тонет, тонет, исчезает, уничтожается... и вот ему показалось, что он видит и солнце, и небо, и поляну, и рощу, но только видит все это из глаз Цецилии: вот ему кажется, что на каждом цветочке сидит сильфида и ловит лучи солнечные и росу вечернюю, умывает и разглядывает свой цветочек. По ветвям деревьев порхает целый рой эльфов, и дерево тихо шумит листьями, будто от ветра, а там далеко в воде плывут и стелются наяды; струи, переливаясь через них, покрывают их прозрачною легкою пеленою и блестят на солнце. Не знаю, долго ли простоял Вальтер в таком положении, но Цецилия запела песню, и он пришел в себя. Песня ее звучно, одушевленно раздалась по поляне:

Туда, туда! Иди за мною!
Я знаю чудный, светлый край.
Простись с коварною землею,
Там ждет тебя небесный рай.

Свет, полный суеты, не знает
Той очарованной страны,
Где прелесть вечная сияет
Неувядающей весны.
Но путь я знаю сокровенный
В тот край, где радость и покой —
О, друг мой милый, друг бесценный,
Туда за мной, туда за мной!

Боже мой, как хороша была Цецилия в эту минуту! Вальтер следил за каждым звуком ее песни, за каждым ее движением; казалось, он мог только молча понимать Цецилию, мог только чувствовать, но потерял способность выражения: он был в каком-то очаровании.

Солнце село; они пошли домой; в аллее встретился с ними Эйхенвальд. Доктор был очень рад гостю; из обращения его Вальтер заметил, будто он знает о взаимной любви его и Цецилии. Они долго еще трое ходили по саду. Луна взошла высоко. Все наконец пошли в дом. Эйзенбергу отвели особый флигель. Во сне ему все виделась Цецилия.

На другой день Вальтер начал давать свои уроки. Что сказать вам? Жизнь его покажется однообразною; но как она была полна и многозначительна для него! Часто засматривался он в очи Цецилии, засматривался, исчезал и забывался совершенно и только смутно чувствовал, что он счастлив, невыразимо счастлив.

Однажды, это было вечером; уже свежая роса серебрилась на листьях; Вальтер шел по аллее, которая вела к березовой роще: он искал Цецилию. Эйзенберг вышел на поляну, вдали синелось озеро, там на берегу различил он Цецилию, и через минуту он был с нею.

— Мы еще никогда не были за озером, друг мой,— сказала она ему.— Вот лодка: поедем.

Они сели, оба взяли по веслу, и челнок отплыл от берега. Вода струилась за кормою и всплескивалась, поднимая веслами и скатываясь с них блестящими брызгами; было тихо, парус был свернут; скоро доехали они до противоположного берега. В нескольких шагах была кленовая роща: они вошли туда и сели под навесом трех старых кленов.

— Ты любишь меня,— сказала Цецилия, устремив на Эйзенберга свой взор, в который он снова погрузился.— Да, ты меня любишь,— продолжала она через минуту,— да, я твое сознание, я твоя жизнь, без меня горе тебе, ты слился с моим существованием.

— Да, Цецилия.

— Слушай же,— сказала она, взяв его за голову и сжав

ее обеими руками. Вальтеру показалось, что огонь прожег его череп.— Слушай же, ничтожное существо: я тебя ненавижу; сама природа поставила нас в мире друг против друга и создала нас врагами. Давно уж возбудил ты мое мщение: теперь я достигла своей цели; да, ты теперь будешь мучиться: счастия нет для тебя, тебе не выдастся ни одной сладкой минуты; я тебя ненавижу, но ты мой! Ты меня не забудешь: не оторвать тебе от меня души своей — ты мой! Никогда не найти тебе приюта: все твои мысли погаснут, окаменеют все твои чувства, все мечты рассеются. Ты любишь меня, ты полюбил меня навеки, и ненависть моя камнем ляжет на твоем сердце — ты мой.

Цецилия встала и исчезла между деревьями. Несколько времени лежал Вальтер как без памяти; наконец, он очнулся, встал, и вот из-за деревьев, из травы, с воздуха, отовсюду, отовсюду видятся ему блестящие глаза Цецилии, и все эти глаза устремлены на него: они жгут, палят его внутренность. В ужасе он закрыл глаза свои рукою; и вот со всех сторон раздался голос Цецилии: «Вальтер, Вальтер, Вальтер...» Эти звуки гремели и теснились в ушах его, он не выдержал и бросился бежать из рощи. Голос Цецилии загремел вслед его:

— Куда, куда, милый Вальтер?

— Куда, куда, милый Вальтер?— шумели ему деревья.

— Куда, куда, милый Вальтер?— раздалось со всех сторон, когда он выбежал из рощи.

— Куда, куда, Вальтер?— шептала трава под его ногами.

Вальтер добежал до лодки и бросился в нее: он прилежно начал грести; челнок поплыл скоро; из каждой струи, взбрасываемой веслом, на него глядели глаза Цецилии.

— Куда, куда, Вальтер?— журчали волны.

Он был уже в саду; он бежал по аллее; на дороге встретился ему Эйхенвальд, в халате, с книгою в руках; старик увидел его.

— А,— сказал он, странно улыбаясь и провожая его глазами.

Эйзенберг пробежал мимо дома и выбежал на дорогу. Вдали ехала телега. Он догнал крестьянина, который сидел в ней, и уговорился с ним, чтобы он довез его до города, в такое-то место, в такой-то дом.

Крестьянин поглядел на него с участием, помог ему усесться и погнал лошадь. Вальтер отдохнул немного; он закрыл глаза, взял себя за голову и лег на спину, стараясь заснуть, но не мог.

Они проехали час в таком положении. Вальтер поуспокоился и открыл глаза. Смеркалось.

Вдруг крестьянин оборотился к нему и сказал, качая головою:

— Вальтер, Вальтер! Куда, Вальтер? Беги, беги, Вальтер!

Эйзенберг затрясся всем телом, хотел броситься на него; но силы ему изменили, и он упал навзничь.

Когда Вальтер пришел в себя, он был уже в своей комнате, и над ним стоял Карл. Бедный Эйзенберг был в горячке; скоро с ним сделался жар и бред, и он опять пришел в беспамятство. Ему все грезилась Цецилия, деревня, где он так счастливо проводил с нею время и где так ужасно был разочарован. Целый месяц провел он в таком мучительном состоянии.

Наконец, после долгого сна он проснулся однажды поутру. Время было прекрасно, птицы прыгали по деревьям и пели, и раскидистые березы, слегка покачиваясь, заглядывали своими свежими, зелеными ветвями в растворенное окно его комнаты. Вальтеру казалось, что он теперь только проснулся. Освежительное, утреннее чувство наполнило его; он сел, вздохнул и улыбнулся. Природа, благая природа производила опять над ним свое действие. Вальтер поднялся и в первый раз сошел с постели и подошел к окну. Свежий утренний ветерок повеял ему на грудь; он ожил: перед ним понеслись тихие, светлые мечты; он вспомнил прошедшее, но не Цецилию, не озеро, не кленовую рощу, а свое детство и место, где он провел его; ему виделись: аллея из акаций, зеленый широкий двор, сельская церковь; ему слышался стук мельницы; перед ним расстилался широкий пруд; важно колыхаясь в камышах своих, вилась быстрая река, через нее перекинут мостик в три дощечки шириною; вдали высилась гора (это было все место его родины).

Вальтер сел у окна, погрузившись в мысли, освежаемый утренним ветерком, покоя взоры на зеленых ветвях берез, забывшись совершенно; такое тихое, ясное наслаждение разливалось по всему существу его.

Дверь в эту минуту растворилась, и вошел в комнату Карл.

— Слава богу,— сказал он, пожимая руку Эйзенбергу.— Ты, кажется, оправляешься.

— Да, слава богу, я здоров.

— Еще не совсем, погоди немного: во-первых, тебе не годится сидеть у открытого окна: теперь еще свежо; во-вторых,

ты должен несколько времени оставаться спокойным, не заниматься и не входить ни во что.

Скоро Вальтер совсем выздоровел.

— Ну,— сказал ему однажды Карл,— расскажи мне наконец, что случилось с тобою в деревне.

Эйзенберг побледнел: он все вспомнил. Карл раскаивался в своей неосторожности, он просил друга успокоиться и не говорить ни слова.

— Нет, Карл,— отвечал Вальтер,— мне будет легче, если я все расскажу тебе. Ах, друг мой, зачем ты мне напомнил!.. Но теперь делать нечего: слушай.

Когда Вальтер кончил, то Карл стал опять опасаться за его здоровье и всю эту ночь провел у него. На другой день Вальтер уже не мог быть спокойным. Образ Цецилии снова стал его преследовать; он искал развлечения; он углублялся в занятия, он бродил по окрестностям города: все напрасно. Так прошел год; Вальтер оставил университет. Наступил и день, который так ужасно провел он в деревне Эйхенвальда; он вспомнил и решился идти за город. Поутру он почувствовал как-то себя веселее. За городом есть одно прелестное место: неширокая река вьется и журчит под склоном ракит и ив, вдали березовый лес со своею живою зеленью и белою корою; в стороне пестреют нивы. Туда пошел Вальтер, взяв с собою небольшой обед, не сказав никому, ни даже Карлу. День был летний, жаркий, и тучи со всех сторон медленно поднимались на небо. Вальтер сел на берегу, в тени дерев, где протекала прохладная влага, местами блестя на солнце; немного выше вода встречала в своем течении толстый сук дерева и, прыгая через него, так однообразно, так приветно журчала. Вальтер не мог удержаться, чтобы не освежить себя купаньем, и потом принялся за обед свой; вдруг ему почудилось, что какая-то женщина мелькнула там в лесу. Вальтер посмотрел пристально: никого не было; он продолжал обед; но ему казалось, что кто-то все на него смотрит; он чувствовал вблизи чье-то незримое присутствие; он не мог поверить, чтобы он был здесь один.

В самом деле, в лесу опять мелькнуло женское платье; в самом деле, между листьев видны черные длинные волосы... Как не узнать их Вальтеру! как не узнать этот возвышенный стан, эти огненные очи!.. это Цецилия, да, это Цецилия...

Эйзенберг, как бы увлекаемый непреодолимою силою, бросился к ней. В это время тучи нашли на солнце. Цецилия, казалось, убегала от него, мелькая между деревьями. Валь-

тер, как безумный, бежал за нею; скоро он пробежал насквозь рощу, и вот перед ним на поляне стоит Цецилия. Ветер развевает ее длинные волосы и белое платье; она простирает к нему руки и зовет его. Вальтер спешит к ней, и ему кажется, что черные волосы зеленеют и шумят, руки поднимаются в сторону и кривятся, белое платье плотно облегает ее ровный стан. Вальтер ближе; да, точно, это дерево, это береза качает свои раскидистые ветви в порывах ветра. Страх объял Эйзенберга; он бежит прочь, спешит добраться до города, который был в полуторе версте оттуда, бежит, оглянулся,— и вот за ним опять стоит Цецилия, манит его, зовет его.

— Вальтер, Вальтер!

Эйзенберг ускорил шаги свои и через полчаса был дома.

Хотя впечатления этого дня были сильны, но Вальтер перенес их гораздо легче. Дня три он был нездоров, потом опять оправился. Тягостные воспоминания стали сильнее преследовать его; тогда он весь предался живописи; в ней находил он отраду и утешение, с нею как бы забывал он все свое горе. Он нанял себе домик на конце города и переехал туда. Там жил он в совершенном уединении; тихо, мирно, неизвестно катилась жизнь его. Все об нем забыли, и он всех забыл; один только Карл иногда навещал его. Воспоминание, преследовавшее Вальтера, не расставалось с ним, но было уже не так мучительно. Правда, долго кисть его рисовала только образы Цецилии, и он сам всегда содрогался, когда видел перед собою на полотне портрет ее; наконец, мечты более тихие, приятные мало-помалу овладели его душою, и он рисовал пейзажи, которые напоминали ему места его детства: то ясный вечер, по небу вытянулись румяные облака, воздух влажно-тепел, стадо удаляется с поляны; то сельский дом, то садик, по садику бегают дети: мальчик и девочка, смеются и целуются — это были все золотые воспоминания Эйзенберга. Раз как-то Карл унес у него одну картину и показал своим знакомым; картина поразила многих. Некоторые стали просить Карла доставить им случай познакомиться с Вальтером, по крайней мере приходить смотреть его картины. Вальтер вовсе не желал и, только согласясь на неотступные просьбы своего друга, позволил ему приводить <к себе> его знакомых только тогда, когда его нет дома, и без него смотреть на картины. Не обращая внимания на суждения других, он скоро и забыл, что многие стояли перед его картинами и восхищались и он считался в свете отличным художником. Что ему было до этого?

В одно утро поставил он перед собою станок и начал

большую картину: поле, по полю ходят три девушки. Никогда с таким наслаждением, с такою страстию не писал он, и когда проводил он по полотну черты, рисуя девушек, то ему казалось, что они скрывались за полотном и что он каждым движением кисти поднимал с них этот покров, и они, живые, выступали перед ним. Эта картина занимала его каждый день, пока он ее <не>кончил.

Вот однажды вечером сидел он перед своею картиной и задумался; голова его опустилась; вдруг он слышит легкий шепот:

— Вальтер, Вальтер, Вальтер!

Он поднял голову: перед ним улыбались три прекрасные девушки, им нарисованные. Эйзенберг изумился.

— Вальтер, Вальтер, Вальтер! — повторили они опять тихим, сладким голоском.— Вальтер, мы тебя любим, мы тебя любим, Вальтер! Ты будешь счастлив, Вальтер, счастлив, счастлив...

И вот они спрыгнули с картины и сели возле него; две взяли его за руки, одна смотрела, улыбаясь, ему в глаза.

Вальтеру показалось, что он освободился от тоски своей, которая уже два года преследовала его; он вздохнул так глубоко, так отрадно, вздохнул и взглянул на них.

— Вальтер здоров теперь, Вальтер счастлив,— сказали все они вместе и забили в ладоши от радости; потом стали бегать по комнате, подходили к его книгам, картинам, все переворачивали с места на место; потом все опять бросились к нему и, взявшись за руки, вертелись около него. Он смотрел на них с умилением, встал и сам и, как дитя, стал бегать с ними по горнице, кричать и смеяться. Вдруг раздались шаги в соседней комнате.

— Тише, тише, тише,— сказали девушки, побежали и опять вскочили на картину. Дверь отворилась, и вошел Карл: он давно не был у Вальтера.

— Ну, друг,— сказал он, остановясь перед картиною,— ты еще ничего не рисовал лучше. Чудо, как живые!

— Как живые,— думал Вальтер, смеясь про себя.— Он не видит, что они в самом деле живые; а точно: как они неподвижно стоят.

Карл просидел у него довольно долго. Пользуясь позволением друга, он приводил к нему своих знакомых посмотреть на последнее его произведение. Всякий раз, как Вальтер становился перед своей картиной, три девушки спрыгивали с нее и бегали с ним по комнате, играя, как дети. Иногда в это время приходили к нему посторонние люди, отчасти

ему знакомые, и всякий раз перед приходом их три девушки вскакивали опять на полотно и оставались там неподвижными. Часто Вальтер от души смеялся внутренно, слыша, как хвалили работу, отделку, колорит.

— Они все думают,— говорил он сам себе,— они все думают, что это рисунок, а я, я вижу, я очень хорошо вижу, как они мне мигают с полотна, дают знать, чтоб я не сказывал, и вместе со мною подмигивают над их глупостью.

Так прошел месяц и другой. Вальтер возвращался домой после утренней прогулки; вдруг перед ним Цецилия; он весь задрожал.

— Вальтер,— сказала она тихим голосом,— ты забыл меня; но мы опять будем счастливы, ты по-прежнему будешь сидеть передо мною, глядеть на меня, Вальтер.

Что было с Вальтером, как описать? Какое-то болезненное чувство проникло весь состав его; он печально посмотрел на Цецилию.

— Пойдем, пойдем, мой Вальтер,— говорила она, увлекая его за собой и устремляя на него глаза свои, в которых высказывалась любовь, могущественная, покоряющая.— Мы так странно, так неожиданно с тобой расстались. Мне нужно поговорить с тобой.

Вальтер, изумленный, растерянный, пошел за нею. Он чувствовал, что любовь его к Цецилии возрождается снова. Они пришли в тот дом, где Вальтер в первый раз увидал Цецилию. Она говорила ему, что он не так понял слова ее, что она немедленно должна была далеко ехать и потому не могла его видеть.

— А где Эйхенвальд?— спросил Вальтер.

— Вот он,— отвечала Цецилия.

Вальтер оглянулся: Эйхенвальд, улыбаясь, входил в двери.

Задумчиво возвращался Эйзенберг назад. Ему странным казалось его положение. Мысли как-то у него не вязались. Он вошел в комнату и бросился в кресло перед своей картиной.

— Что с тобою, Вальтер, что с тобою, что с тобою?— говорили ему девушки, сошли с холста и сели возле него.

— Ты грустен, Вальтер; ты будешь опять несчастен, Вальтер.

Ему показалось даже, что слезы навернулись на глазах у девушек.

— Завтра я пойду к ней,— проговорил Вальтер почти машинально.

— Не ходи, Вальтер, останься здесь с нами, с нами.

Вальтер ничего не отвечал. Через минуту он встал, пошел к Карлу и пересказал своему другу свидание с Цецилией и намерение идти завтра к ней. Карл упрашивал его, бог знает как, не видать вовсе Цецилии, по крайней мере, не ходить к ней завтра.

— Хорошо,— сказал Вальтер,— я завтра останусь дома.

Но он не сдержал своего слова и пошел к Цецилии. Она ждала его.

— Два года не видались мы,— говорила она ему,— ты был несчастлив, друг мой?

— Да, Цецилия, я был несчастлив сначала; но потом бог послал мне отраду.

— Как?— спросила Цецилия.

— Да, да, тебе я могу поверить это: меня утешают три девушки, три ангела,— и Вальтер рассказал ей подробно про картину. Лицо Цецилии помрачилось.

— Нельзя ли мне видеть их?

— О, я очень рад показать их тебе.

— Г-н Эйхенвальд пойдет со мною.

— Хорошо.

— Сейчас же?

— Хорошо.

В это время вошел Эйхенвальд, с шляпою и палкою в руке. Вальтер немного удивился тому, что он так нечаянно узнал их намерение и уже был совсем готов идти.

Цецилия подошла прежде всех, когда вошли они в комнату Эйзенберга, и быстро взглянула на его произведение.

— Где ж,— сказала она тихо Вальтеру,— где ж эти девушки, которые так утешают тебя? Я ничего не вижу: это просто прекрасная картина.

— Как?— сказал Вальтер, подходя и взглядывая на картину. Как будто туман упал с глаз его: в самом деле это была простая картина, три девушки не улыбались ему исподтишка, не жили, были нарисованы на полотне. В изумлении, в огорчении повесил он голову.

— Хорошая работа,— сказал Эйхенвальд, усмехаясь.

Вальтер при этом слове опять взглянул на картину, думая встретить насмешливую улыбку на лицах трех девушек; но все было неподвижно по-прежнему: он убедился, что это была просто картина.

— Вальтер, ты мечтатель,— сказала Цецилия с довольной улыбкой и ушла с доктором.

Эйзенберг остался один. Грустно, грустно ему было: он сел в кресло перед картиной и не глядел на нее.

— Мы живы, мы живы, мы живем для тебя,— раздалось над его головою: перед ним опять стояли три прелестные девушки.

— Как убивает холодный взгляд ее: не верь ей, не верь ей!

— Как, неужто моя Цецилия не может вас видеть?

— Нет, нет, нет! Оставь ее, она тебя не любит, Вальтер, она тебя не любит.

— Я в самом деле мечтатель,— сказал Вальтер, протирая глаза.

— Нет, нет, нет! Ты не мечтатель: то не мечта для человека, что производит на него впечатление.

— Так вы в самом деле существуете, милые создания?

— Верь нам, верь нам!

И они опять окружили его, опять заставили бегать и играть с собою; Вальтер опять забылся на несколько минут, на несколько минут Цецилия вышла у него из памяти.

Ему принесли записку от Карла, в которой он уведомлял его, что по непредвиденным и важным обстоятельствам он немедленно должен ехать из города и даже не может с ним проститься.

На другой день в загородной роще он встретил Цецилию.

— Что?— спросила она его.— Ты, наконец, уверился, что твои прекрасные девушки существуют только на полотне?

— О, нет, Цецилия, ты не права: ты не вгляделась хорошенько; когда ты ушла, они снова ожили. Я не знаю, почему ты их не можешь видеть.

— Послушай, Вальтер,— сказала Цецилия, на лице которой изобразилось неудовольствие,— мне больно видеть, что ты увлекаешься пустыми мечтами. Я вижу, что любовь твоя не то, что прежде; не знаю, какое волшебное очарование овладело тобою, отнимает тебя у меня; ты до тех пор не избавишься от него, пока не истребишь картины. Вальтер, если ты меня любишь, сожги ее.

— Как сжечь! — вскричал Вальтер почти с ужасом.

Цецилия не повторила своего требования; она видела, что это слишком сильно поразило Эйзенберга; она позвала его к себе и постаралась как можно сильнее укрепить власть свою над ним. Никогда голос ее не звучал так приветно, так сладко пленительно, никогда глаза ее не смотрели так очаровательно, никогда Вальтер не был так очарован; он предался во власть Цецилии — бедный: видно, уже судьбою было на-

значено враждебным силам играть его участью. Цецилия успела взять с него обещание не смотреть на картину, и вот в одну из тех минут, когда он тонул в очах ее, он дал ей слово сжечь картину завтра. Цецилия опять была все для него. Доктор Эйхенвальд, это странное существо, которого никак не мог понять Вальтер, который знал и предупреждал малейшие желания Цецилии, хотя бы был и не вместе с нею, доктор был давно уже согласен отдать ему руку своей воспитанницы. Одно препятствие было — картина; завтра Вальтер сожжет ее, и скоро Цецилия станет спутницею его жизни.

Вальтер провел беспокойно эту ночь; ему все казалось, что кто-то тихо стонет и вздыхает в его комнате. Встав рано поутру, он вынес свою картину за город, приготовил жаровню и невольно взглянул на картину. Боже мой! Сердце его сжалось глубоко: горе, мучение выражалось на прелестных лицах девушек: они протягивали к нему руки.

— Вальтер, Вальтер, неужели ты сожжешь нас, Вальтер? Пощади, пощади, пощади нас!

Когда же он нечаянно пододвинул картину к жаровне, то ему показалось, что ужасный, раздирающий вопль вырвался из груди их; сердце Вальтера разорвалось, он опрокинул жаровню.

— Нет,— сказал он,— нет: никогда не сожгу я вас, милые существа, никогда, во что бы то ни стало.

— Ты не сожжешь?— раздался голос. Перед ним стояла Цецилия.

Вальтер смутился; нерешимость на минуту овладела им, потом он с твердостию отвечал:

— Нет.

— Вальтер, я твоя невеста, я люблю тебя. Это последнее препятствие; уничтожь его, я прошу тебя, я, подруга твоей жизни, твоя Цецилия.

— Нет.

— Вальтер, выбирай: или их, или меня; если ты не исполнишь просьбы моей, ты меня никогда больше не увидишь, никогда, никогда.

Вальтер взглянул на Цецилию: как она была прекрасна, боже мой! взглянул на картину: со страхом и надеждою, как жертвы, ожидали своего приговора три девушки.

— Нет.

Глаза Цецилии блеснули, как молния; через секунду она была уже далеко. Откуда ни возьмись, Эйхенвальд стал перед Вальтером с нахмуренным лбом, с лицом суровым и мрачным, погрозил ему пальцем и скрылся.

Скоро Цецилия исчезла совсем между деревьями. Вальтер вздохнул и оборотился к картине.

Радостью сияли лица трех девушек, слезы блистали на глазах их, сладко у Вальтера стало на сердце.

— Благодарим, благодарим, благодарим, наш Вальтер; не бойся, не бойся, мы с тобою, мы не оставим тебя, Вальтер; твоя жизнь будет светла и радостна, как твое детство; мы украсим дни твои, мы будем лелеять тебя, ты будешь счастлив, счастлив с нами, Вальтер! Благодарим, благодарим, благодарим!

Сжав руки, с умилением глядел на них Эйзенберг; он опустил голову, и слезы навернулись у него на глазах.

Он отнес картину домой и поставил ее на то же место.

Прежняя беззаботная жизнь началась снова. Скоро приехал Карл: известие, так неожиданно вызвавшее его из города, было ложно; он радовался, что друг его расстался с Цецилией. Вальтер оставил живопись. Все, кто ни приходил к нему, заставали его сидящим перед картиной; он вставал неохотно и старался поскорее проводить своих гостей; выходя от него, видели, что он опять садился перед картиной и начинал смотреть на нее.

Прошло несколько времени. В одно утро, когда солнце всходило и лучи его начинали озарять картину, Вальтер, который вставал рано, сел на свое обыкновенное место. Девушки снова сошли к нему, говорили с ним, пели ему.

— Зачем,— сказал Вальтер,— зачем я не всегда могу быть с вами? Если кто приходит, вы бежите на свой холст, а я остаюсь здесь. Как бы мне хотелось перейти к вам,— прибавил он, указывая на картину.

— Вальтер, поди, поди к нам,— сказали они, вскочив на свои места и маня его,— сюда, наш Вальтер, сюда, сюда.

— Да, к вам,— сказал Вальтер решительно, схватил кисть, давно забытую, и, севши перед картиною, начал рисовать себя подле трех девушек. Он работал с жаром; казалось, с каждым движением кисти он чувствовал, что будто жизнь его, все его существо, весь он переливался через кисть и переходил живой на полотно; и с каждым движением кисти он чувствовал, что тело его ослабевало.

Девушки простирали к нему руки и смотрели на него с улыбкою участия.

— К нам, к нам, к нам,— повторяли они. Работа шла успешно.

— К вам, к вам, скоро к вам,— шептал Вальтер.

Оставалось одно последнее движение, один последний

штрих; Вальтер, уже совсем ослабевший, собрал оставшиеся силы, сделал это последнее движение и упал на кресла мертвый: здесь лежало только тело его, а сам он, весь полный жизни, стоял на картине, окруженный тремя девушками.

Через несколько минут растворилась дверь, и вошел Карл. Увидав издали своего друга, лежавшего в креслах, он побежал к нему.

— Вальтер, боже мой,— вскричал он, видя, что тело его уже охладело, и нечаянно, оборотясь, он вскрикнул от ужаса: — Ах!

Он, Вальтер, стоял перед ним и смотрел на него веселыми глазами. Карл скоро заметил, что это рисунок, но все не мог оправиться от страха; он стоял перед картиною несколько времени, дрожал всем телом и наконец выбежал из комнаты.

* * *

Как ни старался Карл удержать у себя картину своего друга, но она перешла во владение одному богатому дальнему родственнику Эйзенберга и украсила его картинную галерею; она была поставлена в особой комнате. Говорили, что по ночам в этой комнате слышался шум и голоса. Несмотря на это г-н П.*** (так начиналась фамилия родственника) ни за что не хотел отдать картины, потому что она привлекала к нему толпы посетителей, которых он сам всегда вводил в эту комнату, и ключи от нее всегда держал при себе. Однажды Карл пришел посмотреть на последнее произведение своего бедного друга, но его не допустили.

— Разве г-на П. нет дома?

— Дома,— отвечали ему,— но его нельзя видеть.

— Отчего же?

— Он говорит с какой-то женщиной; кажется, у барина покупают картину.

Через минуту вышла женщина, высокого роста, величественного вида, она казалась лет двадцати пяти и была в полном цвете красоты; на ней была белая одежда; с плеч спускалась зеленая мантия, на челе ее лежала целая повязка из белых лилий, из-под которой черные густые волосы падали обильными волнами, со всех сторон головы спускаясь ниже пояса; лицо ее было смугло. Карл узнал Цецилию.

На другой день картина Вальтера была сожжена господином П.

* * *

Мне верно не поверят, когда я скажу, что это происшествие истинное и что оно не так давно случилось; но я сам знал Карла, который был недавно в Москве и много рассказывал мне про своего друга. Вальтер открылся ему за несколько дней до своей смерти, что девушки, нарисованные им на картине, перед ним оживлялись.

— Бедный друг мой!— говорил Карл, когда, бывало, вечером мы сидели вместе за чаем и он всю комнату наполнял дымом своей трубки,— бедный друг мой! Вы не знали его, вы не знали, что это был за человек и какая судьба! Ни с кем не был он так откровенен, как со мною; мне высказывал он свои мысли, подлинно гениальные. О, если б они только созрели в нем, если б он развил все силы, данные ему природою... но нет, судьба не хотела. Сначала его странная мечтательность; потом круг этих людей, этих нравственных убийц; однако это еще не уничтожило его, он заключился в одном себе, удалясь от общества; в то время мы встретились и поняли друг друга. Вальтер начинал отдыхать, мысли его стали развиваться, когда явился какой-то злой дух в виде девушки, он околдовал его, и бедный Эйзенберг подчинился тягостному очарованию, из которого не мог вырваться иначе, как впавши в другое очарование, которое, по крайней мере, было для него отрадно: так умер мой Вальтер. Есть же такие несчастные люди. Право, мне кажется, что природа, наделив его огромными силами, сама испугалась, испугалась, чтоб он не открыл тайн ее, и возбудила на него противные власти, дав ему сверх того этот несчастный ипохондрический характер.

Так говорил Карл, и трубка была забыта, и чай стыл в его чашке.



М. С. Жукова



1804–1855



БАРОН РЕЙХМАН



Ах, как мила моя княжна!
Мне нрав ее всего дороже.
Немножко ветрена, так что же?
Еще милее тем она.

Пушкин



Какая ты хорошенькая, мама!— говорил четырехлетний румяный мальчик в русской рубашке, с светлыми кудрями, как амур Альбана, хлопал ручонками, прыгая на одном месте перед молодою женщиною, которая поправляла перед зеркалом свои черные, атласистые букли.

— Ты любишь маму нарядную?

— Люблю маму, люблю папу.

— А еще кого?

— Люблю дядю Лелю.

Молодая женщина обернулась к ребенку, потрепала его по полной щечке и спросила вполголоса:

— За что же Лелю?

— У Лели славная сабля, золотые снурки. Леля дает мне розовых карамелей; много, много!

— Ты лакомка, Коко!

И Коко получил розовую карамель, вероятно, за то, что был лакомка; Коко закричал с радости и побежал показать няне свое приобретение. Мы будем иметь случай познакомиться с Лелею; теперь скажем только, что Коко давал это имя адьютанту своего папеньки, который по целым часам иногда бегал с ним по залам. Между тем маменька продолжала любоваться своею прическою.

— Мне кажется, эти шатоны совсем ко мне нейдут? Не правда ли, Анюта?

— Ах, сударыня! все, что вы ни наденете, прекрасно к вам. M-r le Bean, который убирает целый город, то же говорит.

— А ты перенимаешь у него?— сказала с довольною улыбкою молодая женщина.— Не кричи, Коко!

— Мама, это Леля выучил меня петь.

— А ты, Serge, ты ничего не скажешь мне об моем туалете?— продолжала она, обратясь к немолодому уже мужчине, стоявшему у камина.

Serge был мужчина лет... в которые уже и мужчины не любят говорить о летах. Уже шесть лет как он был женат и с первого дня женитьбы принял обыкновение раз в неделю посвящать часть утра прекрасным бакенбардам, которые как черный бархат лежали по полным, румяным щекам его. Он освобождал их от серебряных волосков, которые начинали также показываться и на висках его. Но с некоторого времени это занятие сделалось чаще и отнимало более времени у барона.

В 13-м году, при взятии Лейпцига, Serge был уже полковником и бригадным командиром в последнюю турецкую войну. Густые эполеты шли к его высокому, стройному стану, несколько более чем полному, что, однако, его не портило. Он был, что называется, bel homme*; сверстники находили его моложавым, красавицы очень любезным, и комплименты, которыми он осыпал их, не казались еще смешными в устах его. Имя его встречалось далеко в летописях Ливонского ордена и, от времени Плетенберга переходя через века, досталось не без известности предку его, который, вследствие неудачной попытки ливонского дворянства у Карла XII-го, переселился на Русь, где Великан созидал новое царство и привлекал дружелюбно иноземцев. Это пересадное дерево так сдружилось с климатом и почвою, что приняло все свой-

* Красавец *(франц.)*.

ства туземной растительности и от всего немецкого сохранило одно имя, к которому барон был чрезвычайно привязан. Пусть будет он хоть Рейхман.

Густые эполеты барона, равно как и две тысячи душ Натальи Васильевны, супруги его, играли важные роли в их женитьбе. Деревни и эполеты, длинные деревни и густые эполеты суть разнородные вещества, из которых составляется вольтаический столбик большого света, делающий чудеса!.. На сей раз эполеты были проводником, который привлек на генерала благоволение отца Натальи Васильевны, и можно сказать, к счастию ее. Генерал сверх эполет имел порядочное состояние, хотя и не без долгу, как говорили в свете, и множество душевных качеств, которые, казалось, ручались за счастие баронессы. Может быть, он и не влюбился бы в Наталью Васильевну, если б узнал ее в хижине; барон не любил эклог; но теперь он истинно был привязан к ней, как добрый муж.

Но Наталья Васильевна любила его; не скучала его рассказами о Монмартрском сражении, о приступе к Варне и называла его своим героем. Чрез него она имела вход в дворец, бывала на придворных балах, в Белом зале. Честолюбие всегда находит небольшой уголок в сердце женщины; оно развивается, если время и обстоятельства лелеют его, как растение, пересаженное на добрую почву под небом благотворным, и томится как оно, если ни небо, ни почва не благоприятствуют ему. Одним была недовольна баронесса: она находила Сержа слишком матерьяльным, слишком привязанным к прозаической стороне жизни. Он не умел понимать сердца ее. Но как быть? Мир есть страна изгнания, где ничто не совершенно.

При вопросе Натальи Васильевны барон посмотрел на нее с улыбкою несколько насмешливою, что не ускользнуло от ее внимания. С некоторого времени баронесса заметила, что муж ее был как-то странен в обращении с нею; как будто бы он был чем-то недоволен, как будто хотел говорить о чем-то — и не мог. Наталья Васильевна видела это и потому всегда была готова к войне оборонительной.

— Разве мнение мое также значит что-нибудь?— сказал он, не оставляя своего места.

— Негодный!

Баронесса подбежала к мужу, обняла его одною рукою и другую приложила к губам его, говоря:

— Целуй, целуй! А то я поссорюсь с тобою.

— Поссоришься, за что же? Что значит мнение мужа в деле туалета?

— Вот неблагодарность! Да для кого же, если не для вас, господа мужья, хотим мы быть прекрасными?

— Очень благодарны! — отвечал барон, кланяясь в пояс. — Очень благодарны!

Наталья Васильевна казалась недовольною. Барон обнял ее и несколько минут смотрел на нее, любуясь этим милым личиком, на котором досада оставила следы живого румянца.

— Знаешь ли, Наташа, что это платье к тебе очень идет? Эти атласистые плечи кажутся еще белее в этой темной рамке синего бархата.

— Вы очень добры, генерал! — сказала она, ускользая из рук его с видом, который говорил: я хочу, чтоб следовали за мною. «Ласка женщины — золото политика», — думал барон, но исполнил желание своенравной красавицы. Он сел возле туалета ее и с удовольствием смотрел на молодую женщину, которая, стоя перед зеркалом, расправляла свои прекрасные волосы.

— Право, Наташа! ты сегодня вскружишь не одну голову! Бедный Левин!

— Это что значит? — спросила баронесса, обратясь к мужу и совершенно забыв о букле, которую расправляла.

— Что ж вас это удивило так, M-me la baronne!

— Serge, да это ни на что не похоже? этот иронический тон! И к чему тут Левин? — сказала она, подходя к мужу с видом театральной невинности.

— По совести, Наташа, Левин... нам не противен?

— Что за мысль? Уж не ревность ли это! О, как я буду рада!

— Чему же?

— Ревнивый муж! то есть, немного ревнивый: да это прелесть! всегда надежное средство помучить его, отмстить кое за что... самым невинным образом. Ах, как бы я это любила!

— Право? Но ты знаешь, что я не ревнив.

— Ах, да! и это скучно! вечно рассудителен, вечно холоден! С тобою нет средства и поссориться.

— О, не всегда!

— Всегда; ты никогда не выходишь из себя... Скажи же, скажи: зачем говорил ты об Левине.

— Потому что давно хотел говорить с тобою о нем, — отвечал с важностью барон, что смутило немного Наталью Васильевну.

— О, да это становится серьезно,— сказала она, придвинула кресла и села подле мужа, положив руки на плечи его. Она была очень хороша и твердо уверена, что этот маневр обезоружит генерала, который приготовлялся говорить серьезно, и об Левине.

Но генерал почитал себя очень сведущим в женской тактике. Он посмотрел с большею важностию на Наталью Васильевну, на лице которой было написано внутреннее волнение, и вдруг засмеялся.

— О, так и вас, наставниц наших в хитрости, можно провести!— сказал он.— Опыт удался прекрасно!

— Что это значит?

— Неужели ты думала, что Левин может серьезно беспокоить меня? Он добрый, хороший малый, но как я могу думать, чтоб он привлек на себя особенное внимание моей Наташи? Она не может быть соперницею какой-нибудь Лидии Езерской. Той извинительно влюбиться, хоть по уши, в хорошенького поручика Левина: он по всему ей пара, а не тебе.

— Благодарю за доброе мнение,— сказала Наталья Васильевна, несколько покраснев.— Стало быть, г-н барон не совсем неприступен человеческим слабостям, и если бы Левин...

— Был каким-нибудь Байроном или Ламартином, это дело другое. У нас в сердечке есть струны, которые сотрясаются при звуках славы или молвы, разносящей известное имя.

— Может быть.

— Левин имеет приятные таланты, правда; поет очень мило; довольно хорошо знает музыку, но я не вижу в нем ничего особенного. Словом, он не тревожит меня.

— А если б это был не Левин, ты ревновал бы, а?

— Нет; ревность мужа стесняет свободу жены, а я не хотел бы отнимать твоей. Мое дело заботиться о чистоте моего имени, вот и все. Жену без добрых нравов не спасет никакая ревность, никакие предосторожности. Но для чего говорить об этом? Сердце Наташи мне порукою за безопасность мою.

— Но это все для света; ты не боишься потерять сердце жены твоей?

— Да мне кажется, что одно не бывает без другого.

— Ах, Серж, не говори этого; разве нет Петрарков?

— Разве я это сказал? Любовь играет в мяч и ходит

сгорбясь над клюкой. Примеры виданы; следственно, Петрарки возможны.

— Нет, вы ужасны, мужчины! вы никогда не поймете сердца женщины.

Генерал улыбнулся.

— Может быть, Наташа, но я скажу тебе одно: я лучше люблю уступить, чем разделять.

— О, как это решительно и холодно! Ты не знаешь поэзии любви, Серж; твоя любовь есть что-то прозаическое, материальное.

— Мне кажется, эта букля немного низко положена; посмотри, Наташа, не лучше ли так!

Наталья Васильевна взглянула в зеркало как бы нехотя, и ей показалось, что поднятые кверху с выражением сердечной скорби глаза ее придавали ей сходство с белокурыми головками плачущих Магдалин Гвидо, и она улыбнулась; в голове ее мелькнуло сравнение...

— Как смешно одевается эта Езерская! Крошечное лицо и совсем закрыто волосами! Точно моя Бьюти.

— Мнения различны. Я сам слышал, как на бале у князя К. ее называли одною из самых хорошеньких.

— По крайней мере те, которые называли ее так, не могут похвалиться хорошим вкусом.

— Спроси Левина, он, кажется, из первых почитателей красоты ее.

— Что это, mistriss Green, вы не укладываете Коко? Я совсем этим недовольна! Он должен быть в постели в восемь часов.

Она бросила сердитый взгляд на mistriss Green и протянула руку маленькому Коко, который с робостью подошел к ней прощаться.

— Ты привезешь мне гостинцу, мама?

— Поди спать, Коко.

— Я буду умен, мама!

Бедное дитя! хорошенькие глазки его как будто спрашивали, за что сердятся на него? За что? Дитя! он забыл, что сам часто бьет своего картонного солдата, когда сердится на няню! Людям, не привыкшим управлять собою, надо непременно на что-нибудь излить свой гнев: так водится!

БАЛ

Des fracas des fêtes, il ne reste que la lassitude lorsqu' elles sont passées.

*Voltaire**

Le coeur est aussi sujet aux variations que le visage.

*La Beaumelle***

Нет, я не стану описывать бала! Блеск огней, блеск алмазов, нарядов и красоты, сборное место страстей, которые расхаживают в праздничных полумасках; кому это неизвестно? Образ жизни, образ желаний, бал! Кому не представлялся он в очаровательном виде накануне, за час, в минуту, когда, расправляя смятые шляпою волосы, между двумя рядами ливрейных лакеев, по лестнице, украшенной миртами и леандрами, он входил в залу и с минуту был как бы обаян ослепительным блеском искусственного дня, звуками музыки, шумом бала, запахом цветов, и кто, по окончании бала, не садился в карету утомленный, иногда раздосадованный и всегда почти недовольный, с пустотою в душе и чувством обманутого ожидания? Иной вспоминает, что тот-то поклонился ему сухо; другой бранит судьбу и тинтере; одна жалуется, что наряд ее был не из первых, другая на безотчетную грусть, что значит в переводе: была не замечена. Иногда в карете отъезжающих начинается уже домашняя ссора, приправа однообразия супружеской жизни. Муж упрекает дражайшую половину в излишней веселости, в легкомыслии, в кокетстве... О! мужья всегда откровенны, особенно в подобных случаях. Они — сама искренность, когда дело идет не о них. Иногда супруга жалуется на судьбу, давшую ей в удел неизвестность и ничтожество, между тем как подруги ее та важнее, та значительнее, та богаче; во всем этом виновата судьба; а виновная судьба сидит, прижавшись в уголок кареты, и молчит, и пыхтит, пока, наконец, потеряв терпение, выскочит из кареты, и вслед за сим, утром рано, верховой скачет к доктору! Нервическими припадками страдает много женщин!

Но уезжают и с приятными воспоминаниями. Надо быть женщиной, чтоб знать, что значит прелесть получаса между конечным разрушением туалета и первым сном, когда скло-

---

* От шума праздников, когда они позади, остаются лишь скука и усталость. *Вольтер.*

** Сердце так же переменчиво, как и лицо. *Ля Бомель (франц.).*

нясь на руку головою, закрыв глаза, красавица еще слышит звук оркестра, повторяющего быстрые такты мазурки, и милый голосок, нашептывающий: Et vous pouvez douter encore; vous! etc.*, между тем как, следуя движению фигуры, она летит по зале, и глаза его горят, и маменьки, тетеньки, мужья, как бы их и не бывало! А вальс? вальс... Она засыпает в восхищении, упадая на ручку кресел, и сон представляет ей еще этот вальс...

Но с каким чувством возвратилась с балу Наталья Васильевна? что думала она, снимая перья и брильянты? Она бросила их с досадою на туалет, изорвала блонду и, наскоро закутавшись в манто из темного grosgrin, упала в кресла. Ей не помешает мечтать шумное дыхание барона, уже заснувшего крепким сном. На этот раз она забыла жаловаться на скучные русские обычаи.

Странное дело! Когда при входе в зал все лорнеты устремились на баронессу, когда и справа и слева она услышала шепот, который самолюбие перевело ей словами: чудо как хороша! — досада, с которой она приехала на бал, совсем рассеялась. Ей припомнились слова мужа: какой-нибудь Байрон и проч.; и эта молодежь в эполетах, с аксельбантами, в башмаках и бархатных жилетах, озабоченная надеждою будущего веселья, показалась ей мелочною, не стоящею внимания ее. Ей хотелось бы орденов, лент, если б это могло соединяться с молодостью... Она прошла очень важно по зале и еще с большею важностию заняла место в первой кадрили. Но напротив ее... это кажется, Езерская? Смешной наряд! Бедняжка! У нее нет вовсе вкуса! А это Левин? Он совсем на нее не смотрит. Он не сводит глаз с Натальи Васильевны. Смешон, кто любит не в шутку!

Его встретили холодно; не слыхали его вопроса; когда, по окончании первой кадрили, он подошел ангажировать на вторую, сказали, что отозваны на восемь кадрилей; мазурку — также! Нет надежды танцевать с баронессою! нет средства подойти к ней! Наталья Васильевна окружена; она любезна со всеми, не замечает одного Левина; должно отказаться на этот вечер от надежды обратить на себя внимание красавицы. Но вот вальс! Она свободна: рука ее уже на плече Левина, глаза его зажглись, сердце забилось: вот минута узнать причину странной перемены.

— Боже мой! какой вечер, какое страдание...

— Не правда ли? чудесный! прелестный бал! — и вот кра-

* И вы еще сомневаетесь? и т. д. *(франц.)*

савица в экстазе от бала. Круг окончен. Левин откланялся и хочет занять пустое место возле нее.

— Завтра вы обедаете у нас, г-н Левин? Nous ferons de la musique*.

И это сказано так рассеянно, так рассеянно, что Левин не знает, что и думать. Давно ли? вчера еще, в театре, лорнет ее искал его в креслах: во взоре ее было целое небо надежд... вчера и сегодня! О женщины, женщины! что будешь делать тут?— что?— Левин не принадлежал ни к вертеровскому поколению безотрадных вздыхателей, ни к разряду сынов юной Франции, юношей сильных страстями и мышцами, которым не достает только случая, чтоб быть Наполеонами, и воли, чтоб стать наряду с Тассами, Шиллерами, Гумбольдтами, юношами, которых любовь способна зажечь целый шар земной, от одного полюса до другого, начиная хоть с Берингова пролива. Он любил, но вот, видите ли? Он до сих пор мог смело говорить о любви то, что сказал о славной Лаисе греческий мудрец. Греки были снисходительны; у них попасть в мудрецы было не трудно, как у нас. Академия и Лаисы не мешали друг другу. Левин не был врагом первой, но не совсем чуждался и вторых. Читал из Эклезиаста:

За чашей светлого вина

Беседуй с мудрыми мужами — и проч. ...а в городе, особенно люди набожные, называли его mauvais sujet**. Ну, прошу покорно! в Афинах сказали ли бы об Аристиппе: mauvais sujet? О времена!

Mauvais sujet Левин, видя, что он уничтожен в прах гордою красавицею, решился выйти из очарованного круга ее. Он снова обращается к Езерской, зовет ее танцевать. Лидия, не чуя ног под собою от радости, идет как будто равнодушно. Левин осыпает ее комплиментами, расточает перед нею язык ласкательства. Ах, зачем кокетство и любовь имеют один лексикон! Зачем первое похитило даже ее немой язык взоров, этот небесный язык, которого тайну должны бы были стеречь ангелы! Но нет; кокетство и личный интерес, согласуясь между собою, похитили у двух сестер, которых люди зовут «дружба» и «любовь», ключ к гиероглифическому языку их, и бедняжки плачут, обнявшись, смотря, как листы заветных книг их разносит ветер по рынкам большого света, исковерканные, размалеванные и, часто, тем самым привле-

---

* Мы будем музицировать *(франц.)*.

** Повеса *(франц.)*.

кающие внимание большей части толпы. Что ж удивительного? Простое и истинное нравится немногим; новое и странное поражает всех.

Теперь Левин не замечает баронессу. Он весь занят Лидиею; черные глаза его следуют за нею всюду; он говорит с нею таинственно и безумолкно, а безумолкно говорит одна любовь и болтливость. Наталья Васильевна знала Левина как любезного человека, но как болтуна... о, нет! у него болтливо только сердце, а впрочем, он бывает даже мрачен; у него столько поэзии в душе! Баронесса смотрит, точно ли не обманывают ее глаза ее? Нет; вот взор, который еще недавно был столько говорлив для нее — теперь... О вы согласитесь, что если бы в сердце баронессы и не было ничего особенного для Левина, то и тогда неприятно было бы видеть, что птичка разорвала сеть, в которую попалась, да и еще чтоб запутаться в чужом силке! Баронесса принялась завязывать распускающиеся петельки; но дело не клеилось: решительно, птичка на свободе!

Но вот последняя надежда! Генерал подходит к Наталье Васильевне с часами в руках: пора домой! Левин увидит, что она выходит, проводит ее до кареты: это всегда так бывало, и всегда после кареты барона Рейхмана кричат карету Левина. Но его не видно; они сходят с лестницы: в дверях стоят несколько дам.

— Карету Езерской!

Дамы вышли; между головками их на подъезде мелькнуло белое перо и серая шинель.

— Карета Левина!..

О, это уже слишком! При этом воспоминании Наталья Васильевна вскочила с кресел. Слеза блеснула в глазах ее, слезы досады, если смею прибавить. Эта глупенькая Езерская! Да и Левин! Надобно быть очень глупым, чтоб влюбиться в нее! Стоят ли они того, чтоб ими заниматься? Отчего Наталье Васильевне пришлось думать об них, да еще и досадовать! Она отошла от туалета. Серж так добр и, право, мил! Как несносно только, что он начинает храпеть! Надо признаться, что женщины очень несчастливы, а Наталья Васильевна несчастливее всех. О, она очень осердилась бы, если б кто сказал ей противное: такова природа человеческая! Люди, знакомые с несчастием только по слуху, за неимением настоящего отыскивают ложное в своем воображении, и беда, кто будет сомневаться в законности усыновленного дитяти! Истинное несчастие скромно и прячется от взоров

света; ложное тоже закутывается покровами, но так, как красавица Востока, которая нимало не гневается, когда нескромный ветер открывает лицо ее взору любопытного европейца.

НА ДРУГОЙ ДЕНЬ

> К чему же мне души волненье?
> К чему мне чувства жар святой?
> *Козлов*

На другой день бывает многое иначе, как вчера.

Это было ясное зимнее утро. Солнце роскошно рассыпало алмазы и золото по снежным пеленам, в которые природа закутывает наш северный край на длинные шесть месяцев. Как сонливая красавица, нехотя открывая свои прекрасные глаза, приподнимается на подушках и, бросья мгновенный взгляд на опущенные шторы и комнату, погруженную в приятный полусумрак, снова засыпает сладким сном, так солнышко в это время года мгновенно является на горизонте, объемлет огненным взором столицу во всем пространстве ее и снова скрывается на долгий покой, оставляя по себе, как бы в утешение бедному жителю севера, полнеба, зажженного разноцветными огнями зари.

Наталья Васильевна подошла к окну. Иней искрился на граните тротуаров, как искрились глаза ее вчера; теперь они томны, и длинные темные ресницы почти совсем закрывают их. Она печально смотрела на живую картину, которая представилась взорам ее. Казалось, мороз, налагая оковы на растительную жизнь, пробуждал новые силы в животном мире. Пешеходы не шли, а летели, как бы мороз приставлял им крылья; покрытые блестящей пудрою извозчики с заиндевелыми бородами неслись во всю прыть, насилу удерживая лошадей, от которых пар валил столбом; пригожий ярославец в синем чапане и белом фартуке расхаживал перед лавочкою, приглашая прохожих на горячий сбитень, между тем как легкий пар клубился светлым облаком над самоваром; немного далее биржевые извозчики ходили около лошадей, хлопая рукавицами, или боролись при громком смехе окружающих зрителей. Эта картина жизни не развеселила Наталью Васильевну. Уже не было досады в душе ее, но она уступила место тихой грусти. Неприязненное чувство не застаивается в добром сердце; оно проходит как весеннее ненастье, исчезающее при первом луче солнышка; но солнышко не всходило для бедной баронессы! Она сознавалась, что потеря Левина тяжела для нее. Напрасно

желала бы она разувериться: так она любила его, и сердце ее сделало привычку верить любви его. Но кто знает? может быть, судьба, отдаляя от нее Левина, предохраняет ее от многих бедствий. Может быть, все к лучшему. Но неужели никогда не узнать счастья? Мечты, мечты! Ужели никогда не сбываться вам? ужели никогда не услыхать ей «люблю!» из милых уст, не узнать любви поэтической? Она вышла замуж по воле отца; Серж добр, снисходителен, всегда думает об ее удовольствиях; еще сегодня подарил он ей волосяные браслеты, сделанные по заказу и которых давно хотелось ей; но в нем нет поэзии, он не понимает сердца ее!

И ужели любовь к *нему* была бы нарушением ее обязанностей? О, нет! любовь ее была чиста, свята, как любовь небожителей! Она заключила бы ее в сердце, отказалась бы даже от счастия видеть *его,* лишь бы изредка встречать его на бале, на гулянье, но быть уверенной, что она любима, понимаема; никогда не была бы она преступною, нет: слабая женщина была презрительна в глазах ее; она желала бы только знать, что она любима, видеть его издали, из окна.

— Ах!..

Наталья Васильевна в самом деле подошла к окну и в самом деле увидела Левина. Легкие санки его остановились у подъезда.

Она увидит его? Но нет; он, верно, пройдет к барону...

В зале слышны шаги и громкий смех Коко.

— Поди сюда, папа здесь! поди сюда! — кричал Коко и тащил за собою Левина, смеясь, что обманул своего Лелю.

— Скажите после этого, что нет случая!

Как! в эту самую минуту, когда Наталья Васильевна была расположена так нежно... Вы знаете, что одно и то же происшествие будет иметь различные следствия оттого только, что случится минутою раньше или позже? Это не ново, но истинно.

— Pardon, madame! — пробормотал Левин с робостью.

Эта робость удивительно как шла к нему!

Черные глаза молодого человека, как бы пожирающие собственное пламя, красноречиво высказывали то, чего не смели произнести уста его.

Pardon, madame!.. но один взгляд на прекрасную хозяйку показал Левину, что на другой день бывает многое иначе, как вчера.

Нет, ваше превосходительство, господин барон! вы хитрый, но не предусмотрительный политик и не умеете поль-

зоваться открытиями, которые делаете! Вы превосходно понимаете тактику других, а сами плохой тактик! И право, не худо бы было вам позаняться от наших дедов, которые приголубили вашего прадеда. Они были люди не глупые и в семейных делах смышленые.

И надобно же было, чтобы этот день был именно срочный, когда барон занимался своими сребристыми бакенбардами! Будь он свободен, Наталья Васильевна не имела бы случая говорить с Левиным, и это предупредило бы многое, очень неприятное для всех! Но барон был очень занят, и Наталья Васильевна имела время узнать, что холодность Левина, его любовь к Езерской было одно притворство, небольшое мщение; имела время признаться, что это мщение дорого стоило ей.

Ах, барон! лучше было бы вам иметь несколько поболее седин в черных кудрях ваших!

Но должно, однако же, сказать правду: подобные случаи возобновлялись очень редко. Не знаю, инстинктивная ли предосторожность барона или просто случайность была тому причиною, но Левин часто в отчаянии говаривал Наталье Васильевне:

— Никогда невозможно видеть вас одну!

Наталья Васильевна сперва говаривала:

— Что нам до того? лишь бы быть вместе, лишь бы знать, что сердца наши понимают друг друга.

Но потом она стала находить, что приятнее было бы, если б сердца могли чаще беседовать о том свободнее; но это было невозможно: Левин и барон были неразлучны. Первый не мог быть у баронессы, чтоб и другой не был тут же. Странная случайность! И Левин оставался Петрарком в воображении Натальи Васильевны, но ни она и никто, надеюсь, не припишут того попечениям барона. О, нет!

УТРЕННИЙ ВИЗИТ

Врагов имеет в мире всяк,
Но от друзей спаси нас боже!
Уж эти мне друзья, друзья!

Пушкин

Il-y a des reproches qui louent et des louanges qui medisent.

*Larochefoucauld**

— Совершенно прекрасно! Удивительное дарование! — говорил высокий молодой человек в военном мундире с ма-

* Иным упреком можно польстить; иной похвалой — оговорить. *Ларошфуко (франц.).*

ленькими быстрыми глазами и ястребиным носом, стоя за стулом учителя пения, который только что перестал аккомпанировать арию из «Пуритан», с чрезвычайною приятностью пропетую молодою хорошенькою девушкою, румяною, как роза, и с двумя ямочками на полненьких щеках.

Неподалеку от них на диване сидела Езерская, довольно полновесная дама, и возле нее другая, обе уже тех лет, когда каждое утро уносит новую красоту и дарит в замену новые, увы! искусственные розы. Последнюю услугу, кажется, она оказывала только гостье госпожи Езерской.

Молодая девушка, окончив последнюю строфу, подошла к матери, которая, обращаясь к сидевшей возле нее даме, сказала:

— Вы желали присутствовать при уроке моей Лидии, княгиня; я исполнила ваше желание. Мы застали ее врасплох. Не правда ли, г-н Бриозо, Лидия пела, не приготовясь?

— Я просматривала эту арию еще вчера, maman.

— Но вы поете бесподобно, m-lle Lidie,— отвечала княгиня.— У вас очаровательный, прелестный голос!

— M-lle Lidie обещает нам быть украшением наших концертов любителей,— сказал молодой офицер.

— И какая музыкантша?

— О, очень слабая!— возразила maman.— Она еще очень мало училась. Но это правда, что Лидия страстна к музыке и изучает ее как артист. Мы часто ссоримся с нею за это.

— Позвольте взять сторону прекрасной художницы.

— Ах, г-н Готовицкий! Разве для успехов в обществе нужно совершенство? Поверхность идет у нас наряду с глубоким знанием, и полуталанты без больших хлопот приводят в восхищение наши залы. К чему же терять время, здоровье даже, тогда как другие... Но это напрасно! Лидия не хочет слушать, когда я говорю о том.

Жаль только, что maman говорила не совсем правду, и Лидии в подобных случаях слушают очень охотно.

Лидия разбирала ноты.

— О! таланту нужно собственное сознание в превосходстве,— сказал Готовицкий, бросая взор страстного удивления на артистку.

— Вы даете уроки баронессе Рейхман? — спросила княгиня, которой казались скучными комплименты Готовицкого.— Не правда ли, у нее премиленький soprano?

— Ma oui, madame, tres jolie sa voix*,— отвечал итальянец.

* О да, мадам, ее голос очень мил *(франц.)*.

— Баронесса сделала очень много успехов эту зиму,— заметил Готовицкий.— Она часто, всякий день, я слышал, поет с господином Левиным; он очень хороший музыкант.

— Ее совсем не видно в свете,— заметила Езерская.— Скажите, отчего это?

— Я вам это объясню. Баронесса милая, прелестная женщина живого пламенного характера; она ничего не может любить вполовину. Вы помните, как неутомимо посещала она балы? Не было раута, вечера, обеда, где бы не была баронесса; говорили, что она кокетка; я этому не верю. Но впрочем, если это и было, то, право, кокетство не портит прекрасной женщины или, по крайней мере, извинительно ей. Она старалась нравиться мужчинам, бесила женщин, подавала надежды, которые, верно, не исполняла: что же за беда? Зато была мила, насмешлива, прелесть! Теперь она разлюбила общество; зато музыка сделалась ее страстью. По целым дням она сидит за фортепьяно с г-м Левиным. Тут ничего нет дурного. Он каждый день в доме, поет как соловей, так что барон, который не любит пения, часто уезжает из дому. Вы знаете, что она чудесная, истинно добрая мать, но музыка выше всего теперь; и Коко, чтоб не мешал, по целым дням запирают в детскую.

Княгиня улыбнулась, закусывая губы.

— Но г-н Готовицкий, что же можно из этого заключить? Забывать сына, выгонять мужа, оставить свет, и все для того, чтобы петь с господином...

— Левиным, хотите вы сказать? Но это ничего не значит. Левин у них в доме как свой. Он курит трубку в комнате баронессы, катается с нею, не один, конечно, с ними бывает Коко. Баронесса любит его как родного. Я слышал вчера сам, как при выходе из театра она сказала ему: ты. Но это ничего не значит. Знаете, это просто милое свободное обращение женщины без предрассудков...

— О слишком без предрассудков!— сказала княгиня.— Нет, мне, право, жаль баронессы; я люблю ее; мы были дружны с... детства почти. Она предобрая женщина. Этот Левин погубил ее.

— Отчего же? в их дружбе нет ничего виновного.

— Совершенно ничего; я очень уверена! но свет так зол, а она слишком неосторожна: она делает вещи непростительные. Жаль ее!

— Но что же муж? — спросила Езерская.

— Ну что муж, ma cherè! вдвое старее ее! Любовь в очках не далеко видит.

— Если б это было говорено о ком-нибудь другом,— сказал Готовицкий,— я бы заметил вам, mes dames, что у нас вопреки древним в повязке ходил Гимен, а не Амур, которого мы сделали и дальновидным и математиком. Но здесь это некстати. Баронесса, несмотря на разницу в летах, умела выиграть полную доверенность генерала, и очень справедливо, по чести!

— Но свет судит иначе, г-н Готовицкий. Говорят, что баронесса, пользуясь выгодами, которые дает ей молодость и красота, хотя я не нахожу ее прекрасною, но так говорят, итак, что, пользуясь своими преимуществами, она обманывает барона, легковерного, как все мужья-влюбленные; что она жертвует добрым именем, мнением света... О, я не хочу повторять всего, что говорит молва...

— Говорит уже? — прервала Езерская.

— Или заговорит, это все равно; но мне истинно жаль ее. Она прекрасная женщина!

— Вы знаете, что мы скоро идем? — сказал Готовицкий.

— Куда?

— В лагерь. Назначены маневры.

— А генеральша?

— Переезжает на дачу.

— Странно!— Две дамы обменялись взглядом.

— Но осенью мы похитим у вас баронессу. Она переедет к нам в ..., где стоит наш полк.

— И наши зимние балы лишатся своей прекрасной звезды? — сказала княгиня.

— И Левина,— подумала Лидия.

Этот разговор был на французском языке. Г-н Бриозо, как музыкант и итальянец, без труда понял то, что дополняемо было мимикою и тоном голоса. Получив билет, он поспешил развести по ученикам своим приобретенные им сведения. Дорогою он перевел на обыкновенный язык все, что было бы темно в простом рассказе разговора. Перевод начинается так:

— Как! вы не знаете? Да это весь город говорит! Бедный барон! и проч.

Чувствительная княгиня, простясь с Езерской, заехала к кузине, чтоб пожалеть с нею о баронессе, прибавляя: «Бедный Левин! Этот Готовицкий из мщения за то, что Лидия предпочитает ему поручика, готов всклепать на него бог знает что! Бедная баронесса!»

И вот благодаря жалостливому сердцу чувствительной княгини, досаде Езерской на Левина за то, что он совсем

почти оставил дом ее, любезности г-на Бриозо, который любил забавлять новостями учеников своих, благодаря особенно ревности Готовицкого по городу разнеслись слухи, переходили из уст в уста, росли, увеличивались и темною тучею залегли на небосклоне жизни баронессы! Ах, Наталья Васильевна! что было бы вам не удовольствоваться антипоэтическою любовию вашего барона!..

БРАСЛЕТ

> Tous les jeux du hasard n'attirent rien de bon.
>
> *Regnard**

> Moi, publier ma honte? Quelques laches l'ont fait! c'est le dernier avilissement du siècle.
>
> *Beaumarchais***

Это было в первых числах сентября. На дворе была слякоть; мелкий дождь в продолжение нескольких дней сряду не переставал наводнять улицы города, где квартировал полк Левина, и выводил из терпения молодых дам и офицеров, для которых развод, за неимением балов в это время года, был единственным публичным развлечением. Для первых он был целию приятной утренней прогулки, для вторых средством пощеголять перед любопытными красавицами лихим конем и ловкостью наездника. Ненастье мешало молотьбе; яровое большею частью было еще в поле в копнах или стояло на гумне в скирдах; цены на хлеб были низки, да и на базары возила его одна нужда. Поэтому помещики не думали еще оставлять деревень, и в городе было довольно пусто. Офицеры отдыхали после маневров и по вечерам собирались между собою потолковать о производстве, о наградах, о новостях, доставляемых «Инвалидом» и молвою, о лошадях, о новопривезенном табаке, словом, обо всем, что занимает праздную лень офицера.

Г-н председатель гражданской палаты, старый холостяк, отменно любимый генералом и офицерами, давал вечер в день именин своих. Было также много и городских: вице-губернатор, правивший тогда должность губернатора, прокурор, губернский предводитель, словом, весь высший круг,

* Игра случая не приводит к добру. *Реньяр.*

** Открыть всем свой позор, как это делали иные? Нет, это последнее бесчестье века. *Бомарше (франц.).*

кроме председателя уголовной палаты, с которым, как и с другими членами палаты, хозяин был как-то не в ладу. Он был удивительно беспечный и непредусмотрительный человек; знал городские новости всегда после всех; прищурив маленькие глаза, говорил со всеми запанибрата и носил фрак и прическу, как носили лет тридцать тому назад. Тогда ему было едва ли за двадцать пять, и прекрасная прокурорша так любила его прическу!.. Ах! ни за что на свете не согласился бы он переменить ее! Моды проходили над нею, не изменяя ни одного волоса, ни одной букли. Поговаривали, будто он скуп; но вечер, который задал он в свои именины, опровергал это несправедливое обвинение, и г-да офицеры могли засвидетельствовать, что он не жалел шампанского. Он сам с бутылкою в руках ходил между ломберными столами, наливая в пустые бокалы и убеждая опорожнить полные. На многих столах вист уже кончился и начинали сыгрываться, по неудобности расплачиваться крупною монетою.

Левин и несколько офицеров, также и молодых людей во фраках, окружали ломберный стол в небольшом боковом кабинете, смежном с залою. Они отходили от стола, прохаживаясь по зале, снова возвращались и снова садились; рвали карты, краснели, бледнели, звенели золотом. Голубоватый дым от трубок покрывал таинственным туманом присутствовавших. Казалось, то были жрецы незнакомых алтарей, совершающие чудные таинства и приводимые в исступление присутствием неведомого божества их. Разговоров было мало; иногда были слышны энергические воззвания к подземным силам и технические, неизвестные профанам слова: пароли пе! плие, куш-мазу и проч. Генерал входил по временам в комнату, останавливался в дверях, подходил к столу, бросал полуимпериал или червонец и отходил. Звук золота, зеленый стол, исписанный мелом, и разорванные карты под столом имели для генерала ту же прелесть, что для г-на председателя его старинная прическа: прелесть воспоминаний молодости с ее бурями, страстями, утратами... Он много утратил, г-н барон фон Рейхман; и если б не Наталья Васильевна, то бог знает, чем отозвались бы эти утраты мятежной молодости! Но генерал давно уже сделался благоразумным, хотя и не мог иногда не предаться прелести воспоминаний...

Вечер оканчивался; большая часть гостей уже разошлись. Генерал с вице-губернатором очень важно разговаривали о чем-то в гостиной, кажется, о славном гнедом рысаке, не-

давно купленном господином вице-губернатором у откупщика.

Старый, с длинными седыми усами ротмистр председательствовал в таинственном кабинете. Он был главным жрецом и метал банк. Так, кажется, называлось таинство, совершаемое в кабинете. Понтеров было уже немного; самым горячим из них был знакомец наш Готовицкий. Он проигрывался, удвоивал куши и непрестанно изменялся в лице.

— Ва-банк!— сказал он, останавливая ротмистра.

Ротмистр посмотрел на него и продолжал метать. Банкометы умеют, капля по капле, истощать терпение понтеров, медленно опрокидывая карту и вскрывая тихо-тихо темную, так, что понтер успеет испить до дна чашу тревожных волнений ожидания. Старый ротмистр вполне обладал этим искусством.

Раз, два; раз, два — убита! Готовицкий не смутился.

— Double ou quitte*, г-н ротмистр! отвечаете ли вы!

— Игра не так значительна, г-н поручик, извольте.

Безмолвие царствовало в комнате. Ротмистр стасовал карты, подал снять поручику и хотел метать.

— Остановитесь, ротмистр,— сказал Левин, который во все время не отходил от стола.

— Что это значит, г-н Левин? — спросил, вскочив с места, Готовицкий.

— Пересчитайте карты, ротмистр, — хладнокровно продолжал Левин.

— Г-н Левин! что вы хотите сказать? — Готовицкий был бледен, как статуя командора в «Дон Жуане».

— Старо, г-н поручик! надо было выдумать что-нибудь поновее.

— Ротмистр считал карты, но Готовицкий бросил в них целую колоду, бывшую у него в руках.

— Вы поплатитесь, г-н Левин!

— Как вам угодно.

— Берегите лучше подарки и репутацию некоторых дам.

Он бросил что-то с бешенством на стол. Левин схватил его со всею силою за руку.

— Господа, господа! — закричали офицеры, бросаясь к ним.

— Мы увидимся! — вскричал Готовицкий и скрылся.

Левин остался как пораженный громом: на столе между карт, золота, кусков мела лежал тоненький волосяной брас-

---

* Удваиваю ставку *(франц.)*.

лет с замком. В комнате было смятение; кто слушал ротмистра, кто шумел; молодые офицеры собирались разразиться кучею насмешек над бедным браслетом. Левин готовился вызвать на дуэль всех и каждого.

— Honni soit qui mal y pense!* — сказал генерал, подходя к столу и закрывая браслет рукою. Он посмотрел значительно на офицеров, что остановило шутки их.

— Вот что значит быть опрометчиву, господа! Ваше деятельное воображение сочиняет уже целые романы по поводу этого браслета, и вы не видите, что г-н Левин забавляется вашими заботами.

Он положил дружески руку на плечо Левина и, улыбаясь, с совершенно непритворною веселостью сказал:

— Может быть, г-ну поручику нравятся некоторые предположения; он хочет, чтоб для него перебрали имена всех городских красавиц, но этого не будет; мы вас обличим. Этот браслет, господа, есть подарок сестры г-на Левина и при мне отдан был, при прощаньи, помнится?

Можно посудить, что чувствовал Левин, видя в руках генерала прощальный дар прекрасной Натальи Васильевны! Генерал рассматривал его.

— Прекрасная работа! — сказал он и подавил тихонько пружину замка, неизвестную Левину. Замок открылся. Генерал показал Левину браслет.

— Не правда ли, как хорошо вырезан вензель вашей *сестрицы*, кажется?

Это был герб барона.

Генерал увлек за собою из кабинета Левина и, оставя его в зале, поспешно вышел.

ЗАПИСКА

Oh, ciel! etourderie funeste!
*Beaumarchais***

Quels desseins emportés...
*Regnard****

Гнев, шампанское, неожиданность происшествия — все волновало кровь Левина. Весь ужас положения баронессы представился уму его. Что будет с нею, с этим милым, лег-

---

* Позор тому, кто плохо об этом подумает *(франц.)*.
** О небо! О злосчастная оплошность! *Бомарше*.
*** Какие замыслы рухнули... Реньяр *(франц.)*.

комысленным созданием, ветреным, но любящим, слабым, но преданным? Кто будет посредником между ею и справедливо раздраженным мужем? Счастие ее погибло, и навсегда!

Жизнь мужчины двоякая: он семьянин, и вместе с тем на нем лежат гражданские обязанности. Несчастный дома, он может жить внешнею жизнию, еще имеет цель, круг действий, достаточный, чтобы вполне занять душу его. Женщина создана единственно для семейства; круг действий вне его уже чужд ей: она является в нем, как в сфере, ей несвойственной. Деятельность ее сосредоточивается в домашней жизни; она принадлежит обществу как ангел-утешитель земных бедствий, одною благотворительностию. Та, которая захотела бы искать своего счастия вне круга, ей назначенного, рано или поздно узнала бы, что преследует блуждающие огни, завлекающие странника в места непроходимые. Первое основание ее домашнего благополучия есть любовь супруга; потому что, не станем обманываться, власть находится в руках мужчины; он не пренебрегает правом сильного, который охотнее дает законы, чем принимает их, и нередко позволяет себе многое, несообразное с понятиями о равенстве, о котором так часто толкуют нам. Бывает и наоборот, знаю я: супружество есть непрестанная война, в которой превосходство ума или сила характера удерживают за собою победу. Но как мужчины имеют на своей стороне присвоенные или принадлежащие им искони права, не стану этого разбирать, то естественнее предполагать, что зависимость большею частию достается женщинам. Если же тот, кто имеет власть, не имеет любви, какое употребление сделает он из нее! Ответ не труден. Вот почему женщина, которая теряет любовь своего супруга, если б и сама не любила его, есть существо несчастнейшее в мире.

Нам естественно любить тех, которые нас любят; еще свойственнее по самолюбию нашему ненавидеть, кто вопреки обязанности своей не любит нас. Обстоятельства, в которых находилась Наталья Васильевна, были таковы, что мудрено было бы надеяться разуверить барона в истинных чувствованиях жены его. Конечно, в наши времена мужья не убивают за неверность жен, не заключают их в подземелья, не посылают в монастыри, ни даже в деревни, не прибегают к несколько жестким средствам наших праотцов; но лучше ли оттого будет участь Натальи Васильевны, которая потеряла все права на любовь мужа и осуждена, может быть, провести всю жизнь обремененною презрением

его, справедливою недоверчивостью и в каждом слове его, даже не к ней относящемся, видеть тайный упрек или намек на прошедшее? Ужасная мысль! Долгая, мучительная пытка целой жизни!

И все это вдруг представилось уму Левина! Он не думал, что может иметь дуэль с мужем, что может быть убитым или убить его и что этот муж есть начальник его; он видел одну баронессу, робкую, слабую, без сил против угрожающей ей бури; обвинял себя в несчастии ее... Но как могло случиться это несчастье? как попался к Готовицкому браслет? этого он не мог понять. Одно было ясно для него, что Готовицкий был виною всего бедствия: наказать его было единственным желанием его. Он решился зайти к нему в ту же минуту, чтоб назначить час, место, но Готовицкий еще не возвращался. Левин, как и прежде случалось то, вошел в кабинет его и на первом попавшемся лоскутке бумаги написал: «Взаимное оскорбление наше может омыться только кровью». Место, оружие в вашей воле, время — шесть часов».

Он оставил записку на столе и ушел.

Прохладный воздух ночи несколько успокоил волнение Левина. Соображая обстоятельства, он понял, каким образом браслет очутился в руках Готовицкого.

С давнего времени Готовицкий, ненавидевший, как известно, Левина, старался всячески вредить ему. Он распускал под рукою разные слухи, но они не доходили до своей цели, до генерала; клеветал, друзья смеялись с Левиным над клеветником; старался поссорить его с приятелями и прослыл в городе сплетником. Готовицкий рвался от досады, бесился, тем более что Левин не показывал никакого внимания к усилиям его злобы и даже не переменил с ним обращения, как наконец неосторожность Левина доставила Готовицкому случай, которого он давно желал.

В день именин старинного обожателя прекрасной прокурорши Готовицкий приехал утром к Левину и застал его еще в постели. На письменном столе его в беспорядке лежали бумаги, часы, перчатки, последний роман Поль де Кока, том де Жерондо о нравственном усовершенствовании, лорнет, головная щетка, музыкальный альбом и посреди всего этого — волосяной браслет. Внезапная мысль блеснула в голове Готовицкого: схватить браслет и спрятать его в боковой карман было делом одной минуты. Он подошел к Левину, стыдил его за леность, торопил одеваться, рассказывал кучу анекдотов; между тем Левин одевался и хохотал от всей души. Но вот он готов. Готовицкий не дает ему, как гово-

рится, времени образумиться, увлекает его с собою, и Левин мчится по городу, совершенно забыв о браслете. Он пробыл целый день у генерала, где было много офицеров, и только под вечер, почувствовав что-то неловкое на руке, вспомнил, что накануне, возвратясь поздно домой, он нечаянно, второпях расстегнул браслет, поленился надеть его и, положа на стол, бросился в постель. Но что ж за беда? Конечно, он обещал никогда не снимать его, этого заветного талисмана, врученного любовью в память последних обетов; но как узнает об этом мечтательница?

Вы дивитесь, не верите? В самом деле, странно, непростительно! Как забыть прощальный дар, да еще и говорить: как узнает? Где же религиозное чувство любви, где святость обетов? Стало быть, он не любит, не любил никогда Натальи Васильевны?

Э, нет! Он любил и любит, как любят и все. В первые дни разлуки он не забыл бы так заветного браслета; но время удивительно как охлаждает воображение, а ему безошибочно можно приписать все, что любовь имеет восторженного. Без крыльев воображения она была бы чувство простое, не взыскательное; ходила бы по земле, не взбираясь на небеса, и, может быть, супружества оттого не были бы несчастливее. Чем больше мечтательности, тем меньше истины. Можно забыть на столике браслет и любить искренно. Но этому не поверила бы Наталья Васильевна. Любовь есть главное дело в жизни женщины; воображение ее превращает ее в исполина, который владычествует над всем существом ее. Для мужчины — она дитя, которое он любит, лелеет, о котором заботится со всею возможною нежностью; но которое не помешает ему искать развлечений и жить вне круга его. Такова была любовь Левина: он не был фанатиком в любви, но теперь, когда несчастие угрожало женщине, вверившей ему сердце свое, он готов был собственною жизнию искупить ее спокойствие. Барон спас доброе имя ее, но этого было недовольно: надобно было представить его чистым в собственных глазах барона. Но как? что сказать? как опровергнуть свидетельство этого герба, этой пружины, о которой не знала или забыла ему сказать баронесса? Неосторожная отдала ему в минуту разлуки браслет, подаренный ей мужем и сделанный на заказ по воле его. Как уверить барона, что она не так виновна, как он мог предполагать? Он решился говорить с генералом; но уже начинает светать, заря занимается. Готовицкий должен скоро придти; прежде чем увидится с ним, Левин на-

пишет к генералу; секундант его будет иметь поручение в случае смерти его доставить письмо по адресу; если же он останется жив, то объяснится сам с генералом. Он сел к письменному столу, солнышко показалось на краю неба, и луч его проник в комнату Левина. Он положил перо: мысль, что, может быть, это было последнее утро его жизни, молодой и едва развившейся, невольно овладела им... В эту минуту дверь в комнату его отворилась...

АРЕСТ

L'homme prompt à se venger n'attend
que le moment de faire du mal.
*Bacon**

La plus douce vengeance, est un bien-fait.
*Boiste***

— А, кстати! мне нужно было видеть тебя, Владиславский,— сказал Левин вошедшему офицеру.

Это был друг его, полковой адъютант. Он казался встревоженным.

— Ты должен был драться с Готовицким, Левин?

— Ну да!

— И ты писал к нему?

— Что ж из этого?

Владиславский ударил себя рукою в лоб, произнося энергическое проклятие.

— Но он не сделает этого!— прибавил он, помолчав.

— Да что же это все значит?

— Это значит, что таких записок не пишут; что ты поступил как мальчик пятнадцати лет; что Готовицкий подлец и что вызов твой в руках генерала. Понимаешь ли теперь!

Левин стоял, смотря на него во все глаза; но изумление его было непродолжительно.

— Пускай будет, что должно быть,— сказал он, садясь на диван с наружным спокойствием.

— Но я говорю тебе, что он этого не сделает! Клянусь богом, не сделает!

— Кто? генерал?

---

* Готовый отомстить ждет лишь удобного случая для злодеяния. *Бэкон.*

** Самая сладостная месть — благодеяние, *Буат (франц.).*

— Конечно; он горяч, но добр; вспыльчив, но великодушен.

— Да пускай меня судят! Я не хочу великодушия с его стороны. Я поступил опрометчиво, написавши записку; но дело сделано.

— Левин! — сказал Владиславский, остановясь перед ним и как бы пораженный внезапной мыслию.— Ты сомневаешься в генерале!.. Ужели...

— Что ты хочешь сказать?

— Есть тайны, которые должны оставаться тайнами и для дружбы. Я никогда не спрашивал тебя, Левин; но теперь... скажи, ужели слухи...

— Мщение не всегда разборчиво в средствах, Владиславский.

Владиславский ходил скорыми шагами по комнате.

— Ты писал?

— К генералу.

— Хочешь ли, я доставлю письмо твое?

— Я сам увижу генерала.

— Невозможно, ты под арестом.

— А! что ж далее?

— Готовицкий получил приказание идти в отставку.

— И он сам подал записку генералу?

— Чего же ты ждал от подлеца? Генерал позвал его к себе сегодня утром. Он был взбешен и встал на заре. Готовицкий, кажется, уже ожидал этого и вместе с просьбою об отставке подал твою записку. Генерал прочитал ее. Лицо его не изменилось; я смотрел на него пристально. «Вы исполнили вашу обязанность, г-н Готовицкий, открывши начальнику противузаконный поступок,— сказал он,— но вы понимаете, что после этого ни один офицер не захочет встретиться с вами». Он оборотился к нему спиною и вышел.

— И это почти накануне отъезда моего в Петербург! и нет средства наказать этого подлеца! Но он не уйдет от меня! Что? меня пошлют в крепость, разжалуют? Но не на век же! Я отыщу его!

— Надобно это уладить, Александр. Между офицерами начался разговор; они советовались между собою.

Прошло несколько дней. Генерал, казалось, совсем забыл об Левине. Ученья, смотры, вечера, все шло своим порядком. Левин терял терпение. Раз утром он сидел в длинных креслах с трубкою в руках и следуя взором за голубоватою струею дыма, которая, расходясь легким облаком, неприметно исчезала в воздухе. Мысль его была далеко; он думал

о робком, неспособном перенести домашние бури характере баронессы, о средствах переговорить с генералом; собственная участь беспокоила его; вдруг его позвали к генералу.

Не равнодушно вошел он в кабинет, где привык работать каждый день, где бывал как у себя. Генерал стоял посреди комнаты, опираясь рукою на стол. Несмотря на притворное спокойствие, на лице его видны были следы душевного волнения.

— Вы желали иметь отпуск, г-н Левин. Вот он, — сказал генерал, подавая Левину бумагу.— И вот еще вещи, которые я должен вам отдать. Вот ваша записка к негодяю, а это...— прибавил он, подавая браслет.

— Генерал! я должен...

— Я не имею нужды ничего знать, г-н Левин. Возьмите этот браслет; я предоставлю сердцу вашему внушить вам, что вы должны делать.— И, не дав Левину времени отвечать, он вышел в залу, где его ожидало общество офицеров.

Несколько минут стоял Левин, как пораженный громом. Генерал не оставлял ему средства оправдать баронессу. Он поступил с ним великодушно; но чего должна ожидать она? В эту минуту генерал вошел в кабинет в сопровождении многих офицеров, весело разговаривая с ними.

— Господа,— сказал он, — г-н Левин изменяет нашим красавицам: он едет в Петербург. Постарайтесь, чтоб они, если можно, не заметили отсутствия любимого их дансёра. Вы сегодня же едете, г-н Левин? не правда ли? Счастливый путь, г-н поручик, счастливый путь!

СВИДАНИЕ

Минута сладкого свиданья!
И для меня настала ты!

Пушкин

Но ты, и взором, и речами
Наводишь ужас на меня.
. . . .
Какая тайна между нами?

Козлов

Известно, что в Петербурге сентябрь часто вознаграждает за лето, которым на севере иногда пользуются в одном воображении. Несмотря на это, обитатели островов оставляли уже веселые дачи свои, и по Неве, Фонтанке, Мойке тянулись барки, нагруженные мебелью всякого рода и представлявшие смесь предметов, кажется, дивившихся взаим-

ному положению своему. Там цветочные горшки стояли на столах, взгроможденных на диваны; там кресла прятались под ширмами, на которых лежали тюфяки и подушки; там лавровое дерево возвышалось между картонами с шляпками, и поваренные кастрюли красной меди светились возле мраморной головки Венеры. Там на атласном табурете сидела чопорная кухарка, разговаривая с лакеем в синем сюртуке. Все это возвещало конечное запустение островов, которых временные гости, как перелетные стада диких гусей, постоянно направляющих в это время года путь свой на теплый юг, переселяются мало-помалу в город. Наталья Васильевна также оставила дачу, на которой провела все лето, и знакомые собирались к ней между обедом и вечером на так называемые les avant-soirées в собственный дом ее на Фонтанке.

В один вечер небольшое общество собралось в кабинете ее; говорили о новом балете, о будущих балах; разговор был оживлен; вдруг доложили о приезде Левина.

Наталья Васильевна едва могла удержать радостное восклицание.

— Ах! г-н Левин, мы совсем не рады вашему приезду,— сказала молодая дама, сидевшая возле хозяйки.

— Но это совсем не обязательно,— возразил он.

— Что же делать! Ведь вы приехали не для нас, а за баронессою. Вы хотите похитить ее у нас?

— Очень желал бы. Кто же не эгоист на этом свете? Генерал препоручил мне отдать вам это письмо, баронесса!— сказал он, подавая довольно большой пакет и с намерением обращая внимание на знакомую ей печать.

Наталья Васильевна поняла, но встревожилась. Для чего было Левину писать к ней?

— Муж мой здоров, г-н Левин, не правда ли? Я только это и желаю знать; эти депеши можно прочесть и после.

Она положила пакет на этажерку. Разлука еще более украсила Наталью Васильевну в глазах Левина; никогда не находил он ее так прекрасною.

Он, казалось, по-прежнему был весел, любезен; но взоры любви дальновидны. Баронесса с беспокойством заметила скрытую грусть Левина и с нетерпением ждала минуты, когда останется с ним одна. Кто-то из гостей заметил, что пора сжалиться над хозяйкою, которая, верно, горит нетерпением узнать содержание письма. Наталья Васильевна отдохнула. Но Левин взял шляпу и откланялся.

— Я надеялась...— сказала Наталья Васильевна, совершенно потерявшись, но серьезный вид Левина привел ее в себя.— Я надеюсь, что завтра мы увидимся, г-н Левин; вы должны мне подробно описать вашу провинциальную жизнь.

— Я буду для вас дневною запискою генерала, баронесса,— отвечал он, откланиваясь.

Она осталась одна. Рука ее затрепетала, хватаясь за пакет. Для чего он не захотел остаться? К чему эта излишняя предосторожность? Для чего пишет он? Что это все значит? О, как немного надобно, чтобы встревожить сердце, когда одна любовь убаюкивает его опасения! Никакие софизмы не заставят молчать совесть, этого верного мстителя нравов. Он засыпает, но и во сне все брюзжит потихоньку.

Знакомый браслет упал из распечатанного пакета на колени Натальи Васильевны.

РЕШИМОСТЬ

La faiblesse prend souvent des resolutions plus violentes, que l'emportement.
*M-me de Genlis**

L'amant rit dans ses songes, il pleure à son reveil.
*Pythagore***

Прошло несколько дней; кабинет Натальи Васильевны освещен слабо одною лампою, которой свет, проходя чрез матовый хрустальный колпак, распространяет по комнате неверное сияние. Огонек, треща и вспыхивая по временам в камине, бросает яркие отблески на мраморные кариатиды, поддерживающие фронтон, на котором пляшут амуры с бабочками, и на золоченые мебели орехового дерева, напоминающие грубою отделкою своею век Елизаветы.

Наталья Васильевна сидела или почти лежала в высоких креслах перед столом, на котором лежало открытое письмо. Закинутая назад голова ее, бледное лицо, опущенные руки, положение всего тела показывали совершенное нравственное уничтожение. Это была обреченная жертва страдания, ожидающая последнего удара не с покорностию христиани-

---

* Отчаяние способно повелевать слабым мощнее, чем бурный гнев. *М<ада>м де Жанлис.*

** Влюбленный смеется в грезах; пробуждаясь, он плачет. *Пифагор (франц.).*

на, не с твердостию философа, но с немым отчаянием человека, не имеющего ни силы, ни воли. Вдруг лицо ее покрылось краскою. Она приподняла голову и, взяв письмо, пробежала в сотый раз окончание его.

«Что мы должны делать, Natalie? покориться ли жребию нашему и следовать совету благоразумия, или не внимая ничему кроме любви... Милая души моей! я не смею говорить более! Да внушит тебе благородное сердце твое... Жертва велика... Я жду твоего решения».

— Что хочет он сказать? о какой жертве?.. Должно ли отказаться от любви или от света для любви? Но вот уже четыре дня, а его нет! Я ничего не знаю о нем. Нет! он никогда не любил меня!..

Как, и этот голос, так нежно, так упоительно говоривший мне: люблю! этот голос обманывал меня?

Когда здесь, на этом самом месте я слышала слова любви, читала страсть в глазах его, и это все был обман?

Невозможно, невозможно! сердце не может так притворствовать! Ужели ничто не обличило бы обмана?.. Александр обманывал? о, нет! нет! скорее обманет жизнь! Но что же медлит он!

Покориться жребию!.. но этот жребий?.. Оскорбленный муж, раздраженный или холодно презирающий... Кто уверит его, что любовь моя чиста, невинна? Но и самая эта любовь, не есть ли она уже преступление? Как перенести упрек его, как встретить взор его?

Ужасно целый век притворствовать, обманывать человека, которого уважаешь в душе, трепетать каждую минуту, боясь, чтоб взор его не проник в тайну, долженствующую отравить жизнь его; но предстать пред него виновною и без оправдания! переносить ежедневно упрекающий взор его, краснеть при малейшем намеке, трепетать при имени женщины, известной в свете своими слабостями, зная, что есть человек, который все, что скажут об ней, отнесет ко мне, который понимает страдания мои, что взор его ищет следов этого страдания на лице моем, что мщение его наслаждается ими. О нет, нет! Это невыносимо! Это страдания ада! О, лучше смерть...

Но разве нельзя умереть для него, для общества, для целого мира?.. А, это лучше!

Она упала в кресла; лицо ее прояснилось внезапной радостью; но радостью такой, как была бы радость человека, которому тайный друг подал бы кинжал в глубину темницы в минуту, когда он должен был идти на эшафот, обре-

мененный презрением народа, нетерпеливо ожидающего жертвы своего любопытства.

— Но Коко? — сказала она, как бы опомнясь.

— Одеваться, одеваться, Анюта!

ЕЩЕ БАЛ

Беги со мной, и страх мой исчезает.
Козлов

. . . . Qu'un rêve
Commensé dans l'ivresse, avec terreur
s'achève.
*Victor Hugo**

Музыка гремела в великолепном зале; наряды дам спорили в блеске с их красотою; танцующие, сидя попарно, образовали пестрый круг посреди залы; танцевали мазурку. Наблюдатель заметил бы без большого труда одну пару, сидевшую несколько поодаль от других: это была молодая дама, которой наряд отличался простотою и изяществом вкуса. Ни один брильянт не оспаривал блеску ее прекрасных черных глаз, оживленных необыкновенным огнем; цвет лица ее был слишком жив и переменчив, чтоб можно было то приписать единственному удовольствию танцев. Молодой офицер, с которым она танцевала, казался несколько смешанным и столько был занят разговором, что, когда дамы выбирали его, он путал фигуры, говорил невпопад, что скоро было замечено, и красавицы, как бы условясь, наперерыв одна перед другою вызывали его на средину залы, так что разговор замечательной пары прерывался непрестанно.

— Да, Александр, единственно для тебя приехала я сюда, к этой Езерской,— говорила дама. — Я была уверена, что найду тебя здесь. Мне надо было видеть тебя; ты не хотел быть у меня.

— Г-н Левин! Гюльнара или Медора,— сказал высокий гусар, подводя к Левину двух дам. Левин полетел по зале с Гюльнарою.

— Послушай, Александр! здесь должна решиться участь моя. Я не могу видеть барона; одно воспоминание об этом свидании ужасает меня.

— Но что мы можем предпринять? Бога ради, успокойся; нас заметят.

---

* Сны, являющиеся в опьянении, завершаются кошмарами. *Виктор Гюго (франц.).*

— Что мне до того! О, ты знаешь, я не дорожу светом. Но *его* презрение ужасает меня.

— Г-н Левин! Вас избирают в confident*.

Фигура кончилась.

— Ты знаешь, Александр, что вся жизнь моя, все бытие мое принадлежит тебе.

— Завтра, бога ради, завтра! я буду у тебя!

— О нет! теперь! неизвестность мучительнее всего.

В это время хорошенькая головка молоденькой девушки наклонилась к нему, и тихий голосок Езерской шепнул: переменчивость.

Надобно было отправляться по зале искать переменчивость между красавицами.

Он снова возле своей дамы.

— Скажи мне, Александр, но искренно, по совести; послушай, дело идет о целой жизни.

— Обманывал ли я когда-нибудь?

— Настала минута испытания. Скажи мне, любишь ли ты меня? можешь ли пожертвовать мне жизнию, планами, надеждами?

— Что ты хочешь сказать!

— Ты знаешь, что я богата, могу располагать значительным капиталом.

— К чему это?

— Хочешь ли следовать за мною за границу?

— Возможно ли?

— Почему же? там меня не знают; там скроюсь я от взоров, которые с жадностью стали бы здесь наслаждаться моим несчастием, моим стыдом. Поедем! В развалинах Рима, в горах Швейцарии или в лабиринте обширного Лондона я скроюсь неизвестная, забытая...

— Но...

— Я не приневоливаю тебя разделять мою безвестность, мое уединение; нет, будь в свете, в обществе и возвращайся ко мне, когда сердце твое будет иметь нужду в друге.

— А Коко!

— Я вижу только образ раздраженного мужа, мой стыд вечную разлуку с тобою.

— Но Коко?

— О, ты жесток, Александр!

В это время в руке его очутилась червонная дама. Моло-

* Поверенный *(франц.)*.

дой франт в прозрачных чулках подошел к Наталье Васильевне с трефовым королем, и все понеслись.

Надобно признаться, что мазурка не совсем удобна для объяснений.

— Выслушай меня, Natalie! — сказал Левин, возвращаясь на свое место. — Любовь есть счастье жизни; она — мое благо, моя отрада; ей готов я жертвовать связями, честолюбием, обществом, жизнию, если нужно. Но есть нечто выше любви — честь!

— Я не думала этого, я не говорила этого, когда отдавала тебе сердце! — говорила она с раздирающим душу отчаянием и закрывая лицо платком, как будто бы желая навеять на него прохладный ветерок.

— Должен ли я забыть великодушный поступок твоего мужа? — продолжал Александр. — Сделать баснею города имя его и отвечать черною неблагодарностию на доверенность, с которою он отпустил меня?

Наталья Васильевна тяжело дышала, скрывая страдания души, изнемогавшей под бременем их, под веселою улыбкою, с которою смотрела вокруг себя.

— Должен ли тебя, за любовь твою, за преданность, повергнуть в бездну несчастий, отнять у сына мать и покрыть стыдом женщину, вверившую мне судьбу свою? Есть жизнь сердца, милый друг; но есть и жизнь общественная: и та и другая требуют жертв...

— Довольно, Александр... Мы можем кончить, — сказала она и в ту же минуту скрылась в рядах зрителей, окружавших танцующих. Левин последовал за нею, но ее уже не было.

МУЖ

> On ne perd qu'une fois la vie et la confianse.
>
> *P. Syrus**
>
> O Dieu, aye pitié de moi selon ta miséricorde!
>
> *Les Pseaume***

С душою растерзанною вбежала в кабинет свой баронесса, бледная как смерть, и первый предмет, представившийся взорам ее, был — муж.

---

* Жизнь и доверие теряют лишь однажды. *П. Сирюс.*

** О боже, пощади меня по милосердию твоему! *Псалмы (франц.).*

Она остановилась на одном месте как окаменелая; это не была Ниоба: там есть страдание, а здесь была холодная неподвижность смерти, но смерти, застигнувшей жертву свою в минуту высочайшего бедствия, возможного на земле.

Барон подошел к ней свободно и с видом совершенно непринужденным.

— Ты не ожидала меня, Наташа?

— Нет... и... я рада.

— О, я не сомневаюсь: это приятный сюрприз, не правда ли?

— Конечно!

— Ты еще похорошела, Наташа! право. Какой наряд! Я очень рад, что ты не оставляешь света и ищешь развлечения.

— О, если б я знала, что ты будешь...

— Хорошо, что не знала; я не хочу, совершенно не хочу мешать твоим удовольствиям. Ты должна быть свободна во всем!

Наталья Васильевна упала в кресла, не имея более сил выносить страдания душевного. Ничего не замечая, барон поместился на диване против нее; рассказывал о своем путешествии, о маневрах, о жизни своей в ..., расспрашивал о знакомых; принесли ужин; он приглашал Наталью Васильевну отведать его походный пир, как говорил он, шутя и смеясь, как будто все было по-прежнему.

Ужин окончен. Генерал встал.

— Да! я забыл тебя спросить, Наташа!— сказал он, остановясь перед женою с видом притворного равнодушия.— Я желал бы знать, где проведешь ты зиму?

— Где... хочешь ты.

— Нет, ты свободна в выборе. Но я возьму с собою Коко.

— О, и меня!— вскричала Наталья Васильевна; в голосе ее слышалось сердце матери.

— Как ты хочешь! Человек! постель мне в моем кабинете! Вот видите, Наталья Васильевна: вы всегда будете свободны во всем, что касается до вас. Хотите ли остаться здесь или провести зиму со мною, что, мимоходом замечу, было бы благоразумнее для прекращения некоторых слухов; угодно ли вам ехать за границу или в деревни ваши, я вам ни в чем не буду прекословить. Я предоставлю себе только право располагать участью моего Константина и уверенность, что он останется единственным преемником моего имени. Добрая ночь, баронесса!

И оп вышел . . . .

. . . .

Наталья Васильевна провела зиму с мужем. Теперь она в южной Франции, куда поехала с своею теткою по совету докторов. Коко в солдатской шинели марширует по зале с генералом. Левин во фраке; он не возвращался более в полк. Недавно была помолвка его с Езерскою. Готовицкий — но Готовицкие не стоят, чтоб занимались судьбою их.



В. А. Соллогубъ

1813–1882



ИСТОРИЯ ДВУХ КАЛОШ



Посвящено М. Ф. Козловой

ПРЕДИСЛОВИЕ

Pereant qui ante nos nostra dixerunt.
*Goethe**



так много в жизни своей ходил пешком и столько в жизни своей переносил калош, что невольно вселилась в душе моей какая-то особенная нежность ко всем калошам. Не говоря уже о неоспоримой их пользе, как не быть тронутым их скромностью, как не пожалеть о горькой их участи? Бедные калоши! Люди, которые исключительно им обязаны тем, что они находятся *на приличной ноге* в большом свете, прячут их со стыдом и неблагодарностью в уголках передней; а там они, бедные, лежат забрызганные, затоптанные, в обществе лакеев, без всякого уважения. И как, скажите, не позавидовать им блестящей участи своих однослуживок, счастием избалованных лайко-

---

* Да погибнут те, кто раньше нас высказал нашу мысль. *Гете (лат.).*

вых перчаток? Их то и дело, что *на руках носят;* им слава и почтение; они жмут в мазурке чудную ручку, они обхватывают в вальсе стройный стан, и не они ли отличают в большом свете истинное достоинство каждого человека и степень его аристократизма? О перчатках говорят в лучших обществах между погодою и театром, говорят дамы, говорят графини, говорят княгини, молодые и старые, а более молодые. О бедных калошах никто не говорит, или изредка замолвит о них стыдливое словечко бедный чиновник на ухо товарищу, подняв шинель и шагая по грязи...

Ей-богу, меня всякий раз досада разбирает, когда я подумаю, как странно все разделено на свете! Сколько людей... сколько калош, хотел я сказать, затоптанных и забытых, тогда как лайковые перчатки с своею блестящею наружностью, с своею ничтожною пользою блаженствуют вполне!

Многие прежде меня писали мелкие биографии разных вещиц: булавочек, лорнетов, шалей и тому подобного. Но они или приписывали им нежные чувства, весьма неуместные в булавках и лорнетах, или вооружали их испытующим оком, сердито следящим за грешными мирскими слабостями. Цель моя другая. Я не представлю вам разрозненных листков журнала какой-нибудь калоши сантиментальной, непонятой каким-нибудь жестокосердным сапогом. Я не стану описывать вам похождения калоши сардонической, наблюдающей все нравы без исключения, даже нравы тех гостиных, куда ее не пускают. Будьте спокойны! Это все слишком старо и было бы в подражательном вкусе; а век наш, в особенности век молодых литераторов, самостоятелен и нов. Я расскажу вам просто историю двух калош *кожаных.*

ПРИГЛАШЕНИЕ НА БАЛ

Иоганн-Петер-Аугуст-Мариа Мюллер, «сапожных дел мастер», по выставке «приехавший из Парижа», а действительно из окрестностей Риги, проснулся однажды очень рано, протянул руки, поправил бумажный колпак, упавший ему на нос, и толкнул жену под бок.

— Вставай, Марья Карловна! Дай мне бритвы, да черные брюки, да белую манишку. Надо отнести надворному советнику Федоренке пару калош, которые обещал я ему к пятнице (а эта пятница была тому две недели). Я побреюсь, а ты вели подмастерье Ваньке вычистить калоши почище, как зеркало. Слышишь ли? — прибавил с гордо-

стью сапожник.— Пусть полюбуется да посмотрит: работа не русская какая-нибудь, работа чисто немецкая, без ошибки и фальши; не будь я Иоганн-Петер-Аугуст...

Он не успел окончить, как Марья Карловна уже возвратилась с ужасом на лице, с калошами в руках.

— Ванька был пьян вчера, — кричала она, — калоши испорчены!

Бритва упала из рук Мюллера.

— Gott schwer Noth!* Калоши надворного советника! Solche allerliebste Kaloschen!..** — Он их выхватил из рук жены. Действительно, делать было нечего. Калоши были испорчены. Правая подрезана сбоку и проколота шилом, а левая облита чем-то нехорошим.

Мюллер был в бешенстве.

— Ванька! — закричал он громовым голосом. — Что это такое?..

Полуглупая-полулукавая фигура Ваньки с заспанными глазами, в затрапезном халате показалась в дверях, почесывая затылок.

— Что это такое? — продолжал грозный сапожник, указывая на калоши.

— Не могу знать.

— Как «не могу знать»? Я говорю, что такое?

— А почему же я знаю?

Мюллер, вне себя от гнева, ударил трижды калошами по щекам Ваньки. Ванька завыл, как теленок; Мюллер успокоился.

«Ну что же мне делать? — подумал он. — Не бросить же калоши! Надворному советнику Федоренке отнести их невозможно: он знаток. Даром пропадут... Хоть бы сбыть кому-нибудь... Да бишь! Онамедни приходил музыкант заказывать калоши. Разве ему отнести? Да! да ведь эти музыканты... с них денежек не жди: народ известный! А!..— заключил сапожник, хлопнув себя по лбу.— В воскресенье рожденье Марьи Карловны».

Он завернул калоши в бумажный платок, бросил их под мышку и, надев шляпу набок, потому что он между всеми сапожниками слыл щеголем, вышел на улицу.

С Малой Морской, где жил Мюллер, он поворотил к Синему мосту и пошел в Коломну. В Коломне остановился он у высокого дома с нечистыми воротами, перед которыми дворник играл на балалайке.

---

* Наказанье божье! *(нем.)*

** Такие прелестные калоши!.. *(нем.)*

— Здесь живет господин Шульц? — спросил Мюллер.

Дворник посмотрел на немца и, отворотившись, отвечал:

— Таких нет.

— Господин Шульц, музыкант.

— Есть какой-то немец, музыкант, что ли, кто их там разберет этих всех музыкантов! Ступайте в самый верх. Он так он, а не то ищите в другом месте.

Вскарабкавшись по узкой лестнице под самую крышу дома, Мюллер остановился у дверей, на которых была прибита бумажка с надписью: «Karl Schultz, musicus».* Мюллер отворил двери.

Молодой человек с бледным лицом и впалыми глазами сидел, опершись обоими локтями на столик простого дерева, и руками держался за голову. На столике лежало несколько книг и писаные ноты. В комнате все было пусто, лишь в углу несколько соломенных стульев изображали кровать. Стены, когда-то выбеленные, наклонялись под скат крыши. Впрочем, в комнате было пусто и мрачно, тут была нищета, нищета ужасная, во всей своей наготе. Неожиданная картина поразила Мюллера. Он остановился у дверей и не понимал, какое им овладело чувство. Добрый немец, пораженный такою бедностью, оробел и с усилием прошептал вполголоса:

— Калоши ваши готовы...

Молодой человек обернулся и печально посмотрел на сапожника.

— Я вам говорил, — отвечал он, — что я сам за ними зайду. Теперь у меня нет денег.

— Помилуйте, господин Шульц. Зачем вам себя беспокоить? Сочтемся после. А теперь погода сырая, калоши нужны...

Бедный музыкант встал с своего места и взял Мюллера за руку.

— Вы добрый человек! — сказал он.

Мюллер смешался. Совесть его мучила. Он хотел бежать от искушенья. Однако как быть? В воскресенье рожденье Марьи Карловны. Будут гости.

— Господин Шульц, — прошептал он опять, повертывая шляпу в руках, — у меня... до вас... просьба. В воскресенье рожденье жены моей, Марьи Карловны. У нас будут гости. Я желал бы доставить им приятное занятие.

---

* Карл Шульц, музыкант (*лат.*).

Марья Карловна очень любит танцевать, а играть некому. А так, без танцев, время проходит скучно. Да вот и сапожника Премфефера жена без танцев жить не может.

— В котором часу? — спросил Шульц.

— Да часов в шесть, — продолжал, кланяясь, Мюллер, — часов в шесть. Мы постараемся, чтобы вам не было скучно. А об калошах, пожалуйста, не думайте. Это безделица!.. Ну уж будет сюрприз Марье Карловне!

Обрадованный Мюллер побежал в восторге домой и во всю дорогу напевал разные вальсы и перигурдины.

А бедный музыкант упал на соломенный свой стул, закрыл лицо руками и горько заплакал. «Вот до чего я дожил! — подумал он. — Из пары калош должен я целый вечер играть на именинах у сапожника!..»

ДЕТСТВО

Карл Шульц родился в Германии. Отец его, зажиточный дворянин с немецкою спесью, жил недалеко от Дюссельдорфа в своем имении, где на старости лет он от нечего делать сделался хозяином. Жена его давно уже скончалась, а домом управляла ключница, сердитая и злая, под названием Маргариты. Вообще, как нет ничего глупее глупого француза, так нет ничего злее и хуже сердитой немки. Маргарита была женщина лет сорока, высокая, худая, с багровыми щеками, гроза целого дома. Главное очарованье ее для старого Шульца составляло особое искусство стряпать разные кушанья с изюмом и черносливом, до которых старик был большой охотник. Мало-помалу прибрала она все хозяйство в руки, сделалась госпожой в доме и выслала всех своих противников. Но в особенности не любила Маргарита маленького Карла, как живое препятствие, которое всех труднее было отстранить. Карл учился в Дюссельдорфе в городском училище, и учился, сказать правду, довольно дурно, как все дети с пылким воображением. Признаться, скучно затверживать глаголы, склонять имена существительные и марать грифельные доски, когда в голове вертятся волшебные замки, рыцари в золотых латах и все чудные видения ребяческой мечты. Карл учился дурно: учители жаловались; Маргарита уверяла старого Шульца, что сын его негодяй, повеса, годный только для виселицы. Возвращаясь из школы своей, Карл только и слышал, что толки о картофеле да крупную брань. Это ему надоело: он был одарен душой любящей и

нежной; но в то же время гордость его доходила до упрямства. Он был из числа тех характеров, над которыми всесильно слово любви, а угроза немощна.

Чем более его бранили, тем более он отвращался от наук, и слова Маргариты действительно бы оправдались, если б странный случай не открыл ему нового направления.

Однажды он шел по дюссельдорфским улицам с заплаканными глазами: отец ударил его поутру палкой, а Маргарита вытолкала его из дома. Бедный мальчик, с грамматикой под мышкой, остановился перед церковью и призадумался. Участь его была горька: он был один в начале жизни, а душа его просила подпоры. Что делать бедному мальчику? Кто сжалится над ним? Невольно вошел он в церковь, чтоб рассеять свое горе, сел на лавку и начал слушать проповедь. Проповедь кончилась. Орган величественно зазвучал. Мальчик поднял голову и начал слушать. Новое чувство обдало его невыразимой теплотой. Мало-помалу перед ним начал развертываться новый, необъятный мир. Голова его терялась. Ему показалось, что в душе его стало широко, что будто ум его ребяческий мужал с каждым звуком. Он задрожал и заплакал. Назначение его ему было открыто, утешение найдено, цель достигнута: он был музыкантом.

Обедня кончилась. Карл дожидался на паперти, пока маленький органист, в напудренном парике, с очками и бесконечным носом, выкарабкался с верха по крутой лестнице. Карл его остановил.

— Вы играли?

— Я.

— Вы славно играли!

Старичок засмеялся. Нос его показался еще длиннее, а очки на носу запрыгали.

— Я хочу учиться музыке! — подхватил Карл.

— Учись.

— Где вы живете?

— Рядом.

— Я пойду с вами, пойду к вам, буду учиться у ва Вы меня сделаете музыкантом?

Большой нос опять засмеялся. Карл пошел за ним Органист, смеясь, посадил его за маленькие клавикорды — единственное украшение безроскошной комнатки — и начал объяснять ему музыкальные интервалы и все сухое предисловие поэзии звуков. Мальчик едва переводил ды-

ханье; слова органиста врезывались в его памяти; он слушал с почтением и вдруг вскочил с своего стула и обнял старика с большим носом, как он никогда еще никого не обнимал. Старик был тронут. Он был тоже одинок; ему тоже было не с кем душу отвести. Странное сходство сблизило старика с ребенком. Оба были отчуждены от света — один в начале своей жизни, другой уже при конце; в их положении было что-то взаимное и родственное. Старичок прижал мальчика к сердцу своему, как отец, долго не видавший своего сына. С тех пор они были неразлучны; с тех пор маленький Карл каждый день находил средства убегать из школы, чтобы посетить своего учителя, чтобы наслушаться, чтобы надышаться его восторженною речью. Старичок был из числа тех людей, которые, пристрастясь к одной мысли, породнившись с одним чувством, ими только дышат и живут: музыка была его мир, его собственность — то, что воздух для птицы. О ней говорил он с почтением, как о таинстве, с любовью, как о верном друге. Но никогда старичок так не воспламенялся, никогда очки так высоко не прыгали на бесконечном носу его, как когда он заговаривал об ученом своем друге, о великом Бетховене. Они учились вместе у Фан-Эндена, жили вместе, были вместе молоды, а потом расстались для того, чтобы бедному органисту умереть в безвестности, в уголке своей церкви, для того, чтобы Бетховену умереть в горе и нищете, увенчанному двойным венком несчастия и славы. Это благоговение к имени великого музыканта, эту чистую страсть к возвышенной музыке старичок вполне передал Карлу. Посвященный в новое таинство, Карл выучился читать на невидимых скрижалях, говорить языком, доступным не для многих, и возвышать душу до сверхземных созерцаний. С тех пор жизнь его приняла новое направление, с тех пор школьная жизнь показалась ему еще более несносною и отвратительною.

Бедный мальчик был жертвою избытка сил своей души. Он подумал, что одной поэзии для жизни достаточно; он подавил ум чувством, существенность — воображением. Он ошибочно понял свое значение — и погубил себя в будущем. Учители его с новым негодованием объявили старику Шульцу, что сын его по целым дням пропадает без вести и что тетради его вместо латинских переводов и рассуждений о римской истории все исписаны диэзами и бемолями. Маргарита торжествовала. Старик Шульц запретил Карлу показываться ему на глаза. С тех пор возврат

на должную стезю был для мальчика невозможен. Я говорил выше: слово любви могло бы остановить его, переломить его упрямство; угроза только более и более его раздражала: он не просил прощения, он не обещал исправиться — бросил книги в окно и сделался музыкантом.

МОЛОДОСТЬ

Так прошло несколько лет.

Мальчик сделался юношей, органист сделался дряхлым стариком. Жизненные силы его постепенно стали ослабевать; кончина его приближалась. Наконец, после одного большого праздника, где он непременно хотел сам играть на органе и где играл он с глубоким вдохновением, принесли его без чувств домой, и через несколько часов Карл стоял уже, задумчивый и бледный, над его охладевшим трупом. Смерть органиста была вторая торжественная минута в жизни Карла. После первого восторга наступила первая задумчивость. Задумался Карл о бренности земной, об этом странном составе огня и грязи, который называют человеком. В первый раз он с удивлением и ужасом заметил, что в жизни нет ничего существенного, что жизнь сама по себе ничто, что она только тень, тень неосязаемая чего-то невидимого и непонятного. Ему стало холодно и страшно...

О, как дорого дал бы он тогда, чтобы поплакать на груди существа любимого, чтоб утопить в слезах любви новое, ядовитое чувство, которое начало вкрадываться в его душу! Он был снова один, совершенно один. Мысль эта его душила. Он понимал, что в минуту скорби одно только и есть утешение — это созвучие другой души, которая страдает одинаким горем. Он вспомнил тогда об отце своем; он побежал к отцу, чтоб броситься к его ногам, чтобы просить его пощады и благословения, чтоб вымолить его отеческую любовь, чтобы выплакать его отеческую ласку. В доме у отца нашел он торжественную суматоху: по лестнице бегали слуги, в гостиной играла музыка; старик праздновал свадьбу свою с Маргаритой. Он выслал сыну небольшой мешок с деньгами и запрещение к нему показываться.

Что делать Карлу? С сердцем, глубоко уязвленным, он убежал от родительского дома, и убежал далеко от Дюссельдорфа, без цели и желаний.

В жизни бывают бедствия двоякого рода: бедствия по-

ложительные и бедствия отрицательные. Первые доступны всем, понятны всякому: потеря имения, смерть ближнего, сердитая жена, мучительная болезнь. Но есть другие бедствия, бедствия, никем не видимые и непонятные, которые сжимают душу, которые уязвляют сердце, давят как камень и душат как домовой. Это бедствия отрицательные, в которых нельзя отдать отчета, которые скрываешь от всех. Мы стараемся и сами укрыться от них, как от хищного зверя; мы призываем в помощь все, что прежде нам ярко сияло, все, что мы горячо и свято любили; мы обращаемся ко всем верованиям нашей души, ко всем светлым нашим воспоминаниям...

Шульц вспомнил о Бетховене. Благодаря покойному органисту Бетховен был для него венцом создания, высшим выражением всего, что только может быть музыкального и поэтического на земле. Он мысленно окружал его лазурным сиянием; он веровал в его славу, как в молитву. Он хотел повергнуться в прах пред чудной его силой и ожидать от нее назначения своему бытию.

Шульц отправился в Вену.

Шум городской, быт столичный, все позолоченные погремушки имели мало для него прелести. Он везде спрашивал о Бетховене; но его и не знали, или знали только понаслышке, как человека, имеющего порядочный бас. «Что ж это? — думал Шульц. — Где храмы, воздвигнутые гению? Где же скрывается сам гений?..»

Наконец, проходя однажды по узкому переулку, увидел он вдали старичка, писавшего что-то углем на стене. Кругом мальчики указывали на старика пальцем, дергали его за кафтан и хохотали между собою. Старичок не замечал ничего и продолжал писать. Наружность его была самая странная: седые волосы падали в беспорядке до плеч; кафтан коричневого цвета был изношен до невероятности; красный платок, обвитый около его шеи, придавал какой-то фантастический оттенок глубоким его морщинам и седым волосам. Дрожащей рукой набрасывал он знаки на ветхой стене и вдруг останавливался и наклонял ухо, как будто прислушивался к чему-то. Шульц принял его за сумасшедшего. Наконец старичок задумчиво улыбнулся и продолжал путь свой вдоль по переулку, опустив голову и в сопровождении веселой толпы, которая прыгала и кувыркалась вокруг него.

Карл взглянул на стену, и чувство музыкальное закипело в его груди. В этих безобразных знаках увидел он

новую оригинальную мелодию, что-то небывалое и гениальное.

— Кто этот старичок? — закричал он проходящему.

— Музыкант Бетховен.

«Бетховен!..» Шульц бросился за стариком. Старичок был уже на конце переулка и медленно, медленно скрывался за стеною. В эту минуту Шульцу показалось, что вся слава земная промелькнула пред ним тихо и таинственно, как какая-то страшная тень в рубище. Бетховен скрылся — и более Шульцу не привелось его видеть. Бетховену недолго осталось жить, и мысль его, теряясь в необъятном, уже стряхнула с себя все земное. Какие звуки непостигаемые и невыражаемые должны были раздаваться тогда в душе его! Казалось, он был лишен слуха для того, чтоб лучше и полнее прислушиваться к внутреннему голосу гения своего, чтобы в восторге внутреннего песнопения окончить жизнь свою, как последний возглас гимна чудного, никем не слыханного.

И тогда один только Шульц в этой роскошной Вене, столь славной своей любовью к искусству, один Шульц понял, что было великого в кончине великого мужа.

КНЯГИНЯ

Извините меня, строгая моя читательница, если я так скоро перебегаю от одного впечатления к другому, переношу вас так быстро от одного портрета к другому портрету. Мысль моя скачет на почтовых, а перо тащится на долгих; не знаю, право, как их согласить. Впрочем, вы, добрая читательница, вы привыкли видеть, как все в жизни переменчиво и сбивчиво. Зачем же ожидать вам от повести моей более толка? Не правда ли?..

В одном доме с Карлом жила в бельэтаже русская княгиня, приехавшая из Петербурга. Княгиня Г. (назовем ее хоть этой буквой) имела большое состояние и была известна своей любовью к искусствам. О живописи говорила она с восхищением, о музыке едва не с нервными припадками. В целой Европе слыла она женщиной поэтической. Ей было сорок лет.

В сорок лет, что ни говори Бальзак, женщина в неприятном положении. До сорока лет ей достаточно ее лица; в сорок лет ей нужно особое значение, особенный характер: ей нужно прославиться какой-нибудь индивидуальностью, чтоб избегнуть общей, пошлой участи всех велико-

чепечных бостонных игриц. В нынешнее время выбор этой индивидуальности весьма затруднителен. Ханжество утомительно; остроумие опасно; политика не нужна; литература mauvais genre:* остается любовь к изящному. Княгиня ею вооружилась и по ней составила себе особый род жизни. Гостиная ее сделалась сборищем всех талантов и всех званий. В ней живописец давал руку герцогу, виолончелист дружился с флейтою, актер спорил с поэтом. Знатность и достоинство, дипломатия и музыка сталкивались каждый вечер на художественном базаре русской путешественницы. Сказать правду, княгиня была нрава положительного, сухого, совершенно в противоположность роли, которую она играла; у нее все было обдумано и начертано наперед, и энтузиазм ее был заготовлен, и каждый ее поступок был рассчитан заранее. Таким образом она решила, что для аспазийского ее салона необходима вывеска. Вывеской, как известно вам, моя читательница, называется хорошенькое личико с пышными локонами, которое разливает чай и улыбается. Выбор княгини пал на Генриетту***. Бедная Генриетта вступила в это несчастное звание, среднее между дочерью и горничной, которое называют demoiselle decompagnie**.

У нее не было родных, не было состояния. Тетка, у которой она жила в Петербурге, с радостью приняла блестящее предложение и отпустила племянницу свою в дальнее путешествие с русской княгиней. Бедная Генриетта долго плакала: ей жалко было оставить маленький домик, где были все ее воспоминания, где мать ее, добрая немка, благословила ее на смертном одре, где отец ее, бедный чиновник, трудился и долго ждал лучшей участи. Она очутилась в новом мире, где все ей было дико. В гостиной, где посадили ее за серебряным самоваром, услышала она новый язык, увидела новые лица и наряды, познакомилась с новыми понятиями и страстями, дотоле ей вовсе неведомыми. Расчет княгини был верен: молодые люди начали вертеться около Генриетты и любезничать слегка, как любезничают молодые люди большого света, посвятившие себя удовольствию. Генриетта слушала их с досадой: она понимала, что она для них была игрушкой, забавным препровождением времени, но что ни одно теплое чувство сожаления или преданности к ней не заронилось в эти груди, затяну-

* Дурной тон *(франц.)*.
** Компаньонка *(франц.)*.

тые модными жилетами. В этом общем равнодушии, господствующем в большом свете, музыка была ее единственною отрадою. Княгиня умела и тем воспользоваться. Каждый вечер, когда гостиная ее наполнялась гостями, она обращалась к Генриетте и ласково просила ее сыграть вариации Герца или концерт Калкбреннера. Бедная девушка, которая отдала бы все на свете, чтоб скрыться от этого шумного сборища, садилась за рояль и терпеливо слушала все выученные комплименты, которые сыпались около нее.

Однажды вечером, когда, окончив блистательное capriccio, испещренное всеми трудностями и скачками новейших фортепьянистов, сидела она, потупив голову и опустив руки на колени, услыхала она подле себя следующий вопрос:

— Что думаете вы об этой музыке, господин Шульц?

— Я думаю, что это не музыка,— отвечал он хладнокровно.

Генриетта невольно подняла голову: высокий рост, бледное лицо и неуместность отзыва показались ей так странными, так неприличными, что женское ее любопытство невольно разыгралось.

— Когда актер, — продолжал Шульц, — выступает на сцену и красноречивым искусством выражает вам все человеческие страсти, неужели не отдадите вы ему преимущества над бессмысленным прыгуном, который кувыркается перед толпой? Когда живописец, свыше вдохновенный, изобразил вам святой лик Мадонны, неужели вы станете восхищаться карикатурами? Отчего же вы думаете, что в музыке нет подобных ступеней, что в музыке нет прыгунов, нет жалких карикатур? Поверьте мне: все эти концертные фокусы не что иное, как карикатуры.

Генриетта была вся внимание. В первый раз слышала она речь смелую, слова убеждения, а не щегольского пустословия.

— Вы любите музыку? — сказала она, поворотившись к Шульцу. Шульц смутился. Я говорил: Генриетта была собою прекрасна. Большие голубые глаза отражали чистое небо ее души; волосы светло-белокурые вились пышными кольцами до плеч. Шульц загляделся. Она повторила свой вопрос.

— Я чувствую музыку, — отвечал, запинаясь, Шульц,— и учусь ее понимать.

В эту минуту княгиня к ним подошла.

— Господин Шульц! — сказала она своим ласковым то-

ном. — По праву соседства, которым вынудила я ваше знакомство, буду я просить вас сыграть нам что-нибудь. Приятель мой, который вас слышал и вас ко мне притащил насильно, только и бредит вашею игрою.

Карл хотел извиняться. Генриетта взглянула на него умоляющими глазами. Новое, незнакомое ощущение овладело Карлом. Он сел за рояль и не понимал, что с ним делалось. Подле него стояло существо чудное, обвитое белою пеленою, осеняя свои прозрачные кудри прозрачным облаком голубого покрывала. Оно парило над ним гением благодатным, нашептывающим ему небесные обещания. Вдруг жизнь показалась ему прекрасною; вдруг надежда загорелась яркой звездой в душе его. Он ударил по костям рояля и начал играть...

Когда на вас слетает вдохновенье, не выражайте его словами: для живой мысли мало мертвого слова. Одна, быть может, музыка, как нечто среднее между душой и словом, между небом и землей, может выразить в слабом оттенке часть невыражаемого восторга, который хоть раз в жизни осеняет свыше каждого человека.

Но все то, что можно было выразить и пересказать, пересказал красноречиво Шульц в своей пламенной игре. Весь пышный раут княгини вскочил с своего места. Похвалы посыпались градом. Генриетта молчала: для нее Шульц казался выше человека.

Княгиня была в восхищении.

— Господин Шульц! — говорила она. — Вечер этот не изгладится из моей памяти. Я счастлива, что могу первая принести скромный листок в венец лавровый, который должен венчать вашу голову. Я горжусь вашим знакомством. Располагайте мною всегда и везде, как вашей искренней приятельницей.

В гостиной была торжественная суматоха. Пятьдесят рук протянулись к руке Шульца; пятьдесят приглашений, пятьдесят уверений раздавались за ним вслед. Карл благодарил холодно и скрылся. Слава земная казалась ему ничтожной с тех пор, как предчувствовал он целое небо. Несмотря на то, на другой день весь город только и говорил, что о новом артисте; на третий день говорили о нем меньше; на четвертый он был совершенно забыт.

Такова судьба молвы в больших городах.

Если б Шульц на другой день обегал всех своих новых знакомых, и кланялся бы, и выпрашивал покровительства, то он мог бы выхлопотать себе прочнейшую из-

вестность; но он остался спокоен в своем уголке — и был забыт. Да что было ему до этого! Благодаря княгине он сделался учителем Генриетты.

Молодость! Молодость! Неумолимая, неуловимая! Как быстро несешься ты! Как скоро ты летишь! Ты летишь окрыленная, а на крыльях твоих радужных сидит, согнувшись, насмешливый опыт и немилосердною рукою свевает с дороги толпящиеся мечты. Кидай ему, молодость, цветы твои на голову — не перехитрит тебя сердитый старик! Ты бросаешь ему цветы многих очарований: и ландыш смиренный и лавр боевой; но розу любви ты крепко, крепко прижми к своему сердцу, не отдавай ее лукавым сединам; сохрани ее для себя, и когда роза иссохнет от пламени сердца, — и тут не кидай ее в укор старику, а возьми ее с собою в могилу и схорони ее с собой!

Для Шульца наступили торжественные минуты. Каждый день он спускался из своей комнатки в щегольские покои княгини и благодаря праву всех учителей вообще оставался наедине с Генриеттой.

Для Шульца Генриетта была не женщина, а существо высшее, неземное, гений его фантазии, идеал его вдохновения. Шульц полюбил как юноша, как артист, пылкий и молодой.

И Генриетта предалась Шульцу сердцем и жизнию, и для нее Шульц не был существо обыкновенное, и она тоже смотрела на него с чувством какого-то благоговения. Она полюбила, как дитя забытое и брошенное любит человека, который его призрел и взлелеял.

Хороша была Генриетта, очаровательна всей красотой женщины, которая любит. Она обратила в любовь все силы своей души; она создала себе новый мир, мир глубокого чувства, преддверие небесного рая. Благодаря бедственной молодости все ощущения ее были сильны. Любовь для нее не была занятием мазурки или модного безделья: она загорелась в душе звездой неугасаемой.

Каждый день, говорил я, они были вместе, и музыку освящали они любовью, и любовь освящали они музыкой.

Шульц учил восторженно и красноречиво. Генриетта слушала с любовью. Как радовался он ее вопросам! Как любила она его ответы!

К несчастью, любовь их была из тех, которым не суждено земное счастье. Она касалась облаков, а для счастия

земного нужно оставаться на земле. Быть может, если б, не забывшись во взаимном созерцании друг друга, они огляделись вокруг себя, оценили бы и жизнь и свет, то они могли бы упрочить себе жизнь безмятежную и тихую, покоренную вполне законам существенности. Но ни Шульц, ни Генриетта того не знали: ему не было еще двадцати, ей едва минуло семнадцать лет.

Они любили молодо и горячо. Они давно уже поняли, что розно для них нет счастья; но ни одно слово любви не выронилось между ними. В невинности своей Шульц не думал, чтобы можно было выговаривать их иначе, как перед брачным алтарем. Да к чему слова?..

Три месяца пролетели стрелой. Все шло своим порядком. Княгиня приглашала Шульца на свои вечера, куда он редко показывался и где более не играл. Аспазийские сборища шли своим чередом.

Однажды Шульц пришел, по обыкновению, в час урока и остановился с изумлением у дверей. Генриетта сидела у рояля и плакала.

— Что с вами? — закричал он.

— Мы завтра едем в Италию, — отвечала Генриетта.

Карл опустил голову. Он был подобен человеку, который, упав с высокой башни, не может собрать еще ни чувств своих, ни мыслей.

— Не забывайте меня, не забывайте меня! Я вам многим обязана. Я век вас буду помнить.

— Генриетта! — сказал он. — Я бедный музыкант, вы это знаете; отец меня прогнал; хотите ли разделить мою участь? Хотите ли быть моей женой?

Генриетта молча протянула ему руку.

— Нет, не теперь, — отвечал с чувством Шульц, — не теперь! Дайте мне прославить себя, дайте мне моей славой выпросить отцовское благословение и милость, и тогда я предстану пред вами, и тогда я скажу вам: невеста бедного Шульца, я пришел за вашим словом!

— Я буду ждать вас в Италии, — тихо отвечала Генриетта, снимая с руки свое кольцо. — Я ваша невеста...

В эту минуту вошла княгиня и вручила Шульцу запечатанный пакет.

— Мы едем завтра, — сказала она ласково. — Приезжайте ко мне в Петербург: я всегда рада буду вас видеть.

Шульц поклонился и в невыражаемом волнении побежал в свою комнату.

Там он распечатал пакет.

В пакете лежали деньги и записка следующего содержания:

«Считая по талеру за урок, за три месяца — 90 талеров».

БОРЬБА

Шульц был снова без душевного приюта, по цель жизни ему была открыта. Он заперся в своей комнате и начал сочинять. Известность модного концертиста ему была неприятна и противна. Происки, поклонения, музыкальные спекуляции были ему незнакомы. Он хотел вступить на поприще как жрец искусства, а не как бедный проситель; он хотел бросить на суждение толпы свое творение и ждать ее приговора. Он начал писать большую симфонию на целый оркестр. Шесть месяцев пробежали. Он жил уединенно и забытый, с одною мыслию в голове, с одним воспоминанием в сердце. Труд его был кончен...

Вдруг получил он записку от одного дюссельдорфского приятеля:

«Отец ваш умирает. Перед смертью он хочет вас видеть и вас простить. Духовное завещание уже сделано в вашу пользу. Поспешайте!»

Шульц бросил все и поспешил к отцу. Было поздно, когда он приехал: отец уже умер. Духовное завещание в пользу сына не было нигде отыскано. Вместо того Маргарита представила завещание, в силу которого она сделана наследницей всего имущества покойника. Шульцу сказала она, что он, как виновник смерти своего родителя, никакого пособия от нее ожидать не должен. Делать было нечего. Шульц горько поплакал на свежей могиле и, взяв опять свой страннический посох, отправился снова в Вену. В Вене два известия поразили его: Бетховен умер, княгиня воротилась из Италии и уехала в Россию.

Артист оставался один. Надежда на будущее становилась ему каждый день туманнее и темнее. Он показал свое творение венским артистам. Артисты его хвалили и советовали Шульцу не оставаться в Вене, а ехать в Петербург. Несколько рекомендательных писем к петербургским артистам были ему вручены. Привлеченный тайной мыслию, Шульц послушался коварных советов; он покинул свою Вену, где ярко блеснули для него два чудные метеора: гений — в чертах Бетховена, любовь — в очаровательном образе Генриетты. Он собрал в одну сумму все свое

скудное состояние и отправился на холодный север, в сырой Петербург — попытать, не блеснут ли ему там опять, хоть в северном сиянии, два метеора, им боготворимые, — гений и любовь. Но пора его прошла. Небосклон остался сыроват и туманен. Генриетты и княгини в Петербурге не было: они, как узнал Шульц, уехали в Одессу. Шульц вручил петербургским артистам свои рекомендательные письма. Первая скрипка приняла его величаво и решительно отказала в пособии. Прочие ей последовали. У иного был брат фортепьянист, у другого дядя, третий сам играл на фортепьяно. «Концерты давать трудно, — говорили они, — для них много нужно издержек, а покрыть их нечем. Фортепьяно — инструмент такой обыкновенный». Если б Шульц играл на трубе, или на пятнадцати барабанах, или на каком-нибудь неслыханном инструменте, или если б он был слепым или уродом, то успеха ожидать бы можно, а фортепьяно можно найти в каждой кондитерской. Всего лучше, советовали ему самые благонамеренные, учить маленьких детей или играть для танцев. Шульц заговорил о своих сочинениях. Тогда его почли за сумасшедшего и перестали о нем заботиться. Принужденный необходимостью, Карл искал уроков, но, кроме одной толстой купеческой дочери и маленького сына квартального надзирателя, он не мог найти учеников. Эти два урока составляли весь его доход, и более трех лет уже жил он безропотно на своем чердаке, куда в известное нам утро Мюллер принес ему пару испорченных калош и приглашение на именины к Марье Карловне. Вы помните, что этим начинается мой рассказ.

ТОВАРИЩ

Когда сапожник ушел, Шульц долго сидел еще на своем стуле перед столиком, подперши голову руками, и думал... О чем?.. Бог его знает. Только ему было тяжко и душно.

Дверь вдруг опять растворилась. Вошел молодой черноволосый человек, в старом изношенном сюртуке. Тихонько приблизился он к Шульцу, наклонился над его головою и шепнул ему на ухо:

— Терпенье!

Шульц поднял голову.

— А там слава!

Шульц засмеялся.

— Слава, товарищ, слава! Видишь отсюда? Толпа, покорная пред именем твоим, волнуется перед тобой, всюду гремит молва о твоей славе. Слава, слава тебе! Женщины кидают тебе венки; мужчины с завистью рукоплещут тебе; бедный артист сделался владыкой толпы; гений возьмет свое место; музыка восторжествует!

«Молодость!» — подумал Шульц.

— А я, — продолжал молодой человек, — а я смиренно пойду за тобой и буду кидать цветы на славный путь твой. Бедный студент сочетает имя свое с именем великого музыканта, так как души их уже сочетали вдохновение слов с вдохновением звуков. Да, товарищ, гений твой сделал меня поэтом! Мысли твои заставили меня думать, чувства твои заставили меня чувствовать — чувствовать горячо. Слава тебе, мой друг, слава и мне, твоему другу в нищете, который первый тебя понял! Слава нам обоим!

— Ты, кажется, пьян, — сказал с удивлением Шульц.

Студент покраснел и потупил голову. Мгновенный огонь его погас. Он сурово огляделся.

— Итак, неудача? — продолжал Шульц.

— Стыд и поношенье, — сказал бывший студент дрожащим голосом. — Стыд!.. Ты видел, сколько бессонных ночей проводил я за своим творением. Вот год, как мы живем дверь об дверь: ты с своей музыкой, я с своей поэзией — оба бедные, оба с одной целью. Когда я был в Казанском университете, мне душно было оковывать свой ум в правила сухой науки: назначение мое было быть поэтом.

«Молодость! — подумал Шульц. — Я верю поэзии, а не поэтам».

— Я бросил свой университет... Обман и стыд! Глупая существенность начала меня давить!

Шульц протянул молча руку молодому человеку и крепко пожал ее.

— Да что тебе рассказывать! Я объяснял тебе все листки моего романа, я читал тебе и толковал тебе мои стихи — и одобрение твое мне было лестнее всех бессмысленных похвал ничтожной толпы, которая аплодирует прыжкам Турньера громче, чем творениям великого Шекспира. И со всем тем, знаешь, в мысли о славе есть какая-то чудная отрава, какая-то невыразимая сила! Она похожа на вероломную женщину, которую можно любить страстно и вовсе не уважать.

— Ты был у книгопродавца? — спросил Шульц.

— Бедность моя была не в тягость, потому что впереди

я видел надежду. Рукописи мои вчера окончены. Я был у книгопродавца.

— И он отказал?

— Я вошел в славную лавку, уставленную шкафами красного дерева. Все это устроено с большою роскошью. В углу за красивым бюро стоял какой-то господин в очках и писал в толстой книге. Я с трепетом к нему подошел. «У меня есть рукопись, которую я желал бы напечатать»,— сказал я вполголоса. «Мы рукописей от неизвестных сочинителей не принимаем»,— отвечал мне, не поднимая глаз с книги и продолжая писать, господин, зарезавший меня своим равнодушным ответом. «Так вы и прочесть не хотите?» Господин усмехнулся. «Много у нас есть времени читать! Впрочем, мы теперь больше ничего не печатаем».— «Да печатают же других?» — «Редко; да это дело другое. Большею частию печатают на свой счет, или, если сочинители уже известны, как покойник Пушкин, например, то мы даем хорошие деньги». — «А если сочинение мое точно хорошо?» — «Быть может. Вот если, например, господин А. Б. или господин В. Г. поручается, что ваше сочинение понравится публике, то со временем, может быть... Впрочем, мы теперь вовсе не печатаем». С этими словами он повернулся ко мне спиною и ушел в другую комнату.

— Послушай, брат,— сказал Шульц,— поверь моему совету: у тебя есть в твоих степях старушка мать, ты мне о ней часто говорил. Поезжай к ней. Вступай в службу там, где она живет. У вас это легко. Будь честным человеком, исполни свой долг. Это лучше всякой славы: к презрительной женщине привязываться стыдно. Не обманывай себя ложным назначением. Ты поэт, потому-то беден. Был бы ты богат, ты не был бы поэтом. Я тебе говорил уже это прежде: поэзия — как любовь, любовь — как поэзия; чувства спокойные торжественны, а не болезненны: они свет, а не пламень, согревают, а не жгут. Поверь мне, поезжай в степи. Это добрый совет.

Шульц говорил напрасно. Молодой человек все более и более волновался; черные глаза его сверкали, губы дрожали, волоса рассыпались в беспорядке.

В исступлении выбежал он из комнаты и побежал на улицу.

К ночи он не возвращался. Полицейские служители, увидев на улице, по-видимому, пьяного человека, отвели его на съезжий двор, откуда он и был выпущен только на другое утро...

В жизни бывают иногда странные сближения. В одном доме, на одном чердаке встретились две родственные природы, два брата по бедности и по душе. Оба обманутые одними надеждами, оба последовавшие первому порыву обманчивой молодости, оба удрученные одним горем. Но Шульц был старее: борьба с жизнью его более утомила, чем пылкого его товарища, и притом он так долго боролся, что силы его уже ослабевали. Постоянное горе, как беспрерывное счастье, приводит к равнодушию; отчаяние делается привычкой жизни и налагает какую-то страшную преждевременную смерть на душу. Шульц доживал до этой эпохи. Страдалец его был еще в цвете молодости: ощущения его были живы, резки; он переходил поминутно из одной крайности в другую, то плакал, то смеялся, то строил воздушные замки, то предавался совершенному отчаянию. Шульц был спокоен.

БАЛ

Воскресенье наступило. Верный своему слову, спустя три дня после визита Мюллера Шульц отправился в Малую Морскую на именины Марьи Карловны. Праздник был хоть куда. Сапожная лавка превратилась в танцевальную залу. В углу стоял принесенный от приятеля-настройщика большой рояль. Из спальни вынесли кровать и поставили там два ломберные стола и стол круглый с самоваром и чашками. Ванька, во фраке по колено, был приставлен к блюдечкам с пастилою и конфектами. Когда Шульц вошел, хозяев в комнате пе было. Гостей была пропасть: настройщик, владетель рояля с женою и маленьким сыном, портной Брейтфус с двумя дочерьми, вдова Шмиденкопф с зятем, сапожник Премфефер и жена его, охотница до танцев, три или четыре родственницы, четыре сапожника, трое портных, аптекарь и почетный гость — купец, приезжий из Риги. Шульц остановился у дверей и ждал хозяев. Через несколько минут вошла Марья Карловна с разгоревшимся лицом, в новом чепчике с большими голубыми бантами. За нею пришел Мюллер с трубками и сигарками.

— Willkommen! Willkommen!* — закричал он, увидев Шульца.— Что дело, то дело. Господа и дамы! Мне хотелось для именин Марьи Карловны сделать маленький сюрприз: я и пригласил музыканта, чтоб нам играть разные танцы.

* Добро пожаловать! *(нем.)*

— Я уж это предвидела, — сказала, улыбаясь, Марья Карловна. — Да как же нам танцевать? У меня не все еще в кухне готово.

— Мы вам пособим! — закричали в один голос все дамы. Марья Карловна с благодарностью приняла их помощь и в сопровождении двух приятельниц возвратилась в свою кухню. В это время самовар закипел, трубки задымились, Ванька начал носить пунш для кавалеров и шоколад для дам. Рижский купец с почетными ремесленниками сел играть в вист.

— Конечно! — закричала Марья Карловна. — Теперь экоссез; я танцую с мужем.

Все кавалеры наскоро допили свой пунш и бросились ангажировать дам.

Шульц молча придвинул стул к роялю. Пары образовались.

— Los!* — закричал Мюллер.

Шульц вспомнил какой-то экоссез, игранный им в детстве, и терпеливо принялся его наигрывать. Сапожники начали прыгать и делать ногами разные бряканья ко всеобщему удовольствию и хохоту. Марья Карловна носилась с своим Мюллером между двойным строем танцующих. Мадам Премфефер была вне себя от восхищения. Экоссез кончился. Кавалеры стали отирать лицо платками, а дамы скрылись в другую комнату.

— Пуншу, Ванька! — кричал Мюллер. — Пуншу и конфект для дам!

Надобно заметить, что когда Мюллер что делал, то он любил делать уже хорошо и не жалел лишней копейки для полного угощения своих гостей.

— Ну, теперь англез! — сказала Марья Карловна, отдохнув от недавних трудов своих.

— Англез, англез! — закричали все кавалеры. Пары вновь устроились. Шульц сел опять за рояль, но не играл ничего: он ни одного англеза не помнил и не знал, как его играть.

— Не может ли кто-нибудь из дам, — спросил он, — указать мне, как играть англез и каким тактом. Я так давно не танцевал, — прибавил он, — что и забыл, как играются танцы.

Дамы взглянули друг на друга. Госпожа Премфефер бросилась к роялю и двумя пальцами пробренчала какой-

---

* Давай! Начинай! *(нем.)*

то старинный мотив. Шульц сыграл его за нею; пары стали вновь по местам; танец начался.

Сыграв несколько тактов, Шульц соскучился однозвучностью старого мотива и непреметно, мало-помалу удалился от своей темы и начал импровизировать. Никогда не был он еще унижен в своей артистической душе!.. Ему делалось душно. Досада его мучила, давила и наконец вылилась в его игре. Негодование, негодование обиженного художника, загремело в диких раздирающих звуках. Вдохновение поблекшей молодости вдруг разгорелось опять на щеках его; глаза его опять заблистали, сердце забилось; казалось, он собрал опять все силы своей молодости, чтобы побороть свою судьбу, чтоб прославить и оправдать величие артиста. Пальцы его бегали, как будто повинуясь сверхъестественной силе. Он играл не пальцами, а душой поэта, душой глубоко обиженной. Кругом его все исчезло: он не знал, где он, кто он, с кем он; он весь перешел в чувство; даже мысли его смешались, память исчезла, времени для него не было...

Когда он поднял голову, все немцы стояли с благоговением около рояля и молчаливо, с каким-то инстинктным сочувствием внимали красноречивой повести непонятых страданий. В их внимании было что-то почтительное: они все поняли, как далек был от них бедный музыкант, нанятый для их забавы; они боялись оскорбить его похвалой и слушали его не переводя дыхания. Даже Марья Карловна забыла свой ужин. У рояля стоял Мюллер и о чем-то горестно думал, а настройщик сидел в уголку, потупив голову и закрыв глаза.

Шульц ударил пронзительный аккорд и, увидев, что танец от его рассеянности был прерван, поклонился и заиграл опять англез госпожи Премфефер. Общее восклицание его остановило. Настройщик вскочил с своего места и схватил его за руку; Мюллер в замешательстве начал перед ним извиняться:

— Господин Шульц!— говорил он.— Я простой мастеровой, я небогатый человек, господин Шульц... Я честный человек, господин Шульц... Мне стыдно, господин Шульц, что я смел просить вас играть у меня... Извините меня, господин Шульц... Располагайте мною, господин Шульц... Требуйте от меня чего хотите, господин Шульц...

— Господин Мюллер, я прошу у вас позволения удалиться. Я не очень здоров,— отвечал Шульц.

— Как вам угодно, господин Шульц, как вам угодно! Мы не смеем вас удерживать...

Они вышли в переднюю. Шульц отыскал свою шинель

и калоши. Добрый Мюллер при виде калош сгорел от стыда. Он начал шарить в своих карманах и отыскал небольшую черепаховую табакерку с золотым ободочком. Эту табакерку подарила ему Марья Карловна, когда он еще был женихом; он почитал ее большою драгоценностью и, несмотря на то, хотел отдать ее музыканту, чтоб загладить свою вину.

— Я небогатый человек,— сказал он, подавая Шульцу свою табакерку,— но я честный человек. Если вы не хотите меня обидеть смертельно, вы не откажетесь принять в знак памяти удовольствия, которое вы нам доставили, эту безделицу. Она будет для вас залогом уважения бедных ремесленников к вашему великому таланту.

Шульц посмотрел на него с удивлением... Наконец он был понят. Но где? И кем?.. Он взял табакерку Мюллера и крепко пожал ему руку.

— Я принимаю ваш подарок,— сказал он,— как залог того, что искусство находит еще отголосок в душах неиспорченных. Эта мысль для меня утешительна, а я начинал и в ней сомневаться. Табакерка ваша мне будет напоминать, когда я захочу презирать всех людей, что есть люди добрые, как вы, господин Мюллер. Спасибо вам!

НАСТРОЙЩИК

Никто на бале у сапожника не был так глубоко тронут игрою Шульца, как старый настройщик, о котором мы упоминали выше. Он был благодаря долговременному опыту человек жизни практической, который, разорившись играя на роялях, принялся их делать и настраивать и тем составил себе небольшое состояние. Он жил давно уже в Петербурге и лучше всех знал, как добывается на свете музыкальная слава; наглядевшись на все глазами горького опыта, он мигом разгадал Шульца и решился ему помочь.

Чем свет сидел настройщик на чердаке, нам знакомом, держал Шульца за руки и с жаром ему говорил:

— Удовольствие, которое вы мне доставили, невыразимо. Оно врезалось в душе моей, как одна из лучших минут моей жизни. Я бедный настройщик, но я также понимаю искусство. Оно одно дает только цвет моей жизни.

Шульц глубоко вздохнул.

— Знаете что?— продолжал настройщик.— С вами надо познакомить нашу публику. Дайте концерт!

Шульц покачал головою.

— Знаю, знаю... Не вы первый, не вы последний. Затруднения, издержки, зависть, зависть самая постыдная, самая низкая — зависть артистов между собой. Сколько истинных талантов задушила эта змея! Сколько видел я таких случаев на своем веку!.. Скажите мне, к кому обращались вы, желая познакомить публику с вашим талантом?

— Я имел,— отвечал Шульц,— несколько рекомендательных писем к здешним первым музыкантам.

Настройщик посмотрел на него с удивлением, а потом засмеялся.

— И вы у них просили помощи, известности?

— Да от кого же было мне ожидать ее?

— Помилуйте! Не то, совсем не то! Вы поступили как неопытный ребенок. Вам прежде всего надобно было подделаться под общее направление нашего времени. Вам надобно было отпустить волосы до плеч, да усы, да бороду, чтоб немного по наружности походить на рассеянного, на восторженного или на сумасшедшего. Вам надобно было познакомиться с какими-нибудь важными барынями и поиграть у них раза по три на вечеринках даром. Вам надобно было говорить громко, бранить донельзя всех здешних музыкантов, чтоб внушить им к себе почтение и страх, а наконец из милости согласиться дать один только концерт, который вы могли бы впоследствии повторять несколько раз в год, наваливая вашим госпожам по сотни билетов, которые они, с своей стороны, стали бы навязывать тем несчастным, которые в них нуждаются. Таким образом вы вошли бы в моду.

— Я думал,— подхватил Шульц,— что для искусства не нужно моды.

— Помилуйте! Бросьте ваши предрассудки! Мы живем в веке поддельном. Ныне под все можно подделаться, даже под искусство.

— Как это?— спросил Шульц.

— А вот как: искра, падшая с неба, мала; не в каждом сердце она загорится, не каждому душу она освятит; а механизм дается всякому, у кого только рука да воля. Мы доживем до того, что искусство сделается ремеслом; скоро оно станет ниже ремесла. Немногие умеют их отличать друг от друга.

Оба замолчали.

— Что ж мне делать?— спросил Шульц.

— Последуйте моему совету. Я готов вам помогать, хоть и должен вам сознаться, что вы свое дело уже испортили.

Вам остается дать музыкальное утро в зале какой-нибудь дамы, у графини Б***, у графини З***, у княгини Г***.

— Княгиня Г*** в Петербурге?— вскричал Карл.

— Да уже с год как приехала из Одессы. Вы ее знаете?

— Я бывал у нее каждый день в Вене. Она страстно любит музыку и живопись. Вот женщина!— продолжал с жаром Шульц.— Вот женщина, которая в преклонных летах, в чаду светской жизни умела сохранить чистую любовь к высокому!

Настройщик усмехнулся.

— Вас ничем не исправишь,— сказал он,— однако и то хорошо: княгиня вас знает. Я ее настройщик. Пойдемте к ней. По праву старого знакомства попросите у нее большой залы для вашего музыкального утра.

— Вы видели воспитанницу княгини?— спросил, запинаясь, Шульц.

Настройщик пристально на него посмотрел.

— У княгини нет воспитанницы,— сказал он протяжно,— впрочем, у нее вы, может быть, узнаете то, что хотите. Пойдемте.

Они отправились.

ВИЗИТЫ

В богатых сенях толпилось несколько старух, известных в Петербурге под названием салопниц. У каждой было по огромной бумаге в руках и на искаженных устах вертелась довольно неприличная брань, сдерживаемая присутствием швейцарской булавы. Настройщик порхнул мимо ливрейного привратника вверх по узорчатому ковру лестницы: швейцар пропустил его, как собачку, не обращая никакого внимания на столь ничтожное лицо. Шульца он остановил.

— От кого вы? Есть ли у вас письмо? Княгиня без рекомендации нищих не принимает!

Глаза Шульца засверкали.

— Я хочу видеть княгиню как старый знакомый, а не как нищий. Доложите ей, что приехал Карл Шульц, фортепьянист из Вены.

Швейцар взглянул на него с недоверчивостью и потащился по лестнице. Через полчаса Шульца просили войти.

Княгиня сидела в голубой штофной комнате, перед камином. Направо от нее стоял стол, заваленный бумагами и разными филантропическими планами.

— Господин Шульц!— сказала она, не изменяя ледяного

выражения своего лица.— Очень рада вас видеть. Садитесь. Что доставляет мне удовольствие вашего посещения?

— Я принял смелость, княгиня, беспокоить вас, зная всегдашнюю любовь вашу к музыке...

— К музыке? Да, я люблю музыку. Да теперь времени у меня нет думать о ней: вечером я должна быть в свете, а утром у меня дела. Больные, сироты надоели мне до крайности: отнимают все время, а делать нечего!

«Странная благотворительность!» — подумал Шульц.

— Чем могу я быть вам полезна?— продолжала княгиня.

— Мне советуют дать музыкальное утро. Я надеялся, что вы, княгиня, по прежней благосклонности ко мне, не откажете мне в вашей зале.

Княгиня немного нахмурилась, но отвечала с своею холодною учтивостью:

— Я вам должна признаться, что всегда отказывала подобным просьбам. Но вам, по старому знакомству, я отказать не могу. Зала на будущей неделе к вашим услугам.

Княгиня позвонила. Вошел слуга.

— Прикажите этому несносному настройщику перестать и приходить, когда меня нет дома. Теперь я занята. Кроме княгини Варвары Васильевны, не принимать никого.

Шульц встал. Он хотел спросить о Генриетте и не мог собраться с духом. Княгиня молчанием своим указывала ему дверь. Он это почувствовал, извинился, поблагодарил и вышел.

В сенях он нашел настройщика, который его дожидался.

— Дана вам зала?— спросил он.

— Дана,— отвечал мрачно Шульц.

— Ну, теперь пойдемте к артистам, которые вам должны помогать. Концерта одному дать нельзя.

— Да они меня все знают, и все отказали в помощи.

— Не бойтесь, не бойтесь. Ступайте со мной.

Они пришли к первой скрипке, той самой, которая более всех напугала Шульца в его первом предприятии. Первая скрипка сидела в халате в покойных креслах и едва привстала при виде посетителей. Рот ее сжался отрицательным знаком, а на губах зашевелилось: «Что вам угодно?»

— Мы сейчас от княгини Г***,— сказал развязно настройщик.

Первая скрипка сделалась милостивее и просила их садиться.

— Княгиня Г***,— продолжал настройщик,— непре-

менно хочет, чтоб приятель мой, Карл Шульц, дал музыкальное утро в ее зале.

Скрипка улыбнулась Шульцу.

— Княгиня Г*** знала приятеля моего, Карла Шульца, еще в Вене, где он был в большой моде.

— Право?— сказала скрипка.

— Княгине Г*** будет очень приятно, если вы согласитесь участвовать в концерте, который будет дан в ее зале. Зала прекрасная для концертов.

— Я очень рад, господин Шульц, быть вам полезным.

Шульц не говорил ничего. Он был похож на мученика.

— Я сам скоро намерен дать концерт,— подхватила первая скрипка,— и надеюсь, что господин Шульц не откажет сделать мне честь... будет в нем участвовать.

— Очень рад,— отвечал Шульц.

Они встали; скрипка провожала их до передней и низко кланялась.

Покровительство княгини Г*** была цель всех ее желаний; но, с тех пор как княгиня от музыки перешла к благотворительности, она потеряла уже надежду на эту полновесную подпору. Теперь путь был открыт: скрипка торжествовала.

На улице Шульц начал упрекать своего товарища.

— Бедный человек!— отвечал он.— Ты овца между волками; хочешь успеха? Брось совесть.

— Неужели,— сказал музыкант,— мы живем в веке до того развращенном, что, кроме эгоизма, нет более никакого чувства, нет никакого, хоть невольного, доброго движения? Неужели все люди презрительны и низки?— Машинально схватился он за карман: в кармане лежала табакерка — подарок Мюллера. Он вынул ее, посмотрел на нее — и душе его стало легче.

В эту минуту два пальца протянулись к его табакерке.

— Позвольте-с! Надворный советник...

Шульц поднял голову. Перед ним стоял маленький чопорный господчик в голубых очках, с носом вверх, с видом весьма самодовольным. Господчик протягивал руку к табакерке, приговаривая: «Позвольте-с», а потом, указывая на себя, повторял с гордостью: «Надворный советник...»

Шульц никак не понимал, отчего надворный советник имеет более другого права нюхать табак.

— Что вам угодно?— сказал он наконец.

— Табачку-с... надворный советник...

— Я не нюхаю,— отвечал хладнокровно Шульц и положил табакерку в карман.

Лицо господчика переменилось.

— Странно!— забормотал он.— Странно! Неучтиво! Очень неучтиво! Князь Борис Петрович, граф Андрей Ильич, князь Василий Андреевич мне сами всегда говорят: «Любезный! Не хочешь ли моего?..»

Шульц был уже далеко.

Господчик пошел сердито по улице и ворчал себе под нос:

— Неучтиво, очень неучтиво!.. Князь Борис Петрович, князь Василий Андреевич... Очень неучтиво!— Вдруг он весь изменился: по улице шел какой-то вельможа и кивнул ему головою. Господчик согнулся крючком, опустил шляпу до земли; лицо его просияло отблеском какого-то невыразимого чувства.

КОНЦЕРТ

Через несколько дней петербургские охотники до афиш читали следующее объявление:

«С дозволения правительства в среду, 16-го апреля, в зале ее сиятельства княгини А. И. Г*** Карл Шульц, фортепьянист из Вены, будет иметь честь дать большое инструментальное и вокальное музыкальное утро.

ЧАСТЬ I

1. Увертюра Моцарта.
2. Концерт Бетховена *(Г-н Шульц).*
3. Ария из Фрейшюца *(Г-н Н***).*
4. Концерт Вебера *(Г-н Шульц).*

ЧАСТЬ II

5. Соло с колокольчиками для скрипки *(Г-н Х***).*
6. Дуэт из Нормы *(Г-да Г*** и Г***).*
7. Концерт Мендельсона-Бартольди *(Г. Шульц).*

Цена билетам 10 рублей.

Билеты получаются в музыкальном магазине г. Пеца и у настройщика, живущего в Малой Морской, в доме под № 42, а в день музыкального утра — при входе в залу».

Цену назначил настройщик вопреки мнению Шульца, который находил ее весьма высокою. Настройщик утверждал, что о достоинстве артистов заключают по цене их билетов,

и потому спустить цену — значит поставить себя ниже других.

Настала середа. Зала была вычищена. Ряды стульев поставлены обыкновенным порядком. Два часа пробило. Начали съезжаться. Шульц был в соседней комнате и ожидал очереди своей явиться перед почтеннейшей публикой. Почтеннейшей публики было немного: несколько записных посетителей концертов, несколько барышень, умеющих бренчать на фортепьянах, несколько франтов, не знающих, куда деваться в длинное утро; во втором ряду дама в розовой шляпке подле чопорного господчика в голубых очках; в пятом ряду Марья Карловна в новом своем чепчике с голубыми бантами, рядом с своим Мюллером; в последнем ряду студент, знакомец наш, товарищ Шульца. Прибавьте к этому человек двадцать, которые находятся везде — из удовольствия или обязанности, но с которыми вы незнакомы,— и опись будет кончена. Всего можно было насчитать человек до шестидесяти. Княгини в зале не было. Она взяла пять билетов и приказала извиниться по случаю каких-то дел.

Увертюра кончилась. Настройщик придвинул немного рояль, поднял крышку, подставил под нее подставку и отошел в сторону. Шульц показался. Почтеннейшая публика, по обыкновению, захлопала. Шульц приблизился, хотел поклониться — и вдруг остановился на своем месте. Взгляд его встретился со взглядом дамы в розовой шляпке. Мороз пробежал по его жилам, огонь бросился ему в голову. Он узнал Генриетту, а подле Генриетты сидел человек в голубых очках и злобно улыбался. Шульцу показалось, что он эту фигуру где-то видел. Генриетта была спокойна; черты лица ее не изменялись, только нижняя губа ее как будто судорожно дрожала. Публика ожидала. Настройщик кашлял. Марья Карловна привстала с своего стула. Студент перекрестился.

Шульц поклонился наконец и машинально сел перед роялем. Руки его дрожали, мысли его были взволнованы. Он сбивался беспрестанно и играл без выражения; в одном пассаже даже совершенно ошибся. Первая скрипка улыбнулась; контрбас покачал головой; критик, бывший в числе зрителей и заплативший, против обыкновения, на этот раз за свой билет, громко изъявил свое неудовольствие; два франта вышли из залы.

Музыкальное имя Шульца было потеряно навек.

Концерт продолжался. Соло с колокольчиками первой

скрипки имело успех неимоверный. Певец и певица пели, по обыкновению, фальшиво, но по старому знакомству публика к ним привыкла и провожала их с рукоплесканиями. Шульц начал концерт Мендельсона. Страстная музыка еврея согласовалась вполне с бурным состоянием его души. Какое-то дикое, отчаянное вдохновение вдруг овладело им: он был красноречив и прекрасен в своей игре. К несчастию, почтеннейшей публике некогда было слушать: стулья зашевелились; господчик в голубых очках надел шаль на Генриетту; все начали разъезжаться.

Когда Шульц окончил последний аккорд, в зале было пусто; только три человека начали аплодировать: настройщик, Мюллер и студент. Они окружили бедного музыканта и старались утешить его.

Шульц благодарил их молча, молча пошел он по улице со студентом, втащился на свой чердак и бросился на свою убогую постель. Члены его тряслись от лихорадки; душа его была убита.

Ночь провел он ужасную, в бреду и в беспамятстве.

На другой день, когда он вошел в себя, студент сидел у его изголовья и держал в руках письмо. Письмо от Генриетты.

ПИСЬМО

«Простите меня, Карл, не презирайте меня, не проклинайте меня! Я замужем — и не забыла моей клятвы принадлежать вам. Я замужем — и не должна бы к вам писать, а я пишу к вам.

Я надеялась вас встретить еще раз на земле — встретить вас счастливого, прославленного. О, тогда бы вы не услыхали моего голоса! Величие ваше отбросило бы довольно счастья, довольно утешения на всю бедную жизнь мою.

Но я встретила вас одинокого, жалкого, непонятного. Черты лица вашего изменились от страданий. Бедное мое женское сердце разорвалось на части. Я видела, я поняла, что вы не забыли меня, что вероломство мое поразило вас ударом ужасным. Я решилась оправдаться перед вами. Бог меня простит!

Вы знаете, Карл, я была бедная девушка. Отец и мать оставили меня в мире сиротою. Я жила у тетки, у которой были свои дети, свои дочери. Я в доме у ней была лишняя. Тетка моя была небогатая женщина. Для нее составляла я что-то неприятное, что-то сливавшее с мыслью о лишнем

платье, о лишнем блюде, горестное воспоминание о потере брата. Она была со мною неприязненно добра, никогда не говорила мне, что я была ей в тягость, но всячески давала это чувствовать. Положение мое было тем горестнее, что я не была вправе называть себя несчастливою.

В то время княгиня Г*** искала себе собеседницы. Тетка с радостью сбыла меня с рук. Я перешла в пышные покои своей покровительницы, которая приняла меня прекрасно, сделала мне много обещаний и взяла с собою путешествовать.

В Вене мы с вами встретились. Мы поняли друг друга... Это время для меня незабвенно и свято! Когда мы с вами расстались, я все рассказала княгине: и обещания наши и надежды. Княгиня улыбнулась. Два года прошло. Мы приехали уже в Россию. Княгиня каждый день была в свете, но я замечала в ней странные изменения. Она охладевала к музыке, делалась равнодушною к живописи. Она переменяла круг знакомства. Наконец любовь ее к искусствам совершенно исчезла. Тогда только догадалась я, что она играла роль, что у этой женщины ни одного прямого чувства не было, что все основано было у нее на светских расчетах. Тогда была мода на благотворение. Княгиня сейчас рассудила, что слава благотворительницы гораздо пристойнее женщине в ее летах, чем слава Аспазии, с которой всегда сопряжено «что-то изысканное и театральное». Это ее слова: я их помню.

Тогда все артисты, которые привыкли на нее надеяться, получили от швейцара сухие отказы; тогда передняя ее наполнилась нищими, присланными ей от князей и графов как трофеи ее благотворительности. Но и благотворительность ее была притворство, как и любовь к изящному была притворство.

Я ей не была более нужна. Однажды призвала она меня к себе и объявила, что господин Федоренко просит моей руки. Я решительно отказала. Княгиня была очень недовольна, говорила о вас с презрением и выхваляла богатство господина Федоренки. Я поняла тогда, сколько было глубокого эгоизма в этой душе.

Я не говорила вам, Карл, еще о сыне княгини, который жил в одном доме с нами. Он был светский человек в полном смысле слова, с последней вестью, с большим искусством танцевать мазурку и притворяться влюбленным — один из тех молодых людей, которыми наполнены большие города. Теперь он в отставке и за границей.

Однажды, Карл, однажды... не могу без стыда вспомнить этой минуты... он открылся мне в какой-то притворной любви. Он предложил мне сердце свое, но не предлагал руки.

Я плакала долго над собой, над своим несчастным званием, которое подвергало меня таким оскорблениям. И точно, что же я была?— немного более горничной, кукла, которую можно было заставить играть, молчать по желанию; за это меня кормили и давали мне платья, иногда уже изношенные.

Княгиня прислала за мною и осыпала меня упреками.

«Я знаю все,— говорила она,— отчего вы отказываетесь от блестящей партии: вы хотите заманить сына моего в свои сети; вы хотите, чтоб он женился на вас. Он сам мне в этом сознался. Не стыдно ли вам, нищей, которую я подняла на улице, платить такой неблагодарностью?..»

О! тогда — простите меня, Карл,— я на все решилась... Федоренко явился по зову княгини.

Я осталась с ним одна.

«Если вы хотите,— сказала я ему,— я буду вашей женою; но я не люблю вас: я люблю другого, я люблю Карла Шульца».

«Этого не говорят мужьям»,— отвечал он, смеясь.

«Я не хотела вас обманывать... Я буду верна вам... но любви моей не требуйте».

Он смотрел на меня, Карл, и не понял меня. О, это было для меня утешенье. Я убедилась, что души наши никогда не будут иметь ничего общего.

Ему нужно было покровительство княгини; книгине нужно было отделаться от ненужной собеседницы.

Вот отчего я жена Федоренки!

Карл! Простите меня, не проклинайте меня. Вы видите сами: меня бросили, беззащитную, в пропасть большого света, где владычествуют притворство и эгоизм. Притворство и эгоизм погубили меня. Виновата ли я? Не проклинайте Генриетту, Карл, простите ее!»

FÜR WENIGE*

На другой день Генриетта получила следующую записку в ответ на свое письмо:

* Для немногих *(нем.)*.

«Генриетта! Я был на краю гроба: зачем удержали вы меня? К чему воспоминания? Опи — насмешка над настоящим. Забудьте меня! Я не тот, что был: вы не узнаете меня. Теперь я нищий, совершенно нищий: нищий достоянием, нищий твердостью, нищий мыслию и чувством. Одно сокровище храню я еще в душе моей: это — любовь к вам, моя Генриетта, это — любовь к тебе, моя невеста. Я унесу ее с собой... Настанет жизнь, где наши жизни сольются в одном солнечном луче, тогда мы будем счастливы... Прощайте!»

Генриетта была женщина. Чем более Карл казался ей жалким и безнадежным, тем более любовь ее усиливалась, тем ничтожнее казались ей условия приличия, тем сильнее вкоренялось в ней желание утешить страдальца. Она бросилась к письменному столику и дрожащею рукой набросала несколько слов:

«Завтра вечером, в восемь часов, я жду вас».

Давно ли они были оба так молоды, так полны надежд? Давно ли они сидели друг подле друга, давно ли... они веровали в будущее?.. А теперь все для них изменилось: Генриетта была замужем; Шульц прошел по всем ступеням разочарований художника. Кумиры его расшиблись в прах. Он ждал свидания с радостью и страхом.

В этот день шел проливной дождь. В восемь часов Шульц, окутанный плащом, звонил у дверей Федоренки. Ключ повернулся в замке; дверь отворилась; Генриетта стояла перед Карлом. Сердца их сильно бились; они не смели глядеть друг на друга.

Молча вошли они в гостиную.

— Простите меня,— сказала наконец Генриетта.

— Вам простить!— тихо отвечал бедный музыкант.— А какое право имею я укорять вас? Сдержал ли я свое обещание? Так ли я должен был прийти за вашим словом? Я нищий, нищий, повторяю вам, что я нищий! Дайте мне милостыню и прогоните меня...

Глаза Генриетты наполнились слезами.

— Вы несправедливы,— говорила она,— вы жестоки ко мне!

— Я вам говорю, что я нищий,— продолжал Шульц,— я вам говорю, что я нищий. Я учу грамоте детей, я забавляю мастеровых, я лгу и кланяюсь: я кланяюсь, когда меня толкают и бьют... Я вам говорю, что я нищий...

— Прежде вы были тверды против бедствия.

— Да, таков был я прежде, когда все прекрасное находило в сердце моем отголосок. Тогда я летал на крыльях поэзии в мире чудном, где все было чисто и светло. Теперь я устал: крылья подогнулись, я упал на землю.

— Оставайтесь на земле, Карл! На земле вы найдете бедную женщину, которая не менее вас страдала, женщину, которая предлагает вам взамен прошедших обольщений небесное возмездие возвышенного чувства. Вы не светский человек, Карл, вы поймете, что можно найти удовлетворение своим желаниям в чувстве возвышенном, а не в преступной связи. Я не могу, я не хочу забывать своего супружеского долга — не оттого, чтобы я дорожила мнением толпы, не оттого, чтоб я боялась гнева этого ничтожного человека, которому меня бросили; но оттого, что я не хочу опорочить нашего страдания, которое должно остаться между нами чисто и свято; но для того, что я хочу остаться для вас вашим светлым вдохновением и сохранить вас для себя, как небесную отраду.

Шульц молча стал перед ней на колени.

— Неужели,— продолжала Генриетта,— неужели мы до того малы и ничтожны, что равнодушный расчет существа бездушного может отнять у нас все счастье наше, все наши горячие верования? Неправда, не верьте этому! Пускай свет нас оковывает в свои внешние формы, пускай он налагает на нас, бедных женщин, пятно чужого, ненавистного имени: у нас остается в глубине души святилище сокровенное, куда без нашего согласия никто проникнуть не может. Оно наше, наша собственность, наш мир, наше уединение от шума и волнения мирского. Никто не может располагать им без нас; никто не может отнять его у нас. Вы это поняли, Карл, потому что в записке вашей ко мне вы назвали меня своей невестой.

— Да будет ваша воля!— сказал тихо Карл.— Вами моя жизнь, может быть, еще поддержится. Я был очень болен, Генриетта. Вчера мне казалось, что голова моя расстроивалась; мне вдруг становилось душно, и странные видения шалили в моей голове. Но это рассеялось теперь от вашего присутствия, как рассеваются тучи от солнечных лучей. Не отнимайте у меня моего солнца, дайте погреть мне им душу! Без вас, я чувствую, жизни для меня нет.

— Приходите ко мне вечером,— отвечала Генриетта,— завтра, а там послезавтра и каждый день. Свидания наши должны быть тайною; мы скроем их от всех, как преступле-

ние. Чувство наше должно быть полнее дружбы, выше любви. Оно немногим, весьма немногим было бы понятно. Мы его скроем, как святыню,— хотите ли?

Шульц сделался совершенным ребенком: то плакал, то смеялся. Радость и горе смешивались в голове его. Он глядел на Генриетту — и душа его таяла от какого-то горестного счастья.

Так прошел целый вечер.

Г-Н ФЕДОРЕНКО

Есть на свете особый класс людей: маленькие, пронырливые, они служили когда-то в отдаленных губерниях. Как они служили и что они делали в отдаленных губерниях — неизвестно; известно только, что они начали службу с десятью рублями и кончили с полумильоном. Окончив таким образом осторожно свое наживание, выходят они в предостерегательную отставку и ищут покровительства, чтоб не подвергнуться каким-нибудь неприятным напоминаниям; большею частью женятся они на воспитанницах знатных барынь и заживают припеваючи.

Муж Генриетты исключительно принадлежал этому сословию.

Он родился в Л... от коренного приказного и тринадцати лет был записан писцом в уездном суде. После способности его развились на обширнейшем поприще. Он уехал в Сибирь; там был и стряпчим, и советником, и в командировках, и менял места, и наконец, запутавшись в одном деле, угрожавшем ему неизбежным уголовным судом, свалил всю беду на своего сослуживца, а сам, за болезнию, вышел в отставку. Состояние было нажито. Он искал связей. Случай сблизил его с княгиней. Мы видели, как он женился.

Человек более деликатный не довольствовался бы холодным обращением жены своей; но Федоренко был так доволен собой, что не обращал внимания на такие мелочи. Знать вскружила ему голову; восхищение его было невыразимо, когда ему случалось сидеть в театре подле генерала или играть в вист с вельможею. Он нарочито поселился подле княгини и каждый вечер, когда недоставало четвертого, имел честь играть с ее сиятельством и всячески старался проигрывать для поддержания ее благосклонности. Генриетта оставалась одна.

С некоторого времени он в особенности сделался чрезвычайно доволен и важен. Он сторговал — разумеется, как во-

дится, на имя жены своей — прекрасное имение в Малороссии, то самое, где отец его до вступления в приказные был дворовым человеком. Это имение было всегда целью его желаний, и по торгам оно оставалось уже за ним. День переторжки был назначен. Федоренко наскоро оделся, вышел в переднюю, надел байковый сюртук и начал надевать калоши.

— Тьфу ты, пропасть!— закричал он вдруг.— Что за дрянь! Калоши проколотые, испорченные... Чьи это калоши? Был здесь кто-нибудь?..

— Никак нет,— отвечал человек.

Федоренко смутился. «Калоши мои, кажется: на ноге сидят хорошо. Да кто же их испортил? Неприятно! Я гадости этакой не надену. Пойду без калош — ноги замочу; можно простудиться, схватить насморк, кашель, пожалуй... Очень неприятно!»

Федоренко нанял извозчика и был очень недоволен целый день, тем более что переторжку отсрочили.

ОДНО ЗА ОДНИМ

А Шульц?.. А Генриетта?.. Что было с ними? Они как будто ожили новою жизнью, и души их с новой силой вооружились против враждебной судьбы. Каждый вечер, когда Федоренко отправлялся к княгине поиграть или повертеться около ее виста, Генриетта отсылала свою горничную, дрожащею рукою отпирала дверь заднего крыльца — и Шульц с трепетом прокрадывался в ее уединенную комнатку, и дверь за ними затворялась, и они оставались одни.

Но беседа их была чиста и безгрешна. Модный человек насмеялся бы вдоволь, глядя на них. Иногда они молчали оба; иногда Шульц рассказывал про свое детство, про старичка органиста своего незабвенного; иногда Генриетта припоминала и прежнюю жизнь свою, и первое знакомство с Шульцем, и посвящение свое в таинство музыки. Тогда Шульц садился у ног ее на скамейке и, глядя на нее с благоговением, сливал свой огненный взор с ее небесным взором. И в этом длинном, упоительном взгляде выражались и скорбь прошедшего, и счастье настоящего, и какое-то неясное упованье на лучшую, неизвестную участь.

С тех пор как они сблизились, они ничего не желали: жизнь для них остановилась, все было забыто, кроме счастья видеть друг друга.

А между тем в Петербурге пронесся слух, что княгиня Г*** занемогла весьма опасно и что на консилиуме уже приговорили ее к смерти.

А между тем Федоренко с некоторого времени был очень встревожен и потирал себе голову. Имение на имя жены было куплено; казалось, все ему удавалось; одно его беспокоило: беспрерывное превращение его калош — они то и дело что менялись в темном коридоре, где было его платье. И точно, это было очень странно: захочет ли он поутру в сырую погоду, например, идти погулять — вместо новых, прекрасных калош человек подает ему калоши испорченные и проколотые, а калоши, по-видимому, сделаны для него; разбранит ли он человека и прикажет выбросить дрянь эту из окна, а на другое утро человек приносит ему калоши блестящие, светлые, чистые, во всей первобытной красоте... Это его мучило; он сделался подозрителен.

Однажды Шульц сидел у ног Генриетты и держал ее руку. Лицо его было светло.

— Генриетта!— говорил он.— Никакое земное чувство не должно помрачить нашу любовь. Ее начала поэзия и перенесла в небо. Но мне как-то стало страшно: быть может, нам недолго оставаться вместе; а я не слыхал еще из уст ваших слов любви; я боюсь умереть, не имев этого утешения. Вы помните, когда мы были в Вене, вы мне обещали и сердце и руку вашу. Вот и кольцо, которым мы обручились. Но ни раза не выговорили вы священных слов, которых жаждет душа, ни раза вы не сказали еще мне: «Карл, я люблю тебя...»

Генриетта задумалась.

— Если что-нибудь земное,— сказала она,— вкралось между нами, вы никогда бы не узнали порога моей комнаты. Я достойна была понять вас, потому что я поняла вас. Но с нашей любовью... слова любви несовместны.

Они замолчали и взглянули друг на друга.

В эту минуту дверь настежь отворилась, и две калоши, влетев в комнату, с шумом ударились об пол. В дверях стоял Федоренко, багровый от гнева. Шульц вскочил с своего места. Генриетта закрыла лицо руками.

Федоренко злобно улыбнулся и подошел к музыканту.

— У каждого своя фантазия,— сказал он.— Вы не любите, чтоб нюхали из вашей табакерки табак, я не люблю, чтоб носили мои калоши,— слышите?.. Вы любите давать какие-то скверные концерты и ходить к чужим же-

нам, а я люблю выпроваживать нахалов в окно — слышите ли?

— Стойте!— закричал Шульц.— Если дорожите жизнью!..

Генриетта бросилась между ними.

— Бррр... Дуэли, пистолеты — слуга покорный! Я с такими вертопрахами разведываюсь иначе. Дворника да кучера — вот вам и дуэль. Вон отсюда!

— Послушайте! — сказал задыхающимся голосом Шульц.— Выслушайте меня. Клянусь вам памятью моей матери, клянусь всем, что есть святого в мире, что жена ваша непорочна.

— Бррр... Знаем мы эти шутки, господин музыкант! Мне сорок осьмой год. Старого воробья не надуешь!

Генриетта с гордостью взглянула на мужа и обратилась к Шульцу.

— Карл!— сказала она тихо и торжественно.— Я люблю тебя!

Слезы брызнули из глаз Шульца.

— Я люблю тебя, потому что ты не изменил себе, потому что ты душою был таким, каким быть должно: и прост и велик. Теперь мы больше не увидимся; но с чистою совестью я могу сказать тебе торжественно и свято перед этим человеком, которому меня продали: «Я люблю тебя! Теперь, Карл, будь тверд: мы должны расстаться!»

Она медленно приблизилась к Шульцу и коснулась чела его прощальным поцелуем. В голосе, в поступи Генриетты было что-то столь величественное, что Федоренко был как бы пригвожден к своему месту и молча пыхтел от злобы и досады.

Лицо Шульца покрылось смертною бледностью. Он дико осмотрелся и выбежал из комнаты.

— Убирайся к черту, музыкант проклятый!— промычал Федоренко.— А вы, сударыня, не стыдно ли вам?.. И выбрать кого же, нищего музыканта, бродягу какого-то безыменного? Вот если бы князя N... Не хорошо бы, а все-таки лучше.

— Я любила Шульца еще в Вене. Я говорила вам это перед нашей свадьбой.

— А-а-а! Так вот он, голубчик! Стыдно вам, сударыня! Полно вам с музыкантами тарабарить. В деревню, в деревню!

Дверь опять растворилась. Вбежал слуга в смущении с важным известием:

— Княгиня изволила скончаться!

«Вот те на!— подумал Федоренко.— Час от часу не легче! Одно за одним! Кто бы мог ожидать — а?.. Княгиня приказала долго жить. Теперь что в ней? Теперь, пожалуй, порастревожат кое-какие старые делишки — походатайствовать некому! Теперь того и гляди, чтоб навострить лыжи да убраться поскорее восвояси...»

— Сударыня!— сказал он громко.— После того, что я видел, мне бы должно было прогнать вас без обиняков, тем более что теперь ваша княгиня... что в ней? Да дело в том, что бес меня подстрекнул купить на ваше имя имение. Теперь я с вами связан, а вы со мною. Хотите не хотите, а вы со мною будете жить. Я заставлю вас жить со мною — слышите? Извольте укладываться: вы со мною едете в новую деревню, в Малороссию. Впрочем, не бойтесь: там народ музыкальный, можно набрать там хоть целый оркестр.

Генриетта не отвечала ни слова: она лежала в обмороке.

СУДЬБА

Дня три спустя, ночью, ветер уныло выл по опустевшим петербургским улицам. Кое-где мелькали фонари в сырой пелене осеннего дождя. В окнах огни уже погасли. Из одних ворот выезжала дорожная карета.

У ворот стоял, сложив руки на груди, молодой человек в порыве сильной лихорадки. Дождь лился градом по его шляпе, но он стоял неподвижен.

Когда карета с ним поравнялась, луч каретного фонаря упал на его обезображенное лицо; в карете послышался слабый женский крик; молодой человек хотел откликнуться — голос остановился в его груди. Карета медленно удалилась, ударяя мерно по мостовой. Стук колес становился все менее и менее слышен; наконец он исчез. Все силы молодого человека, казалось, с ним вместе исчезли: он опустил голову и пошел.

Проходя мимо дома княгини, он невольно остановился. Подъезд был освещен; дверь открыта настежь. Он взошел. По черному сукну тускло освещенной лестницы добрался он до верха. Первая комната была вся обтянута черным сукном с княжескими гербами. В углу какой-то родственник крепко спал на стуле, а дьячок молча тушил лишние свечи. Посреди комнаты стоял под бархатным катафалком малиновый гроб. В гробе лежала княгиня с открытым лицом.

Молодой человек был как будто под влиянием ужасного продолжительного сна. Он подошел к гробу, сел на ступеньки пышного катафалка, у самых ног покойницы, опустил голову на руку и призадумался. По какому-то странному смешению мыслей он перешел воспоминаниями в ту комнату, где так быстро мелькнули лучшие мгновения его жизни, где он сидел, вдохновенный и страстный, подле своей избранной. Он как будто забыл все, что случилось с тех пор. Сердце его вновь наполнилось любовью. Генриетта предстала пред ним во всем чудном очаровании первой молодости, первой пылкой страсти: она глядела на него умилительно своими голубыми, небесными глазами, воздушная, прекрасная. Он мысленно загляделся и залюбовался ею.

Дьячок, увидев постороннего человека, опрометью бросился читать вполголоса свой псалтирь. Печальный погребальный говор дико согласовался с страстными мечтами Шульца. Свечи тускло теплились вокруг катафалка. Картина была самая странная...

Родственник проснулся и подошел к Шульцу с беспокойным видом отчаянного наследника.

— Вы очень любили покойницу?— спросил он боязливо.

— Да, я любил *покойницу,* я люблю покойницу,— отвечал Шульц, очнувшись.— Я люблю покойницу, только не эту покойницу... Да простит бог вашу покойницу!

Родственник глядел на него с удивлением.

— Знаете что? Она... вот эта княгиня... княгиня она, что ли? Знаете, что она хотела со мной сделать?.. Она из груди моей хотела вынуть мое же сердце... какова-а?.. О, да она прехитрая! Хотела опять притвориться и украсть его потихоньку. Да нет, я это притворство знаю; я знаю этих светских людей. Вы думаете, что она вас любит? Неправда, притворяется, все притворяется. Скажите мне правду: вы думаете, что она умерла? Неправда! Притворяется, притворяется! Все это притворство! И герб, и гроб, и катафалк, и вы сами... все это притворство, все притворство!.. Прочь отсюда!— Шульц засмеялся и убежал.

Как испугался студент, когда увидел на рассвете товарища своего, изнуренного страданием и сильным бредом. Шульц ощупью дотащился до своей кровати и упал. Члены его тряслись от лихорадки; несвязные видения душили его. То вдруг казалось ему, что злая Маргарита наклонялась над ним и грозила ему сжатым кулаком; то видел он вдали тень седого старика с красным платком около шеи, который мигал ему и, как фантасмагорическое явление, то отдалялся, то подходил близ-

ко и таинственно к себе манил. Вдруг показалось ему, что он перед каким-то огромным амфитеатром, на который собралась вся вселенная. И вот от имени всех Генриетта, с улыбкой любви на устах, с потупленным взором, подает ему венок лавровый — и в эту минуту амфитеатр рушится, а вместо зрителей толпятся черепа в калошах, которые мигают и шепчутся между собой... И вдруг все превращается в странный, неясный хаос, среди которого Мюллер с своими сапожниками, княгиня с своим раутом и весь Петербург кружатся в каком-то адском, неистовом танце.

Так прошел целый день. Мучение час от часу становилось сильнее. Студента в комнате давно уже не было: он убежал за доктором. К вечеру явился доктор с студентом, бегавшим за ним целый день.

Доктор был человек веселый. Он взял Шульца за руку:

— Что, брат-приятель? Видно, плоха штука, придется прогуляться в Елисейские! Жаль, что вы прежде не пришли,— сказал он, обратившись к студенту.

— Да я был у вас с самого утра,— отвечал студент.

— Да что же, брат, делать? На вашу братью не запасешься. У меня и поважнее вас, да ждут. Впрочем, тут делать нечего,— продолжал он протяжно, понюхивая табак.— Inflammatio cerebralis* в высшей степени. Если б часа за два кровь открыть, то молодца можно было бы поставить на ноги. А теперь — шабаш! К утру он умрет.

И точно, к утру конвульсии Шульца стали мало-помалу утихать, дыхание его сделалось реже. Студент держал его на своих руках. Наконец он сделался спокоен, голова его покатилась на грудь... Все было кончено; студент перекрестился и закрыл страдальцу глаза.

В эту минуту кто-то постучался в дверях.

— Кто там?— закричал студент.

В дверях просунулась фигура Мюллера с узелком в руках: он принес новые, блестящие калоши, взамен первых, о которых он подумать не смел. Узел выпал у него из рук.

— Боже мой! Что это такое?— закричал он.

— Судьба!— глухо промолвил студент.

Мюллер подошел к постели, упал на колени и поцеловал руку усопшего.

В комнате было долгое, глубокое, таинственное молчание.

* Воспаление мозга (*лат.*).

Наконец Мюллер встал, отошел с студентом в сторону и спросил у него с участием:

— Что, вы тоже музыкант?

— Нет! Я хотел посвятить себя литературе, да...

— Да что же?

Молодой человек печально покачал головой и показал на покойника.

— Что ж вы хотите делать?..

— Я схороню его...

— А потом?

— А потом... уеду к матушке в Оренбург.



Н. В. Гоголь



1809–1852



ПОРТРЕТ



ПОВЕСТЬ

§ I



Нигде столько не останавливалось народа, как перед картинною лавочкою на Щукином дворе. Эта лавочка представляла, точно, самое разнородное собрание диковинок: картины большею частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком, в темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара, фламандский мужик с трубкою и выломленною рукою, похожий более на индейского петуха в манжетах, нежели на человека,— вот обыкновенные их сюжеты. К этому нужно присовокупить несколько гравированных изображений: портрет Хозрева-Мирзы в бараньей шапке, портреты каких-то генералов в треугольных шляпах, с кривыми носами. Двери такой лавочки обыкновенно бывают увешаны связками тех картин, которые свидетельствуют самородное дарование русского человека: на одной из них была царевна Миликтриса Кирбитьевна, на другой город Иерусалим, по домам и церквям которого без церемонии прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двух молящихся русских мужиков в рукавицах. Покупателей этих произведений обыкновенно немного, но зато зрителей куча. Какой-нибудь забулдыга лакей уже, верно, зевает перед ними, держа в руке судки с обедом из трактира для своего барина, который, без сомнения, будет хлебать суп не слишком горячий. Перед ними, верно, уже стоит солдат, этот кавалер толкучего рынка, продающий два перочинные ножика; торговка из Охты с коробкою,

наполненною башмаками. Всякий восхищается по-своему: мужики обыкновенно тыкают пальцами; кавалеры рассматривают сурьезно; лакеи-мальчишки и мальчишки-мастеровые смеются и дразнят друг друга нарисованными карикатурами; старые лакеи в фризовых шинелях смотрят потому только, чтобы где-нибудь позевать; а торговки, молодые русские бабы, спешат по инстинкту, чтобы послушать, о чем калякает народ, и посмотреть, на что он смотрит. В это время невольно остановился перед лавкою проходивший мимо молодой художник Чертков. Старая шинель и нещегольское платье показывали в нем того человека, который с самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своем наряде, всегда имеющем таинственную привлекательность для молодежи. Он остановился перед лавкою и сперва внутренно смеялся над этими уродливыми картинами; наконец невольно овладело им размышление: он стал думать о том, кому бы нужны были эти произведения. Что русский народ заглядывается на *Еруслановов Лазаричей,* на *объедал и обпивал,* на *Фому и Ерему* — это ему не казалось удивительным: изображенные предметы были очень доступны и понятны народу; но где покупатели этих пестрых, грязных, масляных малеваний? кому нужны эти фламандские мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показывают какое-то притязание на несколько уже высший шаг искусства, но в которых выразилось всё глубокое его унижение? Если бы это были труды ребенка, покоряющегося одному невольному желанию, если бы они совсем не имели никакой правильности, не сохраняли даже первых условий механического рисования, если бы в них было всё в карикатурном виде, но в этом карикатурном виде просвечивалось бы хотя какое-нибудь старание, какой-нибудь порыв произвести подобное природе,— но ничего этого нельзя было отыскать в них. Какое-то тупоумие старости, какая-то бессмысленная охота или, лучше сказать, неволя водила рукою их творцов. Кто трудился над ними? И трудился, без сомнения, один и тот же, потому что те же краски, та же манера, та же набившаяся, приобыкшая рука, принадлежавшая скорее грубо сделанному автомату, нежели человеку. Он всё так же стоял перед этими грязными картинами и глядел на них, но уже совершенно не глядя, между тем как содержатель этого живописного магазина, серенький человек, лет пятидесяти, во фризовой шинели, с давно небритым подбородком, рассказывал ему, что картины *«самый первый сорт»* и только что получены с биржи, еще и лак не высох и в рамки не вставлены. *«Смотрите сами,*

честью уверяю, что останетесь довольны». Все эти заманчивые речи летели мимо ушей Черткова. Наконец, чтобы немного ободрить хозяина, он поднял с полу несколько запылившихся картин. Это были старые фамильные портреты, которых потомки вряд ли бы отыскались. Почти машинально начал он с одного из них стирать пыль. Легкая краска вспыхнула на лице его, краска, которая означает тайное удовольствие при чем-нибудь неожиданном. Он стал нетерпеливо тереть рукою и скоро увидел портрет, на котором ясно была видна мастерская кисть, хотя краски казались несколько мутными и почерневшими. Это был старик с каким-то беспокойным и даже злобным выражением лица; в устах его была улыбка, резкая, язвительная, и вместе какой-то страх; румянец болезни был тонко разлит по лицу, исковерканному морщинами; глаза его были велики, черны, тусклы; но вместе с этим в них была заметна какая-то странная живость. Казалось, этот портрет изображал какого-нибудь скрягу, проведшего жизнь над сундуком, или одного из тех несчастных, которых всю жизнь мучит счастие других. Лицо вообще сохраняло яркий отпечаток южной физиономии. Смуглота, черные как смоль волосы, с пробившеюся проседью — всё это не попадается у жителей северных губерний. Во всём портрете была видна какая-то неокончательность; но если бы он приведен был в совершенное исполнение, то знаток потерял бы голову в догадках, каким образом совершеннейшее творение Вандика очутилось в России и зашло в лавочку на Щукин двор. С бьющимся сердцем молодой художник, отложивши его в сторону, начал перебирать другие, не найдется ли еще чего подобного, но всё прочее составляло совершенно другой мир и показывало только, что этот гость глупым счастьем попал между них. Наконец Чертков спросил о цене. Пронырливый купец, заметив по его вниманию, что портрет чего-нибудь стоит, почесал за ухом и сказал:

— Да что, ведь десять рублей будет за него маловато.

Чертков протянул руку в карман.

— Я даю одиннадцать! — раздалось позади его.

Он оборотился и увидел, что народу собралась куча и что один господин в плаще долго, подобно ему, стоял перед картиною. Сердце у него сильно забилось, и губы тихо задрожали, как у человека, который чувствует, что у него хотят отнять предмет его исканий. Осмотревши внимательно нового покупщика, он несколько утешился, заметив на нем костюм, нимало не уступавший его собственному, и произнес дрожащим голосом:

— Я дам тебе двенадцать рублей, картина моя.

— Хозяин! картина за мною, вот тебе пятнадцать рублей!— произнес покупщик.

Лицо Черткова судорожно вздрогнуло, дух захватился, и он невольно выговорил:

— Двадцать рублей.

Купец потирал руки от удовольствия, видя, что покупщики сами торгуются в его пользу. Народ гуще обступил покупающих, услышав носом, что обыкновенная продажа превратилась в аукцион, всегда имеющий сильный интерес даже для посторонних. Цену наконец набили до пятидесяти рублей. Почти отчаянно закричал Чертков: «пятьдесят», вспомнивши, что у него вся сумма в 50 рублях, из которых он должен, хотя часть, заплатить за квартиру и, кроме того, купить красок и еще кое-каких необходимых вещей. Противник в это время отступился, сумма, казалось, превосходила также его состояние, и картина осталась за Чертковым. Вынувши из кармана ассигнацию, он бросил ее в лицо купцу и ухватился с жадностью за картину, но вдруг отскочил от нее, пораженный страхом. Темные глаза нарисованного старика глядели так живо и вместе мертвенно, что нельзя было не ощутить испуга. Казалось, в них неизъяснимо странною силою удержана была часть жизни. Это были не нарисованные, это были живые, это были человеческие глаза. Они были неподвижны, но, верно, не были бы так ужасны, если бы двигались. Какое-то дикое чувство, не страх, но то неизъяснимое ощущение, которое мы чувствуем при появлении странности, представляющей беспорядок природы, или, лучше сказать, какое-то сумасшествие природы,— это самое чувство заставило вскрикнуть почти всех. С трепетом провел Чертков рукою по полотну, но полотно было гладко. Действие, произведенное портретом, было всеобщее: народ с каким-то ужасом отхлынул от лавки; покупщик, вошедший с ним в соперничество, боязливо удалился. Сумерки в это время сгустились, казалось, для того, чтобы сделать еще более ужасным это непостижимое явление. Чертков не в силах был оставаться более. Не смея и думать о том, чтобы взять его с собою, он выбежал на улицу. Свежий воздух, гром мостовой, говор народа, казалось, на минуту освежил его, но душа была всё еще сжата каким-то тягостным чувством. Сколько ни обращал он глаз по сторонам на окружающие предметы, но мысли его были заняты одним необыкновенным явлением. «Что это?— думал он сам про себя,— искусство или сверхъестественное какое волшебство, выглянувшее мимо законов природы? Какая

странная, какая непостижимая задача! или для человека есть такая черта, до которой доводит высшее познание и чрез которую шагнув, он уже похищает несоздаваемое трудом человека, он вырывает что-то живое из жизни, одушевляющей оригинал? Отчего же этот переход за черту, положенную границею для воображения, так ужасен? или за воображением, за порывом, следует наконец действительность, та ужасная действительность, на которую соскакивает воображение с своей оси каким-то посторонним толчком, та ужасная действительность, которая представляется жаждущему ее тогда, когда он, желая постигнуть прекрасного человека, вооружается анатомическим ножом, раскрывает его внутренность и видит отвратительного человека? Непостижимо! такая изумительная, такая ужасная живость! или чересчур близкое подражание природе так же притворно, как блюдо, имеющее чересчур сладкий вкус?» С такими мыслями вошел он в свою маленькую комнатку в небольшом деревянном доме на Васильевском Острове в 15 линии, в которой лежали разбросанные во всех углах ученические его начатки, копии с антиков, тщательные, точные, показывавшие в художнике старание постигнуть фундаментальные законы и внутренний размер природы. Долго рассматривал он их, и наконец мысли его потянулись одна за другою и стали выражаться почти словами; так живо чувствовал он то, о чем размышлял!

«И вот год, как я тружусь над этим сухим, скелетным трудом! стараюсь всеми силами узнать то, что так чудно дается великим творцам и кажется плодом минутного быстрого вдохновения. Только тронут они кистью, и уже является у них человек вольный, свободный, таков, каким он создан природою; движения его живы, непринужденны. Им это дано вдруг, а мне должно трудиться всю жизнь; всю жизнь исследовать скучные начала и стихии, всю жизнь отдать бесцветной, не отвечающей на чувства работе. Вот мои маранья! Они верны, схожи с оригиналами; но захоти я произвесть свое — и у меня выйдет совсем не то: нога не станет так верно и непринужденно; рука не подымется так легко и свободно; поворот головы у меня вовеки не будет так естествен, как у них, а мысль, а те невыразимые явления... Нет, я не буду никогда великим художником!»

Размышления его прерваны были вошедшим его камердинером, парнем лет осьмнадцати, в русской рубашке, с розовым лицом и рыжими волосами. Он без церемонии начал стягивать с Черткова сапоги, который был погружен в свои размышления. Этот парень, в красной рубашке, был его ла-

кей, натурщик, чистил ему сапоги, зевал в маленькой его передней, тер краски и пачкал грязными ногами его пол. Взявши сапоги, он бросил ему халат и выходил уже из комнаты, как вдруг оборотил голову назад и произнес громко:

— Барин, свечу зажигать или нет?

— Зажги,— ответил рассеянно Чертков.

— Да еще хозяин приходил,— примолвил кстати грязный камердинер, следуя похвальному обычаю всех людей его звания упоминать в P. S. о том, что поважнее,— хозяин приходил и сказал, что если не заплотите денег, то вышвырнет все ваши картины за окошко вместе с кроватью.

— Скажи хозяину, чтобы не беспокоился о деньгах,— ответил Чертков,— я достал деньги.

При этом он обратился к карману фрака, но вдруг вспомнил, что все деньги свои оставил за портрет у лавочника. Мысленно начал он укорять себя в безрассудности, что выбежал без всякой причины из лавки, испугавшись ничтожного случая, и не взял с собою ни денег, ни портрета. Завтра же решился он идти к купцу и взять деньги, почитая себя совершенно вправе отказаться от такой покупки, тем более что его домашние обстоятельства не позволяли сделать никакой лишней издержки.

Свет луны ярким, белым окном ложился на его пол, захватывая часть кровати и оканчиваясь на стене. Все предметы и картины, висевшие в его комнате, как-то улыбались, захвативши иногда краями своими часть этого вечно прекрасного сияния. В эту минуту как-то нечаянно он взглянул на стену и увидел на ней тот же самый странный портрет, так поразивший его в лавке. Легкая дрожь невольно пробежала по его телу. Первым делом его было позвать своего камердинера и натурщика и расспросить, каким образом и кто принес к нему портрет; но камердинер-натурщик клялся, что никто не приходил, выключая хозяина, который был еще поутру и, кроме ключа, ничего не имел в своих руках. Чертков чувствовал, что волосы его зашевелились на голове. Севши возле окна, он силился себя уверить, что здесь не могло ничего быть сверхъестественного, что мальчик его мог в это время заснуть, что хозяин портрета мог его прислать, узнавши каким-нибудь особенным случаем его квартиру... Короче, он начал приводить все те плоские изъяснения, которые мы употребляем, когда хотим, чтобы случившееся случилось непременно так, как мы думаем. Он положил себе не смотреть на портрет, но голова его невольно к нему обращалась и взгляд, казалось, прикипал к странному изображению. Неподвижный взгляд старика

был нестерпим; глаза совершенно светились, вбирая в себя лунный свет, и живость их до такой степени была страшна, что Чертков невольно закрыл свои глаза рукою. Казалось, слеза дрожала на ресницах старика; светлые сумерки, в которые владычица-луна превратила ночь, увеличивали действие; полотно пропадало, и страшное лицо старика выдвинулось и глядело из рам, как будто из окошка.

Приписывая это сверхъестественное действие луне, чудесный свет которой имеет в себе тайное свойство придавать предметам часть звуков и красок другого мира, он приказал подать скорее свечу, около которой копался его лакей; но выражение портрета ничуть не уменьшилось: лунный свет, слившись с сиянием свечи, придал ему еще более непостижимой и вместе странной живости. Схвативши простыню, он начал закрывать портрет; свернул ее втрое, чтобы он не мог сквозь нее просвечивать, но при всем том, или это было следствие сильно потревоженного воображения, или собственные глаза его, утомленные сильным напряжением, получили какую-то беглую, движущуюся сноровку, только ему долго казалось, что взор старика сверкал сквозь полотно. Наконец он решился погасить свечу и лечь в постель, которая была заставлена ширмами, скрывавшими от него портрет. Напрасно ожидал он сна: мысли самые неутешительные прогоняли то спокойное состояние, которое ведет за собою сон. Тоска, досада, хозяин, требующий денег, недоконченные картины — создания бессильных порывов, бедность — всё это двигалось перед ним и сменялось одно другим. И когда на минуту удавалось ему прогнать их, то чудный портрет властительно втеснялся в его воображение и, казалось, сквозь щелку в ширмах сверкали его убийственные глаза. Никогда не чувствовал он на душе своей такого тяжелого гнета. Свет луны, который содержит в себе столько музыки, когда вторгается в одинокую спальню поэта и проносит младенчески-очаровательные полусны над его изголовьем, этот свет луны не наводил на него музыкальных мечтаний; его мечтания были болезненны. Наконец впал он не в сон, но в какое-то полузабвение, в то тягостное состояние, когда одним глазом видим приступающие грёзы сновидений, а другим — в неясном облаке окружающие предметы. Он видел, как поверхность старика отделялась и сходила с портрета, так же, как снимается с кипящей жидкости верхняя пена, подымалась на воздух и неслась к нему ближе и ближе, наконец приближалась к самой его кровати. Чертков чувствовал занимавшееся дыхание, силился приподняться,— но руки его были неподвижны. Глаза старика мутно горе-

ли и вперились в него всею магнитною своею силою.

— Не бойся,— говорил странный старик, и Чертков заметил у него на губах улыбку, которая, казалось, жалила его своим осклаблением и яркою живостью осветила тусклые морщины его лица.— Не бойся меня,— говорило странное явление,— мы с тобою никогда не разлучимся. Ты задумал весьма глупое дело: что тебе за охота целые веки корпеть за азбукою, когда ты давно можешь читать по верхам? Ты думаешь, что долгими усилиями можно постигнуть искусство, что ты выиграешь и получишь что-нибудь? Да, ты получишь,— при этом лицо его странно исковеркалось и какой-то неподвижный смех выразился на всех его морщинах,— ты получишь завидное право кинуться с Исакиевского моста в Неву или, завязавши шею платком, повеситься на первом попавшемся гвозде; а труды твои первый маляр, накупивши их на рубль, замажет грунтом, чтобы нарисовать на нем какую-нибудь красную рожу. Брось свою глупую мысль! Всё делается в свете для пользы. Бери же скорее кисть и рисуй портреты со всего города! бери все, что ни закажут; но не влюбляйся в свою работу, не сиди над нею дни и ночи; время летит скоро, и жизнь не останавливается. Чем более смастеришь ты в день своих картин, тем больше в кармане будет у тебя денег и славы. Брось этот чердак и найми богатую квартиру. Я тебя люблю и потому даю тебе такие советы; я тебе и денег дам, только приходи ко мне.— При этом старик опять выразил на лице своем тот же неподвижный, страшный смех.

Непостижимая дрожь проняла Черткова и выступила холодным потом на его лице. Собравши все свои усилия, он приподнял руку и наконец привстал с кровати. Но образ старика сделался тусклым, и он только заметил, как он ушел в свои рамы. Чертков встал с беспокойством и начал ходить по комнате. Чтобы немного освежить себя, он приблизился к окну. Лунное сияние лежало всё еще на крышах и белых стенах домов, хотя небольшие тучи стали чаще переходить по небу. Всё было тихо; изредка долетало до слуха отдаленное дребезжание дрожек извозчика, который где-нибудь в невидном переулке спал, убаюкиваемый своею ленивою клячею, поджидая запоздалого седока. Чертков уверился, наконец, что воображение его слишком расстроено и представило ему во сне творение его же возмущенных мыслей. Он подошел еще раз к портрету: простыня его совершенно скрывала от взоров, и, казалось, только маленькая искра сквозила изредка сквозь нее. Наконец он заснул и проспал до самого утра.

Проснувшись, он долго чувствовал в себе то неприятное

состояние, которое овладевает человеком после угара: голова его неприятно болела. В комнате было тускло, неприятная мокрота сеялась в воздухе и проходила сквозь щели его окон, заставленных картинами или натянутым грунтом. Скоро у дверей раздался стук и вошел хозяин с квартальным надзирателем, которого появление для людей мелких так же неприятно, как для богатых умильное лицо просителя. Хозяин небольшого дома, в котором жил Чертков, был одно из тех творений, какими обыкновенно бывают владетели домов в пятнадцатой линии Васильевского Острова, на Петербургской стороне или в отдаленном углу Коломны; творение, каких очень много на Руси и которых характер так же трудно определить, как цвет изношенного сюртука. В молодости своей он был и капитан, и крикун, употреблялся и по штатским делам, мастер был хорошо высечь, был и расторопен, и щеголь, и глуп, но в старости своей он слил в себе все эти резкие особенности в какую-то тусклую неопределенность. Он был уже вдов, был уже в отставке; уже не щеголял, не хвастал, не задирался; любил только пить чай и болтать за ним всякий вздор; ходил по своей комнате, поправлял сальный огарок; аккуратно по истечении каждого месяца наведывался к своим жильцам за деньгами; выходил на улицу с ключом в руке, для того чтобы посмотреть на крышу своего дома; выгонял несколько раз дворника из его конуры, куда он запрятывался спать,— одним словом, был человек в отставке, которому после всей забубенной жизни и тряски на перекладной остаются одни пошлые привычки.

— Извольте сами глядеть,— сказал хозяин, обращаясь к квартальному и расставляя руки,— извольте распорядиться и объявить ему.

— Я должен вам объявить,— сказал квартальный надзиратель, заложивши руку за петлю своего мундира,— что вы должны непременно заплатить должные вами уже за три месяца квартирные деньги.

— Я бы рад заплатить, но что же делать, когда нечем,— сказал хладнокровно Чертков.

— В таком случае хозяин должен взять себе вашу движимость, равностоящую сумме квартирных денег, а вам до́лжно немедленно сегодня же выехать.

— Берите всё, что хотите,— отвечал почти бесчувственно Чертков.

— Картины многие не без искусства сделаны,— продолжал квартальный, перебирая из них некоторые.— Жаль только, что не кончены и краски-то не так живы... Верно, недостаток

в деньгах не позволял вам купить их? А это что за картина, завернутая в холстину?

При этом квартальный, без церемонии подошедши к картине, сдернул с нее простыню, потому что эти господа всегда позволяют себе маленькую вольность там, где видят совершенную беззащитность или бедность. Портрет, казалось, изумил его, потому что необыкновенная живость глаз производила на всех равное действие. Рассматривая картину, он несколько крепко сжал ее рамы, и так как руки у полицейских служителей всегда несколько отзываются топорной работою, то рамка вдруг лопнула; небольшая дощечка упала на пол вместе с брякнувшим на землю свертком золота, и несколько блестящих кружков покатилось во все стороны. Чертков с жадностью бросился подбирать и вырвал из полицейских рук несколько поднятых им червонцев.

— Как же вы говорите, что не имеете чем заплатить,— заметил квартальный, приятно улыбаясь,— а между тем у вас столько золотой монеты.

— Эти деньги для меня священны!— вскричал Чертков, опасаясь искусных рук полицейского.— Я должен их хранить, они вверены мне покойным отцом; впрочем, чтоб вас удовлетворить, вот вам за квартиру!— При этом он бросил несколько червонцев хозяину дома.

Физиономия и приемы в одну минуту изменились у хозяина и достойного блюстителя за нравами пьяных извозчиков. Полицейский стал извиняться и уверять, что он только исполнял предписанную форму, а впрочем, никак не имел права его принудить, а чтобы более в этом уверить Черткова, он предложил ему приз табаку. Хозяин дома уверял, что он только пошутил, и уверял с такою божбою и бессовестностию, с какою обыкновенно уверяет купец в Гостином дворе. Но Чертков выбежал вон и не решился более оставаться на прежней квартире. Он не имел даже времени подумать о странности этого происшествия. Осмотревши сверток, он увидел в нем более сотни червонцев. Первым делом его было нанять щегольскую квартиру. Квартира, попавшаяся ему, была как нарочно для него приготовлена: четыре в ряд высокие комнаты, большие окна, все выгоды и удобства для художника! Лежа на турецком диване и глядя в цельные окна на растущие и мелькающие волны народа, он был погружен в какое-то самодовольное забвение и дивился сам своей судьбе, еще вчера пресмыкавшейся с ним на чердаке. Недоконченные и оконченные картины развесились по стройным колоссальным стенам; между ними висел таинственный портрет, кото-

рый достался ему таким единственным образом. Он опять стал думать о причине необыкновенной живости его глаз. Мысли его обратились к видимому им полусновидению, наконец к чудному кладу, скрывавшемуся в его рамках. Всё привело его к тому, что какая-нибудь история соединена с существованием портрета и что даже, может быть, его собственное бытие связано с этим портретом. Он вскочил с своего дивана и начал его внимательно рассматривать; в раме находился ящик, прикрытый тоненькой дощечкой, но так искусно заделанной и заглаженной с поверхностью, что никто бы не мог узнать о его существовании, если бы тяжелый палец квартального не продавил дощечки. Он поставил его на место и еще раз на него посмотрел. Живость глаз уже не казалась ему так страшною среди яркого света, наполнявшего его комнату сквозь огромные окна, и многолюдного шума улицы, громившего его слух, но она заключала в себе что-то неприятное, так что он постарался скорее от него отворотиться. В это время зазвенел звонок у дверей и вошла к нему почтенная дама пожилых лет, с талией в рюмочку, в сопровождении молоденькой, лет осьмнадцати; лакей в богатой ливрее отворил им дверь и остановился в передней.

— Я к вам с просьбой,— произнесла дама ласковым тоном, с каким обыкновенно они говорят с художниками, французскими парикмахерами и прочими людьми, рожденными для удовольствия других.— Я слышала о ваших дарованиях... (Чертков удивился такой скорой своей славе.) Мне хочется, чтобы вы сняли портрет с моей дочери.

При этом бледное личико дочери обратилось к художнику, который, если бы был знаток сердца, то вдруг бы прочел на нем немноготомную историю ее: ребяческая страсть к балам, тоска и скука продолжительного времени до обеда и после обеда, желание побегать в платье последней моды на многолюдном гулянье, нетерпеливость увидеть свою приятельницу для того, чтобы ей сказать: «Ах, милая, как я скучала», или объявить, какую мадам Сихлер сделала уборку к платью княгини Б... Вот всё, что выражало лицо молодой посетительницы, бледное, почти без выражения, с оттенкою какой-то болезненной желтизны.

— Я бы желала, чтобы вы теперь же принялись за работу,— продолжала дама,— мы можем вам дать час.

Чертков бросился к краскам и кистям, взял уже готовый натянутый грунт и устроился как следует.

— Я вас должна несколько предуведомить,— говорила дама,— насчет моей Анет и этим облегчить несколько ваш труд;

в глазах ее и даже во всех чертах лица всегда была заметна томность; моя Анет очень чувствительна, и, признаюсь, я никогда не даю ей читать новых романов!— Художник смотрел в оба и не заметил никакой томности.— Мне бы хотелось, чтобы вы изобразили ее просто в семейном кругу или, еще лучше, одну на чистом воздухе в зеленой тени, чтобы ничто не показывало, будто она едет на бал. Наши балы, должно признаться, так скучны и так убивают душу, что, право, я не понимаю удовольствия бывать на них.— Но на лице дочери и даже самой почтенной дамы было написано резкими чертами, что они не пропускали ни одного бала.

Чертков был на минуту в размышлении, как согласить эти небольшие противуположности, наконец решился избрать благоразумную средину. Притом его прельщало желание победить трудности и восторжествовать искусством, согласив двусмысленное выражение портрета. Кисть бросила на полотно первый туман, художнический хаос, из него начали делиться и выходить медленно образующиеся черты. Он приник весь к своему оригиналу и уже начал уловлять те неуловимые черты, которые самому бесцветному оригиналу придают в правдивой копии какой-то характер, составляющий высокое торжество истины. Какой-то сладкий трепет начал им одолевать, когда он чувствовал, что наконец подметил и, может быть, выразит то, что очень редко удается выражать. Это наслаждение, неизъяснимое и прогрессивно возвышающееся, известно только таланту. Под кистью его лицо портрета как будто невольно приобрело тот колорит, который был для него самого внезапным открытием; но оригинал начал так сильно вертеться и зевать перед ним, что художнику еще неопытному трудно было ловить урывками и мгновениями постоянное его выражение.

— Мне кажется, на первый раз довольно,— произнесла почтенная дама.

Боже, как это ужасно! А душа и силы разохотились и хотели разгуляться. Повесивши голову и бросивши палитру, стоял он перед своею картиною.

— Мне, однако ж, сказали, что вы в два сеанса оканчиваете совершенно портрет,— произнесла дама, подходя к картине.— А у вас до сих пор еще только почти один абрис. Мы приедем к вам завтра в это же время.

Молчаливо выпроводил своих гостей художник и остался в неприятном размышлении. В его тесном чердаке никто не перебивал ему, когда он сидел над своею незаказною работою. С досадою отодвинул он начатый портрет и хотел заняться

другими недоконченными работами. Но как будто можно мысль и чувства, проникнувшие уже до души, заместить новыми, в которые еще не успело влюбиться наше воображение. Бросивши кисть, он вышел из дому.

Юность счастлива тем, что перед нею бежит множество разных дорог, что ее живая, свежая душа доступна тысяче разных наслаждений; и потому Чертков рассеялся почти в одну минуту. Несколько червонцев в кармане — и что не во власти исполненной сил юности. Притом русский человек, а особливо дворянин или художник, имеет странное свойство: как только завелся у него в кармане грош — ему всё трын-трава и море по колена. У него оставалось еще от денег, заплаченных вперед за квартиру, около тридцати червонцев. И все эти тридцать червонцев он спустил в один вечер. Прежде всего он приказал себе подать обед отличнейший, выпил две бутылки вина и не захотел взять сдачи, нанял щегольскую карету, чтобы только съездить в театр, находившийся в двух шагах от его квартиры, угостил в кондитерской трех своих приятелей, зашел еще кое-куда и возвратился домой без копейки в кармане. Бросившись в кровать, он уснул крепко, но сновидения его были так же несвязны, и грудь, как и в первую ночь, сжималась, как будто чувствовала на себе что-то тяжелое; он увидел сквозь щелку своих ширм, что изображение старика отделилось от полотна и с выражением беспокойства пересчитывало кучи денег, золото сыпалось из его рук... Глаза Черткова горели; казалось, его чувства узнали в золоте ту неизъяснимую прелесть, которая дотоле ему не была понятна. Старик его манил пальцем и показывал ему целую гору червонцев. Чертков судорожно протянул руку и проснулся. Проснувшись, он подошел к портрету, тряс его, изрезал ножом все его рамы, но нигде не находил запрятанных денег; наконец махнул рукою и решился работать, дал себе слово не сидеть долго и не увлекаться заманчивою кистью. В это время приехала вчерашняя дама с своею бледною Анетою. Художник поставил на станок свой портрет и на этот раз кисть его неслась быстрее. Солнечный день, ясное освещение дали какое-то особенное выражение оригиналу, и открылось множество дотоле не замеченных тонкостей. Душа его загорелась опять напряжением. Он силился схватить мельчайшую точку или черту, даже самую желтизну и неровное изменение колорита в лице зевавшей и изнуренной красавицы с тою точностию, с которою позволяют себе неопытные артисты, воображающие, что истина может нравиться так же и другим, как нравится им самим. Кисть его только что хотела

схватить одно общее выражение всего целого, как досадное «довольно» раздалось над его ушами и дама подошла к его портрету.

— Ах, боже мой! что это вы нарисовали?— вскрикнула она с досадою.— Анет у вас желта; у ней под глазами какие-то темные пятна; она как будто приняла несколько склянок микстуры. Нет, ради бога, исправьте ваш портрет: это совсем не ее лицо. Мы к вам будем завтра в это же время.

Чертков с досадою бросил кисть: он проклинал и себя, и палитру, и ласковую даму, и дочь ее, и весь мир. Голодный просидел он в своей великолепной комнате и не имел сил приняться ни за одну картину. На другой день, вставши рано, он схватил первую попавшуюся ему работу: это была давно начатая им Психея, поставил ее на станок, с намерением насильно продолжать; в это время вошла вчерашняя дама.

— Ах, Анет, посмотри, посмотри сюда!— вскричала дама с радостным видом.— Ах, как похоже! прелесть! прелесть! и нос, и рот, и брови! чем вас благодарить за этот прекрасный сюрприз? Как это мило! Как хорошо, что эта рука немного приподнята. Я вижу, что вы точно тот великий художник, о котором мне говорили.

Чертков стоял как оторопелый, увидевши, что дама приняла его Психею за портрет своей дочери. С застенчивостью новичка он начал уверять, что этим слабым эскизом хотел изобразить Психею; но дочь приняла это себе за комплимент и довольно мило улыбнулась, улыбку разделила мать. Адская мысль блеснула в голове художника, чувство досады и злости подкрепило ее, и он решился этим воспользоваться.

— Позвольте мне попросить вас сегодня посидеть немного подолее,— произнес он, обратясь к довольной на этот раз блондинке.— Вы видите, что платья я еще не делал вовсе, потому что хотел всё с большею точностию рисовать с натуры.— Быстро он одел свою Психею в костюм XIX века; тронул слегка глаза, губы, просветлил слегка волосы и отдал портрет своим посетительницам. Пук ассигнаций и ласковая улыбка благодарности были ему наградою.

Но художник стоял, как прикованный к одному месту. Его грызла совесть; им овладела та разборчивая, мнительная боязнь за свое непорочное имя, которая чувствует юношею, носящим в душе благородство таланта, которая заставляет если не истреблять, то по крайней мере скрывать от света те произведения, в которых он сам видит несовершенство, которая заставляет скорее вытерпеть презрение всей толпы, нежели презрение истинного ценителя. Ему казалось, что уже

стоит перед его картиною грозный судия и, качая головою, укоряет его в бесстыдстве и бездарности. Чего бы он не дал, чтоб возвратить только ее назад. Уже он хотел бежать вслед за дамою, вырвать портрет из рук ее, разорвать и растоптать его ногами, но как это сделать? Куда идти? Он не знал даже фамилии его посетительницы.

С этого времени, однако ж, произошла в жизни его счастливая перемена. Он ожидал, что бесславие покроет его имя, но вышло совершенно напротив. Дама, заказавшая портрет, рассказала с восторгом о необыкновенном художнике, и мастерская нашего Черткова наполнилась посетителями, желавшими удвоить и, если можно, удесятерить свое изображение. Но свежий, еще невинный, чувствующий в душе недостойным себя к принятию такого подвига, Чертков, чтобы сколько-нибудь загладить и искупить свое преступление, решился заняться со всевозможным старанием своею работою; решился удвоить напряжение своих сил, которое одно производит чудеса. Но намерения его встретили непредвиденные препятствия: посетители его, с которых он рисовал портреты, были большею частию народ нетерпеливый, занятой, торопящийся, и потому, едва только кисть его начинала творить что-нибудь не совсем обыкновенное, как уже вваливался новый посетитель, преважно выставлял свою голову, горя желанием увидеть ее скорее на полотне, и художник спешил скорее оканчивать свою работу. Время его, наконец, было так разобрано, что он ни на одну минуту не мог предаться размышлению; и вдохновение, беспрестанно истребляемое при самом рождении своем, наконец отвыкло навещать его. Наконец, чтобы ускорять свою работу, он начал заключаться в известные, определенные, однообразные, давно изношенные формы. Скоро портреты его были похожи на те фамильные изображения старых художников, которые так часто можно встретить во всех краях Европы и даже во всех углах мира, где дамы изображены с сложенными на груди руками и держащими цветок в руке, а кавалеры в мундире, с заложенною за пуговицу рукою. Иногда желал он дать новое, еще не избитое положение, отличавшееся бы оригинальностью и непринужденностью,— но увы! всё непринужденное и легкое у поэта и художника достается слишком принужденно и есть плод великих усилий. Для того чтобы дать новое, смелое выражение, постигнуть новую тайну в живописи, для этого нужно было ему долго думать, отвратившись глаза от всего окружающего, унесшись от всего мирского и жизни. Но на это у него не оставалось времени, и притом он слишком был изнурен днев-

ною работою, чтобы быть в готовности принять вдохновение; мир же, с которого он рисовал свои произведения, был слишком обыкновенен и однообразен, чтобы вызвать и возмутить воображение. Глубокоразмышляющее и вместе неподвижное лицо директора департамента, красивое, но вечно на одну мерку лицо уланского ротмистра, бледное, с натянутою улыбкою, петербургской красавицы и множество других, уже чересчур обыкновенных — вот всё, что каждый день менялось перед нашим живописцем. Казалось, кисть его сама приобрела наконец ту бесцветность и отсутствие энергии, которою означались его оригиналы.

Беспрестанно мелькавшие перед ним ассигнации и золото наконец усыпили девственные движения души его. Он бесстыдно воспользовался слабостью людей, которые за лишнюю черту красоты, прибавленную художником к их изображениям, готовы простить ему все недостатки, хотя бы эта красота была во вред самому сходству.

Чертков наконец сделался совершенно модным живописцем. Вся столица обратилась к нему; его портреты видны были во всех кабинетах, спальнях, гостиных и будуарах. Истинные художники пожимали плечами, глядя на произведения этого баловня могущественного случая. Напрасно силились они отыскать в нем хотя одну черту верной истины, брошенную жарким вдохновением;— это были правильные лица, почти всегда недурные собою, потому что понятие красоты удержалось еще в художнике, но никакого знания сердца, страстей или хотя привычек человека,— ничего такого, что бы отзывалось сильным развитием тонкого вкуса. Некоторые же, знавшие Черткова, удивлялись этому странному событию, потому что видели в первых его началах присутствие таланта, и старались разрешить непостижимую загадку: как может дарование угаснуть в цвете сил, вместо того чтобы развиться в полном блеске.

Но этих толков не слышал самодовольный художник и величался всеобщею славою, потряхивая червонцами своими и начиная верить, что всё на свете обыкновенно и просто, что откровения свыше в мире не существует и всё необходимо должно быть подведено под строгий порядок аккуратности и однообразия. Уже жизнь его коснулась тех лет, когда всё дышащее порывом сжимается в человеке, когда могущественный смычок слабее доходит до души и не обвивается пронзительными звуками около сердца, когда прикосновение красоты уже не превращает девственных сил в огонь и пламя, но все отгоревшие чувства становятся доступнее к звуку золота,

вслушиваются внимательнее в его заманчивую музыку и, мало-помалу, нечувствительно позволяют ей совершенно усыпить себя. Слава не может насытить и дать наслаждения тому, который украл ее, а не заслужил; она производит постоянный трепет только в достойном ее. И потому все чувства и порывы его обратились к золоту. Золото сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслаждением, целию. Пуки ассигнаций росли в сундуках его. И как всякий, которому достается этот страшный дар, он начал становиться скучным, недоступным ко всему и равнодушным ко всему. Казалось, он готов был превратиться в одно из тех странных существ, которые иногда попадаются в мире, на которых с ужасом глядит исполненный энергии и страсти человек и которому они кажутся живыми телами, заключающими в себе мертвеца. Но, однако же, одно событие сильно потрясло его и дало совершенно другое направление его жизни.

В один день он увидел на столе своем записку, в которой Академия художеств просила его, как достойного ее члена, приехать дать суждение свое о новом присланном из Италии произведении усовершенствовавшегося там русского художника. Этот художник был один из прежних его товарищей, который от ранних лет носил в себе страсть к искусству; с пламенною силою труженика погряз в нем всею душою своею и, для него оторвавшись от друзей, от родных, от милых привычек, бросился без всяких пособий в неизвестную землю; терпел бедность, унижение, даже голод, но с редким самоотвержением, презревши всё, был бесчувствен ко всему, кроме своего милого искусства.

Вошедши в залу, нашел он толпу посетителей, собравшихся перед картиною. Глубочайшее безмолвие, которое редко бывает между многолюдными ценителями, на этот раз царствовало всюду. Чертков, принявши значительную физиономию знатока, приблизился к картине; но, боже, что он увидел!

Чистое, непорочное, прекрасное, как невеста, стояло перед ним произведение художника. И хоть бы какое-нибудь видно было в нем желание блеснуть, хотя бы даже извинительное тщеславие, хотя бы мысль о том, чтобы показаться черни,— никакой, никаких! Оно возносилось скромно. Оно было просто, невинно, божественно, как талант, как гений. Изумительно прекрасные фигуры группировались непринужденно, свободно, не касаясь полотна и, изумленные столькими устремленными на них взорами, казалось, стыдливо опустили прекрасные ресницы. В чертах божественных лиц дышали те тайные явления, которых душа не умеет, не знает пересказать друго-

му; невыразимо выразимое покоилось на них; — и всё это было наброшено так легко, так скромно-свободно, что, казалось, было плодом минутного вдохновения художника, вдруг осенившей его мысли. Вся картина была — мгновение, но то мгновение, к которому вся жизнь человеческая — есть одно приготовление. Невольные слезы готовы были покатиться по лицам посетителей, окруживших картину. Казалось, все вкусы, все дерзкие, неправильные уклонения вкуса слились в какой-то безмолвный гимн божественному произведению. Неподвижно, с отверстым ртом стоял Чертков перед картиною и наконец, когда мало-помалу посетители и знатоки зашумели и начали рассуждать о достоинстве произведения и когда, наконец, обратились к нему с просьбою объявить свои мысли, он пришел в себя; хотел принять равнодушный обыкновенный вид, хотел сказать обыкновенное пошлое суждение зачерствелых художников: что произведение хорошо и в художнике виден талант, но желательно, чтобы во многих местах лучше была выполнена мысль и отделка, — но речь умерла на устах его, слезы и рыдания нестройно вырвались в ответ, и он, как безумный, выбежал из залы.

С минуту неподвижный и бесчувственный стоял он посреди своей великолепной мастерской. Весь состав, вся жизнь его была разбужена в одно мгновение, как будто молодость возвратилась к нему, как будто потухшие искры таланта вспыхнули снова. Боже! и погубить так безжалостно все лучшие годы своей юности, истребить, погасить искру огня, может быть, теплившегося в груди, может быть, развившегося бы теперь в величии и красоте, может быть, также исторгнувшего бы слезы изумления и благодарности! И погубить всё это, погубить без всякий жалости! Казалось, как будто в эту минуту ожили в душе его те напряжения и порывы, которые некогда были ему знакомы. Он схватил кисть и приблизился к холсту. Пот усилия проступил на его лице; весь обратился он в одно желание и, можно сказать, загорелся одною мыслию: ему хотелось изобразить отпадшего ангела. Эта идея была более всего согласна с состоянием его души. Но, увы! фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно. Кисть его и воображение слишком уже заключились в одну мерку, и бессильный порыв преступить границы и оковы, им самим на себя наброшенные, уже отзывался неправильностию и ошибкою. Он пренебрег утомительную, длинную лестницу постепенных сведений и первых основных законов будущего великого. В досаде он принял прочь из своей комнаты все труды свои, означенные мертвою бледностью по-

верхностной моды, запер дверь, не велел никого впускать к себе и занялся, как жаркий юноша, своею работою. Но, увы! на каждом шагу он был останавливаем незнанием самых первоначальных стихий; простой, незначащий механизм охлаждал весь порыв и стоял неперескочимым порогом для воображения. Иногда осенял его внезапный призрак великой мысли, воображение видело в темной перспективе что-то такое, что, схвативши и бросивши на полотно, можно было сделать необыкновенным и вместе доступным для всякой души, какая-то звезда чудесного сверкала в неясном тумане его мыслей, потому что он точно носил в себе призрак таланта; но, боже! какое-нибудь незначащее условие, знакомое ученику, анатомическое мертвое правило — и мысль замирала, порыв бессильного воображения цепенел нерассказанный, неизображенный; кисть его невольно обращалась к затверженным формам, руки складывались на один заученный манер, голова не смела сделать необыкновенного поворота, даже самые складки платья отзывались вытверженным и не хотели повиноваться и драпироваться на незнакомом положении тела. И он чувствовал, он чувствовал и видел это сам! Пот катился с него градом, губы дрожали, и после долгой паузы, во время которой бунтовали внутри его все чувства, он принимался снова, но в тридцать с лишком лет труднее изучать скучную лестницу трудных правил и анатомии, еще труднее постигнуть то вдруг, что развивается медленно и дается за долгие усилия, за великие напряжения, за глубокое самоотвержение. Наконец он узнал ту ужасную муку, которая как поразительное исключение является иногда в природе, когда талант слабый силится выказаться в превышающем его размере и не может выказаться, ту муку, которая в юноше рождает великое, но в перешедшем за грань мечтаний обращается в бесплодную жажду, ту страшную муку, которая делает человека способным на ужасные злодеяния. Им овладела ужасная зависть, зависть до бешенства. Желчь проступала у него на лице, когда он видел произведение, носившее печать таланта. Он скрежетал зубами и пожирал его взором василиска. Наконец в душе его возродилось самое адское намерение, какое когда-либо питал человек, и с бешеною силою бросился он приводить его в исполнение. Он начал скупать всё лучшее, что только производило художество. Купивши картину дорогою ценою, осторожно приносил в свою комнату и с бешенством тигра на нее кидался, рвал, разрывал ее, изрезывал в куски и топтал ногами, сопровождая ужасным смехом адского наслаждения. Едва только появлялось где-нибудь свежее

произведение, дышащее огнем нового таланта, он употреблял все усилия купить его во что бы то ни стало. Бесчисленные собранные им богатства доставляли ему все средства удовлетворять этому адскому желанию. Он развязал все свои золотые мешки и раскрыл сундуки. Никогда ни одно чудовище невежества не истребило столько прекрасных произведений, сколько истребил этот свирепый мститель. И люди, носившие в себе искру божественного познания, жадные одного великого, были безжалостно, бесчеловечно лишены тех святых прекрасных произведений, в которых великое искусство приподняло покров с неба и показало человеку часть исполненного звуков и священных тайн его же внутреннего мира. Нигде, ни в каком уголке не могли они сокрыться от его хищной страсти, не знавшей никакой пощады. Его зоркий, огненный глаз проникал всюду и находил даже в заброшенной пыли след художественной кисти. На всех аукционах, куда только показывался он, всякий заранее отчаивался в приобретении художественного создания. Казалось, как будто разгневанное небо нарочно послало в мир этот ужасный бич, желая отнять у него всю его гармонию. Эта ужасная страсть набросила какой-то страшный колорит на его лицо: на нем всегда почти была разлита желчь; глаза сверкали почти безумно; нависнувшие брови и вечно перерезанный морщинами лоб придавали ему какое-то дикое выражение и отделяли его совершенно от спокойных обитателей земли.

К счастию мира и искусств, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться; размер страстей был слишком неправилен и колоссален для слабых сил ее. Припадки бешенства и безумия начали оказываться чаще, и наконец всё это обратилось в самую ужасную болезнь. Жестокая горячка, соединенная с самою быстрою чахоткою, овладели им так свирепо, что в три дня оставалась от него одна тень только. К этому присоединились все признаки безнадежного сумасшествия. Иногда несколько человек не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые живые глаза необыкновенного портрета, и тогда бешенство его было ужасно. Все люди, окружавшие его постель, казались ему ужасными портретами. Портрет этот двоился, четверился в его глазах, и наконец ему чудилось, что все стены были увешаны этими ужасными портретами, устремившими на него свои неподвижные, живые глаза. Страшные портреты глядели на него с потолка, с полу, и вдобавок он видел, как комната расширялась и продолжалась пространнее, чтобы более вместить этих неподвижных глаз. Доктор, принявший на себя

обязанность его пользовать и уже несколько наслышавшийся о странной его истории, старался всеми силами отыскать тайное отношение между грезившимися ему привидениями и происшествиями его жизни, но ничего не мог успеть. Больной ничего не понимал и не чувствовал, кроме своих терзаний, и пронзительным невыразимо-раздирающим голосом кричал и молил, чтобы приняли от него неотразимый портрет с живыми глазами, которого место он описывал с странными для безумного подробностями. Напрасно употребляли все старания, чтобы отыскать этот чудный портрет. Всё было перерыто в доме, но портрет не отыскивался. Тогда больной приподнимался с беспокойством и опять начинал описывать его место с такою точностью, которая показывала присутствие ясного и проницательного ума; но все поиски были тщетны. Наконец доктор заключил, что это было больше ничего, кроме особенное явление безумия. Скоро жизнь его прервалась в последнем, уже безгласном порыве страдания. Труп его был страшен. Ничего тоже не могли найти от огромных его богатств, но, увидевши изрезанные куски тех высоких произведений искусства, которых цена превышала миллионы, поняли ужасное их употребление.

§ II

Множество карет, дрожек и колясок стояло перед подъездом дома, в котором производилась аукционная продажа вещей одного из тех богатых любителей искусств, которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженные в зефиры и амуры, которые невинно прослыли меценатами и простодушно издержали для этого миллионы, накопленные их основательными отцами, а часто даже собственными прежними трудами. Длинная зала была наполнена самою пестрою толпою посетителей, налетевших, как хищные птицы, на неприбранное тело. Тут была целая флотилия русских купцов из Гостиного двора и даже Толкучего рынка в синих немецких сюртуках. Вид их и физиономия была здесь как-то тверже, вольнее и не означалась тою притворною услужливостию, которая так видна в русском купце. Они вовсе не чинились, несмотря на то, что в этой же зале находилось множество тех значительных аристократов, перед которыми они в другом месте готовы были своими поклонами смести пыль, нанесенную своими же сапогами. Здесь они были совершенно развязны, щупали без церемонии книги и картины, желая узнать доброту товара, и смело перебивали цену, набавля-

емую графами-знатоками. Здесь были многие необходимые посетители аукционов, постановившие каждый день бывать в нем вместо завтрака; аристократы-знатоки, почитающие обязанностью не упустить случая умножить свою коллекцию и не находившие другого занятия от 12 до 1-го часа; наконец те благородные господа, которых платья и карманы чрезвычайно худы, которые являются ежедневно без всякой корыстолюбивой цели, но единственно чтобы посмотреть, чем что кончится, кто будет давать больше, кто меньше, кто кого перебьет и за кем что останется. Множество картин разбросано было совершенно без всякого толку; с ними были перемешаны и мебели, и книги с вензелями прежнего владетеля, который, верно, не имел похвального любопытства в них заглядывать. Китайские вазы, мраморные доски для столов, новые и старинные мебели с выгнутыми линиями, с грифами, сфинксами и львиными лапами, вызолоченные и без позолоты, люстры, кенкеты — всё было навалено и вовсе не в таком порядке, как в магазинах. Всё представляло какой-то хаос искусства. Вообще ощущаемое нами чувство при виде аукциона странно; в нем всё отзывается чем-то похожим на погребальную процессию. Зал, в котором он производится, всегда как-то мрачен; окна, загроможденные мебелями и картинами, скупо изливают свет; безмолвие, разлитое на лицах всех, и голоса: «сто рублей!», «рубль и двадцать копеек!», «четыреста рублей пятьдесят копеек!», протяжно вырывающиеся из уст, как-то дики для слуха. Но еще более производит впечатления погребальный голос аукциониста, постукивающего молотком и отпевающего панихиду бедным, так странно встретившимся здесь, искусствам.

Однако же аукцион еще не начинался; посетители рассматривали разные вещи, набросанные горою на полу. Между тем небольшая толпа остановилась перед одним портретом: на нем был изображен старик с такою странною живостью глаз, что невольно приковал к себе их внимание. В художнике нельзя было не признать истинного таланта, произведение хотя было не окончено, но, однако же, носило на себе резкий признак могущественной кисти; но при всем том эта сверхъестественная живость глаз возбуждала какой-то невольный упрек художнику. Они чувствовали, что это верх истины, что изобразить ее в такой степени может только гений, но что этот гений уже слишком дерзко перешагнул границы воли человека. Внимание их прервало внезапное восклицание одного, уже несколько пожилых лет посетителя. «Ах, это он!» — вскрикнул он в сильном движении и не-

подвижно вперил глаза на портрет. Такое восклицание натурально зажгло во всех любопытство, и некоторые из рассматривавших никак не утерпели, чтобы не сказать, оборотившись к нему:

— Вам, верно, известно что-нибудь об этом портрете?

— Вы не ошиблись,— отвечал сделавший невольное восклицание.— Точно, мне более нежели кому другому известна история этого портрета. Всё уверяет меня, что он должен быть тот самый, о котором я хочу говорить. Так как я замечаю, что вас всех интересует о нем узнать, то я теперь же готов несколько удовлетворить вас.

Посетители наклонением головы изъявили свою благодарность и с большою внимательностию приготовились слушать.

— Без сомнения, немногим из вас,— так начал он,— известна хорошо та часть города, которую называют Коломной. Характеристика ее отличается резкою особенностью от других частей города. Нравы, занятия, состояния, привычки жителей совершенно отличны от прочих. Здесь ничто не похоже на столицу, но вместе с этим не похоже и на провинциальный городок, потому что раздробленность многосторонней и, если можно сказать, цивилизированной жизни проникла и сюда и оказалась в таких тонких мелочах, какие может только родить многолюдная столица. Тут совершенно другой свет, и, въехавши в уединенные коломенские улицы, вы, кажется, слышите, как оставляют вас молодые желания и порывы. Сюда не заглядывает живительное, радужное будущее. Здесь всё тишина и отставка. Здесь всё, что осело от движения столицы. И в самом деле, сюда переезжают отставные чиновники, которых пенсион не превышает пятисот рублей в год; вдовы, жившие прежде мужними трудами; небогатые люди, имеющие приятное знакомство с сенатом и потому осудившие себя здесь на целую жизнь; выслужившиеся кухарки, толкающиеся целый день на рынках, болтающие вздор с мужиком в мелочной лавке и забирающие каждый день на пять копеек кофию и на четыре копейки сахару; наконец весь тот разряд людей, который я назову пепельным, которые с своим платьем, лицом, волосами имеют какую-то тусклую пепельную наружность. Они похожи на серенький день, когда солнце не слепит своим ярким блеском, когда тоже буря не свищет, сопровождаемая громом, дождем и градом, но просто когда на небе бывает ни сё, ни то: сеется туман и отнимает всю резкость у предметов. Лица этих людей бывают как-то искрасна-рыжеватые, волосы тоже красноватые; глаза почти

всегда без блеска; платье их тоже совершенно матовое и представляет тот мутный цвет, который происходит, когда смешаешь все краски вместе, и вообще вся их наружность совершенно матовая. К этому разряду можно причислить отставных театральных капельдинеров, уволенных пятидесятилетних титулярных советников, отставных питомцев Марса с 200-рублевым пенсионом, выколотым глазом и раздутою губою. Эти люди вовсе бесстрастны: им всё трын-трава; идут они, совершенно не обращая внимания ни на какие предметы, молчат, совершенно не думая ни о чем. В комнате их только кровать и штоф чистой, русской водки, которую они однообразно сосут весь день без всякого смелого прилива в голове, возбуждаемого сильным приемом, какой обыкновенно любит задавать себе по воскресным дням молодой немецкий ремесленник, этот студент Мещанской улицы, один владеющий тротуаром за двенадцать часов ночи.

Жизнь в Коломне всегда однообразна: редко гремит в мирных улицах карета, кроме разве той, в которой ездят актеры и которая звоном, громом и бряканьем своим смущает всеобщую тишину. Здесь все почти — пешеходы. Извозчик редко, лениво, и почти всегда без седока, волочится, таща вместе с собою сено для своей скромной клячи. Цена квартир редко достигает тысячи рублей; их больше от 15 до 20 и 30 руб. в месяц, не считая множества углов, которые отдаются с отоплением и кофием за четыре с полтиною в месяц. Вдовы-чиновницы, получающие пенсион, самые солидные обитательницы этой части. Они ведут себя очень хорошо, метут довольно чисто свою комнату и говорят с своими соседками и приятельницами о дороговизне говядины, картофеля и капусты; при них находится очень часто молоденькая дочь, молчаливое, безгласное существо, впрочем иногда довольно миловидное; при них находится также довольно гадкая собачонка и старинные часы, с печально постукивающим маятником. Эти-то чиновницы занимают лучшие отделения от двадцати до тридцати, а иногда и до сорока рублей. За ними следуют актеры, которым жалованье не позволяет выехать из Коломны. Это народ свободный, как все артисты, живущие для наслаждения. Они, сидя в своих халатах, или выточивают из кости какие-нибудь безделки, или починивают пистолет, или клеят из картона какие-нибудь полезные для дома вещи, или играют с пришедшим приятелем в шашки или карты и так проводят утро; то же делают ввечеру, примешивая к этому часто пунш. После этих тузов, этого аристократства Коломны, следует необыкновенная

дробь и мелочь; и для наблюдателя так же трудно сделать перечень всем лицам, занимающим разные углы и закоулки одной комнаты, как поименовать всё то множество насекомых, которое зарождается в старом уксусе. Какого народа вы там не встретите! Старухи, которые молятся, старухи, которые пьянствуют, старухи, которые пьянствуют и молятся вместе, старухи, которые перебиваются непостижимыми средствами, как муравьи, таскают с собою старые тряпья и белье от Калинкина моста до Толкучего рынка, с тем, чтобы продать его там за пятнадцать копеек. Словом, весь жалкий и несчастный осадок человечества.

Естественное дело, что этот народ терпит иногда большой недостаток, не дающий возможности вести их обыкновенную, бедную жизнь: они должны часто делать экстренные займы, чтобы выпутаться из своих обстоятельств. Тогда находятся между ними такие люди, которые носят громкое название капиталистов и могут снабжать за разные проценты, всегда почти непомерные, суммою от двадцати до ста рублей. Эти люди мало-помалу составляют состояние, которое позволяет завестись иногда собственным домиком. Но на этих ростовщиков вовсе не было похоже одно странное существо, носившее фамилию Петромихали. Был ли он грек, или армянин, или молдаван — этого никто не знал, но по крайней мере черты лица его были совершенно южные. Ходил он всегда в широком азиатском платье, был высокого роста, лицо его было темно-оливкового цвета, нависнувшие черные с проседью брови и такие же усы придавали ему несколько страшный вид. Никакого выражения нельзя было заметить на его лице: оно всегда почти было неподвижно и представляло странный контраст своею южною резкою физиономией с пепельными обитателями Коломны. Петромихали вовсе не был похож на помянутых ростовщиков этой уединенной части города. Он мог выдать сумму, какую бы только от него ни потребовали, натурально; что зато и проценты были тоже необыкновенны. Ветхий дом его со множеством пристроек находился на Козьем болоте. Он был бы не так дряхл, если бы владелец его сколько-нибудь разорился на починку, но Петромихали не делал решительно никаких издержек. Все комнаты его, выключая небольшой лачужки, которую он занимал сам, были холодные кладовые, в которых кучами были набросаны фарфоровые, золотые, яшмовые вазы, всякий хлам, мебели, которые приносили ему в залог разных чинов и званий должники, потому что Петромихали не пренебрегал ничем, и несмотря на то, что давал по сотне тысяч, он так-

же готов был служить суммою, не превышавшею рубля. Старое негодное белье, изломанные стулья, даже изодранные сапоги — всё готов он был принять в свои кладовые, и нищий смело адресовался к нему с узелком в руке. Дорогие жемчуги, обвивавшие, может быть, прелестнейшую шею в мире, заключались в его грязном железном сундуке, вместе с старинною табакеркою пятидесятилетней дамы, вместе с диадемою, возвышавшеюся над алебастровым лбом красавицы, и бриллиантовым перстнем бедного чиновника, получившего его в награду неутомимых своих трудов. Но нужно заметить, что одна только слишком крайняя нужда заставляла обращаться к нему. Его условия были так тягостны, что отбивали всякое желание. Но страннее всего, что с первого разу проценты казались не очень велики. Он посредством своих странных и необыкновенных выкладок расположил их таким непонятным образом, что они росли у него страшною прогрессией, и даже контрольные чиновники не могли проникнуть этого непостижимого правила, тем более что оно казалось основанным на законах строгой математической истины; они видели явно преувеличение итога, но видели тоже, что в этих вычетах нет никакой ошибки. Жалость, как и все другие страсти чувствующего человека, никогда не достигала к нему, и никакие мольбы не могли преклонить его к отсрочке или к уменьшению платежа. Несколько раз находили у дверей его окостеневших от холода несчастных старух, которых посиневшие лица, замерзнувшие члены и мертвые вытянутые руки, казалось, и по смерти еще молили его о милости. Это возбуждало часто всеобщее негодование, и полиция несколько раз хотела разобрать внимательнее поступки этого странного человека, но квартальные надзиратели всегда умели под какими-нибудь предлогами уклонить и представить дело в другом виде, несмотря на то, что они гроша не получали от него. Но богатство имеет такую странную силу, что ему верят, как государственной ассигнации. Оно, не показываясь, может невидимо двигать всеми, как раболепными слугами. Это странное существо сидело, поджавши под себя ноги, на почерневшем диване, принимая недвижно просителей, слегка только мигнувши бровью в знак поклона; и ничего не можно было от него услышать лишнего или постороннего. Носились, однако ж, слухи, что будто бы он иногда давал деньги даром, не требуя возврата, но только такое предлагал условие, что все бежали от него с ужасом и даже самые болтливые хозяйки не имели сил пошевелить губами, чтобы пересказать их другим.

Те же, которые имели дух принять даваемые им деньги, желтели, чахли и умирали, не смея открыть тайны.

В этой части города имел небольшой домик один художник, славившийся в тогдашнее время своими действительно прекрасными произведениями. Этот художник был отец мой. Я могу вам показать несколько работ его, выказывающих решительный талант. Жизнь его была самая безмятежная. Это был тот скромный набожный живописец, какие только жили во времена религиозных средних веков. Он мог бы иметь большую известность и нажить большое состояние; если бы решился заняться множеством работ, которые предлагали ему со всех сторон; но он любил более заниматься предметами религиозными и за небольшую цену взялся расписать весь иконостас приходской церкви. Часто случалось ему нуждаться в деньгах, но никогда не решался он прибегнуть к ужасному ростовщику, хотя имел всегда впереди возможность уплатить долг, потому что ему стоило только присесть и написать несколько портретов — и деньги были бы в его кармане. Но ему так жалко было оторваться от своих занятий, так грустно было разлучиться хотя на время с любимою мыслью, что он лучше готов был несколько дней просидеть голодным в своей комнате. И на что бы он всегда решился, если бы не имел страстно любимой им жены и двух детей, из которых одного вы видите теперь перед собою. Однако же один раз крайность его так увеличилась, что он готов уже был идти к греку, как вдруг внезапно распространилась весть, что ужасный ростовщик находился при смерти. Это происшествие его поразило, и он уже готов был приписать его нарочно посланным свыше для воспрепятствования его намерению, как встретил в сенях своих запыхавшуюся старуху, исправлявшую при ростовщике три разные должности: кухарки, дворника и камердинера. Старуха, совершенно отвыкшая говорить, находясь при своем странном господине, глухо пробормотала несколько несвязных отрывистых слов, из которых отец мог только узнать, что господин ее имеет в нем крайнюю нужду и просил его взять с собою краски и кисти. Отец мой не мог придумать, на что бы он мог быть ему нужен в такое время и притом еще с красками и кистями, но, побуждаемый любопытством, схватил свой ящик с живописным прибором и отправился за старухою.

Он насилу мог продраться сквозь толпу нищих, обступивших жилище умиравшего ростовщика и питавших себя надеждою, что авось-либо наконец перед смертию раскается этот грешник и раздаст малую часть из бесчисленного сво-

его богатства. Он вошел в небольшую комнату и увидел протянувшееся почти во всю длину ее тело азиатца, которое он принял было за умершее, так оно вытянулось и было неподвижно. Наконец высохшая голова его приподнялась, и глаза его так страшно устремились, что отец мой задрожал. Петромихали сделал глухое восклицание и наконец произнес: «Нарисуй с меня портрет!» Отец мой изумился такому странному желанию; он начал представлять ему, что теперь уже не время об этом думать, что он должен отвергнуть всякое земное желание, что уже немного минут осталось жить ему и потому пора помыслить о прежних своих делах и принести покаяние всевышнему. «Я не хочу ничего; нарисуй с меня портрет!» — произнес твердым голосом Петромихали, причем лицо его покрылось такими конвульсиями, что отец мой верно бы ушел, если бы чувство, весьма извинительное в художнике, пораженном необыкновенным предметом для кисти, не оставило его. Лицо ростовщика именно было одно из тех, которые составляют клад для артиста. Со страхом и вместе с каким-то тайным желанием поставил он холст за неимением станка к себе на колени и начал рисовать. Мысль употребить после это лицо в своей картине, где хотел он изобразить одержимого бесами, которых изгоняет могущественное слово спасителя, эта мысль заставила его усилить свое рвение. С поспешностию набросал он абрис и первые тени, опасаясь каждую минуту, что жизнь ростовщика вдруг перервется, потому что смерть уже, казалось, носилась на устах его. Изредка только он издавал хрипение и с беспокойством устремлял страшный взгляд свой на картину; наконец что-то подобное радости мелькнуло в его глазах при виде, как черты его ложились на полотно. Опасаясь ежеминутно за жизнь его, отец мой прежде всего решился заняться окончательною отделкою глаз. Это был предмет самый трудный, потому что чувство, в них изображавшееся, было совершенно необыкновенно и невыразимо. Около часу трудился он возле них и наконец совершенно схватил тот огонь, который уже потухал в его оригинале. С тайным удовольствием он отошел немного подалее от картины, чтобы лучше рассмотреть ее, и с ужасом отскочил от нее, увидев живые глядящие на него глаза. Непостижимый страх овладел им в такой степени, что он, швырнув палитру и краски, бросился к дверям; но страшное, почти полумертвое тело ростовщика приподнялось с своей кровати и схватило его тощею рукою, приказывая продолжать работу. Отец мой клялся и крестился, что не станет продолжать. Тогда это

ужасное существо повалилось с своей кровати, так, что его кости застучали, собрало все свои силы, глаза его блеснули живостью, руки обхватили ноги моего отца, и он, ползая, целовал полы его платья и умолял дорисовать портрет. Но отец был неумолим и дивился только силе его воли, перемогшей самое приближение смерти. Наконец отчаянный Петромихали выдвинул с необыкновенною силою из-под кровати сундук, и страшная куча золота грянула к ногам моего отца; видя и тут его непреклонность, он повалился ему в ноги, и целый поток заклинаний полился из его молчаливых дотоле уст. Невозможно было не чувствовать какого-то ужасного и даже, если можно сказать, отвратительного сострадания. «Добрый человек! Божий человек! Христов человек! — говорил с выражением отчаяния этот живой скелет.— Заклинаю тебя маленькими детьми твоими, прекрасною женою, гробом отца твоего, кончи портрет с меня! еще один час только посиди за ним! Слушай, я тебе объявляю одну тайну.— При этом смертная бледность начала сильнее проступать на лице его.— Но тайны этой никому не объявляй — ни жене, ни детям твоим, а не то и ты умрешь, и они умрут, и все вы будете несчастны. Слушай, если ты теперь не сжалишься, то уже больше не стану просить. После смерти я должен идти к тому, к которому бы я не хотел идти. Там я должен вытерпеть муки, о каких тебе и во сне не слышалось; но я могу долго еще не идти к нему, до тех пор, покуда стоит земля наша, если ты только докончишь портрет мой. Я узнал, что половина жизни моей перейдет в мой портрет, если только он будет сделан искусным живописцем. Ты видишь, что уже в глазах осталась часть жизни; она будет и во всех чертах, когда ты докончишь. И хотя тело мое сгибнет, но половина жизни моей останется на земле и я убегу надолго еще от мук. Дорисуй! дорисуй! дорисуй!..» — кричало раздирающим и умирающим голосом это странное существо. Ужас еще более овладел моим отцом. Он слышал, как поднялись его волоса от этой ужасной тайны, и выронил кисть, которую было уже поднял, тронутый его мольбами. «А, так ты не хочешь дорисовать меня? — произнес хрипящим голосом Петромихали.— Так возьми же себе портрет мой: я тебе его дарю». При сих словах что-то вроде страшного смеха выразилось на устах его; жизнь, казалось, еще раз блеснула в его чертах, и чрез минуту пред ним остался синий труп. Отец не хотел притронуться к кистям и краскам, рисовавшим эти богоотступные черты, и выбежал из комнаты.

Чтобы развлечь неприятные мысли, нанесенные этим

происшествием, он долго ходил по городу и ввечеру возвратился домой. Первый предмет, попавшийся ему в мастерской его, был писанный им портрет ростовщика. Он обратился к жене, к женщине, прислуживавшей на кухне, к дворнику, но все дали решительный ответ, что никто не приносил портрета и даже не приходил во время его отсутствия. Это заставило его минуту задуматься. Он приблизился к портрету и невольно отвратил глаза свои, проникнутый отвращением к собственной работе. Он приказал его снять и вынесть на чердак, но при всем том чувствовал какую-то странную тягость, присутствие таких мыслей, которых сам пугался. Но более всего поразило его, когда уже он лег в постелю, следующее, почти невероятное происшествие: он видел ясно, как вошел в его комнату Петромихали и остановился перед его кроватью. Долго глядел он на него своими живыми глазами, наконец начал предлагать ему такие ужасные предложения, такое адское направление хотел дать его искусству, что отец мой с болезненным стоном схватился с кровати, проникнутый холодным потом, нестерпимою тяжестью на душе и вместе самым пламенным негодованием. Он видел, как чудное изображение умершего Петромихали ушло в раму портрета, который висел снова перед ним на стене. Он решился в тот же день сжечь это проклятое произведение рук своих. Как только затоплен был камин, он бросил его в разгоревшийся огонь и с тайным наслаждением видел, как лопались рамы, на которых натянут был холст, как шипели еще не высохшие краски; наконец куча золы одна только осталась от его существования. И когда начала она улетать легкою пылью в трубу, казалось, как будто неясный образ Петромихали улетел вместе с нею. Он почувствовал на душе какое-то облегчение. С чувством выздоровевшего от продолжительной болезни оборотился он к углу комнаты, где висел писанный им образ, чтобы принесть чистое покаяние, и с ужасом увидел, что перед ним стоял тот же портрет Петромихали, которого глаза, казалось, еще более получили живости, так что даже дети испустили крик, взглянувши на него. Это чрезвычайно поразило моего отца. Он решился открыться во всем священнику нашего прихода и просить у него совета, как поступить в этом необыкновенном деле. Священник был рассудительный человек и, кроме того, преданный с теплою любовию своей должности. Он немедленно явился по первому призыву к моему отцу, которого уважал как достойнейшего прихожанина. Отец не считал даже нужным отводить его в сторону и решился тут же при матери моей

и детях рассказать ему это непостижимое происшествие. Но едва только произнес он первое слово, как мать моя вдруг глухо вскрикнула и упала без чувств на пол. Лицо ее покрылось страшною бледностью, уста остались неподвижно открыты, и все черты ее исковеркались судорогами. Отец и священник подбежали к ней и с ужасом увидели, что она нечаянно проглотила десяток иголок, которые держала во рту. Пришедший доктор объявил, что это было неизлечимо; иголки остановились у нее в горле, другие прошли в желудок и во внутренность, и мать моя скончалась ужасною смертью.

Это происшествие произвело сильное влияние на всю жизнь моего отца. С этого времени какая-то мрачность овладела его душою. Редко он чем-нибудь занимался, всегда почти оставался безмолвным и убегал всякого сообщества. Но между тем ужасный образ Петромихали с его живыми глазами стал преследовать его неотлучнее, и часто отец мой чувствовал прилив таких отчаянных свирепых мыслей, которых невольно содрогался сам. Всё то, что улегается, как чёрный осадок, во глубине человека, истребляется и выгоняется воспитанием, благородными подвигами и лицезрением прекрасного, всё это он чувствовал возмущавшимся и беспрестанно силившимся выйти внаружу и развиться во всем своем порочном совершенстве. Мрачное состояние души его именно было таково, чтобы заставить его ухватиться за эту чёрную сторону человека. Но я должен заметить, что сила характера отца моего была беспримерна; власть, которую он брал над собою и над страстями, была непостижима, его убеждения были тверже гранита, и чем сильнее было искушение, тем он более рвался противуставить ему несокрушимую силу души своей. Наконец, обессилев от этой борьбы, он решился излить и обнажить всего себя в изображении всей повести своих страданий тому же священнику, который всегда почти доставлял ему исцеление размышляющими своими речами. Это было в начале осени; день был прекрасный; солнце сияло каким-то свежим осенним светом; окна наших комнат были отворены; отец мой сидел с достойным священником в мастерской; мы играли с братом в комнате, которая была рядом с нею. Обе эти комнаты были во втором этаже, составлявшем антресоли нашего маленького дома. Дверь в мастерской была несколько растворена; я как-то нечаянно заглянул в отверстие, видел, что отец мой придвинулся ближе к священнику, и услышал даже, как он сказал ему: «Наконец я открою всю эту тайну...» Вдруг мгновенный крик заставил меня оборотиться: брата моего не было. Я по-

дошел к окну и,— боже! я никогда не могу забыть этого происшествия: на мостовой лежал облитый кровью труп моего брата. Играя, он, верно, как-нибудь неосторожно перегнулся чрез окошко и упал, без сомнения, головою вниз, потому что она вся была размозжена. Я никогда не позабуду этого ужасного случая. Отец мой стоял неподвижен перед окном, сложа накрест руки и подняв глаза к небу. Священник был проникнут страхом, вспомнив об ужасной смерти моей матери, и сам требовал от отца моего, чтобы он хранил эту ужасную тайну.

После этого отец мой отдал меня в корпус, где я провел всё время своего воспитания, а сам удалился в монастырь одного уединенного городка, окруженного пустынею, где бедный север уже представлял только дикую природу, и торжественно принял сан монашеский. Все тяжкие обязанности этого звания он нес с такою покорностью и смирением, всю труженическую жизнь свою он вел с таким смирением, соединенным с энтузиазмом и пламенем веры, что, по-видимому, преступное не имело воли коснуться к нему. Но страшный, им же начертанный образ с живыми глазами преследовал его и в этом почти гробовом уединении. Игумен, узнавши о необыкновенном таланте отца моего в живописи, поручил ему украсить церковь некоторыми образами. Нужно было видеть, с каким высоким религиозным смирением трудился он над своею работою: в строгом посте и молитве, в глубоком размышлении и уединении души приуготовлялся он к своему подвигу. Неотлучно проводил ночи над своими священными изображениями, и оттого, может быть, редко найдете вы произведений даже значительных художников, которые носили бы на себе печать таких истинно христианских чувств и мыслей. В его праведниках было такое небесное спокойствие, в его кающихся такое душевное сокрушение, какие я очень редко встречал даже в картинах известных художников. Наконец, все мысли и желание его устремились к тому, чтобы изобразить божественную матерь, кротко простирающую руки над молящимся народом. Над этим произведением трудился он с таким самоотвержением и с таким забвением себя и всего мира, что часть спокойствия, разлитого его кистью в чертах божественной покровительницы мира, казалось, перешла в собственную его душу. По крайней мере страшный образ ростовщика перестал навещать его и портрет пропал неизвестно куда.

Между тем воспитание мое в корпусе окончилось. Я был выпущен офицером, но, к величайшему сожалению, обстоя-

тельства не позволили мне видеть моего отца. Нас отправили тогда же в действующую армию, которая, по поводу объявленной войны турками, находилась на границе. Не буду надоедать вам рассказами о жизни, проведенной мною среди походов, бивак и жарких схваток; довольно сказать, что труды, опасности и жаркий климат изменили меня совершенно, так, что знавшие меня прежде не узнавали вовсе. Загоревшее лицо, огромные усы и хриплый крикливый голос придали мне совершенно другую физиономию. Я был весельчак, не думал о завтрашнем, любил выпорожнить лишнюю бутылку с товарищем, болтать вздор с смазливенькими девчонками, отпустить спроста глупость, словом, был военный беспечный человек. Однако ж как только окончилась кампания, я почел первым долгом навестить отца.

Когда подъехал я к уединенному монастырю, мною овладело странное чувство, какого прежде я никогда не испытывал, я чувствовал, что я еще связан с одним существом, что есть еще что-то неполное в моем состоянии. Уединенный монастырь посреди природы, бледной, обнаженной, навел на меня какое-то пиитическое забвение и дал странное, неопределенное направление моим мыслям, какое обыкновенно мы чувствуем в глубокую осень, когда листья шумят под нашими ногами, над головами ни листа, черные ветви сквозят редкою сетью, вороны каркают в далекой вышине, и мы невольно ускоряем свой шаг, как бы стараясь собрать рассеявшиеся мысли. Множество деревенских почерневших пристроек окружали каменное строение. Я вступил под длинные, местами прогнившие, позеленевшие мохом галереи, находившиеся вокруг келий, и спросил монаха отца Григория. Это было имя, которое отец мой принял по вступлении в монашеское звание. Мне указали его келью. Никогда не позабуду произведенного им на меня впечатления. Я увидел старца, на бледном изнуренном лице которого не присутствовало, казалось, ни одной черты, ни одной мысли о земном. Глаза его, привыкшие быть устремленными к небу, получили тот бесстрастный, проникнутый нездешним огнем вид, который в минуту только вдохновения осеняет художника. Он сидел передо мною неподвижно, как святой, глядящий с полотна, на которое перенесла его рука художника, на молящийся народ; он, казалось, вовсе не заметил меня, хотя глаза его были обращены к той стороне, откуда я вошел к нему. Я не хотел еще открыться и потому попросил у него просто благословения как путешествующий молельщик, но каково было мое удивление, когда он произнес: «Здравствуй, сын мой,

Леон!» Меня это изумило: я десяти лет еще расстался с ним; притом меня не узнавали даже те, которые меня видели не так давно. «Я знал, что ты ко мне прибудешь,— продолжал он.— Я просил об этом пречистую деву и святого угодника и ожидал тебя с часу на час, потому что чувствую близкую кончину и хочу тебе открыть важную тайну. Пойдем, сын мой, со мною и прежде помолимся!» Мы вошли в церковь, и он подвел меня к большой картине, изображавшей божию матерь, благословляющую народ. Я был поражен глубоким выражением божественности в ее лице. Долго лежал он, повергшись перед изображением, и наконец, после долгого молчания и размышления, вышел вместе со мною.

После того отец мой рассказал мне всё то, что вы сейчас от меня слышали. В истину его я верил потому, что сам был свидетелем многих печальных случаев нашей жизни. «Теперь я расскажу тебе, сын мой,— прибавил он после этой истории,— то, что мне открыл виденный мною святой, не узнанный среди многолюдного народа никем, кроме меня, которого милосердый создатель сподобил такой неизглаголанной своей благости». При этом отец мой сложил руки и устремил глаза к небу, весь отданный ему всем своим бытием. И я наконец услышал то, что сейчас готовлюсь рассказать вам. Вы не должны удивляться странности его речей: я увидел, что он находился в том состоянии души, которое овладевает человеком, когда он испытывает сильные, нестерпимые несчастия; когда, желая собрать всю силу, всю железную силу души и не находя ее довольно мощною, весь повергается в религию; и чем сильнее гнет его несчастий, тем пламеннее его духовные созерцания и молитвы. Он уже не походит на того тихого размышляющего отшельника, который, как к желанной пристани, причалил к своей пустыне с желанием отдохнуть от жизни и с христианским смирением молиться тому, к которому он стал ближе и доступнее; напротив того, он становится чем-то исполинским. В нем не угаснул пыл души, но, напротив, стремится и вырывается с большею силою. Он тогда весь обратился в религиозный пламень. Его голова вечно наполнена чудными снами. Он видит на каждом шагу видения и слышит откровения; мысли его раскалены; глаз его уже не видит ничего, принадлежащего земле; все движения, следствия вечного устремления к одному, исполнены энтузиазма. Я с первого раза заметил в нем это состояние и упоминаю о нем потому, чтобы вам не казались слишком удивительными те речи, которые я от него услышал. «Сын мой!— сказал он мне после долгого, почти

неподвижного устремления глаз своих к небу.— Уже скоро, скоро приблизится то время, когда искуситель рода человеческого, антихрист, народится в мир. Ужасно будет это время: оно будет перед концом мира. Он промчится на коне-гиганте, и великие потерпят муки те, которые останутся верными Христу. Слушай, сын мой: уже давно хочет народиться антихрист, но не может, потому что должен родиться сверхъестественным образом; а в мире нашем всё устроено всемогущим так, что совершается всё в естественном порядке, и потому его никакие силы, сын мой, не помогут прорваться в мир. Но земля наша — прах пред создателем. Она по его законам должна разрушаться, и с каждым днем законы природы будут становиться слабее и оттого границы, удерживающие сверхъестественное, приступнее. Он уже и теперь нарождается, но только некоторая часть его порывается показаться в мир. Он избирает для себя жилищем самого человека и показывается в тех людях, от которых уже, кажется, при самом рождении отшатнулся ангел и они заклеймены страшною ненавистью к людям и ко всему, что есть создание творца. Таков-то был тот дивный ростовщик, которого дерзнул я, окаянный, изобразить преступною своею кистью. Это он, сын мой, это был сам антихрист. Если бы моя преступная рука не дерзнула его изобразить, он бы удалился и исчезнул, потому что не мог жить долее того тела, в котором заключил себя. В этих отвратительных живых глазах удержалось бесовское чувство. Дивись, сын мой, ужасному могуществу беса. Он во всё силится проникнуть: в наши дела, в наши мысли и даже в самое вдохновение художника. Бесчисленны будут жертвы этого адского духа, живущего невидимо без образа на земле. Это тот черный дух, который врывается к нам даже в минуту самых чистых и святых помышлений. О, если бы моя кисть не остановила своей адской работы, он бы еще более наделал зла, и нет сил человеческих противустать ему. Потому что он именно выбирает то время, когда величайшие несчастия постигают нас. Горе, сын мой, бедному человечеству! Но слушай, что мне открыла в час святого видения сама божия матерь. Когда я трудился над изображением пречистого лика девы Марии, лил слезы покаяния о моей протекшей жизни и долго пребывал в посте и молитве, чтобы быть достойнее изобразить божественные черты ее, я был посещен, сын мой, вдохновением, я чувствовал, что высшая сила осенила меня и ангел возносил мою грешную руку, я чувствовал, как шевелились на мне волоса мои и душа вся трепетала. О, сын мой! за эту минуту я бы

тысячи взял мук на себя. И я сам дивился тому, что изобразила кисть моя. Тогда же предстал мне во сне пречистый лик девы, и я узнал, что в награду моих трудов и молитв сверхъестественное существование этого демона в портрете будет не вечно, что если кто торжественно объявит его историю по истечении пятидесяти лет в первое новолуние, то сила его погаснет и рассеется, яко прах, и что я могу тебе передать это перед смертию. Уже тридцать лет, как он с того времени живет; двадцать впереди. Помолимся, сын мой!» При этом он повергнулся на колени и весь превратился в молитву. Признаюсь, я внутренно все эти слова приписывал раскаленному его воображению, воздвигнутому беспрестанным постом и молитвами, и потому из уважения не хотел делать какого-нибудь замечания или соображения. Но когда я увидел, как он поднял к небу иссохшие свои руки, с каким глубоким сокрушением молчал он, уничтоженный в себе самом, с каким невыразимым умилением молил о тех, которые не в силах были противиться адскому обольстителю и погубили всё возвышенное души своей, с какою пламенною скорбию простерся он, и по лицу его лились говорящие слезы, и во всех чертах его выразилось одно безмолвное рыдание,— о! тогда я не в силах был предаться холодному размышлению и разбирать слова его. Несколько лет прошло после его смерти. Я не верил этой истории и даже мало думал о ней; но никогда не мог ее никому пересказать. Я не знаю, отчего это было, но только я чувствовал всегда что-то удерживавшее меня от того. Сегодня без всякой цели зашел я на аукцион и в первый раз рассказал историю этого необыкновенного портрета,— так что я невольно начинаю думать, не сегодня ли то новолуние, о котором говорил отец мой, потому что, действительно, с того времени прошло уже 20 лет.

Тут рассказывавший остановился, и слушатели, внимавшие ему с неразвлекаемым участием, невольно обратили глаза свои к странному портрету и к удивлению своему заметили, что глаза его вовсе не сохраняли той странной живости, которая так поразила их сначала. Удивление еще более увеличилось, когда черты странного изображения почти нечувствительно начали исчезать, как исчезает дыхание с чистой стали. Что-то мутное осталось на полотне. И когда подошли к нему ближе, то увидели какой-то незначащий пейзаж. Так что посетители, уже уходя, долго недоумевали, действительно ли они видели таинственный портрет, или это была мечта и представилась мгновенно глазам, утружденным долгим рассматриванием старинных картин.

М. Ю. Лермонтов



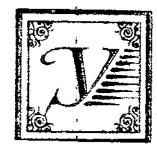
1814–1841



ШТОСС›



I



графа В... был музыкальный вечер. Первые артисты столицы платили своим искусством за честь аристократического приема; в числе гостей мелькало несколько литераторов и ученых; две или три модные красавицы; несколько барышень и старушек и один гвардейский офицер. Около десятка доморощенных львов красовалось в дверях второй гостиной и у камина; всё шло своим чередом; было ни скучно, ни весело.

В ту самую минуту, как новоприезжая певица подходила к роялю и развертывала ноты... одна молодая женщина зевнула, встала и вышла в соседнюю комнату, на это время опустевшую. На ней было черное платье, кажется по случаю придворного траура. На плече, пришпиленный к голубому банту, сверкал бриллиантовый вензель; она была среднего роста, стройна, медленна и ленива в своих движениях; черные, длинные, чудесные волосы оттеняли ее еще молодое правильное, но бледное лицо, и на этом лице сияла печать мысли.

— Здравствуйте, мсье Лугин,— сказала Минская кому-

то;— я устала... скажите что-нибудь!— и она опустилась в широкое пате возле камина; тот, к кому она обращалась, сел против нее и ничего не отвечал. В комнате их было только двое, и холодное молчание Лугина показывало ясно, что он не принадлежал к числу ее обожателей.

— Скучно,— сказала Минская и снова зевнула:— вы видите, я с вами не церемонюсь!— прибавила она.

— И у меня сплин!— ...отвечал Лугин.

— Вам опять хочется в Италию?— сказала она после некоторого молчания.— Не правда ли?

Лугин в свою очередь не слыхал вопроса; он продолжал, положив ногу на ногу и уставя глаза безотчетливо на беломраморные плечи своей собеседницы:— Вообразите, какое со мной несчастье: что может быть хуже для человека, который, как я, посвятил себя живописи!— вот уже две недели, как все люди мне кажутся желтыми,— и одни только люди! добро бы все предметы; тогда была бы гармония в общем колорите; я бы думал, что гуляю в галерее испанской школы. Так нет! всё остальное как и прежде; одни лица изменились; мне иногда кажется, что у людей вместо головы лимоны.

Минская улыбнулась.— Призовите доктора,— сказала она.

— Доктора не помогут — это сплин!

— Влюбитесь!— (Во взгляде, который сопровождал это слово, выражалось что-то похожее на следующее: «Мне бы хотелось его немножко помучить!»)

— В кого?

— Хоть в меня!

— Нет! вам даже кокетничать со мною было бы скучно — и потом, скажу вам откровенно, ни одна женщина не может меня любить.

— А эта, как бишь ее, итальянская графиня, которая последовала за вами из Неаполя в Милан?..

— Вот видите,— отвечал задумчиво Лугин,— я сужу других по себе и в этом отношении, уверен, не ошибаюсь. Мне точно случалось возбуждать в иных женщинах все признаки страсти — но так как я очень знаю, что в этом обязан только искусству и привычке кстати трогать некоторые струны человеческого сердца, то и не радуюсь своему счастию;— я себя спрашивал, могу ли я влюбиться в дурную? вышло нет; — я дурен — и следственно женщина меня любить не может, это ясно; артистическое чувство развито в женщинах сильнее, чем в нас, они чаще и долее нас покорны первому впечатлению; если я умел подогреть в некоторых то, что на-

зывают капризом, то это стоило мне неимоверных трудов и жертв — но так как я знал поддельность чувства, внушенного мною, и благодарил за него только себя, то и сам не мог забыться до полной, безотчетной любви: к моей страсти примешивалось всегда немного злости;— всё это грустно — а правда!..

— Какой вздор!— сказала Минская, но, окинув его быстрым взглядом, она невольно с ним согласилась.

Наружность Лугина была в самом деле ничуть не привлекательна. Несмотря на то, что в странном выражении глаз его было много огня и остроумия, вы бы не встретили во всем его существе ни одного из тех условий, которые делают человека приятным в обществе; он был неловко и грубо сложен; говорил резко и отрывисто; больные и редкие волосы на висках, неровный цвет лица, признаки постоянного и тайного недуга, делали его на вид старее, чем он был в самом деле; он три года лечился в Италии от ипохондрии,— и хотя не вылечился, но по крайней мере нашел средство развлекаться с пользой: он пристрастился к живописи; природный талант, сжатый обязанностями службы, развился в нем широко и свободно под животворным небом юга, при чудных памятниках древних учителей. Он вернулся истинным художником, хотя одни только друзья имели право наслаждаться его прекрасным талантом. В его картинах дышало всегда какое-то неясное, но тяжелое чувство: на них была печать той горькой поэзии, которую наш бедный век выжимал иногда из сердца ее первых проповедников.

Лугин уже два месяца как вернулся в Петербург. Он имел независимое состояние, мало родных и несколько старинных знакомств в высшем кругу столицы, где и хотел провести зиму. Он бывал часто у Минской: ее красота, редкий ум, оригинальный взгляд на вещи должны были произвести впечатление на человека с умом и воображением. Но любви между ними не было и в помине.

Разговор их на время прекратился, и они оба, казалось, заслушались музыки. Заезжая певица пела балладу Шуберта на слова Гёте «Лесной царь». Когда она кончила, Лугин встал.

— Куда вы?— спросила Минская.

— Прощайте.

— Еще рано.

Он опять сел.

— Знаете ли,— сказал он с какою-то важностию,— что я начинаю сходить с ума?

— Право?

— Кроме шуток. Вам это можно сказать, вы надо мною не будете смеяться. Вот уже несколько дней, как я слышу голос. Кто-то мне твердит на ухо с утра до вечера — и как вы думаете что?— адрес:— вот и теперь слышу: в Столярном переулке, у Кокушкина моста, дом титюлярного советника Штосса, квартира номер 27.— И так шибко, шибко,— точно торопится... несносно!..

Он побледнел. Но Минская этого не заметила.

— Вы, однако, не видите того, кто говорит?— спросила она рассеянно.

— Нет. Но голос звонкий, резкий, дишкант.

— Когда же это началось?

— Признаться ли? я не могу сказать наверное... не знаю, ведь это право презабавно!— сказал он, принужденно улыбаясь.

— У вас кровь приливает к голове, и в ушах звенит.

— Нет, нет. Научите, как мне избавиться?

— Самое лучшее средство,— сказала Минская, подумав с минуту,— идти к Кокушкину мосту, отыскать этот номер, и так как, верно, в нем живет какой-нибудь сапожник или часовой мастер,— то для приличия закажите ему работу и, возвратясь домой, ложитесь спать, потому что... вы в самом деле нездоровы!..— прибавила она, взглянув на его встревоженное лицо с участием.

— Вы правы,— отвечал угрюмо Лугин,— я непременно пойду.

Он встал, взял шляпу и вышел.

Она посмотрела ему вслед с удивлением.

2

Сырое ноябрьское утро лежало над Петербургом. Мокрый снег падал хлопьями, дома казались грязны и темны, лица прохожих были зелены; извозчики на биржах дремали под рыжими полостями своих саней; мокрая длинная шерсть их бедных кляч завивалась барашком; туман придавал отдаленным предметам какой-то серо-лиловый цвет. По тротуарам лишь изредка хлопали калоши чиновников, да иногда раздавался шум и хохот в подземной полпивной лавочке, когда оттуда выталкивали пьяного молодца в зеленой фризовой шинели и клеенчатой фуражке. Разумеется, эти картины встретили бы вы только в глухих частях города, как например... у Кокушкина моста. Через этот мост шел человек

среднего роста, ни худой, ни толстый, не стройный, но с широкими плечами, в пальто, и вообще одетый со вкусом; жалко было видеть его лакированные сапоги, вымоченные снегом и грязью; но он, казалось, об этом нимало не заботился; засунув руки в карманы, повеся голову, он шел неровными шагами, как будто боялся достигнуть цель своего путешествия или не имел ее вовсе. На мосту он остановился, поднял голову и осмотрелся. То был Лугин. Следы душевной усталости виднелись на его измятом лице, в глазах горело тайное беспокойство.

— Где Столярный переулок?— спросил он нерешительным голосом у порожнего извозчика, который в эту минуту проезжал мимо его шагом, закрывшись по шею мохнатою полостию и насвистывая камаринскую.

Извозчик посмотрел на него, хлыстнул лошадь кончиком кнута и проехал мимо.

Ему это показалось странно. Уж полно, есть ли Столярный переулок? Он сошел с моста и обратился с тем же вопросом к мальчику, который бежал с полуштофом через улицу.

— Столярный?— сказал мальчик,— а вот идите прямо по Малой Мещанской, и тотчас направо,— первый переулок и будет Столярный.

Лугин успокоился. Дойдя до угла, он повернул направо и увидал небольшой грязный переулок, в котором с каждой стороны было не больше 10 высоких домов. Он постучал в дверь первой мелочной лавочки и, вызвав лавочника, спросил: «Где дом Штосса?»

— Штосса? Не знаю, барин, здесь этаких нет; а вот здесь рядом есть дом купца Блинникова,— а подальше...

— Да мне надо Штосса...

— Ну не знаю,— Штосса!— сказал лавочник, почесав затылок, и потом прибавил:— нет, не слыхать-с!

Лугин пошел сам смотреть надписи; что-то ему говорило, что он с первого взгляда узнает дом, хотя никогда его не видал. Так он добрался почти до конца переулка, и ни одна надпись ничем не поразила его воображения, как вдруг он кинул случайно глаза на противоположную сторону улицы и увидал над одними воротами жестяную доску вовсе без надписи.

Он подбежал к этим воротам — и сколько ни рассматривал, не заметил ничего похожего даже на следы стертой временем надписи; доска была совершенно новая.

Под воротами дворник в долгополом полинявшем кафта-

не, с седой давно небритой бородою, без шапки и подпоясанный грязным фартуком, разметал снег.

— Эй! дворник,— закричал Лугин.

Дворник что-то проворчал сквозь зубы.

— Чей это дом?

— Продан!— отвечал грубо дворник.

— Да чей он был.

— Чей?— Кифейкина, купца.

— Не может быть, верно Штосса!— вскрикнул невольно Лугин.

— Нет, был Кифейкина — а теперь так Штосса!— отвечал дворник, не подымая головы.

У Лугина руки опустились.

Сердце его забилось, как будто предчувствуя несчастие. Должен ли он был продолжать свои исследования? не лучше ли вовремя остановиться? Кому не случалось находиться в таком положении, тот с трудом поймет его: любопытство, говорят, сгубило род человеческий, оно и поныне наша главная, первая страсть, так что даже все остальные страсти могут им объясниться. Но бывают случаи, когда таинственность предмета дает любопытству необычайную власть: покорные ему, подобно камню, сброшенному с горы сильною рукою, мы не можем остановиться — хотя видим нас ожидающую бездну.

Лугин долго стоял перед воротами. Наконец обратился к дворнику с вопросом:

— Новый хозяин здесь живет?

— Нет.

— А где же?

— А чорт его знает.

— Ты уж давно здесь дворником?

— Давно.

— А есть в этом доме жильцы?

— Есть.

— Скажи, пожалуйста,— сказал Лугин после некоторого молчания, сунув дворнику целковый,— кто живет в 27 номере?

Дворник поставил метлу к воротам, взял целковый и пристально посмотрел на Лугина.

— В 27 номере?.. да кому там жить!— он уж бог знает сколько лет пустой.

— Разве его не нанимали?

— Как не нанимать, сударь,— нанимали.

— Как же ты говоришь, что в нем не живут!

— А бог их знает! так-таки не живут. Наймут на год — да и не переезжают.

— Ну а кто его последний нанимал?

— Полковник, из анженеров, что ли!

— Отчего же он не жил?

— Да переехал было... а тут, говорят, его послали в Вятку — так номер пустой за ним и остался.

— А прежде полковника?

— Прежде его было нанял какой-то барон, из немцев — да этот и не переезжал; слышно, умер.

— А прежде барона?

— Нанимал купец для какой-то своей... гм! — да обанкрутился, так у нас и задаток остался...

«Странно!» — подумал Лугин.

— А можно посмотреть номер?

Дворник опять пристально взглянул на него.

— Как нельзя? — можно! — отвечал он и пошел переваливаясь за ключами.

Он скоро возвратился и повел Лугина во второй этаж по широкой, но довольно грязной лестнице. Ключ заскрипел в заржавленном замке, и дверь отворилась; им в лицо пахнуло сыростью. Они взошли. Квартира состояла из четырех комнат и кухни. Старая пыльная мебель, некогда позолоченная, была правильно расставлена кругом стен, обтянутых обоями, на которых изображены были на зеленом грунте красные попугаи и золотые лиры; изразцовые печи кое-где порастрескались; сосновый пол, выкрашенный под паркет, в иных местах скрипел довольно подозрительно; в простенках висели овальные зеркала с рамками рококо; вообще комнаты имели какую-то странную несовременную наружность.

Они, не знаю почему, понравились Лугину.

— Я беру эту квартиру, — сказал он. — Вели вымыть окна и вытереть мебель... посмотри, сколько паутины! — да надо хорошенько вытопить... — В эту минуту он заметил на стене последней комнаты поясной портрет, изображающий человека лет сорока в бухарском халате, с правильными чертами, большими серыми глазами; в правой руке он держал золотую табакерку необыкновенной величины. На пальцах красовалось множество разных перстеней. Казалось, этот портрет писан несмелой ученической кистью, платье, волосы, рука, перстни, всё было очень плохо сделано; зато в выражении лица, особенно губ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глаз оторвать: в линии рта был какой-то неуловимый изгиб, недоступный искусству и, конечно, начертанный бессозна-

тельно, придававший лицу выражение насмешливое, грустное, злое и ласковое попеременно. Не случалось ли вам на замороженном стекле или в зубчатой тени, случайно наброшенной на стену каким-нибудь предметом, различать профиль человеческого лица, профиль, иногда невообразимой красоты, иногда непостижимо отвратительный? Попробуйте переложить их на бумагу! вам не удастся; попробуйте на стене обрисовать карандашом силуэт, вас так сильно поразивший,— и очарование исчезает; рука человека никогда с намерением не произведет этих линий; математически малое отступление — и прежнее выражение погибло невозвратно. В лице портрета дышало именно то *неизъяснимое,* возможное только гению или случаю.

«Странно, что я заметил этот портрет только в ту минуту, как сказал, что беру квартиру!» — подумал Лугин.

Он сел в кресла, опустил голову на руку и забылся.

Долго дворник стоял против него, помахивая ключами.

— Что ж, барин?— проговорил он наконец.

— А!

— Как же?—коли берете, так пожалуйте задаток.

Они условились в цене. Лугин дал задаток, послал к себе с приказанием сейчас же перевозиться, а сам просидел против портрета до вечера; в 9 часов самые нужные вещи были перевезены из гостиницы, где жил до сей поры Лугин.

«Вздор, чтоб на этой квартире нельзя было жить,— думал Лугин.— Моим предшественникам, видно, не суждено было в нее перебраться — это, конечно, странно! — Но я взял свои меры: переехал тотчас!— что-ж?— ничего!»

До двенадцати часов он с своим старым камердинером Никитой расставлял вещи...

Надо прибавить, что он выбрал для своей спальни комнату, где висел портрет.

Перед тем чтоб лечь в постель, он подошел со свечой к портрету, желая еще раз на него взглянуть хорошенько, и прочитал внизу вместо имени живописца красными буквами: *Середа.*—

— Какой нынче день,— спросил он Никиту.

— Понедельник, сударь...

— Послезавтра середа!— сказал рассеянно Лугин.

— Точно так-с!..

Бог знает почему Лугин на него рассердился.

— Пошел вон!— закричал он, топнув ногою.

Старый Никита покачал головою и вышел.

После этого Лугин лег в постель и заснул.

На другой день утром привезли остальные вещи и несколько начатых картин.

3

В числе недоконченных картин, большею частию маленьких, была одна размера довольно значительного; посреди холста, исчерченного углем, мелом и загрунтованного зеленокоричневой краской, эскиз женской головки остановил бы внимание знатока; но несмотря на прелесть рисунка и на живость колорита она поражала неприятно чем-то неопределенным в выражении глаз и улыбки; видно было, что Лугин перерисовывал ее в других видах и не мог остаться довольным, потому что в разных углах холста являлась та же головка, замаранная коричневой краской. То не был портрет; может быть, подобно молодым поэтам, вздыхающим по небывалой красавице, он старался осуществить на холсте свой идеал — женщину-ангела; причуда, понятная в первой юности, но редкая в человеке, который сколько-нибудь испытал жизнь. Однако есть люди, у которых опытность ума не действует на сердце, и Лугин был из числа этих несчастных и поэтических созданий. Самый тонкий плут, самая опытная кокетка с трудом могли бы его провесть, а сам себя он ежедневно обманывал с простодушием ребенка. С некоторого времени его преследовала постоянная идея, мучительная и несносная, тем более что от нее страдало его самолюбие: он был далеко не красавец, это правда, однако в нем ничего не было отвратительного, и люди, знавшие его ум, талант и добродушие, находили даже выражение лица его довольно приятным; но он твердо убедился, что степень его безобразия исключает возможность любви, и стал смотреть на женщин как на природных своих врагов, подозревая в случайных их ласках побуждения посторонние и объясняя грубым и положительным образом самую явную их благосклонность. Не стану рассматривать, до какой степени он был прав, но дело в том, что подобное расположение души извиняет достаточно фантастическую любовь к воздушному идеалу, любовь самую невинную и вместе самую вредную для человека с воображением.

В этот день, который был вторник, ничего особенного с Лугиным не случилось: он до вечера просидел дома, хотя ему нужно было куда-то ехать. Непостижимая лень овладела всеми чувствами его; хотел рисовать — кисти выпадали из рук; пробовал читать — взоры его скользили над стро-

ками и читали совсем не то, что было написано; его бросало в жар и в холод; голова болела; звенело в ушах. Когда смеркалось, он не велел подавать свеч и сел у окна, которое выходило на двор; на дворе было темно; у бедных соседей тускло светились окна;— он долго сидел; вдруг на дворе заиграла шарманка; она играла какой-то старинный немецкий вальс; Лугин слушал, слушал — ему стало ужасно грустно. Он начал ходить по комнате; небывалое беспокойство им овладело; ему хотелось плакать, хотелось смеяться... он бросился на постель и заплакал: ему представилось всё его прошедшее, он вспомнил, как часто бывал обманут, как часто делал зло именно тем, которых любил, какая дикая радость иногда разливалась по его сердцу, когда видел слезы, вызванные им из глаз, ныне закрытых навеки,— и он с ужасом заметил и признался, что он недостоин был любви безотчетной и истинной,— и ему стало так больно! так тяжело!

Около полуночи он успокоился;— сел к столу, зажег свечу, взял лист бумаги и стал что-то чертить;— всё было тихо вокруг.— Свеча горела ярко и спокойно; он рисовал голову старика,— и когда кончил, то его поразило сходство этой головы с кем-то знакомым! Он поднял глаза на портрет, висевший против него,— сходство было разительное; он невольно вздрогнул и обернулся; ему показалось, что дверь, ведущая в пустую гостиную, заскрипела; глаза его не могли оторваться от двери.

— Кто там?— вскрикнул он.

За дверьми послышался шорох, как будто хлопали туфли; известка посыпалась с печи на пол. «Кто это?» — повторил он слабым голосом.

В эту минуту обе половинки двери тихо, беззвучно стали отворяться; холодное дыхание повеяло в комнату;— дверь отворялась сама; в той комнате было темно, как в погребе.

Когда дверь отворилась настежь, в ней показалась фигура в полосатом халате и туфлях: то был седой сгорбленный старичок; он медленно подвигался приседая; лицо его, бледное и длинное, было неподвижно; губы сжаты; серые мутные глаза, обведенные красной каймою, смотрели прямо без цели. И вот он сел у стола против Лугина, вынул из-за пазухи две колоды карт, положил одну против Лугина, другую перед собой, и улыбнулся.

— Что вам надобно?— сказал Лугин с храбростью отчаяния. Его кулаки судорожно сжимались, и он был готов пустить шандалом в незваного гостя.

Под халатом вздохнуло.

— Это несносно!— сказал Лугин задыхающимся голосом. Его мысли мешались.

Старичок зашевелился на стуле; вся его фигура изменялась ежеминутно, он делался то выше, то толще, то почти совсем съеживался; наконец принял прежний вид.

«Хорошо,— подумал Лугин,— если это привидение, то я ему не поддамся».

— Не угодно ли, я вам промечу штосс? — сказал старичок.

Лугин взял перед ним лежавшую колоду карт и отвечал насмешливым тоном: «А на что же мы будем играть?— я вас предваряю, что душу свою на карту не поставлю! (он думал этим озадачить привидение)... а если хотите,— продолжал он,— я поставлю клюнгер; не думаю, чтоб водились в вашем воздушном банке».

Старичка эта шутка нимало не сконфузила.

«У меня в банке вот это!» — отвечал он, протянув руку; «Это?— сказал Лугин, испугавшись и кинув глаза налево.— Что это?» — Возле него колыхалось что-то белое, неясное и прозрачное. Он с отвращением отвернулся. «Мечите!» — потом сказал он оправившись и, вынув из кармана клюнгер, положил его на карту. «Идет, темная». Старичок поклонился, стасовал карты, срезал и стал метать. Лугин поставил семерку бубен, и она с оника была убита; старичок протянул руку и взял золотой.

— Еще талью!— сказал с досадой Лугин.

Оно покачало головою.

— Что же это значит?

— В середу,— сказал старичок.

— А! в середу! — вскричал в бешенстве Лугин; — так нет же! — не хочу в середу! — завтра или никогда! слышишь ли?

Глаза странного гостя пронзительно засверкали, и он опять беспокойно зашевелился.

— Хорошо,— наконец сказал он, встал, поклонился и вышел приседая. Дверь опять тихо за ним затворилась; в соседней комнате опять захлопали туфли... и мало-помалу все утихло. У Лугина кровь стучала в голову молотком; странное чувство волновало и грызло его душу. Ему было досадно, обидно, что он проиграл!..

«Однако ж я не поддался ему!— говорил он, стараясь себя утешить.— Переупрямил. В середу!— как бы не так! что

я за сумасшедший! Это хорошо, очень хорошо!.. он у меня не отделается».

— А как похож на этот портрет!.. ужасно, ужасно похож!— а! теперь я понимаю!..

На этом слове он заснул в креслах. На другой день поутру никому о случившемся не говорил, просидел целый день дома и с лихорадочным нетерпением дожидался вечера.

«Однако я не посмотрел хорошенько на то, что у него в банке! — думал он,— верно, что-нибудь необыкновенное!»

Когда наступила полночь, он встал с своих кресел, вышел в соседнюю комнату, запер на ключ дверь, ведущую в переднюю, и возвратился на свое место; он недолго дожидался; опять раздался шорох, хлопанье туфлей, кашель старика, и в дверях показалась его мертвая фигура. За ним подвигалась другая, до того туманная, что Лугин не мог рассмотреть ее формы.

Старичок сел, как накануне положил на стол две колоды карт, срезал одну и приготовился метать, по-видимому, не ожидая от Лугина никакого сопротивления; в его глазах блистала необыкновенная уверенность, как будто они читали в будущем. Лугин, остолбеневший совершенно под магнетическим влиянием его серых глаз, уже бросил было на стол два полуимпериала, как вдруг он опомнился.

— Позвольте,— сказал он, накрыв рукою свою колоду.

Старичок сидел неподвижен.

— Что бишь я хотел сказать!— позвольте,— да!— Лугин запутался.

Наконец, сделав усилие, он медленно проговорил:

— Хорошо... я с вами буду играть — я принимаю вызов — я не боюсь — только с условием: я должен знать, с кем играю! Как ваша фамилия?

Старичок улыбнулся.

— Я иначе не играю,— проговорил Лугин, и меж тем дрожащая рука его вытаскивала из колоды очередную карту.

— Что-с? — проговорил неизвестный, насмешливо улыбаясь.

— Штос?— кто?— У Лугина руки опустились: он испугался. В эту минуту он почувствовал возле себя чье-то свежее ароматическое дыхание; и слабый шорох, и вздох невольный, и легкое огненное прикосновенье. Странный, сладкий и вместе болезненный трепет пробежал по его жилам.

Он на мгновенье обернул голову и тотчас опять устремил взор на карты; но этого минутного взгляда было бы довольно, чтоб заставить его проиграть душу. То было чудное и божественное виденье: склонясь над его плечом, сияла женская головка; ее уста умоляли, в ее глазах была тоска невыразимая... она отделялась на темных стенах комнаты, как утренняя звезда на туманном востоке. Никогда жизнь не производила ничего столь воздушного, неземного, никогда смерть не уносила из мира ничего столь полного пламенной жизни: то не было существо земное — то были краски и свет вместо форм и тела, теплое дыхание вместо крови, мысль вместо чувства; то не был также пустой и ложный призрак... потому что в неясных чертах дышала страсть бурная и жадная, желание, грусть, любовь, страх, надежда,— то была одна из тех чудных красавиц, которых рисует нам молодое воображение, перед которыми в волнении пламенных грез стоим на коленях и плачем, и молим, и радуемся бог знает чему — одно из тех божественных созданий молодой души, когда она в избытке сил творит для себя новую природу, лучше и полнее той, к которой она прикована.

В эту минуту Лугин не мог объяснить того, что с ним сделалось, но с этой минуты он решился играть, пока не выиграет: эта цель сделалась целью его жизни; он был этому очень рад.

Старичок стал метать: карта Лугина была убита. Бледная рука опять потащила по столу два полуимпериала.

— Завтра,— сказал Лугин.

Старичок вздохнул тяжело, но кивнул головой в знак согласия и вышел, как накануне.

Всякую ночь в продолжение месяца эта сцена повторялась: всякую ночь Лугин проигрывал; но ему не было жаль денег, он был уверен, что наконец хоть одна карта будет дана, и потому всё удваивал куши: он был в сильном проигрыше, но зато каждую ночь на минуту встречал взгляд и улыбку — за которые он готов был отдать всё на свете. Он похудел и пожелтел ужасно. Целые дни просиживал дома, запершись в кабинете; часто не обедал. Он ожидал вечера, как любовник свиданья, и каждый вечер был награжден взглядом более нежным, улыбкой более приветливой;— *она*— не знаю как назвать ее?— она, казалось, принимала трепетное участие в игре; казалось, она ждала с нетерпением минуты, когда освободится от ига несносного старика; и всякий раз, когда карта Лугина была убита и он с грустным взором оборачивался к ней, на него смотрели эти страстные, глубо-

кие глаза, которые, казалось, говорили: «Смелее, не упадай духом, подожди, я буду твоя, во что бы то ни стало! я тебя люблю...» и жестокая, молчаливая печаль покрывала своей тенью ее изменчивые черты.— И всякий вечер, когда они расставались, у Лугина болезненно сжималось сердце — отчаянием и бешенством. Он уже продавал вещи, чтоб поддерживать игру; он видел, что невдалеке та минута, когда ему нечего будет поставить на карту. Надо было на что-нибудь решиться. Он решился.



ПРИМЕЧАНИЯ

Идея создания антологии русской романтической повести возникла еще в среде наших романтиков. О такого рода издании задумывался Н. А. Полевой, идею эту поддерживал Белинский. В послеоктябрьское время Н. Л. Степанов составил и снабдил предисловием небольшую антологию «Старинная повесть», выпущенную Издательством писателей в Ленинграде в 1929 году и включившую довольно ограниченный круг писательских имен и произведений. Затем появился двухтомник «Русские повести 20—30-х годов XIX века» (М. — Л., Гослитиздат, 1950), подготовленный Б. С. Мейлахом. Там были собраны повести многих русских романтиков, но подобраны они были по принципу близости их к реалистической традиции. Причем Н. Л. Степанов и Б. С. Мейлах поместили в своих антологиях не собственно романтические повести, а просто русские повести определенной литературной эпохи. Однотомная антология русской романтической повести в немецком переводе была издана в Берлине ученым из ГДР Клаусом Штедтке в 1969 году[1].

Настоящее издание при всей его очевидной неполноте стремится представить русскую романтическую повесть как самоценное литературное явление в его исторической динамике, в общем движении писательских имен, проблем, жанровых разновидностей и смене стилей повествования. В основу сборника положены наиболее авторитетные дореволюционные и советские публикации текстов романтических повестей. В примечаниях использованы разыскания многих исследователей и комментаторов.

---

[1] См.: Манн Ю. Том романтической прозы. — Вопросы литературы, 1970, № 12. Отметим, что в эту антологию включена и проза Жуковского, Пушкина, Гоголя и Лермонтова. См. также новейшее издание: «Russian Romantic Prose: An Antology». Ann Arbor, Translation Press, 1979.

А. А. БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ

Ревельский турнир

Впервые — альманах «Полярная звезда на 1825 год». Спб., 1825. Печатается по изд.: «Полярная звезда», изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1960 (сер. «Лит. памятники»).

С. 43. *Ревель* — ныне Таллин.

Олай — древняя церковь св. Олая в Ревеле.

С. 44. *Кружева Арахны* — паутина.

Любчанин — гражданин вольного немецкого города Любека.

С. 45. *Брандскугель* — зажигательный снаряд.

Греческий огонь — горючая смесь, использовавшаяся византийскими кораблями в морских сражениях.

С. 46. *Под Магольмом, под Псковом... под Нарвою* — барон перечисляет места сражений Ливонского ордена с русскими.

С. 47. *Орвиетан* — здесь эликсир от всех болезней.

С. 48. *Ратсгеры* — советники ревельского магистрата.

С. 53. *Риттергауз* — Рыцарский дом.

С. 54. *Герольды* — распорядители на турнире.

Фрез — воротник.

Далматик — плащ.

С. 55. *Киршвассер* — крепкая настойка.

С. 56. *Дерпт* — немецкое название русского города Юрьева (ныне Тарту).

С. 57. *Фогты* и *командоры* — судьи и военачальники рыцарского Ливонского ордена меченосцев.

С. 63. *Ландрат* — советник.

С. 64. *Вицбетрейбер* — шут.

С. 68. *Эпиграф* — из стихотворения Н. М. Языкова «Ливония» (1824).

С. 69. *Сигизмунд* I *Старый* (1467—1548) — польский король, при котором Тевтонский рыцарский орден стал вассалом Польши и был превращен в светское герцогство Прусское.

Испытание

Впервые — «Сын отечества», 1830, № 29—32. Печатается по изд.: Бестужев-Марлинский А. А. Повести и рассказы М., Сов. Россия, 1976.

С. 74. *А. М. Андреев* — петербургский знакомый Бестужева, участвовавший в издании его повестей.

Клеопатрина жемчужина — по преданию, египетская царица Клеопатра (68—30 до н. э.) растворила в кубке вина бесценную жемчужину.

С. 75. *Скорбсби* Уильям (1789—1859) — английский исследователь Севера.

Аввакум Петрович (1620—1682) — выдающийся русский писатель и мыслитель.

Трехбунчужный паша — турецкий сановник высшего ранга, перед которым несли знаки его власти — бунчуки, род знамени, представлявшие собой конские хвосты, воздетые на пики.

С. 76. *Плумпудинг* — английский пирог.

Жомини Анри (1779—1869) — французский теоретик и военный писатель, бывший в русской службе.

Фрейшиц — «Вольный стрелок» (1821), романтическая опера немецкого композитора К.-М. Вебера (1786—1826).

V. C. P. — «Вдова Клико Поншарден», знаменитая марка французского шампанского.

С. 77. *«не рутировала»...* — не выпадала, когда на нее ставили.

С. 78. *Животный магнетизм* — теория австрийского врача Ф. Месмера (1733—1815), считавшего, что солнце и луна влияют на человека и животных при посредстве проникающей все особой жидкости — эфира. Теория Месмера была ложной, но он открыл явление гипнотизма, и это открытие использовалось позднее при лечении гипнозом.

С. 79. *...соляной обломок Лотовой жены...* — по библейскому преданию, любопытная жена патриарха Лота нарушила запрет бога и оглянулась на гибнущий родной город Содом. За это бог превратил ее в соляной столб.

Арендт Николай Федорович (1785—1859) — лейб-медик царя.

Альнаскар — действующее лицо комедии Н. И. Хмельницкого «Воздушные замки» (1818).

С. 82. *Эпиграф* — из поэмы Байрона «Дон Жуан».

Гогарт — Хогарт Уильям (1697—1764), английский живописец, автор множества сатирических гравюр, изображавших сценки из городской жизни.

С. 83. *Апологи* — нравоучительные рассказы, своего рода басни в прозе.

С. 84. *«Потерянный рай»* — поэма английского писателя Д. Мильтона (1608—1674).

Покрывало Изиды — статуя египетской богини Изиды в храме Саиса была скрыта за покрывалом.

С. 89. *Окен* Лоренц (1779—1851) — немецкий философ-идеалист, ученик Шеллинга, чьи работы в ту пору читались и переводились русскими романтиками-любомудрами.

С. 91. *Конгревские ракеты* — зажигательные снаряды, изобретенные английским инженером У. Конгривом (1772—1828).

Кастор и Поллукс — Диоскуры, братья-близнецы, персонажи древнегреческой мифологии.

С. 94. *Блюхер Г. Л.* (1742—1819) — прусский фельдмаршал, прославившийся в войне с Наполеоном.

С. 95. *Аркадия* — страна вечного покоя и счастья.

С. 100. *Мицкевич* Адам (1798—1855) — польский поэт-романтик. Цитируется его стихотворение «Первоцвет».

С. 102. *Мизогин* — женоненавистник.

Смольный монастырь — институт благородных девиц в Петербурге, где воспитывались девочки из знатных дворянских семей.

С. 105. *Мария Стюарт* (1542—1587) — королева Франции и Шотландии, казненная по приказу английской королевы Елизаветы.

Генрих IV (1553—1610) — французский король.

С. 106. *...под Прутом...* — место, где в 1711 году русская армия во главе с Петром Первым была окружена турками.

С. 107. *Селадон* — персонаж романа французского писателя О. д'Юрфе (1568—1625) «Астрея», дамский угодник.

С. 113. *Эпиграф* — из трагедии Ф. Шиллера «Мария Стюарт».

С. 114. *Криспин* — персонаж комедии французского писателя А. Р. Лесажа «Криспен, соперник своего господина» (1707).

С. 117. *...из развалин вавилонского... столба...* — имеется в ви-

ду библейская легенда о строительстве Вавилонской башни, зодчие которой по воле бога заговорили на разных языках, перестали понимать друг друга, и гигантская, стремившаяся достигнуть неба башня осталась недостроенной.

Дафнис и Меналк — персонажи античной буколической поэзии.

С. 118. *Барабинская степь* — расположена между Иртышом и Обью.

С. 120. *Кухенрейтер, Лепаж* — знаменитые мастера-оружейники.

Шнеллер — механизм, облегчающий спуск курка.

С. 123. *Мемнонова статуя* — древнеегипетская колоссальная статуя фараона Аменхотепа III близ города Фивы. Греки считали ее изображением Мемнона, одного из героев Троянской войны. Колосс Мемнона при восходе солнца издавал звук, напоминавший человеческий голос, и греки считали, что это Мемнон приветствует свою мать Эос, богиню утренней зари. Однако в 30-е годы XIX века английские археологи обнаружили в статуе выемку, где висел странный камень (по-видимому, метеорит), при ударе в который и рождался высокий и чистый звук голоса. Об этом писали и русские журналы, в частности «Библиотека для чтения».

Парголово — предместье Петербурга.

С. 125. *Похороны кота мышами* — известная народная лубочная картинка, считавшаяся сатирой на Петра Первого.

А. А. ПОГОРЕЛЬСКИЙ-ПЕРОВСКИЙ

Лафертовская маковница

Впервые — журнал «Новости литературы», 1825, кн. XI. Печатается по изд.: Русские повести XIX века 20—30-х годов, т. 2. М. — Л., Гослитиздат, 1950.

Лафертовская — жившая в Лефортово, предместье Москвы.

С. 149. *Роспуски* — телега для перевозки громоздких и тяжелых предметов.

С. 154. *Маркитант* — торговец, снабжавший действующую армию продовольствием, снаряжением и т. п.

А. С. ПУШКИН, В. П. ТИТОВ

Уединенный домик на Васильевском

Впервые — альманах «Северные цветы на 1829 год». Спб., 1828, под псевдонимом «Тит Космократов». Печатается по изд.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. IX. Л., Наука, 1979.

С. 160. *Коллегии* — так Петр Первый назвал министерства, основанные им вместо прежних приказов.

Минея — «Великие Четьи-Минеи», составленное в XVI веке под руководством митрополита Макария 12-томное собрание прологов, патериков, житий православных святых, творений «отцов церкви» и духовных писателей с их толкованием. Материал в «Четьях-Минеях» был расположен по месяцам и дням.

С. 163. *Галль* Франц Иосиф (1758—1828) — австрийский врач и анатом, выдвинувший антинаучную теорию — «френологию»,

объяснявшую особенности человеческой психики путем изучения выпуклостей на черепе.

С. 166. *...ему послышалось...* — А. Ахматова отметила, что приключение Павла в салоне графини И. схоже со столкновением самого Пушкина с секретарем французского посольства Т.-Ж. Лагрене, произошедшим в том же 1828 году.

С. 169. *Гобелены* — настенные ковры-картины с вытканными на них сюжетами.

Похищение Европы — влюбленный Зевс похитил финикийскую царевну Европу, приняв образ быка. Этот мифологический сюжет изображен на многих картинах и гравюрах.

С. 170. *Амплификация* — использование однородных элементов в ораторской речи.

С. 171. *Думская башня* — часть здания петербургской городской думы на Невском проспекте рядом с Гостиным двором.

С. 172. *Число Апокалипсиса* — в Откровении Иоанна Богослова число «666» названо «числом зверя», указывающим на дьявола, антихриста.

С. 173. *Церковь Андрея Первозванного* стояла на углу Большого проспекта и Шестой линии Васильевского острова.

С. 179. *Признаки помешательства* — А. Ахматова указала, что помешательство Павла разительно напоминает историю затворничества и полудобровольного безумия знаменитого богача графа Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова (1790—1863), самобытной личностью которого Пушкин интересовался и имя которого он упомянул в «Рославлеве».

С. 180. *...высокого белокурого человека...* — петербургская гадалка А. Ф. Кирхгоф в 1819 году предсказала Пушкину гибель от руки высокого белокурого человека.

В. Ф. ОДОЕВСКИЙ

Импровизатор

Впервые — альманах «Альциона на 1833 год». Спб., 1833. Печатается по изд.: Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л., Наука, 1975 (сер. «Лит. памятники»).

С. 183. *Эпиграф* взят из первой части «Фауста» Гете.

С. 184. *Гарпагон* — главное действующее лицо комедии Мольера «Скупой» (1668).

...статуя спартанского тирана... — граждане Древней Спарты воздвигли своему знаменитому законодателю Ликургу храм и статую. Но Одоевского здесь не интересуют конкретные реалии. Он создает поэтический образ, символ сурового спартанского аскетизма и бедности.

С. 185. *Сегелиель* — этот персонаж появляется и в незавершенном произведении Одоевского «Сегелиель, или Дон Кихот XIX столетия. Сказка для старых детей», драматическом отрывке, напоминающем «Фауста» Гете. Но там Сегелиель превращается в «доброго дьявола», пытается служить людям, вспоминает об импровизаторе Киприяно и терзается его муками бесплодного ясновидения (Сборник на 1838 год. Спб., 1838, с. 90).

С. 187. *...вроде кроватей доктора Грема...* — скорее всего имеется в виду английский врач-шарлатан Джеймс Грэм (1745—1794), изобретатель «небесной кровати».

С. 191. *...фризовую шинель...* — для людей того времени фризовая шинель была одеждой социальных низов, символом крайней бедности и падения.

...алеф ...дельта — буквы соответствующих алфавитов.

С. 192. *Халдейский полиграф* — скорее всего имеется в виду старинная ученая книга.

С. 193. *Камер-обскура* — закрытый ящик с отверстием в одной из стенок, позволяющим проецировать на внутреннюю стенку перевернутое изображение светящегося предмета; прообраз фотографического аппарата.

С. 194. *...протягивает руку за «Академическим словарем»...* — имеется в виду толковый «Словарь Академии Российской».

...в пении страдивариусов и амати... — имеются в виду скрипки, изготовленные итальянскими мастерами из семейства Амати и их знаменитым учеником Антонио Страдивариусом (1644—1737).

Opere del Cavaliere Giambattista Piranesi

Впервые — альманах «Северные цветы на 1832 год». Спб., 1831. Печатается по источнику, указанному выше (см. с. 655).

Пиранези Джованни Баттиста (1720—1778) — итальянский художник и архитектор, автор серии гравюр, изображающих колоссальные, фантастические сооружения. В первой своей публикации повесть была посвящена А. С. Хомякову, и некоторые черты знаменитого славянофила запечатлены в Пиранези. Современник писал о «Русских ночах»: «...в этой книге князь В. Ф. Одоевский имел в виду Хомякова-сына, то есть известного писателя, когда изображал архитектора Пиранези, сочинявшего пусть очень умные, даже гениальные проекты таких предприятий, как мост через Средиземное море» (Гиляров-Платонов Н. Из пережитого, т. I. М., 1886, с. 309).

С. 198. *Лазарони* (от итал. lazzaroni) — нищий, бродяга.

С. 199 *Эльзевир* — издания голландской фирмы Эльзевиров (XVII в.), высоко ценимые знатоками-библиофилами.

Жанлис Мадлен Фелисите (1746—1830) — французская писательница, автор сентиментальных романов из жизни светского общества.

С. 200. *Альды* — итальянские типографы эпохи Возрождения, издававшие тексты греческих и римских классиков. Издания Альдов отличались высокой полиграфической культурой и тщательностью текстологической работы и комментариев.

С. 202. *«Жизнь игрока»* — пьеса французского драматурга Виктора Дюканжа (1783—1833). Роль игрока в первых русских представлениях пьесы исполнял ее переводчик, знаменитый трагик и драматург Василий Андреевич Каратыгин (1802—1853), ценимый Одоевским как «славный артист» и «человек с умом и огнем» (Одоевский В. Ф. Музыкально-литературное наследие. М., Музгиз, 1956, с. 496).

С. 203. *...Микель-Анджело, поставивший Пантеон на так называемую огромную церковь Св. Петра в Риме...* — имеется в виду купол античного Пантеона, послуживший прообразом для купола собора св. Петра, возведенного по проекту знаменитого итальянского скульптора и архитектора Микеланджело Буонарроти (1475—1564). Мысль эта почти дословно взята писателем из письма его друга, поэта и критика С. П. Шевырева (1806—1864), при-

сланного Одоевскому из Рима через В. П. Титова. В письме, в частности, говорилось: «Мысль Микель Анджело поставить Пантеон куполом на храме Петра есть чудная вещь хоть бы для трагедии» (*Сакулин,* II, 8). Купол Пантеона как бы утоплен в круглом барабане стен, и его величественность ощутима лишь внутри здания. Купол же св. Петра именно поставлен на это колоссальное сооружение и виден почти со всех улиц Рима.

...покровителем Микель-Анджело... — имеется в виду папа римский Юлий II (1441—1513), талантливый государственный деятель и меценат, при котором началась работа по проектированию и сооружению собора св. Петра.

Город без имени

Впервые — «Современник», 1839, кн. I. Печатается по источнику, указанному выше (с. 655).

Читателями Одоевского эта повесть воспринималась как социальная сатира, памфлет, явно направленный против Соединенных Штатов Америки. США в ту пору привлекали к себе особое внимание русских мыслителей. Интерес к американской демократии и конституции быстро сменился весьма критическим отношением. В статье «Джон Теннер» (1836) Пушкин отметил: «Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству...» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. XII, с. 104). Позднее философ Иван Киреевский писал: «Казалось, какая блестящая судьба предстояла Соединенным Штатам Америки, построенным на таком разумном основании, после такого великого начала! И что же вышло? Развились одни внешние формы общества и, лишенные внутреннего источника жизни, под наружною механикой задавили человека. Литература Соединенных Штатов, по отчетам самых беспристрастных судей, служит ясным выражением этого состояния» (Киреевский И. В. Критика и эстетика, с. 184). «Город без имени» в своей главной идее близок к этим высказываниям, но в антиутопии Одоевского критика индивидуалистической буржуазной цивилизации ведется творчески, в художественных образах.

С. 206. *Гумбольдт* Александр (1769—1859) — немецкий натуралист и путешественник, знакомый Одоевского.

С. 207. *Перистиль* — крытая колоннада, примыкающая к стене здания.

С. 209. *...один молодой человек...* — Иеремия Бентам (1748—1832), английский буржуазный философ-моралист, родоначальник теории утилитаризма. Основу морали Бентам видел в стремлении большинства людей к личной пользе, ограничиваемом благоразумием и благополучием отдельной личности. Бентам побывал в России у своего брата, офицера русской службы. Сохранилось письмо английского экономиста к Александру Первому, где Бентам предлагает царю усовершенствовать российское законодательство. Письмо осталось без ответа. Впоследствии учение Бентама породило теорию «разумного эгоизма», столь популярную в среде буржуазных философов-позитивистов второй половины XIX века.

Сильфида

(Из записок благоразумного человека)

Впервые — «Современник», 1837, т. V. Помета: «Ревель. 1836». Печатается по изд.: Одоевский В. Ф. Повести. М., Сов. Россия, 1977.

Сильфида — согласно учению немецкого врача Парацельса (Филиппа Ауреола Теофраста Бомбаста фон Гогенгейма, 1493—1541), изложенному в алхимическом трактате «О нимфах, сильфах, гномах и саламандрах», так именовался дух стихии воздуха.

Повесть посвящена Анастасии Сергеевне Пашковой.

Первый эпиграф взят из книги десятой «Государства» Платона.

С. 223. *Карл X* (1757—1836) — король Франции, свергнутый в результате Июльской революции 1830 года.

Дон-Карлос (1788—1855) — брат испанского короля Фердинанда VII, претендовавший на престол и начавший гражданскую («карлистскую») войну 1833—1840 годов.

С. 224. *Иван Федорович Шпонька* — главный персонаж повести Гоголя «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» (1832).

С. 226. *«Граф <де> Габалис, или Разговоры о тайных науках»* — книга о стихийных духах и их отношениях с людьми, написанная и анонимно изданная в Париже в 1670 году французским аббатом Никола Вилларом де Монфоконом (1635—1673). Книга аббата Виллара, не раз впоследствии переиздававшаяся, пользовалась большим успехом у читателей и повлияла на многих западноевропейских писателей, и в особенности на немецкого романтика Э. Т. А. Гофмана (см. его повести «Золотой горшок», «Королевская невеста», «Выбор невесты» и др.).

Вилланова Арнольд (1235—1312) — испанский алхимик и теософ.

Луллий Раймонд (1235—1315) — испанский мистик и богослов, также занимавшийся алхимическими опытами. Одоевский, изучавший химию под руководством академика Гесса, понимал всю тщетность исканий алхимиков, но он ценил их метод, умение изучать предмет всесторонне, с помощью единой науки, не дробя знание на обособленные по специальностям части. Писатель говорил: «Ложная теория навела алхимиков на гораздо бо́льшее число важнейших открытий, нежели все осторожные и благоразумные изыскания нынешних химиков» (Русский архив, 1874, кн. I, стб. 335—336).

Каббала (предание) — тайное мистическое учение средневековья, сочетавшее идеи восточной и античной философии. Делилось на две сферы знания. В первой исследовалась природа человека и Вселенной. Во второй, по библии, предсказывалось будущее и совершались упражнения в прикладной магии. Каббалисты считали, что мир основан на чудодейственном сцеплении чисел и что постичь его смысл можно только с помощью особой науки о числах. Эта мысль повлияла на воззрения Парацельса и других алхимиков и получила распространение в масонской литературе XVIII века, в частности в знаменитой повести Жака Казота «Влюбленный дьявол» (1772), и в сочинениях европейских романтиков. Идеи каббалистов о бесконечном предвосхитили многие положения шеллингианской философии тождества, которой в молодости увлекался Одоевский.

С. 227. *Ундина* — дух стихии воды, героиня одноименной повести немецкого романтика Фридриха де ла Мотт Фуке (1777—1843), пересказанной в стихах В. А. Жуковским.

...ее дядюшкою... — имеется в виду Струй, водяной, персонаж «Ундины». В 30-е годы Одоевский начал работать над «таинственной» повестью «Ундина», где появляются персонажи Фуке.

С. 235. *...ты ли это, гордый Рим...* — здесь мысли Одоевского о Древнем Риме и современной ему Италии перекликаются с суждениями Боратынского, Гоголя, С. П. Шевырева, Аполлона Григорьева. Современники отмечали несомненное сходство «Сильфиды» и «Призраков» И. С. Тургенева.

В черновиках Одоевского сохранились следующие слова Сильфиды, важные для понимания этого отрывка: «Зачем ты вызвал меня, — когда не хочешь расстаться с земляным твоим братом — ты записываешь мои чувства, мои мысли, — зачем это; ты не можешь себе вообразить, какое страдание для мысли эта темница ваших слов, звуков, красок, — вы думаете, что производите; вы только заключаете живое воздушное существо в мертвенную оболочку, — оно терзается, оно рыдает в ваших звуках, в ваших картинах, а вы радуетесь и хвалите искусство тюремщика. Вы, злые люди, хотели бы перенести свои земляные страдания в наше светлое жилище, вы хотели бы создать нас по своему подобию, иные даже жалеют об нас, зачем у нас нет страданий» *(Сакулин,* II, 72).

С. 239. *...рядную написал...* — составил роспись приданого невесты.

М. П. ПОГОДИН

Черная немочь

Впервые — «Московский вестник», 1829, ч. II. Печатается по изд.: Погодин М. П. Повести, ч. III. М., 1832.

С. 253. *...с кавалериею...* — с орденами.

С. 254. *Блаженный Августин* (354—430) — христианский философ-схоласт и богослов.

С. 255. *Ставленная грамота* — свидетельство архиерея о посвящении в определенный священнический чин.

Месяцослов — календарь с росписью чинов Российской империи.

С. 256. *Бургиева Реторика* — учебник ораторского искусства, написанный в 1736 году немецким протестантским священником Иоганном-Фридрихом Бургом (1689—1766).

С. 259. *Часовник* — книга с церковными молитвами.

Псалтырь — сборник псалмов, религиозных песнопений, приписываемых израильскому царю Давиду.

С. 264. Приводится отрывок из элегии В. А. Жуковского «На смерть ее величества королевы Виртембергской» (1819).

С. 267. *Убрус* — унизанный драгоценными камнями и вышитый жемчугом иконный оклад.

Бурмицкие — жемчужные.

С. 268. *Склаваж* — ларец.

С. 269. *Ток* — женский головной убор.

Фалбора — фальбала, оборка.

С. 270. *Колпик* — султан из перьев белой цапли.

Частный майор — полицейский офицер.

С. 271. *Жерандоли* — светильники.

С. 278. *Гердер* Иоганн Готфрид (1744—1803) — немецкий писатель и философ.

А. Ф. ВЕЛЬТМАН

Эротида

Впервые — «Московский наблюдатель», 1835, т. 1. Печатается по изд.: Вельтман А. Ф. Повести и рассказы. М., Сов. Россия, 1979.

С. 282. *Вахштаф* — сорт табака.

Эол — ветер.

С. 283. *Петр Борисович... Николай Петрович* — графы Шереметевы, знатные вельможи и баснословные богачи, покровители искусств, построившие в своих имениях великолепные дворцы и театры.

Останкино... Кусково — их подмосковные резиденции, ныне известные музеи.

Цугом — запрягая многих лошадей попарно.

С. 286. *Фирдевси* — Абулькасим Фирдоуси (ок. 940—1020 или 1030), великий таджикский поэт, автор эпической поэмы «Шахнаме».

С. 288. *Берлин* — тяжелая дорожная карета.

С. 289. *Меркентеры* — маркитанты.

С. 290. *Князь Таврический* — Григорий Александрович Потемкин (1739—1791), русский государственный и военный деятель, фаворит императрицы Екатерины.

Корволант — подвижный военный отряд, состоявший из разных родов войск.

С. 291. *Ратафия* — крепкий восточный ликер.

Роброны — старинные бальные платья с широкой юбкой на каркасе.

С. 294. *Маленький Капрал* — прозвище Наполеона Бонапарта.

Карлсбад — ныне Карловы Вары (Чехословакия).

Силуамский источник — в нем, по евангельскому преданию, умылся слепец, исцеленный Иисусом Христом.

С. 296. *Пур-ле-мерит* — прусский орден «За заслуги».

Мельникер, Унгер, Рейн — марки вин.

С. 297. *Чекчиры* — гусарские рейтузы.

Мамоновский полк — был снаряжен в 1812 году па деньги, пожертвованные М. А. Дмитриевым-Мамоновым.

С. 301. *Бурш* — немецкий студент.

С. 302. *Телемак* — герой популярного в России романа французского писателя Франсуа Фенелона «Приключения Телемака» (1699).

О. М. СОМОВ

Киевские ведьмы

Впервые — альманах «Новоселье», ч. I. Спб., 1833, под псевдонимом «Порфирий Байский». Печатается по тексту альманаха.

С. 309. *Тарас Трясила* Федорович — запорожский гетман, вождь казацко-крестьянского восстания 1630 года против поль-

ского ига. В трехдневном бою 15 мая под Переяславом повстанцы разгромили войско польского коронного гетмана Станислава *Конецпольского* (1591—1646). Тарас Шевченко воспел эту победу в стихотворении «Тарасова ночь».

Брюховецкий Иван Мартынович (?— 1668) — гетман Левобережной Украины и запорожский кошевой атаман.

С. 310. *Летописец Малороссии* — Бантыш-Каменский Дмитрий Николаевич (1788—1850), историк, автор «Истории Малой России» (1822).

С. 319. *Намитка* — украинский головной убор замужних женщин.

С. 320. *Пещеры* — подземные катакомбы Киево-Печерской лавры, где находились кельи, часовни и гробы умерших монахов.

Н. Ф. ПАВЛОВ

Ятаган

Впервые — Павлов Н. Ф. Три повести. М., 1835. Написано в 1833 году. Печатается по изд.: Павлов Н. Ф. Повести и стихи. М., Гослитиздат, 1957.

Эпиграф из повести французского писателя Проспера Мериме (1803—1870) «Двойная ошибка».

С. 326. *Андрие* — петербургский ресторатор.

С. 328. *Кинбурнская коса* на Черном море, близ Днестра — место победоносного боя в 1787 году русских войск во главе с А. В. Суворовым против турецкого десанта.

С. 335. *Сераскир* — турецкий военачальник.

С. 337 *Тальма* Франсуа Жозеф (1763—1826) — французский актер-трагик, любимец Наполеона.

Под Красным состоялось одно из сражений Отечественной войны 1812 года.

Герольдия — департамент, ведавший дворянскими родословными, гербами и титулами.

С. 352. *Герцогиня* Жозефина *Абрантес* (1785—1838) и *Дельфина Ге*-Жирарден (1804—1855) — французские писательницы. *Тролопп* Фрэнсис (1780—1863) — английская писательница.

Демон

Впервые — Павлов Н. Ф. Новые повести. Спб., 1839. Печатается по тому же источнику.

С. 375. *Юнг*-Штиллинг Иоганн Генрих (1740—1817) — немецкий писатель-мистик, чьи книги переводились русскими масонами в начале XIX века и имели большой читательский успех.

Ангел Колонны — скульптура, увенчивающая Александровскую колонну на Дворцовой площади.

Камчадал — житель Камчатки.

С. 378. *Талейран* Шарль Морис (1754—1838) — французский политический деятель, знаменитый своей беспринципностью и корыстолюбием.

С. 391. *Мальтус* Томас Роберт (1766—1834) — английский буржуазный политэконом, создатель реакционной теории, оправдывавшей голод, войны, бедность.

С. 396. *Сильфида* — балетная партия в одноименном балете

Ж. Шнейцгоффера, в которой приобрела всемирную известность балерина Мария Тальони (1804—1884), гастролировавшая в 1837 году в Петербурге.

С. 398. *Пиршество Балтазара* — последний вавилонский царь Валтасар, согласно библейскому преданию, во время осады своей столицы персами беспечно пировал, и вдруг на стене возникла огненная надпись, пророчившая гибель царю и его государству.

О. И. СЕНКОВСКИЙ

Превращения голов в книги и книг в головы

Впервые — издаваемый А. Ф. Смирдиным сборник «Сто русских литераторов», т. I. Спб., 1839. Печатается по изд.: Сенковский О. И. Собр. соч., т. III. Спб., 1858.

Эпиграф — цитата из басни русского поэта И. И. Хемницера (1745—1784) «Домовой».

С. 405. *...магазин и библиотека Смирдина...* — Смирдин Александр Филиппович (1795—1857), издатель, книгопродавец и библиограф, ближайшим сотрудником которого был Сенковский. Магазин и библиотека Смирдина находились на Невском проспекте и стали своего рода литературным салоном, местом встреч русских писателей.

С. 407. *Маладетти Морто* — в переводе с итальянского эти фамилия и имя звучат как «проклятый мертвец».

...первый волшебник и механик его величества короля кипрского и иерусалимского — королевства кипрское и иерусалимское, основанные в средние века рыцарями-крестоносцами, к этому времени давно уже не существовали.

С. 408. *Кенкеты* — масляные лампы.

С. 409. *Волхв* — колдун и предсказатель в Древней Руси.

С. 410. *Котурн* — башмак на высоких подставках; на котурнах ходили актеры античного театра.

С. 411. *Пинетти* — итальянский фокусник, показывавший в Петербурге свои физические опыты.

Калиостро Александр (наст. имя — Джузеппе Бальзамо, 1743—1795) — итальянский авантюрист и мистик, живший одно время в России под именем графа Феникса и пользовавшийся покровительством Потемкина.

С. 412. *Голконда* — феодальное государство в средневековой Индии, славившееся добычей алмазов.

С. 414. *Гарун-аль-Рашид* (766—809) — багдадский халиф из династии Аббасидов, ставший персонажем арабских сказок «Тысяча и одна ночь».

С. 416. *Вольтов столб* — батарея постоянного тока, изобретенная в 1800 году итальянским физиком А. Вольта (1745—1827).

С. 419. *Акупунктура* — лечение иглоукалыванием.

Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775—1854) — немецкий философ-идеалист, чьи воззрения оказали немалое влияние на литературу русского романтизма.

С. 421. *Четверик* — старинная русская мера сыпучих тел.

Сей и т. д. — в своем журнале Сенковский вел упорную борьбу за изгнание из живого разговорного языка устаревших, по его мнению, слов типа «сей» и «оный», опираясь при этом на авторитет Пушкина и Марлинского.

С. 425. *Тенериф* — гористый остров в Атлантическом океане, входящий в группу Канарских островов.

С. 428. *Великий Алберт* — Альберт фон Больштедт (ок. 1193—1280) — немецкий богослов и алхимик, отличавшийся энциклопедическими познаниями.

С. 432. *«Черная женщина»* (1834) — роман русского писателя Николая Ивановича Греча (1787—1867), которому была посвящена обширная статья Сенковского «Черная женщина и животный магнетизм» в «Библиотеке для чтения».

Е. А. ГАН

Идеал

Впервые — «Библиотека для чтения», 1837, т. XXI, март — апрель. Печатается по изд.: Зенеида Р-ова <Е. А. Ган>. Соч., т. I. Спб., 1843.

С. 435. *«Русалка»* — русский вариант венской волшебной оперы «Фея Дуная» (музыка Ф. Кауэра, текст К. Генслера), переделанной Н. С. Краснопольским и дополненной музыкой композитора С. И. Давыдова.

С. 438. *Фероньерка* — головной убор.

С. 440. *Адонис* — в древнегреческой мифологии красивый юноша, возлюбленный богини любви Афродиты.

С. 442. *Капитолий* — холм, центр Древнего Рима, место религиозных молений и народных собраний.

Тарпейская скала — утес Капитолийского холма, откуда в Древнем Риме сбрасывали осужденных на смерть.

С. 443. *Бальзак* Оноре де (1799—1850) — французский писатель, чье творчество оказало огромное влияние на прозу русского романтизма.

Плутарх (ок. 46 — ок. 127) — греческий философ и писатель, автор знаменитых «Сравнительных жизнеописаний».

Сталь Анна Луиза Жермена де (1766—1817) — французская писательница, чья книга «О Германии» (1810) познакомила русских писателей с идеями немецкого романтизма.

С. 446. *Фейерверкер* — артиллерийский унтер-офицер.

С. 447. *Лядунки* — сумки для патронов, входившие в снаряжение офицеров кавалерии и конной артиллерии.

С. 449. *Тамбурин* — бубен.

Амфитрион — имя персонажа одноименной комедии Мольера, гостеприимного хозяина, сделавшееся нарицательным.

С. 453. *Эдем* — библейский рай, страна вечного счастья.

С. 456. *Театр полон, ложи блещут* — неточная цитата из «Евгения Онегина» (гл. 1, XX).

С. 457. *Жрица Дельфийская* — прорицательница древнегреческого храма Аполлона в Дельфах.

С. 477. *Деннекеров спаситель* — статуя Иисуса Христа работы голландского скульптора Йоста де Неткера (1485—1544).

М. Н. ЗАГОСКИН

Нежданные гости

Впервые — «Библиотека для чтения», 1834, т. 3. Печатается по изд.: Загоскин М. Н. Повести, ч. I. М., 1837.

С. 484. *Канапе* — кушетка.

Приказный — незначительный чиновник судебного ведомства.

С. 489. *Содом, Гомор* — библейские города, пораженные небесным огнем за разврат и преступления тамошних жителей.

...печатают под титлами... — имеются в виду евангелие и другие церковные книги, печатавшиеся на старославянском языке.

К. С. АКСАКОВ

Вальтер Эйзенберг

<Жизнь в мечте>

Впервые — «Телескоп», 1836, № 10, под названием «Жизнь в мечте», за подписью *«-кс-»*. Печатается по изд.: Аксаков К. С. Соч., т. I. Пг., Огни, 1915.

Карташевская Мария Григорьевна (1818—1906) — кузина К. С. Аксакова. Его письма Карташевской представляют собой лирический дневник юного романтика-гегельянца и непосредственно примыкают к повести «Вальтер Эйзенберг», как бы разъясняя ее.

Эпиграф — из стихотворения Шиллера «Тэкла».

С. 502. *Сильфиды* — см. примечания к «Сильфиде» В. Ф. Одоевского.

Эльфы — духи природы в скандинавской мифологии.

Наяды — нимфы, богини, населявшие, согласно древнегреческой мифологии, воды озер и рек.

С. 503. Автор приводит свое стихотворение, написанное для этой повести.

М. С. ЖУКОВА

Барон Рейхман

Впервые — <М. С. Жукова>. Вечера на Карповке, ч. I. Спб., 1837. Печатается по второму изданию «Вечеров на Карповке», вышедшему в 1838 году.

Эпиграф — из пятой песни поэмы Пушкина «Руслан и Людмила».

Альбан — Франческо Альбани (1578—1660), итальянский живописец болонской школы. Изображал на картинах своих детей, отличавшихся редкостной красотой.

С. 520. *В последнюю турецкую войну...* — имеется в виду русско-турецкая война 1828—1829 годов.

Ливонский орден — немецкий рыцарский орден меченосцев, захвативший в средние века территорию Ливонии (нынешние Латвия и Эстония).

Плетенберг Вальтер (ум. 1535) — магистр Ливонского ордена, талантливый полководец.

С. 521. *Эклога* — жанр буколической поэзии, изображение уединенной и мирной жизни в деревне, среди друзей и близких.

Монмартрское сражение — битва союзных войск с французами под Парижем в марте 1814 года, после которой город капитулировал, а император Наполеон отрекся от престола.

Варна — турецкая крепость, взятая русскими войсками в 1828 году.

Белый зал — находится в Зимнем дворце.

С. 523. *Ламартин* Альфонс де (1790—1869) — французский поэт-романтик и политический деятель.

Петрарка Франческо (1304—1374) — итальянский поэт, чья любовная лирика оказала огромное влияние на всю последующую поэзию, воспев чистое и высокое чувство.

С. 524. *Гвидо* Рени (1575—1642) — итальянский живописец.

С. 525. *Вольтер* (Мари Франсуа Аруэ, 1694—1778) — французский писатель и историк.

Ля Бомель Лоран (1727—1773) — французский писатель.

Гинтере — писание бумаг.

С. 527. *...вертеровское поколение...* — немецкие и русские сентименталисты и романтики, подражавшие герою знаменитого романа Гете «Страдания молодого Вертера» (1774).

...сынов юной Франции... — речь идет о французских романтиках 1830-х годов, возглавлявшихся Виктором Гюго.

Тассо Торквато (1544—1595) — итальянский поэт, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим» (1580).

Лаиса — знаменитая греческая куртизанка, любовница философа Аристиппа.

Экклезиаст — памятник древнееврейской литературы 4—3 веков до н. э., вошедший в состав Библии. Книга Экклезиаст пронизана глубоким пессимизмом, ощущением тщеты всех человеческих усилий.

Аристипп (ок. 435—360 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист.

С. 529. *Эпиграф* — из стихотворения поэта-романтика И. И. Козлова «К другу В<асилию> А<ндреевичу> Жуковскому по возвращении его из путешествия» (1822).

Сбитень — горячий напиток.

С. 531. *Первый эпиграф* — из «Евгения Онегина» (гл. 4, XVIII).

Второй эпиграф — из «Максим и афоризмов» французского писателя Франсуа де Ларошфуко (1613—1680).

С. 532. *«Пуритане»* (1835) — опера В. Беллини, поставленная на сцене парижского «Театр Итальен».

С. 534. *Гимен* — бог брака в античной мифологии.

С. 535. *Реньяр* Жан Франсуа (1655—1709) — французский драматург.

Бомарше Пьер Огюстен Карон де (1732—1799) — французский писатель.

Развод — ежедневное построение войск, на котором офицеры и солдаты направляются на учения и работы.

«Инвалид» — официальная военная газета «Русский инвалид», издававшаяся с 1813 года.

С. 536. *Полуимпериал* — золотая монета достоинством в пять рублей.

С. 537. *Понтер* — играющий против банкомета.

«Дон Жуан» — скорее всего имеется в виду опера Моцарта.

С. 538. *«Позор тому, кто плохо об этом подумает»* — девиз английского ордена Подвязки.

С. 540. *Поль де Кок* (1793—1871) — французский писатель, представитель легковесной буржуазной беллетристики.

Де Жерондо — Дежерандо Жозеф-Мари (1772—1842) — французский философ и публицист.

С. 542. *Бэкон* Фрэнсис (1561—1626) — английский философ-материалист.

Буат Пьер-Клод-Виктор (1765—1824) — французский филолог и писатель.

С. 544. *Первый эпиграф* — неточная цитата из «Руслана и Людмилы» Пушкина.

Второй эпиграф — из поэмы Байрона «Абидосская невеста», переведенной И. И. Козловым.

С. 546. *Век Елизаветы* — императрица Елизавета Петровна (1709—1761) правила с 1741 года.

С. 550. *Сирюс* Публиус — римский поэт и актер, живший в I веке до н. э. Цитируется французский перевод его афоризмов, изданный в Лейпциге в 1822 году.

С. 551. *Ниоба* — в древнегреческой мифологии дочь царя Тантала, супруга царя Амфиона; оскорбила Латону, мать богов Аполлона и Артемиды, умертвивших своими стрелами 14 детей Ниобы. Окаменевшая от горя Ниоба обречена была вечно лить слезы. Миф о Ниобе послужил сюжетом для многих картин и статуй.

В. А. СОЛЛОГУБ

История двух калош

Впервые — «Отечественные записки», 1839, т. I. Печатается по изд.: Соллогуб В. А. Повести и рассказы. М. — Л., Гослитиздат, 1962.

С. 559. *Перигурдин* — народный французский танец.

С. 561. *...они учились вместе у Фан-Эндена...* — Фандер-Энден (?—1782) — немецкий органист.

С. 565. *...для аспазийского ее салона...* — Аспазия (род. ок. 470 г. до н. э.), супруга афинского государственного деятеля Перикла, отличавшаяся незаурядным умом и образованием.

С. 566. *Герц* Анри (1803—1888) — французский пианист и композитор.

Калкбреннер Фридрих (1784—1849) — немецкий пианист и композитор.

С. 582. *Мендельсон-Бартольди* Якоб-Людвиг (1809—1847) — немецкий композитор и дирижер.

Н. В. ГОГОЛЬ

Портрет

<Первая редакция>

Впервые — Гоголь Н. В. Арабески. Разные сочинения. Спб., 1835. Повесть датируется 1832—1834 годами. Печатается по изд.: Гоголь Н. В. Собр. худож. произведений в 5-ти т., т. III. М., Изд-во АН СССР, 1959.

При появлении повести в «Арабесках» Белинский назвал ее «неудачной попыткой г. Гоголя в фантастическом роде» и более всего порицал вторую часть «Портрета», историю страшного ростовщика Петромихали. Гоголь прислушался к советам критика и в 1842 году переработал «Портрет», уделив больше внимания истории художника Черткова и проблемам искусства и сняв многое в романтической фантастике второй части повести. В результате в повести усилилось реалистическое начало и ослабла, но не исчезла полностью ее очевидная связь с литературой западноевро-

пейского (Гофман) и русского романтизма. Однако для нашей темы важна именно эта связь, и поэтому здесь помещена первая редакция «Портрета», сопоставимая с повестями немецких и русских романтиков, и прежде всего с «Импровизатором» (1835) В. Ф. Одоевского, который мог быть прочитан автором Гоголю еще до ее напечатания (здесь стоит указать на сходство демонических черт и поступков Сегелиеля и Петромихали, которые назначали своим клиентам тягостные и неприятные условия).

С. 599. *Хозрев-Мирза* (1813—1875) — сын персидского наследного принца, посланный шахом к русскому правительству с извинениями по поводу убийства в Персии русского посла А. С. Грибоедова.

...связками тех картин... — имеются в виду популярные в народе лубочные картинки — истории Бовы-королевича, Еруслана Лазаревича, хождения русских купцов в Иерусалим и т. п.

С. 601. *Вандик* — Ван Дейк Антонис (1599—1641) — фламандский живописец, знаменитый портретист.

С. 609. *Мадам Сихлер* — хозяйка петербургского модного французского магазина.

С. 612. *Псишея* — Психея, возлюбленная бога любви Эрота. Миф о Психее привлек многих художников, скульпторов и писателей.

С. 630. *Корпус* — кадетский корпус, закрытое среднее военное учебное заведение.

С. 631. *...по поводу объявленной войны турками...* — имеется в виду русско-турецкая война 1806—1812 годов.

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

<Штосс>

Впервые — альманах «Вчера и сегодня», кн. I. Спб., 1845. Повесть датируется мартом — началом апреля 1841 года. Печатается по изд.: Лермонтов М. Ю. Соч. в 6-ти т., т. 6. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1957.

Повесть не завершена. Поэтесса Е. П. Ростопчина в письме к А. Дюма рассказала историю этого загадочного произведения Лермонтова: «Однажды он объявил, что прочитает нам новый роман под заглавием «Штос», причем он рассчитал, что ему понадобится, по крайней мере, четыре часа для его прочтения. Он потребовал, чтобы собрались вечером рано и чтобы двери были заперты для посторонних. Все его желания были исполнены, и избранники сошлись числом около тридцати; наконец Лермонтов входит с огромной тетрадью под мышкой, принесли лампу, двери заперли, и затем начинается чтение; спустя четверть часа оно было окончено. Неисправимый шутник заманил нас первой главой какой-то ужасной истории, начатой им только накануне; написано было около двадцати страниц, а остальное в тетради была белая бумага. Роман на этом остановился и никогда не был окончен» (М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., Худож. лит., 1972, с. 285). Однако само произведение, которое Лермонтов намеревался завершить, отнюдь не салонная шутка, а весьма серьезное художественное исследование дисгармоничного романтического характера, ведущееся как бы изнутри и продолжающее работу, начатую в «Герое нашего времени». Причем Лермонтов ис-

пользует в «Штоссе» многие открытия философского романтизма 30-х годов XIX века, и новейший исследователь указывает на несомненную перекличку лермонтовских идей и мыслей романтика В. Ф. Одоевского (см.: Вацуро В. Э. Последняя повесть Лермонтова. — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., Наука, 1979).

С. 637. *У графа В...* — имеется в виду граф Михаил Юрьевич Виельгорский (1788—1856), композитор и покровитель искусств, хозяин музыкально-литературного салона, где бывали Пушкин, В. Ф. Одоевский, Жуковский, Гоголь, Лермонтов и другие писатели. В черновике указана точная дата вечера — 17 сентября 1839 года, однако здесь имя хозяина или хозяев салона обозначено буквой «С», которую, по-видимому, надо читать как латинскую, а имя можно предположительно расшифровать как «Карамзины», ибо в сентябре — октябре 1839 года Лермонтов был в этой семье частым гостем, а 19 сентября — день именин Софьи Карамзиной.

...новоприезжая певица... — по-видимому, немка Сабина Гейнфехтер, гастролировавшая тогда в Петербурге.

Минская — в ней некоторые исследователи находят черты Александры Осиповны Смирновой-Россет (1809—1882), знаменитой красавицы и умницы, приятельницы Пушкина, Вяземского, Жуковского и Гоголя. Бриллиантовый вензель на плече Минской — знак ее принадлежности к придворной свите императрицы. По-видимому, Смирнова присутствовала на вечере, когда Лермонтов читал «Штосс».

С. 639. *Наружность Лугина...* — в ней есть черты самого Лермонтова.

С. 647. *...делался то выше, то толще...* — явная перекличка с повестью Гофмана «Повелитель блох», где то же проделывает принц пиявок.

Клюнгер — червонец.

СОДЕРЖАНИЕ

Р89 **Русская** романтическая повесть/Сост., вступ. статья и примеч. В. И. Сахарова; Худож. П. С. Сацкий.— М.: Сов. Россия, 1980.— 672 с., ил.

В данной антологии собраны повести русских писателей-романтиков, как бы иллюстрирующие развитие этого прозаического жанра в 20—40-е годы XIX столетия. Представлены произведения прозаиков самых разных направлений и значения — от известнейших (А. А. Бестужева-Марлинского, В. Ф. Одоевского, В. А. Соллогуба) до полузабытых (М. С. Жуковой, Е. А. Ган, О. М. Сомова и др.), чьи повести в послеоктябрьское время печатались редко или не публиковались совсем.

Р $\frac{70500-134}{М-105(03)80}$ 87—80 4702010100 Р1

Составитель
Всеволод Иванович Сахаров

РУССКАЯ РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Редактор
В. М. Курганова

Художественный редактор
Г. В. Шотина

Технический редактор
М. С. Маринина

Корректоры
Л. В. Конкина, А. З. Лазуткина,
Г. М. Ульянова, Л. М. Логунова

ИБ № 1723

Сдано в набор 29.05.80. Подп. в печать 10.12.80. А03043. Формат 84×108/32. Бумага типогр. № 2. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. п. л. 35,28. Уч.-изд. л. 39,25. Тираж 150.000 экз. (1 завод с 1—75 000 экз.). Заказ № 1269. Цена 3 р. 40 к. Изд. инд. ЛХ-165.

Издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, пр. Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

